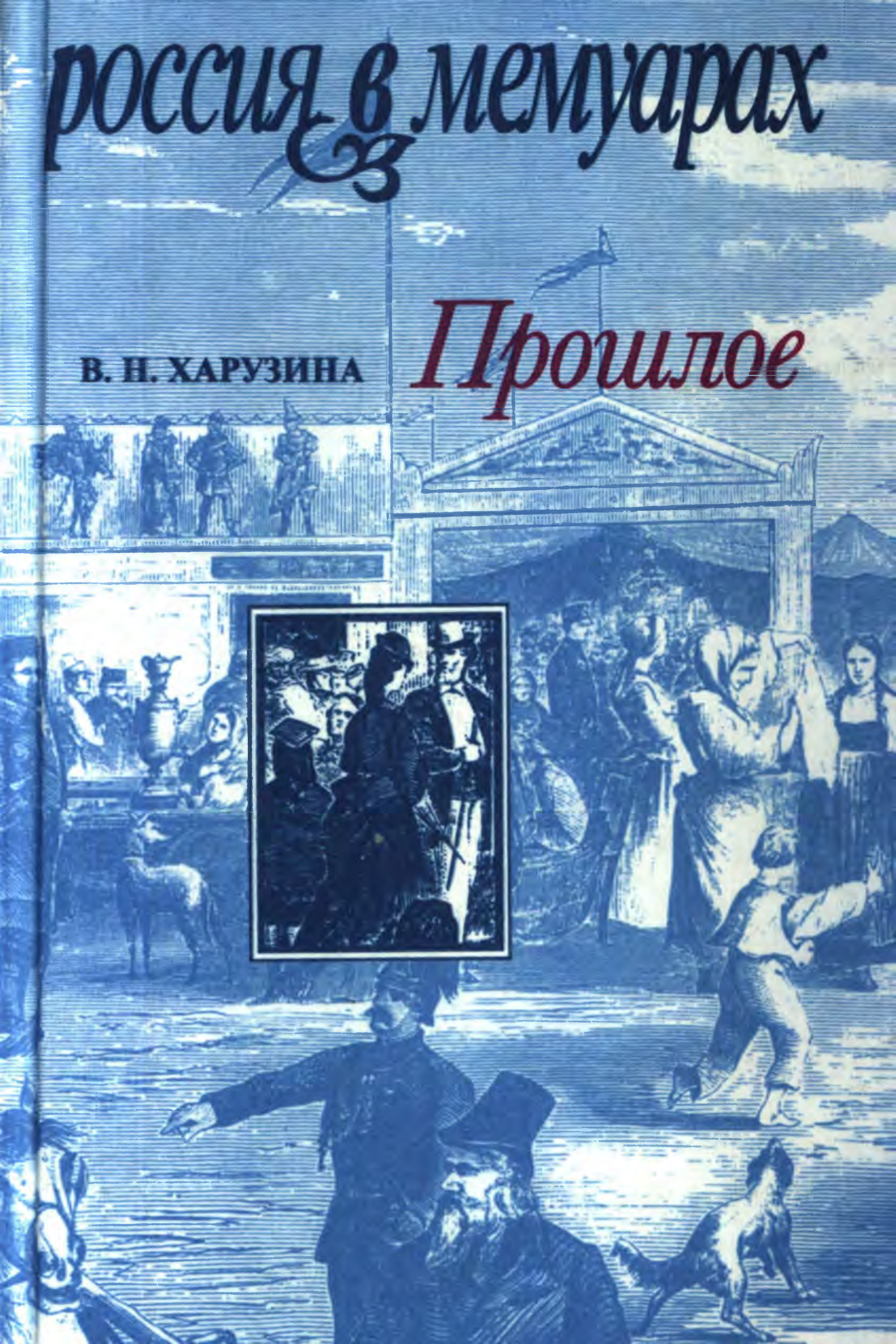

россия в мемуарах
В. Н. ХАРУЗИНА
Прошлое

россия в мемуарах

НОВОЕ ЛИТЕР[redacted] ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

В. Н. ХАРУЗИНА

Прошлое



Воспоминания детских и отроческих лет

Вступительная статья, составление,
подготовка текста и комментарии
М.М. Керимовой и О.Б. Наумовой

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

Оформление серии
Н.Г. Песковой

Художник тома
А.А. Брантман

Харузина В.Н.

Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. М.М. Керимовой и О.Б. Наумовой. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 558 с.

Вера Николаевна Харузина (1866—1931), первая русская женщина, получившая звание профессора этнографии, демонстрирует в своих впервые публикуемых мемуарах не только профессиональную наблюдательность и незаурядную память, но и литературный талант, позволивший ей создать выразительную картину быта и нравов московского купечества второй половины XIX века.

Рукопись подготовлена к публикации в рамках плана научной работы Института этнологии и антропологии РАН (при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда; проект № 95—06—17759).

ISBN 5-86793-057-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вера Николаевна Харузина (1866—1931), чьи воспоминания мы впервые представляем читателям, была первой в России женщиной — профессором этнографии. Человек большой эрудиции и непреклонной воли, она всю свою жизнь посвятила любимому делу — изучению быта, нравов и обычаев народов мира. Вера Николаевна была твердо уверена, что «всякая наука движется умами смелыми и светлыми, освещающими лишь некоторое пространство вперед на предстоящем великом пути. Так работала этнография, и к такой работе призывает она всех своих приверженцев»[1].

Выходцы из богатого купеческого рода, Вера и трое ее братьев — Михаил (1860—1888), Алексей (1864—1932) и Николай (1865—1900), — избрав нелегкую стезю науки, стали видными этнографами.

Незаурядным человеком был и глава этой большой и дружной семьи — Николай Иванович Харузин (1831—1880). Его предки принадлежали к старинному сибирскому купечеству. Рано оставшись сиротой, Николай Иванович обосновался в Москве и продолжил дело своего отца — занялся торговлей текстилем. Со временем он стал одним из крупных скупщиков продукции Трехгорной мануфактуры. Незаурядный ум и огромное трудолюбие Харузина принесли свои плоды: постепенно он достиг зажиточного положения и в 1873 г. получил звание купца 1-й гильдии[2].

Женился Николай Иванович по любви на купеческой дочери Марии Михайловне Милютиной и имел трех сыновей и трех дочерей (дочь Ольга умерла четырех лет от роду, Елена — по мужу Арандаренко — скончалась в 1924 г.).

В воспоминаниях Веры Харузиной ничего не говорится о хозяйственной деятельности Николая Ивановича, хотя некоторые детали свидетельствуют о том, что с годами материальное положение семьи крепнет. Обожаемый отец привлекает Веру своими душевными качествами. Он для нее «сильный человек с нежной душой и великодушным сердцем»[3], воплощение чести, благородства, доброты и интеллигентности.

[1] *Харузина В.* Историческое развитие этнографии. Вступительная лекция к курсу этнографии, прочитанная на Высших женских курсах в Москве 9 октября 1907 г. М., 1907. С. 14.

[2] См.: Справочная книга о лицах, получивших на 1873 г. купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям в Москве. М., 1873. С. 21.

[3] Здесь и далее цитаты из воспоминаний В.Н. Харузиной даются без ссылок на страницы данного издания.

Николай Иванович принадлежал к людям новой эпохи и нового воспитания. Постоянно упоминаемые в воспоминаниях Харузиной фамилии знакомых — Боткиных, Прохоровых, Алексеевых, Щукиных, Третьяковых — обозначили тот социально-культурный пласт, к которому относилась и семья мемуаристки, — «новое» купечество второй половины XIX в., пережившее сложные процессы социальной трансформации, устремленное к наукам и искусству, деятельно занимавшееся общественной благотворительностью и меценатством.

Харузиных тяготили патриархальные устои московского купечества, приземленность мысли, пренебрежение к образованию. Атмосферу духовной жизни семьи определяли чтение книг, посещение театров, музеев, выставок. Свободное время Николай Иванович всегда проводил с детьми, читая им Пушкина, Лермонтова, Некрасова, сказки. Большое значение придавалось в семье Харузиных обучению детей, тщательно подыскивались домашние учителя, подбирались учебные заведения. Вера закончила с золотой медалью лучшую в Москве женскую гимназию — частную гимназию С.Н. Фишер, братья (кроме Николая, обучавшегося в 4-й московской мужской гимназии) — ревельскую гимназию.

Отказ Харузиных от ценностей и традиций купеческого сословия проявлялся во всем — от деталей интерьера дома и манеры одеваться до выбора знакомых и «профессиональной ориентации» детей (мальчиков не готовили к продолжению отцовского дела). Главным событием в жизни семьи, которое символически обозначало фактический отрыв от своей среды, стал переезд Харузиных в 1876 г. из купеческого Замоскворечья в дворянский район Арбата. Спустя несколько лет, когда умирает Николай Иванович, Мария Михайловна и ее сыновья без колебаний продают харузинское «дело» купцам Щукиным.

Смерть отца была жестоким ударом для тринадцатилетней Веры. Горестно кончилось ее отрочество, слишком рано наступила зрелость.

Посещение Антропологической выставки в Москве (1877) «дало толчок умственным интересам» Веры Харузиной. В ней рано пробудились дух «естественника», страсть к составлению гербариев, коллекционированию окаменелостей, внимание к народным обычаям и поверьям. Путешествуя по Подмосковью, Вера-гимназистка сделала свои первые записи свадебных обрядов.

Постоянные болезни, а также несовершенство системы женского образования (в университет девушек не принимали, а высшие женские курсы, работавшие в основном по программам мужских гимназий, в середине 1880-х годов были закрыты) не позволили В.Н. Харузиной после окончания гимназии продолжить учебу. «Университетом» для Веры стали ее братья, обладавшие большими познаниями в этнографии и антропологии. Они с радостью опекали сестру, помогали ей в занятиях.

Михаил, старший из братьев, проживший всего 28 лет, успел оставить заметный след в науке. Еще в студенческие годы он был избран секретарем Этно-

графического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) при Московском университете. Юрист по образованию, в дальнейшем он занимался изучением обычного права народов России. Свою книгу «Сведения о казацких общинах на Дону» (1885) Михаил посвятил «неутомимому борцу за русское народное самосознание И.С. Аксакову», с которым был близко знаком. За год до смерти, по поручению ОЛЕАЭ, он составил чрезвычайно ценную в научном отношении «Программу для собирания сведений об юридических обычаях» (1887). Благодаря Михаилу Харузину Вера рано знакомится с работами М.М. Ковалевского, В.Ф. Миллера, Д.Н. Анучина, С.А. Муромцева и других ученых, составлявших круг общения брата.

Николай Харузин, скончавшийся в 35 лет, оставил большое научное наследие. Он исследовал обычное право народов Севера и Кавказа, религиозные верования и материальную культуру (жилище) финнов, тюркских и монгольских народов России. Большой известностью до сих пор пользуется его монография «Русские лопари» (1890). С 1886 по 1896 г. Николай посещает различные регионы России, где собирает богатый археологический и этнографический материал. В поездках по Олонецкой, Архангельской губерниям, Прибалтике, Новороссии и Сибири его сопровождает Вера. Богатые этнографические знания, приобретенные ею в этих поездках, нашли позднее отражение в нескольких научных статьях и очерках о народах Российского Севера.

Вера гордилась своим братом, его необыкновенной энергией и исключительной преданностью науке. Помимо того, что он работал в архиве Министерства юстиции и в Историческом музее, был с 1891 г. секретарем Этнографического отдела ОЛЕАЭ, он стал одним из основателей (наряду с В.Ф. Миллером) и редактором журнала «Этнографическое обозрение» (первые выпуски издавал на собственные средства). С 1898 г. он первым в России начал читать курс лекций по этнографии в Московском университете и Лазаревском институте восточных языков. За свою недолгую жизнь Николай Харузин успел опубликовать около 30 работ, многие из которых стали классикой отечественной этнографии. Его лекции были подготовлены к печати Алексеем и Верой Харузиными, снабдившими их примечаниями и библиографией[4].

Эта трудоемкая работа очень много дает самой Вере, которая в начале XX в. тоже начнет читать лекции по этнографии в московских институтах.

После ранней утраты Михаила и Николая (с последним сестра была особенно близка, в детстве их называли «неразлучниками») Вера находила поддержку у среднего брата — Алексея. Жизнь бросала его с места на место: он был управляющим канцелярией Виленского генерал-губернатора, губернатором Бессарабии,

[4] *Харузин Н.Н.* Этнография. Лекции, читанные в императорском Московском университете. Т. 1–4. СПб., 1901–1905.

директором Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий, с 1911 г. — товарищем министра внутренних дел (в то время должность министра занимал А.А. Макаров), сенатором, имел придворный чин гофмейстера (с 1913 г.). По свидетельству недавно умершей родственницы Харузиных И.Е. Огневой[5], за несколько лет до революции 1917 г. Алексей Николаевич подал в отставку из-за «несогласия с царской политикой того времени, и в частности, с политикой министра Макарова».

Государственная служба не помешала Алексею Харузину стать ученым широкого профиля — антропологом, этнографом, зоологом и ботаником, автором более 70 научных работ. Еще во время учебы на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета (1884—1889) и на кафедре зоологии Дерптского университета (1892) А.Н. Харузин по поручению различных научных обществ посещает Закавказье, Крым, выезжает на Босфор, а затем вместе с братом Николаем командируется в Среднюю Азию, где изучает киргизскую Букеевскую степь с точки зрения этнографии и антропологии. За монографию «Киргизы Букеевской орды» (Т. 1—2. М., 1889—1891) А.Н. Харузин получает большую золотую медаль от императорского Русского географического общества (РГО).

Большое место в научном наследии А.Н. Харузина занимает славянская тема. Он пишет книгу о Боснии и Герцеговине и несколько статей о крестьянских постройках в Словении (последнюю он посетил вместе с Верой в 1901 г., а в 1902 г. объехал всю эту маленькую страну один). В 1907 г. Харузин публикует большую монографию «Славянское жилище в Северо-Западном крае»[6]. Все эти работы основаны на полевых исследованиях автора, снабжены сотнями чертежей и фотографий.

Революция 1917 г. отрывает А.Н. Харузина от прежней кипучей научной деятельности. В 1927 г. ГПУ арестовывает его в числе так называемых «бывших людей, в прошлом связанных с царской администрацией»[7]. Через некоторое время Харузина отпускают, так и не предъявив ему обвинения. В начале 30-х годов он работает консультантом Сельхозгиза по огородничеству, занимается проблемами семеноводства и овощеводства, создает около 20 работ по этим вопросам. Вторично А.Н. Харузина арестовывают 21 февраля 1932 г. вместе с сыном Всеволодом (1907 г. рождения) по обвинению в антисоветской агитации. 3 апреля 1932 г.

[5]Инна Евграфовна Огнева (в первом браке Харузина) была женой Олега Алексеевича Харузина, племянника Веры Николаевны. Рукопись цитируемых ниже мемуарных набросков Огневой любезно предоставлена нам Еленой Петровной Крюковой.

[6]Подробнее см.: *Керимова М.М.* Словения и словенцы в трудах Алексея Николаевича Харузина и Веры Николаевны Харузиной // Живая старина. 1998. № 2; *Керимова М.М., Наумова О.Б.* А.Н. Харузин — этнограф и антрополог // Репрессированные ученые (в печати).

[7]См.: Воспоминания И.Е. Огневой.

постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ он был приговорен по статье 58-10 УК к высылке на 3 года, 8 мая этого же года умер от сердечной недостаточности в больнице при Бутырской тюрьме[8]. Реабилитирован в 1989 г. Всеволод Алексеевич был выслан 5 мая 1932 г. на 3 года в лагерь Беломорско-Балтийского канала, освобожден досрочно «за ударную работу», но в 1935 г. арестован вновь и осужден на 10 лет. Известий о его дальнейшей судьбе родные так и не получили. Супруга А.Н. Харузина Наталья Васильевна (урожденная баронесса фон дер Ховен, дочь контр-адмирала В. Ховена) была выслана из Москвы осенью 1937 г. как «мать врага народа» и в 1943 г. скончалась в г. Малоярославец[9].

На долю Веры Николаевны Харузиной выпало немало душевных и физических страданий. Девочкой она пережила безвременную смерть отца, затем чередой на нее обрушились утраты братьев Михаила и Николая, матери, сестры Елены, племянников Мстислава и Олега[10] — сыновей брата Алексея. Потряс ее и первый арест (в 1927 г.) самого Алексея Харузина. Здоровье ее, и так некрепкое, с годами все больше разрушалось. Но всю свою жизнь Харузина продолжала заниматься любимой наукой, мужественно преодолевая болезни и горести.

Осуществлению мечты Веры стать этнографом помогли путешествия по России, а затем и по Западной Европе. С 1889 по 1911 г. она посещает Германию, Францию, Австрию с целью изучения этнографических коллекций музеев, слушает в Париже (1892—1893) вместе с братом Николаем курсы лекций по истории религии, церкви, семьи, общей этнографии[11]. Прекрасное знание иностранных языков давало ей возможность быть в курсе всех новейших достижений европейской науки.

Спектр этнографических интересов Харузиной был чрезвычайно велик. Это историческое развитие этнографии как науки в России и на Западе, материальная культура народов мира (жилища, одежда, пища, украшения), верования «малокультурных» народов, почитание огня у русских и инородцев, родильные и крестильные обряды (по последним двум темам были составлены программы для собирания сведений, при этом каждая имела анкету почти в триста вопросов).

[8]Сведения получены из Центрального архива Федеральной службы контрразведки Российской Федерации (ЦАФСК).

[9]См.: Воспоминания И.Е Огневой.

[10]Мстислав Харузин (1893 г. рождения), выросший в доме Харузиных на Арбате, воспитанный бабушкой и тетей Верой, пропал без вести на фронте в первую мировую войну. Олег Харузин (1899—1928) умер от туберкулеза. Адресуя свои воспоминания племянникам, Вера Николаевна писала: «Мне бы только хотелось описать свое детство для наших мальчиков, сделать так, чтобы не исчезла для них память о тех хороших людях, которые окружали меня».

[11]См.: *Владимирский И.М.* Историческая записка о 40-летии женской классической гимназии С.Н. Фишер. 1872—1912 гг. М., 1912. С. 115.

Интересовали Веру Николаевну и «примитивные формы драматического искусства», игры и игрушки, постановка музейного дела, преподавание этнографии в средней школе. Фольклор и мифология занимали немалое место в ее творческой и научной деятельности. Она составила и опубликовала сборники сказок разных народов: «Сказки русских инородцев» (М., 1898, с краткими бытовыми очерками и иллюстрациями), «Африканские сказки» (М., 1919). В рукописи остались труды Харузиной «Мифы из Южной Америки», «Чудовищное в фантастике и культовых представлениях малокультурных народов», «Предания разных народов о вхождении смерти в мир»[12].

Вера Николаевна обладала хорошим слогом, писала легко и красочно. Не будет преувеличением назвать ее талантливым прозаиком. Она — автор рассказов и сказочных повестей «Царевна — каменное сердечко» (1899, выдержала несколько изданий), «Оцзи и Олесь. Рассказ из жизни лопарей» (1903), «Друзья. Картинки из жизни словенских детей» (1909), «Тунгусенок Михайло» (1928) и др.

За свои многочисленные труды В.Н. Харузина получает звание профессора и с 1907 г. начинает читать лекции по этнографии на Высших женских курсах и в Московском археологическом институте, а в советское время, до 1923 г., — в Московском университете. Ее лекции составили книгу «Этнография» (Т. 1—2. М., 1909—1914) и изданное посмертно «Введение в этнографию. Описание и классификация народов земного шара» (М., 1941).

В своих лекциях освещение отдельных явлений материальной и духовной культуры народов мира В.Н. Харузина подчиняла практической цели — дать слушателям подробное руководство к собиранию этнографических данных, направить на углубленное их изучение. Рассказывая о существовавших в этнографии школах (мифологической, экономической, лингвистической и др.), она всегда выделяла в них те положения, которые могут быть реализованы в практическом исследовании быта, обычаев, нравов разных народов. Безусловная заслуга Харузиной заключалась и в том, что, вдохновленная примером своих братьев Михаила и Николая, она уделила серьезное внимание изучению быта и нравов малых народностей Русского Севера и выпустила в свет несколько ярких этнографических очерков («Лопари», «Вотяки», «Юкагиры», «Тунгусы»).

Велик вклад Харузиной в ознакомление русского общества с новейшими течениями западноевропейской этнографии. Как отмечает Д.К. Зеленин, «не было ни одного сколько-нибудь крупного европейского этнографа, на труды которого В.Н. Харузина не откликнулась бы своими многочисленными рецензиями»[13]. Ее

[12] См.: *Елеонская Е.Н.* В.Н. Харузина (1866—1931) // Советская этнография. 1931. № 1/2. С. 154.

[13] *Зеленин Д.К.* Вера Николаевна Харузина (1866—1931) // Lud słowiański. 1931. Т. 2. С. 276.

статьи и очерки печатались в журналах «Этнографическое обозрение», «Живая старина» и других (в том числе энциклопедических) изданиях.

Заниматься наукой и особенно преподаванием В.Н. Харузиной мешала прогрессировавшая с 1908 г. болезнь, из-за которой впоследствии она оказалась прикована к инвалидному креслу[14]. Чудом спасенная горничной Варей во время пожара фамильного дома в 1922 г. (завернув парализованную хозяйку в ковер, та скатила ее по лестнице со второго этажа), Вера навсегда осталась, по свидетельству И.Е. Огневой, «в устрашающих шрамах от ожогов».

Сквозь тщедушную и болезненную внешность Веры Николаевны с годами все ярче просвечивали интеллектуальное богатство и необыкновенная сила духа. О своих впечатлениях от первой встречи с Харузиной вспоминала А.Н. Изергина — дочь художника Н.Д. Бартрама: «Признаться, я слегка трусила «больной ученой женщины», но когда к нам вышла маленькая, худенькая женщина с полуседыми, прямыми, стрижеными волосами, зачесанными со лба круглым детским гребешком, весь мой страх пропал, столько в ней было простоты и тепла. Я смотрела на нее, такую крошечную, особенно рядом с папой, кособокенькую, с корявыми руками и в старинной, по-видимому ортопедической обуви, и невольно прониклась к ней уважением, так много чувствовалось в этом больном, хилом человеке силы, знаний, ума и энергии»[15].

До конца жизни у Харузиной не угасал живой интерес к избранной ею науке: она продолжала следить за развитием этнографии, занималась со студентами на дому, до 1929 г. выходили ее статьи. Умерла В.Н. Харузина 14 мая 1931 г.

* * *

Вера Харузина прожила богатую впечатлениями и внутренними переживаниями жизнь. Она обладала прекрасной памятью, живым воображением и безусловным талантом рассказчика. Все это, вместе взятое, помогало ей запечатлеть в слове прожитые годы. В 38 лет Вера Николаевна обращается к воспоминаниям о своем детстве и отрочестве (1866—1885 гг.)[16]. Она пишет их в течение 20 с лишним лет — с 1904 по 1925 г. — и заканчивает за шесть лет до своей кончины. Писала она с перерывами, порой в несколько лет, мучительно переживая трагические события, происходившие в России, боль от утраты родных, страдая от собственных многочисленных недугов. На полях рукописи воспоминаний Харузина нередко

[14]По воспоминаниям И.Е. Огневой, у В.Н. Харузиной развивались частичный паралич и паркинсонизм.

[15]*Бартрам Н.Д.* Избранные статьи. Воспоминания о художнике. М., 1979. С. 87.

[16]С лета 1885 по 1917 г. Харузина вела дневниковые записи. Дневники за 1897—1917 гг. находятся в ОПИ ГИМ (Ф. 81. Ед. хр. 66—76), за предшествующие годы они не сохранились.

ставит даты написания тех или других отрывков, не скрывая фрагментарности текста. Нередко об одном и том же эпизоде или человеке пишет несколько раз, переставляет куски, стараясь не нарушить общую хронологию.

В отличие от большинства мемуаристов Вера Харузина четко и предельно конкретно определяет цели, которые она преследует своими воспоминаниями: сохранить память о тех хороших людях, которыми была окружена; запечатлеть черты ушедшего быта и, наконец, проследить, под какими сложными влияниями, начиная с детства и отрочества, формируется человеческая душа.

Описание собственной жизни представляется Харузиной интересным главным образом потому, что она отражает в большей или меньшей степени «различные веяния, увлечения, заблуждения и идеалы своей эпохи». Она особенно заботится о правдивости и объективности своих воспоминаний: «Когда эти записки увидят свет <...> мое время будет уже историческим. Вот почему буду писать с полной откровенностью и о лицах, с которыми я сталкивалась в жизни. Многих из них теперь уже нет в живых — к тому времени не останется и прочих, а для мертвых, по-моему, почетнее, чем бесстрастное aut bene aut nihil, беспристрастная правда о них, восстановляющая их живыми личностями с достоинствами и недостатками».

Мемуары Харузиной сознательно ориентированы на частную жизнь, в них лишь изредка проскальзывают отзвуки исторических событий (убийство Александра II, казни участников заговора, вступление на престол Александра III). Зорким глазом этнографа автор всматривается в мелочи жизни — детали одежды, интерьера (вплоть до рисунка на обоях), черты старинного быта (подробное описание генеральной уборки в доме, варки варенья и пр.) — те незначительные вещи, которые чаще остаются за пределами внимания мемуаристов и в которых особенно живо проступает аромат эпохи. «Словно брызги фонтана воссоздает передо мной воспоминание отдельные мелкие, но такие характерные картинки», — писала Вера Николаевна.

Сотканная из небольших и, казалось бы, не слишком ярких стежков ткань повествования преобразуется в полнокровную картину московской жизни 1860—1880-х годов. Вслед за автором читатель погружается в атмосферу старой Москвы с ее нарядными церквями и уютными особняками, шумными торговыми рядами и лавками, любуется пышной красотой подмосковного Архангельского, бродит по дачным тропинкам Филей, Кунцева, Быкова, совершает путешествие в Новый Иерусалим и Аносину пустынь.

В «Прошлом» легко угадываются веяния времени: красной нитью проходит тема образования (в том числе женского), прослеживается увлечение Харузиных Малым театром, интерес к передвижникам, страстное почитание Пушкина (в доме

устраивались пушкинские вечера, Верины братья участвовали в Пушкинских торжествах 1880 г.). У Харузиных звучат имена А. Фета, Л. Толстого, Вл. Соловьева, с которыми знаком Михаил. Доносятся отголоски противостояния славянофилов и западников, споры на религиозно-философские темы участников Этического кружка. Деятельность Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Антропологическая и Политехническая выставки составляют предмет пристального внимания молодых Харузиных.

Мягко и ненавязчиво, отдельными штрихами Вера Николаевна рисует атмосферу дома Харузиных, где царили благожелательность, взаимное уважение и доверие. Глубокая религиозность семьи не исключала веротерпимости. Процесс становления личности, по мнению мемуаристки, немыслим без свободы как главного стержня взаимоотношений; она писала: «Я счастлива тем, что свобода, незримая, несознаваемая, проникла всю жизнь вокруг меня и руководила поступками окружающих». Читатель получает возможность заглянуть в душу маленькой девочки — робкой и бесстрашной, прямодушной и почтительной, наивной и не по возрасту развитой, затем девушки — крайне впечатлительной, умной и любознательной, любящее сердце которой открыто людям, добру, подвигу.

* * *

Рукопись была выявлена в фонде Отдела письменных источников Государственного Исторического музея (Ф. 81. Ед. хр. 77—82) старшим научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН М.М. Керимовой. В.Н. Харузина с 1919 г. передавала в ГИМ материалы семьи Харузиных (научные и личного характера), машинопись «Прошлого» (с авторской правкой) была передана ею после окончания работы над воспоминаниями в 1926 г. Право на ее публикацию она предоставляла своим племянникам — Олегу, Мстиславу и Всеволоду Харузиным[17].

В настоящем издании текст приведен в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации. Языковые особенности, характерные для речевой манеры автора, сохраняются. Неточности и ошибки оговариваются в примечаниях. В книге использованы фотографии из личного архива И.Е. Огневой, Отдела письменных источников ГИМ.

Выражаем глубокую признательность заместителю директора ГИМ, доктору исторических наук В.Л. Егорову, заведующему Отделом письменных источников ГИМ, кандидату исторических наук А.Д. Яновскому за содействие в публикации рукописи. Искренне благодарим старших научных сотрудников архива Н.Б. Стри-

[17]См.: Научно-ведомственный архив ГИМ. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 602.

жову и И.В. Плюшкину за помощь в работе, а также Е.П. Крюкову, любезно предоставившую нам фотографии и записи из домашнего архива И.Е. Огневой.

Идея издания рукописи была поддержана директором Института этнологии и антропологии Российской Академии наук, доктором исторических наук В.А. Тишковым, который оказывал всяческое содействие в процессе подготовки рукописи к печати.

М.М. Керимова, О.Б. Наумова

россия в мемуарах

Прошлое



Свои «Воспоминания детских и отроческих лет» я писала в течение двадцати с лишним лет — писала за недосугом урывками, с перерывами, иногда в несколько лет, писала при все прогрессирующей болезни, до чрезвычайности затруднявшей мне процесс писания. От этого зависят неровности стиля, некоторые повторения, местами излишняя сжатость изложения. Сознавая все эти недочеты, я все же прошу печатать мои «Воспоминания» так, как они написаны, без каких бы то ни было изменений в них. Прошу между прочим оставить вставленные местами в текст даты — они могут уяснить отчасти процесс моей работы. Сначала я поставила срок, до истечения которого просила не издавать моей рукописи. Но теперь снимаю это условие: «Прошлое», о котором я пишу, так быстро отошло в невозвратно прошедшее, что оно раньше обыденных для того сроков получило исторический интерес. И те, о которых я пишу, почти все сошли со сцены.

Три цели я имела преимущественно в виду, когда писала свои воспоминания. Прежде всего мне хотелось, даже казалось хорошим сохранить память о тех хороших людях, которыми я была окружена в те годы моей жизни и которым я так много обязана в развитии моей нравственной личности. Во-вторых, мне хотелось запечатлеть черты ушедшего быта — отсюда я останавливалась подробно на внутреннем устройстве домов, расположении и убранстве комнат, на излюбленных в данное время красках, рукодельях, туалетах и пр. В общем изложении эти подробности могут показаться ненужными и скучными, но бытоописатель должен найти в них интерес — и я жалею только об одном: что я не ввела больших подробностей, пропустила много характерных мелочей. В-третьих, я имела в виду проследить, под какими сложными влияниями складывается постепенно, начиная с детства и отрочества, человеческая душа, — и потому останавливалась на крупных и мелких впечатлениях, оставивших на мне след. Эта сторона моих воспоминаний может, мне кажется, заинтересовать педагогов и психологов. Она может найти отклик и в юных читателях. И если мои воспоминания прочтутся когда-нибудь с интересом детьми и подростками, пусть знают они, что это будет для меня большой радостью.

29 V 1926

ЧАСТЬ I

Писать свои воспоминания я начинаю в 38 лет. Это рано — по общепринятому обычаю писать свои записки, когда достигнешь уже преклонного возраста. Но мне кажется, это не совсем так. С годами многое позабывается, многие чувства утрачивают свою свежесть. Мне было года 22, может быть, когда я написала для себя воспоминания о моем первом увлечении — когда я была четырнадцатилетней девочкой. Я сожгла их, уезжая куда-то на лето: я боялась, что, если в эту поездку умру, эти несколько листиков будут прочитаны моими близкими. Мое чувство не было, однако, в свое время тайной для них, но описание его во всей яркости переживания я не дала бы никому из глубокого чувства стыдливости. Так вот, это чувство я уже не могу описать так, как описала его тогда: недостанет ни красок, ни наивных слов, да и многое за временем поблекло. Помню также яркое впечатление от нашей первой поездки в Крым, на Север[1]. Многое теперь, если напишу, не выльется так, как вылилось бы раньше. Неудачно писать о событиях, когда они еще переживаются или пережиты в недавнее время. Но нехорошо также писать о них, когда их аромат отлетел навсегда, чувства, возбужденные ими, высохли и умерли или покрылись плесенью.

Думаю также, что время мне приняться за эту работу, задуманную мной давно, потому что не предполагаю дожить до обычного для писания записок возраста. Кончить же эту работу или написать хоть значительную часть ее мне очень хочется. Я очень люблю, как род литературы, записки, воспоминания, дневники. В них для меня ярко встает историческая эпоха. Своя личность, чем дальше я живу, мне представляется все менее и менее интересной. И теперь, в 38 лет, уже ясно глядя в глаза возможной смерти, у меня такое чувство, что я за всю свою жизнь не использовала большую часть своих физических, умственных и душевных сил и той небольшой доли дарований, отпущенных мне. Но я — единица того общества, среди которого я живу. Я отражала в большей или меньшей степени различные веяния, увлечения, заблуждения и идеалы своей эпохи. Интересна не я, но эпоха. Когда же эти запис-

ки увидят свет, если только это случится, мое время будет уже историческим. Вот почему буду писать с полной откровенностью и о лицах, с которыми я сталкивалась в жизни. Многих из них теперь уже нет в живых — к тому времени не останется и прочих, а для мертвых, по-моему, почетнее, чем бесстрастное aut bene aut nihil[2], беспристрастная правда о них, восстановляющая их живыми личностями с достоинствами и недостатками.

* * *

В 1866 году — год моего рождения — моя семья жила на Малой Ордынке, в доме Телешова, в приходе св. Георгия на Всполье[3], где меня и крестили. Я видала этот дом впоследствии многократно и помню, что это был деревянный, обшитый тесом дом с мезонином, окрашенный в темно-коричневую краску. Он стоял во дворе, подъездом во двор, и к его забору почти вплотную примыкал узкий проход, соединяющий Малую Ордынку с «монастырем» церкви св. Георгия[4] на Большой Ордынке. Мне интересно было бы восстановить жизнь небогатого еще купеческого семейства того времени в этом скромном доме, но для этого у меня очень мало материала: воспоминания раннего детства моей сестры и рассказы моей кормилицы.

Вот пришла ко мне моя кормилица. Годами она еще не стара, но выглядит совсем старушкой. У нее такая своеобразная речь, а способ держаться — хорошей и доброй старушки-богаделки. Она ежеминутно крестится на висящий у меня в углу большой образ Спасителя (наша родовая икона, переходящая от младшей дочери к младшему сыну, от младшего сына к младшей дочери и т.д.) и оглядывается в моей светлой, хорошенькой и уютной комнате. И говорит, говорит.

— Царство небесное папаше-то — какое создание оставил вам. Вот жизнь-то соорудил вам, своими трудами. Хо-рошо, хо-рошо. Молиться должны вы, Вера Миколаевна, за него — царство ему небесное. Хороший был барин. Царство ему небесное.

Мне необычайно дорого, что не забыли моего папу, что через много лет после его смерти его вспоминают с любовью, — и я слушаю, не прерывая.

— Как жили-то у вас в Телешовом-то доме — и-их как жили. Всего было — полный дом. Хозяин хороший был папаша. Как осень, бывало, воза тянутся — с рыбой. Солонина своя — кадками. Капуста, огур-

цы — сколько хочешь. Хо-рошее было житье. Квасы какие... Тетя-то ваша, Анна Михайловна (младшая сестра мамы, жившая у нас в доме до своего замужества и заведовавшая хозяйством), бывало: «Ешь, ешь, кормилица. Ешь побольше, лучше кормить станешь».

Вера Миколавна, милая, — продолжает кормилица, наклоняясь ко мне и уже почти шепча, — народ ноне не тот стал. Спроси у нас, старинного народа. Крепкий был народ. Жалованье какое было?.. Три рубля! (Тут кормилица уже совсем нагнется ко мне и произнесет эти слова торжественным шепотом.) ...Правду я говорю? Икона тебе святая! (Она вскочит на ноги и перекрестится на образ, низко кланяясь.) ...Строго было — был порядок. Теперь народ вольный стал. А тогда — харчи какие были! Ворота растворены — кто хочет, приходи. Всего было довольно: запасы свои. Одного птичьего молока не хватало!

Сколько раз ни приходила ко мне кормилица, она постоянно возвращалась к этой теме — к поразившему ее раз навсегда довольству и сытости, с которыми она, очевидно, в течение последующей своей жизни горько сравнивала общее сужение материальной жизни, все возрастающую дороговизну.

Милая моя кормилица! Уже взрослой девушкой я любила выслушивать ее постоянно повторяющиеся рассказы. Они давали мне впечатление далекой жизни нашей семьи. Они говорили о простом, но все-таки более просторном доме, чем нынешние, даже хорошие квартиры, о дворике, поросшем зеленой травой, на который выходила гулять няня со старшими детьми («Мишенька во какой был», — говорила кормилица, показывая рукой) и кормилица со своей питомицей, о простоте и патриархальности той жизни, где, наверное, дети не знали другого общества, кроме няни, кормилицы и горничной Даши, о мезонине, где помещались дети, откуда их, по установленному обычаю, водили вниз и приносили на руках здороваться с мамашей.

— Строго у нас было. Порядок — чтобы все чисто. Анна Михайловна, бывало, все ходит: «Смотри, кормилица, чтобы у тебя все было чисто». Папаша — царство ему небесное — дня не пропустит — по вечерам приходит посмотреть на вас, перекрестить.

И я чувствую, что мое детство и детство моих старших меня братьев и сестры лелеялось заботами, — и передо мной восстает образ беззаветно любимого мной папы, этого сильного человека с нежной душой и великодушным сердцем.

Я была еще бессознательным маленьким существом, так сказать, еще не жила, а вокруг меня уже были люди, окружавшие меня всей силой своей любви. До сих пор чувство глубокой благодарности к ним наполняет мне сердце.

Послушайте бесхитростный рассказ простой женщины, отдавшей часть своей сердечной любви чужому ребенку. Я не могла слушать его без глубокой растроганности.

— Дал Бог дело совершить — кормила я тебя год, три месяца. А как принесли тебя тогда из церкви — Господи, день-то этот. Поставили перед тобой хлеб-соль, вербочку тебе дали... Марья Михайловна взяла тебя — няня, Пелагея Михайловна, хорошая была няня, отдала. Пелагея Михайловна говорит: «Не давай ты ей — как бы она Верочке не дала груди». — «Что вы, — говорю, — Марья Михайловна, стану ли я для такого великого дня...» А вы-то меня и взыскались: «Баба, баба». Выбежала я на лестницу, села — сама реву, реву. Анна Михайловна мне: «Что ты, ну, что ты, кормилица, убиваешься...» Эх, что до сих пор, Вера Миколаевна, матушка, вспомнить не могу без слез этого дня. Пережила я этот день — слава Тебе, Господи. Видно, ничего...

Мне было неполных два года, когда наша семья переменила квартиру. Достаток увеличился, всё растущие средства позволяли жить шире; кроме того, развились запросы, потребности. Мне передавали впоследствии, что жизнь нашей семьи ощутительно переменилась с переходом на новую квартиру. Раньше это был обычный для того времени купеческий «дом»; теперь начались те улучшения во внешней жизни, которые, все разрастаясь, подняли строй жизни до значительной культурной высоты. Весьма возможно, что к тому времени начала определяться личность моей матери, что и она, эволюционируя, перешагнула известную грань. Быть может, она к этому времени только окрепла настолько, чтобы решиться на этот шаг и порвать со средой, многие черты которой не могли не претить ее душе, обладавшей возвышенной складкой. Она порвала с несколькими, связывавшими ее с прошлым, лицами, может быть, с излишней прямизной. Если не ошибаюсь, с этих пор в наш дом начинают привлекаться лица, принадлежавшие к интеллигенции.

В этой новой квартире прошли первые годы моей жизни; здесь создалось во мне многое, что осталось навсегда в моем характере. Кроме того, и квартира эта была своеобразная. Я остановлюсь на ней несколько подробнее.

Мы переселились на Большую Ордынку, в дом Синицына[5], владельца, если я не ошибаюсь, водочного завода. По крайней мере, склад бочек с «вином» помещался во флигеле, в подвалах, приходящихся под частью нашей квартиры. Дом Синицына, существующий до сих пор, построен покоем[6], причем одна из ножек «П» имеет пристройку под прямым углом, образующую опрокинутое «Г». В этом «Г» помещалась наша квартира.

Вход был со двора, мощенного булыжником, с дорожкой из плитняка, ведущей от калитки при железных с фигурной решеткой воротах к главному подъезду самого владельца. Наш подъезд был крыт двускатной пологой крышей, под которой была протянута полоска из железной решетки с золочеными розетками в виде украшения. Со двора надо было ступить по невысоким ступенькам на мощные гранитные плиты подъезда, а с обеих сторон его лежали две гранитные же массивные стенки, на которых так удобно и весело казалось присаживаться нам, детям, пока открывали дверь. Это удовольствие длилось всего минутку. Стоило дернуть медный звонок, который всегда сиял, как жар, наравне с восхищавшей нас медной дощечкой с именем папы, и уже слышны были торопливые шаги сбегавшей вниз по лестнице горничной. Внизу была небольшая прихожая, но холодная, и раздевались поэтому наверху, в большой передней. Лестница, выкрашенная в желтую масляную краску, с перилами из балясин, выкрашенных в белый цвет, широкая и пологая, делала красивый поворот. Лестничная клетка занимала большое пространство, и в ней был переброшен узкий переход, обхватывающий лестницу с двух сторон в виде хор, соединяющий обе половины квартиры, приходящиеся друг к другу под прямым углом. Таким образом, вращаться по квартире можно было и по анфиладе комнат, и по этим хорам над лестницей. С потолка над лестницей спускался замечательно красивый, чугунный, очень большой фонарь с цветными стеклами. Его почти никогда не зажигали по желанию мамы, которая боялась всяких несчастных случаев, особенно с огнем. Но мы любили, присев на двух ступеньках перехода и схватившись за белые балясинки, смотреть на этот красивый фонарь. Глаз с самых ранних лет услаждался красивой формой этой уже тогда старинной вещи.

С лестницы в дверь входили в переднюю, оклеенную желтыми, под ясень, обоями, с ясеневой же тяжелой мебелью — диваном и несколькими стульями, с зеркалом в ясеневой раме с подстольем в простенке

между двумя окнами, уставленными зелеными растениями. Из передней одна дверь вела в две следующие друг за другом небольшие узкие комнаты (одну из них занимала сестра моя Лена с гувернанткой, другую — тетя наша Александра Ивановна, переселившаяся жить к нам как раз в год переезда нашей семьи в синицынскую квартиру, — тетя Анна Михайловна в это время уже вышла замуж и уехала на родину мужа, в Иркутск). Другая дверь в передней вела в комнату, называвшуюся «приемной», в сущности почти всегда остававшуюся пустой, но которой нельзя было дать другого назначения потому, что она была проходной, связывавшей залу и гостиную. В этой комнате мебель была обита кретоном[7], не похожим на теперешний, который быстро вытирается и теряет краски и явственность рисунка, но таким, каким его выделывали тогда: плотным, прочным и не изменявшим окраски целые десятки лет. Мне хочется остановиться немного на этой обивке, потому что она, несомненно, была также одним из эстетических впечатлений, благотворно влиявших на мою детскую душу. По темно-коричневому фону в прелестном сочетании красок были разбросаны длинные ветки полевых цветов, преимущественно серо-голубых и серо-розовых, тонкие травки и порхающие между ними бабочки. Я могла подолгу вглядываться в этот рисунок, который положительно будил во мне лучшие чувства и действовал на меня умиротворяюще.

Зала была, как говорили тогда, «барская» — большая, в четыре окна с долевой стороны и в три окна с поперечной. Стены белые, «под мрамор», широкие подоконники, паркет — превосходной мозаичной работы с красивым рисунком. Маминым вкусом сюда были внесены: бронзовая изящная люстра, два относящихся к ней канделябра, на подстольях двух узких и длинных зеркал, занимавших простенки между окнами долевой стороны, бронзовые же бра в несколько свечей на стенах, массивный ореховый стол, раздвигавшийся на две половины, которые стояли обыкновенно у двух противоположных стен и сдвигались посреди залы под люстрой для чайного или обеденного стола, когда бывали приемы, ореховые же стулья по стенам со сквозными спинками и камышовым переплетом на сиденье, рояль и горка для нот в углу и растения на окнах (из них помню кактусы с ярко-красными цветами, хибискус[8] — его называли «китайским розаном», олеандры[9], илекс[10], восковое дерево[11]). Эта зала была так внушительно красива, что, когда я даже в детстве входила в богатые залы других домов, они не поражали меня удивлением от невиданного и не возбуждали во мне робости.

Шлахтензе, близ Берлина, июнь 1910

Комнаты тети и сестры Лены примыкали к долевой стене залы. В Лениной комнате мое внимание привлекали два только предмета. Это была, во-первых, висевшая над кроватью сестры тетина икона Казанской Божьей Матери[12], которой тетя очень дорожила и которою впоследствии благословила меня. Икону эту очень любила Лена. Она показала нам, маленьким, — Коле и мне, — что лик иконы меняет свое выражение, и долгое время нам это казалось так: лик Божьей Матери становился то строгим, то ласковым и добрым, то до бесконечности грустным. Другой предмет — письменный стол, подаренный Лене мамой. Это был мамин письменный стол, характерный для 60-х годов: ореховый полированный, на изящно изогнутых и крепких ножках, с доской, оклеенной ярко-зеленым сукном, с зеркалом против сидящего за столом, с красивыми полочками по обеим сторонам зеркала. Лена очень гордилась своим столом, небольшой бронзовой чернильницей на нем и стоявшими у нее на полочках вещицами. Всегда у нее все было в порядке, и она с ревнивым вниманием старшей не очень-то подпускала нас к своим сокровищам. Мне нравился самый стол, но вещицы мало привлекали меня — я долгое время не любила никаких bibelots[13], а зеркало меня пугало. С раннего детства зеркала возбуждали во мне неприятное ощущение. Так как сестру рано отдали в пансион, ее комната стояла по будням пустая, и мы редко бывали в ней.

Не то было с тетиной комнатой. Это был особый мирок, в котором мы были всегда желанными гостями, — а дети так чутко это чувствуют. С тех ранних лет, когда тетя заставляла нас с Колей пересчитывать хранившиеся в ее рабочей коробке крючки, петельки и пуговицы, уча нас счету, «играя», как говорила она, когда позднее мы читали ей вслух жития святых по книжкам Бахметевой[14], и до самого конца ее жизни ее комната была для нас убежищем, где мы говорили, спорили, ссорились, раскрывали душу гораздо свободнее, чем в других комнатах.

Особый мирок, конечно. Во-первых, блестевший безукоризненной чистотой. Тетя сама убирала свою комнату. Чрезвычайно брезгливая, она не понимала, как можно дать чужим рукам коснуться своей постели, и оправляла свою сама. Поставив себе принципом жизни деликатное отношение ко всем людям, она не позволяла никому, даже прислуге, которая видела бы в этом свою обязанность, выносить за собой помои. Ее комната, по ее понятию, не должна была напоминать спаль-

ню — иначе, по понятиям того времени, нельзя было принимать в ней гостей. Тетя поэтому спала не на кровати, но на кожаном диване, в нижнюю часть которого она каждое утро убирала свои подушки с простыми наволочками и ситцевое стеганое одеяло с простынями. Этот диван с зеленой обивкой, ореховым ободком спинки, несколько дешевых деревянных стульев, столы ломберный и маленький круглый, покрытые белыми вязаными салфетками, горка и киот[15] — вот и все убранство этой комнаты, носившей до известной степени строгий характер. На окнах — «цветы»: тетя решила выращивать отводочки, любимые ею олеандры, которые редко, но все же иногда доставляли ей радость цветением, вокруг одного из окон и вокруг киота вился ее любимец — плющ. Горка — для нас источник наслаждения. Такими интересными казались голубой чайный сервиз Тереховской фабрики[16], бледно-зеленая стеклянная круглая сахарница, голубовато-лиловая гарднеровская чашка[17] оригинальной и красивой формы, полученная ею на память от одного знакомого. Тетя очень дорожила, что у нее есть свое хозяйство. В дни своих праздников она раскладывала у себя в своей узкой и длинной комнате свой ломберный стол[18], выставляла к кипящему самовару свой чайный сервиз, ставила свое угощение и приглашала домашних к себе в гости. Мне чудилось, что старшие смотрели на это, пожалуй, как на излишнюю щепетильность — ведь готовы были сервировать ей стол в обычном для других семейных праздников порядке, но нам, детям, казалось необычайно весело и вкусно пить чай из этих чашек и есть приготовленное ею угощение: мармелад, ландриновские карамельки[19], мятные пряники и каленые кедровые орехи. Тетин киот — кто хоть раз наблюдал ребенка перед киотом, задумчиво рассматривающего в нем иконы, тот знает, какой рой представлений может при этом зародиться в уме ребенка. У тети в киоте было очень много икон, больших или меньших размеров образов. И про каждый из них она умела рассказывать. Не только житие изображенного святого и его чудеса — как мы любили, например, рассказ о чуде св. Трифона с соколом[20], — но также откуда, из Киева, от Троицы, из Воронежа или другая какая иконка, по какому случаю она привезена, кем и т.д. Мы узнавали, например, что великомученице Варваре[21] надо «молиться от напрасной смерти», что однажды ночью тетя слышала чей-то голос во сне, говоривший ей: «Молись святой великомученице Варваре», — и в этот день она пошла купаться и стала тонуть; но, вспомнив свой сон, она призвала на помощь великомученицу

и — «будто кто-то мне руку протянул и выбросил меня на берег», — кончала тетя. В память этого события у тети и висела в киоте икона святой великомученицы Варвары, привезенная из Киева. Мы узнавали, что такая-то иконка имеет особую цену, так как писана на дереве от церковного престола, что вон та иконка святого Николая Чудотворца, отличающаяся от обычного типа, привезена из К<арловых> Вар посетившим многие заграничные страны К.С. Мазуриным[22], что вон той иконой благословил тетю почитаемый ею киевский старец отец Исихий[23], — и рассказ об этом всегда сопровождался воспоминаниями тети о красотах Киева, о его высоких горах, сыпучем белом песке и густолиственных ореховых деревьях.

Тетя всегда была занята работой — и в этом тоже заключался особый характер ее мирка. Тетя всегда повторяла, что стыдно «сидеть, сложа руки». Она шила себе белье, платья, кроила и перешивала, вязала чулки. Рабочая обстановка — опять-таки целый мир для детей. Я запомнила, например, как кроились и обшивались узким шелковым дизере так называемые «паточки»[24], украшавшие платья по моде тех годов, и очень занимало меня обтягиванье деревянных пуговиц материей. Другая была еще работа у тети — это шитье церковных одежд, воздухов[25] и пр. Другие впечатления давала она: бархат и шелк ярких цветов, ярко-желтая, режущая глаз коленкоровая подкладка, позумент и казавшиеся такими миленькими пуговицы бубенчиками, красивые и интересные и с которыми, однако, тетя никогда не позволяла играть. Тете, наверное, казалось невозможным дать нам для игры хотя бы одну пуговку потому, что в ее глазах это были все же священные предметы, может быть, также потому, что она шила ризы большею частью из чужого материала и не считала себя вправе распоряжаться даже мелочью. Если не было церковной работы, тетя находила другую — изготовление поддонников под лампы, подсвечники и пр. Какой только материал не утилизировался для этого! Были поддонники из разноцветных обрезков сукна, выкроенных фигурами: кругами, ромбами и пр., и которые расшивались разноцветными же шелковинками в узор. Бывали поддонники из коричневой клеенки, расшитые «турецкими бобами» из белых каменных пуговок или дынных семечек. Наконец, поддонники украшались иногда яркими шерстяными цветами и шерстяным же ярко-зеленым «мохом». Дело было в том, чтобы употребить с пользой накопившиеся обрезки шерсти — а таковых при большом количестве домашних работ всегда находилось достаточно.

Если в будни комната тети представляла трудолюбивую лабораторию, в праздники же она носила печать полного покоя. Тетя до конца жизни строго соблюдала праздничный отдых. Прибранная комната как бы вдвойне против буден блестела порядком и чистотой. Работа лежала в сторонке аккуратно сложенная — и тетя позволяла себе любимое развлечение: чтение. Теперь, когда я вспоминаю все это, какой мудрой и целесообразной кажется мне эта жизнь, полная труда, эта боязнь праздности и этот необходимый и достойно проводимый праздничный отдых.

Воображаю себе, что вечером мы с Колей, насидевшись у тети, наговорившись, пересчитав и все петельки и пуговки, вдруг снялись с места, чтобы бежать к маме. Тогда нам прежде всего приходилось пробежать через залу — а она освещена только лампадой, теплящейся перед иконой Спасителя в углу. Лампада — голубая, с круглыми прозрачными прорезами в стекле — льет благостный, успокоительный свет, но лик Спасителя древнего письма смотрит строго. Чувство страха неизменно охватывало нас в зале, когда в ней царила эта полутьма, — и вот мы, схватившись за руки, быстро пробегаем через нее. Пробегаем также темную «приемную» — и уже слышны бодрящие человеческие голоса. Еще — темная гостиная, комната, ничего нам не говорящая. Устроенная по шаблону того времени: узкий диван у задней стены, противоположной окнам, перед диваном стол, кресла вокруг стола и у поперечных стен, в простенках между окнами — узкие высокие зеркала с подстольями, — она служила только для более официальных приемов и имела для меня привлекательность только на Рождестве и Пасхе, когда у окон высокие на ножках жардиньерки[26], окрашенные под березовую кору, наполнялись цветами: розами, резедой, тюльпанами, лакфголями[27] и лиловыми цинерариями[28]. Тогда иметь цветущие цветы в зимнем сезоне считалось роскошью, да и оранжерея, где можно было покупать их, в Москве была одна: Фомина[29], перешедшая впоследствии к Ноеву[30].

Темнота в гостиной нам также страшна, но мы пробегаем ее быстро — и вот мы у мамы, в ее комнате. И это опять другой мир.

8 IX 1925

«Мамина комната» — ее уголок, в котором она любит по преимуществу сидеть, — небольшая удлиненная комната в одно окно. Перед окном стоит стол, покрытый бархатной скатертью. В углу между окном и дверью в гостиную — кушетка, на которой обыкновенно и сидит мама.

За дверью в гостиную по той же стене широкий диван; у противоположной ему стены и вокруг стола мягкие стулья широкого, разлапистого фасона. Вся мебель очень удобна, располагающая к покою. Но маму мы всегда в этот вечерний час застаем за работой. Перед ней на столе стоит низенькая керосиновая лампочка, фарфоровая, розовая с рисунком из разбросанных цветов, изящная, как все предметы, бывшие в ее употреблении. И она шьет кому-нибудь из детей белье или платьице своими тонкими красивыми пальчиками, и непременно тонкой иглой, тонкими нитками и мелкими изящными стежками. Она редко сидит одна: с ней папа, или ее любимица, папина племянница Анета Кальман, или приехавшая к нам гостить папина сестра, тетя София Ивановна Гущина. Они мирно беседуют, еще чаще кто-нибудь из них читает вслух. Если Лену привезли на праздник из пансиона, она занимает место рядом с мамой на кушетке и ни за что не уступит его нам. Она любит маму восторженной любовью, и у нее всегда есть, что рассказать маме из своей пансионерской жизни за неделю.

За «маминой комнатой» следует спальня папы и мамы, и ею заканчивается анфилада комнат, выходящих начиная с залы окнами на Большую Ордынку. Эта комната была ширмами перегорожена на две части. Задняя составляла собственно спальню, с двумя орехового дерева кроватями — спинки у них были фигурные, красивые — с мраморным умывальником с педалью, с красивым двухстворчатым киотом, перед которым горела лампада. В передней части комнаты между окнами стоял орехового дерева письменный стол папы, горка с хранившимися на память вызолоченными солонками и прочим и мамин комод с приделанным к нему зеркалом.

Другая половина квартиры примыкала к только что описанной под прямым углом. В ней помещалась столовая и две детские окнами во двор и отделенная от них коридором большая комната, слывшая под названием «папин кабинет» и предназначавшаяся для его занятий. Красивая комната с камином и расписными потолками, но оказавшаяся такой холодной, что ее из жилой превратили в кладовую. Нас, маленьких, туда не пускали. Из коридора же вели двери в небольшие комнаты, занимаемые одна — мальчиком, служившим у папы в приказчиках, другая — нашей экономкой, Ольгой Ивановной.

Столовая наша оставила на меня малое впечатление. Но, помню, в ней висел киот, перед которым я часто застаивалась. В нем были две

иконы: вверху — непонятная мне по символичности своей «Живоносный Источник»[31] и внизу — святой Алексий Божий человек[32], житие которого мы знали и который поэтому был нам близок и понятен, а по сторонам его — четыре святителя московских[33]. Перед этим киотом, помещавшимся в углу, стоял на высокой белой, «под мрамор», говорили тогда, алебастровой подставке предмет, привлекавший неизменно наше внимание. На постаменте, украшенном мелкими ракушками, такими красивыми и разнообразной формы, была утверждена стоймя большая морская раковина, и в ее полости стояло небольшое Распятие: бронзовая фигура Христа на перламутровом кресте. В нижний край раковины была вделана изящная круглая лампадочка. В столовой же висел большой портрет бабушки Елены Афанасьевны, матери папы. Бабушка сидела, как живая, в белом тюлевом чепце, в буклях по обеим сторонам прямого пробора, в белой кашемировой шали с узкой пестрой каймой, спущенной с плеч и открывавшей декольтированное платье с короткой талией. На шее — колье из нескольких нитей жемчуга с сапфировым фермуаром[34], в ушах — жемчужные серьги, на длинных и тонких пальцах красивой руки — два кольца. Лицо тонкое, удлиненное, красивое, умное и энергичное, но немного холодное. Портрет этот имел ту особенность, что глаза бабушки, темные, с живым взглядом, всегда глядели на смотрящего на нее, с какой бы стороны ни подойти к нему. Казалось, что бабушка следит глазами за всеми, находящимися в комнате, казалось, что бабушка на портрете — живая. Поэтому портрет этот вызывал у нас в душе какой-то ужас — и не только в годы раннего детства, но и гораздо позднее.

В этой половине квартиры запретными для нас были «папин кабинет» (из-за холода), комната мальчика-приказчика, дверь на лестницу, ведшую в кухню, которая помещалась в нижнем этаже (согласно воспитанию того времени, нас разобщали всячески с прислугой и миром кухни и девичьей). Но в комнату Ольги Ивановны доступ нам был свободен.

Ольга Ивановна — как хорошо я ее помню. Она производила на меня впечатление чего-то круглого. Небольшого роста и толстенькая, в платье с круглой пелериной, в круглом шиньоне. И лицо у нее было круглое, и круглые серо-зеленые глаза, и каталась она по комнатам и коридору как шарик. Скорая на ходу и легко раздражаемая. Раздражившись, становилась неприятной. Рассердившись, она выходила из себя: влетала в свою комнату, как снаряд, срывала с себя свой круглый шиньон и

бросала его с размаха на комод; потом так же порывисто кидалась на кровать и зарывалась лицом в подушку. Было во всем этом — часто притом повторяющемся — что-то комичное, особенно когда причиной такого видимого отчаяния были мы, дети, напавшие на нее в коридоре с криком и шумом с целью «взять ее в плен». Мы только играли, не имея ровно никакого злого намерения, — а она серьезно обижалась. Но мне всегда бывало жаль ее, и я влезала к ней на кровать утешать ее. И это мне удавалось. Не знаю отчего — может быть, оттого, что я была меньшая, — она чувствовала ко мне необычайное пристрастие. Она называла меня нежными именами: «виноградинка» и «цыпинка святая» и, встретив меня в коридоре, душила меня поцелуями. И, затащив меня к себе в комнату, кормила сладостями.

Шлахтензе, 1910

Тетя Александра Ивановна не раз рассказывала мне: «Вы переехали на синицынскую квартиру, когда тебе шел второй год. Так мне тебя жалко бывало. Ты, маленькая, была такая крикуша. Бывало, няня носит-носит тебя — и бросит тебя на постель. А я тебя возьму на руки, хожу с тобой по детской и показываю тебе на потолок: «Гуси, лебеди летят» — на потолке у вас тогда были расписаны гуси и лебеди. Ты смотришь, смотришь, бывало, и успокоишься». Этих расписных потолков я не помню. Потолок в детских был потом замазан ровной белой краской.

Детских было две. Одна — наша с Колей. Две деревянные кроватки с деревянными же долевыми стенками стояли параллельно друг к другу и так близко, что между ними помещался всего один стул, и мы могли свободно протягивать друг другу руки. С нами спала няня. Две печи выступали вперед, срезая внутренние углы комнаты. Два окна, обращенные на юг, освещали ее. Странным образом я помню прекрасно рисунок обоев, который я впервые увидала в детской, и не помню тех, которыми их вскоре заменили.

В другой детской, смежной с нашей и со столовой, жили Миша, Алеша — и с ними Дунечка. К ней я вернусь сейчас.

От первых лет моей жизни у меня сохранилось мало воспоминаний. Первое сознательное — то, что я стою посреди какой-то комнаты и отчаянно кричу: что-то неимоверно страшное спускается по оконному стеклу. Какая-то женщина, присев передо мной, меня успокаивает; другая —

снимает с окна страшное, и я узнаю, что это — «паук». Это было на даче в Сокольниках, и мне было тогда два года. Я помню, что нас, детей, водили гулять «на круг» — это слово осталось у меня в памяти. Также помню, что няня почему-то говорила о двух «барышнях», которые гуляли на кругу в ярко-синих платьях, и я их видала не раз — но почему-то эти две барышни в своих синих платьях у меня ассоциировались с фигурными, из орехового дерева, украшениями нашего большого дивана, так что в моем представлении фигурные украшения дивана были синими барышнями Сокольнического круга.

Наша няня ушла от нас рано, когда я была еще очень мала, — а я все-таки помню ее, хотя смутно. Ею бывали часто недовольны, делали ей выговоры за небрежность, — а я ее жалела. Помню, как она садилась у окна нашей детской, и мы — вокруг нее, и она рассказывала нам сказки. Так хорошо помню впечатление от сказки «Теремок». Мы любили ее слушать — наверное, потому, что страшный конец ее: «Пришел Мишка и всех задавил» — был известен заранее и доставлял приятное возбуждение от ожидания чего-то жуткого и неминуемого. Помню, что няня брала вещи старших детей в их отсутствие и давала их нам с Колей поиграть, а мы их портили. Это вызывало негодование старших детей, а няня защищала нас словами: «Они — маленькие». Эти слова, часто повторявшиеся, еще более сердили старших, особенно когда дело шло о книгах Миши, которые мы чиркали карандашом, предполагая, что мы рисуем. Раздавались, очевидно, и другие голоса против няни, по всем вероятиям, тети. По крайней мере, мы, повторяя за ней себе в оправдание: «Мы — маленькие», не были вполне уверены в справедливости ее слов.

Помню из времен пребывания у нас няни, что раз пришла к нам ее молоденькая племянница, и она занимала нас следующим образом. Мы сидели с ней, Коля и я, около окна, и каждый из нас должен был по очереди прикладывать ладошку к листу бумаги, положенному ею на подоконник, а она обводила карандашом растопыренные пальчики. Нам это очень нравилось, и мы просили: «Еще, еще». И потом сколько раз мы просили повторить это удовольствие, но никто больше не забавлял нас таким образом.

Но на этом самом подоконнике мы нередко забавляем друг друга рисованием. Перед нами клочок бумаги — общий, и мы передаем друг другу по очереди общий карандаш. И между нами несчетное количество

раз происходит все тот же разговор: «Хочешь, — начинает, например, Коля, — я нарисую тебе...» — «Ах, нет, — спешу я возразить, — я знаю, что ты нарисуешь Акулину». — «Нет, я не стану рисовать Акулину». — «Ну так Степаниду». — «И Степаниду не стану». — «Правда, не станешь?» — «Правда». И он рисует — и все-таки либо Акулину, либо Степаниду. Акулина — это для нас обоих — совершенно непонятно мне почему — была фигура, напоминающая «турецкий боб», а Степанида — спираль наподобие раковины улитки. Обе эти фигуры чем-то раздражали нас и в то же время имели для нас привлекательную силу. И удовольствие их рисования состояло именно во вступительном диалоге, в ожидании увидать, несмотря на заверения, желанную и нежеланную фигуру.

Еще помню, как няня раз повела нас в гости к нашей бывшей горничной, Даше, вышедшей замуж за швейцара при здании Судебных установлений[35]. Даша, которую няня звала Дарьей Алексеевной, полная, краснощекая, очень обрадовалась нам — и, помню, от этого было приятно и весело. Мне прекрасно запомнился вход в здание, а важный вид Дашиного мужа произвел на меня внушительное впечатление.

Но вот няня ушла, и в двух детских одна с нами Дунечка*. Кто была Дунечка, я этого никогда не знала, а впоследствии совестилась спросить. Я знаю, что она воспитывалась в приюте, кажется, на средства Третьяковых. Потом, еще девочкой, была отдана в дом к нашей бабушке, Анне Ивановне (мачехе папы), и здесь очутилась под ближайшим покровительством тети Александры Ивановны, жившей тогда вместе с мачехой. Здесь она научилась работать — так непрерывно, так добросовестно, как работали бабушка и ее сестры, Елизавета и Варвара Ивановны, тетя. Дунечка хранила благодарную память о людях, оказавших ей так или иначе добро, но к тете она чувствовала безграничную любовь и преданность. Это была беззаветная любовь, которая любит, можно сказать, другого больше, чем себя. Она молчала о ней — потому что вообще молчала много, не умела говорить. Но то, как она иногда глядела на тетю, как она за ней, больной, ходила, то, как она слушала речи тетины и наставления, как молча плакала мелкими, необильными, но тем более значительными слезами сочувствия тетиным огорчениям, говорило больше слов. У меня, даже маленькой, было такое чувство, что ради тети она готова на все, все снесет покорно и безропотно, на все смолчит. Непонятно мне было: она сначала сидела за столом с нами. Но в

*Евдокия Николаевна Антонова, рожд. Зайцева, скончалась в 1926 г.

один прекрасный день за столом вышел какой-то неприятный разговор, который остался недоступен моему пониманию, — и Дунечка встала молча из-за стола и больше никогда не садилась за семейный стол в столовой. Я помню выражение ее лица, когда она вставала, то лицо, которое я увидала у нее, когда после обеда в детской кинулась утешать ее. Но ни слова, в котором бы сказалась ее обида, я не услыхала от нее. И никогда вообще не слыхала я от нее жалоб. Она могла служить примером молчаливого терпения.

Что-то с этого дня переменилось в ее положении в нашем доме. И уже позднее немного я помню ее на положении доверенной прислуги, обслуживавшей маму, заведовавшей хозяйством, когда мы живали на даче, обедавшей отдельно от слуг, но не смешивавшейся с семейными. Может быть, новые формы, которые принимала наша семья, преимущественно стараниями мамы, выделяла чужих и между тем близких членов семейного общежития. Так, например, скоро исчез из нашего дома молоденький приказчик Капитон Ефимович, белобрысый «Капочка», который за общим обедом фыркал некстати, так по-глупому, по-молодому и невоспитанному. Он был последним насельником[36] комнаты, предназначенной для приказчиков, живавших в те времена при хозяине и получавших от него кроме жалованья стол, квартиру, надзор и попечение хозяйской семьи.

Роль Дунечки в нашей детской жизни огромная. Я постоянно буду возвращаться к этому милому, задушевному, кроткому и преданному человеку, которому я так много обязана. Теперь я вспоминаю только свое раннее детство. Из этого времени — до пяти с половиной лет — у меня только отрывочные картины остались в памяти. Все-то она хлопочет, все она занята каким-нибудь делом. Она еще молодая, некрасива собой. Волосы расчесаны на прямой пробор по моде того времени. Она укладывает нас с Колей спать раньше старших детей. Она моет нас в корыте, которое ставят возле жарко натопленной печи в детской, подперев его для устойчивости полотенцем. Ясно вижу сидящего напротив меня — нас моют за один раз, и мы так малы, что оба удобно помещаемся в одном корыте — Колю с висящим на шнурке шейным медным образком. Слышу успокоительный голос Дунечки, когда, бывало, расплачешься, если мыло попадет в глаз. И когда мы вымыты, нас, закутанных в простынку, несут в кровать — и Дунечка поит нас теплым сладким чаем с молоком. Почему-то необычное чаепитие в кровати кажется особенно

2 — 249

вкусным. Дунечка же учит меня играть в куклы. Это вовсе не так легко. Мне, как девочке, дарят куклы, а я положительно не знаю, что с ними делать. Они сидят бездушные, не возбуждая во мне никакой работы фантазии, а дают одну досаду. У Дунечки сейчас готова целая история. Она устраивает кукольный домик; у нее куклы ходят друг к другу в гости; Юленьке велят учить уроки на рояли, а она просит отпустить ее побегать. Ей позволяют пробежаться три раза по зале, потом она присаживается к рояли. Я начинаю внимательно слушать. Дунечка рада: «Ну, теперь ты сама». Но мое воображение заработало в другом направлении. Я продолжаю сочинять про Юленьку, но про такую, какой мне она представляется, живую девочку, настоящую, создание моей фантазии, а не про эту безжизненную, «незаправдашнюю», с фарфоровой головкой, накрашенными черными волосами и неизменной скучной улыбкой. Тщетны все усилия Дунечки вернуть меня к кукольному миру. Мне скучно в нем. Я гораздо больше люблю, когда она нам рассказывает сказки. Небольшой у нее репертуар, но она рассказывает их так хорошо, с чувством, сказала бы я теперь. Помню, как я любила сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку — я применяла ее к себе и к Коле, и моему сердцу так по-особенному понятна была великая любовь сестрицы к братцу. Бывало также хорошо, когда Дунечка говорила нам наизусть стихи. Она при этом понижала голос и говорила нараспев, немного нетвердо, как все стесняющиеся декламировать при ком-нибудь. «Что ты спишь, мужичок?»[37] Могу положительно сказать, что я тогда почти ничего не понимала в этом стихотворении, но определенно — от самого стихотворения, от грустного тона Дунечки — передо мной рисовалась картина грустного запустения. Мне становилось грустно, точно на свете где-то было что-то мной еще не виданное, непохожее на то, что меня окружало... задумывалась над чем-то и все просила Дунечку повторить.

Современные дети, у которых под руками так много книг, картин и пособий всякого рода, не смогут понять, как мы развивались и получали знания. Как мы вбирали впечатления, жадно ловили их всеми нашими чувствами, как мы перерабатывали их в нашем сознании, создавали себе представления. Зато как помнилось все приобретенное. Известна шутка, которая проделывается над маленькими детьми. Посадят ребенка на колени к себе, слегка подкидывают их, приговаривая: «Ехал, ехал караван по степи Сахаре», — и, когда ребенок в полном удо-

вольствии от воображаемой езды на верблюде, вдруг под ним раздвигаются ноги и при словах: «Ехал, ехал, не доехал» — он летит на пол, поддерживаемый руками великодушного старшего, изображавшего верблюда. «Ты знаешь, что такое караван? — спрашивает меня Миша. — Показать тебе?» Он вместе с Леной приносит книгу — для него сокровище, потому что это, может быть, первая и единственная у него книга в красивом переплете. На обложке — два араба, нагруженные верблюды, пальмы. Теперь я знаю, что такое Сахара, караван, пальмы, и ни один учебник географии мне не объяснит это лучше, чем эта единственная картинка, которая до сих пор сохранилась в моей памяти.

У старших детей меняются гувернантки — я их едва помню. Они меняются, одна другой неудачнее, и не вносят ничего в нашу, мою и Колину, по крайней мере, жизнь. Развивал нас Миша — со своей неудержимой жаждой знания, с желанием делиться им. Миша отдан в Поливановскую гимназию[38], но одно мучение с ним. Он не учится, шалит, вечно оставлен. К нему по вечерам ходит репетитор, но всякий раз почти учитель ждет его, а Миша скитается по коридорам или забегает в детскую и качается, ухватившись за спинки двух кроватей, возбуждая восхищение в нас, маленьких. Миша капризен и несносен.

Например, в воскресенье утром тетя заставляет нас молиться всех вместе. Она поставит Мишу впереди, нас, маленьких, позади и велит Мише читать молитвы вслух, а нам — повторять их за ним про себя. Миша стремглав читает «Верую», вводя нас в соблазн, тетю в огорчение. Стоя на коленях, Миша норовит вытянуть то одну ногу, то другую, чтобы задеть нас, и утренняя молитва кончается упреками тети. На Мишу не действуют ни выговоры, ни укоры, ни советы. Он приводит старших в смущение. Но Миша обладает даром чаровать нас, маленьких. За ним уже тогда мы были готовы идти. Вечно живая мысль билась в нем, искала себе выхода. Миша вечно что-нибудь придумывал, мастерил, клеил, рисовал, читал, учился помимо гимназии. Помню, мы раз с Колей хворали и теперь выздоравливали. Нас не выпускают еще дальше детских. И вот перед обедом к нам входит с деловитым видом Миша и заказом нам: вытащить из супа с потрохами все кости и доставить ему. Пользуясь снисходительным присутствием Дунечки, мы делаем то, чего не позволили бы себе за «большим столом»: вылавливаем из тарелок гусиные шейки и лапки. Делаем это с интересом к предстоящему. А после обеда Миша врывается к нам: исполнили ли мы его по-

ручение? И в награду он объясняет нам про кости птиц то, что сам недавно узнал в гимназии. В другой раз ему, по настоятельной его просьбе, приносят из кухни внутренности курицы. Он собирает нас вокруг стола и показывает нам сердце, печень, легкие.

Эти уроки, схваченные на лету, как-то запечатлевались в памяти. Твердо знаю, что об огнедышащих горах и дремучем лесе мне дал первое представление Алеша. Я помню, с каким торжеством удавшегося замысла он положил передо мной на подоконник второй детской лист бумаги, на котором им было изображено в красках извержение вулкана. Так как я живо помню его картинку, я могу сказать, что в ней обильны были зигзагообразные красные полосы текущей «лавы» и синий дым валил клубами из треугольников — «гор». И эта намалеванная картинка все-таки дала мне правильное представление о вулканах. А нарисованная им картинка «Дремучий лес»! Как все в нем густо переплелось! Так должно было быть в дремучем лесу, так бывает в нем — пройти нельзя. А сбоку между деревьями извивалась страшная очковая змея. Горячие объяснения Алеши, воображение, добавляющее свое, — и вот готово представление.

Москва, 1910

В мирном течении жизни, в этом тихом детстве, когда наш детский ум, детскую душу не спешили загромождать новыми впечатлениями, насильственно не будили мысль, каждое более или менее выдающееся явление откладывалось на памяти неизгладимой картиной. Оно вырастало в событие, из которого ум и душа черпали новое: знание ли, понятие ли, жизненный ли урок. Складывался характер, ум выбирал направление мысли более медленно, но более основательно и прочно.

Я помню ряд таких не изгладившихся до сих пор из моей памяти впечатлений и картин.

Елка — я помню только две елки у нас в доме, потом их отменили. Помню, что зала, залитая огнями, оживленная большим собранием, внесла в мою душу то чувство стеснения, которое я испытывала во все свое детство перед собранием гостей. Радость елки я почувствовала не тогда, когда кругом меня были оживленные лица старших, улыбки, веселые голоса (они только увеличивали мою робость), — нет, я почувствовала ее позднее (так я долгое время в жизни переживала все радовавшее меня), когда я очутилась «на сон грядущий» в своей детской, с

няней, с только что полученными игрушками. Но и тут радость кончилась печально. Няня, вместо того чтобы уложить меня, как ей было приказано, позволила мне играть. Мы сидели с ней по обеим сторонам складного стола и катали друг к другу доставшегося мне с елки барана или козла с золочеными рогами. Вдруг стул, на котором я стояла, поехал подо мной, и я упала лицом на стол. На мой крик прибежали. Бранили няню, козла унесли — и внесли в детскую частицу той боязни старших, которая давила сердце в зале.

Я больна и лежу в своей кроватке с деревянными стенками. Алеша и Коля думают меня развлечь. Они повязывают себе голову красными шейными шарфами, в которых их водят гулять, и приходят ко мне «в гости». Мне сначала это приятно, а потом утомляет, и их отгоняют. Тогда мне становится скучно без них. Я вообще всегда-всегда тянусь к ним.

Другой раз — мы хвораем вместе с Колей. Мы уже выздоравливаем, но все еще лежим в наших параллельно стоящих кроватях. В окна детской льют яркие лучи солнца, а за окнами раздается колокольный звон. В ногах у нас, у спинки кроваток, стоят свежие березки, а скоро приходят к нам старшие дети с букетиками в руках. И Миша с Леной объясняют нам, что сегодня Троица. Теперь я знаю: когда говорят «Троица» — это свежесрезанные березки, это цветы в церкви, это яркое, золотое солнце.

Еще — говорят вокруг меня, что у нас будут «живые картины». Что это такое? Все двигаются в залу, садятся на расставленные рядами стулья. «Живые картины» устраивает Миша. Что же это такое? На полу лежат подушки с дивана, а на них полулежит наша двоюродная сестра Лиза, хорошенькая, прелестная своей улыбкой девушка. Возле в неподвижности сидит Миша в чьем-то чужом пальто, сидящем на нем халатом, с головой, повязанной шарфом. Что же тут особенного? Ведь это — Миша, почему-то сидящий, поджав под себя ноги калачиком; ведь это — Лиза, почему-то удерживающая улыбку и устремившая в одну точку свои блестящие, ярко-синие глаза. Но все кругом очень довольны, говорят: «премило», поздравляют Мишу. И я получаю первое понятие о том, что такое театральное представление. Лиза надела на голову какую-то расшитую повязку — и стала не Лизой, а какой-то царевной, кажется, персидской. Миша повязал голову шарфом — «чалмой», объяснили нам, надел широкое пальто — «халат», сел «по-турецки» — и стал уже не

Мишей, а восточным человеком. И что требуется воображение, дополняющее недостающее, это я тоже поняла.

Я с любовью записываю все эти мелкие впечатления. Они дороги только мне и тем, кому я дорога. Но я не могу не записать их. Мне кажется, все они были при чем-то в созидании моего душевного облика. В изготовлении этой ткани участвовали все вы, милые мои и дорогие, хранившие мое и Колино первое, еще слабое детство.

Разговоры кругом — пока ушей моих касаются с полной ясностью только те, которые я слышу в детской. Положительно утверждаю, что я тогда еще не понимала или не интересовалась тем, что говорили взрослые. В детской, где Дунечка постоянно что-то кроит, шьет или чинит и куда приходит иногда работать тетя, они обе часто разговаривают друг с другом; но и эти разговоры проходят мимо ушей. Только одного вида разговоры приковывают мое и Колино внимание — и они наполняют душу мистическим ужасом.

Тетя — враг всяких ненужных и неосновательных страхов. Ей нельзя, например, признаться в том, что боишься темноты. Она презирает малодушие и страх перед чем бы то ни было. Конечно, мы с Колей перед ней и друг перед другом хвастаем, что мы ничего не боимся. Но так как тетя имеет полное основание не доверять нам в этом отношении, то она прибегает к следующему способу закалить нас против страха. Сидя с нами у себя в комнате, она вдруг скажет: «Кто принесет мне мою коробочку с пуговицами (или что-нибудь другое) — я оставила ее в детской». А это значит, что надо пробежать через темную залу, по хорам, повисшим над темной и пустынной лестничной клеткой, мимо пустой столовой с страшным бабушкиным портретом, по коридору. «Я», — геройски отзовется кто-нибудь из нас, а сердце начинает биться. Но другой, движимый любовью, тотчас скажет: «И я». И станет тотчас легче оттого, что можно будет пробежать страшные места, схватившись за руки. Бывали, однако, случаи одинокого странствования. Тогда вернешься, бывало, бегом с пуговицами, крючками и прочим, а чувство страшного остается позади, там, в пустых и темных комнатах, точно оно живет там. Тетя хвалит за мужество — но не желаешь повторения подвига.

Но сама тетя, бессознательно разумеется, больше всего, может быть, способствовала развитию в нас безотчетного страха.

Тетя — мистик. Таковы люди ее поколения. Их волнуют вопросы, что там, за завесой видимого мира? Что такое рай и ад? Что такое за-

гробный мир и загробное существование? Не удивительно ли, что на Большой Ордынке, в маленькой квартирке, снимаемой в доме священника, сын тогдашнего биржевого маклера, Николай Иванович Сахаров, беседует часто об этих вопросах с молоденькой своей племянницей, выучившейся читать и писать самоучкой? Тетя и любимый ее «дяденька», этот «святой человек», все свои деньги отдававший своей обедневшей сестре-вдове на содержание ее многочисленной семьи, живший не для себя, а для других, дали друг другу слово, что первый из них, кто умрет, придет к другому и принесет ему вести из загробного мира. Умер Николай Иванович. «Я глаз не могла осушить», — говорила всегда тетя, вся молодость которой прошла в горьком оплакивании одного за другим самых близких сердцу родных. Но прошло довольно много времени, пока явилось обещанное сообщение. Раз вечером тетя, усталая, прилегла на диван, а рядом или через комнату слышались голоса: были гости (мне помнится, будто тетя гостила в дружеской семье Третьяковых). Вдруг тетя открыла глаза: в полутьме ее комнаты стоял «он», любимый «дяденька», как ходил всегда, в коричневом пальто с капюшоном и в картузе. Тетя спросила: «Дяденька, это вы?» Она нисколько не испугалась. И ясно слышала она его слова: «Всем нам хорошо, а лучше всех Николаю Ивановичу Сахарову». И видение исчезло.

Мы бесконечное количество раз слышали от тети этот рассказ, и он нас с раннего детства убедил, что покойники могут возвращаться. Но в те ранние годы мне трудно было иметь точное представление о том, что такое «покойник», — и я только этим объясняю себе, почему этот рассказ из жизни тети меньше действовал на нас, чем другие ее рассказы, которые мы считали «страшными». Ведь у нас было уже представление о «страшном». Может быть, действовали на нас и рассказы старших детей. Страшен был коридор с стеклянной дверью, за которой виднелись повешенные на гвоздочках платья прислуги, имевшие человекообразные очертания. Страшен он был еще тем, что, когда, бывало, вечером бежишь по нему, своя собственная тень как бы гналась за тобой. Страшно было продолжение коридора, заворот под прямым углом к нему, ведущий к холодной кладовой за стеклянной дверью: здесь была лестница на чердак и она временами таинственно скрипела. Страшны были, наконец, некоторые сны. Я до сих пор живо до подробностей помню «страшный» сон, в котором фигурировал преследующий нас бык, и Ноев ковчег, рассказ о котором я слышала незадолго перед этим.

К разряду «страшных» мы относили и некоторые рассказы тети, конечно, без ее ведома. Ее это бы огорчило.

Во всякой семье отдельным членам ее виделись так называемые «пророческие» сны. Из таких снов тетя любила особенно рассказывать один, предвозвестивший ей смерть ее сестры Вареньки. Умерла старшая сестра тети Наташенька, дочь бабушки Елены Афанасьевны от ее первого брака, — добрая к младшим сестрам и братьям, любимая ими Наташенька, несчастное супружество которой так остро переживалось всей семьей. И после рассказа о своем тогдашнем горе, о своих неутешных слезах тетя говорит внимательно слушающей ее Дунечке: «Вижу я — гуляем мы на кладбище с Варенькой. Ходим мы, смотрим памятники (тетя очень любила прогулки по кладбищам и тихую, мечтательную грусть, навеваемую поэзией кладбища). Вдруг летит Наташенька — несется будто немного над землей, не касается земли. Я будто бы бросилась к ней: «Возьми меня с собой, Наташенька, возьми меня с собой». А она будто взяла Вареньку, положила ее на могилку и привязала ее полотенцем к могилке. И говорит: «Скоро я приду за тобой». И полетела дальше, мне ничего не ответила. А через (не помню, сколько времени, говорила тетя)... Варенька и умерла».

С замиранием сердца слушаю я этот рассказ, после которого тетя всегда горестно качала и поникала головой. Я себе так ясно представляю все. Кладбище — это было кладбище в Архангельском, где мы жили на даче, по которому с грустной мечтательностью любила гулять тетя, Наташенька рисовалась мне похожей на одну декалькомани[39] у Лены, изображавшую парящую над землей женскую фигуру — Осень. Вареньку я видела так ясно перед собой, почему-то в белом платье с розовым кушаком, привязанную полотенцем к зеленому холмику могилы. И было в этом сне что-то жуткое и притягательное — и непонятно и понятно в то же время затрагивало в нем человеческое страдание, желание преждевременной смерти полуребенка-тети: «Возьми, возьми меня», — и грустно было за Вареньку, не желавшую умереть и взятую Наташенькой.

Еще один рассказ — я не понимаю, как тетя могла повторять его при маленьких, обыкновенно боящихся всяких страхов детях. Она делала это потому, наверное, что мы слушали, делая вид, будто не слушаем, но буквально обмирая со страху. Это был будто бы действительный случай. Один «барин» имел обыкновение ложиться отдохнуть днем. И вот что стало делаться. Только что он приляжет и задремлет, ему слышится голос:

«Пойди в Марьину рощу, в такое-то место: там стоят три сосны». Это повторялось каждый день. Он долго мучился, служил молебны в доме — повторялось все то же. Наконец он решился пойти на указываемое ему место. И что же? Действительно, оказалось, что там стоят три сосны, а между ними, к ним подвешенный, «качается розовый гроб»... Я не помню конца рассказа, не знаю, дослушивала ли я его. Весь ужас заключался для меня в этом таинственном розовом гробе, качавшемся среди трех сосен пустынной в те времена Марьиной рощи, и сама ритмичность фразы «качается розовый гроб» усиливала чувство ужасного. Я была уже в 8-м классе гимназии, а картина эта была для меня кошмаром.

X 1911

Или тетя ведет назидательную беседу о значении молитвы, о чудодейственной, охраняющей силе 90-го псалма. Женщина одна, повествует тетя, по пути на богомолье зашла на постоялый двор. Легла спать — и вдруг слышит, что хозяева сговариваются ее убить. Она взяла и залезла под кровать, а сама все читает про себя «Живый в помощи Вышнего». Тетя произносила: «Живыя помощи», и я долго не могла вникнуть в смысл этих слов. Разбойники пришли, стали ее искать, заглянули под кровать. Она — «ни жива ни мертва» и все читает псалом. Разбойники говорят вдруг: «Это лежит полено», — да и вышвырнули ее в окно. Она пустилась бежать и спаслась. «Вот что значит Живыя помощи, — кончает тетя, — живого человека за полено приняли». Про разбойников мы знали, что это — «страшные»: с замиранием сердца я слушала, как кто-нибудь из старших детей читал вслух «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала...»[40]. И вот воображение ярко рисует мне: полутемная комната, такая, какая бывает наша детская, когда свет проникает в нее через дверь соседней комнаты, — ведь комнату ночью мы знали только одну: нашу детскую. Женщина — она такая, как наша горничная, когда она собирается выходить и на голову и плечи накинет свой платок, полосатый белый с черным, — потому что она — простая женщина, то есть была в платке, и потому, что ее приняли за березовое полено (полена мы видели только березовые, когда их приносили в комнаты для топки печей). И окно в рассказе — окно нашей детской, хотя оно и во втором этаже. Но по-иному не представлялось. И было что-то жуткое во всем: разбойники, и темная комната, и быть вышвырнутой в окно, и бежать потом во мраке ночи.

Этот период закончился для меня знаменательным событием: я выучилась читать, или, скорее, выучились мы — так как все в этом периоде у нас было общее с Колей. Случилось же это так. Надо вспомнить, как тетя научилась грамоте самоучкой, скрываясь, движимая ярко сознаваемой в душе потребностью знать, просвещаться, чтобы понять, как она относилась к ученью, к его необходимости. Этого отношения уже не встретишь теперь, когда все это стало так доступно; но подобное отношение я видела позднее в сельской, в воскресной школе, благоговейное чувство к знанию, к «науке». Я помню, нет, я, верите, восприняла в те годы это чувство благоговения к книге от тети. Я жила им, как она, может быть, уже в несколько ослабленном виде, потому что я с точностью могу определить, что я благоговейно относилась только к книге, а тетя и к перьям, и к карандашам, ко всем, так сказать, орудиям просвещения. Ведь все это тоже было не так доступно, считалось роскошью, на это тратились деньги с большой осмотрительностью — надо было особенно ценить каждую такую вещь.

Мне было всего три года, когда тетя осуществила свою заветную мысль во что бы то ни стало выучить нас читать. Мы жили тогда в Архангельском на даче, и наша горничная, Таня, отпросилась сходить на богомолье в Киев. Она вернулась в один прекрасный день и принесла с собой истрепанную книжонку, в которой недоставало несколько листов. Она нашла ее на дороге, пожалела ее бросить и принесла ее с собой. Таня показала книжку тете — это был букварь. В этой находке тетя увидала указание свыше и так объяснила это и нам. Книжка найдена на пути в Киев; Таня, не зная ей цену, передала ее тете — как легко пламенно желавшая мысль делала сближения. Я помню, как говорила тетя о букваре; я могу с уверенностью сказать, что она считала спешным делом выучить нас читать: она знала по себе, что это ключ к знанию, что потом можно самому «до всего дойти». Ее несколько останавливала мысль о моем раннем возрасте, но она, как говорится, «перекрестясь», решилась. Ее останавливало еще опасение, что воспротивятся ее желанию, именно из-за наших лет, и она взяла это дело на свой страх. Она объяснила нам, что мы учимся читать, чтобы «порадовать» маму «сюрпризом» в день ее именин, 22 июля[41]. К счастью, она нашла способных учеников. Я не помню, чтобы нам оказались трудными буквы. Труднее было мне понять склады; я, помню, даже раз заплакала над ними или скорее от упрека тети в бестолковости. Но вот, в один прекрасный день, вдруг

проявился механизм складывания, и с тех пор все пошло легко и гладко. В день маминых именин мы действительно сделали ей сюрприз. Что-то потолковали об этом, но дело было сделано: ключ был дан, и тетя торжествовала внутреннюю победу. Она знала, что заложила первый камень.

Я должна сказать несколько слов об этом букваре: я его любила, и как бы я желала иметь его как воспоминание. Я его точно вижу перед собой. Это — листовка с раскрашенными на лубочный манер картинками на каждую букву. Листик с буквой А был оторван, но на Б был изображен булочник, на Х — хлебник, на Ф — фонарщик. И бумага была серая, и краешки и углы завернулись. И все же то была такая милая и занятная, милая книжечка.

15 X 1911

Книг было так мало в нашем раннем детстве, что невольно с нежностью вспоминаешь каждую из них. Да, тетя выучила нас читать, и с этого времени меня неудержимо потянуло к книге, я это так помню. Но книг не было. Ведь и литературы детской тогда еще почти не существовало, по крайней мере доступной, дешевой, на копейку дающей много радости и здорового чтения. Тетя по своему примеру держалась мнения, что пожелаешь — и одолеешь и самое трудное, и давала нам поэтому то, что можно было, то есть книги старших детей. И мы брали их и одолевали; но долгое время безрезультатно. Эти книги были: «Хрестоматия» Галахова, «Хрестоматия» Басистова[42], любимая книга Миши [«Родное слово»?], Ушинского[43]. Я помню, что мы их держали в руках и что однажды Коля что-то понял в книге Басистова и ему что-то очень понравилось. Но, когда я прочла то же самое, я ничего из восхитившего Колю не поняла. И снова книга была для меня мертва. В другой раз я начала по совету тети читать очень интересный, по ее мнению, рассказ: «Червячок» — кажется, Чистякова[44]. И с первых слов я поняла: мальчик Миша звал девочку Лизу в сад. Это как если бы наш Миша побежал гулять с нашей Леной. И они увидали червячка — и это я могла себе представить. Но затем Миша в книжке заговорил так темно и мудрено, как никогда не говорил наш Миша, и я помню опять чувство грусти от неудачи в чтении. Так много обещавшая книга не давала то, чего я от нее смутно ждала. Было грустно, но я снова обращалась к этому рассказу и снова дальше бежания в сад ничего не понимала. Вдруг в наши руки попала иная книжка — и

вдруг источник наслаждения открылся и потек обильным ручьем. Эта книжка была: «Похождения Белки Бобочки»[45]. Ее читали, восторгаясь, старшие дети; потом, когда книга оказывалась свободной, она переходила к нам с Колей — и мы ее читали не отрываясь, пока хватало, очевидно, силы читать. Мы читали ее вместе, но, мало того, мы ее пересказывали друг другу. И вот, я помню, мы сидим с Колей рядышком в зале, за дверью в тетину комнату, и я рассказываю ему про Белку Бобочку. И того, что я рассказываю ему, я знаю и он это знает, нет в читаной и перечитанной книге. Я рассказываю от себя, и Коля слушает с таким же интересом, как и то, что есть в книге. Но сколько новых приключений у Белки Бобочки. Не ручаюсь, что Белочка не делала того, что делают люди и не делают белки: она мне представлялась не совсем белочкой, а скорей тем, чем были мы с Колей, например. С этих пор книга давала мне наслаждение не только тем, что́ я в ней читала, но также и тем, что́ я создавала в своем воображении благодаря ей. С этих пор, помню, я стала сочинять. Мне было тогда 4 года.

В жизни каждой семьи бывают годы, которые являются как бы рубежом в новую эпоху жизни этой семьи или которые знаменуют собой коренной поворот в русле ее. Таким годом для нашей семьи был 1871 год. В этом году Мишу увезли учиться в Ревель, а скоро после этого Лену отдали в пансион Дюмушель[46].

Из ученья Миши в Поливановской гимназии ничего не выходило. Папе посоветовали отдать его в немецкую гимназию в Ревеле[47]. Кажется, совет исходил от дружественной папе семьи Прохоровых[48] — по крайней мере, мальчики Прохоровы, а также их двоюродные братья Алексеевы[49] уже учились там. Совет мог также быть дан Василием Романовичем Келлером, компаньоном и лучшим советчиком в делах Прохоровых[50], с которым и папа был в лучших отношениях. Василий Романович, конечно, высоко ценил немецкое образование и воспитание. Но в немецкую гимназию был уже отдан и наш двоюродный брат, Ваня Милютин, — старший из большой семьи Николая Михайловича Милютина[51], попечение о которой взял на себя наш дядя, Иван Григорьевич Шипачев[52], женатый на сестре мамы и Николая Михайловича — Ольге Михайловне. Тот факт, что Иван Григорьевич отправил Ваню в Ригу, а впоследствии его младшего брата, Сережу, в ревельскую гимназию, я считаю знаменательным. Семья дяди не была передовой — тянула ее вперед разве Ольга Михайловна, обладавшая крупным и светлым умом. Но, очевид-

но, польза образования уже настолько сознавалась и в купеческих семьях средней руки, что ради него шли с радостью на жертвы и не боялись расстаться с любимцами. Я думаю, менее сознавалась польза образования для дочерей, и я думаю, отдача Лены в пансион, может быть, встретила некоторую оппозицию в постоянных советчицах мамы, ее сестрах. Но мама твердо стояла на своем в этом вопросе и никогда не сдавалась. И для нее было потребностью знание и просвещение, для нее было ясно, что иначе невозможно. Я смутно помню из этого и более позднего времени разговоры на эти темы. Позднее я прислушивалась к ним иногда с мучительным страхом: кто одолеет — это было уже тогда, когда вопрос об образовании касался меня близко. В те годы — ведь мне было всего 5 лет, я чувствовала только смутно, что что-то творится у нас необычное в доме. Я видела огорчение, заботы, тревоги мамы и тети; я помню, что с Миши сняли портрет в фотографии перед отъездом — и вот наконец наступил отъезд, и вот Миши не стало в доме и стало тише. Но, право, это не особенно отразилось на нас. Еще менее заметно прошла отдача Лены в живущие[53]. Опять о чем-то хлопотали, о чем-то тревожились, что-то советовали Лене — и опять стало тише в доме. Тетя, помню, сокрушалась, вспоминала; помню, как радовались каждую субботу, как каждый понедельник провожали Лену, укутывали ее, снова что-то советовали; но на нашу жизнь с Колей оба эти события мало оказали влияния.

Но увоз Миши в Ревель имел прямым последствием для нас то, что скоро заговорили о приезде к нам в дом немки-гувернантки.

У старших детей бывали гувернантки, но русские. И ни одна не оставила по себе доброго воспоминания не только у детей, но и у наших взрослых. Некоторых из них помню немного и я. Была очень злая Марья Ивановна (не мы только, дети, охарактеризовали ее так), была Татьяна Ивановна, которая тащила игрушки Лены и выпрашивала их для своих племянников и которую мы не уважали за это, — я употребляю настоящее слово; других не помню. Теперь решили, что нас с Колей надо учить языкам и что лучшее средство для этого — иметь в доме иностранку. Директор ревельской гимназии, Гальнбек[54], с которым познакомился папа и который ему очень понравился, обещал папе сделать надлежащий выбор. Гальнбек был человек, на слово которого можно было положиться. Старшие мальчики много говорили потом о влиянии на них этого

замечательного директора; мы знали его только по фотографии, но и она так много говорила в пользу непреклонной чести этого человека.

Это решение вызвало в нашем доме новые настроения, не отметить которые мы не могли с Колей. Мы в то время не обсуждали ничего с ним и не поверяли друг другу своих соображений: нам это не нужно было — мы буквально жили одними чувствами и одними мыслями. Мы чувствовали прежде всего отношение тети к этому новому явлению в нашей жизни. Она молчала, но мы поняли, что этот переворот касается столько же ее, сколько и нас с Колей. Да, она нас теряла — и теряла самое дорогое: постоянные заботы о нас. Теперь другая должна была принять нас в свое ведение. Тетя понимала, что это к нашей пользе и, как всегда, свои чувства относила на дальний план; но не страдать она не могла — и мы не понять этого тоже не могли. Страдала, ожидая приезда новой, и Дунечка — и тоже страдала молча. Но и ее волнение мы чувствовали. Все это усиливало то чувство стеснения, которое я всегда испытывала перед появлением новой личности в нашей жизни. И я стала, затаив это тяжелое чувство, ждать приезда. А он приближался с неотразимостью неизбежного. Тогда письма получались редко, телеграмм о выезде не посылалось, но о дне приезда новой гувернантки знали. Наконец она приехала. Она была высокая, немолодая, с бледным лицом. Нам сказали, что ее зовут Анна Мартыновна.

Бедная, и ей не легко было приехать в новый дом. Она говорила потом, как ее уговаривали в Ревеле не ехать в такие далекие края, где люди не люди, где бегают дикие звери... Представления, характерные для общества Прибалтийских провинций того времени. И она поверила только Гальнбеку. Да и сама принадлежала к роду людей, не боящихся выходить за пределы обычного. Но, приехав, она не могла, такая чуткая, какой она была, не почувствовать, что своим приездом смущает чьи-то глубокие чувства, не могла не ощущать смутной враждебности. Мне осталось почему-то в воспоминании ее напряженное лицо в этот первый день — хотя воспоминание об этом дне у меня как бы подернуто туманом. Но я вижу в тумане ее так ясно в широком довольно платье коричневого цвета — неужели я ошибаюсь? Она молчалива — ведь она знает всего несколько слов по-русски — и грустна. Тетя старается быть предупредительной к ней; но я чувствую, что для тети это напряжение. У меня сжимается сердце — и так проходит этот первый день. Наконец наступает вечер, может быть, желанный для приезжей, но самый крити-

ческий для нас момент — когда нас передают ей. На Дунечкиной до сих пор кровати в детской ей устроена постель. Укладывают нас тетя и Дунечка, чтобы нам не так страшно было. Дело обходится без слез; но ведь это только оттого, что мы такие — не плаксы в тяжелые минуты. Но ночью я просыпаюсь — и плачу: от темноты, от того, что я проснулась и нет уже близкого человека около меня... Но два человека наклоняются зараз надо мной: с одной стороны Дунечка, с другой — она, новая. Я могу с уверенностью сказать: именно то, что я увидала их вместе и сошедшихся в одном чувстве, желании помочь мне, нарушило во мне страх перед новым человеком. И, успокоенная, я заснула скоро с чувством почти полного доверия к Анне Мартыновне.

На следующий день и она была другая. Она точно скинула с себя минутное, может быть, уныние и принялась за дело. Первый подошел к ней Коля. Он сделал то, чего бы и я желала и на что не могла бы решиться. Она сидела в комнате около детской, в черном платье, а по этому черному фону были рассыпаны белые набивные лунки. Коля подошел и со своей обворожительной улыбкой — его любили все за эту улыбку — пальчиком коснулся одной лунки. Так нам обоим понравились эти лунки, и мы были рады «разговору» об этих лунках — потому что она заговорила с нами. И, как это объяснить, мы кое-что поняли. Мост был переброшен. Анна Мартыновна вспоминала не раз этот первый разговор, и она так радостно вспоминала Колю в эту минуту, ласкового, доброго мальчика, выведшего нас всех из затруднения. Она так любила эти лунки, и мы также, что когда она отдала перекрашивать это платье, она попросила в красильне повторить тот же набивной рисунок. Красильня обещала, но переусердствовала: вместо одной лунки набила рисунок в две лунки, касающиеся друг друга спиной. Красильня огорчила искренно и Анну Мартыновну, и нас. Может быть, новый рисунок был лучше, но он не говорил ничего воспоминанию.

Не знаю, как это случилось, но мы скоро, очень скоро полюбили бесконечно Анну Мартыновну.

Я пропускаю год — мне так легче вспоминать. В 1872 году уже появляются тетрадки, на которых четкой рукой Анны Мартыновны выведено: «Wera».

Я уже выросла заметно как маленькая личность. И далее — я не могу ясно отделить, что относится к какому году, — я буду говорить о воспоминаниях, относящихся к целому периоду нашей жизни, связанному с пребыванием у нас в доме Анны Мартыновны: до весны 1874 года.

В 1872 году в Ревель увезли и Алешу. Его я гораздо более жалела, чем Мишу. Однако Алеша не давал нам ничего такого, что давал, бывало, в своих рассказах Миша. Но он был ближе нам по возрасту, и затем — я не знаю почему — у меня с самых ранних лет к Алеше было в душе большое чувство, которое более всего было похоже на жалость. Может быть, его бранили при мне, и я уже понимала, что это неприятно, тогда как упреки по адресу Миши мне были по малолетству еще непонятны. Я помню два таких случая. Нас в первый раз с Колей повезли к Боткиным[55]; но был с нами и Алеша. Эта поездка ничего, кроме огорчения, мне не принесла. Во-первых, я очутилась среди незнакомых мне мальчиков старше меня — мне кажется, были в гостях и какие-то Алексеевы, — и эти мальчики оставили меня одну на том основании, что я «девчонка». Такого аргумента вовсе не признавала моя душа, и я находила, что мальчики неразумны; но объяснить же это по робости не могла. Но самое большое огорчение ожидало меня за чайным столом, когда собрались все, взрослые и маленькие. В этот вечер у Боткиных был А.А. Фет. Он обратил внимание на Алешу и начал его экзаменовать по латыни. Что Алеша учился плохо, это не было для нас тайной, и потому с первого вопроса Фета у меня сердце сжалось ожиданием плохого. Алеша отвечал, но, было ясно, все невпопад. Фет, по моему мнению, издевался над ним, продолжал расспросы, когда, казалось, ясно было, что и спрашивать нечего — он мучил Алешу, и я чувствовала к этому старику болезненно-тяжелое озлобление мучимого слабого существа. Потому что я очень страдала в эти минуты уничижения любимого человека.

Я помню еще: Алеша пришел к нам в детскую. Он был очень расстроен. Он пришел из «тех» комнат, где шла иная жизнь, где делали выговоры, и мы поняли по его лицу, не такому, как всегда, что «что-то» было. Но поняла и Анна Мартыновна, что было что-то лишнее, может быть, сказано и что надо поддержать человека. И вот они сидят и мастерят что-то с Алешей. Нам с Колей это очень интересно — и это делается для нас. Из-под ножниц Анны Мартыновны — она так хорошо вырезывает — вырастает картонная елка, которую можно поставить и она

будет стоять. Вот ее и поставили, а Алеша тем временем нанизал на ниточки изюминки; их навешивают на ветки елки — это рождественская елка. И я радуюсь на нее, но спокойно и радостно у меня на душе больше потому, что Алеша повеселел. И это сделала Анна Мартыновна, и я еще более привязываюсь к ней из-за этого.

Но я должна признаться, я недолго грустила после отъезда Алеши. Стало совсем тихо в доме — и потекла наша детская жизнь как тихий и светлый, но очень бесшумный ручеек.

Жизнь эта развертывалась, крепла, вбирала впечатления в детской, в «других» комнатах, около взрослых, на улице. Я прежде остановлюсь на улице.

В определенный час дня, вскоре после завтрака, подававшегося в 12 часов, на тихих улицах Замоскворечья, на Большой Ордынке, на Малой Ордынке, на Полянке и т.д., можно было ежедневно встретить группу из трех лиц: немолодую женщину и перед ней идущих ровным шагом мальчика и девочку. Эта женщина, Анна Мартыновна, была одета в салоп[56] темной окраски, в мелкую клетку темно-синюю с зеленым. Салоп был с капюшоном. На голове надет был капор, простой, стеганый, из черной шелковой материи, и он обрамлял бледное, худое лицо, задумчивое и доброе. На лице выдавались тонкие, нежного очертания губы — такие губы, которые говорят о душе, много переживающей, но умеющей замыкаться. Эти губы часто сжимаются в особую, не горестную, но грустную складку — и может быть, они первые заронили в мою душу представление, что не все прекрасно и радостно на свете. Но они сжимаются так только тогда, когда Анна Мартыновна думает, что на нее не смотрят; для нас она всегда готова на приветливый ответ — но ведь детские глаза умеют наблюдать, почти не всматриваясь. Другое, что обращает внимание на этом лице, — это глаза, едва ли красивые по форме, уже утратившие давно голубой блеск юности, но прекрасно дополнявшие впечатление от нежного очертания рта: и они были нежные, прозрачно-голубые, с тихой мыслью, большим и скромным чувством. И они бывали не одни и те же, когда Анна Мартыновна бывала одна со своей думой, и тогда, когда она жила для нас, — и мы это замечали. И вряд ли я не любила более эти глаза, когда они жили не для нас. Но в восторг приводили они меня, когда она говорила стихи, и они, эти серо-голубые глаза, загорались вдохновением: они бывали тогда ярко-голубыми. Но на улице вся она, молчаливая, потому что давала больше гово-

рить нам, со склоненной головой, с этим бледным лицом производила впечатление чего-то тихого, хорошего, нежного. И сейчас можно было вообразить себе, что если она снимет капор, откроется все ее лицо с мягким очертанием уже поблекших щек, ее бледный лоб, над которым волосы, уже поредевшие, расположились пробором, сзади заплетенные в длинные косы, уложенные на затылке в «корзиночку». Вся отцветшая, если можно так выразиться про человека, живущего еще полной духовной и умственной жизнью, трепетавшей во всем ее существе,— но именно этот образ, с тонами как бы блеклыми, поэзией вошел в душу. Мы ее не только любили с Колей, она нам нравилась.

Нас часто останавливали тогда на улице и спрашивали, чьи мы дети. Я уверена, останавливал внимание Коля, и не могло быть иначе. Все говорили, что он был обворожительный мальчик. Когда он был совсем маленький — я этого помнить не могу, — извозчики, рассказывали нам, останавливали няню и просили покатать «такого барина». Я мало помню, какой был в раннем детстве Коля, я не обращала на это внимания: я просто любила его всем своим сердцем, и всем он был мне мил. Но восстановить его образ я могу по его портрету, который был снят как раз в те годы. Кругленькое лицо, волосы, поражавшие мягкостью, светло-русые, причесанные на косой пробор, улыбавшиеся губы, ямочки на щеках и улыбавшиеся ласково добрые, добрые глаза. Они в то время были еще ярко-синие — это-то я хорошо помню. Раз мы очутились с ним по обеим сторонам одной двери. И, как случалось с нами часто, нам в одно время захотелось сделать одно и то же: посмотреть на другого через замочную скважину. Я думала, что удивлю Колю своей выдумкой, взглянула — а он глядит на меня, думая меня удивить. И тут я помню: я встретилась глазом с ярко-синим глазком — и потом мы открыли дверь и оба обрадовались — и он стоял передо мной смеющийся, веселый и ласковый. Каким я помню его в эту минуту, он, конечно, был редким по привлекательности ребенком.

Я далеко не была такой, да я себя и вовсе не помню. А как меня водили гулять, помню очень хорошо. Девочек одевали тогда в салопчики. У Лены был темный, в синюю с зеленым клетку; у меня же более яркий, красный «экоссе»[57], с рукавами, оканчивающимися вздержкой на резине. У нашей соседки, хорошенькой Манечки Андреевой, был бархатный лиловый салоп, обшитый горностаевым мехом, и мама не раз говорила мне позднее, что ее мечтой было и меня одеть в такой салоп; но

папа противился этой роскоши. Мои мечты не шли дальше Лениного салопа, который мне нравился гораздо больше моего. Бархат-салоп, в котором надо было, очевидно, ходить с такими выдержанными манерами, как проходила перед нашими окнами Манечка, — ее мне ставили всегда в пример — меня мало привлекал. Все стеснявшее с ранних лет возбуждало во мне тягостное чувство — и вот ничто в моем уличном костюме мне не было так ненавистно, как белая атласная шляпа капор, которую я принуждена была носить, потому что носили такие шляпы «все девочки». Ах, этот аргумент: «как все». Моя душа не хотела с ним примириться. Во-первых, я вовсе не желала походить на девочку, меня это вовсе не пленяло. Я хотела быть мальчиком, потому что быть мальчиком во всех отношениях, по-моему, было приятней. И в этом стремлении освободиться от стеснений, которые налагало, особенно в то время, состояние женщины, я находила молчаливое покровительство со стороны Анны Мартыновны. И она не признавала себя связанной ни в стремлении искать просвещения, ни в своих поступках тем, что она женщина и должна сохранять «женственность». Она, может быть не сознавая этого, требовала «равноправия», она равняла меня во всем с Колей, стараясь развить во мне самостоятельность, независимость от помощи мужчины, она поощряла мои занятия гимнастикой, и никогда я не слыхала от нее, что Коля должен мне уступить в чем-нибудь только оттого, что я девочка. Может быть, если я довольно смело воевала против капора, это зависело от ее молчаливой поддержки. К чему, право, казалось мне, напяливать на голову такую неудобную коробку, которая закрывала уши и не давала им хорошо слышать. Мама с любовью выбирала мне эти капоры в лучших магазинах, и тетя всякий раз указывала на это: «Вот как мамочка заботится о вас», — я находила их, может быть, привлекательными на голове других девочек, но никак не на своей. Еще одно мучение было придумано специально для девочек: выходя, надо было надевать вуаль, газовую синюю или зеленую. Это, говорили, чтобы не портились глаза от света. И для этого придумали эту преграду между глазами и видимым миром. Но почему же счастливые мальчишки не носили ничего подобного, почему их глаза не портились? Но в вопросе о вуали Анна Мартыновна уже решительно стала на мою сторону. Сначала она стала позволять мне откидывать ее — и, Боже, как я бывала рада, когда вдруг в глаза блеснет полным светом солнце, и голубое морозное небо, и искрящийся белый снег. Точно вдруг осияет свобода.

Свобода. Да, я должна сказать, я счастлива тем, что она, свобода, незримая, несознаваемая, проникала всю жизнь вокруг меня и руководила поступками окружающих. Как это было странно! В то время, когда не упоминали этого слова, оно, может быть, шокировало бы ухо живших так спокойно и богобоязненно людей — она, свобода, вела людей вперед. Свобода от условностей заставляла папу не сообщаться со своим кругом, его не удовлетворявшим, — то, что дало такой особый отпечаток нашей семье; свободна бесконечно была молодая моя мама, никого и никогда не боявшаяся в своем стремлении вперед. Свободно тетя выбрала себе дорогу и шла по ней, и свободу проповедовала Анна Мартыновна, внушая детям 6—7 лет самостоятельно искать путей совершенствования. Это было уже такое время, наверное. Так скрытые родники иногда из-под низу размывают глыбы снега, которым пора исчезнуть, сами не понимая своего разрушительного действия. Очевидно, искались новые пути жизни, и их искали совместными силами, не отдавая себе ясного отчета в результатах работы. И вот, мне кажется, и вуаль, с которой боролась я и Анна Мартыновна (она все же добилась для меня разрешения не носить ее) была частью того, что преграждало мне доступ к ясному усмотрению жизни, а я хотела ее видеть, как она была. И, сбросив ее, я точно приобрела маленькую часть свободы. Тогда я себе это представляла только так: я могу смотреть на Божий свет как Коля, как мальчик.

Я будто бы отклонилась в сторону, но это не совсем так. Вопрос о вуали — очевидно, он был для меня важным, если я его запомнила, — входил как часть в воспитание, которое мы получали на улице. И я опять повторяю, это воспитание для меня представляется значительным и дорогим, потому что оно велось в духе свободы. Подчинение внешнее — смотрели за нашими манерами, надо было идти чинно, но затем развитие внутренней свободы, самой настоящей, независимой от внешних условий. Свободу эту могла давать только самостоятельность, а ее надо было развивать в себе, и это можно было делать только путем постоянного упражнения воли и работой над собой. Такова была основная мысль воспитания Анны Мартыновны, и если мы не могли бы в те годы формулировать эту мысль, мы ее все же понимали, и в 10—11 лет, как я покажу позднее, уже и формулировали ее вполне сознательно. Притом Анна Мартыновна не скрывала своих идей на воспитание. Она говорила о них с нами, как говорила обо всем, что казалось ей доступным наше-

му пониманию. Говорила она с нами как с людьми — и как мы ценили такое отношение. Как вся душа отвечала на такое обращение к ней, полное доверия, как чувствовалось уважение к маленькой личности. И это отношение я встречала и позднее в лицах, руководивших моим воспитанием, и за это я всегда останусь им благодарной. Анна Мартыновна была в доме для того, чтобы нас воспитывать; она обязана была хорошо исполнить свое дело; пусть оно, это дело, временами было трудно и ей и нам, оно должно было быть исполнено. Задача воспитания заключалась в том, чтобы сделать детей пригодными к дальнейшей жизни, чтобы они были полезны другим и чтобы они были вооружены для борьбы жизни. Она не скрывала от нас, что жизнь имеет тяжелые стороны, но развивала бодрое желание сделаться сильными и ничего не бояться, конечно, с помощью Божьей, потому что иначе она себе не представляла жизненной борьбы. И мы восприняли ее идеи, и подчиняться неприятному было также легче, потому что чувствовалось, что пригибает она иногда довольно чувствительно волю не из желания делать обидное, но повинуясь высшему — принципу.

На улице это воспитание отражалось так. Мы ходили далеко гулять, слишком далеко, сказали бы многие, для наших маленьких ног. Но она так хорошо объяснила нам необходимость развить в себе способность много ходить, что усталость доставляла только удовольствие: вот мы какие, вот мы что можем. Она воодушевила нас стремлением путешествовать, видеть новые страны, а путешественники должны все уметь выносить. Как бодро чувствовать себя сильным, закаленным. Поэтому было также весело выходить во всякую погоду, не бояться мороза, чувствовать радость от бьющей в лицо вьюги. Улицы московские того времени не подвергались зимой такой чистке, как теперь, — и сколько раз приходилось падать на скользком тротуаре. Какая радость было встать, смеясь, не показать виду, что ушибся. Я помню, что в первую зиму пребывания Анны Мартыновны у нас в доме я, гуляя с ней и Колей по Большой Ордынке, свободно проходила под почтовым ящиком. В следующий зимний сезон я однажды вздумала сделать то же, но уже больно ударилась лбом об острый край ящика. Было очень больно, и я заплакала. Но с бодростью Анна Мартыновна сделала из этого происшествия для меня отрадный вывод, что я уже вот какая большая — и эта «большая» девочка легко переломила в себе желание плакать и, весело смеясь, пошла дальше. И как вообще было весело «расти» во всех отношениях. Какая радость была,

когда под ее влиянием заменили нам тяжелые бархатные полусапожки на более легкую обувь с гетрами[58], когда наконец Коля освободился от наушников на шапочке. Все это было торжеством, и бодро смотрелось вперед, в жизнь.

Чему же мы учились на улице? Тихие улицы и переулки Замоскворечья потеряли давно свой прежний облик. И тут настроены громады-дома, и тут завелся стиль модерн, прошли электрички, катают автомобили. Но в те времена было там так тихо и так поэтично. Точно тихое, дремлющее царство. Особняки, аккуратные, чистенькие, точно холеные; заборы, из-за которых наклоняли низко ветки березы, и мало, чрезвычайно мало встречных людей. Впечатлений новых мало, но зато каждое новое запечатлевалось в памяти, точно вырезанное острым ножом, а повторяющиеся давали возможность думать над ними, оценить их. Повторялись явления, повторялись замечания по их поводу, как наши, так и Анны Мартыновны, — и они становились дорогими. И не одно, кажется, явление не проходило незамеченным. Пестрая раскраска домов того времени — я помню сочетания вроде голубого и белого, голубого и оранжевого, зеленого с коричневым и т.п. — вызывала осуждение в безвкусице со стороны Анны Мартыновны. Вывеска парикмахера с «красавцем», вздернувшим залихватски усы, служила указанием, каким не следует быть. «Турки» и «арабы» на вывесках табачных лавочек — поводом к рассказам о чужих народах. Но вот в окне чьего-то дома стоит деревянный щелкун — и мы стоим перед чужим окном и засматриваемся на невиданный предмет. Анна Мартыновна объясняет, для чего он сделан. Через несколько времени в другом окне мы видим знакомую на этот раз фигуру щелкуна, но уже ярко окрашенную. Нет, мы тогда не понимали «прелести» эмалевых красок на тогдашних игрушках, их «вкусного» запаха, о которых говорит теперь Бенуа[59], — Анна Мартыновна решительно осуждала яркость «безвкусную» окраски, и мы повторяли это за ней. Осудили бы и тетя и другие взрослые — таков был тогда вкус. Во всяком случае, у нас оказалось два лишних знакомца на улице: два щелкуна, перед которыми мы неизменно останавливались, один, более любимый, неокрашенный, другой яркий, менее любимый. Такие остановки перед чужими окнами, очевидно, никого не удивляли; и если в окне появлялось чье-нибудь лицо, оно было ласковое и улыбалось де-

тям. В окне «колониальной»[60] лавочки был другой предмет, привлекавший неизменно наше внимание: группа, наверное, хорошо известная собирателям русского фарфора. За столом восседает судья, перед ним истец и ответчик. Но ответчик не унывает: кулек с приношениями, положенный у ног судьи, служит залогом благоприятного для него решения дела — и ясно, для кого страшны сердитое лицо судьи и гневно стиснутый толстый кулак. Анна Мартыновна объяснила нам группу — и это было первым в моем сердце осуждением неправды и первым чувством протеста: разве так бывает, разве нельзя иначе, и почему нельзя?

Анна Мартыновна не пропускала ни одного случая, чтобы из минутного впечатления не извлечь какой-нибудь новой мысли или чему-нибудь научить нас. Вот мы на одном дворе, где помещалась красильня, нашли обрезки жести. Что это такое? Она не позволила взять их себе, не спросив о том пробегавшего по двору мастерового с волосами, подвязанными ремешком: ведь это было чужое — но тут же мы узнали, что такое жесть, и что из нее делают, и почему у мастерового ремешок на голове. И радостно понесли куски «подаренной» жести домой. Вот на Малой Ордынке — здесь она позволяла нам ходить по снегу мостовой, а снег лежал высоко (ведь его не свозили), был чист и блестящий — Коля нашел сокровище: среди сухих былинок, оброненных возом с сеном, засохший цветок. И тут мы впервые узнали, что это пахучее растение, сохранившее на сером стебле жесткий и такой же серый цветок, называется Schafgarben[61]. Оно стало с тех пор любимым растением Коли, который любил и его запах; я тоже его полюбила, потому что его любил Коля. Или вот еще Анна Мартыновна говорит однажды про чечевицу и удивляется, что мы не знаем, что это такое. Но через несколько времени мы проходим мимо мучного лабаза — у открытого входа стоят мешки с крупой, горохом и прочим, один из мешков оказывается с чечевицей. Возле мешков сидит хозяин, старик в длинной синей чуйке[62], в картузе на серебряных кудрях, с длинной белой бородой. Анна Мартыновна останавливается, просит разрешения показать детям — что, она показывает рукой. Старик позволяет — и вот мы видим, что такое чечевица. Старик улыбается, говорит, что детям можно взять горсточку. Но Анна Мартыновна объясняет нам, что деликатность требует не злоупотреблять добротой, и позволяет взять лишь несколько зернышек. Этот старик со временем стал нашим «другом». Мы улыбались друг другу, когда проходили мимо его лавки, и он не раз зазывал нас, однажды

даже хотел нас оделить стручками, но Анна Мартыновна заставила с благодарностью отказаться.

Вообще, друзья у нас были на «улице». И прежде всего — не посетуйте на меня — я назову собаку Гартман. Мы ее прозвали так, потому что она сидела всегда на Большой Ордынке против дома Гартман[63]. Она была простая дворняжка, белая с рыжими пятнами, сидела полуугрюмо, полузадумчиво, как будто ничего не видя и ничем не интересуясь; но, когда мы окликали ее, она ласково махала хвостом, впрочем, не оглядываясь на нас. Но мы всегда радовались на нее и смеялись и были уверены, что она нас любит.

Но были «друзья», которые яснее выражали свою симпатию к нам. На самом конце Большой Ордынки, на углушке, лицом к Серпуховской площади, помещалась лавчонка, такая, какие теперь исчезли в Москве. Крохотное помещение, входить в которое можно было, только приподняв часть прилавка, и в котором и одному хозяину трудно было повернуться. Помещение, которое было открыто на улицу и в котором и при крепком здоровье можно было выдерживать лютые морозные дни, только согреваясь бесконечным количеством стаканов чая. В этой лавчонке торговал нитками, иголками и прочей мелочью старик, тип того времени, вежливый и молчаливый, державшийся с таким достоинством, что желала бы я посмотреть, как бы кто решился сказать ему неуважительное слово. Так я его живо вижу перед собой, с круглой, подстриженной седой бородой, в картузе, молча достающего с полки нужный картон[64] и серьезно, без лишних слов выбирающего из него нужный номер катушки или бумажку с иголками. У этого старика Анна Мартыновна купила мне первый наперсток. Мне так нравился и самый наперсток, и то, что я буду учиться шить; и так ласково старик в этот раз наклонился надо мной, примеряя на мой маленький пальчик наперсток. И все было бы хорошо, если бы он не вздумал от себя приложить маленького листика с рисунком меток. Анна Мартыновна не хотела было принять подарка; но мы вдруг все почувствовали, что подарок, сделанный с таким серьезным, неулыбающимся лицом, нельзя отклонить, не обидев старика. Оставалось только получше поблагодарить, доказать, что он сделал приятное; но именно этого я и не сумела сделать. Все, кто в детстве не чувствовал себя привлекательным ребенком, все, кто в детстве не пользовались особым вниманием со стороны чужих, поймут, как я была тронута неожиданным вниманием. Но непривлекательные дети

не умеют и улыбаться доверчивее, не умеют выражать свое чувство. К тому же я с детства не любила подарков от чужих. Я сконфузилась и долго, когда проходила мимо лавочки и когда мы заходили в нее, желала быть от нее подальше. Но как я была благодарна старику.

Другой еще «друг» был молодой аптекарский ученик в аптеке на Пятницкой — и вот по какому поводу он нас приметил. Раз нам дали деньги на гостинцы. Это было в первый год пребывания у нас Анны Мартыновны, когда она еще не успела нам привить убеждение, что тратить деньги на гостинцы, имея всего достаточно за столом больших, нехорошо. Денег нам давали очень немного, и в этот раз дали больше Лене с Алешей, а нам с Колей меньше: кажется, гривенник на обоих. Мы пошли все вместе на Пятницкую, где надо было взять что-то в аптеке. По дороге рассуждали, что бы купить. Лена с Алешей быстро решились, проходя мимо колониальной лавочки: в окне были выставлены леденцы — я тогда в первый раз видела такие красивые: круглые, красные, но в середине каждого был особый узор, пестрый квадратик или треугольник. Мне казалось, что они прекрасны, но не знаю почему я стала уговаривать Колю подождать с покупкой, что, может быть, мы найдем еще что-нибудь лучшее. Решили купить что-нибудь для нас с Колей на обратном пути из аптеки. Как сейчас помню: Анна Мартыновна стояла у прилавка в аптеке и ждала лекарства, а мы сидели с Колей рядышком на широкой ясеневой скамье. И вдруг Коля захотел убедиться, что наш гривенник все еще цел. И вдруг оказалось, что я его потеряла! Я была так огорчена и, главное, чувствовала себя такой виноватой перед Колей — а он начал горестно меня упрекать! И, наверное, мы были очень смешны, потому что молодой аптекарский помощник, уделывая по-аптечному пузырек, не мог удержаться от смеха. Чего он смеялся чужой беде, этот молодой немец с добрыми глазами за стеклами очков, еще безбородый, еще, наверное, сам мальчик? Нам стало стыдно перекоряться, и мы замолчали, сконфуженные. Но аптекарь нас заметил — и всякий раз, когда мы приходили в аптеку с Анной Мартыновной, он на нас улыбался. Сначала я не могла заставить себя взглянуть на него; но в конце концов мы усмотрели, что в его улыбке нет ничего обидного и злого. И тогда сами начали ему улыбаться.

Игрушечная лавка — «детский рай». Я не совсем могу это сказать про себя. Во-первых, я принадлежала к числу сравнительно редких детей, которые не любят игрушек. Мне заменяли их создания моей пробудив-

шейся рано фантазии. Во-вторых, на хладнокровное отношение к игрушкам мог действовать и взгляд как Анны Мартыновны, так и тети, что на игрушку тратить много денег стыдно и не следует, что деньги имеют более серьезное назначение, нежели употребление их на забаву. И все же игрушечная лавка на Пятницкой привлекала нас, и я не могу не вспомнить ее с удовольствием. Какой милый старик сидел в ней. Как он улыбался детям, как позволял стоять бесконечно перед окнами и глядеть сколько угодно на выставленное. Мы не были завидными покупателями. Хорошие игрушки нам дарила мама, а наши «капиталы» были уж очень незначительны. Да и вкусы умеренные. В восторг меня приводили, например, копеечные свистульки-петушки из олова, окрашенные в синюю, зеленую и, кажется, малиновую краску. А когда раз мы купили свистульки, соединенные с трещоткой, я не могу сказать, как они нам нравились. Странный вкус бывает у ребенка, и у каждого есть, конечно, свой. Я не любила игрушек потому, что они не были, как потом мне говорили и другие дети, очевидно, чувствовавшие, как я, «взаправдашние». Они были для меня неприятной пародией на настоящее, жизненное, что я так ярко видела в своем воображении. Совсем невозможны были для меня куклы. Однажды старик купец, желая меня прельстить, снял с полки большую куклу, одну из тех намалеванных, на которые современная девочка и не станет, пожалуй, смотреть и которая была единственной и самой лучшей в его лавочке. Она была одета в ярко-розовое тарлатановое[65] платье. Анна Мартыновна сказала, что у нас и денег нет, чтобы купить такую большую куклу, но купец, зная чувства девочек, сказал, что это ничего, пускай я только подержу куклу, пускай позабавлюсь. А она мне внушала почти отвращение и своим неестественным цветом лица, и неподвижностью глаз, и раскрашенной головой, без намека даже на настоящие волосы, и ярким платьем, подобных которому я не видала в жизни (наверное, яркие цвета уже выходили тогда из моды), — но более всего, что она стояла на подставке, которая, как кол, втыкалась в нее. Я помню именно это отвращающее впечатление от неэстетичной подробности. И вообще, в игрушке, т.е. в моем отношении к ней, не было с моей стороны ни малейшей способности к обобщению, к абстракции, не было творчества. Лишь та игрушка имела некоторую ценность для меня, которая хоть чем-нибудь походила на действительный предмет, по крайней мере была без претензии и не старалась сознательно ввести в заблуждение и казаться тем, чем она не была. Этого я не

прощала игрушке. Свистулька была хороша потому, что она и была не чем иным, как свистулькой. В игрушечную плиту можно было играть, потому что как-никак в крошечные кастрюли можно было наливать что-нибудь, и я очень обрадовалась, когда тетя София Ивановна мне подарила такую плиту. Еще больше радости мне доставила она, когда кто-то из старших обратил мое внимание на то, что можно в плиту вставить огарочек и «варить» в кастрюле. Но когда именно это запретили мне из предосторожности и тетя сказала мне, что надо уметь играть, «как будто» бы топилась плита и на ней жарилось что-то и варилось, я так поиграла из вежливости раза два, а потом забросила плиту: я именно не хотела этого «как будто». Поэтому мне были глубоко антипатичны небольшие тарелочки с довольно грубыми изображениями кушаний, которые и теперь продаются в Кустарном музее[66] и, наверное, составляют радость многих девочек. В то же время мне нравилось лепить «пирожки» из песка, потому что для меня они не были пирожками, а интересными фигурками, которые я лепила по своей охоте и форма которых нравилась моему глазу. Я помню также, как меня задело, обидело что-то во мне — я иного слова не приберу, — когда на улице нам предложил купить с лотка мальчик-продавец петушков, оклеенных настоящими куриными перьями, но на которых в виде украшения были налеплены вырезанные треугольниками кусочки красной и синей бумаги. Как хороши были бы эти петушки с настоящими перьями, не будь этих безобразных треугольников, которые портили жизненность игрушки, ее верность природе. Я не знаю, чем объяснить такое мое отношение к игрушке. Меня этот вопрос очень интересует. Не сказались ли тут подпочвенные влияния? стремление к реальному, которое проникало в то время взрослых? Я только ставлю этот вопрос и описываю свое чувство.

И все же, наверное, игрушечная лавка имела прелесть для нас, потому что мы часто останавливались перед ней. Были и у меня любимые игрушки — я, по крайней мере, помню одну из них: это был заяц из папье-маше. Мама дарила нам зайчиков, дорогих по тому времени: оклеенных пухом и барабанящих на барабане, как только их приводили в движение. Но я их не любила. Положительно, я находила их глупыми: нельзя же барабанить постоянно, даже когда их об этом никто не просит. И мне казалось, что такой заяц ничего другого не умеет делать. Мой зайчик — я не помню, кто мне его подарил и так угодил мне, — был уже тем хорош, что он был очень похож на настоящего зайца. И у него

был недостаток, с которым я, однако, мирилась, как мирится любящее сердце, которого я почти стыдилась: если подавить раздвижную кожу подставки, на которой сидел мой милый зайчик, она издавала пищащий звук, который был опять-таки ни с чем не сообразен. Но я обращалась с этой частью игрушки осторожно — и заяц не слишком часто пищал. Я так любила этого зайчика, что Анна Мартыновна даже отступала от своего правила не позволять детям гулять с игрушками и разрешала мне держать его на руках во время прогулок. Моего зайчика также любил и Коля и часто просил его понести. Я давала, но всегда с радостью брала его у него опять. Но все-таки, любя так своего зайчика, я тайно мечтала о другом, живом. Если бы мне тогда подарили живого зайчика, меня сделали бы счастливой. Но мама не любила в доме животных — я знала, что мне ни за что не подарят зайчика, и мне оставалось надеяться на одно: на чудо. Да, и я надеялась на него всей душой, которая еще не привыкла не получать просимого. Я надеялась, что, если зайчик явится чудом, ведь не отнимут его тогда от меня, ведь этого нельзя будет сделать. И я ждала чуда, в полном размере. Нет, не то что кто-нибудь из чужих сделает подарок, который известен как неуместный своим, не то, что зайчик может вдруг забежать на даче, например, как пишется в книжках; нет, я молилась о зайчике и верила, что он вдруг очутится у меня на коленях. Вот так просто. Иногда я замирала на стуле в безграничном порыве веры, в подъеме молитвы; я закрывала глаза, и мне казалось, что вот-вот мои руки, лежащие на коленях, почувствуют прикосновение шерстки, и когда этого не было, я закрывала глаза опять и снова жарко молилась. И открывала их с убеждением, что зайчик, миленький, непременно беленький, будет на этот раз лежать у меня на коленях, уткнув мордочку в лапки. Чудо не совершалось. Тогда я глубоко почувствовала себя грешницей. Я была недостойна чуда, очевидно, — и права была Анна Мартыновна, которая так ярко выставляла мне на вид мои недостатки.

Но я вернусь к игрушечной лавке. Она получила новую притягательную силу для меня, когда раз среди игрушек Анна Мартыновна нашла тут несколько немецких Bilderbuch[67] и нам купила по одному. Маленькие, ярко расписанные книжонки — нужна была та огромная жажда книги, которую мы испытывали, чтобы так обрадоваться им, чтобы беречь их, как сокровища. Мы ими менялись с Колей, читали по очереди те немногие надписи и стихотворения, которые сопровождали кар-

тинки, спорили, у кого лучше. В моей книжке было стихотворение: «So geht's in der verkehrten Welt, wird der Tisch auf die Uhrgestellt»[68]. Я тогда не знала, что в русской народной словесности есть не менее смешные «небылицы». Мне все казалось тогда: отчего этого нет у русских? на русском языке? — и некому было рассеять тогда заблуждение и сомнения.

Книга, книга — надо было пережить эту жажду книги, чтобы понять ее. Я расскажу, как постепенно она входила в нашу детскую жизнь. Из этой ранней эпохи я должна вспомнить другую лавчонку на Пятницкой, на створах дверей которой были прикреплены лубочные копеечные книжки и лубочные же издания[69]. И к этой лавочке нас тянуло, и около нее мы просили остановиться, проходя мимо. И Анна Мартыновна сжалилась надо мной. Раз она купила мне в награду за что-то (я не часто бывала достойной наград) ярко расписанную картину кораблекрушения, другой раз — книжку в стихах. Картину мы пришпилили булавками к печке — и я в ужасе смотрела на схваченный пламенем корабль, на гибнущих в позах отчаяния, и, может быть, безотчетный ужас перед водой, который я, наверное, унаследовала от мамы, еще более вошел в душу от вида этих темно-зеленых волн. Книжку — я помню ее серую бумагу, ее слепую печать — я читала с увлечением. Быть может, я, благодаря моей хорошей памяти, процитировала некстати это произведение лубочной литературы — только в один прекрасный день кто-то чему-то удивился, спросил, ужаснулся, что Анна Мартыновна купила эту книгу, объяснил Анне Мартыновне, что эти книги — «нехорошие», и отнял все сокровище у меня. Я ровно ничего не поняла. И когда после этого Анна Мартыновна уже не позволяла нам останавливаться у этой лавочки, говоря, что она «не знала раньше», — мне казалось, что мы лишены хорошей радости.

Но на углу Пятницкой, у самого Чугунного моста, был другой книжный магазин. Только он был «важный» — и не нам было туда ходить с нашими копейками. В окне же были выставлены книги серьезные и нас еще не привлекавшие. Однако раз Анна Мартыновна заметила на выставке одну небольшую книжку, развернутую на заглавном листе. И со свойственным ей энтузиазмом она, блестя глазами, остановила на ней наше внимание. Это была: «Хижина дяди Тома»[70]. Под заглавием в тонкой гравюре было изображено спасение Эвы Томом. Анна Мартыновна начала рассказывать нам, что это такая чудная книга, — и мы ей, конечно, поверили. Мы тогда не все понимали, что она рассказывала нам

из книги, но делили ее восхищение. Если бы автор бессмертной книги мог видеть нас, видеть, как ее идеи зажигали лучшие чувства в людях и так далеко от ее поля деятельности! Если бы она могла видеть бледное, отцветшее лицо немки-гувернантки, и горящие воодушевлением глаза на этом лице, и слушающих ее детей, что-то хорошее воспринимающих, еще так мало понимая. Мы останавливались после этого каждый раз перед этим окном. Я так желала иметь эту книгу. И Анна Мартыновна обещала мне подарить ее, если... Этих «если» было так много: ведь условием было стать лучшей. Но ведь это так трудно в этом возрасте, и было так трудно с моим характером... Я старалась, и Анна Мартыновна твердо решилась сделать для меня этот расход из своих небогатых средств (я знала, что книга дорогая), но ни ей, ни мне не была суждена эта радость: я не «заслужила» книги. Анна Мартыновна уехала от нас, а книжка продолжала лежать в окне. И она долго еще служила мне горестным и дорогим воспоминанием об Анне Мартыновне и ее любви к нам. С «Хижиной дяди Тома» я познакомилась позднее — и какое впечатление эта книга сделала на меня, я надеюсь рассказать в свое время.

Я возвращаюсь к улице. Еще много, много других впечатлений давала она. Помню, да, с умилением, весенние журчащие ручейки в канавах, которых уже не видит современный московский житель, — резвые, говорящие громко о торжестве весны над зимой; помню пробивающуюся среди плит тротуара весеннюю бойкую травку, вдруг ярко покрасневшие и ярко побелевшие камушки, обломки кирпичей и известки под водой водосточных труб, извергавших на тротуар такую светлую воду после весеннего дождя. Помню большой разлив, когда воды несчастной Канавы[71] доплеснулись до первых домов Большой Ордынки и в огромные темные подворотни въезжали на досках с шестами в руках. А наши дальние прогулки! Они были в две стороны: или в Донской монастырь, или, по поручениям взрослых, в «город», в пассаж. Прогулки в Донской монастырь были «наши» и доставляли самое большое удовольствие. Вот мы прошли церковь св. Георгия на Всполье. Мы неизменно останавливаемся перед изображениями св. Георгия[72] и Иоанна Воина[73]. Анна Мартыновна не может внушить нам благоговейного чувства к святым; но мы на этих изображениях любуемся римскими воинскими доспехами и юной, воинственной красой. Вот прошли церковь св. Екатерины мученицы[74] — и опять поговорили насчет священных на ней изображений и полюбовались на красоту св. мученицы. Вот Серпуховские ворота, шумная по тому

времени и грязная площадь, — и вот впереди открывается заманчиво длинная улица, окаймленная палисадниками. Нет, навыкший к готике и Ренессансу глаз Анны Мартыновны не мог постигнуть красоты церкви Положения Риз Божьей Матери[75] — этих стройных линий, гармонии, изящества, — но перед красотой Донского монастыря[76] и она, эта иностранка, мало понимавшая Россию, не могла устоять. И мы останавливались всегда в восхищении, еще не доходя до монастыря. Потом мы подходили — и долго стояли перед воротами, расписанными священными сюжетами. Здесь я в первый раз услышала притчу о десяти девах[77]. Здесь я, шестилетняя девочка, чувствовала себя неразумной девой с погасшей лампадой, утратившей — сердце невольно спрашивало: неужели навсегда? — что-то очень, очень дорогое, облекшееся в образ Того, Кто стоял в дверях, готовых закрыться перед неразумными... Потом мы шли иногда на кладбище и тихо бродили между памятниками и слушали от Анны Мартыновны, что есть страдание на земле, о котором мы еще ничего не знали, о муке потерять близкого, никогда, никогда его не видать. Есть памятник в Донском монастыре — он стоит и теперь — из начала XIX столетия, или скорее два памятника, с превосходно исполненными барельефами. Чуткая к произведениям искусства, к страданию, Анна Мартыновна останавливала наше внимание на этих барельефах. На одном из них в характерной для того времени трактовке изображена смерть матери, на другом смерть отца. Смерть уводит Мать, несмотря на плач и стоны детей, — а через несколько лет дети, уже подросшие, провожают отца. Перед этим памятником мы впервые почувствовали за других те муки, которые нам так рано самим пришлось пережить. Тогда это было новое знание, приобретенное нами, — знание жизни и ее страданий, которые теперь так часто стараются скрывать от детей.

Памятники, о которых я говорю, на барельефах которых с такой выразительностью изображено тяжелое семейное горе — Елизаветы Ивановны Барышниковой[78], умершей в 1806 году, работы В. Демут-Малиновского[79] и памятник более позднего времени, 1833—1834 годов, И.И. Барышникова[80] работы Витали[81]. Ю. Шамурин[82] в своей статье «Московские кладбища» (Москва в ее прошлом и настоящем, вып. 8) говорит, что чугунный барельеф на памятнике Е.И. Барышниковой мог бы быть по достоинству помещен в музее. Барельеф Витали он ставит гораздо ниже. Я помню, мы смутно угадывали разницу, или нам ее указала Анна Мартыновна, — потому что первый барельеф мы любили бо-

лее другого. Может быть, потому, что картина с молодой, уходящей матерью, с маленькими детьми была поэтичнее, привлекательнее. Шамурин характеризует талант Демут-Малиновского следующими словами: «Среди прочих скульпторов-классиков Демут-Малиновский отличался реалистической силой своих фигур. Он не был классиком строгого стиля, потому что его талант, любивший сильные движения души и все бесконечное богатство человеческих переживаний, не вмещался в условные рамки чинного и холодного Empire[83]». И вот, мне кажется, в этих словах я нахожу указание на то, что делало этот памятник дорогим Анне Мартыновне. Жизнь, не мертвая, холодная мысль, выраженная в холодных дидактических формах Empire, пленяла ее душу, наводила на думу, заставляла трепетать сердце сочувствием. Опять-таки эпоха и властвующие в ней идеи брали свое. Воспитанная, как я говорила, на готике и Ренессансе, она должна была находить в других интересных памятниках эпохи Empire, которых так много в Донском монастыре, знакомые и приятные глазу формы. И она отмечала их — но без той любви, с которой она останавливалась перед памятниками Барышниковых. Да, время брало свое: хотелось жизни и ее правдивого изображения. Это требование правды от искусства, которое поставила так определенно русская новая школа в живописи, может быть, чувствовалось не так определенно чужеземкой-немкой, как, например, тетей — но все же чувствовалось. Почему же под влиянием Анны Мартыновны мы так равнодушно, более с осуждением относились к красивым Мадоннам (потому что это не были изображения Божьей Матери) и к их искусственным позам в церкви Всех Скорбящих Радостей[84] на Большой Ордынке? Почему мы говорили, что в этой церкви нельзя молиться, и сама тетя находила ее холодной и предпочитала ходить в маленькую церковь Покрова[85], быть может, на Малой Ордынке? А теперь эта церковь мне нравится своей стильностью, красотой, величавостью. Теперь я могу уже видеть в ней отражение целой эпохи, чуждой нам по духу, но привлекающей нас своей цельностью, определенностью. Тогда формы Empire еще тяготили; к ним нельзя было отнестись справедливо и беспристрастно, потому что они стояли еще слишком близко, еще угрожали свободе новых веяний в искусстве.

Вообразите, что мы в своей обыденной прогулке приняли противоположное направление, что нас послали за покупками. Новый мир по

ту сторону реки встречает нас, новые впечатления. Вот мы пошли, завернув для краткости в Черниговский переулок. Встав на цыпочки на каменную приступку (всегда повторялось одно и то же), мы заглядываем через стекло на картину мучения св. князя Михаила Черниговского[86]. Анна Мартыновна этого не может нам объяснить; она не знает даже, к какой церкви относится эта своего рода часовня. И перед изображением святого она остается равнодушной. Но уже несколько дальше, около церкви святого Иоанна Крестителя[87], мы стоим дольше. Перед большой картиной успокоения Предтечи часто останавливаются и прохожие, кладя полупоклоны. Анна Мартыновна передает евангельский рассказ[88]; но он меня мало еще трогает: я не понимаю, в чем суть, — и виной этому, конечно, та прекрасная девушка, которая стоит с блюдом. Про нее говорят, что виной всему она, — а она стоит такая красивая, привлекательная. И если я любила эту картину, то долгое время только за эту юную, красивую девушку, и не могла я предположить в ней никаких дурных чувств.

Идем дальше — и вот на Чугунном мосту[89] нас охватил шум телег, крики подгоняющих утомленных лошадей мужиков. Чугунный мост такой красивый со своими арками (их теперь сняли) — и даже Анна Мартыновна, видавшая так много за границей и не особенно одобрительно относившаяся к Москве, находила его красивым. Вот прошли мост, заглянув на действительно противные, грязные волны Канавы, — и вот очутились в своеобразном мире рыбных и железных лавок. Меня так мучили в детстве запах рыбных лавок на Балчуге[90], запах рогож, пробок и трав, лязг железа, громыханье его, когда его складывали на телеги или везли, например, железные полосы, а они нижними концами издавали непрерывающийся звук, — весь своеобразный шум этой части «города», что до сих пор кажется, я не люблю этого места. На нервность детей тогда не обращали внимания. Я сама стыдилась бы сказать об этом — а между тем именно большая нервность сказывалась в этом страдании от шума, которое я испытывала уже в те годы. Другое страдание, о котором я тоже молчала, предстояло мне всегда на этом пути: это был переход через Москворецкий мост[91]. Долго, очень долго я не могла подходить к водному пространству, не чувствуя особого стеснения в груди. Даже запах воды вызывал во мне это ощущение. Я знала, что мама боится воды, но сознательно боролась в детстве и потом с этой боязнью в себе, как со всякой слабостью. В то время борьба давалась моим сла-

бым еще силам нелегко. Чугунный мост был в этом отношении и для меня покойнее: он был короче, и перила его тогда не были сквозными. На Москворецком мосту через перила были видны волны, гораздо более живые, чем воды Канавы. Иногда в настилке моста попадались протоптанные прогалины – и вид воды через них внушал мне безотчетный ужас. И никто мне не приходил на помощь, кроме Коли, которому я тоже не говорила ничего, но который своей чуткой душой все понял. Он брал меня за руку и вел меня все время, пока мы проходили по мосту. И я не имела мужества отказаться от этой помощи. Тот же ужас я испытывала, когда нам приходилось проходить под Кремлевскими воротами, и нас охватывал казавшийся мне огромным гул колес. Тут я, кажется, даже не могла овладевать собой и останавливалась. Анна Мартыновна меня бранила и не хотела помогать, но говорила о борьбе со слабостью. И снова ко мне протягивалась спасительная рука моего маленького спутника, и не страшно мне делалось, и спокойно я шла, ухватившись за эту помощь.

19 II 1912

Я пишу так нехудожественно и торопясь, урывками, потому что, думаю, я не успею всего написать, что хотелось бы, а между тем я подхожу к описанию исчезнувшего навсегда уголка Москвы, такого, о котором составить понятие почти невозможно тому, кто его не видал, не прикоснулся к его ни с чем не сравнимой жизни, – это к бывшему Московскому гостиному ряду[92], или, как говорили, Городу, или просто Рядам. Я помню, когда ломали здание Рядов, я видела у одного из неважных фотографов Москвы, кажется Симонова[93], на Пречистенском бульваре, ряд больших фотографий, снятых с различных частей этого здания; но и эти фотографии, в сущности, не сказали бы ничего, потому что здание, каким оно было, тесно было связано с протекающей его пестрой, шумной и все же стройной жизнью. И они были бы неясно представлены, если не знать той некультурной грязи, того промозглого, особого воздуха, которые наполняли здание, характерное, в стиле Empire, казавшееся, наверное, многим при его сооружении великолепным, окрашенное в казенный желтый цвет с белой прокраской колонн, скульптурных украшений и пр. И когда я вспоминаю, что здесь или приблизительно при такой обстановке жили и трудились и богатели многие представители видных купеческих фамилий, я чувствую необыкновен-

ную жалость и необыкновенное уважение к этим людям, труд которых был так антигигиенично обставлен, что надо было действительно иметь железное здоровье и огромную выносливость, чтобы его переносить.

Представьте себе: с громыхающего железным лязгом Балчуга мы — это все та же группа: мальчик и девочка впереди, сзади их, пряча руки в муфту, с наклоненной головой, высокая, отцветающая женщина — поднялись в горку мимо Василия Блаженного, и вот еще больший шум охватил нас. Но это шум уже другой: это гудит толпа, разнообразная, но, несомненно, серая, гудит особым базарным шумом, в котором так чувствуется, что здесь все пришли и толкаются за делом, мелким и разнообразным, но однородным по сути. Эта серая толпа — полушубки и армяки, но и «русское» платье ходит и движется, а между ног у них слетаются, расхаживают, клюют стайки голубей, преимущественно серых, но и хорошеньких белых и шоколадных. И такие же стайки голубей запрятались в карнизах здания и сидят так мило, подпрятав кругленькие, точно умненькие головки под крылышки, или передвигаются по этим классическим карнизам, тихо и нежно воркуя. И тут же ходят сбитенщики с большими котлами-чайниками в руках, со связкой калачей у пояса, или продавцы горячих пирожков с большим деревянным ящиком на кожаном темном ремне, перекинутом на плечи. Ящик тяжелый, и продавец, двигаясь вперед, выносит его немного вперед одним и тем же движением вперед груди. Пирожки двух родов: один не возбуждает во мне никаких завистливых чувств, а другой род, который едят на блюдечке, полив его бульоном, мне всегда казался прекрасным запрещенным плодом. И никакие убеждения не могли меня заставить поверить, что есть эти пирожки может быть вредно. Я до сих пор сохранила воспоминание об их запахе. Тогда я мысленно давала себе обещание, «когда вырасту большой», непременно поесть их. А когда я выросла «большая», тогда, разумеется, мне уже их не захотелось. Воображаю, как хороши, бойки, и веселы, и задорны были те прибаутки, которыми сбитенщики и пирожники завлекали свою публику, и как мы бы могли познакомиться здесь с народным юмором. Но этот здоровый, грубоватый юмор тогда осуждался, и нам не позволили бы остановиться на минутку, чтобы послушать веселую песню сбитенщика или — весной — продавца кваса из дуль[94] с его мокрым лотком, кучей моченых дуль и темно-коричневым бочонком, который ютился тогда вместе с пирожниками под сенью Минина и Пожарского[95].

Эта толпа на площади перед Рядами не пугала меня; как и позднее, крестьянская толпа меня радовала и занимала. Мне нравились и ручные голуби, которые только чуточку отбегали в сторону, когда к ним протягивалась детская ручка, и рассыпанный кем-то по талому и грязному снегу овес, и сани-розвальни, нелепо широкие, распластанные, и лошади со спутанными гривами, с сухим шумом вскидывающие мордой торбы с кормом, и запах сена, и запах дегтя. И нравился памятник Минину и Пожарскому, который казался тогда гораздо крупнее и виднее перед сравнительно низким зданием Рядов, и женщины в больших платках, которые продавали игрушечные корзиночки, украшенные канителью и голубым бисером, — эти корзиночки казались мне чудом искусства, — гуляя по тротуару и приглашая покупателей умильными речами, и другие, которые тут же где-нибудь на тротуаре жгли «монашки»[96], распространявшие пряный, по-моему, запах и которого в нашем доме как раз не терпели.

Но мучения мои начинались, как только мы входили в здание, — когда, бывало, вдруг почувствуешь себя окруженным чем-то бесконечно чуждым тебе. Так что и тут, в тесных проходах, я хваталась за спасительную руку Коли.

Вначале еще было ничего, если только мы попадали не в самую сутолоку центральной части Рядов, а входили в них через так называемый Глаголь[97].

Этот Глаголь долгое время имел для меня привлекательную прелесть. Этим именем, нам сначала бывшим вовсе непонятным, называли выступ строения, выходивший на угол Ильинки и Красной площади и который имел в плане вид буквы «Г». В этом углу, сравнительно менее людном, находились исключительно лавки со сластями. И я должна их описать. Лавки эти были открытые, как многие лавки в тогдашних Рядах, — это был прилавок, а сзади него высокий шкап с полками, и на них-то на полном виду — разглядывай и любуйся кто хочет — стояли большие стеклянные банки со сладостями: ячменным сахаром в витых и толстых палках, заливные орехи, большие белые мятные лепешки, от которых делалось жутко во рту, леденцы разных видов и пленявшие разнообразной окраской, палки косхалвы, которые сейчас, кажется, не возьмешь в рот, стручки — и мало ли чего там было. И здесь нам не закупали ничего. Но впоследствии Коля, уже гимназист, зная мое продолжающееся пристрастие к Глаголю, на обратном пути из гимназии

заходил сюда и тратил свои небольшие деньги на гостинцы мне. Я радовалась серым и голубоватым мешочкам из грубой бумаги, к которым грубо же обсахаренные орехи успевали прилипнуть в дороге, — и долго еще помимо знака внимания со стороны Коли сладости из Глаголя доставляли мне искреннюю радость. Я помню, как никто не хотел делить со мной добычу из мешочков, а я недоумевала, почему конфеты из кондитерских считаются лучшими.

Но вот пройден Глаголь — и мы очутились в переднем проходе Рядов. Таких проходов в Рядах было несколько, параллельных — передний был наиболее светлый, так как рядом больших дверей он сообщался с улицей. И все-таки как было здесь неприветно и темно. Промозглый сырой воздух царил везде в Рядах — и его я тоже помню, — но в этом переднем проходе он разрежался морозным воздухом снаружи. В проходах долевых и пересекавших их поперечных по обеим сторонам ютились лавчонки, темные, сырые. Свет внутри Рядов падал через отверстия в крыше, но они были так темны и, наверное, закрыты непромытыми стеклами, что в проходах стоял всегда темноватый полумрак. Надо было смотреть под ноги, потому что по середине прохода шел сток для воды или нечистот, прикрытый досками. Из открытых лавок пахло товаром: захолодавшим на морозе «красным» товаром, шерстью в больших тюках, корзинками, щетками и пр. В переднем проходе по правую руку были лавки получше, отгородившиеся от прохода стеклянными дверьми и стенками-окнами. Но по левую руку, между дверьми, выходящими на тротуар, сдавались лавки-шкапы, и в них торговали большею частью мелочью: лентами, пуговицами, кружевами, иголками и т.д. Как не замерзали здесь продавцы! Правда, они ходили взад и вперед перед своими лавками целые дни: несколько шагов вперед и несколько шагов назад. Каждого проходящего они провожали выкриками: «Ленты, иголки, булавки!» — и когда проходил он мимо, потому что ему не надо было ничего подобного, продавец-хозяин или приказчик возвращался вспять и ловил другого с теми же словами. И каждый ходивший около своей лавки целый день «зазывал» таким образом проходящих, сообразно с товарами своей лавки: «Кружева не угодно ли-с?» и т.д. Уменье «зазывать» ставилось в особую заслугу приказчику или расторопному мальчику, и они изощрялись друг перед другом уменьем заглядывать в глаза покупателя, угадывать его желания, навязывать им свое, соблазняя вовремя и умело предложенным товаром. «Лучше на найдете-с!», «К нам пожалуйте-с!» и т.д. Но вот это

зазыванье, назойливое приставанье, которому подвергались все проходившие по Рядам, и смущало меня более всего. И до сих пор помню я общий тип такого приказчицкого лица, наглого под видом изысканной любезности и в то же время мерзлого, с раскрасневшимися упругими щеками под картузом, и струйку пара, которая выходила изо рта с дыханием, и всю фигуру, приказчицки наклоненную вперед с приглашающим жестом правой руки и соответственным наклоном набок головы. Точно отпечатлелся в моей памяти тип, создавшийся из многочисленных лиц. Было что-то унизительное в этом ухищрении в зазывании, и когда, наконец, новые нравы изгнали эту манеру в торговле, я почему-то искренне обрадовалась. Наверное, уже тогда, несмотря на твердо укоренившийся обычай, раздавались голоса против него. По крайней мере, я слышала от тети уже тогда осуждение ему. Так действовали гуманные взгляды времени, проникая лучами в темное царство.

14 III 1912

Кончился ряд — мы дошли до другого, противоположного Глаголю выступа в здании Рядов, и отрадно очутиться среди света и относительного спокойствия улицы. Относительного, конечно, потому что мы попадаем снова в движущуюся, толкающуюся толпу, среди женщин, продающих фитили для лампадок, крылышки, бисерные корзиночки, искусственные цветы, сжигающих на улице «монашек». И тут же у стены губернского здания стоят выжидающие добычи подозрительные фигуры уличных адвокатов, попавшие в литературу. Здания Исторического музея[98] еще не было, а, как известно, с обеих сторон Воскресенских ворот стояли характерные здания Губернского правления[99]. Нам они нравились, так же, как и сами ворота. И здания Городской думы[100] тоже тогда еще не было. Вместо него возвышалось старое, желтое казенное здание Сиротского суда[101]. Вокруг было грязно, особенно за зданием, там, где теперь разбит сквер. Но кроме непривлекательного вида с этим грузным желтым домом соединено было в нашем сознании то чувство горькой обиды, которое не раз испытывала здесь тетя, хорошо знакомая с сиротской долей и с теми мучениями, которые терпели все, имевшие дело с этим учреждением, явно бывшим гнездом взяточничества и мздоимства. Тетя рассказывала не раз нам или при нас многократное мучительное хождение по сиротским делам бабушки Анны Ивановны.

Потом мы переходим через обширную Театральную площадь и всегда любуемся Большим театром. Вот эту архитектуру понимает Анна

Мартыновна — хотя она и говорит нам о колоннах более стройных и из более благородного материала. Но мы чувствуем, что в этом здании мы чем-то приближаемся к «настоящим» памятникам искусства. А кони на крыше! Что-то близкое к удалой русской тройке, порыв и мощь мужества чудятся нам, может быть, смутно. И мы, привыкшие к мысли, что там где-то за границей есть много красоты, которой у нас нет, гордимся нашим Большим театром.

Но нас зачем-то посылали в пассаж, на Кузнецкий мост. И удивительно, ничего-то они не возбуждали во мне, кроме скуки! Отчего я так хорошо помню безалаберные, грязные Ряды, Чугунный мост и Канаву, милый Кремль, Донской монастырь — и не помню вовсе пассажа и Кузнецкого моста, как будто не было ни одного впечатления, оставленного ими на детскую душу. Впрочем, помню булочную Бартельса[102]. Анна Мартыновна чувствовала там как бы кусочек родины, среди пухленьких и свежих немецких булочниц, говоривших на немецком языке. И там пахло так вкусно свежим и сдобным хлебом и было выставлено так много красивого.

Жизнь в доме — в детской и возле «больших», — сумею ли я ее описать при той спешке, с какой пишу, да еще урывками? Хочется сказать так много о том милом прошлом, о тех милых, дорогих и хороших людях, которые хранили наше детство — счастливое уже тем, что нас не касалось жизненное зло и неправда.

Мы встаем рано — Анна Мартыновна еще раньше нас. Лежа иногда в постели и не решаясь встать без ее разрешения, я вижу, как она, уже одетая, стоит на коленях около своего большого деревянного с полукруглой крышкой зеленого сундука, стоящего у окна: сложив молитвенно руки, она глядит в окно и молится. Я уже знаю, что это называется die Hunde falten Andacht[103]. Мне хочется слиться с ней в молитве, и я тоже складываю руки, как она, и говорю Богу своими словами то, что хочу. (Мы уже спрашивали у Анны Мартыновны с Колей, отчего она молится не перед иконой, как мы, отчего она не крестится, как мы, не читает положенных молитв. Мы узнали от нее, что молиться можно, как кто хочет, что молятся так, как принято в церкви той или другой, что мы должны делать так, как нас учили. Великое чувство веротерпимости привито нам — и нас уже во всю жизнь не смутишь нетерпимым «инако

веруешь». В то же время разбужен критический дух: кто правее, тетя или Анна Мартыновна? И когда тетя говорит, что надо непременно креститься, молясь, душа уже отвечает: можно и складывать руки, можно молиться и глядя на небо, можно молиться и своими словами.)

Мы встали, умываемся, одеваемся, гордо, без помощи. Нас научила этому Анна Мартыновна. Каждый шаг вперед в этом деле был общей радостью. Коля сам застегивает себе башмаки! Вера научилась застегивать лифчик! Не обошлось, конечно, без мучений, без слез — но радость быть самостоятельными скоро заставила забыть о тяжелом. Искусству одеваться, немного позднее пришивать себе вечно отлетавшие пуговицы кожаных башмаков мы выучились скоро.

Под конец Анна Мартыновна ставит перед собой сначала Колю, затем меня, припомаживает нам волосы и расчесывает их у Коли на косой пробор, а у меня, расчесав мои короткие и прямые волосы на две половины, надевает мне на голову держащую их ленточку с бантиком наверху. Через плечо каждый из нас надевает вышитую шерстью Дунечкой сумочку; с носовым платком. И, готовые, мы становимся на нашу, русскую молитву перед иконой.

Молиться нас научила тетя. Благодаря хорошей памяти, я быстро, гораздо быстрее Коли выучила несколько молитв. Мы знали и Отче наш, и Богородицу, и Царю Небесный, и Достойно, и Верую. Тетя умилялась и радовалась. Тетю никто не учил молитвам. Она выучила множество их постепенно, присутствуя на церковных службах, вникая в то, что читается и поется в церкви. Ей казалось главным делом знание текста — чудный смысл его когда-нибудь откроется душе. Она старалась о том, чтобы мы чаще прочитывали молитвы, чтобы мы не забыли выученного. И мы с вниманием ежедневно по очереди произносили вслух молитвы. Но мы их не понимали. Кроме Отче наш, который объяснила нам Анна Мартыновна и которого мы так любили. Но затем: Коля искренно верил, что «Не имамы иныя помощи» есть кто-то, и раз, когда он потерял перочинный ножик, молился со глубокой верой: «Не имамы иныя помощи, помоги мне найти ножичек». А для меня слова «Царю небесный» облекались в форме чего-то длинного, вытянутого, белесоватого и живого. Иногда мы обращались с вопросом о непонятном. Но тетя говорила мудреными словами, и мы ее не понимали. Приезжала из пансиона Лена со своей школьной мудростью. «Хотите я объясню вам, что такое вы читаете в Достойно?» Она сажала нас перед собой, очевид-

но, бессознательно еще шла «в школу», но скоро выходило, что мы «глупые» и не в состоянии понять. Но любовь к словам церковной молитвы, понятие, что в них заключается глубокий смысл, до которого надо дойти, — это вложила в меня тетя.

Помолившись, мы идем в столовую. Если это зимой, то в ней еще горит свет. Когда я была еще совсем маленькая, я еще чувствовала себя сонной, входя в столовую. Папа уже сидел там за чаем, помешивая в стакане ложкой. Так я его ярко вижу. И теперь я с любовью вспоминаю его огромные труды, и все для нас: ведь он уже тогда был больным человеком, а вставал рано, уезжал во всякую погоду. Папа сидит и помешивает ложечкой в стакане. Он обыкновенно не говорит, разве только тетя выйдет тоже к чаю, и между ними начнется разговор короткими фразами, в которых она часто и любящим голосом повторяет: «голубчик», «Николенька». Я люблю папу, люблю всем сердцем. Мне радость его видеть. Я не говорю свободно перед ним, но я и не чувствую мучительного стеснения, как перед другими взрослыми. И когда он уезжает, мне кажется, что что-то хорошее ушло, что сейчас было. Между тем нас поят чаем с молоком. На красной с белыми разводами скатерти (когда мы подросли и стали меньше проливать, ее сменили белой) стоит скромная черная с расписным розаном лодочка с хлебом. Хлеб — двойной, из двух составных половинок. Я люблю горбушку и прошу ее. Но Анна Мартыновна говорит, что не надо развивать в себе пристрастия к чему-нибудь, и нарочно отрезает мне горбушку только через несколько дней. Сначала я обижена, огорчена, но затем, когда действительно через несколько времени все куски хлеба становятся для меня одинаковыми, я понимаю, что одержана какая-то победа.

18 III 1912

Затем на цыпочках мы пробираемся мимо маминой спальни (она еще спит, мама, и долго не встанет) в залу. Мы немного играем, пока убирают и проветривают детские. Но вот там все готово, и нас бодро зовут учиться. Занимается с нами пока тетя — «по-русски» и Анна Мартыновна по-немецки. Сначала идет тетин черед.

Тетя прилагает к нашему ученью все свое уменье, всю свою любовь к нам и к просвещению. Для нее наслаждение заниматься. Я должна сказать, что, несмотря на мою любовь к знанию, первые начатки его мне давались довольно-таки трудно, и я чувствовала, что занятия с нами

дают тете больше удовольствия, чем нам. А тетя говорила так бодро об учении и наслаждении учиться, она постоянно высказывала свой принцип «учиться, играя», она так поощряла всякий успех, что ее бодрый возглас «Ну, детушки, учиться!» всегда будил в моей душе ожидание чего-то приятного. И я садилась за развернутый ломберный стол в детской против Коли в самом приятном расположении духа. Тетя клала перед нами сшитые ею самой тетради в лист, линованные ею же карандашом, и принималась за чинку гусиных перьев. И кажется, не дождешься получить перо свое в руки, и кажется, вот начнется наслажденье. Но через несколько минут начиналось сознание своей беспомощности и неуменья достигнуть желаемого, хорошего. Палки — какое это мученье. Ведь ни у одного ребенка в мире, по-моему, они не ложатся так прямо и ровно, как должны. А тетя во всем и от себя, и от других требовала совершенства в исполнении. Сколько, бывало, мученья, сколько запачканных пальцев перед этим неотвратимым требованием. Потом такое же мучение с буквами, с писанием с прописей. Тетя восторгается, бывало, некоторыми изречениями, но и ее восторг, и прописная мудрость мне еще непонятны. Мне тягостно, что я не могу вывести хорошо тонкий штрих, завитка заглавной буквы. Если бы у нас могла явиться мысль о возможности быть раздражаемым, я бы себе сказала, что уроки писания меня раздражали; но, конечно, и мысль об этом мне не могла прийти в голову. Огорчало меня также то, что я, несмотря на горькие упреки тети, не могла научиться писать свое имя через ѣ. Писал Коля лучше меня, и в этом отношении у меня даже не было товарища по несчастию. Он не мог, в свою очередь, понять, как я никак не запомню этого ѣ. И раз, когда я написала свое имя не только без ѣ, а «Вела», он очень смеялся. А тетя на меня рассердилась — это уже было слишком, две ошибки в одном слове, которое пишешь ежедневно. Но меня обидел больше смех Коли, нежели выговор тети, и Коля это тотчас заметил. Я тогда заплакала, огорчив Колю, смягчив тетю, а впоследствии мы столько смеялись над этой «Велой».

Странно, что я помню и тетради, и гусиные перья, и как мы перешли скоро на стальные, и даже ножичек, которым тетя чинила перья, и мои мучения над письмом — и в то же время не помню уроков чтения и ни одной книги, прочитанной в то время. Я думаю, это потому, что чтение мне давалось легко, а книги были не по мне, не детские. Помню, впрочем, истрепанную хрестоматию Галахова, которая была в руках у Дунечки, — и помню, что я учила из нее какое-то стихотворение к

празднику. И Коля учил стихотворение, но другое, и тоже непонятное, как и мое. Но так как память у меня была хорошая, я стихотворение одолевала лучше, нежели Коля. И тут тетя держалась такого же принципа: была бы хорошая книга в руках и уменье ее читать — когда-нибудь вчитаешься в смысл.

Учиться немецкому нам тоже было трудно только в первый год, как и по-русски, стало потом совсем легко. Но в первый год были и слезы, и отчаяние, и то, что называлось взрослыми ненавистным для детей именем каприза. Так трудны были также для выводящей их руки острые, отличные от круглых русских, сжатые готические буквы; так много непонятных слов. Помню, как было скучно чтение маленькой в зеленом переплете книжки — Lesebüch[104], с маленькими рассказами, которые оставались непонятными. И как велика была радость, когда и в этой книжке вдруг выдался рассказ, который мы поняли. Эта книга стала нашей любимой. Но с ней связывалось для нас и неприятное воспоминание: Анна Мартыновна заставляла нас читать себе вслух при ней в наказание, а что было еще хуже, читать в ней по складам — Buchstubieren[105] одну-две странички. Я до сих пор не понимаю, в чем заключалось педагогическое намерение в этом последнем наказании и почему его так держалась Анна Мартыновна. В противоположность почти каждому другому ее действию, всегда душой одобряемому нами, мы не могли по справедливости усмотреть в нем какого бы то ни было смысла или пользы.

Мне кажется, что в общем у Анны Мартыновны были все же более совершенные методы в преподавании, нежели у тети, потому что уроки Анны Мартыновны казались мне легче. Она к тому же много рассказывала и обнаруживала большую гибкость в применении к детскому пониманию. Если тетя оставляла многое для будущего понимания, Анна Мартыновна не успокаивалась, прежде чем так или иначе, словом, жестом, на картинке, в окне магазина не покажет того, что объяснит непонятное.

Ученье у нас расположено на утро и на время после завтрака и прогулки — затем остается еще много времени. Оно посвящается нами игре — и на играх наших мне хотелось бы остановиться. Мы не особенно умеем играть с Колей и рано начинаем предпочитать занятия играм. Особенно не поддерживает пристрастия к игре и Анна Мартыновна. Правда, она сторонница движения для детей, учит нас следующей игре, которая нам доставляла большое удовольствие: мы беремся за руки, образуя круг, и,

двигаясь хороводным движением, повторяем за ней — петь она так и не могла нас научить, благодаря полному у нас отсутствию слуха:

Adam hutte 7 Söhne, 7 Söhne hutte es,
Sie assen nicht, sie tranken nicht,
Sie machten alle — so[106].

Надо было при этом повторять движения лица, выдумывавшего новое движение на слово «so»[107]. Это была единственная игра, нам нравящаяся, из придуманных для нашего увеселения. Но мы сами себе выдумали и другую. В нашей большой зале — мы проводили в ней почти все вечера, когда не бывало гостей, в детских в это время открывали форточки — стояли у стен две половинки тяжелого сдвижного стола. Эти половинки были нашими «домами», и мы залезали под них, изображая разных зверей. Мы подолгу могли играть так, переходя друг к другу на четвереньках в гости или сидя на корточках под столом и сообщая друг другу, что вот теперь я — то-то или вот делаю то-то. И еще мы любили «плавать», и эту игру нам охотно разрешала Анна Мартыновна, и она ей даже нравилась, потому что любовь к воде, к широкой глади моря она вложила нам в душу, она, страстно любившая свое унылое, серое Балтийское море. Слово See[108] она произносила особенно, с Sehnsucht[109]. «Плавать» позволялось мне только перед тем, как менять фартучек, когда прежний все равно надо было отдавать в стирку, — чистый фартук я должна была беречь. Мы ложились на пол с Колей и ползли по полу, делая соответствующие движения руками. Было это ужасно весело. Коля, конечно, обгонял меня, но великодушно ждал и замедлял свои движения, чтобы я не очень отставала. Еще Анна Мартыновна поощряла борьбу, как и гимнастику. Бывало, сама скажет: «Схватитесь!» Она научила нас приему — схватывать противника вокруг талии и стремиться его повалить. Борьба мне очень нравится, и мне удается часто повалить Колю, ему меня несколько реже, может быть потому, что я худее его и живее, стремительнее нападаю. Но раз, когда он схватил меня сильнее и я почувствовала, что не удержусь, я высвободила руки и схватилась за его лицо, волосы, мешая ему. Анна Мартыновна тотчас остановила меня и объяснила, что так не делается между честными бойцами. Мне стало стыдно: разве я хотела быть нечестным бойцом? Мне казалось, что я придумала только удачный боевой прием. Я запомнила платье — летнее, ситцевое, беленькое с легкими розовыми разводами, в котором я узнала этот урок чести.

Игрушек у нас было мало, но мы о них не особенно скучали. Анна Мартыновна умела прекрасно вырезывать из бумаги человечков, мальчиков и девочек, домики и елки. Она и рисовала нам — я помню прекрасно, например, церковь и идущего из нее священника с книгой в руках. Рисунок или вырезанную фигуру надо было заслужить. Бывало, стараешься, стараешься и вдруг сорвется, и слышишь, что теперь ничего не получишь. Такое возьмет отчаяние и обида! И знаешь, что нетрудно получить, — надо только попросить прощенья, то, что так легко делает Коля. Но я не могу. И вижу, что ножницы откладываются в сторону, и что у Анны Мартыновны грустное лицо, и что она недовольна мной, — а слова точно замерли на сжатых губах. Но если Анна Мартыновна нечаянно даже сказала «я обещаю вырезать», то, как бы ни была она недовольна, она все же исполнит обещанное. Поэтому в добрую минуту мы стараемся вырвать у нее заранее обещание. Но она говорит, что обещать что-нибудь надо всегда осторожно, именно потому, что уже потом нельзя отказываться. И мы начинаем твердо держаться обещания. А когда просим у нее прощения, говорим по ее совету: «Я постараюсь исправиться», а не: «Я обещаю этого не делать». Она указывает нам, что бороться тяжело и не надо принимать на себя того, чего, может быть, не в силах будешь исполнить.

Дорогие по тому времени игры-занятия дарила нам мама-крестная, Ольга Михайловна, и я помню некоторые из них. Особенно пленял нас «Маленький столяр» и имевшийся в коробке маленький молоточек, которым можно было работать, а настоящую радость и переворот в наших занятиях произвела подаренная ею Коле коробка с красками. Раскрашивать картинки стало нашим любимым удовольствием. Тетя собирала для нас объявления «Нивы», вырезывала из них картинки и давала их нам в награду за хорошее ученье. И хотя мне немногого стоило получать награды, мне неприятна была одна мысль, что это награда. Свободно хотелось мне быть хорошей и учиться хорошо, а эта оценка была все же гнетом.

20 III 1912

В общем, неразнообразны были наши игры зимой. В нас незаметно, по-моему, подавляли самодеятельность. Конечно, делали это, сами не замечая этого. Тетя, например, очень стояла за самодеятельность и была бы рада, если бы мы ее проявили. «Придумайте что-нибудь», —

неоднократно повторяла нам она. Но ведь это были только слова. На деле оказывалось, того-то или другого нельзя. Нельзя было строгать ножиком, нельзя было взять молотка в руки. Тó пачкало, тó вносило беспорядок. Ведь в то время детскую жизнь и ее интересы не выдвигали на первый план в семье. Дети подчинялись строю дома. Того мама за нас боялась, то-то не полагалось делать благовоспитанным детям, то-то специально запрещалось девочке и т.д. И материалу у нас было мало. В детской не нагромождался тот «сор», по понятию взрослых, который так дорог детям и из которого они изготовляют себе предметы, их радующие. Все в детской было чисто и опрятно; все стояло на своем месте. И если на некоторое время в ней допускалось присутствие коробочки с привезенными с дачи семенами, казавшимися ужасно милыми, красивыми по форме, или с пожелтевшими иглами от елки и обрывочками елочных свечек, которые я любила почему-то пересыпать в коробке, радуясь сочетанию желтовато-зеленых игл и порозовевшего красного воска, радуясь смешению запаха воска и елок, — это были единичные случаи, потому так и запавшие в память. На выставке 1872 года[110] — я, как ни была мала, помню отлично некоторые из виданных отделов, до того, наверное, было сильно впечатление — тетя и мы видели, между прочим, игрушки, изготовленные самими детьми: мебель, сделанная из горошин и спичек. Тетя тогда еще восхитилась и долго продолжала вспоминать эту мебель и ставить нам в пример этих неизвестных детей. Плохой педагогический прием, повторяемый фатально всеми поколениями старших по отношению к младшим. Неизвестные дети нам стали неприятны — но я с охотой бы подражала им. Какое-то стремление создавать было. Однако из чего что делать? Тетя обещала было купить нам гороха, но я не помню, исполнила ли она свое обещание. К тому же по заказу и образцу таких вещей делать нельзя. Материалом, которым мы свободно могли бы пользоваться, — это были обрезочки и лоскуты, которых тогда в каждом доме было достаточно, хотя их и берегли на всякий случай. Ведь тогда шили так много дома. И какая поэзия была для маленьких детей того времени рабочая коробка, например. Как приятно было разбираться в ней и находить или устанавливать в порядке такие милые и красивые предметы, как вышитую бисером или нарисованную от руки книжку для иголок, катушки с нитками разных цветов, хорошенький наперсток, гладкий, блестящий кабаний клык, который сглаживал швы, вощяной шарик, на котором вощили нитку, наконец, гусиную

шейку с положенными внутри горошинами и обшитую шелковой материей. Право, все это казалось таким привлекательным. А крючочки и петельки! Положительно у меня была и оставалась долго какая-то нежность к форме петельки. А пуговицы разных видов — какие из них бывали любимые. Также помню я любимые и красивые лоскуты. Их хранили скатанными, перевязанными узкой полоской материи. Развертывали их бережно, отдавая детям, смотрели, не отдают ли нужного, того, что может пригодиться для другого, более важного, чем детская игра. Поэтому и получить лоскут казалось делом важным; поэтому уносишь его, бывало, с торжеством; чувствуешь, что в руках сокровище. И как я помню воображающие лица тети, Дунечки, разбирающей для нас лоскуты, или Анну Мартыновну, стоящую на коленях перед своим громоздким деревянным сундуком, и нас около нее, ожидающих, что она достанет нам из него.

Но лоскуты не так уж были нужны нам, потому что я по-прежнему не любила кукол и не играла в них. И все-таки скажу, мы, наверное, были неизобретательны, в прямую противоположность Мише. Другие дети сумели бы выбиться, своими работами заинтересовали и увлекли бы взрослых. Наверное, личные наклонности влекли нас к другому: к чтению, к слушанию рассказов, к рисованию. Может быть, думается мне, и тетя и Анна Мартыновна невольно сами направляли наш ум на серьезное и поддерживали этот интерес в нас, придавая большое значение серьезному в жизни.

Тетя была врагом безделья. «Сидеть сложа руки», по ее частому выражению, было чем-то постыдным. И до конца жизни мы видели ее всегда занятой или крупной работой, или, на худой конец, вязаньем чулка. Тетя поэтому старалась рано и меня приучить к женской работе. Лена, еще маленькая девочка, хорошо вышивала и делала это, по-видимому, охотно. Но все старания тети разбились о мое полное нежелание. К чему было мне это, когда я хотела быть мальчиком? У меня уже сложился идеал жизни. Я буду солдатом, воевать, вести походную жизнь. Я бы не отстала от мальчиков. Анна Мартыновна рассказала нам как-то сюжет оперы «Дочь полка»[111]. Я без конца мечтала на эту тему. Выход был найден. Теперь я не помню вовсе, в чем заключались приключения «дочери полка», но помню, что я вынесла из сюжета оперы надежду, что девочке бранная жизнь вполне доступна. Анна Мартыновна не противоречила моим воинственным стремлениям. Она, наверное,

видела в них стимул для самовоспитания в духе укрепления в себе воли и характера. Может быть, и ей нравилась эта жажда во мне освободиться от условностей, стеснявших женскую жизнь. Может быть, и ей были не по душе обыкновенные женские занятия, — я помню ее за исполнением Handarbeiten[112] только с тем, чтобы помочь в них сестре; она шила только полезное. И я с удовольствием выучилась шить, пришивать пуговицы, зашивать дырочку — потому что знала, что это пригодится мне в будущей военной и странствующей жизни. Но остальное — к чему это было нужно?

Между тем то, что делала тетя, нас интересовало и нравилось нам. Яркий мир красок, радующий и пленяющий глаз, развертывался перед нами в тетиных работах. Мамина работа была однообразнее: она больше шила нам белье и платьица. Но мама работала меньше, и мы видели ее за работой больше по вечерам. Работа не составляла основу ее жизни. Тетя же работала с утра до вечера — и чего, чего она не делала! Она шила себе платья — мамины платья отдавались портнихе, — и тетя тогда еще не перешла окончательно на темные цвета. Тетя любила шить церковные облачения — и какое богатство красок вносила эта работа в ее тихую, светлую комнату. Ярко-желтый коленкор подкладки, и золотые херувимы, и крестики нашивные, и такие красивые пуговки в виде бубенчиков. И особое настроение при шитье — ведь это было богоугодное дело, касаться до материала неумытыми руками было нельзя, нельзя было играть пуговками-бубенчиками, а они будто нарочно были сделаны именно для игры. Как я помню один факт. Был праздник, и работа — ризы для священника и дьякона, которые шила в это время тетя, — аккуратно сложена у нее и положена на диване. Мы затеяли игру в прятки. Нашли всех — одного Коли не было налицо. И так долго не могли его найти, что даже тетя забеспокоилась и принялась искать. И тут-то вдруг, смеясь и радуясь своей выдумке, вылез из своего убежища Коля — и ни более ни менее, как из-под сложенной ризы. Что тут было! Мы сначала обрадовались, но тетя его так разбранила: она видела в этом невольное кощунство. Но какой Коля был в эту минуту миленький! В ярко-синей рубашечке, с ярко-синими глазами — и весь улыбающийся!

Еще тетя вышивала шерстью и вязала — и какая прелесть была для меня в мотках шерсти и в клубках: пестрые они были, яркие, и некоторые из них так красиво сочетались в своих красках. Еще тетя прекрасно шила и вязала бисером — и в очень ранние годы я видела у нее, у сест-

ры и у себя в руках этот оставшийся мне до сих пор милым материал. Прозрачные краски бисера имели для меня что-то особенно привлекательное, и я помню, как, очень маленькая девочка, я нанизывала бисерные цепи с большой охотой. Но как раз в то время бисерные работы выходили из моды, говорили о ненужности их, о том, что они портят глаза так же, как и мелкое вышивание, что на это не стоит тратить много времени, нужное на другое, хотя бы на чтение, — и бисер как-то исчез из моей жизни. Еще тетя любила изготовлять поддонники — и тут изощрялась ее фантазия. Тетя делала их с увлечением и дарила их маме и другим. Но опять-таки вкус менялся — мы видели, что мама не очень ценит этот предмет украшения.

28 IV 1912

Да и мы не видели в них той привлекательной прелести, которую видела в них, очевидно, тетя.

Чаще всего тетя изготовляла поддонники, украшенные шерстяными цветами, а на эти цветы шли остаточки шерсти от вышивания. Какие это были яркие цветы — их можно еще до сих пор видеть в некоторых домах на старинных поддонниках. Зелень к ним делалась из вязаной и распущенной затем зеленой шерсти. Странное дело — вкус. Как он меняется по эпохам. Я помню, при мне одной немолодой даме поднесли вышитую салфетку на стол aux tons passes[113], согласно моде конца XIX века. Она сказала: «По-моему, если роза, то должно быть видно, что это роза; если незабудка, то чтобы была незабудка, а это линялое какое-то». Она вспоминала, очевидно, прошлое вышивание с яркими красками. И оно ведь снова входит теперь в моду.

Но тогда как раз была перемена во вкусе. Тете нравились ее ярко-голубые незабудки, яркие розы и оранжевые цветы, а мы уже не любили их, и чем-то они нас не удовлетворяли.

Тетя приохочивала нас к работе, привлекала нас к мотанию шерсти, просила поддержать карандаш, при помощи которого и выделывались шерстяные цветы, — и это нам иногда нравилось — и все-таки не добилась она, чтобы я приняла сердечное участие в том, что занимало женское население дома. Тетя придумала завлечь меня, начав мне работу для папы, и я с горячностью принялась за нее. Все бы я, кажется, сделала для папы. Но на этот раз и это не помогло. Я отчаянно скучала за вышиваньем, Коля без меня бродил без дела, и кончилось тем, что тетя

не без легкого укора отпускала меня. И тогда все сразу становилось хорошо: я летела к Коле, и точно веселее было играть, интереснее говорить после нежеланного и вынужденного перерыва.

И, однако, я уверена, что другие какие-нибудь занятия, выбранные с той внимательностью к индивидуальным вкусам каждого ребенка, как делается это теперь, могли бы меня заинтересовать. Я уверена, например, что бисерные работы я бы делала хорошо. Была еще работа тети, которая привлекала мое внимание и нравилась мне. Тетя превосходно делала восковые цветы. Она их делала художественно — это признавали все и она сама с невольной гордостью. У нас долгое время хранились за стеклом иконостаса с образами «Живоносного Источника» и Алексея Божия человека веточки ею сделанных ландышей и васильков. Они были так тонко, так красиво сделаны. Может быть, в этой работе, которую она позволяла себе только в виде отдыха, находило себе выход несомненно присущее ей в сильной мере художественное чутье. И вот если бы она посвятила меня в тайны этого искусства — может быть, она нашла во мне отклик. Но как раз я застала сознательно только конец проявления ее творчества в этой области. Я помню, она кому-то сделала большой букет, его поставили в вазе в столовой, им все любовались, а потом она и перестала делать цветы.

Вот что я могу сказать о наших играх и занятиях. Я остановилась немного долго на них. Возвращаюсь к описанию нашего дня.

В этом дне, обыкновенно однообразном, самое тяжелое время был для меня обед. Завтрак почему-то обходился менее тревожно. Почему-то иногда на нем присутствовала только тетя из «больших» — человек свой и непугающий. Обед проходил более торжественно, сказала бы я. Собиралась вся семья, было более чинно, нас к нему подготовляли напоминанием, что надо сидеть хорошо. Иногда бывали и гости, тетя Серафима Михайловна, мама крестная или двоюродная наша сестра — Анета Кальман, дочь тети Анны Ивановны. Садясь на свое место около Анны Мартыновны — Коля сидел по другую ее сторону, — я испытывала уже стесненное чувство. И опять сказывалась разница между Колиным характером и моим. Коля свободно улыбался всем — и часто кто-нибудь замечал, как милы у него ямочки на щеках. Коля свободно обращался к Анне Мартыновне не настолько громко, чтобы навлечь внимание, что дети должны себя вести прилично за столом, и все же настолько слышно, что любовались легкостью, с какой он говорил на немецком язы-

ке. Я же, бывало, сижу вся стесненная и боюсь, как бы Анна Мартыновна не обратилась ко мне с вопросом, на который надо же будет ответить. Если же я говорила, то всегда шепотом. Это не нравилось маме, и она выговаривала мне за это. Не нравилось ей и то, что я всегда складывала пальцы рук и сложенные руки клала на стол. «Точно тетушка Варвара Ивановна, — говорила мама, — та тоже сложит, бывало, так руки и шепчет». Я чувствовала в этих словах насмешку. Никто не говорил о тетушке Варваре Ивановне что-нибудь очень хорошее, и мы знали ее только по имени, тогда как, например, об ее сестре, тетушке Елизавете Ивановне, тетя и Дунечка говорили с благоговением. Следовательно, походить на тетушку Варвару Ивановну не было похвалой — и мое сердце чувствовало желание этим уязвить мое самолюбие. И все же руки еще очень, очень долго, гораздо позднее детства складывались так невольно за столом. А громко говорить при всех я тоже научилась очень поздно. Подумайте же, как я, которая, будучи уже молодой девушкой, страдала от взгляда, брошенного на меня, должна была сжиматься трепетно внутри, когда на меня, 6—7-летнюю девочку, обращал внимание кто-либо из взрослых. Да я и не привлекала ласковых и удовлетворенных взглядов, как Коля. Я это знала и иногда мирилась, иногда немного недоумевала. Я помню, как осветившийся улыбкой взгляд, остановившийся на Коле, терял эту ласковую улыбку, перейдя на меня, — и невольно замирала от повеявшего от него холода. Или вдруг Анета Кальман, которую я боялась за резкий язык, остановит на мне взгляд своих живых черных глаз. Она, любимая в нашей семье, не нравилась мне: она была рыженькая, глаза у нее были слишком черны и блестящи, на мой взгляд, и две-три резкие шутки я ей положительно не могла простить. И я так боялась ее взгляда, в котором я не читала доброты. Или вдруг тетя Серафима Михайловна задумчиво поставит про меня вопрос: «Как про нее сказать? И не блондинка она, и не брюнетка — глаза темные, а волосы — волосы рыжеватые». Про то, что у меня волосы в то время были с сильным рыжеватым оттенком, мне часто напоминала Анна Мартыновна. Она говорила, что рыжие или очень добрые, или, наоборот, злые. А так как я никак не могла обольщать себя мыслью, что я принадлежу к первой категории, то оставалось причислять себя ко второй. И подобное размышление тети только ввергало меня в большее смущение. Коля и в этом отношении имел преимущества передо мной: относительно него никто не сомневался, что он настоящий блондин.

Не могу я окончить описание нашего дня, не сказав ничего о вечерах — тех милых вечерах, когда взрослые не уехали в гости, в театр, а проводили время вместе дома. Вечером папа дома — это прежде всего. Он не обедает с нами — из «города» тогда возвращались около 6 часов. Приезд папы — радость для всех. Мы летим к нему навстречу, что-то кричим и радуемся, каждый день с новой радостью. Тетя тоже выходит из своей комнаты, и снова слышны нежные слова: «голубчик наш» и пр. Мама тоже выходит навстречу, и папа ей целует руку, говоря «Ната». Папа любит семью, и возвращение в нее для него радость и спокойствие, и его возвращение приветствуется всеми. И не могло быть иначе — не потому только, что семья была крепкая взаимной любовью и уважением, но и потому, что нельзя было не чувствовать себя спокойным и счастливым около этого человека с крупным характером, большим умом и широким и глубоким сердцем. Это обаяние его личности чувствовали все. Около него жилось хорошо. У него было огромное понимание душевных движений — то, что дается только выдающимся сердцам. Бывал и он усталый и раздраженный — ведь он и тогда был уже болен и страдал, например, от воспаления в ушах и голове, что сопровождалось мучительными болями. Но если он и приезжал расстроенным и «не в духе», то все понимали его и старались ничем не взволновать. Его покой соблюдали, покой дорогого «труженика», как с восторженным благоговением называла его тетя. И он скоро успокаивался, бывал вдвойне внимателен и добр. И снова улыбался с тем весельем, которое было, очевидно, присуще его натуре и которое уже тогда начинало исчезать под влиянием болезни, и снова шутил так, как нравилось всем, с серьезным видом и веселым блеском глаз. Что-то такое прелестное, привлекательное, крупное и значительное вносило его присутствие. Когда его еще нет, мама с кем-нибудь, с тетей или Анетой Кальман, сидят в узкой и длинной комнате около спальни, которая именуется маминой комнатой. Вечером на столе горит лампа, и мама работает, тогда как около нее ктонибудь читает вслух. Или те работают, а мама читает. Мы здесь по вечерам. В наше пользование отдан диван. Когда папа пообедает, иногда и полежит в спальне, он выходит ко всем посидеть. Тогда мы любим влезать на спинку его стула, охватывать его шею руками. И ему это не мешает. Или же мы остаемся на своем диване. Это наш «корабль», а пол — «море». На корабле происходят разные происшествия — со слов, конечно, Анны Мартыновны, — вот надо «спуститься в шлюпку» — и мы

спускаемся вниз головой с дивана на маленькую скамеечку для ног, которую мы вытащили из-под стола. И странно, как папа здесь, я уже так не боюсь и смело разъезжаю по полу в своей «шлюпке» и не так боюсь встретиться со взглядами взрослых. Иногда мы прислушиваемся к разговору. Мы его не понимаем по большей части. Но мы чувствуем, что все, что говорит папа, принимается с уважением, нравится, вызывает улыбку. Иногда папа спрашивает, что читают, и предлагает почитать. У него прекрасный голос, мягкий баритон — и он так хорошо читал. И опять мы еще почти ничего не понимаем, но голос его звучит так прекрасно. Один раз они до папы читали «Отелло». Он взялся читать дальше сцену, когда Отелло требовал платок у Дездемоны. Мы до этого не слушали чтение — но тут он приковал все наше внимание. Словно все осветилось — и было так понятно. Мама закричала, полусмеясь: «Ах, страшно, страшно!» А нам ужасно понравилось. Точно коснулось нас что-то великое. Мы начали спрашивать, что это? Отчего «он» у «нее» требует платок. Но мама сказала то, что говорила часто и что иногда успокаивало любопытство, чаще же оставляло смутную неудовлетворенность: «Этого вам еще рано знать». Но я тогда впервые узнала имя Отелло.

Так проходит наш день — день за днем почти. Но иногда он немного разнообразится: приезжают гости. Их принимают или в гостиной, или накрывают чайный стол в «приемной» или зале. Мама не любит столовую — и правда, в ней красоты мало. В светлой приемной, в залитой светом зале красиво накрытый стол имеет такой нарядный вид. Всегда у нас красиво накрывали стол — мама вводила все новые усовершенствования в сервировку. И нравилось мне все тогда в зале или в приемной. Но Боже, какая мука входить в комнату, где сидят так много взрослых. Как-то свяжутся вдруг все движения. Коля вбежит так легко, возбуждая опять всеобщее восхищение. Я поднимаю некрасиво плечи и вытягиваю шею. Меня за это бранят, и я помню о шее и плечах, еще подходя к дверям гостиной; но чем более я «конфужусь», как говорят, тем более выступает некрасивая манера. И я знаю, что уедут гости и снова меня будут бранить, — но ничего я не могу с собой сделать. Но никогда, никогда я не завидовала успеху Коли. Я, правда, иногда удивлялась, почему старшие делают такое различие между нами, — но я ведь знала, что я некрасива, и верила, что я непривлекательна. И только и желала я, чтобы поскорее можно было уйти. Так как тогда детей не задерживали среди взрослых, это можно было сделать сравнительно скоро.

Из гостей чаще всего бывали свои, но я никого особенно близко не знала и, скорее, боялась всех. Нравилась мне голубоглазая Милютина Лиза с светлой, доброй улыбкой, — но она вышла замуж, когда мне было 5 лет. Уехала же она далеко — в Ташкент с мужем. Анету Кальман я прямо не любила, разделяя относительно ее мнение Анны Мартыновны о рыжих. А, говорят, она была умница, правдивая и хорошая. Она играла, говорят, очень хорошо на рояли, смеялась и шутила остроумно, — но ничего в ней мне не нравилось. Впрочем, я ее помню уже больной, в чахотке, которая рано унесла ее. Она скончалась, когда мне было лет шесть, самое большее семь. Все огромное, нечеловеческое горе, которое доставила ее кончина тете Анне Ивановне, я узнала гораздо позднее, из рассказов других.

Мне придется позднее говорить о некоторых гостях того времени более подробно. Сейчас мне вспомнились лишь несколько. Из числа больших, бывавших тогда, помню мужа Сашеньки Милютиной, Василия Ивановича Ермолаева. Этот маленький человек, который как-то все подавался вперед в ненужно стремительных движениях, который морщил по-неумному лоб, был не только неумен и неудачником, но кончил жизнь психически ненормальным человеком. Не пользовался он ни симпатией, ни уважением взрослых. Жалели Сашеньку. И вот, подите, он умел говорить с нами, когда бывали гости, — и мы доверчиво шли к нему, как ни к кому. Один раз, помню, он взял меня на плечо и носил меня по комнатам, что мне ужасно нравилось. Но неосторожно он подошел под висячую лампу, и я больно ударилась о нее головой. Произошел переполох, все кинулись ко мне, — но он сам был так перепуган и несчастен под всеобщим осуждением, что я почувствовала необходимость объявить, несмотря на слезы, что мне совсем не больно. Кажется, не поверили этому.

Да, постепенно в нас проникало понимание, каким хорошо быть и каким быть не должно. И складывались у нас мнения относительно людей, и мы выражали их иногда так громко и по-детски резко, что нас останавливали. Иногда, конечно, мы повторяли только уловленное мнение старших, иногда наше мнение шло вразрез с этим последним или, по крайней мере, с тем, что старшие желали бы, что бы мы думали. Мы находили, например, что Николай Петрович Чоколов смешно закидывает голову, когда поет, — и нам доставалось за это; мы говорили, что Наташенька Вивьен — прелесть, и это вызывало улыбку,

потому что так это находили и все, а что жених ее слишком толст и кажется глупым, и что его синий с белыми горохами галстук совсем некрасив, — и нам замечали, чтобы мы не вмешивались в то, что нас вовсе не касается. Мы утверждали, что Оленька Вивьен — кривляка, и нас опять останавливали, отчего все-таки не изменялось наше мнение. Но в общем, как всегда и потом, в нашей семье не пересуживали людей и в нас развивали не критику, но благожелательное отношение к людям.

Мы — у окон детской, смотрим, что делается у нас на дворе. Вот медленно по рыхлому снегу подъезжает к нашему подъезду поместительная карета, запряженная парой старых и малоподвижных лошадей. Из кареты выбирается не спеша ее обладатель, приземистый широкоплечий господин в объемистой черного сукна шинели с большим капюшоном, в круглой шапке. Это наш годовой домашний врач Константин Игнатьевич Володько. В то время семьи часто сговаривались с каким-нибудь врачом, который за условленную плату был к ее всегдашним услугам в случае надобности. Константин Игнатьевич Володько состоял на службе в Мариинской больнице[114], где имел казенную квартиру. Скорости телефонных сообщений тогда не было и в уме. Если кто-нибудь заболевал, посылали за Константином Игнатьевичем в Мариинскую больницу прислугу на извозчике, и он приезжал в своей карете на медлительных наемных лошадях. Это была возможная наибольшая скорость. Больные, их окружающие и врач подчинялись медленному темпу тогдашней жизни. Но домашний врач появлялся в наблюдаемой им семье не только в дни болезни. Он считал своим долгом навещать ее от времени до времени, чтобы следить за здоровьем ее членов. Так и Константин Игнатьевич бывал нередким гостем в нашей семье. Он приезжал без спеха, осматривал всех нуждавшихся в его совете. А между тем в приемной накрывали чайный стол — и после осмотра Константин Игнатьевич еще сидел у нас за чаем. Мама вспоминала много лет спустя, что он был очень образован и разговор с ним бывал интересен. Он был, по словам мамы, умен и сердечен. И, побеседовав за чайным столом, оставив довольных его посещением людей, Константин Игнатьевич без нервной спешки отбывал в своей громоздкой карете.

Такой доктор был другом в семье, близким человеком. Он знал всех домочадцев, часто бывал их хорошим советчиком. Другого еще домаш-

него доктора мы знавали в лице Петра Сергеевича Тарасова[115]. Он был врачом в семье моего дяди, Ивана Григорьевича Шипачева. Он часто, часто приезжал к ним, следя преимущественно за здоровьем моей тети, Ольги Михайловны, страдавшей сначала жестоким катаром желудка, потом хронической женской болезнью. Часто мы встречали его у дяди в наши приезды — и так запомнился мне за чайным столом этот простой, скромный человек, неторопливо мягким голосом повествующий что-то, очевидно, интересное слушающим его взрослым.

5 VI 1912

Из событий, относящихся к этому времени, выделяются для меня особенно некоторые.

Это, во-первых, приезд к нам моей двоюродной сестры, Кати Гущиной, жизнь которой с течением времени так тесно оказалась связанной с нашей семьей.

Тетя Софья Ивановна приезжала к нам гостить, как мне кажется, довольно часто. Ее приезд был приятен всем. Может быть, и она отдыхала у нас в доме от невозможно тяжелой для нее обстановки ее замужней жизни. Мне, такой еще маленькой, она очень нравилась. Я безмерно больше любила тетю «свою», Александру Ивановну, но тетя Софья Ивановна — нам не позволяли называть тетей иначе, каким-нибудь нежным уменьшительным именем, как бы нам хотелось, — нравилась мне более. Она нравилась и другим мягкой манерой обхождения, нежным голосом, мягкими и такими грустными темно-карими глазами. К детям она относилась бережно, мягко — никогда не приказывала, а как-то говорила убедительно. И раз — я была очень маленькой — она приехала с девочкой, о существовании которой я еще не знала. В этот свой приезд она снималась с Катей — и именно в этих платьях я почему-то ясно запомнила обеих. Тетю в белом, покроя того времени, с панье[116], с полосатой, черной с белым юбкой, с черной цепью из крупных звеньев, оканчивающейся черным же крестом, — эту цепь Катя впоследствии подарила мне. И рядом с ней круглолицая девочка, тоже в белом, с голенькими ручками, как ходили тогда все девочки, с коротко подстриженными, очень черными волосами и едва намеченными немного нахмуренными бровками. Эта девочка нам очень нравилась. Но она дичилась в этот свой приезд и держалась более у матери, прильнув к ней, — точь-в-точь как на фотографии.

Ее привезли позднее — может быть, через год после этого, может быть, и более. Ее должны были отдать в пансион Дюмушель, в котором училась Лена. Но, не знаю почему, она поступила не сразу и за время до поступления, живя с нами, со мной и Колей, одной жизнью, сблизилась с нами и полюбила нас так, как умела любить, нераздельно, не рассуждая, готовая на всякую жертву.

Я помню, когда и какая она приехала. Тоже коротко остриженная, круглолицая, в малиновом с черными полосками платье, которое и нам, детям, казалось безвкусным, может быть потому, что малиновый цвет начинал выходить из моды и мы находили его со слов взрослых уже неизящным. Она была другого воспитания, нежели мы, и мы с Колей опередили ее во многом в смысле «культуры» и выдержки. Она приводила в изумление и негодование Анну Мартыновну — но мне она нравилась такой, какой она была. Да и Анна Мартыновна скоро поняла, что все ее недостатки покрывает ее горячее, доброе, искреннее сердце. Мне Катя нравилась наружностью прежде всего. Ее очень черные волосы, ее черные глаза, гораздо темнее всех карих глаз в нашей семье, — она походила на своего отца, — ее белый с ярким румянцем цвет лица казались мне очень красивыми. Но пленительнее всего был ее характер. Она была неповоротлива и воспитана к тому же в отсутствии здорового движения, которое мы уже так любили и любовь к которому, надо сказать, не удалось привить ей Анне Мартыновне. Когда она в первый раз пошла с нами гулять, нас поразили высокие теплые сапожки, которые пришлось на нее напяливать и снимать которые она не могла без чужой помощи. Они к тому же стесняли ее свободу движения, и она упала несколько раз в течение прогулки. Но она сама так добродушно относилась к этому. Все, что у нее было, — а детского богатства у нее было еще меньше нашего — всем она готова была делиться без сожаления. Когда она уже жила у нас и тетя Софья Ивановна привозила ей гостинцы — деревенские лепешки, до сих пор кажущиеся мне превкусными, и еще яблочную смокву[117], которую варить у нас в доме не умели, — Катя тотчас отдавала все. Раз тетя привезла ей маленькое фарфоровое яичко. Оно казалось мне таким хорошеньким. Мне так хотелось его иметь. Но я уже понимала, что выражать перед Катей свой восторг нельзя, — она бы отдала его мне. Правда, Катя была вспыльчива — редко, но метко, как говорят. Так, она раз в пылу раздражения бросила в Колю ножницами, которые чуть-чуть не попали ему в лицо. Но ведь дети считаются сами друг с другом.

Мы знали, что это только так — мало ли что бывает. Ведь и мы капризничали, сердились, кричали и т.п. — от этого не изменялась самая суть. Способная, Катя быстро начала понимать и говорить по-немецки. Но она была ленива и плохо поддавалась воспитательным принципам тети Александры Ивановны и Анны Мартыновны. Мы слышали, что на нее сетовали, сердились, что ставили ей иногда нас в пример, — все эти, наверное, справедливые речи взрослых нас не касались. Мы знали Катю другую, без недостатков для нас, добрую, милую Катю. Признавали мы в ней один недостаток, за который ее жалели: как же, она не могла бегать, как мы, она боялась купаться, боялась движений, — плохой она будет странствователь, искатель приключений — то, что представлялось нам идеалом.

Этот «недостаток» Кати мешал ей принимать участие в наших летних играх — и летом, пожалуй, вызывал в нас некоторое раздражение. Тете Александре Ивановне приходилось защищать ее от нас — и тетя всегда брала сторону Кати, может быть, не всегда справедливо. Тетя видела в Кате девочку, растущую не в своей семье; она считала, что ей может быть тяжело, что она не на равном положении со своими детьми, хотя внешне никто не отличал ничем Катю. Я помню раз, когда Коля напрасно звал Катю играть с нами в «разбойники», он, может быть в раздражении, ударил своей большой палкой по палке, которую держала в руках Катя. Удар отдался ей в руку — и она с испугу вообразила, что Коля ее ударил по руке. Катя громко закричала, вышел переполох и неприятность для Коли, который усиленно говорил, что ведь у Кати и следа от удара нет на руке. Катю тетя увела в комнаты, а я долго негодовала на нее: что же из того, если бы даже Коля попал палкой по руке, — в наших играх и не то случалось, а мы никогда не жаловались. Но в другой раз я стала на сторону Кати. Желая победить в ней страх, Миша и Алеша взяли ее крепко за руки и бегом кинулись с ней с высокого пригорка, на котором была построена беседка в парке. Сначала мне показалось, что так надо было сделать. Но, когда раздались мучительные крики Кати, — она страдала, очевидно, безотчетными страхами, частыми у некоторых детей, как и я страдала ими, — мне показалось таким ужасным насилие больших и сильных мальчиков над ней, слабой. И в купанье она отставала от нас. Входить в воду, в которой мы с Колей находили такое наслаждение, — мы еще купались вместе, под надзором тети, — для Кати было настоящее мучение. Ее уже подросшие волосы слипались и висли

вокруг бледневшего лица, она жмурилась и дрожала. Наконец обратили на это внимание — и доктор запретил ей купанье.

Но, не участвуя в наших забавах, Катя не находила удовольствия и в работе, за которой Лена могла уже просиживать часы. Не проявляла она и стремления к самообразованию, любознательности. Она также не желала, по-видимому, идти навстречу стремлению Анны Мартыновны воспитать в ней желание к самоусовершенствованию. Когда она поступила в пансион, она начала учиться лениво, привозила по субботам плохие баллы. Горевали, сердились, наверное. Но для нас она была все та же милая, добрая Катя — и мы, может быть, лучше взрослых понимали, что она могла жить только сердцем. И, живя так, каким милым товарищем она была. Она положительно жила нашими с Колей интересами: с нами раскрашивала картинки, увлекалась сказками Андерсена, отправлялась с нами в «путешествие», так же, как мы, сложив в пестрый ситцевый платок кипку старых тетрадок — неоценимое сокровище, так как на полях оставалась все же чистая бумага, на которой можно было порисовать, — связав это в узелок и надев на палку. Кате было на два года больше, чем мне, и она более знала жизнь, чем мы, она была более серьезна; но, любя нас, принимала участие в наших играх.

6 VI 1912

И мы понимали, что она как-то не вся в игре, но и тени обидного снисхождения в ней не было.

Как дружно мы жили! Я помню, как мы одно время — недели две, может быть, — оказались предоставленными самим себе: заболели одновременно и тетя, и Анна Мартыновна. Дунечка была занята уходом за больными. Нас уговаривали быть «умницами» — но, кажется, и без уговоров мы не доставили бы никому хлопот. Только приятно было чувствовать некоторую свободу. Приятно было, «идя путешествовать», останавливаться «в пути» и раскладывать свой узелок на полу в передней — может быть, сиденье на крашеном полу и не позволили бы; приятно было выбирать для чтения любимую сказку Андерсена, самим по вкусу, поочередно уступая друг другу. В это же время свободы мы прочли сказку «Красные башмачки»[118], страшнее которой я долгое время не знала ничего и которую нам не позволяли потом читать. Ну вот, из этих же дней я вспоминаю следующее доказательство нашего дружного совместного жития. Ольга Ивановна затащила меня к себе в комнату и, нацеловав

свою «виноградинку», свою «цыпинку святую», по обыкновению начала угощать сладким. Она запихнула мне в рот большой персик из банки с вареньем с неизменным увещанием: «Съешь сама, никому не давай!» Но я вырвалась из ее объятий и как ветер побежала от нее с персиком во рту. Запыхавшись, я влетела в детскую, где меня ждали Коля и Катя, и торжествуя стала доставать сохраненную честно для общего пользования добычу. При этом персик выскользнул у меня между пальцами и укатился под одну из наших кроваток. Мы его извлекли оттуда и разделили между собой!

Другое важное событие — это появление в нашем доме француженки-гувернантки и начало обучения нас с Колей французскому языку. Я не знаю, кому принадлежала эта счастливая мысль. Может быть, подвинули к ней и наши быстрые успехи в немецком. Французский дался нам не труднее.

Первая наша французская гувернантка m-lle Mallard была из Нормандии. Мне мало интересно, какой у нее был выговор, — мне гораздо интереснее, чтó она могла внести в наше умственное и духовное развитие. Я думаю о ней и спрашиваю себя: чем она была и что она дала нам? И право, не могу ничего припомнить, кроме того, что у нее были очень спокойные серо-голубые глаза, редкая, но добрая и тоже спокойная улыбка и что мы ее любили именно за эти глаза, за улыбку и, наверное, за ее спокойствие. Я мало помню разговоров с ней и ее рассказов, но помню, что она хорошо говорила о своей ферме в Нормандии, без тоскливой ноты тоски по родине, но с глубокой и верной любовью к ней. Так же спокойно она увлекалась Расином, Мольером, Корнелем, сочинения которых она имела в собственности, — и это прочное увлечение действовало на нас. И нам хотелось увидеть ферму, и позднее захотелось читать Расина, Корнеля и Мольера. Мне кажется, лучшее в ней было то, что она была прямой, искренней натурой, ничего из себя не изображала, и эта основная черта ее натуры действовала на нас. За исключением обычных детских капризов, мы ее слушали. Давала она уроки хорошо, очень толково, никогда не сердилась. С Анной Мартыновной они жили дружно.

Но когда она приехала, какое новое для меня мучение! Опять новый человек! Я жалась к Анне Мартыновне — и, очевидно, была так несча-

стна, что она не гнала меня. Она постановила, что во время прогулки мы с Колей ежедневно будем меняться: один день один из нас будет идти рядом с мадемуазель, другой день другой — так же и с ней, Анной Мартыновной. Таким образом, мы равномерно должны были пользоваться практикой французского и немецкого языков. Но первые дни я так решительно занимала ежедневно свое место около Анны Мартыновны, выходя из дому, что немецкое: «Sie müssen, Wera»[119] замирало на губах Анны Мартыновны. И опять первый лед сломал Коля. Мы зашли посидеть на «монастырь» церкви св. Прасковьи-Пятницы на Пятницкой. Коля что-то хотел объяснить мадемуазель про свой шейный образок. Анна Мартыновна, говорившая по-французски, не хотела нарочно помогать. Коля вытянул из-за ворота образочек. «Medaille», — сказала мадемуазель, и с этого раза стало легко подойти к ней и «говорить» с ней.

С приездом мадемуазель нечто новое вошло в нашу жизнь — это была детская книга. До тех пор наша жажда чтения находила себе так мало пищи. С Анной Мартыновной мы читали разные ей принадлежавшие Lesebücher. Мы в них находили интересные рассказцы, мы любили в них заучивать стихотворения. Некоторые из них до сих пор мне дороги по воспоминаниям. Скажу больше: мы любили эти Lesebücher так, что когда Анна Мартыновна, уезжая, подарила их нам, она этим сделала нам желанный и дорогой нам подарок. Но все же это не было детской книгой, не было «историей» с любимыми действующими лицами. Вот я вспоминаю: творчество, которое так ярко вспыхнуло во мне при чтении «Белки Бобочки», теперь дремало и редко работало, только под влиянием какого-нибудь рассказа Анны Мартыновны. Не помню, чтобы я сочиняла продолжение к какой-нибудь истории из Lesebücher, хотя помню, как ясно рисовались мне отдельные картины стихотворения: Der glockenguss zu Breslau[120]. Русских книг по-прежнему у нас, можно сказать, совсем почти не было. Была одна книжечка со сказками, которые мне очень нравились, — с каким ужасом я перечитывала сказку про медведя, пришедшего за своей отрезанной ногой, и как я любила катящийся колобочек, который почему-то, по-моему, был похож на круглолицего живчика Алешу. Но я ведь знала всю книжку наизусть! Была переводная с немецкого книжка про какого-то юного рудокопа, которому гномы помогли отыскать серебряную руду. Эту книжку подарила мне тетя, и я ее очень любила и без конца перечитывала ее. Видя мою большую любовь к чтению, тетя сделала большую жертву: купила мне

книгу, стоившую больше рубля. Но это была опять-таки переводная с немецкого книга, короткие рассказы, с которых выступали перекрещенные в русские имена немецкие мальчики и девочки. И хотя мы не знали почти других детей, нам скучны были эти фальшивые дети. Мы сознавали, что обижаем тетю, не находя удовольствия в ее книге, но сделать ничего не могли с равнодушием, которое она в нас вызвала.

Анна Мартыновна высоко почитала Андерсена — и в большую заслугу можно ей поставить, что она, заметив, что он для нас труден на немецком языке, настояла, чтобы его купили нам на русском. С какой любовью она рассматривала большую книгу с рисунками[121], которые едва ли удовлетворили бы теперь ставшего более взыскательным маленького читателя. Почти с умилением она смотрела на одноногого Оловянного солдатика. И начала нам читать сама по-русски. Я должна сказать, я тогда многого не понимала в Андерсене, но все же книга эта была моей любимой. И всегда было наслаждением ее читать и слушать. Многое уясняла улыбка, блеск глаз читавшей или слушавшей нас Анны Мартыновны, вовремя сказанное ею слово. Характерная подробность. В нашей любимой сказке «О снежной королеве» в одном месте встречалось грубое выражение. Мать маленькой разбойницы назвала ее «мерзавкой». Тетя пришла в ужас от этого выражения, которое могло привиться к детям. Так как книга давалась нам в руки, — при чтении вслух неудачное слово можно было заменить другим — Анна Мартыновна замазала его чернилами и сверху написала: «Ах ты, глупая!» Но типографские чернила, пройдя через обыкновенные, вывели целиком злополучное слово на обратную сторону, только белыми буквами. Благодаря этому заинтересовавшему нас явлению мы сразу запомнили смутившее тетю слово. Но чтобы никто не корил Анну Мартыновну, мы никогда его не употребляли.

Я вижу, как сейчас, перед собой и это чернильное пятно, и саму книгу Андерсена. Я вижу и убогонькую книжку про рудокопа, за которую я была так благодарна тете. Так дорога была каждая книга, доставлявшая удовольствие. И все-таки детского чтения у нас не было. Но вот мы выучились читать по-французски. Мадемуазель потребовала книг, чтобы читать. Я помню мое первое посещение книжного магазина Готье[122], куда нас повели Анна Мартыновна и мадемуазель, чтобы купить нам книги. Меня подавил великолепием магазин, и я жалась к прилавку, который я разве немного превышала головой. С обычным спокойствием мадемуазель выбирала книги. Наконец выбрала две: одну в розо-

вой, другую в приятно напоминавшей кофейный крем обложке. Какое, однако, разочарование! С каким жаром принялись мы за первую книжку — и ничего не поняли! Упорство в труде — вот был принцип тогдашнего воспитания. От трудного нельзя сразу отступать. И мы трудились — но безрезультатно. Книга оставалась еще очень долго совершенно темной для нас.

8 VI 1912

Эта книжка в розовой обложке была «Путешествия Гулливера» в пересказе для детей. Указание на пересказ и сбило с толку мадемуазель: она решила, что такое изложение будет вполне доступно нам. Заинтересовавшись странными картинками с маленькими людьми и великанами, с лошадьми, заседавшими в заседании, мы охотно принялись за труд одолевания книги; но никакие усилия, как я сказала, не помогали. Мадемуазель была конфужена своей ошибкой: деньги были истрачены, и без пользы. Она недоумевала, что делать. Но нерешительно не предпринимала никаких шагов. Горячо ко всему относящаяся Анна Мартыновна не могла примириться с такой остановкой в наших успехах. Она «провела» мысль записаться для нас в библиотеке иностранных книг. Эта библиотека — Пост[123] — находилась на Неглинном проезде, то есть далеко от нашего дома, и ходить за книгами туда было, во всяком случае, трудом, но Анна Мартыновна от него не отказалась и, никогда не жалуясь, но искренне радуясь, отправлялась туда и приносила нам новые книги. Первое путешествие в библиотеку Пост было каким-то торжеством — Анна Мартыновна пошла туда с Леной, вернувшейся из пансиона, — для нас эта прогулка казалась очень длинной. Что они принесут? Они вернулись оживленные: нам, маленьким, они принесли книгу Сегюр «Les mémoires d'un âne».

Я не знаю, как это случилось, но мы с первых страниц стали понимать все, и уже оторвать нас нельзя было от чтения. Затем последовали другие книги Сегюр: «Les petites filles modèles», «Les vacances»[124] с таким понятным и близким миром других детей. Успехи во французском чтении двигались быстро вперед — но этого мало. Разом брызнула во мне струя творчества — сильная и горячая, дававшая и радость и муку, волнения и ощущения, понятные только тому, кто творил и жил со своими созданиями. С этих пор не было ни одной мной прочитанной книги, которую я бы не добавляла своими собственными картинами, новыми

личностями, и не было ни одной книги, которая кроме удовольствия быть прочитанной не давала бы мне гораздо большего: серьезной думы над характерами и жизненными отношениями, думы, конечно, несознаваемой, но переживаемой глубоко и сильно. И все это переплеталось с представлениями, казавшимися возможными при незнании жизни. Целый ряд пестрых и пленительных картин. Как и позднее одиночество, минуты перед засыпанием в постели не тяготили меня: они были полны творческой работой души.

Помню, как мы наконец приступили к чтению и второй из неудачно купленных мадемуазель книг: Майн Рида «Les jeunes esclaves»[125]. Мы и в ней половины не понимали, но фабула была понятна. Из четырех моряков, приключения которых были в ней описаны, Коля любил больше всех ирландца. Я его тоже любила, потому что его имя мне напоминало имя Коли, но любимым моим героем был шотландец. И как широко распространилось повествование о приключениях четырех моряков в моем воображении. Как я умела много рассказать о них, чего недоговорил Майн Рид.

Из этого периода я помню и немецкие книжки, также волновавшие меня, также вызывавшие творческую работу. Нередко я заглядывалась на картинки в модном журнале, получаемом мамой. Но напрасно мои наставницы испугались бы, усмотрев в этой привычке первые признаки тщеславия: я искала только подходящих образов для своих героев. Вот стоят около мамаши две нарядных девочки — это Сара и Матильда из любимого немецкого рассказа, для Бетси нет подходящей девочки. И с этих пор я начинаю ясно помнить в себе способность с каждой картинкой ассоциировать рассказ. Сколько наслаждений доставляли мне в этом отношении аптечные коробочки из-под порошков. И не только в этом возрасте, но гораздо, гораздо позднее. Вот мальчик с девочкой на такой коробочке кормят лебедей — ведь это Павел и Валерия[126]; вот мальчик с букетом — это Доминик в моей «Американской истории». Я както увидала потом эту последнюю коробку, сохранившуюся каким-то чудом в моем столе, — ужели эта банальная картинка, этот банальный мальчик с завитыми кудряшками, с условной улыбкой послужили к созданию такого живого для меня образа молодого Доминика? Но это так — как это ни смешно, как ни наивно.

Теперь я перехожу к третьему важному в нашей жизни событию. Ученье наше поручили учителю.

Это была новая ломка — гораздо большая для бедной тети, нежели для нас. Для нее это была прежде всего обида. Она, может быть не без основания, думала, что еще годится в учительницы для семи- и шестилетних. Может быть, она страдала от непризнания, так сказать, ее заслуг. Но в гораздо большей мере от того, что снова ей приходилось отрываться от нас, что мы уходили от нее. Она плакала — я это помню. Она не в силах была просто отойти: последний ее урок был для нее мучительным расставаньем. Она любила и наши длинные тетради, и чинку карандашей, и линование. А мы волновались — и не скажу, чтобы нерадостно. Сознавая себя до некоторой степени неблагодарными и бесчувственными, мы все же с интересом глядели в глаза новизне. Она нас привлекала, обещала что-то. Но к вечеру перед решительным днем я сидела в лихорадке, ежась и держась около тети. Анна Мартыновна, может быть понимая, что у меня лихорадка нервная, не очень беспокоилась о моем заболевании. Но тетя меня закутала в свою турецкую шаль. Тетя волновалась — может быть, я простудилась; тетя боялась за меня. На следующий день я была здорова: первый урок заставил забыть все страхи и волнения и сразу и навсегда полюбить нашего учителя.

Его звали Сергей Александрович Алмазов[127]. Мы его знали и раньше. Он давал уроки Мише, а затем и Алеше до их отъезда в Ревель. Но они учились с ним вдалеке от детской, нас во время их уроков гнали прочь, — и он был далек от нас. Теперь он перешел в детскую — и стал милым и дорогим человеком.

Я хочу нарисовать портрет человека, которого я любила чистой детской любовью и которому я так благодарна, потому что и я, и мы все обязаны ему многим. И боюсь, я этого не сумею сделать. Его внешний образ стоит передо мной как живой, но внутренний облик едва ли мне вполне ясен: ведь мы потеряли его, когда мне только что минуло 13 лет. А я думаю, что натура он был сложная и представляющая интерес, — недаром к нему относились так, как относились и папа, и мама, и тетя. За восемь приблизительно лет знакомства он стал своим человеком в семье, внеся в нее весьма много, дав направление умам всех детей.

Кем он был? Я не знаю. Я слышала что-то о вольнослушателе университета. Но я знаю, что он был чрезвычайно начитанный человек, что он восторженно относился к Шекспиру и Платону, Гете и Аристотелю, Данте, Шиллеру и Белинскому, что эти и многие другие великие имена были для него святыми; что он с трепетом восторга говорил о

4 — 249

тургеневских женщинах, почитал Корделию, Офелию и Маргариту, боготворил Ермолову[128], посещая спектакли Малого театра на вышке райка. Он обладал и большой начитанностью в духовной литературе, знал и чтил некоторых видных духовных лиц. Он имел и много популярных сведений из области естественных наук, любил и ценил искусство. Он сам рисовал и писал масляными красками самоучкой — и очень недурно сочинял картины: пейзажи с закатом солнца, леса и поля, с любовью ища тонов, оставшихся запечатленными в памяти после восторженного наблюдения, потому что наряду со всем прекрасным: музыкой, живописью, скульптурой, пением (как восхищался он итальянцами) — он горячо любил природу, понимая тонко ее красоту, впивая вложенную в ней идею вечной гармонии. И великие слова: гармония, гуманность, идеал — звучали торжественно в его душе и в его речах.

Он был, наверное, красив — мы, конечно, мало интересовались этим. Он нам нравился, потому что мы его любили. Он был высокого роста, черные, очень блестящие и густые прямые волосы он носил откинутыми назад, как носили люди 60-х годов, — прическа, которая скоро в то время —70-е годы — выходила, по-видимому, из моды, чтобы возродиться вновь в наши дни. Овал лица с очень белым цветом кожи освещался умными темными и блестящими глазами. Он смотрел чаще всего серьезно, но часто и улыбался; помню также нередкую, чуть-чуть насмешливую улыбку в ответ на наши иногда наивные вопросы, смущавшую нас, — потому что словами он отвечал всегда серьезно, как на разумные вопросы, как взрослым, а улыбка противоречила его серьезному тону. Но мы ему безусловно верили. Он служил для нас незыблемым авторитетом.

Он с самого начала стал называть меня Верой Николаевной — это льстило моему самолюбию, — а Колю он называл ласкательным именем Блондин. Наверное, и он отдавал предпочтение веселому, открытому характеру Коли, любя его за удивительную доброту; но он никогда не дал мне почувствовать это невыгодное для меня различие в наших характерах. Вся разница в отношении его ко мне и к братьям заключалась в известной сдержанности, которая казалась тогда вполне естественной по отношению к девочке и на которую я не обижалась. Впрочем, он и мальчиков не ласкал, но был с ними сдержан, предоставляя, однако, полную свободу разговоров, расспросов и выражения мнений. Кроме Лены, которая чувствовала себя уже большой девочкой, все мы, дети,

звали его не Сергеем Александровичем, а «дяденькой Сережей». Это ласкательное имя было придумано для него Мишей — я не знаю ни как, ни почему, и оно мне не нравилось. Но, когда начали его так называть не только Миша, но и Алеша, а затем и Коля, мне оно стало тоже дорогим, и я захотела так же называть его. Коле легко было перейти на это имя: он легко осуществлял свои желания, открыто высказывая их. Но мне, которая была так замкнута, так легко сжималась от малейшего сурового прикосновения, — мне трудно было заявить Сергею Александровичу о моем сердечном желании говорить ему «дяденька Сережа» и получить на это его согласие. Кроме того, я знала, что это мое желание встретит неодобрение со стороны старших, особенно тети, у которой сдержанность в проявлении своих чувств в женщине пользовалась настоящим культом. Я помню, с каким замиранием сердца я подошла к Сергею Александровичу, решившись наконец. Я постаралась улучить минуту, когда близко не было других. «Дяденька Сережа», — сказала я. Он улыбнулся своей смущавшей меня улыбкой и со своей преувеличенно вежливой манерой, с которой обращался иногда ко мне, ответил: «Что прикажете, тетенька?» Я обмерла, но дело было сделано: я добыла себе право произносить милое имя — он шутил, но не сердился. Сверху вниз смотрел он на меня с усмешкой, которая меня уже давно не задевала. Я убежала от него сконфуженная, но радостная. Как я и ожидала, делали возражения, пробовали меня усовестить, что я девочка и что мне нельзя того, что можно мальчикам, — но я не отказалась от завоеванного. До дня своей смерти он остался и для двенадцатилетней девочки «дяденькой Сережей».

Но это — из более поздних воспоминаний. К первому периоду знакомства с ним относятся другие. Помню, что стало вдруг очень интересно учиться, — и гораздо легче, чем с тетей. Тетя, которая с присущей ей жаждой знания не упускала случая поучиться чему-нибудь, часто сама присутствовала на наших уроках — и отдавала справедливость учителю, отнявшему у нее ее любимцев. Она не скрывала от нас, что учится, — и это прямодушие ее, не раз повторяемое, нам нравилось. Тетя говорила не раз, что на ее учение не затрачено было и медных грошей, и отмечала, что, если захочет человек, он может до всего дойти своим старанием. И это возбуждало в нас гордое сознание силы человеческого хотения и твердого характера.

Как сейчас помню, на нашем учебном столе выдвигалась ежедневно сохранявшаяся в большой чистоте балльная тетрадка, сшитая тетей. В

ней чрезвычайно изящным, бисерным почерком Сергей Александрович ежедневно вписывал наши баллы. Отдельные листки сохранились у меня до сих пор. Мы шли почти всегда ровно, как и во всем: Закон Божий почти всегда — 5, русский язык большей частью — 4, арифметика — 3. Но между нами скоро обозначилась и разница. Там, где надо было брать памятью, сильней была я. Зато где надо было думать, выступал с выгодной стороны мужской ум Коли. Я, например, усвоила себе чисто механически сложение и умножение, которому нас выучила так же механически Анна Мартыновна, — и я могла складывать и умножать большие числа. Но делению она не успела нас выучить, когда мы перешли к Сергею Александровичу, — и я долго билась, чтобы научиться делить, и то начала делить, когда Анна Мартыновна, выучившая сама четыре действия вполне механически, помогла мне делать деление, не понимая. Мы, однако, скоро пошли вперед в арифметике, — но я решала задачи, только списывая их у Коли, довольствуясь тем, что мне казалось, что я что-то поняла. В то же время арифметические задачи доставляли мне не раз большое удовольствие, но далеко не такое, какое могло бы радовать учителя. Условия задачи не раз давали мне пищу для творчества. Я, например, всегда прекрасно знала, для чего вышли из разных городов те два путешественника, которые должны были встретиться на дороге. Трубы, из которых опорожнялись бассейны, были трубами, свешивающимися своими рукавами из тех башнеобразных построек, которые мы видали на прогулках своих на Серпуховской площади или близ церкви св. Климента[129], — эти городские бассейны теперь исчезли, — и можно было так ясно представить себе, как около них толпились характерные фигуры тогдашних московских водовозов, работа которых мне почему-то тогда очень нравилась. А трубы задачи в это время исполняли свою роль и наполняли или опорожняли заданный бассейн, но только на страничке Колиной тетради. Мало того, каждая цифра представлялась мне определенной личностью. Я не могла отделаться от представления, что девятка — господин в коричневом пальто с капюшоном и непривлекательного угрюмого характера, что восьмерка — весьма полная дама в турецкой шали, и т.д. Все эти личности действовали сообразно с местом, занимаемым ими в действии. Я, например, чувствовала, что восьмерка постоянно стремилась соединиться с четверкой, чтобы составилось двенадцать, и т.д. Не думаю, чтобы ум, занятый

такими картинами и представлениями, был бы очень восприимчив к работе, требуемой математическим действием.

У Коли, по-видимому, не было таких представлений. По крайней мере, он не откликался сочувственно на мои объяснения значения цифр, — и я молчала, переживая одна с самой собой таинственные передвижения цифр, обусловливаемые только им и мне понятными стремлениями. Я молчала, хотя ясно видела, как огорчалась восьмерка, когда действие задачи заставляло ее соединяться с тройкой, и нарушала исполнение прекрасной цели: достижение двенадцати. Но быстро двигавшийся в другом направлении ум Коли, обгонявший меня во многом, меня привлекал, оставлял меня покойной, что то-то или другое он сделает за меня. И так создалась у меня плохо сознаваемая тогда складка, которая ложится обыкновенно в близких отношениях мужчины и женщины: я молчаливо признавала его авторитет, гордилась его знаниями, удовлетворялась меньшими своими и не продумывала многое, но брала готовое. Мы шли как будто равные — и иногда казалось даже, что я учусь лучше Коли; но на самом деле это была ошибка. Память, воображение, способность быстро схватывать — это было на моей стороне. Но мне ничего не надо было, кроме картины. Колин ум требовал знания: он усваивал медленно, но твердо. Гораздо ранее, нежели я, он начал интересоваться историей. Он читал серьезные отрывки из хрестоматий, которые мне были только скучны. Когда тетя водила нас в Успенский собор, я с новым удовольствием всякий раз слушала от Коли восхищавший тетю безошибочный рассказ о том, кто строил и перестраивал собор. Я знала это также, но только потому, что память непроизвольно улавливала и сохраняла слышанное. Мне была, в сущности, не так интересна безошибочная передача имен князей. Ослепление Фиораванти[130] — вот что занимало и терзало душу. А исторические сведения — они были всегда к моим услугам: стоило только обратиться за ними к Коле. Я не говорю, что у меня вовсе не было интересов к определенному знанию. Нет, наоборот. Но знания приобретались и запечатлевались в уме иным путем, чем у Коли: через картину, через сильное впечатление, через что-то, с чем я их связывала где-то в глубине моего сознания. Но эти недостатки мышления, может быть, недостаточно ясно выступали тогда.

Как учитель Сергей Александрович имел много крупных достоинств, и в то же время он не чужд был недостатков. Он был, пожалуй, скорей

педагогом, чем преподавателем. Его воспитательное значение для нас было, повторяю, огромно. Но и ошибки его в преподавании мне все же интересны. Он верил сам в возможность для ученика одолеть многое и заставлял верить в это и ученика. Поэтому он не скупо отмеривал знание, но щедро и свободно давал его. Не было вопроса: сможет ли то или другое понять ребенок? Если ребенок способен, если у него любознательный ум, отчего ему не понять? Но именно поэтому постепенности у него не было в преподаваемом. А так как у нас стремление знать шло далеко впереди уменья и возможности воспринимать, так как наша любознательность поддерживалась отовсюду, любознательностью всех до последнего окружающих — то оказалось впоследствии, что мы знали очень много для нашего возраста, но знали с значительными пробелами. Эти недостатки в методе — можно ли было их поставить в вину Сергею Александровичу при тогдашнем состоянии преподавания, при скудных и тяжеловесных учебниках того времени? Виноват ли он был в том, что мы еле-еле понимали трудный слог Ветхого и Нового Завета Рудакова[131], и не надо ли поставить скорее в огромную заслугу Сергею Александровичу то, что, несмотря на этот учебник, мы все же любили и знали Священную историю? Виноват ли он в том, то в грамматике Говорова[132] я не понимала ни одного слова, кроме примеров? Не удивительно ли, что мы все же писали сравнительно правильно; и сколько педагогического такта требовалось, чтобы заставить маленьких детей все же желать одолевать честно и добросовестно эту китайскую грамоту!

13 VI 1912

Люди, с которыми я провела первый детский период, были все прекрасными людьми. Не было ни одного из окружавших нас в то время, к которому бы детская душа имела бы право относиться с недоверием или недоброжелательством. Общее направление, настроение этих людей было одинаково. И одни были у них святыни: добро и правда. С другой стороны, и мое отношение к ним и любовь к ним были разные. Одних я любила полной любовью беспредельного чувства — папу и Колю, любовью, не поддающейся измерению, «больше себя», — определяю я теперь. Другие, как Анна Мартыновна, возбуждали во мне безграничное доверие и восхищение. Третьих я любила, но относилась к ним сознательно и критически. Еще других я любила требовательной любовью, стремясь брать, а не давать. Были и такие, которых я глубоко любила и

которые мне не нравились. И от этого то добро, которое я получала от окружающих, преломлялось по-разному в моей душе. Я реагировала на него по-разному. И так и во мне, как, конечно, и в других, происходил незаметно, может быть, сложный процесс нравственного роста.

Любовь к природе рано была заложена в нас. Природу любили все окружающие. То было поколение, любившее говорить об этой любви, выражать свое восхищение. То было поколение, которое спорило о том, может ли идеалист любить лес, так как кем-то было решено, что идеалист любит поля, луга, открытые местности, а любит лес материалист, — я нередко слышала в раннем детстве такие рассуждения. Но всякий из наших любил и восхищался природой по-своему. Когда папа приезжал к нам на дачу и сидел под любимой нами черемухой в саду, мы и без слов его знали, по одному спокойному его молчанию, что ему именно хорошо среди зелени, цветов и среди своих. И в одну общую гармонию сливалось, бывало, и это удовлетворенное состояние сильного мужчины, отдыхающего работника, и развесистая черемуха, и алый закат на небе, освещавший верх сельской колокольни, видный из нашего сада. Когда мама шла в прогулке к любимому ее пруду, такому большому, заросшему кувшинками, и сидела около него тихо и мирно, и для ее удовольствия Миша старался выловить белые кувшинки, или когда перед лицом заката мама с Сергеем Александровичем и Мишей говорили о чем-то, еще не совсем понятном, но, несомненно, хорошем и возвышенном, — мы по лицам их чувствовали, что в душу входило особое настроение с тишиной вечера, красотой пруда, белизной кувшинок — и ничем нельзя было бы разубедить нас в этом, потому что мы это чувствовали в собственной душе. Иначе восторгалась тетя. Она страстно любила природу — не без большой доли сентиментальности. То, чего уже не выражали громко мама и Сергей Александрович, то, что мы уже научились, неизвестно как, таить в душе как поэтичное переживание, у тети выливалось наружу в словах, оставлявших нас иногда холодными, — по всем вероятиям, к ее глубокому огорчению. «Посмотрите, какой цветочек», — говорила тетя и подавала нам с Колей сорванную кашку. Сложный тогда совершался во мне процесс. Мне не нравился тон тети, но цветок я замечала и, мало того, начинала любить. «Соловей пел сегодня ночью, я заслушалась до поздней ночи», — говорила тетя особым, слегка певучим в таких случаях голосом, который мне опять-таки не нравился. «Ах, как поет соловей, вот вы бы послушали», — и

она начинала описывать пенье соловья. Душа противилась какому-то влиянию, но оно делало свое дело: я начинала желать слышать эту удивительную птицу, которая могла вызывать слезы одним пением. «Ландыши! Ах, детушки, как я люблю ландыши!» — скажет, бывало, тетя. Для нее собирать ландыши было особым удовольствием. Бродя по лесу, она наклонялась над любимым цветком, говорила с ним, как с другом, ему поверяя печаль души, грустные думы. Над ландышами она сочиняла стихи. Она говорила нам их, может быть, не имея другой аудитории, может быть, приобщая нас и в этом отношении к своей жизни.

Мы выслушивали и про себя находили, что стихи не особенно хороши. Настолько мы уже понимали в стихах, зная многие из них уже наизусть. Мы не решались сказать это, но думали, что ландыши и сами по себе хороши, и не совсем понимали тетину грусть над ярко-белым цветком и по-другому понимали его красоту. Но не далекое ли воспоминание детства проявляло себя, когда уже взрослой девушкой я, собирая ландыши, сочиняла почти непроизвольно свои Rhymes des plaines:

Rhymes des plaines et des forêts,
Avec votre beauté, immaculée et chaste,
Oh mes blancs, mes bien aimés muguets,
Dans nos plaines, dans nos forêts si vertes
Aucune fleur ne peut s'égaler[133].

Ведь не лучше это тетиных стихов. Но это была тоже привычка бродить по лесу, разговаривать с цветами, развевая налетевшее на душу облако иногда необъяснимой грусти.

Je ne vous cueille pas, mes violettes,
Puisque vous vous formez si tôt —
Mais votre soe ur, pâle et grêlette
Je l'emporte, pour lui donner de l'eau.
Ah mes petites, soyez sans crainte,
Elle ne se mourra pas —
Dans un beau bohême rare
A son aise elle boira[134].

Но сентиментальному восхищению природой тети противопоставляла свое бодрое и здоровое чувство Анна Мартыновна. И у нее оно било ключом, и она не молчала, но заунывная, чувствительная нотка отсутствовала. Когда говорила Анна Мартыновна, ее чувство казалось более

искренним, более охватывало и увлекало. Я помню ее раз так живо. Мы рано, без мамы еще, как всегда, приехали на дачу. И пока тетя разбиралась в привезенных кульках и прочем с помощью встречавшей нас Дунечки — Дуня уезжала всегда раньше готовить дачу, — мы с Анной Мартыновной, еще одетые по-городски, побежали в сад. Мы остановились под черемухой, схватившись за руки, и радость, я бы сказала теперь: весенняя радость сияла в наших сердцах. Черемуха тихо кропила нас белыми, нежно спадающими лепестками. «Oh Kinder, wie ut es whön!»[135] — воскликнула Анна Мартыновна. Как всегда, когда она переживала глубокое чувство, ее глаза поголубели и сияли. Радостно улыбалось милое личико Коли. Надолго, навсегда запала мне в душу эта минута. Я помню Анну Мартыновну и в другие разы, когда она восхищалась Божьим миром. Мы идем гулять: она, Лена, которая ее больше понимает, Коля и я. Через зелень деревьев и кустов ударяют нам в лицо яркие краски заката. И восторженно горят глаза у Анны Мартыновны, и слабым голосом уже больного и немолодого человека она начинает петь:

Gold'ne Abendsonne,
Wie bist du doch so schön!
Nie kann ich ohne Wonne
Deline glut ich sehn![136]

И так и было. Wonne[137] при созерцании прекрасного божьего творения было в ее душе, отражалось в горевших голубым пламенем глазах.

Я взяла один пример — но так во всем переплетались в моей душе различные влияния, отражались взятые под разными углами зрения взгляды на один и тот же предмет. Больше всего, может быть, спорили между собой влияния тети и Анны Мартыновны — лиц, стоявших в то время ближе всего к развивающейся душе. И тут я опять наталкиваюсь на следующий факт: я глубоко любила тетю и была ей близка как натура. Но, может быть, благодаря этому душа бывала недовольна предлагаемым ею, искала чего-то другого, иногда негодовала, топорщилась и сопротивлялась — и невольно все-таки воспринимала даваемое и твердо хранила его. Но то, что давала Анна Мартыновна, принималось легко и радостно. Все, что требовала она, казалось целесообразным, и приятен был даже труд восприятия, если оно требовало усилия. А между тем, как я скажу позднее, тетя меня, пожалуй, лучше понимала, во всяком случае я была ей ближе и понятнее, чем Анне Мартыновне. Это одна из тех психоло-

гических, может быть, загадок, удачным решением которых иногда обусловливается счастливое воспитание.

Ни в чем, может быть, так странно не переплелись влияния этих двух женщин с крупной душой, как в моем религиозном восприятии. Я говорю: моем, потому что эта область настолько интимная, что я не решаюсь определенно говорить за Колю, хотя подвергались мы с ним, конечно, этим двум влияниям равномерно.

Наша семья была в лице всех ее представителей религиозная. Но и религиозен был каждый по-своему. Кроме того, для того чтобы понять религиозную эволюцию в отдельных представителях нашей семьи, и в частности, во мне, надо знать, что степень и качество религиозности в нашей семье оставались не неизменными. Когда мы были совсем маленькими, в нашей семье соблюдались строго посты и мы не были изъяты от этой малоприятной обязанности. Праздник был праздником, по-старинному и каждое воскресенье обставляют известной торжественностью. А потом постепенно слабли наружные узы религиозности, обрядность отступала, посещения церкви, пощения стали необязательными. Я взяла наудачу примеры. Но среди этой эволюции складывались и определялись религиозные взгляды и младших членов семьи.

Папа верил. Я не помню слышанных от него рассуждений о вере, о необходимости молиться и пр. Мне кажется, для него предмет веры была незыблемая истина, о которой нечего было говорить. Я не слыхала от него ни рассуждений, ни наставлений касательно религиозности — но я его помню в церкви. И тут не было у него внешних проявлений религиозности: ни частых поклонов, ни учащенного крестного знамения. Он стоял просто, но всем вдумчивым, сосредоточенным видом он учил нас важности молитвы, сам, может быть, не зная этого. И помню его в те ночи или ранние утра, когда и нас, детей, поднимали к молебну перед привезенной в дом иконой Иверской Божьей Матери[138] или мощами мученика Пантелеймона[139]. Помню, с каким лицом он «встречал Царицу Небесную», как помогал нести икону — и какое лицо бывало у него после молебна, когда, проводив тяжелую карету, семья садилась за необычно ранний чай, и было у всех так торжественно на душе, как после важного и великого посещения. Позднее ничего я так не любила, как ходить в церковь с папой, — а он не делал нам замечаний, как надо стоять, он не вел с нами благочестивых разговоров — просто, возвращаясь из храма, чувствовали все, что мы помолились вместе, вместе пробыли под

влиянием мысли о Боге, под порывом молитвы. Это ощущалось, но нельзя было этого выразить словами. И тут слова только испортили бы дело, потому что они не могут выразить тончайших ощущений.

Мама тоже не говорила, хотя тоже была глубоко религиозна. Дня она не пропустила в своей жизни, наверное, без положенной утренней и вечерней молитвы. Когда мы были совсем маленькими, мы с Колей нередко влетали к ней в спальню, когда она, еще в капоте, в нарядном чепчике — молодые женщины носили еще их тогда по утрам — на чудных черных волосах с особым выражением лица стояла перед киотом. Но молилась она иначе, чем тетя, чем Анна Мартыновна: просто, спокойно, исполняя установленное, как казалось, с благородством осанки и красивыми движениями, ей свойственными. И киот мамин казался нам другим, нежели тетин: это был узкий и красивый киот, в который помещались шесть икон, по три в каждой створке, в хороших ризах, чисто и с вниманием содержащихся, но он не представлял для нас того интереса, как тетин. В нем не было многочисленных маленьких образков, про которые тетя могла так много рассказать — откуда они и кто изображенные на них святые. Ни одна из маминых икон не глядела «поразному», то милосердно, то строго, как икона Казанской Божьей Матери у тети, — это открытие сделала Лена, которая «знала» всегда, довольна ли ею была «Казанская Божья Матерь» или нет. Может быть, в мамином киоте уже отразилась очищенная значительно религиозная мысль, до которой мы, тетины воспитанники, еще не доросли. Свободная душа мамы сказывалась и на ее отношении к религиозным вопросам и к исполнению религиозных обязанностей. Сказались и подневольное чтение в юных годах Святцев, и обязательное хождение к утреням и ранним обедням, бывшее не под силу ее скоро ослабевающему организму. Вырвавшись в самостоятельную жизнь, она порвала с этой стороной религии. Она почувствовала, что не в этом суть, и пошла своей дорогой. Постепенно она освободила себя от хождения в церковь, от постов. Нам объясняли, что она этого «не может». Она действительно вставала слишком поздно, чтобы поспевать к обедне даже поздней. Но мы слышали, что она ездила к вечерне в монастырь, тот или другой, и восхищалась церковным пением или чтением, что она посещала мефимоны[140], находя высокую красоту в слушании замечательного памятника церковной литературы. Мы знали, что она любила заезжать в часовни и там молиться, может быть кратко, но искренне и жарко. Эта

свободомыслящая нотка в семье, противопоставленная строгой обрядности, соблюдаемой тетей, имела, особенно позднее, большое влияние на мое религиозное развитие. В период раннего детства я только смутно ощущала, может быть, что около мамы немножко свободнее; но, находясь под сильным влиянием тети и Анны Мартыновны, мне еще мало нужна была эта свобода. Мама в религиозном отношении, как и во многих других, стояла от нас дальше — вот и все.

Я сказала: мама молилась не так, как тетя. И тетю мы часто заставали перед киотом, но тетя просила нас всегда уходить, «не смущать» ее — и, видя, как она молится, мы понимали, что можем мешать. Она молилась, как молится человек, много переживший и перестрадавший в жизни. Этого рода молитву дает только жизненный опыт. Как это легко наблюдать в любой церкви! Как разнится, например, молитва чистой девушки от молитвы пережившего муки души взрослого мужчины или женщины или вспоминающего «грехи юности» своей старика! Пламенно молится только страдавшая душа, ища милости. Тетя во всю свою жизнь «прибегала» во всем к Богу — она знала, что сказать Ему. И молитвы отцов Церкви, этих великих знатоков человеческих сердец, переживших более многих других муки рвущейся к совершенству души, ее бессильные иногда борения, давали тете все нужные ей средства выражения ее собственных духовных нужд. Мама тоже понимала глубину и силу молитвенных слов, церковной поэзии; но, я думаю, в то время они были еще для нее только поэтическими произведениями, красоту которых она способна была понимать чуткой ко всему прекрасному душой. Для тети они были бóльшим — выражением ее собственных душевных страданий. Тетя молилась так, что невольно на цыпочках надо было отойти: душа ее изливалась. Ее взгляд, ее лежанье головой на полу, ее крестное знамение, широкое, с задержкой сложенных перстов на каждом плече, на лбу, на груди, умиленное ее кивание головой доказывали, что она на время отошла от внешних условий и они не должны врываться в то, что она переживает. И в церкви она молилась так же. Когда после «Иже Херувимы», например, она поднималась с колен, видно было по ее лицу, что она пережила высокий душевный подъем. Когда она выходила из церкви, само собой выходило, что мы к ней не сразу обращались с вопросами: на лице ее не сразу проходило выражение умиления, полученного высокого духовного наслаждения.

Так же отдаваясь вся молитве, молилась по утрам Анна Мартыновна — но гораздо тише, сосредоточеннее. Она никогда не вставала с ко-

лен не с изменившимся лицом. И из своей церкви, куда она ходила через воскресенье, она возвращалась с другим, не будничным лицом. И другое лицо бывало у нее каждый день, когда она доставала свои две священные книги: Библию и Gesangbuch[141] — и тихо, про себя читала из них, сложив над ними молитвенно руки.

То, что мы росли под влиянием двух совершенно различных религиозных миросозерцаний — православного и протестантского, а позднее к нему присоединилось и католическое, — не могло не отразиться на нашем религиозном развитии. Одно великое последствие этого — широкий дух терпимости, усвоенный нами с самого детства. С другой стороны, это же развивало и дух критики. И я рада тому, что этот дух критики был привит мне, может быть, невольно с самого детства. Оглядываясь назад, я вижу свои думы, стремления, противоречивые чувства в религиозных вопросах, но дурного в этом не вижу ничего. Анна Мартыновна никогда не говорила о чужой ей религии дурного и не стремилась навязывать нам свои взгляды — она была для этого слишком терпима. Но она была протестанткой, и дух свободного рассуждения о Священном Писании был ей присущ. Когда тетя верила незыблемо в усвоенное с детства и не хотела трогать унаследованного, Анна Мартыновна рассуждала и думала и имела сознание правоты своих исканий. Эту смелость рассуждать она привила нам.

Тетя и Анна Мартыновна верили по-разному — и мы стояли перед этим фактом. И надо было выбирать, за кем признать большую правильность. Об этой борьбе двух влияний мне и хотелось бы рассказать. Это доказывает, мне кажется, и то, как рано детская душа начинает переживать сложные процессы.

Молитва — я уже говорила об этом — для тети возможна была только в установленной церковью форме. И вообще тетя считала лучшей духовной школой храм и то, что в нем можно услыхать. От этого тетя придавала такое большое значение усвоению как можно большего количества молитв. Она думала, что это духовное богатство, которое впоследствии особенно пригодится душе, а в настоящее время произнесение их сделает еще невинные детские души угоднее Богу. Анна Мартыновна не признавала чужих слов в молитве: душа должна была свободно обращаться к Богу, как бы мала ни была нужда у человека, он мог ее поверить Отцу на небесах. Тетю шокировала бы детская мольба о даровании зайчика, о том, чтобы при гостях не произошло чего-нибудь конфузящего. Анна

Мартыновна говорила, что Богу небезынтересна малейшая мелочь в жизни, — и это сознание было очень отрадным. По-тетиному выходило, что молитва — дело важное, что ее совершать надо, сознавая, к чему приступаешь: надо было стать перед иконой, сначала наложить на себя крестное знамение, собраться с мыслями, думать: что, если бы я стоял перед царем земным? Анна Мартыновна не отрицала такого отношения к молитве и сама поощряла мысли о большем почтении еще к Царю небесному. Но согласно ее воззрению молиться можно было всегда и везде — и глядя на прекрасное и далекое небо еще лучше иногда, нежели в специальном месте. И выходило, что мы молились по-тетиному, славянскими, иногда малопонятными молитвами, в углу перед иконами, в определенные часы дня, с полным вниманием; а по-Анне-Мартыновному в любом углу дома, в минуту обиды или горя от незаслуженного замечания, часто по-немецки и сложив руки. И эти молитвенные порывы бывали глубже.

Тетя назидалась чтением молитв — у нее был большой молитвослов, в котором нас с самых ранних лет занимали картинки, но не больше: славянская печать нас не затрудняла, мы самоучкой рано выучились читать по-церковнославянскому — но непонятны были слова. Анна Мартыновна находила назидание преимущественно в Священном Писании — и любила читать Библию. Тетя, съездив в Киев, привезла нам по молитвеннику — и могла быть вполне довольна. Каждый из нас, чтобы отличить свою книжечку, — они были все одинаковы — сделал на бумажной розовой обложке особый значок. Мы до бесконечности любили эти книжки, прочитывали по многу молитв, и многие из них говорили уже более просвещенному сознанию, например, прекрасные утренние и вечерние молитвы. Но читать Священное Писание научила нас Анна Мартыновна.

В 1872 году папа, вернувшись из Нижегородской ярмарки, привез нам по книжке: Коле достался Псалтырь, а мне Новый Завет. Это были первые книжки из Священного Писания, попавшие нам лично в руки. Оказалось, что, как это бывало часто, в выигрыше была я. Мы скоро поняли с Колей, что чтение Псалтыря нам не под силу. Евангелие же мы все-таки, хоть немного, понимали. Поэтому настоящей обидой мне было, когда Лена, пользуясь правом старшей, отняла у меня, правда только на время, мое Евангелие и увезла его с собой в пансион. Она оправдывалась тем, что я в нем ничего не понимаю, а им велено иметь

свое Евангелие. Впрочем, она честно написала на нем мое имя тонким еще почерком и любимыми своими лиловыми чернилами и обернула красивую книжку в лиловом переплете в чистую белую обложку. По воскресеньям она возвращала ее мне, но книжка с чужой надписью мне крайне не нравящимися лиловыми чернилами казалась мне уже почти не моей. Прошло некоторое время, и Лена мне вернула навсегда мое милое маленькое Евангелие, мое потерянное сокровище. С этой книжкой у меня связано столько воспоминаний! Я храню ее до сих пор. И Колин Псалтырь, который он хранил до своей кончины, теперь у меня.

Научить нас читать, понимая, Евангелие собралась было Лена — наверное, их замечательный законоучитель, батюшка Петр Смирнов, уже научил их с любовью относиться к вечной книге. Но она делала это неумело, сама еще девочка, она едва ли могла обладать уменьем объяснять. Ничего, кроме обиды и раздражения, не выходило. Но стоило Анне Мартыновне сесть, собравши нас в кружок, и начать говорить — как сразу все раскрывалось душе. Наверное, зная прекрасно текст немецкий, она сравнительно легко разбиралась и в русском. С другой стороны, и мы уже многое знали в ее пересказе, а многие изречения знали и наизусть.

21 VI 1912

Для Анны Мартыновны Священное Писание не было мертвой буквой. Оно было для нее основой жизни, определителем ее деятельности, ее отношения к людям. Она руководствовалась им — и нас тому же научила. Мы твердо знали, что не следует делать другому того, чего не хочешь себе. Мы знали, что нельзя идти в церковь — «нести дар свой на жертвенник»[142], не помирившись с братом, то есть не обняв мирно Колю, Катю, сказав, что больше не сердишься. Мы знали, что не надо давать «заходить солнцу в гневе своем»[143], — и знали, что именно поэтому можно было с успехом просить прощенья у Анны Мартыновны, ложась спать: как бы ни была она рассержена или обижена, она вспомнит это изречение слова Божия и простит. Бесконечны бывали случаи, когда вспоминалось нами изречение о сучке в глазу ближнего своего, когда напоминала нам она: «Не судите, да не судимы будете»[144]. И как трогательно умела она рассказывать про заблудшую овцу[145] или найденную драхму[146] — так, что детское сердце, полное глубокого раскаяния в каком-нибудь грехе-капризе, сознавало себя близким и дорогим для доброго

Пастыря. Как широко, как глубоко перечувствовалась всем сердцем трагедия блудного сына[147], оставшихся за дверьми немудрых дев[148]. Или еще смирение хананеянки: «Да, Господи, но и псы едят крошки, падающие со стола детей»[149]; или бесконечная вера прикоснувшейся к ризе Господней женщины[150].

При каждом случае жизни Анна Мартыновна вспоминала евангельский рассказ, подходящий стих — и мы прежде выучили все это по-немецки. Но когда в дорогой мне книжечке мы прочли по-русски дорогое, знакомое, мы были так рады.

Бывало, нас почему-либо не поведут к обедне. Но мы сидим тихонько в зале по разным углам и читаем священное. Кто перечитывает молитвы по тетиному молитвеннику, кто читает Евангелие. Бывало, я в своем углу замру, прижав к груди закрытую страницу. Тетя пройдет и сейчас заметит, что так не надо, что если читать — так читать. Она не понимала меня: не рассеянно, не лениво читала я; нет, душа в эти минуты переживала высокий подъем, душа горела любовью к Богу и желала и просила страданий, мученичества за свою веру.

Мученичество — и опять мы познакомились с ним из двух источников. Анна Мартыновна знала мученичество миссионеров. Она много рассказывала нам об их подвигах. Не знаю почему, деятельность миссионеров, казавшаяся мне очень почтенной, оставляла меня тем не менее холодной в душе. Может быть, у Анны Мартыновны не хватало красок в описании. В комнате у тети, из ее рук мы получили Жития Святых. Это были 12 книжек, изданных Бахметьевой. Тетя давала нам их читать понемногу, не насильно, но по нашей усиленной просьбе. Я помню в этом возрасте мало книг, которые дали бы мне так много. Без конца мы могли перечитывать их. К этому присоединялись и рассказы тети. По-моему, тетя не обладала большим талантом рассказывать. Но некоторые жития, например житие святой Марии Египетской, запечатлелись у меня в памяти именно в ее пересказе.

Жития святых имели мало привлекательности в глазах Анны Мартыновны. Она относилась к святым с протестантской точки зрения. Тетя объясняла ей: угодники — заступники наши перед Богом, молитвенники наши. Анна Мартыновна возражала: зачем нам заступники, когда каждый человек имеет свободный доступ к Богу? Не значит ли это отдаляться от Бога — признавать, что между Им и нами должны быть посредствующие звенья? Мы слышали их рассуждения, как слышат дети все,

что иногда не предназначается для их ушей, — и, конечно, рассуждали об этом. Доводы Анны Мартыновны казались мне вполне убедительными. Я чувствовала такую близость к Богу, так легко поверяла ему все свои горести, так просто «говорила» с ним, что посредники мне тоже казались лишними. Но святые сами по себе — это было другое. Святые — я их так любила, так восторгалась ими. И больше всего в этот период своей жизни я любила мучеников — эту красу, этих звезд первой христианской Церкви. И что бы мне ни говорили, их образы сияли мне ярким примером мужества, стойкости, бесстрашного исповедания. Ведь эти же свойства, только не по отношению к ним, к тем, которых она не знала, так высоко ставила сама Анна Мартыновна.

Так, в самом религиозном чтении, даваемом нам, оказывалась разница во взглядах тети и Анны Мартыновны. Молитвы и жития, позднее объяснение богослужения, с одной стороны, — самый источник божественного научения Священного Писания — с другой. И это меня все-таки немного удивляет, потому что тетя находила сама большое наслаждение в чтении книг Нового Завета и Псалтыря. Мне кажется, что она не решалась еще предложить их нам, считая их слишком трудными для нас, тогда как Анна Мартыновна имела это дерзновение. А между тем и тетя не раз проявляла это дерзновение — и всегда удачно: мы откликались интересом и понимали если не все, то многое. Ведь опытом было с ее стороны попросить Сергея Александровича познакомить нас с богослужением. Было мне не более семи лет — но не забуду душевного восторга, когда я узнала, что то, что происходит в храме, является символом, что пять глав церкви обозначают Христа и евангелистов, и т.д. Я ходила с маленькой книжкой, открывающей мне новый мир, по зале и радостно выучивала к уроку Сергея Александровича какие-то трудные слова.

Эту решительность, веру, что дети поймут то, что у нее горит в душе, в сильной мере имела Анна Мартыновна. Я помню, например, наши рассуждения по одному вопросу: это по поводу отношения христианского общества к евреям. Анна Мартыновна не раз возвращалась к нему — точно она боялась не успеть достаточно запечатлеть в душах наших то гуманное чувство к преследуемому народу, которое налагает на нас наша религия и которое именно христиане так часто забывают. В этом отношении она действовала решительно: она говорила, что мы встретимся и с другими взглядами, что перед нами будут оправдывать преследования

евреев, но чтобы мы на это не поддавались. Истина — одна, и Христос требует одинакового отношения ко всем народам. Если мы хотим называться христианами, нам остается один путь: исполнять заветы Христа. И один раз она усадила нас с Колей перед собой и развернула перед нами послание апостола Павла к Римлянам гл. 10. Мы уже достаточно знали об апостоле Павле, чтобы горячо любить того, кого так чудесно избрал Господь на пути его в Дамаск. Серьезно сказала нам Анна Мартыновна, что то, что мы сейчас будем читать, трудно и потребует от нас особенного внимания. И мы прочли с ней главу стих за стихом, и каждый стих она нам объясняла. Ни одно слово не осталось нам непонятным. Немного позднее, когда Анна Мартыновна уже уехала от нас и мы лишились ее руководства при чтении Священного Писания, я не раз принималась за Деяния Апостолов и за Послания. В этом поощряла меня и тетя. Но я долго понимала только те места, которые мы прочли с Анной Мартыновной и гл. 10. Послание к Римлянам долгое время оставалось для меня единственным и ярко понятным в Посланиях. Перечитывая его, я укреплялась во взглядах, привитых нам Анной Мартыновной. Вот почему во всю нашу гимназическую жизнь и Коля и я являлись проповедниками гуманного отношения к евреям. Позднее жизненные встречи заставили меня столкнуться с определенными национальными чертами евреев, возбуждающими так часто в других народах несочувственное к ним отношение. Я сознаюсь, что и мне они неприятны, но безумными и оскорбляющими человеческое достоинство кажутся мне травля евреев, насмешки над «жидами» и особенно то, что мы переживаем теперь, в наше время, когда, прикрываясь «патриотизмом», не стыдятся произносить такие речи и рекомендовать такие средства против евреев, от которых еще недавно покраснели бы от стыда не только произносящие, но и слушающие. И я глубоко благодарна Анне Мартыновне, что она на всю жизнь избавила меня от постыдного увлечения юдофобией, в которую впала часть русского общества, может быть, вполне естественно под влиянием политических событий последнего времени. И я глубоко чту ее смелость, давшую ей возможность говорить с маленькими детьми серьезно о таких вопросах, которые часто кажутся не под силу детскому уму.

Возвращаюсь к религиозному своему воспитанию. Опишу наше хождение в церковь и наше отношение к церковной молитве. Нас водит в

церковь тетя — пока только к обедне. Я помню только одну всенощную из этого времени: красивую вербную всенощную. Я почему-то помню только себя в клетчатом красном платьице, стоящую на коленях около тети, со свечой и вербой в руках, и вся церковь на коленях, и вся церковь горит свечами и щетинится вербами, — а это большая церковь Скорбящей Божьей Матери, — и так торжественно кругом, все ново, и так мне все нравится и хочется больше смотреть кругом, чем молиться.

По понятию тети, к обедне надо ходить рано, к самому началу, по возможности быть уже на месте до начала проскомидии[151]. Мама не пускает нас так рано. Мама боится, что мы будем уставать, а подневольное хождение в церковь, как у нее в детстве, вызовет обратный желаемому результат. Я не помню, однако, усталости в храме, хотя мы, если и приходили не к началу, все же стояли довольно долго для маленьких детей. Мы любили церковь и церковную службу.

Все кругом относились с уважением к церкви, к посещению служб. И Анна Мартыновна, и мадемуазель одинаково с нашими родными видели в этом посещении акт богоугодный. И рано нам внушили, что церковь всякого исповедания есть дом Божий и что нет разницы по существу в возносимых в них молитвах. Анна Мартыновна, которая заботилась постоянно о расширении нашего кругозора, водила нас по разу в протестантскую церковь, во французскую церковь святого Людовика и в польский костел. Ее знакомство с католическими храмами Западной Европы дало ей возможность объяснить нам кое-что непонятное и в устройстве католических церквей. Я помню, что нам более понравились католические храмы, а в протестантском показалось нам холодно и неуютно. Особенно резко выделялись черные доски с написанными на них номерами псалмов. Анна Мартыновна говорила нам что-то в пользу этой простоты, но ее слова мало меня убедили.

Мы любили наши храмы, но не скажу, чтобы и при их посещении не говорил во мне дух критики. Эта критика невольно слагалась под влиянием уловленного в разговорах взрослых: Анны Мартыновны с мадемуазель, Анны Мартыновны с тетей и Дунечкой. Анна Мартыновна уже могла довольно хорошо объясняться по-русски. Она увлекалась, как мы бы сказали теперь, «вопросами», для тети и Дунечки были дороги те же «вопросы». Они их искренне волновали, и искренне и горячо эти три женщины, такие разные по натуре, по образованию и воспитанию,

обсуждали их, сидя, например, вечером в детской, пока дети были тут же заняты чем-нибудь, и, не слушая, слышали. Это были вопросы веры, разницы между религиями, вопросы мистики. Так, между прочим, мы слышали убежденные рассказы тети о возможности сообщения с «тем» миром, о возвращении мертвецов. Анна Мартыновна горячо опровергала тетю. Может быть, заметив впечатление, производимое на нас этими рассказами, она не раз повествовала нам о ложных видениях, смешных случаях, вызванных страхом перед покойниками, и убеждала нас всячески в нелепости подобных и других суеверий. И мы повторяли это за ней. Но в душе жило другое — смутное сознание, что правее, пожалуй, тетя. А ну-ка... так можно было определить это чувство. И неспокойно по-прежнему чувствовали мы себя, когда приходилось пройти одному или одной по коридору, где тень так упорно бежала по стене за идущим, от самого начала до конца. Так же отрицательно относилась Анна Мартыновна к «пророческим» снам — и не без задора повторяли мы за ней ее насмешки. А в душе жили образы из тетиных «пророческих» снов: летящая над землей Наташенька, привязанная к могилке Варенька. И когда Анна Мартыновна перед отъездом увидала «странный» сон, будто она идет по кладбищу и видит красивый белый памятник, подходит к нему и видит на нем надпись: «Анна Геберг, род. тогда-то — число и год были указаны верно, умерла такого-то числа 187... года», — что-то жуткое вошло в наши детские души.

Я упоминаю про эти разговоры, чтобы показать, как влияние Анны Мартыновны и тети, иногда противоположное, иногда совпадающее, переплеталось, разрушало единство представлений и вносило сложность в переживаемое нами. Вот и церковь. Тетя считала необходимым ходить к службам в свой приход и потому водила нас к Скорбящей Божьей Матери. Но она не любила этого храма. Не нравился он и Анне Мартыновне. Я уже говорила, как удивительно в то время не понимали красоту этого замечательного памятника Empire. Тете не молилось хорошо в этом торжественном, слишком светлом и парадном храме. Для нее и образов в нем было мало. Действительно, выделялись только иконы Божьей Матери, Всех Скорбящих Радостей[152] и святого Варлаамия Хутынского[153], к которым надо было подходить по ступенькам красивой мраморной лестницы, да еще большая икона Казанской Божьей Матери. Остальные «иконы» были картинами красивого «итальянского» письма, но глядевшие холодно со стен четырехугольных колонн. Тогда еще не...

2 VIII 1914

С тех пор как я прервала мое писание здесь, прошло два года. За это время так много переменилось вокруг меня и во мне. Год тому назад, 4 августа, скончалась мама, оставив огромную пустоту в моей жизни. Сильный шаг вперед сделала моя болезнь. Она изменила во многом мою душу. Наконец, сейчас война – и она покрывает в сознании моем все почти остальное. Так что, пожалуй, я принимаюсь за писание моих воспоминаний в самый неудачный момент. Но я чувствую как бы долг свой написать это. Я боюсь, что и без того я слишком долго откладывала его исполнение, что краски блекнут, что воспоминания могут быть не так свежи. И я давно уже не мечтаю написать целиком свою жизнь. Мне бы только хотелось описать свое детство для наших мальчиков – сделать так, чтобы не исчезла для них память о тех хороших людях, которые окружали меня до сих пор в этот период жизни, – подобно тому, как жива для меня до сих пор в рассказах тети и мамы память об их хороших людях: о любимой мамой «ростовской бабушке», «святой» ростовской тетушке, о «тетушке Елизавете Ивановне», «дяденьке Николае Ивановиче», о любящей Вареньке, о девочке-«ангеле» Наденьке, сестренке папы.

Так вот, я постараюсь восстановить нить рассказа. Только смогу ли?

Воображаю, что нас повели к обедне – куда? Это зависит не от нашего желания и, однако, имеет для нас большое значение. Воображаю: дано распоряжение идти «к Скорбящей Радости», – сразу становится на душе скучно и холодно. Провожает нас почему-либо не тетя, а Анна Мартыновна. Присоединяется к нам приехавшая из пансиона Лена, всегда радующаяся, что может побыть с Анной Мартыновной, – ее так же сердечно сумела привлечь Анна Мартыновна. Мне присутствие Лены не дает радости: во-первых, она завладевает местом около Анны Мартыновны; во-вторых, у нее, как у старшей, найдется всегда для нас несколько досадливых замечаний. После короткого перехода – до церкви «два шага» – мы в молчании вступаем в притвор храма. И тут нас встречают глядящие строгими прекрасными очами на входящих написанные во весь рост четыре архангела. Они были исполнены прекрасной посвоему манерой начала века – и теперь перемалеваны стараниями, очевидно, малообразованного старосты Шемшурина[154]. Тогда это были прекрасные образы, поэтичные в строгой красоте: Михаил с мечом, Гавриил с цветком благой вести, целитель Рафаил с ковчежцем, Уриил с

очищающим пламенем в руке. Помню, как сжималось детское сердце перед этой строгостью, в сознании своей греховности, проникаемой неумолимо всевидящими очами. Ведь всю неделю, почти каждый день я знала, я грешила перед Богом, оскорбляла Его своими капризами, упрямством. И уже тут, в притворе, сжималось сердце, вспоминая все, что пришлось за неделю выслушать от Анны Мартыновны. Но она мне утешительно говорила, что Бог — наш всеобщий отец, что стоит только приблизиться к Нему — и Он простит — и скорее хотелось идти к Нему в храм, в Его дом, из притвора, который принадлежал архангелам, где они исполняли то, что им было повелено. Ведь не виноваты были они, что исполняют свою обязанность. С душой, полной детского доверия, входишь в церковь, вот-вот прольется жаркая молитва... Но храм слишком торжественен и светел; кажется, нет темного уголка, где можно бы было укрыться, душа на всем этом ярко освещенном через большие окна народе точно обнажена... Свои слова исчезают с души, а те, которые читаются и поются на клиросе, непонятны. Скука — я думаю, я употребляю верное слово — ползет в грудь, ноги отекают, мысли стремятся туда, куда им не следует направляться в данное время. Несомненно, что на обратном пути архангелы будут глядеть еще недовольнее. Но иногда мысль сосредотачивается и на том, что близко церкви. Но... опять-таки это не то, за что бы похвалила тетя. Я буду искренна, передавая мои тогдашние мысли, и да простят мне те, которых я смогу смутить... Я стою и не молюсь, а думаю. И думаю о том, о чем думаю часто и что теперь я бы формулировала: сопоставление критическое того, что мы слышали от тети и Анны Мартыновны. Я слушаю за вратами иконостаса дребезжащий голос священника, делающего возгласы так, что ни слова не поймешь; когда он выходит на солею[155] почему-то спешащим шагом, мы видим старика с красными щеками, старыми недобрыми губами, с жидким блеском в глазах, не глядящих на прихожан, но и не витающих горé. Я вспоминаю образ пастыря, каким его рисует нам Анна Мартыновна, — друга, наставника, учащего, помогающего. Я вспоминаю то, что, может быть, невольно подслушала от тети про этого самого батюшку: кто-то просил его после молебна сдачи с врученного ему; он закричал на всю церковь: «У портного остачи, у попа сдачи не спрашивай!» — и «убежал» в алтарь. И когда он выходит снова на солею, как бы тяготясь службой, мне становится страшно: как бы этот злой старик не заметил то, что я думаю про него, как бы не закричал на меня... У

свечного ящика, неизменно жуя губами, стоит бритый старик, который потом, страшно смущая меня, — что только меня тогда не смущало! — как-то истово с неподвижным станом пойдет с блюдом по церкви. Сейчас он у ящика, и звякают, звякают монеты. А разве не на церкви мы видели недавно картину, как Спаситель изгоняет из храма продающих[156]? И разве не правда то, что говорит Анна Мартыновна: дом Божий есть дом молитвы? А тетя отстаивает необходимость свечного ящика — правда, как обыкновенно, она не приводит в защиту своего мнения ничего, а просто: так надо, или: как же иначе? Тетя кладет неизменно на тарелку, в кружку медяки. Не нужно этого вовсе, дело не в этом. Мы тогда не понимали, не чувствовали еще утешительности теплящейся перед иконой свечки — взгляд мой скользит, насколько это может быть сочтено уместным, по иконам. Их, в сущности, нет почти в этом храме. Тех безвкусных изображений, которыми церковь увешана теперь, портящих стиль храма, тогда не было. На четырехугольных колоннах висели картины, писанные «итальянской» манерой. Эти картины встречали осуждение как со стороны тети, так и Анны Мартыновны. Тетя не видела в них икон, Анна Мартыновна осуждала в них манерность. И я холодно и ожесточенно гляжу на нежную Мадонну, склонившуюся над Младенцем, критически говорю себе, что Моисей, спускающийся с горы Синай со скрижалями в руках[157], должен был быть иной. Холодом веяло от этой картины, а лучи, испускаемые лицом Моисея, напоминали опять-таки рога и, признаюсь, безотчетно пугали. Разве это был тот Моисей, который таким милым ребенком лежал в корзиночке в камышах[158]— такой миленький, что невольно хотелось бы быть дочерью фараона. Случается, и мысль, и взор скользят дальше. Вот чудотворная икона Божьей Матери Всех Скорбящих Радостей. С каким восхищением я смотрю теперь на изящную мраморную лестницу, ведущую к иконе, как бы поддерживаемую двумя мраморными ангелами. Какими эта лестница вместе с тяжелым подсвечником перед ней кажутся мне красивыми и стильными. Но Анне Мартыновне это напоминало, наверное, католические храмы, и ей ни икона, увешанная обетными приношениями, — их сняли уже много лет тому назад, — ни сень над ней, ни лестница, ни ангелы не нравились — и мы повторяли за ней ее слова. Эта икона пользовалась большим почитанием со стороны тети: тетя рассказывала случаи из своей жизни, когда молитва перед ней давала ей утешение и помощь, — в обыденной речи говорили, конечно: «Икона

помогла». Эти слова приводили в недоумение Анну Мартыновну. Она приравнивала такую веру к идолопоклонству. Я думаю, подчиняясь мистическому направлению тети, я бы ничего не имела против того, чтобы верить в возможность действенности именно этой иконы, но она мало говорила воображению. Закрытая ризой, увешанная обетными приношениями, она не давала возможности видеть трогательную композицию. Будучи еще меньше, я недоумевала, почему с таким благоговением надо было подниматься по лестнице, прикладываться именно к ней. И тут объяснения тети оказывались недостаточными. Но, бывало, стоишь и перед другой иконой Божьей Матери, и детское сердце, полное дум, сомнений, сердце, полное ревностной любви к Спасителю, говорит: «Я тебе не молюсь. Я не молюсь тебе потому, что все тебе молятся, а Ему — так мало. Почему Его обижают? Тетя все шепчет: Заступница, Царица Небесная, — я никогда не слышу, чтобы она призывала Спасителя. А я Его так люблю. И нехорошо, что ты отнимаешь людей у Него». Так, негодуя, скажу лучше: ревнуя о любви к Спасителю, я часто и подолгу говорила, бывало, с Божией Матерью, — пока, уже несколько лет спустя, мне раз в сельской церкви не показалось, что лик Казанской Божьей Матери, перед которой я изливала свои мятежные речи, смотрит на меня грустно и огорченно. Я огорчила ее! Ведь и ей хотелось, чтобы ее любили! Но ведь я люблю и тебя — меньше, но люблю! И жалостливым сердцем стала подыскивать, чем бы утешить. Нашла скоро: «Я подарю тебе (детских сокровищ было у нас так мало)... я подарю тебе самый мой любимый деревянный грибочек из Троице-Сергиева, темно-красный с желтой крошечкой, в котором у меня хранятся засохшие маленькие померанчики, опавшие с померанцевого дерева»[159]. Это мне так дорого — но я не жалею, чтобы не огорчить, чтобы только утешить. Но как отдать? Я уже понимала, что тетя не поймет. «Все равно это будет твоим», — и долгое время я берегла грибочек и не считала его своим...

Святая простота детства... но взрослые ее редко понимают, даже наиболее чуткие. Вот я простояла всю обедню у Скорбящей Божьей Матери, я говорила с Богом, с Божьей Матерью, с собой — душа у меня горела, — но мы едва вышли из храма, как Анна Мартыновна замечает, что я рассеянно слушала, что смотрела по сторонам, что переступала с ноги на ногу. Я обиженно молчу. Но никому не скажу я то, что я говорила про себя.

Но вот в другой раз мы иначе направляем наш путь. Тетя ведет нас в церковь Покрова Богородицы на Малой Ордынке. Маленькая, скромная старинная церковь в глубине небольшого церковного двора. Прелесть старины в ней пока не говорила сердцу, но так уютно было в ней и так хорошо молилось. Входим в старинный притвор, украшенный росписью фресками — не художественными, нет, обычного стиля церковных фресок того времени. У входа изображен сидящий ангел, записывающий в свиток, по объяснению тети, помыслы входящих в церковь, степень их молитвенного настроения. Но ангел этот с длинными светлыми волосами, распущенными по плечам, в белой одежде с орарем[160] светел и кроток и не внушает смущения. И разве мы не идем в церковь с полной готовностью молиться, и разве мы не помирились друг с другом, если и вышло что-нибудь, памятуя твердо: «Оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде помирись с братом твоим»[161]. Входим — тетя ставит нас вперед у самой солеи: она хочет, чтобы мы видели больше и лучше слышали и так запоминали бы службу. Сама она не любила становиться впереди, но делала это для нашей пользы. Меня всегда стесняло стоянье впереди; но и это неудобство здесь меньше ощущается — до того церковь мала и народу в ней сравнительно мало. Притом, стоя перед иконами иконостаса, так удобно говорить с Богом. И вот душа изливается в свободной молитве, которую так понимает и рекомендует Анна Мартыновна и которую, по нашему понятию, не понимает тетя. А как это было неверно! Как тетя молилась от себя — только, может быть, невольно словами церковных молитв. Но она никогда не говорила нам об этом — и выходило для нашего сознания, что, молясь, например, всей душой о том, что составляло радость и горе детской жизни, трепетно взывая простыми словами: «Дай мне быть хорошей и доброй», мы чуть не изменяли своей вере. Поэтому мы тщательно скрывали от тети эти горячие молитвенные порывы, этот крик души, который так часто рвался к высям небес в этом маленьком храме. Чтобы успокоить тетю, надо было стоять чинно, не переминаясь с ноги на ногу, надо было не пропустить «Верую» и встать на колени, когда запоют «Отче наш» и «Херувимскую»; надо было каким-то чудом понять, какое читают Евангелие. Иначе на обратном пути польются упреки. Детская хитрая изобретательность! Я клала кресты, иногда впопад, иногда и невпопад; я полагалась на Колю, который всегда услышит, когда начнут петь «Верую» и за которым смело можно стать на колени, не рискуя этого сде-

лать не вовремя. Что же касается до Евангелия, то я так люблю его, что сама прислушиваюсь с удовольствием и желанием понять. Если же я не пойму, то все равно тетя спросит раньше Колю, как старшего, а уж если он не понял, то мне не так совестно. И, наивно обманывая тетю, я молюсь по-своему, молюсь горячо, с детской горячей любовью, с таким доверием к Богу, которое является уделом, может быть, одних детей. Я с теплым воспоминанием возвращаюсь к этим обедням у Покрова, потому что кажется мне, что всегда я там молилась хорошо, что всегда возносилась тут чистая моя молитва и что она была невинна и наивна, начиная от мольбы о совершенствовании и кончая молитвой о зайчике. Еще одно обстоятельство, кроме тиши церкви, привлекало и тетю, и нас к Покрову. Тут был в то время выдающийся дьякон. Во-первых, он «служил хорошо», как говорила тетя: действительно, ясно и членораздельно произносил он слова возгласов и молитв, голосом, проникавшим в сердце и нам, детям. Во-вторых, синие очки с боковыми стеклами, которые он носил, прикрывали у него, как знали мы, вытекший глаз — а потерял он его, спасая чужих детей на пожаре. Он был героем в наших глазах — и притом образцом скромного героя. До того прост был он во всех движениях, до того покойно было его лицо. А совершил он великое. Справедливая во всем Анна Мартыновна, скептически относившаяся к русскому духовенству, восхищалась им и всегда указывала нам на его подвиг и на то, что он не превозносится им, как и подобает истинному христианину. Так что мы любили этого диакона и со слов тети, и со слов Анны Мартыновны. Сколько, сколько раз в этой маленькой церкви при виде диакона в трогавших нас синих очках душа рвалась на смиренный подвиг, а фантазия рисовала пожар или наводнение — «а я ничего не боюсь... я бросаюсь на помощь... и спасаю человека и бегу, бегу от благодарности». Но этот диакон — мы никогда не слыхали его имени — умел еще произносить проповеди. Он выходил на амвон и, как всегда скромный, начинал просто и спокойно говорить. И мы, дети, понимали все. И так хотелось делать то, что, он говорил, надо было делать. Анна Мартыновна нам говорила не раз о пользе церковной проповеди и удивлялась, почему у нас священники не говорят проповедей. Она не могла понять, почему у Покрова вместо священника говорит диакон. Но проповедь произносилась, она и в наших глазах имела смысл — диакон нам был дорог тем, что он как бы перебрасывал мостик от воззрений тети к воззрениям Анны Мартыновны, соединяя противоречия двух любимых людей.

И вот, помолясь в любимой церквочке, мы идем домой. На паперти тетя оделяет нищих, а мы глядим пока на фреску, изображающую апостола Павла, — и он, написанный тоже грубо и аляповато, как ангел со свитком и пером, нам дорог: мы ведь знаем от Анны Мартыновны, что это тот юноша Савл, который в горячем порыве гнал Христа и был взыскан Им на пути в Дамаск[162]. Рассказ, глубоко волновавший меня всегда. Потом тетя ведет нас домой и спрашивает, что мы поняли из службы, — а я поглядываю на ее узелок с просвирами: тетя дает просвирку съесть только натощак, а нас мама не пускает к обедне без чая. Мне так хочется вкусной просвирки — а тетя ни за что не даст, а завтра даст черствую и будет непременно следить, чтобы мы ее ели, подставив горсточку, чтобы не уронить на пол крошки.

2 VI 1915

В нашем религиозном воспитании мне хотелось бы еще отметить присутствие мистического элемента. Может быть, мистические идеи бессознательно проникали тогдашнее общество или сохранялись еще в качестве переживания недавнего прошлого вопреки реалистическому направлению, все более покорявшему себе умы. Я уже говорила, как мистические мысли и впечатления с раннего детства проникали в наши души, воспринятые из рассказов тети. Но и маму, которая была осторожнее в разговорах перед детьми, привлекал мир таинственного. Она им интересовалась до конца жизни. Один случай особенно ярко запал нам в память, и долго, очень долго воспоминание о нем вызывало у нас в душе мистический ужас. Пролог действия, так сказать, разыгрался не при нас и известен нам из позднейших рассказов мамы. Однажды у нее сидели Сергей Александрович Алмазов и Анета Кальман. Они говорили втроем о загробном мире. Собеседники мамы дали друг другу слово: если «там есть что-нибудь», первый умерший из них, покинувший этот мир, придет к другому. Они на этом обещании подали друг другу руки, и мама разняла их, служа порукой верности обещания. Анета Кальман умерла первая. Прошло некоторое время, смутное для моей детской памяти. Но живо помню следующее. У нас собрались вечером гости. Собирались тогда так рано, что в начале вечера мы всегда могли быть среди гостей. Ждали запоздавшего Сергея Александровича и удивлялись его длительному отсутствию. Он пришел наконец-то, но сразу поразил всех своим расстроенным видом и бледностью. Стали спрашивать — и он расска-

зал: в эту ночь ему явилась Анна Карловна. Он жил вместе со своим братом, Михаилом Александровичем. Лег спать, не дождавшись его возвращения домой, и когда ночью — он не спал — услыхал, что кто-то идет, подумал, что это брат. Открыл глаза — перед ним стояла она. Оттого ли, что все слышавшие это, переживали на наших глазах сильнейшее волнение, оттого ли, что я тогда же живо вообразила себе, как она стояла перед кроватью, вся в черном и с блестевшими во мраке глазами, — мне ведь запомнились ее карие, блестевшие в последнее время болезни лихорадочным блеском глаза, и у нее не могло быть, по-моему, других глаз, когда она стояла перед Сергеем Александровичем, — я почувствовала сразу острый страх от этого рассказа. И никакие убеждения во вздорности подобных повествований об явлениях покойников, выслушиваемые мной в успокоение, повторяемые мной себе самой, не могли меня избавить от ужаса. То же испытывал и Коля.

Мы жили с Колей в мире религиозных идей. Они направляли всю нашу немногосложную детскую жизнь. Днем наши поступки, наше обращение друг с другом, с прислугой и прочими проверялось в соответствии с евангельскими, такими простыми и такими всем понятными изречениями. Наступал вечер — укладыванье спать в тихой детской: сначала наша «русская» молитва, потом рассуждения с Анной Мартыновной, часто напоминавшей нам то Доброго Пастыря, то Блудного Сына, то в смирении стоявшего у дверей храма Мытаря[163], — потом слипающимися глазами видишь еще Анну Мартыновну, склонившуюся над Библией или Gesangbuch, со сложенными молитвенно руками. Неудивительно, что наши сны с Колей бывали иногда наполнены святыми образами. Более нервный и восприимчивый Коля видел их чаще, чем я. До видений мы никогда не доходили. Но вот раз — не помню, в пасхальную или рождественскую ночь, — я не спала. Я ясно слышала в соседней комнате, еще освещенной, разговор тети с Дунечкой и с вышедшей к ним от нас Анной Мартыновной. Детская была темна, вырисовывался только светлым пятном квадрат двери. Я приподнялась в кроватке — и увидела, как по воздуху в темноте комнаты плавно проносится образ Спасителя — такой, каким Он был изображен на церковной хоругви в нашей приходской церкви, покрытый золотой ризой. Особое чувство радости охватило меня. Я заснула скоро и видела сон — один из таких, который наполняет душу радостью и поэзией. Я помню его как сейчас. Мама и Лена ехали в коляске, они неслись несколько выше земли

и катились по солнцам. Солнца играли разноцветными огнями: оранжевым, красным, зеленым, синим. Мне страшно хотелось к ним, с ними. Они остановили коляску, взяли меня с собой — и мы поехали по солнцам... Встаю утром, обвороженная сном, — Коля рассказывает мне, что в эту ночь он не спал и видел Спасителя. Так мы часто переживали с ним одно и то же. Но Коля видел «настоящего» Спасителя, во весь рост, таким, как Его пишут. Коля видел лучше, чем я. Мне было бы приятнее видеть так же, как он. Но я никогда не завидовала Коле. Мне казалось радостным, что мы в одну и ту же ночь видели то же.

Мистическое настроение сгустилось до чрезвычайности в нас в последний год пребывания у нас Анны Мартыновны и благодаря ей, хотя, мне кажется, она именно этого-то и не желала развивать в нас. Мне было тогда 8 лет. Она дала нам в руки «Путешествие пилигрима» Буниана[164]. Я долго не знала имени автора, и когда Анна Мартыновна уехала и увезла с собой книгу, я не знала, как бы, например, ее достать из библиотеки. Эта книга произвела на меня огромное впечатление и позднее, когда я была уже вполне свободна в выборе моего чтения, я ее искала по каталогам, но безуспешно. Я не знаю, что заставило Анну Мартыновну так сильно желать прочесть с нами это сочинение, которое было нам трудно по содержанию. Может быть, она, уже больная и готовящаяся оставить нас, хотела этим чтением сильнее закрепить в нас вложенное ею в наши души, дать надолго духовное руководство. Я не знаю. Помню только, что она придавала этой книге особое значение, — и мы поняли это даже по тому виду, с каким она принесла нам откуда-то эту не принадлежавшую ей книгу, по тому, как она приступила к ее чтению. Понять первые страницы было трудно, но она ведь не смущалась такой трудностью. Шаг за шагом она объясняла нам: пилигрим вышел в путь — это каждый человек. И вот на своем пути он встречает затруднения, искушения, но и помощь свыше. Мы читали и слушали с неослабевающим вниманием. Чудный мир образов и аллегорий скоро стал по плечу и детскому восприятию. Он манил, возбуждал воображение. Подвиги пилигрима были близки душе. Так же, как он, мы уже знали по опыту, что от прямого пути влекут в сторону кривые, извилистые, но привлекательные дорожки. Мы знали или предчувствовали, что могут грозить человеку страшные чудовища — искушения, и невольно в предвидении борьбы с неведомым незримым врагом сжимался детский кулачок: не поддамся тебе. Все время, пока мы читали эту книгу, — я

говорю не только про часы чтения, но про тот период, когда мы одолевали понемногу, вникая в нее, книгу Буниана (мы не успели ее кончить до отъезда Анны Мартыновны, и я ее никогда не дочитала), — я находилась в лихорадочном состоянии мистических переживаний и мистического творчества. Я уже тогда легко «сочиняла», как я уже говорила, продолжая воображением прочитанное. Но героями моего творчества были всегда действующие лица прочитанного повествования. Теперь героем была я сама. Я была пилигримом, вышедшим в путь, и со мной случались таинственные встречи, приключения, имеющие сокровенный смысл. Была одна часть нашей квартиры, особенно располагавшая к переживаниям страха и мистических настроений. То была, так сказать, задняя часть квартиры — с девичьей, кладовой, чуланами, коридорами, казавшимися нам более обширными, нежели они были на самом деле. Она была обыкновенно пустынна — девушки были заняты в кухне, помещавшейся в нижнем этаже; кладовая редко посещалась, потому что имелась другая кладовая, более близкая. Окна девичьей выходили в большой, но пустынный сад соседнего дома (в то время Грачевых)[165], и в нем на оголенных зимой ветвях всегда сидела бездна ворон и галок. Они перелетывали с ветки на ветку и кричали — и почему-то печалью и ужасом стягивалось мое сердце от этого крика. Из кладовой выходило в коридор большое полукруглое александровское окно[166] с красивым переплетом рам. Не знаю почему, это окно вселяло в меня страх — может быть, светлое (кладовая другим, обыкновенным окном выходила во двор и была светлая), оно казалось мне недвижимым оком, и сама кладовая страшила пустым молчаливым, светлым и неведомым пространством. На стене одного чулана сохранилась еще роспись — фреска: на берегу воды лужайка, на ней — замок и идущие по лугу человеческие фигуры. Я ужасно боялась этих фигур. Мне чудилось в них что-то живое. Добавьте к тому, что дверь на чердак всегда стояла полуоткрытой и всегда поскрипывала, что в коридоре висели на гвоздиках салопы и шубы с человекообразными очертаниями... И сюда посылали, сюда приходилось ходить, и не полагалось говорить, что страшно... Вот эта часть дома стала вдруг для меня привлекательной. Я уходила сюда в тишину этого одинокого угла, чтобы жить со своими мечтами. Вот я остановилась — гляжу с открытыми глазами перед собой: рисую себе воображением ярко-ярко — мне навстречу выступают ангелы. Они в белом, повязаны крест-накрест орарями (как пишут их на северных и южных вратах); в руках у одного

кадильница с фимиамом, у другого свеча, у третьего — я теперь не помню что. Они говорят со мной, я им отвечаю. Я знаю, что значит кадило, свеча, сокровенный смысл иносказательных речей ангелов... Но я знаю также, что это — неправда, что это — ненастоящее видение, что это я сама сочиняю. Душа жаждала настоящего видения. Я ждала терпеливо, упорно — и уходила разочарованная, огорченная, до другого раза. Тщетное ожидание. Моя психика была слишком уравновешенна — я не имела видений. А, между тем, нервы-то мои как раз тогда были особенно взвинчены. Анна Мартыновна готовилась уехать от нас, уже сильно захваченная грудной болезнью. Моя душа готовилась к мучительному надрыву, к первому моему серьезному горю. Эта нервность проявлялась в том, что так легко называют детскими капризами. Анна Мартыновна, которая ставила чтение «Путешествия пилигрима» как награду, сплошь и рядом лишала меня ее. И я, сидя рядом с Колей, ощущая больно это лишение, как милость принимала разрешение его слушать. Воспринимала образы и символы истерзанной душой — я не открывалась Анне Мартыновне, что ведь ее я оплакиваю, — и все больше жила с ангелами, в духовном общении с «божественным».

2 VII 1915

Прелестную мечту я создала в то время: мечту об особом ангеле-хранителе, Олечке. Олечка — это была наша маленькая умершая сестра. Она скончалась на четвертом году от осложнения после кори, и мама до конца жизни не могла примириться с этой утратой. До последних лет, когда ей уже не стало позволять этого здоровье, она ездила на ее могилку на далекое Пятницкое кладбище, где под черным мраморным памятником лежала Олечка рядом с бабушкой Еленой Афанасьевной Харузиной. Олечка — так говорили все — была замечательно привлекательная девочка, темноволосая, с красивыми черными глазами под длинными ресницами. Образ ее был окружен поэзией в нашем детском мире. Старшие дети помнили ее кончину, помнили розовый гробик, который выносил на руках папа, помнили, как они украсили гроб букетами черемухи — Олечка скончалась весной, и долгое время весна и черемуха соединялись в моем воображении с Олечкой. Я так живо по рассказам воспроизводила все, что была одно время уверена, что тоже помню Олечку. Я лежу в постели больная — и подходит ко мне девочка, смотрит на меня темными красивыми глазами под длинными ресницами и улыбается мне — и это

Олечка. Лишь позднее я узнала, что Олечка умерла до моего рождения. Мы ужасно любили эту маленькую отнятую у нас сестру. Мы считали и гораздо позднее, что этим горем особенно обижен Алеша: мы родились «парами»: Миша и Лена, Коля и я, а у Алеши была отнята парная ему сестрица. При тесной дружбе, которая чувствовалась между парными братьями и сестрами, утрата парной сестрицы была в наших глазах большим несчастьем.

Так эту милую сестру нашу, Олечку, я восхитила себе в добавочного ангела-хранителя. Мы знали, что каждому человеку дается ангел-хранитель при рождении, и молились ему. Но Олечка была еще сверх этого. Я никому не говорила про это, но чувствовала живое общение с ней. И опять лились из души молчаливые с ней разговоры, и сколько рисовалось воображению картин. Вот ночью, проснувшись, лежу с закрытыми глазами и вижу ясно-ясно глазами воображения хорошенькую картинку религиозного содержания, какие служат закладками в книги духовного содержания. Но важна не картинка, а рамка к ней — бумажное кружево, и на нем в виде украшения все головки ангелов с крылышками. Все ангелочки светлокудрые, как их изображают всегда, один — с темными кудрями. Это Олечка. «Ты ко мне? Хочешь быть моим ангелом-хранителем?» — «Да, да». И радостно на душе, и ведешь длинные беседы.

Меланхолия кладбищенского настроения, которое часто находило отзвук в разговорах тети, тоже отражалась на наших мыслях. Тетя с интересом говорила о памятниках надгробных, обсуждала встречающиеся на них эпиграфы, которые говорили ее душе, будя в ней думы, определенное настроение. Она принадлежала к поколению, которое меняло стихотворную эпиграфическую литературу на эпиграфы из Священного Писания. Для того времени это знаменовало шаг вперед в образованности. На памятниках Елены Афанасьевны, Наденьки Харузиной были еще начертаны стихи — тетя часто говорила, что ей хотелось бы иметь такой-то памятник, простой, но с надписью: «Придите ко Мне все труждающиеся...» Это был ее любимый текст — он утешал ее в самых трудных минутах жизни. Под влиянием подобных разговоров и мы с Колей начали мечтать о наших надгробных памятниках. Лучший надгробный памятник — крест, таково было мнение Анны Мартыновны, — и я захотела себе крест. Памятник должен быть простой, говорила в смирении

тетя, — и вот я лежу в постели, и в темноте спальни вырисовывается перед воображением ряд надгробных крестов: мраморные, белые, черные, железные и др. Я выбираю: мой крест — деревянный, но с фигурными концами и окрашен в любимую мной оливковую краску с темно-красной каемочкой. И как нравился он мне.

8 IX 1914

Наше нравственное воспитание зиждилось на религиозном так сильно, что говорить о них раздельно не приходится. Так было, наверное, и в других семьях того времени. Поступить дурно, нечестно, неблагородно было не только нехорошо — это было, кроме того, «грехом». Поступив дурно или солгав, сделаешься ответственным не только перед людьми, но и перед Богом. В этом воззрении была существенная разница между нашим религиозным воспитанием и воспитанием на принципах человеческой морали и этики. Я никому не навязываю, что лучше, что хуже, — я только указываю на разницу. Это воззрение на дурной поступок, дурную мысль или желание как на «грех», эту веру в общий источник «греха» — злокозненное искушение дьявола, веру в легкую возможность прощения от Бога и Его благодатное содействие всему доброму в человеке разделяли все вокруг нас с Колей. Но опять-таки каждый проявлял эту веру по-своему и поэтому по-особому влиял на нас.

Если бы меня спросили теперь и если бы я тогда могла внятно ответить на вопрос, кто является для меня воплощением благородства и чести, я бы и теперь и тогда ответила: папа. Я слишком рано потеряла его, и потому не сохранились у меня в памяти его слова; я не могла бы сказать, какие слова он говорил нам или при нас по этому поводу. Скорей скажу, что он их не говорил вовсе и уже никогда нас ничему не поучал. Но никто, ни один мыслитель и философ мира, не служил для меня таким непоколебимым авторитетом в вопросах чести, как папа. И сколько раз я в жизни с гордостью сознавала, что я такого-то или иного компромисса в жизни сделать не могу, потому что так бы не сделал папа. Но кроме чести и благородства я знала, что лучше и добрее нет его человека, что делать добро так, как он, никто не может, так молча, так незаметно и так подойти к человеку деликатно, как он, не всякий сможет. Это было мое чувство — может быть, оттого, что из всех старших, окружавших меня тогда лиц, имевших надо мной власть, он

5 — 249

один, кроме разве молчаливой Дунечки, никогда ни в чем не задел меня, и, наоборот, в трудные минуты, когда другие делали замечание и бывало так обидно и стыдно, он своим замечанием, брошенным вскользь, заступался, спасал, прерывал выговор. Но то, что чувствовала душа моя в том возрасте, подтверждалось рассказами больших: он умел помогать без слов, он был из тех редких людей, помощь которых не обидно принимать.

Мама тоже не поучала и не объясняла, почему то или иное дурно, — это было не в ее характере. Она только отвечала на вопросы, всегда определенно и ясно, правда. Но часто она говорила также: «Это тебе рано знать», — и я мирилась с этим беспрекословно. Ее авторитет был так велик, что эти ее слова никогда не подстрекали моего любопытства узнать во что бы то ни стало. Но были около меня люди, которые никогда этого не говорили и всегда и все объясняли, — и невольно я обращалась к ним, а не к маме. Это делалось само собой, без всякого критического отношения. Мама не любила длинно поучать, но свои любимые мысли она говорила. Она говорила их или своими словами, или словами любимых писателей и поэтов, и всегда особым тоном, с выражением и ударением, с расстановкой, так что ухо и внимание сразу различали, что говорится что-то особенное и ей дорогое. Вот, может быть, почему ее немногие слова так западали в душу. Я помню из того времени: Сергей Александрович, «дяденька Сережа», принес фотографию: она изображала сцену спектакля из «Гамлета». Коля, как более смелый, спросил, что это такое. Нам сказали, что это Гамлет. Но далее на «что это такое тут делается?» мама сказала с той ласковой пренебрежительностью, которая незаметно для взрослых так отпугивает детей: «Тебе рано знать». Но я смотрела на молодую прекрасную девушку, сидящую так спокойно впереди. «Посмотри, — сказала мама, — какая хорошая: видишь, какие хорошие бывают. Посмотри, — сказала еще мама, — это Горацио. Ты видишь, как он смотрит. У него совесть чистая. Нравится тебе?» — сказала мама, как всегда лаская меня. Коля сейчас ответил, улыбаясь очаровательно, что ему Офелия очень понравилась. Я застенчиво молчала, но годы спустя, когда в одной из многих сочиненных мной историй я поместила прекрасную душой девочку, — мы бы сказали: «не от мира сего», — я придала ей звучащее для меня прелестью имя Цецилия и нежный образ Офелии с распущенными светлыми волосами с той фотографии.

2 VII 1915

Тетя — та поучала, наоборот, постоянно и не могла иначе: это вытекало из всего ее умственного склада, склонного к анализу. Она продумывала каждое явление жизни, давала ему объяснение или пыталась его давать. Она знала порывы, но порывы мысли, а не чувства, и даже эти порывы она анализировала и всегда могла их сдержать критически разлагающей мыслью. Другое ее свойство было — желание делиться мыслями, и это приводило к тому, что она много говорила, и с нами, может быть, больше, чем с другими, потому что любила нас больше многих других и считала полезным для нас ознакомить нас с результатом продуманного ею. Мы были также для нее неизменной аудиторией. Я должна сознаться — не всегда добровольной. Та форма, в которой тетя преподавала свои мысли, не всегда удовлетворяла, часто даже наскучивала. Она была слишком продуманна и слишком мало, сказала бы я, в ней билось непосредственного чувства, а это всегда чувствуется молодой душой. Но ведь и к форме можно привыкнуть — каждый это знает по опыту, применяясь ежедневно к различным формам. И так было с нами: скучливо душа сбрасывала надоедающую шелуху: поучительный тон голоса, старавшийся не быть таким, слова, применявшиеся к детскому пониманию, — все это так улавливается детьми — оставалось за этим всем здоровое зерно, и оно воспринималось нами. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что я не любила, кáк говорила тетя, и любила то, чтó она говорила. Это было все то, что осуществлялось всеми в семье и что лежало в нашей натуре. Наши воспитатели не наталкивались в нас на противоположности в общем складе наших характеров.

Поучала и Анна Мартыновна, но она делала это иначе — и так, как именно нравилось мне, наверное, и Коле. Я должна отметить, что нота поучения, которая ясно улавливалась нами в разговорах тети и Анны Мартыновны, ценилась нами. Мы, как все дети, хотели знать — знать жизнь прежде всего, — и они отвечали на этот запрос гораздо более, чем мама. Мы были благодарны им, что они не скрывали от нас своего знания, но искренно, без утаек — мы это сознавали — открывали его нам. Поэтому спрашивали мы больше их и больше с ними делились. Но Анна Мартыновна умела лучше, живее говорить, нежели тетя. Она нас вводила в жизнь обыкновенно короткими, но образными рассказами, отчасти — из собственного прошлого и опыта, отчасти ею самой выдуманными. Они живо запечатлевались в памяти. Я до сих пор помню некоторые из них. Тогда они служили нам руководством в жизни.

3 VII 1915

Умственный наш кругозор был гораздо у́же того, какой встречаешь теперь сплошь и рядом у детей нашего тогдашнего возраста в интеллигентных семьях. В то время не было и тех средств к раннему приобретению знаний: детских популярно-научных книг, картин и пр. Стремились мы к знанию и получали его урывками, там, где было можно. От этого знали многое без системы. Это не поражало никого. Ведь так же приобретали знания и сделались образованными людьми наши старшие. Как стал образованным, с тонким вкусом человеком папа? Брошенный на произвол судьбы, бедный сирота-мальчик, будучи подростком еще, жадно бросился в посещения театра, замирал от восторга в Большом и Малом театре, на свой страх и риск завел знакомство с образованными людьми и читал, читал без конца. И тетя читала и читала и ловила все прекрасное и благородное, что могла слышать, например, в доме Д.П. Боткина, где бывала часто как свой человек. С каким чувством полученного наслаждения она вспоминала слышанные ею там замечания об искусстве М.П. Боткина[167], разговоры Фета, Григоровича[168] и вечера с итальянцами, когда на обед или на вечер Боткины приглашали знаменитых оперных певцов Падилло[169], Арто[170] и др. То же и мама. Поэтому принцип их был: лови знание и развитие, где только можешь, и чем больше, тем лучше. И мне теперь иногда трогательно смешно вспомнить, как мы приобретали сведения. Иоанн III и Фиоравенти[171] — ведь это иллюстрация из объявления из «Нивы»[172], которую я раскрашивала, — и рассказы тети из «Басурмана» Лажечникова[173].

13 VII 1915

Парижская коммуна — тетя вслух читает отрывок из какого-то романа, где ярко описывается натиск толпы на Тюльери (Тюильри?). Франко-прусская война — вот мы в гостиной, мне шестой год, не больше; Алеша пляшет передо мной и поет: «Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки!» Его заставляют замолчать, не позволяют больше петь — но именно поэтому я сразу на всю жизнь запоминаю эти строки, и имя Бонапарт, и объяснение, что немцы и французы теперь враги, и имена: Вильгельм[174] и Бисмарк[175]. «Вильгельм Телль»[176] и «Павел и Виргиния» — это были две книжки, лубочно изданные, привезенные нам в подарок мадемуазель Малляр из Парижа, куда она ездила от нас на недолгую побывку. Какими вопиюще яркими картинками были изукраше-

ны обе книжонки! Как безвкусно пестры были одеяния Виргинии и Павла и их матерей! Как страшно вращал глазами злодей Гесслер, и как отчаянно мужественно выглядывал Телль. Я видала впоследствии много иллюстраций к обоим сюжетам, изящно исполненных, я читала оба сюжета в разных передачах, но узнала я о подвиге Телля, но полюбила я навсегда Павла и Виргинию по этим книжкам. У мадемуазель Малляр была «История Франции» — учебник, сухо написанный, такой, что читать его мог охотно Коля, а я не могла, но он был украшен дешевыми изображениями всех королей. Эта книга была одним из немногих источников знаний мадемуазель, но который она твердо знала. Мы так часто перелистывали книгу, что скоро знали всех французских королей подряд. У нас были свои любимцы — не только по деяниям, как Карл Великий, Людовик Святой, но и по внешности. Мы так любили ее, что потом на наши скудные деньги приобрели ее у мадемуазель. И тогда со всем должным почтением расписывали королей цветными карандашами. Должна сказать, что в гимназии курс истории Франции для меня не представлял никаких затруднений. Все правители Франции — меровинги, каролинги, капетинги[177] и т.д. — были для меня людьми живыми: недаром их портреты прошли через нашу художественную обработку. Я сказала: мадемуазель от нас съездила в Париж. Она мало умела рассказать о нем. Но она привезла нам в подарок кроме «Вильгельма Телля» и «Павла и Виргинии» два маленьких прейскуранта магазинов Лувра и «О бон Марше»[178]. В прейскуранте, подаренном мне, были только дамские моды (вы понимаете, как девочкам во всех отношениях живется хуже мальчиков), и я не знала, что делать с этими бездушными дамскими изображениями, про которые даже не сочинялось историй и которые скучно было расписывать карандашами. Но в прейскуранте Колином были миниатюрные, но хорошо исполненные изображения парижских памятников и известных зданий. Мы стали искать чего-нибудь подобного вокруг нас. И ничего не нашли, кроме Большого театра и Триумфальных ворот. Мы были окружены удивительными памятниками архитектуры, но никто не открывал нам глаза на них, потому что глаза в то время не усматривали в них красоты. Кремль не в счет. Перед его ни с чем не сравнимой красотой стояли в удивлении и Анна Мартыновна, и мадемуазель. И вот и тут вы видите иноземное влияние, но я не жалею теперь о нем. С раннего детства мы столкнулись с представителями трех разных культур, трех разных религий — мир широко раски-

нулся перед нами, и кругозор наш, узкий в смысле суммы знаний, не был таковым в смысле охватываемого им пространства. Мы рано знали, что помимо окружающей нас жизни есть и другая.

А свое, русское? Мы знали многое, и это преимущественно благодаря горячей любви тети к своему, родному. Следуя своему принципу «учить шутя», она так часто в свободные часы повторяла нам имена наших князей, царей и императоров, что мы их знали наизусть. Она рассказывала нам по русской истории то, что знала из истории Карамзина, из романов, прочитанных ею с рвением, горячим интересом. Благодаря ей мы любили Суворова восторженной любовью и играли в Александровском саду в Суворова и Румянцева[179]. С кликами победы, которые едва ли бы потерпел теперь постовой городовой, мы с явного одобрения Анны Мартыновны «штурмовали» с Колей крутую горку, которая прилеплена к кремлевской стене около Боровицких ворот. Благодаря тете мы постигли величавую фигуру Петра — она с таким восторгом говорила об этом царе-труженике, о спасении им погибающих. Благодаря ей любили блестящий двор Екатерины, ее сотрудников, возвеличивших Россию, ненавидели Бирона[180] (она рассказала нам живо и ярко содержание известной картины[181], находящейся теперь в Музее Александра III — постыдный двор Анны Ивановны) и вместе с ним тех, кто зовется шпионами, уважали написавшего законы Сперанского[182]. Она нас первая познакомила и с хронологией. Я помню эту скромную тетрадь, ею же сшитую и разлинованную, в которую она заносила, иногда посоветовавшись с Сергеем Александровичем, — «и это нужно?» — года, значительные в русской истории. Шутя и играя, спрашивала: «А когда было то-то? Детушки, кто скажет?» — и так стыдила, если кто не знал года начала Руси или кончины Петра, что невольно, бывало, лишний раз заглянешь в тетрадку. Она любила и русскую литературу увлеченно, как все наши, но сознательно учила нас знать наших великих писателей в то время лишь она одна. У нее был старенький дешевый альбом — и в нем задешево где-нибудь в лавочках купленные портреты наших знаменитых писателей. Нам доставляло огромное удовольствие рассматривать альбом и правильно называть писателей, иногда экзаменуя друг друга. Она говорила нам, что сейчас мы еще не можем читать того, что они написали, — а как они писали! — говорило все восторженное ее лицо, значительный голос. Она с особой нежностью и юмором говорила о «дедушке Крылове», тонкую насмешку которого она высоко ценила (ее губы

складывались при этом в особую тонкую усмешку), с несравнимым восторгом о Пушкине, с грустью и нежностью о Лермонтове — в глазах выражалась глубокая грусть о безвременной кончине поэта, с радостной улыбкой, полной симпатии, о Глинке, портрет которого красовался тут же. Для характеристики времени я скажу, что среди этих знаменитостей находился портрет Н.Г. Рубинштейна[183] и князя Урусова[184], блестящее красноречие которого вызывало поклонение. Мы не только знали портреты наших поэтов и писателей — мы знали и некоторые стихотворения их. Я вернусь еще к моему увлечению Лермонтовым, потом Пушкиным — это было позднее. В то время мы больше учили басни, которые мне были прямо неприятны и по размеру, и по преподаваемой морали, и по самому духу: я жалела квартет и мартышку, которой никто не показал, как надевать очки, жалела доверчивую ворону, осуждала муравья, прогнавшего стрекозу, симпатизировала повару, усовещавшему кота, находила, что моська имела право лаять на слона, что смеяться над разошедшейся дружбой двух собак невеликодушно, и т.д. — попросту я всегда была в оппозиции тому, кого с такой нежностью тетя называла «дедушкой». Впрочем, такое отношение к юмористическому изображению человеческой жизни я могу отметить в себе и позднее. Большинство юмористических рассказов, не исключая и некоторых рассказов Чехова, возбуждали во мне не смех, но чувство жалости, даже острое, к изображаемым. Стихи я, наоборот, очень любила и жадно ловила даже отдельные строчки, которые зубрила громко в качестве примеров из грамматики Говорова Лена. Я знала довольно много стихов с раннего детства, но, признаюсь, многого в них не понимала. Так я долго не знала, о чем говорится в «Ангеле» Лермонтова и в «Ветке Палестины», которую и тетя и мама прекрасно декламировали, обе с особым задумчивым меланхолическим видом. Может быть, никто не поверит, что я меньше всего понимала, что такое ветка Палестины, потому что не видала соответствующей картинки, но с чувством и пониманием говорила: «и пальма та — жива поныне» и т.д. И про Муравьева[185] знала из тетиных объяснений и понимала: «божьей рати лучший воин»[186].

Но в понимании нашей родной поэзии отверз мне слух и смысл папа. Он рано стал нам читать вслух. Его чудный голос стал проводником лучших чувств, охватывавших мою душу при чтении произведений русской поэзии. Ему я обязана восторгами, о которых я живо помню до сих пор. Это в первый раз слышанные «Братья-разбойники», бесконечно

потом повторяемые им по нашей просьбе, это в первый раз слышанный «Медный всадник», прочитанный так, что всадник гнался за мной по коридору. Это первое знакомство с «Недорослем». Но это было позднее. К тому времени, о котором я пишу, относятся следующие воспоминания.

Мама уехала в театр. Папа предложил нам почитать. Это была новость. Он выбрал «Топтыгина»[187]. Как он радовался произведенному впечатлению! Как громко звучал наш смех — и как он сам смеялся! Мы долго не могли забыть этого вечера и желали повторения. Но когда мама была дома, папа нам не принадлежал. Наконец выдался вечер, когда мама опять уехала. И снова устроилось чтение. На этот раз папа выбрал «Русских женщин» Некрасова. Я не помню, все ли я поняла с самого начала, — но потом! Забыть я этого вечера не могу: голоса папы, моего детского волнения, конца вечера, когда и папа и мы горели одним чувством пережитого восторга. На следующий вечер мы сказали об этом маме, радостно сказали. «Немножко рано», — ответила мама тем тоном, который невольно заставлял прекращать излияние восторга. Папа немного смутился. Но вся моя душа кричала: «Неправда, неправда — не рано! Я все поняла. Так и должно быть! И я такая же русская женщина, и я ничего бы не побоялась, и я бы пошла за любимым человеком в какую угодно даль!» И ликовало сердце! И я благодарю тебя, папа, что ты верил в детское сердце и заставил его пережить этот подъем духовных сил.

14 VII 1915

Два слова еще о нашем эстетическом воспитании, которому я придаю такое огромное значение в развитии личности. Мы росли среди лиц, высоко ценивших прекрасное: музыку, живопись, скульптуру, сценическое искусство. Может быть, это наряду с природными склонностями дало нашей мысли особое направление с детства. Я помню маму и тетю, уезжавших в симфонические вечера как на праздник, разговоры их на следующий день, имена А.Г. и особенно часто Н.Г. Рубинштейнов[188], помню сборы их в итальянскую оперу, воспоминания папы о Рашели[189] — и театр стал предметом еще далекой мечты. Впрочем, нас стали возить в театр рано. Когда Колю взяли в театр в первый раз на «Русскую свадьбу»[190], я была так мала, что меня взять с собой было еще невозможно. Такое преимущество передо мной Коли, когда нас во всем равняли, долгое время было для меня обидой. Затем нас повезли уже вдвоем на балет «Дочь фараона»[191]. Но, хотя отдельные сцены врезались

навсегда в мою память, я бессовестно заснула посередине. Коля нередко обижал меня, вспоминая это позорное для меня происшествие. Но уже со следующего раза я не засыпала. Так же восторженно говорили в доме о выставках художников-передвижников — и многие имена были мне знакомы уже тогда со слов тети. Опять обидели меня: Колю взяли на картинную выставку — по-моему, это была та, на которой был выставлен «Христос» Крамского и чтение манифеста[192]. С горящей душой я слушала рассказы тети и Коли по возвращении. Я чувствовала себя глубоко обиженной: неужели могли подумать, что я не пойму? А я еще так хорошо, говорила тетя, декламировала: «Посмотри, в избе мерцая»[193]. Но на выставки нас почему-то долго не пускали: я думаю, что на Колю эта первая выставка произвела слишком сильное впечатление, и мама, наверное, решила: рано.

Я говорила уже не раз: красота окружала нас на улицах Москвы, но нам ее не показывали. В доме у нас было в то время мало ценных предметов, на которых воспитывался бы глаз. Разве только портрет бабушки Елены Афанасьевны, да горка с серебром, да красивая бронзовая люстра в зале и два изящных же бра: на одном дудящий мальчик, на другом затыкающая себе уши девочка. В доме у Шипачевых нам указывали как на красивые вещи — на старинные часы за шкапом, на белые мраморные часы на подзеркальнике в гостиной с изображением фаз Луны, на массивные пепельницы из малахита. Вот и все. Ведь и в нашем доме, и у них приобреталось все медленно и в соответствии с увеличением средств. Но вот совершилось событие: папа поехал за границу. Он вернулся оттуда в восторге от виденного и настоял, чтобы на будущий год съездила бы мама. Мама отправилась с компаньонкой, рекомендованной ей мадемуазель Дюмушель — Викториной Ипполитовной Алляр, уже обрусевшей, но знавшей хорошо языки. Я помню, как мы скучали без мамы и как нас всячески утешал папа: например, не забыл устроить нам жаворонки с гривенником на 9 марта[194]. Но скучала и мама — она вспоминала потом, что невыносимо, и, бросив путешествие на половине, она вернулась. Я помню возвращение и ее и папы — радостное, возбужденное. Я помню их рассказы, но мне дали больше рассказы папы. Из его уст я узнала впервые имя Бенвенуто Челлини[195]. Я рвалась душой видеть те произведения искусства, которые оставили такой огромный след на его душе, о которых он говорил таким образом. Маленькое детское горе: я сижу у папы на коленях и слушаю его рассказ

тете, не в первый раз повторяемый, о загранице. Наверное, слушаю с таким видом, что папа вдруг говорит мне: «Поедем в Италию.» — «Поедем», — с робкой надеждой на исполнение мечты, с сильно бьющимся сердцем откликаюсь я. — «Поедем». — «Когда?» — с замиранием сердца спрашиваю я. — «Да сегодня». — «Собирайся в дорогу», — улыбнулась тетя. Я соскочила с папиных колен и бросилась бежать в детскую. Смех папы и тети заставил меня остановиться — мучительно для самолюбия понять свою ошибку. Какая это была горькая обида! Я простить ее могла только папе, которого так сильно любила. Будь это другой, я не забыла бы этого, я это знаю.

Папа привез нам из заграницы дорогие подарки — игрушки, я помню, какие, но они не доставили мне удовольствия. Но он привез и другое. Помню вечер, когда произошла суматоха, объяснявшаяся словом: «Привезли!» Помню, как все старшие двинулись за папой в переднюю, — мы с Колей, конечно, за ними. Папа сказал, что «он — сам». И он начал осторожно распаковывать ящик. Это были прекрасные бронзовые часы: с одной стороны дремлющая Ночь, с другой — бодро проснувшийся День. И к ним канделябры с четырьмя временами года в виде детей, несущих свои эмблемы. Это был приготовленный папой сюрприз маме. Боже, как восторгались все и как это было действительно прекрасно! И сколько лет жизни я любовалась этим произведением искусства, благородными формами, выдающимся замыслом. Папа привез еще один не виданный нами предмет. Его называли панорамой. В это сооружение вставляли превосходно исполненные фотографии больших размеров, и на них глядели в два стекла. Фотографии были с видами больших городов Западной Европы. Некоторые из них были ночные: благодаря проколам и подклеенным кускам папиросной цветной бумаги воспроизводился эффект освещенных иллюминацией улиц, храмов, дворцов. Анна Мартыновна часто доставляла себе удовольствие показывать нам эти картины. Она вспоминала свое собственное путешествие за границу, пережитое ею самой наслаждение произведениями искусства. Она толковала, поясняла, добавляла. По этой панораме я полюбила Венецию, мост Риальто и Вздохов, св. Марка и Кампаниллу, Дворец дожей, собор св. Петра и др. И тогда как площадь Согласия оставляла меня холодной, в Италию, в прекрасную Италию рвалась моя душа!

Из вещей, привезенных папой, был еще альбом с фотографиями нескольких знаменитых картин итальянских художников. С первого раза,

как он попался мне в руки, открылся для меня новый источник радости и наслаждений: живопись. И эти картины умела объяснить Анна Мартыновна — она знала их по оригиналам, она восхищалась ими. Я впервые узнала имя Рафаэля. Он казался мне божественно счастливым. Бесконечно долго созерцать могла я «Преображение»[196]. Он мог написать так! О, если бы могла так и я! И с тех пор загорелось в душе желание-мечта: быть великим художником. Это желание, эта мечта, которую я носила в душе до 22-летнего возраста, была в то время необычайно ярка. Поймут меня только те, которые переживали такие мечты, которые могли наслаждаться искусством с детства, для которых было радостью впитывать глазами очертание лица, нежность улыбки, изгиб фигуры, линии складок одежды.

Вот мелочи, на которых отчасти зиждилось наше эстетическое воспитание. Я отмечу, между прочим, полное отсутствие в то время в нашем доме дорогих изданий с иллюстрациями. Но особенно много содействовали нашему эстетическому воспитанию, с одной стороны, дом Боткиных, в котором мы начали бывать с Колей около этого времени, и наше дачное пребывание в селе Архангельском, имении Юсуповых Звенигородского уезда. В доме Д.П. Боткина мы бывали в течение трех зим, когда мне было 7—9 лет, и потому я предпочту отнести наши впечатления от этих посещений в следующий отдел моей жизни. В Архангельском я прожила с 3- до 12-летнего возраста, и я предпочитаю писать о том, что мы делали летом и чему мы научились в Архангельском уже после того, как опишу больший период жизни.

15 VII 1915

Я росла при исключительно, на мой взгляд, счастливой обстановке: среди людей прекрасных, одушевленных стремлениями к добру и правде, в атмосфере семейного мира и взаимной любви и уважения, в атмосфере, чуждой мелких дрязг, мелочных интересов, поддеваний друг друга и пр. Но чувствовала ли я себя счастливой, как должна бы была? Нет, наоборот: я чувствовала себя несчастным ребенком. И это чувство было постоянным, не мимолетным, и переживала я его очень остро.

Я чувствовала себя несчастной вследствие многих причин, крупных и мелких, иногда не совсем ясно мной сознаваемых, иногда определенно вырисовывающихся перед моим сознанием. Я думаю, что большинство маленьких детей страдает от множества даже незначительных причин,

непонятных окружающим их старшим. Потому что мы с годами притупляемся ко многому, теряем острую чувствительность и, забывая свои собственные детские мучения, роковым образом повторяем вечную ошибку взрослых: непонимание детей. От чего только не страдала я тогда! А теперь мне почти смешно писать верное, однако, в применении к переживаемому мной тогда большое слово: «страдать». Например, страдала я от всякого нового платья. Оно стесняло мою свободу движений, и чем новее и наряднее оно было, тем неприязненнее я относилась к нему. Помню, вот портниха принесла Лене и мне новые платья: Лене — белое, мне — розовое. Вокруг — слова одобрения, радостное: «Идите, поблагодарите папочку». Воскресенье — он в зале, прохаживается по ней, как обыкновенно. Я вижу перед собой бегущую Лену, стройную, веселую, действительно нарядную, вот она, смеясь, повисла на руках у папы так, как я никогда не посмею. А я — зачем портниха перекинула мне на плечо кусок материи шарфом? Что это такое? Такое ненужное — ведь у Лены этого нет. А именно этот шарф и хвалят, называют изящной выдумкой портнихи. Меня он делал связанной и несчастной. Меня утешают: «Это — как у генерала». Но я знала, что это — неправда, что у генерала лента не мешает, молчала поневоле на эту «ложь» и удивлялась, какая охота говорить то, чему все равно не поверишь. Что за охота старшим говорить? Я думаю, многие дети искренно удивляются, как и я. «Отчего ты не вымыла своих глаз? Какие они черные у тебя» — эта шутка забавляла, очевидно, взрослого, но не меня, и я снисходительно к взрослому выслушивала ее. А может быть, мне от взрослого хотелось другого: серьезного, важного для себя. Что делать, если он не мог мне дать его? Понять меня? С платьями, кажется, понимала меня только Анна Мартыновна, которая была против всяких стеснений моды. В то время девочки носили платьица с открытой шеей и коротенькими рукавами — и это было для меня настоящим мучением. Я часто зябла и радовалась, когда позволяли надеть под декольте манишку. Но в парад манишка не допускалась — и прибавлялось лишнее мученье: довольно длинные рукава рубашки свертывали жгутом так, чтобы они не вылезали из-под короткого рукава буфой платья. При движении руки вверх этот жгутик резал руку — и об этом «мучительстве» не полагалось говорить: так носили все — надо было терпеть. Я страдала, кроме того, — и очень долго — гиперальгезией[197] верхних частей рук, и так как не только я, но и окружающие меня не имели понятия о том,

что это одно из проявлений нервности, мне и в голову не приходило жаловаться на это. Мужественно я терпела эту боль, стыдясь открывать ее. А, между тем, когда кто-либо из старших ласково брал меня за верхние части рук и теребил меня, смеясь и говоря ласковые прозвища, у меня слезы выступали на глазах от боли — и я неприятно для ласкающего не откликалась на его ласку. Происходило невольное недоразумение — и «страдание» детской души. Были еще более странные поводы к страданию. Не знаю, чем их объяснить. Некоторые несовместимости, сказала бы я, так, как они представлялись мне, заставляли меня страдать — я, право, не найду другого слова.

В вещах некоторые материалы казались мне несочетаемыми, как, наоборот, другие ласкали глаз и были приятны. Деревянная мозаика чем-то неизъяснимым привлекала меня; а если бы кто на белую мраморную вещь набросил кусок шелковой материи, он тем неизъяснимо тоже оскорбил что-то во мне. Были у меня вещи, я бы сказала, высокого и низкого стиля, и ставить или класть их друг около друга было опять чем-то задевающим: так, если бы на шкап с книгами кто-нибудь случайно повесил платье. Может быть, в связи с цветным зрением я особенно чутко относилась к цветам и их сочетаниям. Малиновый и васильковый цвета были мне ненавистны. Особое чувство, которое я бы определила: «мне делалось не по себе», во мне вызывало сочетание ярко-коричневого с бледно-зеленым, зеленого с ярко-лиловым, ярко-голубого с желтовато-розовым. Это было чувство смешанное: тягостное и манящее в то же время, так что я чаще отстраняла его от себя (например, отворачивалась от зеленого дома с коричневым цоколем на Полянке), но, бывало, и вызывала его, крася картинки. Все это были переживания, на которые старшие и жизнь в их лице не обращали внимания, но которые вносили в душу нечто смущающее, бросали легкую, правда, тень на безоблачное, по существу, детство.

14 IX 1915

Еще другие «страдания»! Были слова, сплошь и рядом произносимые кругом и чем-то тем не менее оскорбляющие меня. Я отмечу между прочим полное отсутствие грубых слов и выражений в обиходе нашей семьи. Так что не грубость слова или произносящего его голоса меня задевали. Но, например, оба мы с Колей не выносили слова «Ваня». Нам было очень жаль, что наш двоюродный брат, Ваня Милютин, который умел

говорить с нами, носил это несчастное имя, от которого нас «воротило». Я всегда молча удивлялась, когда старшие ласково произносили: «Ваня». Так же перевертывало все во мне слово «невежество», хотя слово «невежливый» было для меня совсем приемлемо.

Еще: я с раннего детства не выносила лица, искаженного каким-нибудь сильным чувством. Настолько, что позднее сознательно вырабатывала в себе способность со спокойным лицом переживать неприятное или стараться не проявить в безобразии лица дурного чувства, например рассердившись на кого-нибудь, хотя в то же время языку своему я давала достаточно воли. И вот я помню: тетя моя любимая в этом отношении доставляла мне значительное мучение. Ее подвижное лицо сильно выявляло наружу чувство недовольства, например, нами. И к неприятности от выговора прибавлялась неприятность от ее несколько расширенных глаз, казавшихся страшными, от губ, которые принимали другую складку, почему-то чрезвычайно неприятную мне. Когда мама хмурила брови, я вся сжималась от страха, хотя бы недовольство и не относилось ко мне, — и мне жаль было, что эти нахмуренные брови портят красоту черт ее правильного лица. И я думаю, что потому я так любила, так приятны были мне лица папы, тети Анны Ивановны и Анны Мартыновны, что это были спокойные лица, изменявшиеся только улыбкой, смехом, вдохновением, восторгом, а не дурными чувствами. Гармонию — вот чего требовала моя детская душа, теперь я могу сознательно сказать. Тогда я бессознательно страдала от диссонансов.

Но были диссонансы не только внешние. Как во всякой семье, были диссонансы внутренние — и, как всюду, мы, дети, не относились к ним равнодушно, но чувствовали их, многое понимали и страдали от них. Нет, я не оскорблю память мне дорогих лиц, написав про них правду. Слишком они были хорошие люди, слишком любовно и с сознанием долга они боролись против этих жизненных диссонансов, чтобы бояться говорить о том, что было. Было же то, чего не могло не быть при обстановке нашей семьи и из чего другие семьи выходят далеко не так достойно. Представьте себе нашу семью. Папа, бесконечно полюбивший молодую жену, не переставал нежно любить своих сестер и одну из них, Александру Ивановну, взял жить к себе в дом. Тете выхода другого, очевидно, не было: она очень не ладила с мачехой, нашей бабушкой Анной Ивановной. Тетя никогда не жаловалась нам на мачеху, до конца ее жизни почтительно навещала ее, но факт остается фактом: тетя не

могла ужиться с бабушкой. Но куда ей было идти? Ей было 40 лет, и она всю жизнь работала и не боялась труда. Но устроиться самостоятельно, как я думаю, тогда было невозможно девушке, и не молодой. К тому же, наверное, и средств у тети не хватило бы на самостоятельную жизнь. Тогда папа предложил ей переехать к нему. Но как дело устроилось с мамой? Я думаю, что не совсем легко и что мама согласилась только из любви к папе. По крайней мере, когда мы уже были взрослыми, она вспоминала совет ей ее сестры, Ольги Михайловны: «Помогай сестрам твоего мужа, но не бери их в дом». Она не могла желать видеть «Сашеньку» в своем доме, потому что она никогда не сходилась с ней. Слишком они были разные натуры, и отношение их к жизни было тоже не одинаковое. Притом мама строила по-своему свою жизнь и хотела быть самостоятельной, а натура у нее была властная. Тетя, поместившись у нас, считала папу своим «благодетелем» и так и называла его. Она была благодарна и маме и никогда не забывала того, чтó мама со своей стороны делала для нее. Она держалась необычайно тактично в чужом доме при порядках, которые не всегда ей нравились. Но и она была властного характера и не из гибких. Притом ее положение имело много тягостного. Жить при таких условиях вместе трем лицам трудно: папе, понимавшему отношения, маме, еще молодой, нередко чувствовавшей молчаливую критику своим действиям, самой тете — и все-таки эти люди жили вместе и старались сгладить шипы совместного существования. Выходило это у них хорошо. Ни ссор, ни брани мы не слыхали в этом раннем детстве. Берегли, наверное, папу и мама и тетя. Наружно все шло хорошо. Но ведь дети видят не одно наружное. И сколько выдают мелочи. И делается так: ребенок замечает и как будто не замечает небольшие черточки и не отдает себе в них отчета — и вдруг сразу складывается убеждение. И толкуй потом сколько угодно ребенку, его не переубедишь.

Тетя и мама редко бывают вместе. На пѐрвый взгляд, это понятно: в доме каждый делает свое дело с утра, и день мамин складывается совсем иначе, нежели тетин день. Но вечером у себя в уютном будуаре мама работает одна. Отчего тетя работает одна тоже у себя в комнате? Отчего придет в будуар только тогда, когда придет папа? Тетя выходит ко всем гостям мамы, но сидеть вместе за беседой они не сидят. Нет того, что вызывается интимностью в отношениях, — желания побыть вместе, обменяться мнениями. Однако они не спорят, наоборот, они часто сходят-

ся во мнениях — только оттенки мыслей, способ выражения у них разные. И по тому, что на сказанное одной смолчит другая или обойдется выраженное, можно уловить несогласие. Они охотно хвалят друг друга и будто спешат сделать это, будто радуются случаю подтвердить громко хорошее друг к другу отношение, но детское ухо ловит суховатые нотки. Ловит также внимание, что они в похвалах держатся всегда одних и тех же областей: так, тетя всегда радуется, когда можно похвалить вкус мамы, ее уменье одеваться. Мама хороша, мама, несомненно, хорошо и со вкусом одета. Все на нее любуются. Отчего у тети нет таких платьев? «Я сама шью», — объясняет тетя. Но почему мама сама не шьет себе платьев? У тети одно только богатое платье — шелковое. А когда его у нее украли из гардероба — и это было для нее горем, — она не могла себе сшить другого такого. Отчего? Тетя говорит, что не любит одеваться, но ведь то платье у нее было и она о нем жалела. Тетя иногда делает что-нибудь для мамы, а маме это недостаточно понравится. Тете станет грустно, хотя она ничего не скажет, а нам станет ее жалко.

Мы вообще гораздо ближе стояли к тете, чем к маме, — и вот новый источник для столкновений между мамой и тетей. Мама держалась далеко от детской — согласно укладу жизни того времени. Тетя была всегда около нас. Но мама любила детей, по-своему, по-матерински восхищаясь ими, их детской прелестью, — и она желала бы, чтобы и они ее любили стихийно, как дети мать, с лаской и нежностью. Она ценила ласковое «мамунчик», как звали мы ее, и гордилась им. Но она не умела приблизиться к детскому миру — а тетя и бранила, и была придирчивее, но она заботилась о каждом нашем шаге. И с ней было легче говорить, хотя мама была менее взыскательна. Раз, я помню, мама утром еще не выходила из спальни, а мы с Колей, как делали это иногда, когда были совсем маленькими, влетели веселые к ней. Она любила это и была всегда ласкова в таких случаях. Она только что умывалась и вытирала лицо полотенцем. Веселая, она спросила: «Кого вы больше всего любите?» Я сказала: «Тебя». — «По самой правде?» — весело спросила она. Ответ мой был искренен, но после ее вопроса я добросовестно проверила себя и, ободренная ее лаской, сказала: «А по правде сказать — так тетю». Мамино лицо так омрачилось, что я сразу поняла, что обидела ее. Я имела основание догадаться, что она обратилась с горьким укором к тете. Тетя, огорченная, стала говорить нам, что мы должны любить больше всего папу с мамой — не ее. Было грустно...

24 VI 1919 ст<арого> ст<иля>

Мама и тетя — глубокий диссонанс жизни, не только раннего моего детства. Они были такие разные. Мама — еще очень молодая женщина, тете же было за сорок тогда, и в ней готовился духовный перелом, приведший ее постепенно к почти полному, хотя и незаметному как будто, отречению от жизни по миру. Я помню, как она отказалась от огромного для нее удовольствия: посещения симфонических собраний и театра. То и другое она любила так увлеченно, как и мама и вообще москвичи того времени. Мама была очень красива; когда-то и где-то я уловила, что, не будь ее смуглого цвета лица, она была бы красавицей. Она была сложена замечательно пропорционально при малом росте (впрочем, она всю жизнь носила высокие каблуки), руки и ноги ее были поразительно малы и изящны. Волосы черные, вивкие, громадные — когда она была девочкой, их заплетали ей в шесть кос. Глаза очень светло-карие, нос, как говорили при мне, «римский», красивое очертание рта. Я часто слышала, что ее называли красивой, и я находила, что это так, и гордилась ее красотой — но это была красота, которая мне лично мало нравилась. Мне нравилась, например, гораздо больше красота ее сестры, Ольги Михайловны. Тетя была нехороша собой — самое большее, что она в молодости была «хорошенькой» свежим цветом лица, красивыми красками: карими глазами, каштановым цветом волос. Но болезни рано изменили цвет лица, а волосы, как у всех в семье, были жидкие. Она носила, как многие в то время, фальшивую косу, укладывая ее венцом на голове, — и когда она делала это при мне, мне был неприятен контраст между толстой косой и очень скудными ее волосами. Не нравился мне также овал ее лица, потерявший с годами правильную округлость, ее крупный нос, ее очень большой рост, хотя при ее осанке, замечательно достойной, он был почти красотой. Не нравилось — а как я любила ее! Мама любила одеваться и уже тогда начала заказывать платья у дорогих портних. Она обладала и сама большим и изящным вкусом. Ее туалетами любовались при нас — больше всех, пожалуй, тетя. Тетя обращала и наше внимание на красоту мамы в том или ином наряде. Я любовалась и опять-таки чувствовала нечто, похожее на гордость своей мамой. Но, как и во всю свою последующую жизнь, туалеты мамы — она любила одеваться до самой кончины своей — нравились мне как нечто чуждое моим вкусам. И гораздо позднее, когда я сама стала любить одеваться, я одевалась в ином стиле, чем мама. Тогда же наря-

ды для меня были чем-то мешающим свободе, чем-то удручающим — вольно было желающим принимать на себя такое удручение. Я помню несколько платьев мамы, но одно только, которое мне искренне нравилось, — и то оттого, что оно было совсем необычно: черная шелковая материя была проткана золотистым шелком, образующим рисунок рыбьей чешуи. Мы были в восторге с Колей — и Коля громко высказал его, как всегда с чарующей своей улыбкой. Маленькая, дорогая мне подробность: и мама помнила, как она стояла перед зеркалом в гостиной в этом платье, как дороги были ей восторги детей — и до конца жизни она хранила спорок с этого платья. Тетя одеваться богато не могла. Она, что называется, хорошо носила свое платье, всегда была подтянута, аккуратна до мелочей, но, мы знали это, денег на туалеты у нее не было. Я желала бы, пожалуй, и от тети получать такое же эстетическое впечатление, как от мамы, но, по существу, скромно одетая тетя была ближе моей душе. В ее присутствии исчезал вопрос о туалете — и мне было от этого удивительно спокойно. И мама и тетя были деятельны и энергичны. Мама в то время много работала, обшивая нас. Она, кроме того, вела хозяйство, ставила дом. И лишь гораздо позднее я была в силах оценить, сколько должно было стоить этой молодой и неопытной женщине сделать из нашего дома то, чем он стал, отбросить много старинных форм быта, провести новое, начиная хотя бы с мелочей сервировки. Она с удивительной энергией неукоснительно была вся налицо, проявлялась в самой поступи, движениях рук, живом взгляде глаз. Тетя вставала рано, сама убирала свою комнату, была с утра одета — и целый день занята так, что мы это видели: она «училась» с нами, она шила платья, вязала чулки, кроила ризы и другие священные предметы, делала шерстяные цветы на поддонники, ухаживала за своим плющом, любимыми олеандрами, которые она доводила до комнатного цветения, — и мало ли чего она делала. И мы чувствовали, а позднее знали, что ее неутомимой энергии был положен предел — и ни более ни менее, как хозяйской волей мамы, которая не хотела, чтобы та или другая работа делалась в ее доме или делалась руками не прислуги. И тетя подчинялась. Но кипучая ее энергия чувствовалась в добровольном отказе. И эта кипучая энергия была мне по душе. Странно, я любила маленькие безработные ручки мамы, но мне не хотелось никогда их иметь. Мне не нравились крупные и рабочие руки тети, но «рабочие» руки всю жизнь были для меня идеалом. Мама моя была сдержанна, я сказала бы хоро-

шее слово «целомудренна», в раскрывании своих внутренних переживаний — и оттого почти никогда не говорила о себе, своем детстве, своих родных. Но оценить это я оказалась в состоянии очень, очень поздно. Тогда же, в раннем детстве, я просто не ощущала никакого желания проникнуть в закрытую для меня область. Тетя, хотя и медленно, проводила свое, встречая часто отпор и обидную насмешку со стороны прежде всего своих собственных родных. Поддержку она должна была встретить в папе, и, наверное, тетя, которая тяготела ко всему изящному, имела отвращение ко всему «серому» и не боялась новизны. Но энергия мамы была для детей малозаметной. Она руководила всем, имела помощь в лице экономки, Дунечки, сама же как будто ни до чего не доходила. Я не помню, чтобы она входила в кухню. Утром она вставала позднее всех. Для нее готовился особый чайный стол — так было во всю ее жизнь, — и она долго сидела за ним в капоте и хорошеньком чепчике. Как во всю свою жизнь, она по утрам долго чувствовала себя вялой, не по себе — и приходить к ней здороваться в это время, что было обязательным, приводило в стеснение мое детское сердце. Потом она уже не завтракала с нами, долго одевалась и ездила за покупками. И когда она возвращалась веселая, бодрая, не боящаяся мороза, — она удивительно легко одевалась и легко двигалась — и мы бежали встречать ее в переднюю, обо всем она несла с собой представление: о красоте молодости, жизнерадостности, здоровье, только не о труде. Мне же по натуре моей был и тогда привлекателен труд; он влек меня к себе бессознательно. И потому тетина энергия была мне понятнее и ближе. Она была также целомудренно скрытна относительно глубоко переживаемого ею, но она умела так сердечно делиться тем из своего, что можно было открывать, — и это составляло прелесть наших с ней отношений. И вот что получалось. В доме у нас чаще бывали родные мамы, чем папы, и им как бы давалось предпочтение — уже одно то, что нас возили к нашей общей маме крестной, О.М. Шипачевой, и не возили к тете Анне Ивановне, но любить я больше любила папиных родных. Может быть, и тут сказывалось тяготение к родственным натурам. Мелкая, может быть, подробность: и мама и тетя одинаково высоко ставили поминовение усопших и заботились о нем. Но я никогда не видала в руках мамы поминанья, не слыхала, что слышала потом, о вкладах на поминовение в церкви, монастыри и частным лицам — как и добрые свои дела, мама и это творила в молчании. А тетино поминанье было мне как родное, я знала в

нем каждое имя и кому оно принадлежало. И вот почему я так хорошо знаю наших родных старшего нам поколения, вот почему я люблю и «тетеньку Лизавету Ивановну», и «ангела Наденьку», и любимую всеми Вареньку — и знаю, что папа мой завещал молиться всегда за его няню Христину.

Чем больше я вдумываюсь во все эти мелочи, тем яснее для меня выступает значение родственности или неродственности натур. Взаимное тяготение или отталкивание обусловливаются ими. Взаимно отталкиваться должны были мама с тетей во многих, по крайней мере, отношениях. Этот внутренний разлад должен был по многим причинам увеличиваться с годами. Мне придется возвращаться к нему. Я хотела только сказать, что и тогда он мной чувствовался и вносил диссонанс в мою детскую жизнь, которая по существу своему должна бы была быть безоблачной.

Было, однако, у меня более сильное страдание, которое переживают многие дети. Я определенно чувствовала себя непонятой и нелюбимой. Это была большая ошибка — и опять-таки в этом чувстве была доля правды. Я чувствовала, что я не права в своем остром иногда ощущении: я твердо знала, что меня очень любит папа, что меня любит и понимает тетя (и тут сказывалась родственность натур — недаром я была вся в папину семью); менее уверена я была относительно мамы, хотя она нередко ласкала меня, как самую младшую, называла меня Букашкой. И меня ни в чем не обижали против других детей, даже дарили мне, например, больше, чем Коле. Но, во-первых, по натуре своей я вся стремилась быть любимой и, скажу больше, быть балованной. Мне ничего не надо было, кроме сознания, что я любима больше других, — так я могу теперь определить, чего мне тогда недоставало. Не выгод баловства, но сознания, что ты любима, и связанного с этим чувства свободы и ласки в отношении к людям — вот чего мне надо было. Счастья любви и баловства — чем теперь так стараются наполнить детскую жизнь (по крайней мере, говорят об этом). Но тогда кто думал об этом? Детей любили, всех поровну, о всех одинаково заботились, детей воспитывали для будущей борьбы в жизни, закаливали их характер, не смущались тем, что им приходится переживать детские неприятности. Требовали от них труда, доставляли немного удовольствий. О «счастье детства» не думали, но верили, что дети счастливы, если окружены заботами и попечениями. Мама даже баловала нас. Нет-нет, она привозила нам

коробочки с буль-де-гомами[198] от Эйнем[199], иногда даже целый фунт конфет из той же кондитерской — в коробке бывал всегда крохотный стеклянный кувшинчик с сиропом, что нам с Колей необычайно нравилось. Мама ничего не сказала, когда мы раз вылили на себя целый флакон ее духов, съели после ухода гостя целую вазу персикового варенья. Но не этого мне надо было. Я нуждалась именно в «счастье детства» — а его у меня не было. Во всяком случае, не ошибалась в отношении к себе чужих: я не принадлежала к числу привлекательных, вызывающих улыбку детей. Слишком я была замкнута в себе, слишком дичилась. Но я знала, что, относись ко мне иначе, и я была бы иная. Я понимала отлично, что, чтобы расцвесть, нужен луч солнца. Ждала и томилась — и когда он и проглядывал, не замечала его или не умела его ловить. Многие дети делят со мной подобное страдание.

Многие дети так же, как и я, страдали и страдают от непонимания со стороны окружающих. Может быть, это неизбежно, потому что и тут действует разница в натурах, склонностях, вкусах, отношении к жизненным явлениям. Меня, например, прекрасно понимала тетя, для которой я была близкой натурой: она и не задевала меня непониманием. Меньше понимала меня мама, приписывая иногда моим действиям мотивы, мне совсем чуждые. Но мама с деликатной сдержанностью относилась к детям — в этом, может быть, заключался секрет ее несомненно сильного влияния на нас, и она сравнительно редко задевала меня. Но в постоянном конфликте оказывалась я с Анной Мартыновной. Я не осуждаю ее, так горячо мной любимую в детстве, и тогда ее несправедливое отношение не колебало во мне чувства глубокой привязанности к ней. Я отлично понимаю, что была я девочкой трудной, со многими недостатками, капризная, говорили тогда, нервная, сказали бы теперь, непривлекательная в своей замкнутости, с отсутствием детской откровенности: к тому же я должна была особенно невыгодно выделяться по сравнению с Колей — этим золотым сердцем, этой чистой душой, женственно-нежной и любящей.

5 (18) VII 1919

Да и бывали случаи, когда взрослым трудно было и понять без соответствующих объяснений. Вот примеры. Мама, смеясь, рассказывала мне, какие несообразные подарки я делала в детстве: это были все предметы незначительные, ничего не стоящие, — и из этого выводили за-

ключение, что я — жадная, не делюсь ценным. Так я принесла раз нашей экономке в дар две цельных скорлупки от грецкого ореха и белую каменную пуговку, сказав ей: «Когда вам станет скучно, перекатывайте пуговку из скорлупки в скорлупку». Я, и взрослая, молча выслушивала этот повторяемый рассказ, не объясняя ничего. Как бы я могла объяснить, что скорлупки от грецких орехов имели для меня и не в таком раннем детстве неизъяснимую привлекательную прелесть и формой, цветом, мелким на них рисунком действовали на меня успокоительно; что каменная белая конусообразная пуговка была для меня в то время бо́льшим сокровищем, чем, например, дорогая кукла Маргарита с льняными волосами и закрывающимися глазами, с которой я положительно не знала, что делать. Так что мой ничтожный в глазах взрослых подарок был высокоценный в моих глазах. Но разве кто мог понять это без объяснений? Коля любил вспоминать следующий факт из того времени. Вот поехали кататься в Губайлово[200] — запущенное имение по Воскресенскому шоссе[201], такое мрачное и унылое с развалинами большого господского дома. Взяли нас с Колей. Как всегда, выйдя из коляски около развалин, пошли гулять. «И вдруг я вижу, что ты — я тебя так вот вижу в твоем красном с черными клетками пальто, — что ты тащишь тяжелый кирпич. Я спросил тебя, куда ты его тащишь, а ты ответила, что кирпич этот лежал далеко от других, и что ему скучно одному, и что ты его несешь поближе в другим». И Коля, вспоминая это, говорил, что он тогда мысленно про себя подумал: как это постоянно в ущерб мне восхваляют его доброту, а он не догадался оказать такое благодеяние одинокому кирпичу. Но разве я поделилась бы этими «добрыми» чувствами с кем-нибудь, кроме моего дорогого друга и брата Коли, который меня понимал с полуслова или без слов. Я таила их в сердце, как многое другое хорошее. А разве можно было обижаться, что не видел затаиваемого?

Другие черты и черточки моего характера, очевидно, справедливо, по крайней мере отчасти, вызывали отрицательное ко мне отношение со стороны Анны Мартыновны — не могла же она с ее большим педагогическим чутьем в такой мере ошибаться? Так, например, мне было трудно просить прощенье, что так легко бывало для Коли. Она видела в этом упорство и гордость, не замечая, какое мне самой доставляло страдание невозможность вымолвить просьбу о прощении, когда вся душа уже раскаивалась и просила прощения. Она не раз наставительно говорила мне: «Кто не желает гнуться, тот должен сломиться. И вы сломитесь, Вера». Она вообще придавала большое значение моему упорству — а я

думаю, его во мне не было. Только реагировала я больше всегда на ласку, просьбу, вразумление, чем на необъясненное приказание: «Вы должны», — а того, что я не понимала, что мне казалось неприемлемым, я и гораздо позднее отказывалась исполнять. Она боролась с этим предполагаемым упорством и бывала несправедлива. Я это сознавала иногда, но, любя ее, прощала. Она боролась и с другими моими недостатками, которые я не сознавала в себе. Так, наверное, она предполагала, что я много думаю о себе, — определенно скажу, этого не было, и чего мне недоставало в детстве — это были поощрения, похвалы. Анна Мартыновна же всячески старалась меня принизить в моих собственных глазах. То она повторяла мне, как я уже писала, афоризм о дурных качествах рыженьких, то уличала в недобрых движениях души перед лицом просящих милостыню нищих — а я мучительно страдала за них в душе. То она напоминала мне текст о тех, кто ни холоден, ни горяч, — и я чувствовала на себе все тяготение слов: «И Я изблеву его вон»[202]. Могла ли я быть преисполнена самомнением, когда про себя с горячей верой не раз повторяла: «Так, Господи, но и псы подбирают крошки, падающие со стола господ». Грешной и ничтожной в глазах Господних всем сердцем чувствовала я себя.

7 (20) VII 1919

Не знаю совершенно, почему Анна Мартыновна сочла своим долгом — а иначе быть не могло — убедить меня, что я некрасива. Насколько мне помнится, я вопросом о своей наружности не задавалась или, по крайней мере, мало им интересовалась. Но вот, я помню, она поставила меня перед зеркалом в детской и стала беспощадно рассматривать меня вслух — и я слепо уверовала, что я очень дурна собой. Осталось мне в памяти: «Посмотрите, и плечо у вас одно выше другого». Это была уже полнейшая неправда: я была вся пряменькая, — но в этот недостаток, который я никак не усматривала в зеркале, я уверовала. Помню то чувство грусти, которое осталось у меня после такого осмотра, — оно чем-то принижало меня. Плохое дело сделала она, сама того, конечно, не зная.

8 (21) VII 1919

На долгие годы я сохранила тягостную неуверенность, которую дает сознание своей некрасивости. Много лет спустя, очень много, я как-то сказала дяде Павлу Харитоновичу: «Я ведь маленькая была некрасива». Он задумался в недоумении, как будто ему надо было вспомнить, и потом

сказал: «Что ты? Не помню — ты была такая миленькая». Если бы кто-нибудь тогда с такой же любовью сказал мне, что я миленькая, если бы кто-нибудь в минуты, когда я так горестно ощущала неуверенность, ласково объяснил мне, что ребенок не может быть неприятен некрасивостью, что ребенок всегда мил, что даже узкие, худые плечики, тоненькие ручки в нем милы, тот сделал бы мне добро. Но никто этого мне не сказал тогда, наверное потому, что не знал, что это было мне нужно. Ведь и тут, как во многом другом, я молчала и одна с собой переживала то, от чего бывало очень больно душе.

В эту пору, смело повторю, счастливого моего детства я страдала еще от одного: от отсутствия товарищей-детей. Рано определяются вкусы и склонности — и рано я почувствовала в себе стремление к общению с людьми и стремление узнать, сказала бы я теперь, жизнь окружающей меня сферы, расширить мой жизненный кругозор. Мы же видели так мало. Во-первых, детей тогдашнее воспитание держало вдали от быстрой смены впечатлений. Во-вторых, знакомых у мамы с папой, в сущности, было немного. Что же касается до знакомства с детьми, то мама сознательно отдаляла его от нас в течение долгого времени. А вся моя душа жаждала детей — для игр, для совместных разговоров. Говорили, что мы «дружны» с Колей. Этого мало было сказать: мы просто жили одной жизнью. Домашний наш врач, Константин Игнатович Володьзко, всегда улыбался на нас с Колей, когда мы приходили здороваться, и называл нас «неразлучниками». Разлучи нас тогда, я бы, кажется, захирела от тоски. Но такое чувство к Коле не мешало мне желать и других товарищей. И чем больше, мне казалось, тем лучше. Читая книги, больше французские и немецкие, я рано начала вдумываться в детские характеры, рано начала сочинять их сама. И долгое время мне пришлось этими созданиями моей фантазии, созданными по книжным образцам, заменить живых милых товарищей.

Мы, однако, росли вовсе без детского общества. Этим милым моим товарищам раннего моего детства и окружающей их обстановке мне хотелось бы посвятить несколько страниц.

И прежде всего двум милым образам, только мелькнувшим тогда в моей жизни, — позднее гораздо мы сделались «друзьями» — Кате и Коле Щекиным. Архангельское. Анна Мартыновна, держа нас с Колей за руки, — мы еще очень малы, — под вечер вышла с нами немного погулять. Дошли до арки по дороге к церкви. И тут нам навстречу попалась

няня с двумя детьми, тоже девочкой и мальчиком, еще меньше нас. И у мальчика, и у девочки было по букетику полевых цветов в руке. «Дай мне цветок», — потянулась к девочке Анна Мартыновна, ласково протягивая вперед руку. Ни слова не говоря, девочка крепче зажала в руку цветы и схватилась за нянино платье. Но тут же с обворожительной улыбкой мальчик сорвал в своем букетике желтый цветочек лютика и подал его Анне Мартыновне. Девочка стояла по-прежнему с непримиримым видом: «не подходи ко мне», а мальчик приветливо улыбался. Точно они разыгрывали наши роли с Колей. Анна Мартыновна, вернувшись домой, рассказала про «милого» мальчика и неприветливую девочку. Оказалось, мама знает этих детей: это — Катя и Коля, дети нашей дачной соседки Александры Львовны Щекиной, с которой мама знакома. Несколько дней спустя мимо нашей дачи проходит няня, держа за руку Катю. На Кате соломенная шляпа с широкими полями. Мама моя, сидевшая на террасе, останавливает няню, спускается к девочке, лаская ее, говорит: «Настоящий ты подсолнечник». В слезах и обиде возвращается домой девочка: «Не буду надевать этой шляпы: не хочу быть подсолнечником!» Происходит бурная сцена. Молодая мать сердится. «Ты ее будешь носить!» — «Не буду!» — «Я тебе не куплю другой!» И каждая осталась при своем: девочка за все лето пеклась на солнце, но не надевала шляпы-подсолнуха. Капризная, своевольная, она была баловнем матери. Александра Львовна часто жаловалась маме, что она не умеет настоять на своем. Я не помню, чтобы мы часто виделись летом. Может быть, Анна Мартыновна вынесла такое невыгодное впечатление о характере Кати, что избегала нашего сближения. Но вот раз зимой Катю привезли ко мне в гости. Событие! Гостья ко мне! Я вся взволновалась, обрадовалась, но и сжалась моментально. А в другую входила с неулыбающимся лицом маленькая бледная девочка в таком нарядном платье, в каких, по моим представлениям, бывали только девочки на кондитерских и аптекарских коробках. Эта девочка показалась мне совершенно чуждой. Может быть, она дичилась, как и я. Я положительно не знала, что мне делать с ней, и она не знала, что делать со мной.

9 (22) VII 1919

Взрослые пришли к нам на помощь, старались заставить нас играть. Вытащили мою куклу, с которой я не играла, вытащили кукольную карету, которою кто-то думал осчастливить меня, — а она казалась мне

ни на что не пригодной. Ласково обращались к девочке — она отвечала односложно, по-прежнему не улыбаясь. Об одном позабыли спросить: любит ли она играть в куклы. Как раз она была к ним одинаково со мной равнодушна. Но тут в качестве гостьи и благовоспитанной девочки она сочла долгом поиграть. Стала сажать мою куклу в карету — и вдруг сломала дверку. Она сконфузилась, а я — я ужасно обрадовалась: чужими руками была испорчена ненужная и нелюбимая игрушка! Точно лед сломался между нами — и я заговорила с ней. Она начала было отвечать мне, тоже оживившись. Но тут как раз пришли звать ее: ее мама, приехавшая с ней, собиралась уезжать. Мелькнувший образ! В течение ряда лет мы не видались ни с Катей, ни с Колей Щекиными.

12 (25) VII 1919

Естественными и ближайшими товарищами детства нашими должны бы были быть наши младшие двоюродные сестры, однолетки с нами, Надя и Настя Милютины. Но мы видались с ними редко. Мы жили далеко друг от друга, во-первых. А во-вторых, обстановка и строй их жизни уже тогда разнились сильно от наших. Это отдаляло наши обе семьи все больше и больше, пока не дошло дело до полного их разрыва. Но в раннем детстве мы все же бывали у них в гостях, и неизгладимое впечатление оставили мне эти посещения. Прежде всего несколько слов о семье, в которой жили Надя с Настей.

Надя и Настя были младшими дочерьми от второго брака Николая Михайловича Милютина, старшего брата мамы. Николай Михайлович скончался, оставив семерых сирот: Александру, Ивана, Елизавету, Михаила, Сергея, Надежду и Анастасию. Всю эту большую семью, оставшуюся без средств, взял к себе в дом и на свое попечение наш дядя Иван Григорьевич Шипачев. Он был женат на старшей сестре нашей мамы — Ольге Михайловне. Он женился на ней, когда она была 18-летней вдовой, и до конца жизни боготворил ее. Брак их был бездетный — а он так любил детей. Всю эту любовь и нежность к детям, которая была ему присуща, он обратил на сирот Николая Михайловича.

Он был человек большого любвеобильного сердца, творящего широко дела любви. Не перечислить все добро, которое он сделал во всю свою долгую жизнь делом, советом, денежной и иной помощью, явно и скрыто от всех. Он по природе принадлежал к числу избранных, именуемых

«милостливыми». Он творил добро как христианин, не ожидая себе за это славы, не озираясь на людей. Но была в нем и общественная жилка. Он принимал участие в общественной благотворительности (между прочим, в Приюте для детей сосланных на поселение[203]), представлялся Государыне Марии Федоровне, и это, и получаемые им ордена радовали его, в противоположность нашей семье, где мало придавали значения внешним знакам отличия.

Он был сибиряк родом и никогда не прерывал сношений с родной Сибирью. Постоянно живали у него мальчики-сибиряки, отправленные родителями в Москву учиться. Постоянно среди гостей его появлялись заезжие сибиряки. Но сам он не собрался навестить родные края. Как он приехал в Москву, как основался в ней, я не знаю. Я помню его уже очень немолодым, составившим себе положение. У него была крупная чайная торговля на углу Богоявленского переулка. Я слышала, он торговал так, что признавал только свое честное купеческое слово. И этому слову верили: оно значило больше векселя. Он пользовался в «городе» глубочайшим уважением — и надо было видеть эти детски чистые глаза на немолодом лице, само это лицо со спокойным и достойным выражением, чтобы понять, что вся его жизнь была достойная и что совесть его не могла укорить его не только в неправом поступке, но и в неправом слове.

Несмотря на его чрезвычайную доброту, он был деспотичен в своей семье. И это зависело не столько от его характера, сколько от тогдашнего быта. Он был хозяином, кормильцем, заботником — и потому главой семьи. Всем кругом это казалось естественным. И, когда он возвращался «из города» расстроенным, не в духе, усталым, это тягостью ложилось на всех. Все держались тихо, обед проходил в томительном молчании. Отвечая на его немногословные вопросы, боялись сказать слово невпопад. Но, принимая это как должное, он сам тяготился производимым впечатлением и старался скорее выйти из мрачно на него и на других действующего настроения. Он переламывал себя, принуждал себя переходить на ласковую речь. А тут к нему подсылали его любимицу, Настю, которую он звал «Настас», или говорили Наде с Настей, чтобы они попросили его поиграть с ними в карты. Это было его отдыхом и удовольствием.

Говорят, раньше с ним было труднее. Но, как всякий недюжинный человек, он рос нравственно всю жизнь. Многому тут содействовало

благотворное влияние Ольги Михайловны. Она обладала большим умом, большим сердцем и сильной волей. Красавица собой, она пользовалась не внешним орудием, но именно внутренней своей силой. Она умела вовремя смолчать, но показать свое неодобрение, вовремя дать умный совет, вовремя настроить на доброе дело. По тому, как она молчаливо и сдержанно держала себя, никто бы не предположил об ее огромном влиянии на мужа. Но при первом же взгляде на нее можно было вынести впечатление о непоколебимой в ней силе воли, которую никто бы не смог сломить. Держалась она «как царица», с громадным внутренним достоинством при полном отсутствии самомнения. Вся она была хорошо гордая. Казалось, эта гордая душа ее покоробилась бы брезгливо при прикосновении к ней чего-нибудь темного, дурного — и она, правдивая, не скрыла бы этого. В ее присутствии стыдно было иметь дурные мысли — а лгать перед ней было тоже невозможно.

Она была поразительно красива — и вот чья красота мне нравилась. Рост и сложение ее были великолепны, так же как осанка и движения. Сознавая себя красивой — ее в глаза называли красавицей и в церковь ходили смотреть на нее, и поклонников-рыцарей было у нее достаточно, — она не унижала своей царственно-покойной красоты кокетством. Поразительно, как эта молодая женщина, боготворимая первым мужем, боготворимая вторым — стариком перед нею, никогда не поддавалась на естественное в молодости и при ее красоте искушение принимать ухаживание. Недосягаемая была она. И потому, может быть, вся — покой и величие. Прекрасна была ее улыбка, тоже сдержанная, никогда вполне не расцветающая на красиво очерченных губах, но дополнявшаяся немного смешливым, тоже сдержанным блеском очень светло-карих глаз под черными ресницами. Волосы у нее были редкого иссиня-черного цвета, цвет лица очень белый с нежным румянцем.

Ее в семье родных все любили, ею гордились, ее уважали и верили ее правде. Ее уму, ее воле подчинялись. Она властвовала не только над мужем. Но при всей доброте, выражающейся не в словах, но в деятельной помощи, нелицеприятном совете, характер ее был тяжелый. Она не допускала близости с собой, не располагала к ласке. Своим недовольством она подавляла: она могла молчать по три дня, изводя этим семейных. Она не сердилась, но не могла побороть в себе неприятного чувства. Насколько легче было всем жить с Иваном Григорьевичем.

16 VIII 1919

Насколько мне представляется, им с самого начала супружеской жизни почти что не пришлось жить вдвоем. Рано к ним в дом приселилась жить сестра Ольги Михайловны — Серафима Михайловна. В противоположность своим сестрам, Серафима Михайловна не отличалась красотой; она только поражала удивительной белизной и тониной кожи. Да, наверное, пленяло ее покойное и замечательно доброе лицо. Она вышла замуж рано и, как казалось, удачно — за Дмитрия Андреевича Бушкова, из купцов города Мологи[204]. Дом Бушковых был в Мологе, как говорили тогда, «из первых». Молодой муж ей «нравился» — под этим словом в то время целомудренно прикрывали гораздо более глубокое чувство. Помню, уже старушкой за 70 лет, тетя Серафима Михайловна вынула раз при мне из старинного своего комода дрожащими старческими руками портрет-миниатюру Дмитрия Андреевича — и с какой нежностью и любовью глядела она на тонкое, одухотворенное, незаурядное молодое лицо, изображенное на нем. Судьба не судила ей долгой жизни с любимым человеком: Дмитрий Андреевич скончался [через] года полтора приблизительно после свадьбы. По условиям быта того времени молодая вдова не могла жить одиноко, она должна была войти в состав какой-нибудь родной семьи. Ольга Михайловна и Иван Григорьевич предложили ей свой дом. Сестры — они были от одной матери — сердечно любили друг друга, но по условиям быта опять-таки Серафиме Михайловне пришлось занять в доме «братца» подчиненное положение. Она взяла на себя ведение всего хозяйства, а позднее, когда в дом взяли детей Милютиных, и непосредственный надзор за детьми. Трудное могло создаться положение, но люди того времени лучше нашего поколения выходили из таких жизненных комбинаций. Тетя Серафима Михайловна вкладывала в свое дело так много деятельной любви, так она любила сестру, что, наверное, это облегчало ей шероховатости жизни. Ольга Михайловна вниманием и заботой выделяла «Сарочку», «Сарушу» — и сдержанной лаской и благодарностью поддерживала ее. Иван Григорьевич, который в ласковые минуты называл ее «тетя», всем своим обращением показывал перед своими и чужими, с каким глубоким уважением он относится к ней. Никто бы никогда не посмел показать ей, что она не на равной ноге с хозяевами. Кто был принят в этот дом, должен был быть почтителен и к ней. И она держалась с таким достоинством, не покидавшим ее во всю ее долгую жизнь.

Труд ее был огромный. Кроме своей семьи в доме жило всегда несколько приказчиков, один или два мальчика-сибиряка. Надо было смотреть за всей этой молодежью, давать ей возможность веселиться и не позволять перешагнуть границы. Позднее много вспоминали и смеялись на принимавшиеся ею меры предосторожности и против чрезмерного сближения молодежи, на все препоны, ставившиеся ею на пути самых невинных удовольствий. Но и в это она вкладывала так много любви и силы убеждения, что так надо, что ей подчинялись. «Тетечка не позволит», «тетечка рассердится» — как будто она могла сердиться по-настоящему — разве сделает взволнованное серьезное лицо да станет говорить на «вы». И ее слушали беспрекословно. А сколько пережито ею детских заболеваний с вносимыми ими тревогами, с бессонными ночами. Сама страдая чувствительными недугами, она в заботах о других больных умела забывать о себе. И, наконец, хозяйство — оно целиком лежало на ее руках. Ольга Михайловна только распоряжалась. Закупка продуктов, кухня, подвалы, погреб, варка варенья, заготовки лежали на ней. Домашнее хозяйство в те времена было куда сложнее. Оно требовало умелую прислугу, но и опытную и деятельную руководительницу.

Дом был полная чаша. Дом был широко гостеприимен. Принять и не напоить чаем, не пригласить к завтраку или обеду было невозможно. И отклонить приглашение, посидеть в гостиной и не перейти потом в столовую было бы обидой для хозяев. Кроме того, дом Ивана Григорьевича и Ольги Михайловны был таков, где не делали никакого различия между гостями по их общественному положению и состоянию. Богатые купцы и фабриканты, приходский батюшка с семьей, обедневшая вдова и богатая дама в бриллиантах с разряженными дочками принимались на равной ноге. Всем были одинаковые почет, привет и внимание. Вот почему в этом доме бывало приятно бывать. Приветить, угостить, «занять» гостей было заботой всех семейных, так что и в приеме гостей тетя Серафима Михайловна принимала большое участие. И, когда не было дома Ольги Михайловны или когда Ольга Михайловна бывала больна и не могла выйти к гостям, она становилась на ее место.

В этот дом — жили они в своем особняке в Малом Власьевском переулке — нас с Колей возили или днем, в гости к Наде с Настей, или же по вечерам, когда собирались взрослые и много-много детей, например, на елки. Иван Григорьевич очень любил детей, и кажется, чем больше их было собрано в вечер, тем больше он сиял довольством и

доброй веселостью. Скажу прежде всего несколько слов о дневных посещениях. Вот нас принарядили и погрузили в санки — меня в клетчатом салопчике посадили между Анной Мартыновной и Колей. И вот покатили санки в далекий путь. Какое удовольствие кататься — и так хорошо ехать и дышать морозным воздухом и разговаривать на морозе, чего не боится Анна Мартыновна. Но вот мы переехали Москву-реку, завернули в знакомые переулки — все ближе и ближе к цели, — и делается у меня мучительно стесненно в груди: сейчас придется быть на людях, чувствовать себя связанной, сама не своей. Фатально каждый шаг лошади приближает нас к неизбежному: вот завернули из Гагаринского — и тут же первый домик справа. Мы стоим у знакомого крыльца, дергаем звонок — и он откликается нам из двери знакомым громким металлическим чистым звуком. Сердце мое дрожит, дрожит. Не проходит и двух минут, как за дверью слышится звук бегущих ног — в этом быстром отклике на звонок прислуги чувствуется тоже ожидающий хозяйский привет, вот дверь раскрылась, с приветными словами нас встречают две горничные девушки — необычайно толстая Фиона и необычайно худая Катя. Эта пара жила в доме бесконечное количество лет и после описываемого мной времени, и дорога она мне своим приветом, добротой, порядочностью. Они почти всегда отпирали вдвоем, всегда умели, помогая разоблачаться, быть не только вежливыми, но и ласковыми, сказать два-три ласковых слова. Пока в этой маленькой передней нами завладели Фиона с Катей, блистающие изумительно чистыми фартуками без оборок и кружев, хозяева уже ждут нас. Встреча гостей происходит в доме у «дядюшки» — так все племянники и племянницы называли Ивана Григорьевича, я бы сказала, по особому церемониалу, — и он опять-таки доказывал, каким внимательным почетом пользовался тут посетитель. Кто бы ни приходил, хотя бы мы, маленькие дети с плохо объяснявшейся по-русски гувернанткой, у двери, ведущей из передней в залу и всегда открытой, стояли с одной стороны дядюшка, с другой — тетя Серафима Михайловна и ждали, пока гость не снимет верхнего платья и не «поправится» перед зеркалом. Затем гость подходил сначала к дядюшке, потом к тете Серафиме Михайловне. Ему давали место пройти в залу, и тут, в нескольких шагах от входа, стояла, ожидая гостя, Ольга Михайловна. Если приезжали дети, в зале же их обязаны были встретить Надя с Настей. Если приезжали взрослые, они скромно удалялись в глубь комнаты и ждали, когда прибывший поздо-

ровается с ними. Так вот и мы подпадаем этому церемониалу. Дядюшка целует меня и говорит что-то смешливое, ласковое — но я не умею ответить ему, и меня больно колет его коротко подстриженная седая борода. Немного увереннее я чувствую себя от поцелуя доброй, но немногоречивой тети. Но вот еще мучение: прямая, красивая, стоит в зале мама крестная — Ольга Михайловна была наша общая крестная мать, — рука с изумрудным перстнем у нее спущена — и по церемониалу, на этот раз наложенному на нас, должно ее поцеловать. И мне всегда казалось: не любит и она этого официального признака почета, хотя и подчинялась ему, — всегда ее рука стыдливо трепетала при этом, и как будто она хотела отнять ее. Редко кто мне наружностью так нравился, как мама крестная. Редко, кто всем своим внешним видом давал впечатление внутреннего благородства. Но я никогда, ни в раннем детстве, ни гораздо позднее, не умела подойти к ней. Ее сдержанность вызывала во мне ответную сдержанность — как будто неприятно было раскрывать свою собственную ее слишком проницательному внутреннему зрению. И так она ушла из моей жизни — и я не воспользовалась возможной близостью с таким незаурядно прекрасным человеком. Лена была счастливее: она смелее, проще подходила к ней, и мама крестная, как я говорила себе, ее «любила», а меня нет.

Церемониал не кончен. Гостей, кто бы они ни были, ведут в гостиную. Надо тут посидеть до чая. Тетя исчезла уже хлопотать, а мама крестная уселась на свое место и занимает гостей. Гостиная — мебель в ней обита желтым штофом — расположена и устроена по шаблону. Гостиная следует непосредственно за залой. У внутренней стены, против трех светлых окон, стоит большой диван, и перед ним стол. Меньшие по размерам диваны стоят у поперечных стен, и перед ними меньшие столы. В простенках между окнами стоят зеркала в тяжелых рамах из полированного орехового дерева, и на подзеркальниках — малахитовые подсвечники. В уголке на среднем диване — почетное место хозяйки. Под ногами — вышитая подушка. Гостя сажают в кресло, приходящееся между двумя диванами. На диване направо от него — обычное место тети. Таким образом, она может участвовать в разговоре мамы крестной с гостем, и если, например, приехало двое гостей, она берет на свою долю, к меньшему дивану, другого. Она отдает должную дань «Оленьке», что та умеет занять всякого. Сама же она не умеет делать этого и, чувствуя себя не хозяйкой, говорит вполголоса. Дядюшка не имеет опре-

деленного места в гостиной. Он прохаживается из залы в гостиную и обратно, останавливается у окон, вступает в беседу и выступает из нее — по крайней мере, при нас — и ждет чая. (Я воображаю, что нас привезли в воскресенье, когда мы, дети, свободны от занятий, и он — дома, а не «в городе».)

Чай подан — и все направляются через залу в небольшую столовую, расположенную в другой половине дома. Немного темная, она была такая уютная. Посредине — раздвигающийся на ножках круглый стол, вокруг него стулья и кресло для мамы крестной у стены, в центральном месте. В углу — старинные часы в стоячем футляре с красивым боем, на стенах большой портрет царя Освободителя, которого высоко чтили за дарованную крестьянам свободу, портрет митрополита Филарета[205] Московского и вышитая шерстями картина — Христос и самаритянка — работы мамы крестной. Еще два столика, буфет, белая кафельная печь, срезавшая угол, — вот и вся столовая. Тесна она была для больших приемов, но в таких случаях пили чай по очереди, или мужчины пили его отдельно от дам, в соседней комнате, кабинете дядюшки. Да и вокруг круглого раздвинутого стола было все-таки место для многих. Против кресла мамы крестной — место тети Серафимы Михайловны за самоваром. Но никогда она не сядет за самовар прежде, чем займет свое место мама крестная, не сядет до того и дядюшка. Медный самовар блестит «как жар», говорили тогда. Блестят белизной хорошенькие чашки и стаканы. Чайник прикрыт вязанными девочками салфеточками. Около подноса с самоваром лежит хорошей работы серебряная ситочка на старинном хрустальном блюдце темно-красного цвета с белыми прорезами. Сухарница железная — лодочкой, покрытая тоже вязаной салфеточкой, вазы с вареньем стоят посредине стола. У каждого места — маленькие клеенчатые кружки́, на которые ставят чашку, налив чай на блюдце.

Рано, потом все больше и больше, я стала понимать, что дом дядюшки и мамы крестной по всему укладу жизни, по бытовой обстановке отличается от нашего. Одна эта столовая. У нас сервировка была тоньше и изящнее. Мама терпеть не могла и не допускала при гостях пестрых чайных скатертей, какие красовались на столе в дядюшкиной столовой и которые так нравились детям потому, что на изнанке имелся тот же узор, что и на лице, только обратной расцветки. Вязаных салфеток мама тоже не признавала, а клеенчатых кружев и подавно. Столовое белье, салфеточки у чашек были у нас всегда тонкого камчатного полотна[206]. И никто у нас в доме не пил чай с блюдца.

Это были мелочи, которые, однако, улавливало детское внимание. Но помимо мелочей было и многое другое в жизни, во взглядах, в разговорах, манере держаться. Семья Ивана Григорьевича держалась старины, традиции и не хотела вовсе вносить новое в уклад жизни. Мама рвалась вперед, к более утонченным формам жизни. Она преобразовывала быт, среди которого жила, по другим принципам вела воспитание детей, иначе располагала свой день, досуг и часы труда. Ей приходилось при этом выдерживать жестокую борьбу с мнением и осуждением ближайших родных. У нее хватило силы воли пойти своей дорогой. И это мы рано начали понимать.

Мы сидим за чайным столом тихо и чинно, слева от мамы крестной. Почти против нас сидит дядюшка с двумя девочками. Это две маленькие, скромные, гладко причесанные девочки, сидящие прямо, так же как и мы с Колей молчащие за столом, пока не заговорят с нами взрослые. Они приветливо поглядывают на нас через стол, но разговора между нами при взрослых не может быть. Мучительное чувство за чаепитием: нет-нет кто-либо из больших обращается к нам с вопросом, на который отвечает Коля или с трудом я. На другом конце стола происходит аналогичное. Дядюшка то и дело обращается с шуточной речью к Наде с Настей — и замирает робкая Надя, до слез, тогда как отвечает спокойно, но смело бойкая Настя. Дядюшка отворачивается от Нади, ласково шутит со своим «Настасом», а маленькая девочка с маленьким носиком и круглыми глазами покойно отвечает, вызывая одобрительную улыбку на лицах мамы крестной и тети. Насколько мне ближе Надя с ее добрым и страдающим от робости лицом.

Чаепитие кончилось, то есть наше детское. Мы поблагодарили — и свободны. Старшие остались в столовой, а мы вчетвером — в зале, и свободно можно дышать, и началось удовольствие от посещения. Вот теперь мы поиграем.

Я очень любила Надю и не любила Настю. Я любила Надю за то свойство, которое во всю жизнь казалось мне наиболее ценным и которым лично я не обладала: бесконечную доброту, идущую из самого сердца. Я любила ее и за то, что у нас сложилось убеждение, что ее дядюшка «любит» меньше, чем Настю. По крайней мере, внешне он давал заметно предпочтение Насте. И никогда Надя на это не обижалась, не завидовала сестре; надо отдать справедливость Насте, что и она не пользовалась в ущерб сестре своим привилегированным положением. Я не

любила Настю за то, что в ней, казалось, было отсутствие доброты или скорее была доброта разумная (каким чудным человеком она проявила себя, однако, в течение долгой и многотрудной жизни). Я не любила ее за то, что она была, что называется, «занозой». Вот и сейчас можно было ожидать, выйдя из столовой в залу, что она непременно скажет: «Скажи-ка: орел», — зная, что мы с Колей плохо выговариваем букву «р». И был у нее короткий сухой смешок, который я не любила, хотя и не боялась его, будучи сама задирой похуже ее. Но, как бы то ни было, нам приятно было с Надей и Настей, хотя полной близости быть между нами не могло. Уже очень рано стала сказываться разница получаемого нами воспитания. Мы с Колей были более развиты, и интересов у нас с ним было больше, чем у них, и шире был наш кругозор.

Приятно было с ними потому, что уже с этих лет Надю с Настей приучали быть хозяйками: они должны были заботиться о том, чтобы гостям было приятно, должны были уступать им, занимать их. И они умели это делать. За исключением того, на что они непреклонно говорили: «Мамочка не любит» или «Тетечка не позволит», они исполняли все желания маленьких своих гостей. Игрушек и у них, как и у нас, было мало, но интересного было достаточно на наш неизбалованный вкус, чтобы нам пребывание у них могло доставить удовольствие. Прежде всего приятна нам была при однообразии жизни сама перемена обстановки. Вот мы в зале, оклеенной по моде того времени белыми обоями, с выкрашенными белой клеевой краской дверьми. Мы всякий раз тотчас же бежим к подзеркальнику в пространстве между двумя окнами смотреть на часы, стоящие на них, белые мраморные, показывающие, между прочим, фазы Луны, и всякий раз выслушиваем с одинаковой охотой хорошо нам известные объяснения Нади и Насти. Приятно посидеть под большими широколиственными латаниями[207], стоящими у окон на деревянных, окрашенных в зеленый цвет тумбах. Интересно лишний раз указать друг другу, что форма окон — необычная: окна фасадной стороны дома двойные, округлые в верхнем конце. Затем переходим в гостиную, которая в отсутствие взрослых стала сразу уютней, осматриваем малахитовые подсвечники, поддонники с яркими шерстяными цветами — и проходим в угловую. Я любила угловую. Она была собственно спальней дядюшки и мамы крестной. Но их кровать была отделена высокой перегородкой из натянутой на деревянную раму красной материи, а та часть, которая освещалась двойным окном, представляла то, что

мы назвали бы будуаром. Комната была маленькая, но теплая и уютная. У стены против двери в гостиную стоял мягкий диван, над которым висело зеркало и семейные портреты. На диване — подушки, вышитые мамой крестной, — целые картины, и эти подушки так занимали нас. У окна — мягкие кресла, два стола, на которых складывалась «Всемирная иллюстрация»[208], — вот и вся угловая. Мы наглядимся «Всемирной иллюстрации», поговорим и долго не усидим. Я зову наверх в детскую. Там меня привлекали обои, на которых в ряде картин был изображен сбор винограда. Чтобы разнообразить путь — мне все хочется нового, — мы не возвращаемся через гостиную, но из спальни проходим в образную — комнату, где стоит большой киот, перед которым и утром и вечером молятся и дядюшка и мама крестная. С особой серьезной внимательностью проходят по этой комнате девочки, я бы сказала, с особым уважением. Через коридор проходим мимо буфета, блистающего чистотой, — сюда детей не пускают, — и вот мы на лестнице, бежим и попадаем в светлую, но с низким потолком детскую. Наглядимся на сбор винограда и заглянем в соседнюю комнату — тети Серафимы Михайловны, маленькую, тепло вытопленную и уютную. Тут нас более всего интересовал большой, масляными красками писанный портрет деда нашего, Михаила Андреевича Милютина. Но мы не задерживаемся наверху — надо еще поиграть в зале в «короли» или в «барышню из Питера», и так это весело: «“да” и “нет” не говорите, черного с белым не покупайте». Настя прекрасно сбивает или смешит, когда по условиям игры запрещено смеяться. Старшие перешли в гостиную. Скоро пора уезжать. Надо сначала дать детям остыть. Потом начинается прощанье, появляются снова Фиона с Катей, хозяева, стоя в дверях залы, присутствуют при нашем одевании — и мы отбываем наконец с сознанием приятно проведенных часов. Жаль, что они повторяются не часто.

Вечера у Ивана Григорьевича и Ольги Михайловны бывали многолюдные и всегда оживленные. Такое у меня от них осталось впечатление. Мне было на них всегда весело. Освещенные комнаты, смех и разговор, восклицания за карточными столами в кабинете у дядюшки, много довольных, улыбающихся лиц взрослых — и много-много детей. Иван Григорьевич любил детей, любил собирать их и веселить. На устраиваемых им елках собиралось по нескольку десятков детей. И детям должно было быть весело — так же, как приятно должно было быть каждому гостю от привета и внимания хозяев. В зале устраивались игры, в которых

принимала участие иногда и взрослая и полувзрослая молодежь, — и затем танцы. Танцевали, по крайней мере кадриль, все. Зала была небольшая, но как-то умещались все. Пары размещались по четырем стенам, и когда исполняли фигуру приходившиеся визави, другая смена ждала своей очереди. Танец задерживался, но был более оживлен: в перерывах можно было разговаривать со своим кавалером или дамой. И так весело было ждать своей очереди. Особенное оживление вносил в танцы Иван Григорьевич своим участием в них. Он танцевал только с детьми, на каждую кадриль выбирая по очереди какую-нибудь девочку, — и это была для нее честь и удовольствие. Старик, он танцевал необычайно живо, весело, что-то говорил, от чего улыбалась его маленькая дама, приободрял восклицаниями своих маленьких визави. Иногда не долетали его слова, но слушать его голос и видеть его было весело — и все начинали сиять улыбками. Не только дети. Взрослые становились у дверей в гостиную и радостно смотрели на него. У другой двери в залу, ведущей в коридор, толпилась прислуга в белоснежных фартуках и радовалась на общее веселье. Самым выдающимся моментом в кадрили была пятая фигура. Все ждали ее, зная наперед, что будет. Дядюшка направлялся за своей дамой, шассируя[209] совсем по-особенному, выделывая ловко необычные па, какие-то смешные, но не лишенные изящества, — такие, каких никто в зале делать не мог, но от которых делалось весело. И вся зала, и зрители в дверях громко изъявляли свой восторг и одобрение — и не самим па, а той доброте, с какой он примешивал свое оживление к детской радости. Танцы и игры, сиденье в угловой, прохаживание по зале, чтобы остыть, разговоры с однолетками — и угощение. Угощение — по-старинному, как у нас в доме уже не подавали: на больших подносах. Как сейчас помню: поставят несколько больших подносов, и на одних из них — нарезанные пополам апельсины, на других — красиво разложенные на кучки орехи разных родов, чернослив, мятные пряники, разноцветный мармелад и белые и розовые палочки сухой пастилы. Прелестное зрительное впечатление прежде всего. Добавьте, что всего тут в изобилии и что хозяевам — лучшая радость, чтобы угощение исчезало. «Что же ты не берешь? Бери, бери», — со своей деловитой манерой говорить сколько раз скажет Настя. И ту же формулу, подойдя, повторит тетя Серафима Михайловна и непременно подложит чего-нибудь на опустошенное блюдечко. Этого мало. Были гостьи, которые неизменно уносили с собой домой «гостинцы» для себя или остав-

шихся дома детей. Когда мы поднимались наверх в детскую для того, чтобы отдохнуть или просто переменить местопребывание, мы видали узелки с «гостинцами», положенные около верхнего платья той или другой посетительницы (верхняя одежда всех гостей не умещалась в передней и частью относилась в детскую). Было что-то милое и уютное в этих узелках, в той сердечности, с которой вспоминали об оставшихся дома. Вечер приходил к концу — это можно было узнать по окончанию карточной игры. Мужчины выходили из кабинета, по большей части с довольным видом, как будто кончили хорошее или важное дело, и шли в гостиную. Их густые голоса смешивались с дамскими, внося оживление. А тетя принималась хлопотать — и удивительно скоро и стройно кабинет освобождали от ломберных столов, и появлялся стол, уставленный закусками. Просили «закусить» — и опять были все радушны и гостеприимны. Детьми специально занималась тетя — и надо было большое уменье, чтобы оделить каждого маленького гостя всеми благами: икрой, сыром из дичи, разными видами колбас (копченой она не давала детям), швейцарским сыром и честером[210], так, чтобы было не мало и в то же время не шло в ущерб его здоровью. Но до этой части вечера я часто не доживала. Рано стала я страдать мучительными мигренями. От жары и непривычных оживления и шума у меня разбаливалась голова уже в середине вечера. Меня отводили в детскую, укладывали на мягкую и теплую кровать одной из девочек, и я лежала тут в полубессознательном состоянии, страдая от долетавшего снизу шума. И вот сквозь это бессознательное состояние я вижу наклоненные над собой ласковые, заботливые лица — то тетя Серафима Михайловна подойдет, то толстая Фиона, то худая Катя. И какую благодарность за это я чувствовала к ним!

Прислуга — она была такая же ласковая, как хозяева, готовая всегда все сделать, чтобы было хорошо, удобно, приятно. Хотя, как и у нас дома, и тут не допускалась лишняя близость с прислугой, долгие с ней разговоры, я искренне любила этих двух девушек, и мне казалось, что и они всех нас любят. Когда я видела их вместе с кухаркой и какими-то другими женщинами, помогавшими по случаю вечера, толпящихся в дверях, ведущих из залы в коридор, и смотрящих на наши игры и танцы, мне рисовалось, что все они должны радоваться нашему веселью. Я любила проходить между ними и жалела, что не умею бросить на ходу, как делала это легко Настя, какого-нибудь ласкового замечания — так сказать, душой приласкаться к ним. И вот однажды, в темном уголку

коридора я увидала незнакомую мне женщину в платочке. Она чего-то ждала, это было очевидно. «Ну вот, ты хотела», — сказала ей бывшая со мной Надя. Женщина как-то разом отделилась от стены и стремительно кинулась ко мне. Она, плача и смеясь, целовала меня, что-то говорила радостно и растроганно. «Ты не знаешь, кто это? — спросила Надя. — Это твоя кормилица». Я ее не знала. Позднее мне стало известно, что она ушла из нашего дома с неприятностью и она не могла приходить к нам. И теперь, когда я дома рассказала о своей встрече, я не нашла сочувствия. А между тем вся душа моя была под обаянием этих горячих, смешанных со слезами ласк. Я чувствовала: этой женщиной я была любима. (Мне не удастся, конечно, довести своих воспоминаний до того времени, когда, будучи самостоятельной, я принимала свою кормилицу. Поэтому хочется мне тут помянуть добрым словом ее отношение ко мне, полное нежности и любви. И как сохранила она столько лет то чувство, которое питала когда-то к крохотному существу. Сидя передо мной взрослой, она могла без конца рассказывать мне об этом существе. Глубоко трогал меня всегда ее рассказ о том, как она меня отнимала от груди и что она тогда пережила, хотя говорила она больше о том, как я мучилась. Тогда я вспоминала сцену в коридоре и понимала искренность и порывистость ее объятий.)

3 XI 1919

Другой дом, где мы бывали в раннем детстве, был дом Дмитрия Петровича и Софии Сергеевны Боткиных. Я бывала в этом доме всего два года, когда мне было 7—9 лет — не считаю трех-четырех посещений его, когда я была подростком, — но дом этот влиял на меня не только непосредственно, но и косвенно через рассказы посещавших его наших взрослых, и потому я скажу несколько слов об отношениях этих взрослых к Боткиным.

Наша бабушка, Анна Ивановна Харузина, рожденная Сахарова, была в дружественных отношениях с семьей Третьяковых. На старушке Ульяне Алексеевне Третьяковой[211] лежало, между прочим, попечение о рано оставшихся сиротами внуках ее — Мазуриных. Их было трое сыновей, насколько я помню, старший, Митрофан Сергеевич Мазурин[212], принявший на себя попечение о братьях и сестрах, Алексей[213] и Константин и три дочери: Анна (позднее Алексеева)[214], София (Боткина) и Варвара (Прохорова)[215]. Бабушка Анна Ивановна гащивала в доме молодых Ма-

зуриных по просьбе «бабушки Ульяны Алексеевны», к которой все в родственных семьях относились с глубочайшим уважением, «оберегала» подрастающую молодежь. Когда моя мама, сама почти девочка, вышла замуж, ее возили к подросшим трем молоденьким Мазуриным, и эти посещения оставили в ней на всю жизнь приятное воспоминание. На диване в гостиной чинно и важно сидела бабушка Анна Ивановна в чепце, распустив по плечам турецкую шаль, иногда тут же сидела бабушка Ульяна Алексеевна, тоже в чепце и шали, а гостья с тремя молоденькими хозяйками, взявшись за руки, прохаживались взад и вперед по зале. И были у них бесхитростные, молодые и веселые разговоры, о которых мама вспоминала со светлым чувством. Потом выдвигалось угощение — большой поднос с дорогими фруктами. Являлись младшие братья, было весело, уютно, гостеприимно. Из трех сестер Мазуриных наиболее симпатичной маме была София Сергеевна. Ей было тогда около 17 лет, и дело об ее браке с Дмитрием Петровичем Боткиным было уже в ходу, но почему-то задерживалось. Она не обладала красотой черт в лице, зато при светлых волосах пленяла роскошным цветом лица. Прелестью ее была несказанная доброта. Но мама и позднее, любя и уважая Софию Сергеевну, не сблизилась с ней. Гораздо ближе к Софии Сергеевне стояла тетя Александра Ивановна. Их отношения были давнишние и крепкие, связанные совместно пережитым. Мама в тот период моей жизни, о котором я пишу, и позднее «выезжала» к Боткиным, бывала на их балах, обедах и других приемах. Тетя ездила в этот дом как близкий человек, как друг, иногда оставалась ночевать, просиживала часы в откровенной дружеской беседе. Тетя любила всю семью: Софию Сергеевну, Дмитрия Петровича, детей, их родных[216]; она любила их глубоко, как умела любить. И ей платили любовью. По-видимому, от нее не было семейных тайн — она умела их хранить от всех. София Сергеевна через ее руки делала много явного и тайного добра — в этом мы позднее могли убедиться: тетя привозила от Софии Сергеевны узлы с платьем для раздачи бедным от неизвестных, и, помню, в счетной тетрадке, сшитой самой тетей для записыванья ее расходов, была отдельная рубрика для записи расходуемых на бедных денег, выдаваемых ей для этой цели Софией Сергеевной. Таковы были отношения к Боткиным мамы и тети. Папа же не бывал у них. Это объяснялось его дружественными отношениями к семье Прохоровых. Алексей Яковлевич Прохоров был женат на Варваре Сергеевне Мазуриной, но скоро развелся с ней. Обе семьи были в

ссоре, считались взаимными обидами. Папа слишком искренне любил Алексея Яковлевича и всю его семью, чтобы не держать их сторону.

Дом Боткиных, несомненно, войдет в историю просвещенной Москвы того времени, и, наверное, нашлись люди, отметившие в своих воспоминаниях то, что они видели и встречали в этом интересном и изящном доме, где все носило отпечаток благородства чувств и стремления к внешней и внутренней красоте. Скажу только, как доходило до меня влияние этого дома через рассказы старших. Мама рассказывала меньше, но тетя — она умела передавать впечатление от виденного и слышанного. Ведь вся ее душа, стремившаяся к красоте и знанию, оживала в этой атмосфере с теми людьми, с которыми она там встречалась, беседу которых слышала. Как она наслаждалась беседами об искусстве К.Т. Солдатенкова[217], М.П. Боткина, умными речами С.П. Боткина[218], беседой Фета, рассказами Григоровича. Они как живые вставали передо мной в ее рассказах. Москва того времени увлекалась симфоническими концертами и устроившим их Н.Г. Рубинштейном. Также горячо было увлечение итальянской оперой. В доме Дмитрия Петровича Боткина были приняты Рубинштейн и итальянские певцы — и мы слышали имена Арто, Падилла, Николини[219], Нильсон[220] и других, которые бывали на их вечерах и обедах и пели у них. С каким восторгом говорили об их исполнении и тетя, и мама. Картинная галерея Дмитрия Петровича тогда уже собиралась и была довольно значительна[221]. С каким интересом следила тетя за каждым новоприобретением! И, как всегда, она делилась с нами своими впечатлениями, вкусами, слышанными взглядами. От нее мы узнали имена многих художников, сюжеты многих картин.

А теперь — непосредственное влияние этого дома. Мне было 7 лет, когда Боткины попросили привозить нас с Колей на устраиваемые ими для своих детей уроки танцев. Дети — это были два младших их сына: Петя, ровесник Коле, и Сережа, года на два моложе его, тогда как старшая дочь, Лиленька, была гораздо старше — нам она казалась «большой» или, во всяком случае, полувзрослой (ей было тогда лет 15). У меня осталось впечатление, что папа не очень желал нашего участия в этих уроках, и будто бы именно потому, что мы должны были попасть в атмосферу роскоши, которая не соответствовала жизни нашей семьи. Я не знаю, как я уловила это, но я это заметила себе, как каждое слово папы, и ехала в дом Боткиных с предубеждением. Но с первого же уро-

ка я почувствовала себя у них так хорошо, что всегда вспоминаю эти посещения со светлым и теплым чувством.

Вот настала суббота — и Лену привезли из пансиона. Как всегда, она около мамы, работающей у лампы, и рассказывает ей случившееся за неделю веселым, оживленным голосом. А мы с тетей «собираемся». Коля надевает черную бархатную курточку с белым отложным воротничком, а мягкий шелковый галстук светлой окраски ему повязывает красивым бантом мама. Такой он миленький. Себя не помню. Подают карету. У папы с мамой уже некоторое время «свои лошади», но мы, дети, ими не пользуемся почти — таково желание папы, который, как позднее передавала мне мама, боялся, что к нам привьются привычки к роскоши. «Свои лошади» — это было для нас: мама, возвращавшаяся с катанья в санях, вся оживленная, свежая с мороза и несущая с собой оживление; это был папа, перед нашими окнами навещавший лошадей, — их выводили из конюшни, и он с ладони кормил их большими, круто посоленными ломтями хлеба — и какая радость была любящими глазами смотреть в это время на него; наконец, это было редкое катанье с мамой, например, смотреть иллюминацию в царские дни[222], казавшуюся мне роскошной. И этого было мне тогда вполне довольно. Но к Боткиным стали нас отправлять в карете, потому что от нас до них было далеко и мама боялась, что мы простудимся. Итак, подают карету — ненужное, по моему мнению, мучение этот закупоренный ящик, — насколько милее быстрые извозчичьи саночки! Карета едет тихо — недаром несколько раз повторили кучеру, чтобы он вез детей осторожнее; она ныряет по тогдашним московским ухабам — и это единственное удовольствие, хотя тетя то и дело вспоминает об опасности, грозящей рессорам. Но самое главное — окна так скоро заволакиваются, и ничего не видно сквозь них, а пламя редких в то время фонарей светит в них мерцающими радужным отливом тусклыми солнцами. Скучно, хотя тетя всегда найдет, о чем поговорить с нами. Наконец — утешение: тетя узнает по каким-то неведомым нам признакам, что мы уже на Маросейке, что вот церковь Трех Радостей и что теперь близко. Покровка — значит, вот сейчас доедем! Еще несколько минут — и карета делает крутой заворот в знакомую подворотню. У входа в нее сидит солидная фигура закутанного в полушубок дворника. Он встает и большими шагами идет давать звонок швейцару, и карета еще не успеет подкатить к подъезду, находящемуся под покровом подворотни, как швейцар уже отворяет стеклянную дверь.

Странное дело — несмотря на непривычную обстановку, я начиная с подъезда в этом доме не чувствовала вовсе, или почти вовсе, обычной робости и стеснения. Мне дышалось тут легко, и полна очарования была для меня вся обстановка, дававшая так много эстетических впечатлений. Тетя, ценившая влияние на себя боткинского дома, заботилась, чтобы и мы не оставались без этого влияния, и заранее предупреждала нас, на что нам следует обратить внимание. Но, я думаю, помимо ее слов в нас действовала врожденная любовь ко всему красивому и изящному, унаследованная нами как от папы, так и от мамы. Иначе не могу себе объяснить того восторженного чувства, с которым я положительно замирала перед некоторыми произведениями искусства в доме Боткиных. Мне кажется, поймут это только те, кто способен был сам переживать такое наслаждение. А наслаждение начиналось здесь с самой передней.

Пока мы еще одни — при других тетя считала неуместным обращаться к нам с замечаниями и пр., — тетя указывает нам на большой кафельный камин и на стоящие на нем очень большие китайские вазы. Высоко стоящие вазы мне недостаточно хорошо видны, но они нравятся мне формой и тонами раскраски. «Оправившись», идем к лестнице, большой, мраморной, покрытой красным бархатным ковром. У подножия ее стоит на круглом постаменте прелестная мраморная группа: Эсмеральда[223] с козочкой. Всякий раз останавливались мы перед ней: она точно была приветливо родная. Тетя что-то рассказывала про нее, но я тогда не поняла, в чем дело, и не интересовалась повествованием. Мне просто нравилась мраморная девушка, и я любила смотреть на нее. Идем вверх по лестнице — одна стена завешана гобеленами. Тетя усиленно обращает наше внимание на них, но напрасно: блеклые их тона мне не нравятся, и я отворачиваюсь от них. Проходим через так называемую «приемную», и мне так жаль, что нельзя тут остановиться, оглядеться, что надо идти вперед, — до того приятны мне были темные, спокойные тона этой комнаты с резным деревянным, выложенным в клетку потолком. Следующая комната — «дубовая», и тут сидят все взрослые. Не по своим личным воспоминаниям сужу только, но и по рассказам других: «дубовая» была самая привлекательная комната в доме, любимая комната хозяев и гостей, где принимали гостей чаще, чем в смежной парадной гостиной. Много я перевидала позднее красиво обставленных комнат, но лучше боткинской «дубовой» не было для меня ни одной. Может быть, потому, что она была в приятных для меня тонах, строгая, по-

койная и уютная в одно и то же время. Тяжелая резная дубовая мебель с высокими узкими и прямыми спинками, обитая темно-красной тисненой кожей, стояла вокруг продолговатого стола посреди комнаты, стены увешаны были картинами; площадь комнаты перерезывали поставленные перпендикулярно к стенам шкапчики из темного дерева, украшенные резьбой, казавшиеся мне необычайно красивыми. «Дубовая» освещалась тогда при наших посещениях одной высокой лампой на столе с красно-белым резервуаром, под бело-красным абажуром — освещение, казавшееся в те времена вполне достаточным. Стол был весь освещен, а все остальные части комнаты тонули в полумраке — но и это придавало «дубовой» особую уютную прелесть.

Семья недавно кончила обедать и время до вечернего чая проводила обыкновенно за столом в «дубовой». Мальчиков тут уже не бывало: они успели уже убежать к себе в детские. Сидели за работой София Сергеевна, Лиленька и ее гувернантка, мадемуазель Гортанс, и тут же сидел Дмитрий Петрович. Они все разговаривали — и было тут не только красиво, но мирно, покойно и уютно. Это спокойствие, которое, по-моему, исходило от Софии Сергеевны, меня удивительно настраивало: я чувствовала себя покойно и свободно. У нее, кроме того, было так много доброты в обращении со всяким. Даже в мелочах, даже маленькую девочку она была, мне кажется, не способна чем-нибудь задеть. Не то я чувствовала относительно Дмитрия Петровича. Хотя тетя и говорила много хорошего про него, я смертельно боялась его улыбки, в которой мне чудилась непонятная и незаслуженная насмешка. Может быть, мне так только казалось. Но, как бы то ни было, церемониал здорованья с требуемыми и не удающимися мне реверансами окончен, нам сказаны две-три приветливые фразы Софией Сергеевной, сделаны один-два смущающих вопроса Дмитрием Петровичем — и мы свободны бежать к Пете с Сережей. Мы и бежим туда. Нас весело встречают ожидавшие нас два блондина в светло-серых курточках.

Легко и привольно чувствовала я себя в этом доме — оттого, может быть, что мы были предоставлены всецело самим себе. У Пети не было гувернанток, а немецкая бонна, Христина Федоровна, заседавшая в детской у Сережи, имела непосредственное отношение к нему — а ведь мы приезжали к Пете, а Сережа был для нас только так. И никто не ставил Пете рогаток, хотя были своего рода «нельзя». Но так легко было соблюдать их по доброй воле, и не на виду у взрослых. Мы почти весь

вечер проводили без присмотра, нас радовала возможность бегать по всем комнатам — но, право, шалить предосудительно нам не приходило в голову. Эту свободу в детскую жизнь, по-моему, тоже вносила София Сергеевна.

Мне определенно симпатичен был Петя. Он был милым товарищем в играх, приветливым и гостеприимным, веселым и в меру уступчивым. И мне определенно антипатичен был Сережа. Я не знаю, почему так. Тетя очень хвалила Сережу, его чуткость, доброту, тонкость чувств, и, наверное, она не ошибалась. И приветлив он был, как Петя, и никаких дурных чувств он перед нами не обнаруживал — а вот подите же объясните детскую психологию. Конечно, он еще раздражал нас, потому что, маленький, ввязывался в наши игры. Едва успеем, бывало, поздороваться, сейчас Петя спросит, во что играть в ожидании учительницы танцев. В один голос все втроем скажем: «В лошадки». Играть в лошадки — значит носиться по всем комнатам: мы с Колей впереди парой на красивых игрушечных вожжах с Петей в кучерах. И тотчас — это повторялось непременно всякий раз — Сережа станет просить прихватить и его. Мы отказываемся, говорим, что мы — пара больших лошадей.

21 XI 1919

Сережа всякий раз заладит: «А я понькой буду». Как ненавистно мне было почему-то и повторение, и само слово «понька», и то, как он его произносил. «Понька» не отстает — и приходится его брать в пристяжную. Несемся по большой зале, через «дубовую», в гостиную и дальше кругом в детскую — и неизменно, не сговорившись, делаем как-то так, что в одной из неосвещенных комнат лошади усиливают бег и «понька» летит на пол. Лошади летят дальше, «понька» встает и бросается догонять, жалобно прося подождать, но догоняет нас только в детской. Мы ужасно довольны, доказав, что «понька» не может бежать в одной упряжи с большими лошадьми, и спешим бежать опять. «Понька» в тех же выражениях пристает снова взять его — и снова повторяется то же. В третий и четвертый раз то же, всегда на одном и том же месте. Наконец разгоряченная «понька» бежит в слезах в «дубовую». Бывали редкие случаи, когда к нам в детскую приходила после того София Сергеевна и своей неспешной, немного переваливающейся походкой, и своим добрым, мягким голосом усовещивала Петю — и мы понимали это, косвенно и нас, что так «с маленькими нельзя». Все напрасно: в следую-

щий раз повторялось то же. И я должна признаться: валить «поньку» мне доставляло удовольствие.

Звали в залу. Начиналось скучное. Что может быть скучнее, чем учить па? Разве писать палочки. По зале прохаживается высокая неулыбающаяся дама, превосходно исполнявшая свои обязанности, но ни разу не сказавшая ни одному из нас ласкового слова. Я не ошибусь, думаю, сказав, что чувствовалось тяжело от всей ее массивной, хотя и упругой фигуры. А в углу жалась робкая и неуверенная фигура скрипача. Эту фигуру я не забыла. Так жаль мне было этого жавшегося небольшого человека, который будто бы покорился сносить обиды от всякого и на первом месте от очевидно злорадствующей над ним, привезшей его с собой, неулыбающейся высокой женщины. Так хотелось подойти к нему, сказать ему что-нибудь. Но у стены уже сидели «большие». Они выходили из «дубовой» смотреть на нас — и это было для меня мучением. Особенно Дмитрий Петрович. Он часто смеялся над каким-нибудь неудачным па, говорил свои замечания или про себя улыбался. Но и скучному бывает конец. Учительница, все еще держа нас выстроенными в ряд, учит нас прощальному поклону и отбывает со следующим за ней скрипачом, а нас зовут пить чай в «дубовую».

Я пишу о чаепитии в «дубовой», потому что для меня это было эстетическим впечатлением, воспоминание о котором сохранилось в душе. Красивая обстановка, картины на стенах, к которым после чая я подходила с особым чувством, силясь при малом освещении разглядеть хоть нижние, изящная сервировка и уют жизни дружной семьи — все давало чувство довольства и покоя. На столе высокая ваза с прекрасными фруктами, подставки под вазами с вареньем, красивая майоликовая ваза с домашним печеньем ланг-де-ша, большая низенькая ваза-блюдо с миндалем и орехами. Серебряный самовар — и за ним София Сергеевна, сама разливавшая чай, а в промежутки работающая челночком миньардиз[224] — как мне нравился и челночок, и петельки плетенья — Лиленька, непринужденно говорящая при взрослых и со взрослыми, Петя и Сережа, тоже говорившие с нами свое, не мешая «большим», — такова была радостная для меня своей внешней и внутренней красотой обстановка «дубовой».

После чаю мы бежали опять в детскую. У Пети и Сережи по отдельной детской — и это опять целый мир. Бездна у них всяких игрушек, в которые они и сами не всегда играют. Что касается до меня, они остав-

ляют меня вполне равнодушной. Но у Пети есть книги, много книг — и для меня непонятно, как сравнительно холодно он относится к ним. Я же стараюсь все их рассмотреть. У него я увидала впервые иллюстрированные сочинения Жюль Верна, которые позднее давали мне столько наслаждения. У него наскоро между играми прочла книжки-крошки издания Ступина[225]. Я помню чувство, с которым я разглядывала Петино книжное сокровище. Да, я любила книги — неотразимо, как любила красивое. Еще у Пети был альбом для марок. Мы тоже с Колей собирали марки, но у нас их было всего несколько штук и наклеены они были в простой тетрадке, а у Пети была уже тогда хорошая коллекция, внесенная им в настоящий альбом, которым он дорожил. Нам говорили дома, что тратить деньги на покупку марок для коллекции не стоит, а Пете «большие» помогали увеличивать коллекцию. Я держалась мнения «взрослых», но марки и тогда, и до сих пор имели для меня притягательную прелесть своей раскраской, своим мелким рисунком, и я каждую субботу внимательно перелистывала его и слушала объяснения Пети.

Петя научил нас новому для нас занятию: игре в карты. Он и Сережа с увлечением предавались игре, мы видели в ней одну скуку, но, уступая их желанию, играли. Но скоро папа как-то сказал нам, что он желал бы, чтобы мы никогда не играли в карты. Он высказал только свое желание, но мы исполнили его как завет. Мы не только отказались играть в карты с Боткиными, мужественно вынося убедительные уговоры Пети и Сережи, что это — не на деньги, что это — забава, как всякая другая, мы всю жизнь не брали в руки карт. И за это также я так благодарна папе.

И вот мы наигрались, наговорились, набегались — пора уезжать. Усталость берет свое, смутно помнишь обратный путь. Да, пора спать.

24 XI 1919

«В гостях» мы еще бывали в те годы у бабушки Анны Ивановны — и я живо помню наши посещения, хотя они были немногочисленны: бабушка скончалась, когда мне было 6 или 7 лет. Я любила ходить к бабушке, всем детским сердцем я тянулась к ней, несмотря на то что бабушка не была ласкова, может быть, по своему характеру, может быть, потому, что уже, насколько я ее помню, страдала от тяжелой болезни. Мне нравилась ее маленькая квартирка, казалось необычайно приятным пить у нее чай, рассматривать в ее горке ее чашки, фарфоровые фигур-

ки мужиков. Бабушка жила близко, на Большой Ордынке, и мы ходили к ней с тетей, которая несла ей всегда от мамы что-нибудь вкусное. Бабушкина квартира — это был опять-таки особый мир. Церковный двор церкви св. Георгия на Всполье — и на нем двухэтажный небольшой деревянный дом, обшитый тесом и окрашенный в коричневую краску. Он стоял еще на месте в 1914 году. Крыльцо в несколько ступеней, двойной подъезд, из которых один открывался на деревянную лестницу, ведущую в верхнюю квартиру, другой служил входом в нижнюю. Бабушка занимала нижнюю — и только, бывало, взойдешь в маленькую переднюю, как почувствуешь себя в царстве аккуратности и чистоты. Восхитительно чисты были тесовые, не оклеенные обоями стены, окна так и сияли светом, вымытые, протертые, а некрашеный пол, устланный дорожками-половиками, поражал белизной. И сама бабушка — маленькая, худенькая — была такая чистенькая. Мы часто заставали ее в постели, со страдальческим выражением лица, но она, помнится мне, была «одета», и на маленькой головке ее неизменно бывал надет белый чепец с крахмальным тюлевым рюшиком. Бабушка жила с какой-то старушкой, которая тотчас принималась хлопотать о чае, а нас тем временем старалась занять прислуга. Их было у бабушки две — Дуняша, еще молодая, с приятным круглым лицом и большими светло-серыми глазами, и Аннушка, постарше, плосколицая, круглоглазая, но с необычайно доброй усмешкой. Я положительно не могла решить про себя, кто из них мне милее: казалось порой, что Дуняша, иногда — что Аннушка. У каждой был свой привет, своя ласка, свой способ развлекать нас. Дуняша будила толстого серого кота Ваську, выученного ею прыгать через подставленные ему руки, и ласковыми уговорами убеждала его показать нам свое искусство. Аннушка придумала нам еще большее удовольствие: катать нас на салазках по церковному двору. И она не только катала нас, как мы того желали: скорей, скорей и в каком нам хотелось направлении, — она еще радовалась нашей радости и так хорошо смеялась беззвучным добрым смехом. Маленькая квартира, маленькие радости, но о них я сохранила такое теплое воспоминание. И как я жалела бабушку, когда она умерла, и тот мирок, который ушел вместе с нею.

Еще вспоминаю одни посещения. Тетя навещает больного Сергея Григорьевича Зерченинова и берет нас иногда с собой. Это — старинное знакомство из молодых ее лет, и она и гораздо позднее вспоминала

те интересные беседы, которые они вели с Сергеем Григорьевичем и его братом, «высокообразованным» Иваном Григорьевичем[226]. Теперь Сергей Григорьевич — больной чахоткой и страдает глухотой. Помню мирный переулок на Полянке, двор за серыми деревянными воротами, бешено рвущуюся с цепи собаку — и бедную крохотную квартирку. Она содержится опрятно, но она так пуста и мало обставлена. И чувствуется, что живет в ней требующий ухода угасающий человек. При нем — старушка, зовут ее «нянюшкой»: необычайно чистенькая и приятная, с розовым широким пробором, с белоснежными гладкими волосами и в чепце. Она трогательно заботится о больном, радуется посещению, тому, что хотя бы через рожок он может поговорить с тетей. И его скоро не стало, но впечатление от скорбного лица страдающего и беспомощного человека глубоко запало мне в душу. Край завесы, еще скрывавшей от меня несчастья жизни, будто чуточку приподнялся для меня.

Пишу эти воспоминания, мелочи моей детской жизни и постоянно повторяю слово «я», говорю о моих чувствах, моих переживаниях — а между тем жила я в буквальном смысле не одна, а вдвоем с Колей. И гораздо интереснее, казалось бы, мне раскрыть его духовный мир, все, что он чувствовал и переживал по поводу мной рассказываемого, потому что он был натурой, гораздо более сложной и одаренной, нежели я. Но, желая оставаться правдивой, я не могу писать того, чего я не знаю. Мы жили с Колей одной жизнью, были в полном смысле «неразлучниками», делили и радость и горе — но мы были разными индивидуальностями, и в постоянном друг с другом общении ни тогда, ни позднее не утрачивали присущих нам и столь различных черт. Так что, я думаю, многое в душе у него преломлялось иначе, чем у меня. Но как, несмотря на такую большую близость, а может, благодаря ей, мы не поверяли друг другу того, что переживали. Мы друг другу ничего не разъясняли — слишком мы понимали друг друга. К тому же я тогда вовсе не приглядывалась к Коле — я просто радовалась тому, что он постоянно тут, со мной. Это было светом и счастьем моей жизни. Помню, как этот свет чуть было не померк: заговорили о том, что и Колю надо отвезти учиться в Ревель. Помню острое чувство беспощадной тоски от ожидания этого горя, мою первую, наверное, бессонную ночь, молчаливо перенесенную. Господь отвел удар! Мама не захотела отпустить от себя третьего сына. Решено было, что Коля останется... И мы зажили опять счастливо вместе.

Добавл<ено> 30 VI 1926

Сколько я себя ни помню, папа, как говорили тогда, «держал своих лошадей». Сначала одну пару и одиночку, потом — две пары. Нас с Колей эти лошади мало касались в городе (летом на даче мы часто участвовали в общем катанье, но в городе папа не позволял нас возить на них: мы не должны были приучаться к роскоши, должны были привыкать ходить пешком — даже извозчика для нас редко брали. Но мы любили «наших» лошадей, интересовались ими. Любили мы смотреть, как выводили их к папе на показ по воскресеньям, после обедни. Папе подавали большие ломти черного хлеба, густо посыпанные солью, и папа давал их по очереди лошадям, кладя их на ладонь. Лена и тут, как старшая, имела перед нами преимущество: она, стоя рядом с папой, тоже давала лошадям куски хлеба, нам же, маленьким, этого не позволяли. Мы наблюдали за этой сценой, постоянно повторявшейся, сверху, из окон нашей детской: каретный сарай и конюшня помещались под передней и комнатами тети и Лены. И всегда у папы лицо сияло доброй улыбкой, у Лены же таким удовольствием, что невольно становилось обидно за себя.

Любили мы также смотреть из окна, как выезжали вместе папа с мамой. Папа мне запомнился в хорошо сидевшем на нем пальто — он одевался у хорошего портного — и в черном цилиндре. Мама бывала всегда изящно одета, но я не могу припомнить ее туалетов: я менее всего обращала тогда внимание на костюм.

Но иногда и нам доводилось пользоваться лошадьми — и это всегда было удовольствием. Помню смутно поездки в Петровский парк в Сокольники[227]. Помню, как в Сокольниках меня поразили столы для чаепития, мимо которых мы проезжали. Столы были деревянные, грубо сколоченные из досок, на них кипели самовары, и вокруг них толпилась довольная публика. Мы с ней не смешивались — а казалось это привлекательным. Помню, что мама нас возила «на вербу», то есть на вербное гулянье и базар. Раз это было на Новинском, где еще не был разбит бульвар[228]. Потом «верба» устраивалась на Красной площади[229]. Наш экипаж — ландо или карета — въезжал в цепь других экипажей и медленно двигался вокруг площади. А на площади вокруг палаток двигалась толпа. Шумные выкрики продавцов, смех и веселый говор. Продавцы совали в экипаж разную вербную мелочь: вербных херувимов с присловьем: «Купите остатки сил небесных», — тогда уже исчезли с вербного рынка мор-

ские жители, плюшевые обезьянки появились позднее. Мама покупала нам какие-нибудь игрушки или вещицы. А у меня к удовольствию примешивалось неудовлетворенное чувство: хотелось быть в толпе, двигаться свободно вместе с ней, и скучным казалось размеренное круговое движение вокруг площади, и мы с нашими красными шарами на веревочке, с нашими игрушками все-таки казались обделенными.

Особенно привлекательными были для меня вечерние катанья. Вдруг перед вечерним чаем маме захочется «прокатиться». Сейчас она велит заложить лошадей — и, слава Богу, не в душную карету — она терпеть не могла карет, — но в парные сани. Она возьмет с собой «маленьких детей». А они-то и рады катанью. И помчатся сани — обыкновенно на бульвары, а потом на Тверскую. Тверская того времени была, конечно, мало похожа на современную: она была, во-первых, темна, и не было на ней так много роскошных магазинов. Но ведь и вся Москва была сравнительно темна — многие улицы освещались еще не газовыми, но масляными фонарями. Тверская казалась нам и ярко освещенной, и многолюдной, и оживленной. Мама заезжала обыкновенно в какой-нибудь магазин: или в известный в то время гастрономический магазин Генералова[230], где покупала колбасу или швейцарский сыр (русского швейцарского еще не было тогда), или сухую пастилу палочками, или мой любимый ералаш (смесь из разного рода орехов, миндаля и изюма, чернослива и фисташек). Но чаще она входила с нами в кондитерскую Альберт[231] (почти на углу Леонтьевского переулка) или помещавшуюся наискосок от своего конкурента также первоклассную кондитерскую Сиу[232]. И тут и там продавщицы говорили по-французски. Мама покупала что-нибудь к чаю и, кроме того, по маленькой коробочке Коле и мне. Особенно нравились мне коробочки в виде чайницы с изображением китайцев, наполненные мелкими конфетами — кофейными зернышками с кофейной жидкостью внутри. Потом мы обязательно посещали булочную Филиппова[233], считавшуюся в те времена лучшей булочной в Москве, хотя она и не имела тогда тех больших размеров, которых она достигла впоследствии. Мама покупала тут свежие, душистые «французские» хлебы, мягкие сайки, испеченные на соломе, а Коле и мне для удовольствия по булке «розового» и шафранного хлеба, ярко-розового с запахом розового масла и ярко-желтого с шафранным вкусом. Нагруженные покупками, мы, веселые и довольные, возвращались к вечернему чаю.

Но всего больше любила я, когда мама брала нас с собой «смотреть иллюминацию». К иллюминациям и фейерверкам я была неравнодушна с самых ранних лет. Иллюминация бывала тогда в каждый царский день. С современной точки зрения, она была более чем скромной. Если перед каким-нибудь домом тумбы, которыми в те времена тротуары отделялись от мостовой, были уставлены горящими и неимоверно коптящими при этом плошками, то это была уже «иллюминация». Иногда по наружному абрису окон бывали прикреплены лампионы — это казалось уже большой иллюминацией. На правительственных зданиях горели щиты с лампионами или газом светящиеся инициалы и монограммы под короной. Глазам, привыкшим к малому освещению как в комнатах, так и на улицах, они казались великолепными, дающими массу света и радостного настроения. И, объехав Тверской бульвар, Тверскую, Театральную и Воскресенскую[234] площади, насладившись световым зрелищем, погрузясь в темень улиц, на которых нет вовсе иллюминации, мы, радостно возбужденные, возвращаемся домой.

ЧАСТЬ II

21 V 22

Мне было 8 лет, когда от нас уехала Анна Мартыновна. Это было мое первое горе. Случилось оно так неожиданно. Казалось, ничего не предвещало близкой разлуки. Все в доме ее любили и уважали, казалось, она долго будет жить с нами. Но вдруг она заболела — чем-то серьезным, поняли мы по оказываемому ей уходу и по тому, что нас отделили от нее. И вдруг хлынула у нее горлом кровь. Наш домашний врач Константин Игнатьевич Володьзко объявил, что оставаться при детях ей невозможно, и отъезд ее был решен.

Помню, она уехала не сразу — наверное, медленно поправлялась после болезни, и я полной мерой пережила муки сердечной тоски перед разлукой. Но тогда как Коля открыто выражал свою печаль, я молчала и таилась — ведь я чувствовала себя не любимой ею. Это напряжение выражалось во мне самым нежелательным образом, и никогда, может быть, она так часто не бранила меня за капризы и дурной характер. В это время она спешила дочитать с нами «Путешествие пилигрима», может быть, стараясь особенно перед разлукой запечатлеть в наших сердцах священные для нее мысли и чувства. Она обставила это чтение так, что читали мы эту книгу вслух и только в награду. Этой награды я бывала почти всегда лишена. И вот я помню: в окна нашей маленькой детской светит, пригревая, раннее весеннее солнышко, и мы сидим за нашим учебным столом — раскрытым ломберным: Коля против меня с книгой в руках и между нами она, любимая, дорогая, с побледневшим лицом, тонким и прозрачным, и голубеющими от вдохновения глазами. И она должна уехать, и она недолго будет с нами — и я сижу вся сжатая в чувстве невысказанного горя и гложущей тоски. И чувствую, что она меня не понимает.

Но раз — это было совсем незадолго перед ее отъездом — на меня нашло непривычное вдохновение и я сочинила по-немецки четверостишие. В нем сказалась вся моя горячая детская любовь к Богу. Хорошее чувство было у меня в груди, когда я набрасывала на клочок бумажки

свое произведение, вылившееся из души, но я не решилась открыто высказать его перед всеми. Но ей я в темном уголке, когда она проходила мимо меня, робко сунула в руку свою бумажку. Сунула — и застыдилась, и забоялась. Она ушла от меня, чтобы наедине познакомиться с содержанием втиснутой ей в руку записки; но скоро вернулась, села, подозвала меня. «Вы сами это сочинили, Вера?» — «Сама», — отвечала я, глубоко стыдясь. Тогда она, растроганная, взяла меня на колени; она обнимала меня и говорила какие-то ласковые, прочувствованные речи. Счастливая минута; мне было так тепло в ее объятиях, как никогда еще; а она, может быть, впервые ощутила радостное сознание, что ее труды над моей маленькой душой не пропали даром, что всходят уже посеянные ею семена.

Наконец наступил день отъезда. Последние слова, последние объятия. Прильнув к окну детской, мы смотрим, как внизу у крыльца она усаживается на извозчика. И вот извозчик скрывается за воротами. Разлука совершилась.

А жизнь продолжалась как всегда, и надо было принимать ее, несмотря на горе; так рано пришлось восприять этот жизненный урок. Как всегда — а сердце разрывалось тоской — нас повели гулять все по той же Пятницкой; только теперь за нами шла одна мадемуазель. Как всегда, после прогулки мы сели за французский урок. Как будто ничего не случилось! Во время урока мадемуазель стала спрашивать у меня наизусть какое-то длинное стихотворение. Стоя перед ней, я начала декламировать, дошла до середины — и вдруг расплакалась. «Что с вами делается?» — с невозмутимым спокойствием спросила мадемуазель. Она не понимала. Я сделала над собой невероятное усилие, подавила слезы и кончила стихотворение.

Позднее, после обеда, нас взяла к себе мама. Мы плакали перед ней, и она нас утешала. Мне было необычайно приятно, что можно было так открывать ей свое горе. Был ранний вечер с яркими красками заката на небе; мы так доверчиво сидели у маминых ног, и она ласково наклонялась к нам. Она обещала нам многое, что могло порадовать нас. Наконец она спросила: нет ли чего-нибудь, чего бы мы больше, больше всего желали? Я, как всегда, не решилась высказать своего желания; но Коля быстро ответил за нас двоих: «Живого ослика». Она обещала и живого ослика, и мы побежали к тете поведать ей о нашей радости. И старшие, кажется, сочли нас утешенными.

Между тем я долго и мучительно тосковала; не говорила я только никому про свою печаль, но изводилась тоской. И вот помню: нам дали с Колей по восьмушке почтового листа, и мы с ним примостились на подоконниках в детской и пишем письма Анне Мартыновне. В этот листик, убористо исписанный готическими буквами, я вложила всю наболевшую в тоске душу, как умела. Может быть, наши детские письма утешили ее в тяжелой болезни — дай Бог. Осенью этого года ее не стало.

Новая немка, рекомендовать которую просили опять директора ревельской гимназии Гальнбека, должна была почему-то приехать с нашими братьями, а ревельских гимназистов того времени распускали после 10 июня. Первые недели на даче мы прожили под особым попечением тети, и сохранилось у меня воспоминание о многих прогулках с ней преимущественно по лесам, во время которых она вводила нас в поэзию леса, и о том, как по вечерам она укладывала нас спать и читала нам на сон грядущий Евангелие, и мы потом с Колей сладко засыпали в своих дачных кроватках со стенками из веревочного переплета. Я тоскливо прилеплялась душой к тете, чувствуя, что каждый день неуклонно приближает нас к неминуемому: приезду «новой». И вот уже назначен письмом день приезда старших мальчиков — и вот этот день наступил.

Мне было 8 лет, и я была определенная маленькая личность. У меня было определенное отношение к жизни и к людям — и оно было в значительной мере окрашено пессимистически, под влиянием, думаю, мировоззрения тети и рассказов Анны Мартыновны. Я знала уже, что в жизни бывает много дурного и тяжелого, что есть на свете люди дурные и злые. У меня были уже определенные убеждения, отказаться от которых никто бы меня не мог заставить. И жила во мне идея мученичества. Она была воспринята мной со страниц двенадцати книжек житий святых Бахметевой, и была во мне живой, и заставляла жаждать подвига. К тому же я была мечтательницей. И вот в душе у меня создалась фантазия: новая немка будет преследовать то, что мне всего дороже: мою веру, мою любовь к Богу. Она будет всячески изводить меня, она будет меня мучить; но я не поддамся ей, не изменю своей вере. С такой готовностью восприять мучение я ждала новую нашу немку.

С утра в день ее приезда я лихорадила и жалась к тете. Врезалось мне в память то, что нам читала в этот день тетя, красно-кирпичная облож-

ка книги, которую она при этом держала в руках. Медленно полз день, и в то же время слишком скоро летело время. Из города приезжали обыкновенно к вечеру.

В прежние годы какая ничем не омраченная радость — прибытие братьев. Анна Мартыновна ведет нас встречать их. Мы выходим далеко: по шоссе до деревни Гальево. Ждем у краешка шоссе, в нетерпении. Наконец вдали появляется коляска. Резво бегут наши серые в яблоках лошади, из коляски нам машут; сердце рвется навстречу. Кучер, поравнявшись с нами, сразу останавливает лошадей. Объятия, радостные возгласы, крики и смех. Мама, всегда сама ездившая в город за мальчиками, теперь забирает в коляску и «маленьких детей», и лошади весело мчат нас дальше.

На этот раз мы не выходим навстречу, а ждем на террасе. Несчастная, в нервном ознобе, сижу я в плетеном садовом кресле. Издали слышен топот лошадей. Неуклонно ближе и ближе. Сердце тоскливо замирает. Вот приехали. С шумом выскочили из коляски — и новая стоит, улыбаясь, передо мной. Но в общей радостной суматохе ее легко избежать.

Мы встретились с ней на следующий день, и случилось так, что мы сразу повернулись друг к другу непривлекательными нашими сторонами. Утром тетя повела нас купаться и кстати показать купальню новой немке — звали ее Юлией Андреевной Лютер. Но, заметив, что у меня насморк, тетя с дороги отослала меня домой с Юлией Андреевной. Пришла же мне вдруг фантазия вернуться домой не обычной дорогой, оврагом, а незнакомой мне тропинкой, ведущей в гору. Мне нравилось всегда открывать новые пути, а эта тропинка давно уже манила меня, и я догадывалась, что она приведет нас к кладбищу, то есть к известным недалеким местам. Тропинка оказалась очень крутой, усыпанной иглами. Я ловко и смело карабкалась по ней в восторге от преодолевания трудностей, но Юлия Андреевна с трудом следовала за мной. Осилив подъем, я с торжеством оглянулась и вдруг в смущении увидала: она взяла немного вправо и очутилась среди густой заросли крапивы. Я кинулась ей на помощь, а она стояла с недобрым лицом, с поголубевшими от досады глазами. И ею было произнесено неосторожное слово: «Вы сделали это нарочно». Нарочно мы никогда не делали зла никому; ее несправедливый упрек глубоко оскорбил меня. На этом не кончились злоключения этого утра. Мы не успели дойти до дачи, как нас спрыснуло

из налетевшей тучи крупным светлым дождем. Новое для меня удовольствие: я бы так охотно высохла бы под выглянувшим снова солнцем, но она заставила меня переодеться. Она спросила у меня, какое платье мне следует надеть, и я необдуманно указала ей на свое любимое: палевое с тонкими коричневыми разводами. Оказалось, что это платье я должна была надевать только по праздникам. И снова в устах Юлии Андреевны прозвучало слово «нарочно». Это отшатнуло меня от нее.

Я прожила с ней бок о бок три с половиной года, но душевно так и не сошлась с ней. Я привыкла к ней, сжилась, но она всегда оставалась мне чужой. Нет, она не оказалась мучительницей, как я представляла было себе, гонительницей веры, искоренительницей добрых начал, заложенных в нас Анной Мартыновной. Она была самой заурядной благожелательной немкой, и после яркой личности Анны Мартыновны ее бесцветность подавляла. Она была вся такая неинтересная. Наружность ее: плоская фигура, рыжевато-русые косы, длинные, но тощие, которыми она обвертывала голову словно венцом, крутой белый и слишком открытый лоб, бессодержательные серо-голубые глаза и бессодержательная улыбка алых губ, малая подвижность и невыразительность молодого еще лица навевала на меня скуку. Скукой же веяло от ее душевного мира, носившего отпечаток посредственности. И она ходила по воскресеньям в Петропавловскую кирку[1], но посещение храма не преображало ее, как тетю, как Анну Мартыновну. И она по вечерам читала благоговейно свою Библию и книгу гимнов[2]; но она не горела верой и любовью к Богу, и они не служили ей определителями жизни; степень и качество религиозности в наших детских душах были ей безразличны.

Не горела она и любовью к искусству, знанию, к путешествиям; ее глаза не загорались, голос не менялся. Она довольствовалась узким кругозором провинциального городка, тем, что раз навсегда усвоила в школе; читала, помнится, одну «Гартенлаубе»[3] и в этом журнале упивалась преимущественно романами Марлит и Вернер[4]. Она добросовестно исполняла свои обязанности, но и это ценное качество у нее не облекалось красотой, служением принципу, но принижалось мелочностью, исканием оценки и похвалы. Она была ниже требований, которые мы незаметно для самих себя предъявляли к ней. Я, скучая, отвернулась от нее, и никогда не пришло бы мне в голову, когда я ближе познакомилась с ней, открыть ей свою душу, у нее искать разрешения дум и вопросов. И ей, кажется, не приходило в голову, что такие думы и вопросы мо-

гут жить в детской душе. Позднее чувство неудовлетворенности и скуки перешло у меня в раздражение — и тогда я стала изводить ее открытой критикой и упреками и так мучила ее тогда, что мне стыдно этого и теперь. Правда, что начались для меня тогда годы, когда дети часто бывают неприятны и несносны. Разве только некоторым оправданием может мне послужить то, что я страдала тогда повышенной нервностью: безотчетным непреодолимым страхом и чувством жуткости, меланхоличным ожиданием смерти и т.п.

Юлия Андреевна играла весьма ничтожную роль в нашем развитии; но за одно я очень благодарна ей: она много читала с нами по-немецки, и книги, которые она брала для нас из библиотеки, были все детские. Она держала нас на уровне нашего детского понимания. И это было отчасти хорошо, потому что было нормально. Мы, может быть, слишком уж забрались ввысь. В частности, для того мира фантазии и сочинительства, в котором я жила неведомо ни для кого, это чтение имело огромное значение. Оно расширило мой жизненный кругозор, познакомило меня с целым рядом детских образов в различных житейских положениях. Оно давало все новую пищу моему воображению, и сочинительство так и кипело во мне.

В 1876 году папа купил дом. Дела его шли все успешнее, благосостояние росло, и он давно задумал этот подарок маме, и существование этой мысли бесконечно радовало его. Сначала он наметил себе небольшой особняк на Якиманке, и мы с Колей во время наших прогулок любили проходить мимо него: белый домик казался нам таким привлекательным. Скоро, однако, пошли вокруг нас другие разговоры взрослых: отыскали другой дом в другой, неизвестной нам части города, более нравившийся папе и маме. Дом этот продавался спешно его владелицей Крестовниковой[5], папа тоже спешил, потому что дом очень нравился ему и представлялись и другие покупщики — и покупка совершилась чрезвычайно быстро. Это было весной, и нас, маленьких, переправили скоро на дачу. Мы уехали из города, не видав дома. Но он живо занимал наше воображение.

В это лето мама часто уезжала с дачи в город, чтобы следить за устройством нового дома, и, как всегда, она брала с собой старших детей. Бывало, мы не дождемся их возвращения. И пока еще идет суета, со-

единенная с каждым приездом из города, пока переодевается с дороги мама, а Дунечка режет свежие душистые французские булки, привезенные из города, и распаковывает к готовому уже давно чайному столу разные вкусные коробочки, мы бежим все вместе в сад, забираемся в один из любимых наших уголков и, возбужденные, спрашиваем в десятый, может быть, раз у радостно возбужденных поездкой старших детей: «Очень хорош дом?» — «Очень, очень. Ужасно милый, уютный». — «И окрашен в розовую краску? Неужели в розовую?» (нам с Колей эта окраска кажется единственным темным пятном в нашем лучезарном представлении о доме). — «Она не совсем розовая, нет, не некрасивая розовая краска, а желтее, похожая на абрикосовый цвет» (эту окраску дом не менял за все время нашего владения им: она полюбилась нам всем). — «И садик есть? И двор? Большой, правда, что немощеный, как у Синицыных? Расскажите про дворника Мартына». — «Да, он остался при доме, папа его оставил. Он чисто-чисто метет двор и по праздникам ходит в голубой рубашке и нанковых[6] шароварах». — «И Желтик остался при доме? Какой он? Расскажите про Желтика». — «Он такой милый, совсем особенная собачка: лохматый пуделек, светло-коричневый, и глаза у него зеленые». Милый, милый дом, мы еще не знали его, но уже любили.

В этом году мы с нетерпением ожидали конца лета и переезда в новый дом. Помню, как наконец в один пасмурный осенний день мы сели в коляску с тетей и поехали навстречу неизвестному будущему, как лихорадочно отсчитывали версты до Москвы, как вглядывались в незнакомые улицы. Скоро ли, скоро ли? Наконец какие-то неширокие симпатичные переулки с небольшими особняками — и мы перед нашим домом. Широко раскрывается перед нами парадная дверь, нас радостно встречают; мы влетаем в объятия мамы, пробегаем по всем комнатам — как все красиво, мило, уютно, — скорей, скорей — где двор, садик, Желтик? — и мы выбегаем на черное крыльцо. Желтик сидит на высоком крыльце деревянного здания напротив, в котором помещается кухня, прачечная и дворницкая. Да, он совершенно такой, как нам говорили: лохматый пуделек со светло-коричневой шерстью и сверкающими из-под нависших волос ласковыми зелеными глазками. «Желтик! Желтик!» Он срывается с места, колобком подкатывается к нам, виляет хвостом, обнимает мохнатыми лапами, лижет в лицо языком. Какой милый, какой прелестный дом! Лучше его нет на свете!

Милый старый дом! В нем широко развернулась, искрясь многими духовными благами, жизнь нашей семьи, в нем мы пережили потери многих близких и дорогих, много радостей и много горя, в нем протекла вся моя жизнь. И теперь, по условиям современности, он принадлежит к отживающему прошлому, и годы его, очевидно, сочтены. Поэтому я остановлюсь на нем подробнее.

Он стоит на углу Борисоглебского и Кречетниковского переулков[7], веселым уютным фасадом в этот последний, и теперь числится № 3 по Борисоглебскому переулку. Тогда же говорили, что дом стоит на Собачьей площадке[8], и письма доходили по такому адресу — и много-много лет наши милые знакомые говорили, собираясь к нам в гости: «Пойдемте на Собачью площадку». В разговорах наших, в переписке «Собачья площадка» была ласковым, иногда шутливым синонимом нашего дома.

Дом был построен после пожара 1812 года архитектором Бове[9] и, судя по плану, приложенному к купчей, украшен был по переднему фасаду колоннами. Этих колонн в 70-х годах уже не было: фасад представлял ровную плоскость, украшенную легкой лепной работой. В трех парадных комнатах потолки имели красивый бордюр лепной работы с изображениями и завитками в классическом стиле, и стены залы, как обнаружилось при позднейшем ремонте, были отделаны под мрамор; но это были лишь смутные отголоски когда-то присущего ему, очевидно, стиля ампир. Он был модернизирован, к нему с задней стороны были сделаны пристройки, так что сзади и с боков его масса имела неправильные формы. Но спереди он со своим мезонином в пять окон, желтовато-розовый под зеленой крышей, обращенный девятью окнами фасада на юг, представлял легкое стройное здание. К дому принадлежал двухэтажный флигель, отдельно стоящее деревянное здание для кухни, прачечной и дворницкой, о котором я упоминала уже, кирпичное здание с конюшней, сараями и погребом для дома, деревянное низенькое строение с погребами и сарайчиками для верхней и нижней квартиры во флигеле (оно было снесено в начале 900-х годов, причем были устроены новые погреба кирпичной кладки для жильцов флигеля в одном из сараев большого дома), коровник и небольшие сараюшки (они были разобраны и сожжены в зиму 1919—1920 годов). Дом был обставлен весьма хозяйственно: под домом шел обширный, прекрасно устроенный подвал; в нижнем каменном этаже флигеля имеется прочная кладовая за железной дверью с массивным старинным замком, который надо было еще уметь отпирать (простояв

нерушимой более пятидесяти лет, кладовая эта со своим замком была взломана и разграблена в 1922 году).

Внутри в меблировке, расцветке обоев и мебели дом за все время нашего владения им подвергался неоднократным изменениям. Я возьму его таким, каким он был в первые годы после покупки его. Часть обстановки была приобретена вместе с домом, многие предметы куплены папой с мамой, многие подарены папе с мамой на новоселье преимущественно членами семьи Прохоровых, которые считали себя обязанными папе за помощь и поддержку, бескорыстно оказанную им и их делу в трудную для них минуту, искренне любили его и были им искренне любимы. Так что окружающая нас в новом доме обстановка во многом разнилась от той, среди который мы провели первые годы жизни.

Начну свое описание с передней. Парадная дверь примыкала к ней сбоку, и от входа надо было подниматься к ней по нескольким ступенькам, защищенным ковровой дорожкой, протянутой дальше через всю переднюю вплоть до двери в залу. По обеим сторонам лестницы на деревянных подставках в виде трехступенчатых лесенок стояли зеленые растения из неприхотливых, не требующих много света и тепла, а внизу у входа стояла большая деревянная кадка с воткнутыми в нее длинными палками, по которым вился так называемый дикий виноград, не похожий на тот дикий виноград, которым обвивают стены и террасы. Впрочем, он скоро сравнительно исчез: наверное, это комнатное растение, как и плющ, выходило тогда из моды. Передняя, вытянувшаяся по восточному фасаду дома, узкая, но светлая, в два окна, перерезана была посередине аркой, опирающейся на две дорические полуколонны. В эту арку была ввинчена красивая бронзовая лампа с конусообразным колпаком из белого матового стекла. Обои в передней были белые с глянцем; мебель — наша прежняя: фундаментальный диван и стулья с прямыми высокими спинками, из ясеневого дерева.

Из передней и прилегающего к ней коридора две двери вели в залу. Это были замечательные двери; ими восхищались все бывавшие у нас в доме. Двустворчатые, стеклянные с бронзовыми и хрустальными ручками и бронзовыми узорными замками. В изящный переплет из светло-коричневого дерева красивой полировки были вставлены прямоугольные и ромбоидальные расписные стекла. В одной двери на стеклах яркими сочными красками были выписаны букеты цветов. В другой — на больших стеклах бледными тонами были исполнены разные китайс-

кие виды: башни, дома, беседки, а на маленьких стеклах по углам каждой большой картины по золотистой звезде на синем фоне. Зала была в шесть окон, из которых три выходили на восток и три на юг. Обои — белые с золотом, потолок с лепным бордюром, окрашенный в белый цвет; мебель — стулья из цельного ореха со сквозными спинками, с сиденьями, обитыми алой штофной материей. Занавеси из такой же материи спускались по обеим сторонам каждого окна, подхваченные перехватами немного выше уровня подоконника и по косякам открытой двери в гостиную. Через несколько лет мебель в зале пришлось перебить, и тогда алая штофная материя была заменена полушелковой цвета гри перль[10]; тогда и занавеси у окон были заменены подзорами вверху окна, из-под которых спускались тоже подхваченные на две половинки легкие кисейные занавеси. Гораздо позднее окна завесили прямо сверху ниспадающими цельным полотнищем кисейными занавесками, скрывающими от улицы то, что делается внутри комнаты. С потолка свешивалась большая люстра из золоченой бронзы с хрустальными фигурными подвесками, а в стены были ввинчены бра тоже из золоченой бронзы. Стояла прекрасная бехштейновская рояль[11], звуки которой так связаны со всей моей жизнью, что кажутся мне теперь как бы ее аккомпанементом. На окнах и у окон стояли «цветы», как говорили, то есть зеленые растения: высокие филодендроны[12], фикусы, латания, позднее пышно разросшиеся панданус[13], финиковая пальма, кинтии[14] и др.

Открытая, без створ дверь, с косяками из красного дерева, прикрытыми с одной стороны зальными, с другой — гостиными занавесями, вела из залы в гостиную. Гостиная была глубокая комната в три окна, выходящая на юг, и была похожа на описанную мной уже гостиную в доме Шипачевых настолько, что гостиную дядюшки можно бы было счесть за сколок в миниатюре с нашей гостиной — наверное, обе они отвечали вкусам и моде того времени, — только у нас все было в соответствии с большими размерами комнаты, крупнее, массивнее.

Обои в гостиной были успокоительного серо-коричневого тона со скромным позолоченным багетом[15], и на них красиво выделялись отдушники из золоченой бронзы двух печей, поставленных вкось и срезавших два внутренних угла комнаты, придавая ей в этой глубине приятную округленность. Мебель из цельного орехового дерева, тяжелая, точно литая, красивой и прочной полировки, выдержавшей свой блеск десятки лет без поправки, была обита тяжелым лимонно-желтым штофом; из того

же штофа занавеси спускались тяжелыми складками по обеим сторонам каждого окна и двух дверей гостиной, подхваченные толстыми шнурами басонной[16] работы с тяжелыми кистями. Мебель расположена была следующим образом. Один большой диван вдоль глубинной стены между обеими печками и перед ним большой массивный ореховый стол с многоугольной доской и правильно размещенными вокруг него двумя креслами, глядящими друг на друга, и тремя стульями. У каждой из боковых стен — диван меньших размеров, и перед каждым из них меньшей величины стол с многоугольной доской, и вокруг него два глядящих друг на друга кресла и между ними один стул. Над средним, большим диваном должно было висеть большое продолговатое зеркало в ореховой раме; но зеркала над диваном в гостиной выходили тогда из моды, и над диванами были повешены три картины из нашей прежней гостиной в массивных золоченых рамах. В простенках между окнами висели узкие длинные зеркала в рамах из орехового дерева и при них из такого же дерева подстолья, на которых стояли бронзовые канделябры. Между этими двумя зеркалами, перед средним окном, стояли на прежней нашей высокой подставке под черное дерево наши большие бронзовые часы с заснувшей Ночью и пробуждающимся Днем, а принадлежавшие к ним канделябры с малютками Временами года были поставлены на соответствующих подставках перед печками по обе стороны среднего дивана. Перед двумя другими окнами стояли парные севрские вазы[17] на столиках-подставках с тремя изогнутыми ножками, связанными между собой фарфоровыми двумя тарелками в деревянной черной с бронзой оправе. Вазы, или скорее большие кашпо, — в них помещались всегда зеленые растения — были круглые, голубого цвета с двумя медальонами с передней и задней стороны: в передних медальонах были изображены сцены в стиле Ватто[18], на задних по охапке веселых нарядных цветов, и трудно было сказать, какой из медальонов прелестнее. Сцены в стиле Ватто были также выписаны на тарелках подставок, из которых верхняя тарелка служила доской для столика, а нижняя связывала его ножки. У одного из боковых диванов стояла развалистая, большая, тоже севрская ваза — тарелка для визитных карточек в бронзовой оправе и на высокой бронзовой ножке. Она была тоже голубая по краям с тонко выписанной по голубому фону гирляндой из розово-палевых мелких роз, и этот голубой бордюр обрамлял медальон с сценой в стиле Ватто. Потолок с его лепным бордюром был окрашен в белую краску, так же как

и рамы оконные и подоконники во всем доме (окрашивать их в коричневую или серо-зеленую краску стало гораздо позднее модой); с потолка свешивалась наша прежде зальная люстра, и она в этой высокой и глубокой комнате не казалась давящей. Пол гостиной почти целиком был закрыт ковром цвета гри перль с продолговатыми крупными медальонами, в которых нежно и умело проступала голубая и темно-красная расцветка. Такова была гостиная в нашем доме, долгие годы почти не подвергаясь изменениям, — старого отходящего уже тогда стиля (я упустила одну незначительную, но характерную подробность: сонетку[19] близ среднего дивана — толстый круглый шнур басонной работы с тяжелой кистью под цвет желтой штофной обивки), слегка модернизированная. Немного холодна и торжественна она была, немного чопорна; но как весело бывало в ней позднее, когда мы выросли и у нас бывали вечера по средам.

Следующая за гостиной комната, тоже в три окна по южному фасаду, тоже залитая солнцем в ясные дни, была так называемая «мамина комната», самая симпатичная во всем доме, самая уютная. В ней больше всего сосредоточивалась жизнь мамы, а она была оживляющим духом всего дома. Комната эта по длине разделена была на две неравные части двумя колоннами и двумя пилястрами у стен, алебастровыми, с коринфскими капителями. Между колоннами и пилястрами свешивались темно-красные штофные занавеси тяжелыми красивыми складками, не доходя до белого архитрава, покоящегося на капителях. Колоннами и занавесями отделялась таким образом приблизительно треть комнаты в глубинной ее части, и в этом полутемном помещении, с двумя хорошенькими из темного полированного дерева с бронзовыми ручками парными дверцами, из которых одна вела в коридор, а другая — в соседнюю, выходящую уже на запад «папину комнату», была устроена спальня мамы. Прежний двухстворчатый мамин киот, поставленный углом к стене и занавеси, один только перешел сюда из прежней спальни. Тяжелая орехового дерева кровать была заменена более легкой металлической под красивой покрышкой, вязанной сквозным узором, на темно-красной шелковой подкладке. Такие же накидки, вязанные крючком тем же сквозным узором, на темно-красном канаусе, днем прикрывали подушки. Спинки кровати были накрыты стегаными чехлами из темно-красного атласа. Возле постели был поставлен туалетный стол, обитый темно-красным шелковым чехлом, служащим подкладкой чехлу, вязан-

ному крючком тем же узором, как и покрышка на кровати. На столе стояло зеркало в овальной деревянной раме и туалетный прибор, раньше белый хрустальный, позднее — баккара[20] красный с белым, также флаконы с духами: мама была большой любительницей тонких духов, но не придерживалась определенного запаха; пудры же на лице она никогда не употребляла, но перед вечерним выездом освежала себе лицо водой. Она была вообще большой охотницей до мытья и по утрам — не только в молодости — мыла себе лицо, шею и руки водой со льдом. Она скоро приобрела для своей спальни массивный мраморный умывальник-стол с красивым умывальным прибором (к красивым умывальным приборам у нее сохранилась слабость во всю ее жизнь). Новостью в спальне был массивный зеркальный шкап, заменивший собой комод с туалетным зеркалом. С потолка в этой части комнаты свешивался красивый круглый фонарь, стеклянный, с расписанными по белому матовому фону цветами.

В остальной, большей части комнаты, в пространстве между окнами и колоннами, была устроена мамина специальная гостиная, я бы предпочла сказать, как мы говорили всегда, — ее «комната». Несомненно, что это была вторая, менее торжественная и более интимная гостиная в доме; но это была в то же время комната, в которой она проводила дни и вечера, комната, отражавшая ее вкусы и привычки, ее бодрый, стремящийся все вперед дух, ее любовь ко всему красивому и изящному, стремление к гостеприимному общению с людьми. Она любила переставлять мебель, старалась устроить комнату все с большим вкусом, поэтому в своем описании я приведу только основные, более или менее неизменные черты. Обои в маминой комнате были темные, серо-зеленого тона, красиво сочетавшиеся с темно-красной штофной обивкой мебели и такими же занавесями у окон и двери. В простенках — два узких зеркала с подстольями из прежней нашей залы, у среднего окна изящный дамский письменный стол с деревянной инкрустацией, обтянутый темно-красным сукном, в небольших ящичках которого в изумительном порядке хранились ее счетные книжки и пачки сохранявшихся ею писем — преимущественно наших мальчиков, писанных из Ревеля, — перевязанные ленточками. Ее редко сравнительно можно было видеть за письменным столом: только тогда, когда она сводила счета по хозяйству, тонкими красивыми пальцами очень маленькой руки быстро справляясь с косточками небольших счетов, или когда писала немногочисленные

7 — 249

письма своим своеобразным тонким, четким и чрезвычайно изящным почерком. У стены — книжный шкап буль[21] с любимыми ее книгами в скромных темных коленкоровых и шагреневых переплетах — почти вся ее библиотека: классики русские и иностранные, также творения Платона были согласно ее вкусам подарены ей нами, детьми, на собранные в складчину деньги, в дни ее именин и рожденья, и она поэтому еще больше любила эти книги, и мы, дети, тоже. Позднее мы сделали еще подарок: голову Дианы из бисквита[22], которую поставили наверху книжного шкапа, и мама, так любившая бессмертную красоту классического мира, восхищалась этой головой богини с ее нежными девственными чертами и гордым поворотом шеи. Мы любовались и восхищались вслед за нею — и в моих воспоминаниях любимая голова Дианы над любимым книжным шкапом буль составляет нечто неразделенное с этим шкапом.

В углу между колоннами и примыкающей к гостиной стене стоял большой круглый стол, окруженный мягкими креслами и стульями из прежней нашей гостиной с ореховыми ободками спинных подушек. На этом столе накрывали чай, когда гости приезжали днем или ранним вечером, и пить тут чай было уютнее, чем в столовой, и разговор лился непринужденнее. А в противоположном углу стоял небольшой тоже круглый стол, на котором разложены были альбомы и художественные издания, за ним небольшой мягкий диванчик, а по бокам два мягких разлапистых кресла — позднее их кто-то прозвал «лоно Авраамово»[23] за удобство сидеть в них. В самом углу, за диванчиком, стояли небольшие часы из золоченой бронзы на подставке из темно-красного атласа под цвет обивки мебели. Этот «уголок» в маминой комнате тоже освящен для меня воспоминаниями. Тут мы с Колей часто сидели, когда были подростками, обособленно от взрослых и все же близко от них, перебирая альбомы «для прилику», а на самом деле вслушиваясь в разговоры у большого круглого стола с самоваром, веселые и серьезные, шутливые и возвышенные. На этом маленьком диванчике устраивалась со своей изящной подушечкой-думкой мама, когда она хотела отдохнуть немного перед приходом гостей или собственным выездом. Обладая крепким здоровьем, деятельным духом, живостью движений, она не предавалась при этом длительному отдыху, но примостится на диванчике совсем одетая и полежит минут 10—15, не более; потом встанет, уйдет в спальное свое помещение и быстро, как делала все, причесывала

свои прекрасные волосы — и выходило всегда красиво — и одевалась в какие-нибудь четверть часа, а одета она была всегда с тем изяществом, с каким очень немногие умеют носить платье.

К «маминой комнате» примыкала под углом «папина комната». Небольших размеров, квадратная, не очень светлая с тех пор, как вместо прежней маленькой терраски папа построил большую террасу, на которую выходили два окна его комнаты: но она была очень уютная и любима нами. Прохоровы попросили разрешения у папы по своему вкусу отделать эту комнату так, чтобы он до окончания в ней работы не входил в нее. Они пригласили известного в то время декоратора Фишера, и в течение нескольких дней в папину комнату не входит никто из нашей семьи. Все были заинтригованы готовящимся сюрпризом. И что же? Когда наконец двери раскрылись, мы вошли в «турецкую» комнату: стены и потолок были сплошь затянуты в складку материей, к производству которой недавно приступила Прохоровская фабрика[24]: бумажным кашемиром с индийским рисунком. Из такой же материи были сделаны портьеры у двух противолежащих друг другу дверей и на окнах, также покрышка на кровать, и той же материей обиты были два средних размеров «турецких» дивана с валиками, поставленные у стены, и два маленьких диванчика с прямыми спинками, стоящие у окон, и пуф посреди комнаты в виде двух наложенных друг на друга под углом подушек. Милая комната! Сколько и с ней связано воспоминаний. Она в те годы была, пожалуй, наша любимая с Колей. Мы забирались сюда по вечерам по окончании уроков и, пока папа до вечернего чая сидел с мамой у нее в комнате, предавались с увлечением совместному чтению. Сидя друг против друга, один на диване, другой на пуфе около стола, на котором горели две свечи, мы по очереди читали друг другу вслух — и ярко пылало наше воображение, и жили души восторгом, кипели благородным негодованием при повествованиях о деяниях и приключениях Следопыта, Красного морского разбойника, Браво, Шпиона Купера[25] и множества других героев. Но еще лучше воспоминание. Мама уезжает вечером в театр или в гости; папа так устает за день, что почти никогда не выезжает: он по вечерам отдыхает дома. Тогда, проводив все вместе маму в передней, мы удаляемся с папой в его комнату и проводим весь вечер с ним и тетей. И мы чувствуем с таким теплом, с такой радостью: папа наш! Он наш и каждый вечер: когда он обедает (он возвращался домой в 6 часов и обедал один; семейный обед был в 4 часа), мы с Колей подса-

живаемся к нему, и наше и его удовольствие разговаривать при этом с ним, попользоваться не в урочный час кусочками от поданного ему; если он после обеда приляжет на полчаса у себя на кровати, мы опять около него со своими разговорами, и он любил это; когда он выходит затем в мамину комнату, он находит время говорить и с нами — но все же он принадлежал нам не всецело, он сидел с мамой и разговаривал с ней. Но в те вечера, когда мамы не было дома, мы с Колей завладевали папой целиком — и нам не мешала тетя: она всей душой наслаждалась той радостью, которую он давал нам и мы ему. Блаженные вечера! Тетя с умиленным счастливым лицом, верная своему правилу «не сидеть, сложа руки», быстро движет спицами чулка. Папа на турецком диване, держа книгу, на некотором расстоянии от себя и так, чтобы поставленная перед нею свечка освещала страницу, читает нам вслух. Мое место — около него, прижавшись к нему. Коля — на другом диване. И льется, и льется музыка пушкинского стиха и знакомые строфы Лермонтова, и охватывает сила ими выражаемого, и переливается так выразительно красивый любимый голос. Не забыть мне, с каким восторгом я могла все снова и снова слушать «Братьев-разбойников»; не забуду никогда, как он в первый раз прочел нам «Медного всадника» и как топот бронзового коня преследовал меня ужасом, когда пришлось потом идти, нет, бежать со страху наверх по пустому коридору и лестнице. Но иногда папа прерывает чтение и в свою очередь требует декламации. Тогда выступаю большею частью я. Я становлюсь перед папой и говорю стихи, иногда русские, иногда французские, и, кончив, лечу в объятия папы, обнимаю в радостном волнении его дорогую голову, и, счастливый, улыбающийся, он зовет меня своей Рашелью.

За папиной комнатой была проходная с выходом в коридор и на террасу, а за ней две комнаты в пристройке, выходившие в сад и во двор, с более низкими потолками и окнами меньших размеров, но светлые и уютные. В первой из них был устроен кабинет папы, а во второй по приезде в дом стала жить тетя. Но папа почти никогда не пользовался кабинетом, а тетя позднее переехала наверх в непосредственную близость к нам — и с этими комнатами в первые годы нашей жизни в доме у меня как-то не связано воспоминаний, кроме одного, яркого. Тетя была у предпраздничной вечерни в церкви Николы на Песках[26], как вдруг почувствовала себя дурно: у нее сделалось кровотечение горлом. Энергичная, привыкшая не растериваться, она и тут не утратила присутствия

духа. Она вышла из церкви, подманила проезжавшего мимо извозчика, села в пролетку, молча рукой указала ему на наш дом, отстоявший на несколько домов от церкви, подъехав, молча же сунула ему в руку медный пятак — и свалилась с ног только в своей комнате. Поднялся переполох, послали за доктором. Ей становилось все хуже, и к вечеру она решила, что умирает. Мысль о смерти была уже давно близка ее душе; она не говорила о ней, но готовилась к ней давно и желала она, чтобы Господь сподобил ее умереть «по-христиански». Пригласили по ее просьбе приходского священника исповедовать ее и причастить — и ждала его тетя, лежа на своем диване, заменявшем ей кровать, облаченная во все новое и чистое, давно заготовленное ею себе «на смерть», слабая, прислонившись к высоко взбитым подушкам, но со спокойным торжественным лицом. В комнате горели страстные свечи[27] — она верила, что свет их отгоняет в предсмертный час злобных духов, с тем и брала их с собою из церкви и хранила их у себя. В соседней комнате собрались все живущие в доме; слышались заглушенные рыдания; они усилились, когда после ухода священника она стала по очереди прощаться со всеми. Указав на маленькую книжку, она сказала папе: «Николенька, прочитай отходную». Он стоял перед киотом с книжкой в руках, но не начинал читать: он не мог, видела я, справиться с душившими его слезами. В эту страшную минуту, когда я впервые пережила возможность потери любимого человека, торжественную близость смерти, я не плакала; я чувствовала в душе твердость и желание помочь. Я подошла к папе и с необычной решимостью сказала ему: «Дай мне, я прочту». Он сказал мне: «Ты не умеешь по-церковно-славянскому». Я ответила: «Я умею». Тогда он безмолвно уступил мне свое место. И я, стоя перед киотом, в полном сознании принятой на себя ответственной роли чтеца читала громко и отчетливо от всей души и чувствовала, что так нужно для тети и что я поддержала папу, когда горе его, сильного, сделало слабым и что эта минута чем-то соединила меня с папой. Потом нас с Колей увели наверх спать, а на раннее утро было назначено соборование[28] тети. Но когда мы утром встали в обычный час, мы узнали, что соборование было отменено, потому что тете стало гораздо лучше. Мы сбежали к ней вниз: папа сидел около нее, счастливый тем, что миновало ужасное прошлого вчера, а тетя лежала еще очень слабая, но счастливая его присутствием у своей постели. Папа обнял меня и радостно начал говорить о том, как хорошо я читала вчера. «Только в некоторых словах делала неверные

ударения», — со слабой улыбкой заметила тетя. Это было так характерно для нее: даже в такие минуты подметить наши недочеты и сделать справедливое замечание, хотя бы этим и нарушая счастливое настроение. Но мы привыкли ценить в ней это чувство правды.

Папин кабинет и тетина комната около него, как я сказала уже, не связаны у меня с воспоминаниями; но эти же комнаты приобрели для нас огромное значение позднее, когда после кончины папы они перешли сначала к Мише, потом поочередно к Алеше и Коле. Тогда в них широко развернулась умственная жизнь нашей семьи; тогда «кабинет» стал местом самых задушевных бесед нас, так любивших друг друга братьев и сестер. Но к кабинету братьев и тому, чем он был для меня, я вернусь позднее; теперь я описываю дом, каким он был в конце 70-х годов прошлого века.

Из залы по коридору был ход в столовую, выходившую на север. Это была длинная узкая комната в три окна и с двумя высокими дверями: арка и в коридор, приятная для глаз мягко-коричневым цветом обоев под дерево и коричневым в тон к ним цветом портьер и занавесей у окон из солидной шерстяной материи рогожкой, подхваченных на обе стороны толстыми шнурами с тяжелыми кистями басонной работы. Мебель была наша прежняя, зальная: ореховый массивный раздвижной стол, теперь сдвинутый, посредине, а вдоль стен ореховые стулья с округлыми сквозными спинками и плетенным из камыша сиденьем. Часы восьмиугольной формы с маятником внутри висели на одной из поперечных стен, а над столом была ввинчена в потолок висячая бронзовая лампа с конусообразным колпаком из матового белого стекла. Главную, пожалуй, прелесть столовой придавал камин, вделанный в белую кафельную печь, выступавшую вперед между обеими дверьми. Камин этот красивого, но простого устройства, с узкой доской из белого мрамора отапливался тогда дровами.

Две комнаты еще внизу — у обоих концов коридора, — одна, маленькая и светлая, в распоряжении нашей экономки, другая, большая, — буфетная с выходом на черное крыльцо — вот и весь низ. По широкой массивной лестнице из полированного ясеневого дерева с изящным витым балясником поднимаешься наверх. Не стану подробно описывать его; это было бы тем более трудно, что в этих пяти комнатах мезонина часто происходили перемещения и потому перемены. Скажу только, что три из этих комнат, выходившие на юг, в солнечные дни сияли радостью

света и тепла и влекли к себе все сердца и что в одной из этих комнат, боковой, высоко в наружной стене было проделано небольшое продолговатое оконце, удачно освещавшее ее в глубине; через него в комнату красиво врывались лучи заходящего солнца, и когда я влезала на стоящий под ним комод, я могла любоваться широко разлившимся по небу закатом и мерцающим в нежной голубизне алмазом — вечерней звездой.

Вид из окон был тогда шире, чем теперь, не ограниченный громоздким зданием поликлиники «Христианская помощь»[29] и воздвигнутыми позднее по ближайшему соседству и далее многоэтажными домами. Были хорошо видны ближайшие церкви с растущими вокруг них деревьями; стариной и величавой стройностью веяло от шатровидной колокольни церкви Спаса на Песках[30]. Кругом толпились низенькие, самое большее двухэтажные дома с садиками, отдельно растущими при них деревьями или без них. В ближайшем к нам владении прямо и против наших окон, приобретенном впоследствии Красным Крестом, стояло три старых облезлых дома неинтересной архитектуры — ящиком, и связующий их двор был очень грязный; к забору внутренней стороны был примкнут невзрачный деревянный барак с плоской почти крышей, и из него выскакивали всклокоченные мастера-сапожники с ремешком вокруг головы и бледные, изможденные мальчики-подмастерья. Но и на этом убогом дворе, радуя взор, росло несколько деревьев.

Верх — это было царство наше, детей. Обособленный мир, связанный с низом, питающийся его влияниями, но живущий и своими особыми интересами. Средняя большая комната была отведена под «классную», и в этой светлой веселой комнате я в течение многих лет наслаждалась радостью ученья: приобретение знаний, преодолевание трудностей. Здесь стояла много лет наша прежняя рояль, на которой я до 14 лет мучительно для себя и моих учительниц безуспешно училась музыке. Но когда приезжала к нам гостить Катя, она бренчала здесь свои легонькие вальсы и незатейливые пьески, выученные ею на слух и с которыми она бы не решилась в то время выступить на бехштейновской рояли внизу. Здесь подростком-гимназисткой я свободно под звуки «русской», быстро отбиваемой Сашей или Машей Николаевыми, взрослыми девушками уже, но умевшими так забавлять меня, с увлечением плясала «русскую», недопустимую внизу; никто не учил меня ей, но стоило раздаться родным звукам, как тотчас естественно желалось отвечать соответствующими движениями: быстрым темпом плясового па, поднятием

над головой округленных рук, помахиванием платка и пр. Из двух смежных с классной комнат левую, узкую, занимала мадемуазель, а правую, более поместительную, — Лена, ставшая со временем приходящей ученицей, так как теперь пансион ее был недалеко от нашего дома. Коле было устроено спальное помещение в глубине классной; до тех пор, пока после кончины папы он не переселился вниз, он разделял со мной вполне мою верхнюю жизнь. Я со своей старенькой деревянной детской кроваткой помещалась в одной из комнат, выходивших на север, занимаемой Юлией Андреевной. В соседней комнате жила Дунечка, деля ее с горничной, — и хотя ей, служившей теперь специально маме, приходилось много времени быть внизу, одно сознание ее любящей близости было успокоительно. Когда на рождественские праздники приезжали старшие братья, мы теснились, и наша с Юлией Андреевной комната предоставлялась им.

В эти две недели в жизнь верха вливалась шумная свежая струя; было шумно и весело, слышались необычные разговоры. Та свобода, которою пользовались старшие братья, невольно увлекала нас. Как вихрь носились мы с Алешей вверх и вниз по лестнице, и раз Коля чуть не свалился при этом между балясинами перил. Мы слушали их веселые рассказы о гимназической жизни, смеялись, возились с ними. Они не находились под контролем наших воспитательниц, ложились поздно, потому что засиживались за полночь с мамой, вставали поздно, ссорились и мирились. И от чего, подумаешь, ссорились? Оба, например, до смерти боялись привидений. Один запирал от них дверь на ключ, надеясь, что они не проникнут через запертую дверь; другой настаивал, чтобы дверь оставалась незапертой на ночь: ведь если привидение все-таки придет и откроет запертую на ключ дверь, его появление будет еще таинственнее и страшнее.

В доме было не только светло и уютно; в нем было тепло и царила атмосфера чистоты и порядка, было чисто во всех углах и закоулках, не только на видимых глазу местах. Мебель содержалась так, что через сорок лет она (кроме обивки, которую пришлось менять) казалась новой. Прислуга вставала рано, и первым ее делом была тщательная уборка комнат. Два раза в неделю бывали полотеры; они натирали и лестницу. Перед Рождеством и Пасхой и перед приездом с дачи дом «обметали». Это было целое священнодействие. На самой заре, когда в доме стояла еще предрассветная тьма, просыпаешься, бывало... и мирно засыпаешь

снова под неясные звуки осторожно заглушенных шагов, слышишь передвигание раздвижной лестницы, полушепотом произносимые замечания при совместной работе. Это внизу при свете вставленных в простые медные подсвечники огарков происходит обметание парадных комнат. Когда мы встанем, оно придет и к нам в жилые комнаты, выгоняя нас по очереди то из одной, то из другой из них. В обметаемой комнате мебель прикрыта простынями, форточки открыты, и горничные девушки, обвязав себе от пыли головы платочками, проводят по потолку и обоям большой круглой щеткой на длинном шесте. Позднее — новая картина: появляются две незнакомые женщины — поденщицы, взятые по знакомству, и потому нечего бояться, что с ними пропадет что-нибудь, — с подоткнутыми подолами, неся осторожно в руках по деревянному простому табурету, на котором у каждой из них поставлен таз с водой и мочалкой и лежит по большому куску казанского мыла[31]. Передвигаясь бесшумно из комнаты в комнату, они делают свое поделенное между ними дело: одна моет белые кафельные печи, другая — окрашенные блестящей белой клеевой краской двери, подоконники и косяки окон и стекла в них. И распространяется по комнатам особый запах: мыльной воды и мочалки, говорящий о чистоте и свежести. Третье действие: надо было вычистить медные отдушники печей, медные ручки у дверей, медные шпингалеты на окнах, медные головки на затворах печных заслонок. На этот раз появлялся — явление частое, потому что это действие повторялось то и дело, не только перед праздниками, — кухонный мужик со своим табуретом: на нем у него лежали какая-нибудь старая коробка с истолченным в порошок кирпичом и красные прокипяченные тряпки (мазей для чистки меди тогда не знали). Окончив свое кропотливое дело, он забирал наши медные подсвечники — на каждый стол, при котором занимались работой ли или чтением и письмом, полагалось по два подсвечника; они были из белой или красной меди, с круглым или звездообразным основанием, и горели всегда как жар, так как постоянно подвергались чистке в руках кухонного мужика, которому был отведен особый угол для чистки кирпичом самоваров, кастрюль и всех переносных медных предметов в доме. Все предметы, могущие подвергнуться той или иной чистке: бронза, фарфор и пр. — выносятся из комнат в буфетную, и тут их моют, перетирают. Все зеркала в доме протирают спиртом с водой, орудуя при этом смоченными в этой смеси комьями мягкой бумаги, газетной или афишной. Потом перетаскивали

в буфетную все цветные горшки в доме — на каждом окне их стояло по несколько — и обирали с растений засохшие листья и осторожно обмывали все листочки. И вот после всех этих трудов дом готов был достойно встретить праздник: все в нем сияло освеженной чистотой, все блестело и манило приветом. Эта предпраздничная уборка, ставящая на несколько дней весь дом вверх дном, входила как часть в то торжественное предпраздничное настроение, и воспоминание о ней ярко сохранилось в моей памяти вместе с сопровождавшими ее звуками, шумами и запахами.

В доме поддерживалась ровная, приятная, теплая атмосфера — слишком теплая, может быть, для настоящего времени, когда мы привыкли мерзнуть в наших квартирах — думается мне, от 16—18 градусов. Дров не жалели; они были дешевы в те времена: несколько рублей за сажень[32], считая ее в двух направлениях — в длину и в вышину с вершком[33] походцу, убористой кладки. Дрова заготовляли с лета на весь год, и они стояли на дворе длинными рядами. По зиме топили каждый день все печи в доме. Утром рано — и это было обыкновенно сигналом к вставанью, — бывало, слышишь привычные звуки: тяжелую поступь человека, медленно поднимающегося по лестнице с тяжестью, затем шум от рассыпавшейся у печи охапки дров, открывание печной заслонки, чирканье спички. А когда выйдешь из спальни через некоторое время, в печи горит жарко огонь, красиво и уютно, и у печки увидишь прикорнувшую темную фигуру дворника, топящего печь, — и так красиво бросает она огненный отблеск на противоположную стену, и так уютно потрескивают дрова.

Во всем доме стоял чистый свежий воздух: в каждой комнате по нескольку раз в день в положенное для того время открывали форточку, несмотря на то что тогда гораздо больше, чем теперь, боялись холодного воздуха: считалось опасным входить в комнату с отворенной форточкой. Много значило, что кухня помещалась вне дома, так что не могло быть кухонного чада. В парадных комнатах несколько лет позднее по маминому почину стали прыскать из пульверизатора водой с духами, и этот душистый воздух встречал посетителя при входе его в залу и казался присущим дому. Наши старые знакомые и друзья теперь вспоминают об этом как о чем-то приятном и гармонировавшем с красотой в доме; лично мне, не любившей духов, этот ароматный воздух не нравился. Он мне казался изнеживающим. В молодости особенно я вся рвалась к свету и воздуху, к бодрящему веянию природы, и милее мне был запах сосны и ели, смолистых шишек, упавших с дерева, и свежих душистых яблок.

Когда я думаю о нашем доме за долгий период с года его приобретения до начальных лет двадцатого столетия, я не мыслю его без слившегося с ним образа Любови Петровны Кондратьевой, прослужившей у нас экономкой свыше тридцати лет. Весь строй дома созидался, перерабатывался, направлялся всегда деятельной мыслью мамы. Но проводились в жизнь предначертания мамы неусыпными трудами Любови Петровны. Очень высокая, сухая и прямая фигура, густые рыжие волосы, скромно расчесанные спереди на пробор и толстой косой уложенные венцом на голове, на бледном веснушчатом лице с сухим и прямым носом и алыми серьезной складки губами — внимательные, умные, все видящие серо-голубые глаза, неторопливость и достоинство в движениях — вот внешний облик ее. Вся она была олицетворенный порядок и аккуратность; она работала не спеша, но методично, и работала неустанно, не жалея труда, так что успевала бесконечно много сделать. Никакого положительно труда она не страшилась; главное для нее было достигнуть цели: достигнуть в намеченном деле наилучшего результата. Она не щадила на это ни сил, ни времени, ни упорства. Путем многочисленных опытов, иногда неудачных, — и как она мучилась тогда, как расстраивалась — она доходила до того, какой точно температуры должен быть льезон[34], вливаемый в творог при изготовлении пасхи, что надо делать, чтобы варенье из зеленого крыжовника имело зеленый цвет, сколько надо класть желатину в заливное и в крем и т.д. и т.д. — и, добившись и научившись раз навсегда, она безошибочно повторяла в данном деле изученные приемы и безошибочно достигала в нем наилучшего результата. Вот почему можно было быть спокойными, что пасха заварная выйдет на славу и на утеху пасхальным гостям, что крыжовник в варенье не потеряет зеленого цвета, что шипучая вода из черной смородины будет такая, что о ней спустя много лет станут вспоминать знакомые, что желе и смоква, соленье и маринады удадутся. Но сколько сил и труда брало у этой железной натуры всякое такое дело: сколько хождений из дома в кухню, из кухни в подвал или в погреб — недаром она говаривала: «К вечеру ноги-то у меня приходятся». Сколько мелкой, иногда кажущейся лишней работы; сколько одних перенесений «на холод», «в тепло», в более подходящее место, возможность чего давал простор подвала, погреба с обширной погребицей, кладовых, сеней с шкапчиками. Мне запомнилось, между прочим, как она варила варенье из виктории[35],

которое выходило у нее на диво вкусным и красивым — все, что она ни делала, должно было быть красиво. Для того чтобы сироп получился определенной густоты и ягоды не разваривались бы от слишком длительной варки, она в ей хорошо известный момент варки снимала тазы с плиты и ложкой осторожно выбирала ягоду за ягодой на решето, доваривала сироп опять-таки до известной густоты, опускала в него опять ягоду за ягодой ложкой со всякой предосторожностью и доваривала все вместе уже до конца. Варка варенья — это было вообще целое священнодействие, начиная с покупки ягод на Болоте[36]. Рано-рано утром отправлялась туда Любовь Петровна, взяв с собой на подмогу кого-нибудь из женской прислуги. Шла она пешком, шествовала неторопливой, размеренной походкой, выступая величественно, прямая, как всегда. Приходила вовремя, спозаранку, когда выбор бывал еще обеспечен. У нее были знакомые торговки, но она считала долгом обойти все ряды, поглядеть у всех товар, прицениться. Роняя немногосложные слова, она упорно сбивала цену; иногда медленным движением, как бы снисходя, брала с лотка или корзины ягоды две-три и «пробовала», иногда неприятным голосом осведомлялась: «Нет ли закрасы?» Наконец останавливала свой выбор, всегда удачно, и, удалившись степенно с рынка с пятью или шестью решетами ягод, она брала извозчика, упорно, непреклонно торгуясь с ним, и, прямая, как стрела, воссаживалась на пролетку, больше заботясь не о своем удобстве и удобстве спутницы, а о том, чтобы не помять ягоды. Дома надо было как можно скорее организовать чистку ягод: требовалась мобилизация всех свободных женских рук среди прислуги, надо было достать блюда, тарелки, миски, и при ее щепетильном требовании идеального порядка и чистоты, их, начисто вымытых, она приказывала еще раз сполоснуть и вытереть. Затем варка, которая лежала исключительно на ней. Вот я представляю себе: вошла она в кухню, на лице выражение человека, приготовившегося к важному делу. «Ну-с, — скажет, обращаясь к кухонному мужику, — Иван, готовы у вас тазы?» Медные тазы с ручкой и без нее стоят готовыми на поварском столе ей на выбор и горят жаром. Она подойдет, пересмотрит их, велит сполоснуть и вытереть чистым полотенцем, понюхает, нет ли какого постороннего запаха. Потом пойдет за нужными ей решетами, тарелками и прочим, все это расставит на столе в порядке, чтобы все было под рукой и ничему бы не мешало, «чтобы этого торгу тут не было» (любимое ее выражение), и тогда только пойдет отмеривать стаканами сахар-песок.

И, возвратившись с ним, принималась за варку и часами уже не отходила от горячей плиты, передвигая и то и дело снимая тяжелые тазы, применяя к каждой ягоде дознанный опытом метод варки, не думая об устали, а только о том, чтобы варенье вышло совершенным во всех отношениях. И так было во всех делах, крупных и мелких. Словно брызги фонтана воссоздает передо мной воспоминание отдельные мелкие, но такие характерные картинки. Вот она накладывает фрукты в большую хрустальную вазу на ножке. Она переложит их несколько раз — пока не получится красивого эффекта от сочетания разных сортов фруктов и не улягутся они правильной пирамидой, которая не развалится, когда лакей станет обносить ее вокруг стола. Окончит свое дело и отойдет на шаг, проверяя свою работу. «Постойте, тут что-то не так», — скажет и поправит какую-нибудь сливу или веточку винограда и, оставшись наконец довольной, отдаст величественно приказание: «Ну, теперь несите». С такой же заботой о красоте и эффекте, с таким же видом сосредоточенности над своим делом она накладывала на вазы и тарелки сладкие пирожки, печенье, пти фур[37] и конфеты, и когда она изрекала: «Ну, теперь несите», — можно было быть уверенным, что ваза или тарелка будут содействовать красоте в сервировке чайного стола.

Вот она пришла мне помочь уложить чемодан. Она деликатно, но тонко улыбается. «Нет, милая, вы — не то; дайте-ка я», — и начнет с того, что вынет все уже уложенное мною. «Постойте, милая, чтобы прежде всего этого торгу у вас не было», — и она разложит по кучкам укладываемые предметы. Потом начнет находить каждой вещи подходящее ей место, раз десять примериваясь, перекладывая. Извод берет глядеть — похуже бы, да поскорее, — но чемодан уложен идеально, и остается только поцеловать ее и благодарить. Вот влетишь в буфетную с каким-нибудь поручением мамы, а она сидит на конце большого разбирающегося стола, так называемой «штуки», за обедом и не торопясь, как делает все, подносит ложку или вилку ко рту. Пока выпаливаешь свое поручение, она медленно и аккуратно вытрет себе губы салфеткой и, привстав немного, спросит невозмутимо спокойно, глядя в лицо умными глазами и не улыбаясь: «Что, милая, вам угодно-с?» Невольно повторишь сказанное более спокойно; тогда она скажет: «Сейчас, сию минуту-с», вытрет вторично рот салфеткой и встанет исполнять требуемое. Вот переносят из одной комнаты в другую какую-нибудь мебель. Ни за что не позволит она сделать это без своего присмотра: она боится,

как бы прислуга не задела и не попортила бы косяк двери, не поцарапала бы мебели. Всем своим видом человека, присутствующего при серьезном деле, она побуждает к осторожности. Озабоченная, она руководит переносящих непрерывными восклицаниями: «Стойте, стойте! Забирайте вправо! Теперь приподнимите вот этот конец!» — и т.п. И благодаря такой мелочной, может быть, осторожности как сохранялось многое. Она, наверное, изводила прислугу, но приучала ее бережно обращаться с вещами.

Она была неоцененной помощницей мамы. Она чутко понимала, в каком духе мама желает вести дом, и прилагала все силы своего недюжинного ума, своей трудоспособности, своего добросовестного отношения к делу, к исполнению ее предначертаний. Я вижу ее, как сейчас, стоящую перед мамой, прямую, с внимательным неулыбающимся лицом, с достоинством «принимающую приказ». От времени до времени она роняет: «Слушаюсь! Слушаюсь!» — или прервет вежливо мамину речь: «Позвольте-с вам сказать: не лучше ли будет...» — и присоветует всегда толково и умно. Или они сводят с мамой счета: перед мамой лежит кучка небольших бумажек с отдельными счетами, зачастую написанными каракулями полуграмотной рукой — и случается, мама не сразу разберется в них. Тогда Любовь Петровна медленно наклонится над столом, прострет к бумажкам длинные пальцы худощавых рук, переложит их в другом порядке: «Позвольте-с так: это к этому-с; извольте теперь подсчитать-с», — и внесет порядок в сбившийся счет. Как во всяком деле, она и в счетах была уверена в себе: в них она была до щепетильности аккуратна и добросовестна. Недаром она несла свою голову с таким гордым достоинством: она сочла бы для себя несмываемым позором, если бы к ее честным трудовым рукам пристала чужая копейка. После такой долголетней службы в нашем доме все, что она имела для жизни, была пенсия, выплачиваемая ей нами ежемесячно, и то, что она получала в виде подарков. Все было у нее на руках: ключи от всех кладовых с имуществом, все пищевые запасы; но немыслимо было бы для нее попользоваться чем-нибудь без разрешения.

Весь дом был у нее на руках, и прежде всего под непосредственным началом ее была прислуга: в доме лакей и две горничные девушки, в кухне — повар, кухонный мужик, людская кухарка, прачка, дворник и кучер. Большинство распоряжений мамы передавались прислуге через Любовь Петровну, и она старалась о том, чтобы так называемые «непри-

ятности» не доходили до мамы, не беспокоили ее. Надо было уметь ладить со всевозможными характерами, считаться с взаимными отношениями, направлять на работу, надо было уметь управлять. И управлять она умела. У нее были крупные административные способности. Она умела распределять дело между подначальными ей лицами, требовать и достигать, чтобы назначенное им дело добросовестно исполнялось, она заставляла работать; но она же всячески заботилась о прислуге: об ее здоровье, нуждах, покое и отдыхе. Правда, как хорошая хозяйка того времени, об этом прежде всего заботилась мама — она, как вспоминала после ее кончины прежняя прислуга, никогда «не жалела куска» — сыта была прислуга и навещавшие ее многочисленные родные, и лечили ее, и частью одевали на хозяйский счет; но Любовь Петровна стояла ближе к служащим и к их делам и потребностям, она принимала их к сердцу и умела улаживать их, поскольку разрешение их зависело от мамы. Слишком чувствовался гнет ее властности: чувствовалось, что она может миловать и карать по желанию. Кроме того, она, такая сдержанная, умела кричать на прислугу, браниться обидными словами и, что еще хуже, язвить холодной насмешкой. Но как бы то ни было, она держала подвластную ей армию в полном порядке и боеспособности. Никакие хозяйственные трудности не казались непреодолимыми, и весь сложный механизм большого хозяйства двигался безупречно.

Несомненно, она многое заимствовала от мамы, многому научилась у нее; но задатки, сделавшие ее такой удачной ученицей, были заложены в ней. Какая же среда могла дать такой тип? К ней приезжала временами из Калуги мать, Александра Ивановна, привозившая ей в гостинец «калужское тесто», — средних лет с румяным круглым, приятным и серьезным лицом, в черном шелковом повойнике[38] и широкой черной канаусовой[39] кофте старомодного фасона. Она была немногословная, но такая приятная неспешными, полными деликатности и достоинства манерами. И вся она была с головы до ног такая чистенькая, аккуратная. Чаще навещала Любовь Петровну жившая в Москве ее крестная мать, сестра матери, Марья Ивановна. Она напоминала лицом сестру; но, несмотря на большую полноту, была милее ее с обворожительно добрым и умным лицом, одетая тоже очень просто, но более по-столичному, с косынкой на голове. И она, эта чрезмерно полная женщина, была одета с изяществом аккуратности. Эти две женщины воспитали Любовь Петровну. Александра Ивановна была обременена многочислен-

ными детьми, и поставить их на ноги ей, вдове, небогатой мещанке, владевшей только небольшим домиком в Калуге, было нелегко. Она отдала одну из своих дочерей, Любовь Петровну, на воспитание сестре. Остальных она «подняла», и они, сыновья и дочери, вышли все как из одного питомника: честные, трудящиеся, работоспособные, добросовестные. Александра Ивановна держала детей в строгости и уважении к себе; от нее в обращении с детьми веяло сдержанностью. Марья Ивановна была приветливей; ее ласка скрасила невеселое детство Любовь Петровны, и Марья Ивановна осталась ей на всю жизнь ближе матери. Позднее Любовь Петровне пришлось жить в качестве бедной родственницы в доме богатого купца Н. Она очутилась подругой его дочери. Здесь с ней все обращались хорошо; но она, наверное, страдала от неравенства. Ее подруга и двоюродная сестра училась в гимназии (в этой полусерой семье это была уступка новым веяниям); она же в обществе тетки целый день сидела за пяльцами или помогала ей в хозяйстве. Окончив курс, двоюродная сестра немного неожиданно для их круга вышла замуж по любви за ставшего потом известным профессора, тогда как Любовь Петровну дядя, снабдив приличным приданым, выдал за башмачника. Брак этот был неудачен: башмачник пил и, к счастию, скоро умер, оставив Любовь Петровну без средств и с болезненным, чахлым ребенком на руках. Ей пришлось устраивать свою жизнь, и она решилась поступить к нам в экономки.

И вот я нередко думаю: говорят так много о «помещичьей культуре», но забывают о той культуре, которая выработалась и царила в домах мещан, мелкого и среднего купечества, духовенства, отличавшейся культом чистоты и порядка, видевшей в ней красоту. Продуктом этой культуры была Любовь Петровна.

При доме был маленький садик, спускаться в который можно было с террасы. Папа на месте прежней маленькой терраски выстроил новую, более обширную и нарядную, с красивым балясником и украшенную несложной резьбой. Она затемнила окна его комнаты, но в течение долгих-долгих лет служила к удобству и радости всех членов семьи. Сад при доме — это был источник новых и не изведанных еще наслаждений! До сих пор при выходах на воздух мы были ограничены улицей. Теперь мы постигли всю прелесть свободных игр в саду и на дворе, приближавших нас к дачным переживаниям. Какое наслаждение зимой ледяная гора, катанье на салазках, разгребанье снега лопатами (меня всегда привле-

кал физический труд), весной и осенью беганье с палками-«оружием» в руках, залезанье под террасу, пускание щепок-«корабликов» в кадках под водосточными трубами — каждая кадка именовалась тем или иным «океаном», — опускание на дно кадок пустых цветочных горшков и вылавливание их обратно и пр. Игры и забавы на дворе и в саду приобрели для нас вскоре особенную привлекательность: мы получили возможность делить их с милыми товарищами. Но об этом скажу немного ниже, тем более что они несколько позднее появились на нашем жизненном горизонте. Теперь вернусь к нашему милому саду. С тех давних пор он во многом изменил свой облик. Тогда красой его были два старых тополя у заднего края его, один черный, в три мощных ствола, осенявший круглый деревянный стол и скамейки с двух его сторон, окрашенные в зеленую краску, и стройный обыкновенный тополь, который по весне ронял на стоящую под ним зеленую же деревянную скамейку и проходящую мимо него дорожку бездну темно-красных сережек с приставшими к ним душистыми смоляными чешуйками с почек. Сад был обрамлен густыми кустами сирени, дававшими обильное цветение, и росли в нем кусты одичавших центифольных роз[40], и маленькая елочка, любимая моя, потому что она была посажена папой, а на клумбах красовались пестрые летники[41]. Летники были посажены также одно время в четырех симметрично расставленных терракотовых вазах, но они были скоро убраны по желанию мамы. Но не только это, хорошо знакомое по дачным впечатлениям, представлял наш садик пробудившемуся в нас рано интересу к изучению природы. И тут мне приходится вспомнить с благодарностью и симпатией типичную фигуру садовника Якова Петровича. Был ли он заправский садовник, я не знаю, скорее сомневаюсь в этом. Он был отцом нашего повара, Петра Яковлевича, который располагал всех в доме к себе своей, я бы сказала теперь, культурностью, отсутствием грубости и склонности к питью, чем так страдали обычно тогдашние повара. Старик отец жил в семье Петра Яковлевича на покое и, наверное, прирабатывал себе, занимаясь садовничеством. Яков же Петрович был типичный красивый старик-великоросс, крестьянин того времени, высокий ростом, с волнистыми седыми волосами и окладистой седой бородой, румяным, здоровым лицом и умными глазами. Ходил он неизменно в синей из тонкого сукна поддевке; она сидела на нем щеголевато, и он ухитрялся при работе сохранять ей ее аккуратный, вычищенный вид. К нему все относились с уважением. Взрослые звали

его по имени и отчеству, мы с Колей — «дедушкой». Бывало, идет он по двору, немного согнувшись вперед, быстрой бодрой походкой, и мы увидим его из окна, мы тотчас спешим в сад. И там находим его уже за работой прикорнувшего к земле. Он говорил нам всегда серьезно, истово как-то и без улыбки, и в этом заключалась прелесть разговора с ним: серьезно о серьезном говорили мы. Двоякого рода интерес приковывал нас к «дедушке»: то, что он сажал в нашем милом садике, и то, что он рассказать мог про сажаемое. Помимо обычных садовых и известных нам цветов он делал различные попытки пересадки полевых и лесных цветов в наш сад. Чрезвычайно удачно пересадил он на нашу клумбу болотный касатик[42]: он рос тут многие годы и давал цветы. Меньше удачи было с другими растениями, например с петровым крестом[43]: он поднялся, но просуществовал у нас недолго. Но Яков Петрович не только показывал нам принесенные им растения, любовно, внимательно глядя на них; он рассказывал нам об их свойствах, о том, где и как они растут. От него мы впервые в изустной передаче узнали о таинственной силе травы плакуна[44], о том, что от подхода нечистой силы хорошо носить крест, вырезанный из причудливого корня петрова креста, что корнем касатика лечат от холеры и много другого про пользу трав. Записи его слов чуть ли не первые мои этнографические записи.

С переездом в новый дом мы переселились в незнакомую нам доселе часть города. Было так интересно открывать новые места. Мы скоро освоились с сетью нас окружавших улиц и переулков и полюбили их; и несколько лет подряд наши прогулки ограничивались преимущественно ими. Мы полюбили их своеобразную спокойную прелесть; но я не помню, чтобы наши прогулки возбуждали во мне столь сильное поэтическое чувство, какое я испытывала, гуляя по Замоскворечью. Меньше, пожалуй, было красоты кругом — в то время. С тех пор эта часть города украсилась многочисленными интересными в архитектурном отношении зданиями и улицы приняли более благообразный вид (в последний раз я видела их до революции 1917 года). В те времена — припомню кое-что из прошлого — улицы были неухоженны, грязны и пыльны — бочки со скудной поливкой появились на улицах Москвы гораздо позднее, — тротуары, отделенные от мостовой каменными выкрашенными в серый цвет тумбами, были вымощены квадратными каменными плитами, в редких случаях против богатых домов продолговатыми гранитными плитами и

против бедных из мягкого известняка. Тротуары были неровные, и на них то и дело выдвигались, занимая добрую половину их ширины, одна или несколько ступенек крылец, перед парадными дверьми домов (такое устройство крылец было впоследствии запрещено городским управлением); это очень затрудняло движение. Впечатление невзрачности и грязи производили особенно Арбат и Молчановка. Наша Собачья площадка тоже не блистала чистотой и нарядностью. Вместо нынешнего фонтана и окружающего его сквера[45] ее «украшали» безобразная серая будка — жилище постовых городовых или «будочников», как их в то время называли, — и небольшой некрасивый бассейн, вокруг которого всегда бывало налито и толпились характерные фигуры водовозов, снабжавших водой окрестные дома: они или возили воду на себе в открытой кадке, поставленной зимою на салазки, и зачастую и кадка, и салазки, и сам водовоз были обледенелые, или же водовоз имел в помощь себе лошадь, и она везла ему закрытую бочку с квадратным прорезом вверху, в которое вставлялся черпак на длинном шесте и через который по пути при продвижении лошади вперед с однообразным и мерным и гармоничным звуком выплескивалась вода. На площади было тогда только два значительных дома: дом Хомяковых[46] (в нем теперь помещается Музей быта[47]), как и теперь окрашенный в светло-желтую краску, и дом, купленный впоследствии Романовским, позднее перешедший во владение Обухова. Романовский переделал фасад и оштукатурил дом, а я помню его деревянным, выкрашенным в темно-коричневую краску, с белыми колоннами. При этом доме были два низеньких и длинных тогда тоже флигеля, не оштукатуренных еще, тоже окрашенных в коричневую краску с белыми украшениями. Один из них на углу Борисоглебского переулка, приходившийся против нашего дома, имел в наших глазах живой исторический интерес: в нем, говорили, некоторое время жил Пушкин[48], и мы радовались этому соседству и гордились им. Но в те годы, о которых я говорю, на флигеле, прямо против наших окон, красовалась большая ярко-синяя с ярко-красным вывеска распивочного заведения, и дверь его то и дело хлопала, впуская и выпуская людей, зачастую самого предосудительного вида. А по воскресеньям, когда продажа питей была запрещена, неизменно повторялось одно и то же. Дверь в заведение закрывалась наглухо и, кроме того, притворялась снаружи деревянной двухстворчатой дверью вроде ставен, которой на ночь предохранялась стеклянная входная дверь. Вход был прегражден. Для большей, каза-

лось, верности на крыльце стоял сиделец лицом к улице, заложив руки за спину и придерживая ими створки деревянной двери, с равнодушным как будто видом поглядывая то туда, то сюда. Но вот к нему подходил субъект весьма проблематичного вида, похоже было, что из завсегдатаев заведения; сиделец на высоком крыльце и субъект на мостовой как давнишние знакомые вступали в мирную беседу, равнодушно, по-видимому, поглядывая по сторонам, и вдруг с неимоверной ловкостью субъект проскальзывал между спиной сидельца и дверью, створки ее быстро раскрывались заложенными за спину руками ее охранителя — и субъект исчезал за стеклянной дверью в глубине заведения. Сиделец принимал каменный, невозмутимый вид и глазел вокруг, пока не представал перед ним новый знакомец, с которым повторялась та же история. И много таких знакомцев после краткой, незначащей беседы с сидельцем проскальзывало за его спиной в закрытую как бы наглухо стеклянную дверь. Часто можно было видеть, что охранитель двери со ступенек своего крыльца беседует с блюстителем порядка, городовым, стоящим на мостовой и смотрящим за соблюдением праздничного отдыха, — и вдруг городовой с такой же легкостью, как и прочие, протискивался за спиной сидельца в гостеприимно для него приоткрытые двери; разница была только в том, что он спешил, выпив предложенный шкалик, вернуться на свой пост.

Что еще припоминаю? Арбатская площадь была очень грязна; на месте нынешнего сквера стоял бассейн в виде башни. Поварская еще не была обсажена деревьями. На сквере Спасопесковской площади тополя были посажены позднее. На Новинском бульваре деревца были еще совсем молоденькие и не давали еще тени. Девичье поле было еще настоящим полем, пустынным и не застроенным еще, и помню, какое впечатление унылости оно произвело на меня, когда раз, в осенний холодноватый вечер мама взяла нас с собой, Колю и меня, ко всенощной[49] в Новодевичий монастырь. Темнело; мама, боязливая как всегда, спешила домой, не достоявши всенощной. Пролетка быстро катилась по направлению к Плющихе, к городу, ветер жалобно посвистывал, и сумеречные тени ложились на зеленую траву безлюдного широкого поля.

Улица меньше будила в нас мысль, чем то было в раннем детстве, в Замоскворечье. Мы, однако, знали историческую ценность окружающих нас улиц и переулков с такими характерными названиями, также отдельных домов, мы пытливо искали исторических воспоминаний; но вокруг

нас такие интересующиеся, обладавшие такой живой мыслью сами были мало осведомлены в этом отношении: ведь знание Москвы в те времена далеко не было так двинуто вперед, как теперь, и старину свою, по-моему, так не ценили, как теперь. Да и начало XIX и даже конец XVIII века людям старшего нас поколения не представлялись временем уж столь отдаленным. Никто не обращал нашего внимания на архитектуру церквей, столь многочисленных в этой части города[50], не называл имен их строителей, годов их сооружения. Никто не указывал нам на красоту домов ампир, в сравнительном изобилии рассыпанных по окрестным улицам и переулкам. Но к ним нас потянуло — не с точки зрения своей старины, а того, как наши русские архитекторы приспособили к нашей жизни формы классического искусства, создав своеобразный московский ампир[51]. Нет — но мы были сами под влиянием классицизма, и мы с инстинктивным интересом искали его проблесков. Мы недавно научились различать дорические, ионические и коринфские капители колонн, и мы не пропускали ни одного дома с колоннами или пилястрами без того, чтобы с увлечением не проверять друг друга в том, что знали безошибочно: «Это — ионические? А эти — дорические?»

Улицы того времени были гораздо менее оживлены, чем в настоящее время; но они были куда люднее тихих улиц Замоскворечья. Было больше пешеходов, было и больше езды, причем езда была неправильная: не было еще распоряжения держаться правой стороны или его не соблюдали. Большей частью у угловых домов стояли извозчики, поджидая седока. Они или сидели понуро на козлах, или стояли, прислонясь к стене дома, одетые в синие широкие суконные армяки, подпоясанные мягким скрученным цветным поясом. Сани у них были низкие и широкие без полости, которая стала обязательна гораздо позднее, а пролетки — большею частью такие корявые и развинченные, что теперь, пожалуй, никто бы не сел «на такого извозчика». Кроме извозчичьих выездов по улицам встречалось много своих экипажей: узкие и высокие одноконные сани и широкие четырехместные с тяжелой медвежьей полостью, запряженные парой лошадей. На запятках не редкость было видеть стоящего во весь рост выездного лакея в выездной ливрее: длинной шубе с широкими клапанами карманов, блестящими пуговицами и очень широким отложным меховым воротником и с черным цилиндром на голове, украшенным сбоку круглой кокардой из узкого позумента. Если такой служил в семье генерала, он носил при выездах серую шубу

с широким длинным капюшоном с нашитыми по его краю красными полосами. Фигура такого выездного лакея водружалась рядом с кучером на козлах кареты. Кареты были большие, поместительные, лишь позднее и постепенно перешли к изящным маленьким кареткам. Летом наряду с колясками и пролетками нередко было встретить громоздкое ландо: открытое, оно представляло из себя поместительную четырехместную коляску; но можно было, поднявши ее стенки, обратить ее в карету. Обивка экипажей была по большей части довольно темная — такая, по-видимому, пошла недавняя мода, потому что я помнила еще, как в раннем-раннем детстве я видела одно ландо, обитое абрикосового цвета материей, другое — ярко-голубой; и наша карета была отделана внутри темно-голубой материей. Колеса экипажей были одноцветные, темной окраски. Характерны были фигуры кучеров. Они были одеты в длинные до земли и широкие кафтаны из темно-зеленого сукна с плотно обтянутой спинкой и толстыми борами[52] у талии, вокруг которой ложился узкий и жесткий пестрый кушак. Спереди кафтан запахивался полой, далеко заходившей за другую, а сбоку был пришит ряд металлических круглых и сквозных пуговиц формы бубенчиков. На руках у кучера были белые перчатки, на голове особого покроя «кучерская шляпа» — низенький жесткий цилиндр с приподнятыми полями. Зимой, при санях, кучера носили круглые меховые шапки, а при богатых выездах низенькие четырехугольные шапки пирожком из светло-голубого или светло-малинового бархата. В своем тяжеловесном костюме кучер представлял монументальную, неповоротливую фигуру; но это, кажется, от него и требовалось. Временами, редко в нашей части города можно было встретить «тройку» — очень широкие сани старинного, не городского, казалось и тогда, образца, с высокой спинкой и широкими крыльями, защищавшими седоков от взметаемого пристяжными снега. Ямщик был одет в синий извозчичий армяк, а на голове у него красовалась круглая жесткая шляпа без полей, украшенная поставленными стоймя павлиньими перьями. Такие «тройки» нанимались для катанья, преимущественно за город. Так быстро неслись они по снежным улицам, так подмывающе весело позванивала богато убранная металлическими бляшками упряжь, так молодцевато правил борзой тройкой ямщик, стоя выпрямившись во весь рост, что невольно хочется унестись вместе с пролетающими мимо; но удовольствие кататься на «тройке» мне пришлось испытать лишь гораздо позднее, уже взрослой.

Я не берусь описывать улицу и уличную жизнь того времени — слишком мало она давала мне впечатлений, и мало она запомнилась мне. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что уличная жизнь и в этой части города носила более степенный характер, чем то было в позднейшие годы, когда Арбат, например, обстроился многоэтажными домами и стал многонаселенной артерией с многочисленными магазинами, с кинематографами и пр. Было тише. На улице как-то не полагалось шуметь; даже пьяные не кричали и не пели, даже гимназисты, высыпая гурьбой из гимназии, не толкались, не дрались и не перекидывались снежками, как стали делать позднее — всякий бы «осудил», может быть, громко. Слышнее как-то в этой тишине звучала за душу хватающая шарманка. Шарманщики были частым тогда явлением на улице. Нередко встречались также плохо одетые и дрогнущие маленькие итальянцы и савояры[53] с дрессированными обезьянками. Но чего совсем не встречалось тогда и что возродилось на московских улицах, говорят, с 1916—1917 годов, вместе с наплывом нового населения, это народные открытые представления, петрушки, это лирники и слепцы, распевающие духовные стихи. Они казались недопустимыми в благоустроенном городе; я видела в детстве петрушку всего раз на даче, а слепцов слышала на деревенских ярмарках. Это казалось отмершим явлением, которое не заслуживало большого интереса и поддержки, как все, принадлежавшее необразованным классам. Замечу попутно, что в раннем детстве я видела на даче даже вожаков медведей; вскоре они исчезли.

С переездом в новый дом наша семья переехала из чисто купеческой части города в часть города преимущественно дворянскую. Внешнее обличье этих «кварталов», как говорили тогда, встречающиеся на улице и в церкви типы несомненно представляли различие; но мы, Коля и я, не заметили непривычных черт новой обстановки, а постепенно и прочно врастали в нее. И это было понятно. Мы сознательно не могли отнестись к классовым различиям, потому что толком не имели о них понятия. Наша семья держалась всегда — и тогда тоже — обособленно и довольствовалась своим внутренним содержанием. Ни папа, ни мама не искали богатых или влиятельных знакомств ни в купеческих, ни в дворянских кругах; звали к себе только таких людей, которых любили и уважали. От знакомства с некоторыми видными купеческими семьями папа с мамой сознательно уклонились, не чувствуя с ними внутренней связи. В нашей семье гордо чувствовалось сознание независимости: мы были

сами по себе, и не было у нас завистливого оглядывания: как другие живут, не было неделикатного засматривания в чужие окна. Нам было бы неприятно, если бы чужое праздное любопытство проникло в наш дом, в нашу семью, и в свою очередь наш семейный склад приучил нас блюсти святыню чужого семейного очага. Мы не любопытствовали относительно наших новых соседей. Если в Замоскворечье мы знали по фамилиям наших соседей Грачевых, Ляминых, Голофтеевых, Лепешкиных[54] только потому, что у них были большие или красивые дома, здесь, в новом квартале, мы не знали вовсе родовитых имен окружавших нас соседей, не знали их жизни. Мы случайно знали, что симпатичная старушка, которая так часто стоя поглядывала из окна своего дома на Молчановке и со своим старомодным белым тюлевым чепцом с рюшиком гармонировавшая с внешним обликом дома, деревянного, коричневого с белыми колоннами (дом этот впоследствии был перестроен и оштукатурен, позднее приобретен Пржевальскими[55]), была бабушка Гриневских[56]; знали это потому, что сестра нашей мадемуазель Сидони Малляр, мадемуазель Эммеранс, жила у них когда-то в гувернантках. Теперь же она жила у Трубецких[57] в доме на углу Молчановки и Серебряного переулка (позднее гораздо дом принадлежал Н.А. Хомякову[58]) — но вот и все, что нам было известно о наших соседях. Нам в голову не приходило, что большинство из них считает себя обособленной и выше других стоящей кастой, и когда мы несколько лет спустя случайно услыхали, что некоторые люди претендуют на кровь особой окраски, мы только посмеялись над этим, как над неудачной шуткой. Мы знали, конечно, слово «аристократия», но нами оно понималось в смысле «аристократизма духа»: это были «лучшие люди» — и такими надо было стремиться стать. Мы знали это слово и как насмешливую кличку: «аристократ» — это был человек изнеженный, белоручка, требующий себе больше услуг, чем надо, в своем обращении что-то изображающий из себя, — и такими мы не желали бы быть. Таким образом, между аристократами и неаристократами в моем сознании того времени не было непереходимой черты. Долго, очень долго я не останавливалась мыслью на классовых различиях, да они и не выдвигались с такой резкостью в это время, как то делалось позднее, в царствование Александра III[59].

Новая яркая личность входит в мою жизнь. Мне 10 лет, Коле — 11. Коле пора бы поступить в гимназию, но маме не хочется отпускать его из дому, и решено, что его отдадут через год, уже в 3-й класс. Мы учим-

ся по-прежнему вместе: с Сергеем Александровичем каждое утро, после завтрака и прогулки с Юлией Андреевной и мадемуазель. Все идет тихо-мирно, своим чередом. И вдруг — заболела мадемуазель, тихо как-то, неслышно, незаметно, как делала все в жизни. И так же незаметно отошла со своего преподавательского поста. Чем она болела, я не знаю; но она отработала свое дело и инвалидом должна была уехать на родину. Она переселилась от нас во временное убежище для гувернанток[60], но там снова слегла в постель. Мы с Колей очень жалели ее — мы привязались к ней и с большой радостью ходили с Юлией Андреевной на Рождественку, где тогда помещалось убежище, навещать мадемуазель Малляр и относить ей припасы, которые посылала ей мама. Между тем нам приискивали новую француженку. Две-три попытки оказались неудачными.

Посещение убежища представляло для меня живой интерес помимо жалости к мадемуазель Малляр: предо мной раскрывался краешек неведомой мне жизни. Позднее я расскажу еще, как с детства меня влекло знать жизнь людей и с каким интересом я приглядывалась к незнакомым мне явлениям и типам. В убежище жизнь взглянула на меня серьезными глазами, говоря ясно о необеспеченности и скромной и невзыскательной бедности. Это был уже не книжный материал, из которого постепенно составлялись наши представления о жизни, это была сама жизнь: светлая, но скудно обставленная комната, крашеный с пробоинами пол, отсутствие ухода и покоя для больной. Такой оставленной казалась в этой обстановке мадемуазель Малляр, и невольную симпатию возбуждала соседка по комнате, которая заходила к больной и оказывала ей бодрую, деятельную помощь. Она входила и при нас и приветливо улыбалась нам. Она жила здесь, найдя тут временный приют для приискания себе места, и когда мы узнали, что она поступает к нам, мы с Колей обрадовались: она нам нравилась. Звали ее мадемуазель Сикр. Стоило ей пожить с нами несколько дней, и она всецело привлекла нас к себе. Незаурядный была она человек со всеми своими хорошими и дурными качествами; значительный, во всяком случае, человек.

Она была родом с юга Франции, дочь отца-южанина и матери-северянки; но юг возобладал вполне и в наружности, и в характере. Она, по ее словам, ничего ровно не унаследовала от холодной сдержанности блондинки-матери, но вся вышла в отца: смуглой брюнеткой и вся энергия, вся воля и порыв вперед. И держалась она прямо и стройно, как человек с постоянным напряжением в себе волевых сил, и в то же вре-

мя чуть-чуть поддавшись плечами вперед, как бы всегда готовая к движению, к действию. Ее волосы, совершенно черного цвета, блестящие, потому что она промазывала их бывшим тогда в моде макассарским маслом[61], были гладко, без пробора зачесаны назад и заплетены в тугую косу, основание которой приходилось на самом темени и которая, будучи подогнута, зашпиливалась ею на затылке. Глаза, черные под прямыми черными ресницами, имели прелесть переменчивости выражения: в них горело пламя деятельной и чего-то ищущей души. Овал ее лица не имел приятной округлости; очертание подбородка и губ было скорее сухое. Она редко улыбалась — лицо ее живо было глазами, — но бывала у нее редкая улыбка, прелестная мягкостью и растроганностью, в которой ненадолго сияла сдерживаемая нежность способной на глубокое чувство души. В ее манере одеваться не было и тени кокетливой изысканности француженки — и это бы ей не пристало; но ее черные скромные платья сидели на ней хорошо. В одевании себя она придавала значение элегантности, distinction[62], но излишнюю изысканность в туалете считала тщеславием. В белье, до суровости простом, — она по своим средствам не могла иметь другого — так же, как в мытье, она соблюдала культ чистоты.

Серьезность — вот какая черта была основная в ней. Серьезно было ее миросозерцание: серьезно она воспринимала жизнь, ее крупные и мелкие явления. Она не развлекалась пустяками, но и в мелочах умела ловить серьезную сторону. Серьезно относилась она к жизненной задаче своей и других, и не только серьезно, но горячо, потому что горячность, даже страстность была другим ее основным качеством. С этой врожденной горячностью она исполняла то, что считала предназначенным ей делом; но, кроме того, в неусыпном исполнении своего долга она видела служение Богу. Нет, равнодушной, покойной, «теплой» она не была — и это увлекало.

Поразительна была в ней жажда знания, и этим тоже она зажигала. Все она стремилась знать, понять, и бодрой, деятельной мыслью она искала разрешения представившихся ей вопросов. Живой, из души идущий интерес возбуждало в ней все: крупное и мелкое. Она с воодушевлением читала с нами детские книги, принимая участие в судьбе их героев. Она любила ходить с нами гулять в Кремль и по другим историческим местам, выслушивала наши объяснения, заставляла нас расспрашивать сторожей соборов и церквей относительно древних икон и достопри-

мечательностей храма. Она интересовалась литературой и историей, и не только французскими: ей всегда можно было рассказать эпизод из русской истории, постараться перевести ее любимое стихотворение Лермонтова, зная, что это и ей доставит удовольствие. Образование она получила, очевидно, не очень большое, но умела расширить его чтением. Чтение же она предпочитала серьезное и умела собственным в нем интересом направлять на него. Так, занимаясь с сестрой французским чтением, она посоветовала ей остановить свой выбор на исторических мемуарах и охотно допускала мое присутствие при их занятиях. Интересовалась она и путешествиями, и описанием чужих стран и народов; по ее указанию я с увлечением прочла и перечитала книгу Кэтлина о североамериканских индейцах[63]. С ней можно было всегда поговорить о прочитанном, потому что она на все откликалась с живой, неподдельной любознательностью.

Она была всегда деятельна, никогда не сидела сложа руки. Мало тяготела она к художественным работам, зато поощряла шитье, починку и все, чем достигалось непосредственно полезное. Впрочем, — и в этом сказывался, наверное, дух времени — большое значение придавалось ею ученью, чтению. И тут, как и во всем, она проявляла неутомимую энергию, жажду бодрого достижения. Жизнь для нее была борьба: борьба с внешними препятствиями, борьба с внутренним своим человеком, в выработке воли, характера, без которых нет успеха и удачи, нет независимости и самостоятельности. И она заражала жаждой этой борьбы.

Но больше всего она была религиозна. В ней ярко горело пламя веры, но мало того: в ней жива была жажда пропаганды. Уроженка Фуа, небольшого города южной Франции, где стоял полк ее отца-генерала, она девочкой была отдана в школу при женском монастыре в Монпелье. Живая, любознательная девочка была общей любимицей сестер и их духовных отцов. Тут ее пламенная и независимая душа подверглась обработке в духе ярого католичества: она признала над собой авторитет и иго Церкви и посвятила себя служению ей. Мне думается теперь: не была ли ей поручена тайная миссия пропаганды католичества? По крайней мере, когда много лет спустя я видела ее мельком, она сообщила мне, что отправляется в Персию с подобной тайной миссией. Слишком страстно помимо личного совершенствования и спасения относилась она к религии.

Ее влияние на нас постепенно стало громадным. Она, во-первых, была интересна и привлекательна всем своим внутренним обликом, и,

во-вторых, она сумела заставить нас полюбить себя. У нее было редкое педагогическое чутье: обладая сильной волей и большой авторитетностью, она умела вызывать не насильное, но добровольное исполнение требуемого; она умела подходить к вверенному ей ребенку с его хорошей стороны, вызвать к деятельности лучшие силы его души; она заставляла его работать самостоятельно, как бы не приказывая, но только направляя и дружески поддерживая. Она верила в силу свободной воли к добру в ребенке и умела возбуждать в нем эту волю. Может быть, такой подход к душе воспитываемого наиболее был пригоден в отношении к моей душе, не терпевшей насилия и принуждения. Радостно и свободно пошла я навстречу ее руководящим желаниям, глубоко благодарная ей за признание в нас определенных личностей. Мне же внове было и то, что она меня понимала, не толковала вкривь моих мыслей и чувств. Я была ей понятной натурой, с которой ей не было трудно, и она любила меня не меньше, чем Колю. Она искренне привязалась к нам, а мы не только горячо любили ее, но и увлекались ею. Она нам представлялась идеалом: сильным характером, смягченным нежной женственностью, — ведь у нее были такие чудные проблески чувства. Такими рисовала я теперь любимых героинь в сочиняемых мною детских рассказах. И Коля, который одно время тоже сочинял повести и рассказывал их мне во время прогулок, в одной из таких повестей вывел ее в виде героини, долго придумывал достойное по красоте имя и наконец назвал ее Азалией.

С большим педагогическим тактом она постепенно, но все более прочно подчиняла нас своему влиянию. Она отчасти искренно, ради самой себя, отчасти усматривая в этом правильный педагогический прием, входила во все наши интересы и занятия, много говорила с нами о них, рассуждала с нами и заставляла нас высказываться. Никогда не относилась она пренебрежительно или с обидной снисходительностью к какому-нибудь неопытному детскому суждению; но всегда выслушивала его, как будто оно имело цену, одинаковую с высказываемыми взрослыми. Она очень ценила самостоятельность суждения, и вот почему так легко было говорить с ней и почему так необидно было выслушивать ее критику на свои взгляды. Рассуждала же она с нами обо всем: о достоинствах той или другой исторической личности, о событиях мировой истории, о значении мифологических образов классического мира, о красоте прочитанного стихотворения, но больше всего о жизни, о людских ха-

рактерах и жизненных положениях, о взаимоотношениях людей между собой, об отношении к своему жизненному долгу. И незаметно наши взгляды стали ярким отражением ее взглядов.

В это время — в первые два года ее пребывания у нас — она еще не делала мне вреда. Наоборот, я многим обязана ей. Любовь к труду; честное исполнение долга; строгое отношение к себе и постоянное самовоспитание; бесстрашие в отстаивании правды в словах и на деле до мученичества; самоотверженная деятельная помощь другим — все это с налетом приподнятости, героизма входило в ее моральный кодекс и нашло готовую уже и благодарную почву в моей душе. За такое миросозерцание она была мне еще дороже; я гордилась ею и готова была следовать ее советам и примеру.

При ее горячности и полученном ею воспитании она не могла не ввести нас в сферу своей религии, но сделала она это не сразу, и в этом-то я почти упрекаю ее: мне видится в этом сознательный подход. С самого начала она предстала нам как человек горячо верующий, живущий религией, и это после Анны Мартыновны было нам так приятно и в то же время дорого и близко. Что религиозность ее была несколько иная, чем у Анны Мартыновны, не удивляло нас: мы уже знали, что существует разница между вероисповеданиями. Полюбив ее, мы, понятно, стали интересоваться ее верой и расспрашивали ее о ней. Разговор на эту тему облегчался тем, что она со своей стороны выказывала большой интерес к нашей, православной вере. Она вызвалась провожать нас в церковь, расспрашивала нас о нашем богослужении, просила переводить ей наши молитвы. Сначала она была осторожна в своих разговорах с нами о религии. Она поддерживала в нас религиозность вообще, поощряла в нас охотное посещение церковных служб, длительную домашнюю молитву. Она говорила больше о близости между православием и католичеством, о том, что католику можно молиться и в православном храме, и сама молилась в наших церквах и перед нашими иконами. Но из этой кажущейся веротерпимости, восхищавшей нас, следовало и обратное: православные дети могли молиться по-католически в чуждых молитвенных позах и католическими молитвами — и она понемногу стала приучать нас к католической молитве: то предлагала прочесть всем вместе красивую литанию[64] и читала ее громко с большим подъемом, то указывала на ту или другую коротенькую молитву в своем молитвеннике. Если она интересовалась нашим богослужением, то естественно было и нас знако-

мить с католическим богослужением — и она с увлечением описывала нам католические храмы, открытые алтари с высокими свечами и букетами, музыку органа и пение детей. Все это воспринималось нами с внешним сначала интересом; широкие начала веротерпимости, заложенные в нас с раннего детства, скрывали от нас опасность пропаганды, объектом которой мы являлись. Вскоре она перешла к сравнению сначала обрядовой стороны католичества и православия, а затем и сути их. Разумеется, сравнение у нее шло не в пользу православной церкви. Все это делалось ею не сразу, но постепенно, как бы не нарочно, однако верно рассчитанными ударами.

Я могла горячо любить ее, увлекаться ею, но слепо на веру я не брала ничего. Разговоры с Анной Мартыновной приучили нас рассуждать о разных вероисповеданиях и привили нам с ранних лет широту веротерпимости. Ее рационалистические взгляды, в свое время воспринимавшиеся нами, служили достаточной прививкой против увлечения католицизмом. Многого не принимали ни мой ум, ни душа: например, непогрешимости папы[65], индульгенции[66], опасения перед чтением Священного Писания[67], почитание святого сердца Иисусова[68] и др. Чужда по моей натуре мне была и мистика католицизма: сладость созерцания, молитвенного экстаза, частой исповеди: отдача себя в полное распоряжение духовника казалась мне отказом от своей свободной воли. И слишком укоренилась во мне любовь и привязанность к нашей церкви и ее обрядам, чтобы я сразу поддалась. Но мало-помалу меня привлекло католичество — прежде всего внешней красотой его обрядности. Скромная французская церковь св. Людовика на Малой Лубянке[69], куда она нас водила несколько раз как будто бы только для того, чтобы показать нам ее, не могла нам дать представления о художественной роскоши католических храмов за границей; но мы знали о ней из ее рассказов и из книг, знали от нее, как ничего не жалели строители на украшения храмов. Это мне нравилось — и не замечала я, что и в наших храмах проявлено то же стремление к их благолепию, да мы в то время не умели видеть красоту во внутреннем убранстве наших церквей. Об отсутствии органа в наших церквах я не жалела, может быть, по малой во мне музыкальности, но меня увлекал общий молитвенный порыв, вызываемый в молящихся поднимающей душу ввысь музыкой. Но что мне больше всего нравилось в их богослужении: это то, что временами пели все по молитвеннику, взрослые и дети (у нас тогда не было еще принято об-

щее пение в церквах). Помню, она раз привела меня в свою церковь на краткое богослужение «месяца мая»; привели детей из французской школы; они пели свои молитвы хором перед алтарем Богоматери — и грустное сожаление вкралось мне в сердце: отчего у нас в церкви не так? Прекрасным казалось мне также участие детей в процессиях, прислуживание мальчиков при богослужении — не скрою, что меня отчасти привлекали красивые при этом их одеяния. Но в общем меня влекло к храму, мне хотелось смутно большей близости к нему (той близости к храму через служение ему, которая имеется теперь, тогда не существовало: связь прихожан с храмом была внешняя), а эту близость в католической церкви можно было ощущать больше, чем в нашей. Католическая церковь как будто налагала на своих последователей, даже маленьких детей, больше требований, деятельных доказательств своей веры, как внешних, так и внутренних, и это скрепляло связь верующих с церковью. В то время это мне до известной степени нравилось, хотя моей свободолюбивой душе была по существу гораздо больше сродни свобода спасения, предоставляемая православной церковью. Не сразу, а постепенно, сдавая с боем каждую позицию, я приходила к мнению, что то или другое лучше в католической, чем в нашей церкви. Особенно смущал меня католический обычай приготовления к первому причащению[70]; он мне казался целесообразным и привлекательным. Я тогда не отдавала себе отчета, что, хотя я и приступала с семилетнего возраста к Святым Тайнам[71], я не была стараниями тети к ним подготовлена, как воображала мадемуазель, и не ценила тогда того не сравнимого ни с чем чувства умиленного волнения и сознания прощеной греховности, с которым я подходила к царским вратам. То же и с исповедью. Наш приходский батюшка, отец Александр Смирнов, седой, небольшого роста старик, похожий на репинского Николая Чудотворца[72], но невозмутимо спокойный, стоя у аналоя с благожелательным видом, каждый раз предлагал мне одни и те же вопросы, применяясь к детским прегрешениям, и на мои повторения: «Грешна, батюшка» — отвечал всякий раз сокрушенным вздохом и одними и теми же увещаниями. Тогда это оставляло меня неудовлетворенной, и казалось мне, что, может быть, католический священник дал бы мне больше и потребовал бы от меня большего. Но было, очевидно, что-нибудь в этих сокрушенных воздыханиях, что я донесла воспоминание о них с детских до преклонных лет, так же как и об его простых сердечных словах. Так и звучит в моей памяти произносимое

полушепотом исповедующего сопровождаемое глубоким вздохом напоминание о деятельном желании добра: «Люди сии устами приближаются ко мне, сердцем же далеко отстают от меня»[73].

Влияние католичества воспринималось мной тогда не только из непосредственных разговоров с мадемуазель на эту тему, но также из книг. Мы много читали в то время французских книг, и многое во французской жизни, в том числе и религиозная окраска там, где она встречалась, мне нравилось. Я и думала тогда, и молилась иногда на французском языке. Особенно сильное впечатление произвела на меня одна книга, подаренная мне на именины мадемуазель Сикр: «Дневник Маргериты». Это изложенный в форме двухлетнего дневника 10—12-летней девочки незатейливый, крайне простой, но возбуждающий непрерывный интерес рассказ о жизни одной девочки, ее сестер и подруг. Маргерита — совсем обыкновенная девочка с недостатками своего возраста; но она борется с ними под руководством любимой и очень религиозной воспитательницы и очень религиозной подруги — девочки «не от мира сего». Все мелкие события детской жизни, все крупные семейные события оцениваются с точки зрения детской психологии и религиозного к ним подхода. Эта книга была мне так близка и понятна: ведь я себя чувствовала такой же обыкновенной девочкой, стремившейся быть лучше, и религиозное освещение этих стремлений укоренилось во мне с ранних лет; и прекрасно и просто очерченный образ воспитательницы Маргериты сливался у меня с любимым образом моей мадемуазель. Я не отличала специфически католического характера этой книги, и лишь гораздо позднее в бытность мою в Париже[74] я узнала, что духовные католические круги горячо рекомендуют пропагандирование этого сочинения в целях утверждения в католической вере.

Пришло наконец время поступать Коле в гимназию. Сергей Александрович готовил его в 3-й класс и считал своего любимца Блондина настолько подготовленным, что никто особенно не волновался перед его вступительным экзаменом. Беспокоились немного только насчет латыни, к изучению которой Коля относился необычно вяло, так что я, учившаяся вместе с ним и латыни ради своего удовольствия, чтобы ни в чем не отставать от него, знала лучше его исключения второго склонения. Но в общем Сергей Александрович знал, что он представляет в

гимназию умного, много знающего и сверх программы мальчика, из которого должен был выйти и незаурядный ученик, и был покоен на его счет. Тем больше было всеобщее разочарование, а для меня с Колей и горе, когда Коля, что называется, с треском провалился. Тетя, следившая за нашими уроками, я, учившаяся вместе с Колей, знали, что он учился всегда внимательно и прилежно — и я так гордилась в душе большими познаниями Коли. Но экзамен с очевидностью показал, что знал он многое такое, чего от него еще не требовалось знать, и не знал того, что спрашивали на вступительном экзамене, что в его познаниях нет системы, — и это следовало уж приписать на счет метода преподавания Сергея Александровича. Все щадили любимого всей семьей человека и не упрекали его, но всем это было понятно, и он страдал, уязвленный в своем самолюбии. Коля держал так неудачно экзамен в 1-й гимназии; спешно подали бумаги в 5-ю гимназию. Тот же плачевный результат: Коля провалился опять. Подали прошение в 3-ю гимназию уже во 2-й класс, но и тут Коля не выдержал испытаний. Положение становилось отчаянным: проходил срок приема, а Коле необходимо было поступить: ему осенью должно было минуть 13 лет. Время это было очень тяжелое. Каждый день приносил волнение, страх перед испытанием, крушение надежд, удары самолюбию. Велики были нравственные страдания Коли; они находили во мне болезненный отклик. Он страдал, тетя горестно недоумевала, мама терялась и волновалась. Замечательно было в этой беде отношение папы: своей крупной любящей душой он понял переживаемое Колей, не делал ему упреков, а всячески старался поддержать его, и это великодушие его мы благоговейно ценили. Сделали, наконец, последнюю попытку: подали прошение во 2-й класс 4-й гимназии. И тут повторилось бы то же, не обрати на себя внимания Коля одного из учителей, Петра Дмитриевича Писарева[75]; ему педагогический опыт, как он сам говорил потом, подсказал, что перед ним хороший мальчик и будущий хороший ученик, к которому неприменима формальная мерка экзамена. Благодаря его заступничеству Коля был принят, несмотря на неудачные экзаменационные отметки. Педагогическое чутье не обмануло Петра Дмитриевича: Коля, получив при вступлении одно из последних мест в классе, в конце первой уже четверти числился вторым учеником, а во вторую четверть стал первым и оставался им до 7-го класса, когда он стал заниматься самостоятельно историей и юридическими науками в ущерб классическим языкам, отвращение к которым и

в нем, и во многих других гимназистах того времени возбудил способ их преподавания.

Но Коля поступил в гимназию не только способным и развитым учеником; он был определенной нравственной личностью. Его нежная любящая душа, сознательный взгляд на свои обязанности, врожденная и воспитанная деликатность чувств к другим сразу определили его отношения к товарищам и учителям. Он был любим и уважаем теми и другими и платил им теми же чувствами. В нем ценили сознательно или бессознательно источник доброго влияния. Сам стремился, может быть, по-детски еще, к самоусовершенствованию и, не навязывая никому своих взглядов, страшился совестливой душой чем-нибудь «соблазнить единого от малых сих»[76]. Но и сам с врожденной и воспитанной редкой целомудренностью и отвращением от всего грязного и пошлого берегся от дурных влияний и соблюдал чистоту души. К учителям и их нелегкому труду он относился с искренним уважением и благодарностью, так, как мы были к тому приучены в нашей семье, и первый конфликт его с классом состоял в том, что он отказался принимать участие в систематическом изводе всем классом несчастного немца-учителя. Он всеми силами старался вызвать к нему человеческое отношение. Заступался он также за еврея-товарища, негодуя на обиды, наносившиеся ему как представителю пренебрегаемой тогда национальности.

Гимназическая жизнь увлекла Колю, увлекла и меня; иначе и быть не могло при той тесной дружбе, которая связывала нас. И прежде всего — внешняя сторона. С гордостью и радостным волнением Коля надел гимназический «мундир» — обтянутый по талии сюртучок из темно-синего сукна с плоскими круглыми под серебро пуговицами, с стоячим воротником, обшитым узким серебряным галуном (серые курточки были введены лишь в середине 80-х годов), длинные серые брюки, серое пальто форменного покроя и темно-синее кепи. Мне казалось, что это переоблачение Коли из обыкновенного мальчика в гимназиста близко-близко касается и меня наравне с ним: я гордилась его состоянием «гимназиста». Потом — гимназия сама, учителя, товарищи, целая новая жизнь[77]. Один раз меня отвезли в гимназию показать мне ее — кажется, Юлии Андреевне было поручено внести плату за ученье[78], — и дом 4-й гимназии, замечательный своей архитектурой[79], поразил меня своей

красотой; я полюбила этот дом, потому что он был «Колина гимназия». Но мы попали в перемену: оглушенная многоязычным говором, шумом и криками, стояла я, как мне казалось, посреди толпы мальчиков, оживленных и бойких, немного робела — но душа моя рвалась им навстречу: ведь среди них были товарищи Коли. Сколько каждый день накапливалось у Коли новых для нас гимназических впечатлений, которыми он делился со мной неизменно каждый вечер и которые входили и в мое сознание; сколько фактов гимназической жизни мы вместе обсуждали; сколько немудреных, зато чисто сестринских советов давала я ему и как, в свою очередь, училась у него.

Но мало-помалу все яснее стало вырисовываться, что гимназическая жизнь в ее целом принадлежит одному Коле, а мною переживается лишь отражение ее. Я скоро с болью почувствовала, что мы уже не «неразлучники», что между Колей и мной до некоторой степени встала гимназия, что у нас завелись обособленные интересы, — и я затосковала. Моя жизнь шла по-прежнему, но в ней как бы находился в болезненном состоянии жизненный нерв. С утра те же уроки с Сергеем Александровичем — но и в них что-то не ладилось. Во-первых, ясно обозначилось, как во многом меня тянул за собою Коля и как я, опираясь на его большие знания, часто проявляла вялость в собственной умственной работе. Это легко было исправить, как показало недалекое будущее, и Сергей Александрович, наученный горьким опытом с экзаменами Коли, стал прилагать к этому большое старание. Но болезнь — чахотка, уже давно подтачивавшая его силы, — теперь начала одолевать его; он часто манкировал, часто приходил на урок с повышенной температурой и становился для меня не столько преподавателем, сколько предметом сострадательного попечения. Уроки языкам не представляли и половины прежней привлекательности, когда занятия делились мною с Колей. Томительны были для меня теперь прогулки, когда я шла в одиночестве впереди двух своих гувернанток. Они о чем-то все говорили между собой, тогда как возле меня не было моего доброго товарища и друга, с которым мы, бывало, вели нескончаемые беседы на прогулке. Утешалась я тем, что сочиняла свои повести, пересказывала их себе и пылавшей воображением душой переживала перипетии своих героев и героинь. Творчество это было настоящим утешением, отвлекавшим меня от действительной жизни. Но требования этой последней были тоже сильны; они звучали мне сильным призывом. Я бессознательно жаждала

знания жизни и людей за пределами тесного семейного круга; я жаждала общества сверстников, настоящего, живого, помимо того ирреального, которое я создавала себе своим воображением в своих сочинениях; может быть, душа моя, не отдавая себе отчета, жаждала общения с однолетками-подругами. Только скоро моей горячей мечтой стало поступить в свою очередь в гимназию. С тех пор мне доставляло всегда радость, когда случайно во время наших прогулок мы направлялись в Мерзляковский переулок. Здесь, в доме, занятом впоследствии Высшими женскими курсами, помещалась в те времена 4-я женская гимназия, перемещенная позднее на Кудринскую-Садовую[80]. Стыдливо скрывая свои чувства, я не открывала того радостного волнения, с которым я проходила мимо этого здания: ведь это была «моя гимназия»; я знала, что меня предполагают отдать сюда. Но сердце мое жило радостным ожиданием, когда мы проходили мимо. В 3 часа из гимназии выходили группы девочек с провожавшими их горничными или гувернантками или одни без провожатых, такие бодрые и оживленные, стояли в воздухе веселые речи, перекликания при взаимном прощании. К некоторым подходили гимназисты из соседней 5-й гимназии — наивно я предполагала тогда, что это любящие заботливые братья, такие, как Коля. Мир гимназической жизни казался мне таким прекрасным, полным бодрости, деятельности, прекрасных товарищеских отношений — и заранее я любила всех этих девочек, моих будущих подруг.

Меня действительно хотели отдать в 4-ю гимназию, и Сергей Александрович сообразовался уже с программой женских гимназий, занимаясь со мной. Надо было, между прочим, проходить зоологию и ботанику, что меня тогда очень интересовало. Окрыляемая надеждой, я бодро училась, даже при манкировках Сергея Александровича. И вдруг... Я помню себя раз вечером стоящей в темной проходной комнате, ведущей на террасу, где, по крайней мере, никого нет, где можно быть одной. Я стою у стены тихо-тихо, чтобы никто не накрыл меня, и прижимаю руку к груди, а в груди так больно-больно и так хочется плакать. Но плакать я не хочу: ведь я никогда никому не показываю моего горя. А горе так неожиданно свалилось на меня. Я только что из маминой комнаты. Там за красиво накрытым чайным столом сидит гостья и с такой легкостью — ведь ей это все равно — разбивает мои мечты о гимназии. За чашкой чаю она в гостином тоне говорит, как нежелательно отдавать девочку в гимназию, как она подвергается там дурным влияниям и т.д.,

и т.д. И мама верит ей, я это почувствовала, мама верит... Действительно, на следующий день вечером мама при мне сообщила папе, что она думает повременить с отдачей меня в гимназию, и папа не стал возражать. Какое это было горькое разочарование!

Кого мы встречали и видели вне тесного круга своего дома? Кто посещал нашу семью и где мы бывали? Прежде всего, наши родные. Были папины и мамины родные; но нетрудно было заметить, что, хотя это громко и не выражалось, отношение к ним было неодинаковое. Мама, может быть, естественно тяготела к своим сестрам; им, я бы выразила так мое детское ощущение, оказывали больше почтения, чем папиной родне. Это обижало меня за этих последних, и я тянулась душою к ним. Мне непонятны мотивы, заставлявшие в этот период нашей жизни сдержанно относиться к сестрам папы, до того, что тетя Софья Ивановна редко стала приезжать к нам гостить, а тетя Анна Ивановна не часто приходила теперь к нам. Это было тем более удивительно, что мама в гораздо более поздние годы в разговорах с нами, уже взрослыми, всегда отдавала справедливость благородным и привлекательным характерам этих своих золовок. Думаю, что тут играло роль несоответствие характеров, различие в восприятии жизненных задач — и так как обе стороны отличались независимостью и неумением идти на компромиссы, то и произошло с молчаливого согласия расхождение безо всякой ссоры. Но я по внутреннему складу чувствовала себя с ранних пор гораздо ближе к папиной семье, чем к маминой, и меня влекло к папиным сестрам почти инстинктивно, потому что в то время у меня не было еще никакой близости с тетей Анной Ивановной и я только дичилась ее. Но какой внутренней красоты образ она являла собой: правдивая и смелая и в то же время умевшая никого не задевать, сердечно добрая и великодушная, обладающая сильной душой и крупными чувствами, она с молодых лет влекла к себе сердца. Она, по рассказам тети Александры Ивановны, не была красива; но неотразимо привлекательны были на матово-бледном лице ее темно-карие глаза, умные и добрые, искрящиеся живой мыслью и неунывающей веселостью. Ей было теперь около 60 лет; но глаза ее сохранили прелесть выражения ума и громадной доброты, и редкое старческое лицо сохраняет уменье так прелестно улыбаться, как улыбалась она. Ее улыбка, добрая и какая-то мудрая, сказала бы я,

говорила о приобретенном опытом знании жизни и людей и о понимании их. Этой улыбкой она как будто не выражала уже веселье, но посылала людям привет большого всепонимающего и много выстрадавшего сердца. С такой чарующей силой взгляда, с тихой прелестью улыбки она запомнилась мне в святочные вечера[81]. В один из таких вечеров, когда собраны только свои, непременно придет и она — и на этот раз все веселы, непринужденно доброжелательны друг к другу — и она желанная гостья. Мама, равнодушно в то время относившаяся ко всему народному, почему-то питала симпатию к подблюдным песням[82]: до конца ее жизни ни одни святки в нашем доме не проходили без этой святочной забавы, которой она придавала не только поэтический, но и гадательный смысл. И вот я помню: меня, как младшую, поставили у накрытой салфеткой чашки вынимать положенные в нее вещи, папа удостоверяется, положены ли в чашку, как следует по обряду, кусок черного хлеба и уголь, и все просят тетю Анну Ивановну сесть за рояль. Без нее как бы не обойтись при пении подблюдных песен. Она точно знает это и тотчас соглашается. С милой деликатностью движений, с очаровательной улыбкой, вся скромная в своем простом темном платье и вместе с тем вся — определенная, такая заметная и обаятельная, она проводит по клавишам стареющими пальцами и, обернувшись к папе и маме, спрашивает, улыбаясь: «Как же? Все по порядку?» Папа, мама, тетя Александра Ивановна того мнения, что все надо исполнить по старине, как водится, и она начинает с величания. Когда-то в молодости она была певунья, приносившая радость и своим и чужим своим безыскусственным пением (она не имела возможности учиться петь), своим выразительным и приятным голосом. Теперь сохранились у нее лишь остатки голоса; но поет она удивительно мягко и приятно. Она поет про кузнеца, идущего из кузницы, и про щуку из Белоозера, и про яхонт с жемчужиной, и про мужиков, гребущих золото лопатами, и папа подпевает ей своим баритоном. Она поет и озирается, улыбаясь, и встречает просветленные поэтическими воспоминаниями лица и ласковые снисходительные к себе и друг к другу улыбки: это была сохраненная от молодости забава, которой никто уже не придавал серьезного значения, — а все-таки приятно было, когда кому выходила «хорошая» песня, и както торжественно звучало утверждение: «Кому вынется, тому сбудется, тому сбудется, не минуется».

Я не раз обиженно недоумевала, почему муж тети Анны Ивановны, Павел Харитонович Тарусин, не бывает у нас в доме и почему мы не зовем его дядей, как Ивана Григорьевича Шипачева. В раннем детстве я видала его у нас, и он пленил меня ласковостью и деликатным пониманием моей детской души, добрым широким лицом с правильными, но тяжеловатыми чертами и густым мягким и как бы приглушенным голосом. Он мне казался очень добрым и тем привлекательным. Но у мамы были свои основания не симпатизировать ему — и она, легко порывавшая со ставшими ей несимпатичными лицами, наверное, определенно поставила вопрос о небывании его у нас. Позднее, когда мы стали взрослыми, она не противилась и не могла противиться нашему сближению с ним и я узнала его с привлекательными чертами умудренной опытом, понимающей старости. Он производил тогда на меня удивительное впечатление: его глубокое мудрое спокойствие успокаивало меня; его письма, писанные уже дрожавшей старческой рукой, в неровных строках и между ними несли благословение любвеобилия к людям и всему прекрасному Божьему миру. Но мама знала его с недостатками молодости, и они были немаловажны. Он был на много лет моложе тети, и в этом браке, заключенном по взаимной любви немолодой уже женщины, много испытавшей и смело искавшей своего счастья, и юным, мало знавшим жизнь человеком, преобладание казалось на ее стороне: она отличалась выдающимся и притом здравым умом, энергией, была работницей, всегда находила выход из трудных положений жизни; он — умевший только приятно жить в лучшем смысле слова, не требовавший многого от жизни, но и в малом умевший наслаждаться тем, что она дает хорошего, не работник и не борец. Кто знает тайные источники любви? Может быть, за эти самые качества, столь противоположные ей, она любила его до конца своих дней; может быть, своим ясным миросозерцанием, своим философским спокойствием он поддерживал ее кипучую боевую натуру в тяжелые жизненные минуты, когда падают силы. Но вся жизненная борьба падала на нее. Он решительно не мог приладиться ни к какому практическому делу: ничего ему не удавалось, и он бросал одно занятие за другим. Так, он однажды открыл небольшую колониальную лавку, но скоро разорился на ней: он мало заботился о торговле, но весь ушел в разговоры кружка студентов, собиравшихся у них в гостеприимной комнатке за лавкой, — и об этих студенческих спо-

рах и разговорах он с воодушевлением вспоминал в старости, и каким теплом, каким отзвуком молодого увлечения звучал для меня при этих воспоминаниях его мягкий и такой симпатичный голос. «Ей-Богу, Веруша, было хорошо», — и он, как бы для убеждения, прижимал к широкой груди широкую, несколько отечную ладонь с раздвинутыми пальцами. Неудачник, бездеятельный и безвольный по обыденной житейской оценке, он был предметом осуждения. Но к нему, по-моему, нельзя было прикладывать обычную мерку. Он был мечтателем, «философом», и, слепой ко многому дурному в жизни, он ясно различал внутреннюю ценность ее явлений. Такие люди по-своему ценят жизнь, и зло ее, встречаемое на пути, не озлобляет их, а только кладет на них налет грусти. С этой дымкой грусти на душе и тем не менее с ясностью миросозерцания я узнала его много лет спустя, уже стариком. И помню я, какую отраду и сколько бодрости вливали мне в душу его бесхитростные речи, его безмятежность. Помню я, как раз, уже после смерти тети, мы возвращались с ним с ее могилки в Андроньевом монастыре[83], и он проводил меня до пассажа, где мне надо было что-то купить. И как среди праздно гуляющей публики этот старик с высокой и мощной фигурой, в порыжевшем пальто и с суковатой палкой остановился передо мной и, прижимая ладонь к груди — любимый им жест убеждения, — не видя обращенных на нас изумленных взоров, говорил мне много и долго, как жизнь хороша, если уметь радоваться ей, видеть добро и понимать людей и прощать им. «Ей-Богу, Веруша, я скажу тебе...» — и мне казалось, что со мной говорит глубокий мудрец.

Не раз также я недоумевала в детстве, отчего нас возят в гости к маме крестной и никогда не отпускают к тете Анне Ивановне. Впрочем, один раз я была у нее в гостях, и привезла меня с собою мама. У Павла Харитоновича была в то время колониальная лавка на Патриарших прудах, и помещалась она вместе со скромной квартиркой, примыкающей к ней, в крошечном сером деревянном домике с высоким крыльцом. Этот маленький домик, глядящий на Патриаршие пруды, необычная обстановка, новая для меня, ласковость приема привели меня в настоящий восторг. Я прекрасно понимала, что сладости, принесенные из лавки к чаю, были не такого рода, какие допускались у нас в доме; но они казались мне превкусными. Тетя тут же у чайного стола накладывала в вазочки варенье из банок — а у нас банки с вареньем не допускались за пределы буфетной; но у тети было такое ласковое и приветливое лицо, и она,

стоя с наклоненным лицом, сказала мне что-то такое сердечное, что весь невзыскательно сервированный стол показался мне прелестным. Но вот что оказалось всего лучше: тетя ввела меня в соседнюю комнату — и в этой маленькой и бедно обставленной комнате стоял, освещая ее всю для меня и делая ее интересной, живой маленький мальчик, о существовании которого у тети я не знала вовсе, нежданный товарищ игр на какие-нибудь два часа. Он был на несколько лет моложе меня, ходил еще с сумочкой через плечо, тогда как у меня для платка были уже карманы в платьях; он выглядел настоящим херувимом: кудрявый, с красивыми голубыми глазами, с нежными чертами лица, был робок и застенчив — и сначала я не знала, что с ним делать. Но у этого мальчика в его скромной комнатке стояла показавшаяся мне большой лошадь-качалка — и вот скоро маленький мальчик и «большая» девочка поочередно с увлечением катались на ней верхом, позабыв обо всем на свете. Для полного удовольствия мне недоставало только Коли, и я стала мечтать, как мы вместе с ним приедем опять к тете к новому мальчику Толе и будем кататься на его лошадке. Но мечта осталась неосуществленной: мне не пришлось вернуться в симпатичный маленький домик. Этот Толя, у которого была такая занятная лошадка, был сыном одного немца и швейцарки, отданный ими на воспитание тете. Родители не отказывались от него; наоборот, грубо и даже жестоко вмешивались в его воспитание; все его детство было полно мучительных переживаний, смягчить которые всячески старалась тетя. Она крепко полюбила беззащитного, несчастного ребенка, на которого она не имела никаких прав и которого постоянно грозили отнять у нее: любить же она не умела вполовину. Толя вырос под ее крылом и заплатил ей горячей и нежной привязанностью. Он от природы был одарен благодарными чувствами и незлобивостью, но также отсутствием самозащищающейся воли. Эти качества, также его женственная красота, не нравившаяся мне, отдаляли меня от него, когда несколько лет позднее он стал бывать у нас. После кончины тети и переезда Павла Харитоновича в Нежин (1894—1895 годы) мы уже не виделись с Толей: нас разъединяло полученное образование, различие в жизненных интересах. Нас могло бы соединить на всю жизнь чувство любви к тете, но этого не случилось — а теперь я с симпатией вспоминаю лицо Толи с нежными и не русскими чертами и проявлявшиеся им всегда деликатные чувства. Звали его полным именем Анатолий Иванович Леман.

У Шипачевых мы по-прежнему бывали, запросто и на вечерах, также на именинных завтраках и обедах. Мы встречали тут тех же людей и ту же обстановку; но мы уже критически до известной степени относились к ним. Мы чувствовали почти бессознательно, что тон в нашем доме выше. В самом деле, тогда как наш дом все прогрессировал, у Шипачевых, казалось, все и вся остановилось на достигнутой ступени прогресса и не могло и не хотело двигаться дальше. Шипачевы жили по прежнему своему укладу, и за дальнейшее смелое движение вперед, особенно за обособление себя от их круга, они осуждали маму. На этой почве выходили недоразумения, кончившиеся позднее временным разрывом. Главный пункт разногласия заключался в вопросе о степени образования и свободы, которую следует давать молодому поколению, особенно в лице его представительниц. Перед нами широко раскрывались двери образования, и в нашем воспитании веяло духом свободы. Для наших двоюродных братьев и сестер дверь образования была только приоткрыта, и в их жизни царил дух подчинения. Надя и Настя учились немного, у приходящей учительницы, бывшей гувернантки, Наталии Сергеевны Чикоидзе, бывшей институтки, вышедшей замуж за мелкого чиновника, грузина по происхождению; она же преподавала им и французский язык. Надя с Настей отставали от нас в развитии, зато гораздо больше нас с Колей преуспевали в музыке. Мне рано стало скучно с ними. Приятны были посещения их дома, приятны игры и танцы, всеобщее оживление, общество детей; но мне желалось большего еще: разумной беседы, обмена мыслей с однолетками — и этого не могли мне дать Надя и Настя. В этом большом сравнительно круге детей я пытливо озиралась, ища, с кем бы сблизиться душой. И вот однажды среди толпы детей, более или менее знакомых мне, я увидала новую девочку моих лет. Она понравилась мне серьезностью лица, задумчивым выражением красивых темных глаз. Я подсела к ней — и мы заговорили, сразу и друг для друга понятным и интересным языком. Она была уже гимназисткой — и это увеличивало мой интерес к ней. Так я увлеклась разговором с ней, что не отошла от нее весь вечер. И ехала я домой в радостном возбуждении: мне казалось, давно желанная мной подруга найдена; я буду видаться с ней, говорить... Но мне не пришлось часто встречаться с ней. Раз только ясно помню ее, почти ровно год спустя после первого свидания: выросшую и похорошевшую, с волнистыми черными волосами, перевя-

занными розовой лентой, с задумчивым выражением больших темных глаз под длинными, кверху загнутыми ресницами, в белом платье с розовыми бантами. На этот раз она была со своим братом-погодком, Васей, худеньким стройным гимназистом с такими же грустно-задумчивыми темными глазами. И вот мы сидим вчетвером: Граня и Вася, Коля и я — и у нас есть бесконечно о чем говорить. Звучит ритурнель[84], призывая нас в залу, и мы составляем свою кадриль: Граня с Колей, им визави — Вася и я. Мне так весело и радостно видеть перед собой Колю, которым я всегда так горжусь, как он хорошо танцует и разговаривает с нравящейся мне девочкой, самой разговаривать с понимающим меня симпатичным мальчиком — и слово «друзья», маня всем прекрасным, светло всплывает в душе. Опять разлетевшаяся мечта: с Граней нам не суждено было часто видаться, а Вася умер мальчиком. Эта девочка, казавшаяся мне такой милой, была дочерью приходского батюшки отца Алексея Цветкова[85] и сестрой известного впоследствии в широких кругах Николая Алексеевича Цветкова[86].

Еще один проблеск возможной, но неосуществившейся дружбы. Настя встречает нас в зале. «Ты помнишь Маню? Маню Ермолаеву? Вот она, Маня», — и подводит меня к девочке в голубом платьице. Девочка эта с некрасивым узким лицом и глазами-щелочками сидит, улыбаясь, и вся сияет приветом. Такая открытая, веселая у нее улыбка, такие ласковые умные глаза. Она только что вернулась с родителями из Ташкента, где ее несчастный неудачник-отец думал прочно устроиться и не мог. Маня посещала там гимназию и считалась одной из лучших учениц своего класса. Гимназистка — это одно уже заинтересовало меня в ней, и опять-таки я нашла так много, о чем поговорить с ней. У нее была бодрая и смелая душа, много жизнерадостности, и была она замечательно правдива. Огромная была у нее жажда знания: она так и рвалась к ученью. Ее характер меня всегда привлекал; но жизнь не сблизила нас, несмотря на взаимную симпатию, а разъединила. Жизнь жестоко разбила мечты этой на редкость умной и даровитой девочки: обстоятельства сложились для ее семьи так несчастливо, что она не могла думать о продолжении ученья. Дядюшка и мама крестная, принимавшие в ней и матери ее сердечнейшее участие, согласно своим воззрениям, постановили, что для Мани «образование», как говорили тогда, излишне, что она должна быть помощницей матери. Не слабовольной и зависимой Сашеньке Ермолаевой было отстаивать сердечное желание дочери: скор-

бя душевно, она покорилась. Но для нее и для Мани это была обида всей жизни. Она и в старости, когда не только ее, но и Манина жизнь была прожита, своим слабым, жалующимся голосом с грустью и кротко вспоминала, что «у Манюши были такие богатые способности, да что поделаешь, Веруша, Господь не привел учиться». Я так понимала Маню, когда она должна была страдать: как я бы страдала, если бы мне вдруг запретили учиться. Маня не скрывала никогда, как тяжело отозвалась на ней ее разбившаяся мечта, но по благородству натуры никогда не жаловалась на тех хороших людей, которые, по-своему желая ей добра, нанесли ей такую большую и непоправимую обиду, так обездолили ее в жизни. Замечательным развернулась она человеком: она была одним из благороднейших характеров, встреченных мной в жизни. Как била ее жизнь: крайне тяжелое замужество, нищета — и ни одного светлого луча в этой цепи страданий; и едва проглянуло солнце, — когда ей было уже под 50 лет, — ее унесла скарлатина. И за все годы жизненного мучительства ни тени зависти к более счастливым, ни жалобы. Она сохранила способность бодро улыбаться, радоваться успехам других, желать им добра, ласково глядеть своими умными глазами. И разговор ее был полон ума и доброжелательности. Великая страдалица в жизни, она не утратила умственных интересов и по силе возможности старалась передать их своим сыновьям. Как я счастлива была бы теперь, если бы я могла считать ее своим другом с детства. Но судьба сделала ее другом Нади и Насти, а не нашим с Колей. При мимолетных встречах мы, однако, привлекали друг друга взаимной симпатией.

Еще несколько силуэтов из дома Шипачевых. Прежде всего — мать Мани, Александра Николаевна Ермолаева, Сашенька, моя двоюродная сестра. Нежная красота ее так просилась на портрет пастелью. Девушкой лет семнадцати она, по словам моей мамы, была почти красавицей. Теперь ей уже минуло 50 лет, но она все еще выглядела молодой. Высокая, стройная, худощавая, с узким удлиненным матово-бледным лицом, которому шли золотые серьги с висюльками, с ярко-голубыми, мерцающими тихим светом глазами, с красиво причесанными светло-русыми волосами, стоит она, бывало, у дверей гостиной, ведущих в залу, и смотрит на наши игры и танцы. Смотрит она всегда с доброжелательной улыбкой нежно очерченного рта, и, если случится пройти мимо нее, она наклонится и скажет что-нибудь ласковое. Скажет тихим голосом, еле слышно, словно боится говорить громко, — и это сливается в одно впечатление от всей ее манеры держаться. Она точно боялась

всегда быть заметной, помешать кому-нибудь, быть у кого-то на дороге, словно готова была всегда стушеваться. Безжизненность, пассивность портили ее и делали ее менее значительной, чем она могла бы быть. В ней были большие душевные силы, но все они как бы сосредоточились в терпении. Крайне несчастная в жизни, она умела терпеть и не утратила до конца жизни своей врожденной деликатности, забвения себя и своей нежной и как бы извиняющейся улыбки.

Стоит она, бывало, в дверях гостиной и с характерной для нее манерой поводить как бы конфузливо худенькими плечами и головой, тихим голосом перекидывается немногочисленными словами со стоящей рядом с ней Авдотьей Михайловной Вяземской, тоже вышедшей посмотреть, как в зале веселится «молодежь». Эта гостья кажется мне пожилой и старомодно одетой; но именно эта картинная старомодность нравилась мне. Широкая шелковая юбка, шаль на плечах, приподнимаемая руками, так шли к ее невысокой и полной фигуре, как и головной убор, похожий на косынку, к ее круглому немолодому лицу, которому придавали своеобразный характер по-старомодному расчесанные на пробор и уложенные вавилонами по обеим сторонам лба волосы. Это лицо, сохранившее румянец, освещалось большими, круглого разреза, черными и очень живыми глазами. Немного неподвижно было это в молодости красивое лицо; но улыбка, когда она появлялась на нем, приветливая, душевная. Она умела говорить с детьми просто, как со взрослыми, и я очень ценила это. У нее была дочка, Варя, подруга постоянная Нади и Насти, такая же круглолицая, румяная, черноволосая и черноглазая, как она, полная и, казалось, пышущая здоровьем. Она была бойка, иногда резка — за словом, как говорят, в карман не лазила, — и веселость ее, иногда чрезмерная, не всегда подходила к тому тону, которого придерживались мы, остальные дети. Мне всегда казалось, что очень неглупая Варя постоянно сдерживается, сознавая, что легко может выйти из берегов, и не желая подвергать себя одергиванию со стороны тети Серафимы Михайловны: «Что это вы, Варвара Андреевна, изволили разгуляться?» Но, несмотря на ее добровольное подчинение требованиям дома, в ней чувствовалась самостоятельность, которую нельзя было придавить, и этим эта девочка была мне мила. Я не выбрала бы ее себе в подруги, но любила встречаться с ней.

Наталья Сергеевна Чикоидзе — почему-то мне запомнилась она особенно ярко стоящей в освещенной зале среди нас, детей и взрослой молодежи, руководящей нашими играми, вносящей в них оживление

своими шутками, восклицаниями и забавными замечаниями— она умела «оживлять общество», и это ценили. И так и стоят передо мной ее чахоточная фигура с впалой грудью, худая рука, подносимая то и дело к губам при покашливании, на тонкой морщинистой шее маленькая головка с ушедшими внутрь поблекшими щеками и выцветшими голубыми глазами; ее жиденькие русые косички расчесанных на пробор волос уложены кругообразно на затылке, а щеки и лоб неумело набелены и нарумянены. Набелена и нарумянена — этого мы не могли простить ей. Я даже не хотела сначала этому верить; я поверила только тогда, когда другие дети тихонько от взрослых побежали со мной в переднюю и там показали мне лежавшую на подзеркальнике ее шапку с отпечатавшимися на внутренней стороне ее белилами — и тогда нечто вроде отвращения вползло в мое сердце. Детское мое сердце жестоко замкнулось от нее в резкой антипатии, а между тем она была такая несчастная, и наши старшие за это самое всячески привечали ее. Как всякая институтка того времени, она вышла в жизнь с полным незнанием ее, и, потерпев крушение своим мечтам в крайне неудачном замужестве с мелким чиновником, она все же, как рассказывали мне после, осталась прежней наивной фантазеркой. И все-таки она вела жизненную борьбу — и какую тяжелую еще — ради себя и единственной своей дочери Маши. Эта девочка была светом ее нерадостной жизни. Для нее она готова была на всякую жертву. Для нее она, угасавшая в чахотке, билась над даваньем уроков; для нее старалась быть приятной в обществе; для нее румянилась и белилась, чтобы не пугать истощенным болезнью лицом — так она думала — своих учеников и их родителей и казаться свежее и крепче. Для нее опускалась до того, что брала с ваз и подносов разное угощение и тихонько относила его наверх, где увязывала его в платочек и прятала под подушку Нади или Насти, чтобы потом отнести «гостинцы» домой, хотя такой же узелок с фруктами и сладостями отпускался всякий раз с ней гостеприимными хозяевами. Сколько было в этом материнской любви — и нам на это указывали. Но мы не дарили ее ни детской жалостью, ни любовью, чем, может быть, скрасилось хотя немного ее нелегкое существование; нам и румяна с белилами и узелки с «гостинцами» казались унижающими ее, и мы ее даже не уважали. А теперь совесть упрекает меня за то, что отвернулась я тогда от этого горя и холодно замкнула от него свое сердце.

Ее дочь, Маша, несколькими годами моложе меня, была, по общему мнению, на редкость несимпатичным ребенком — смуглая, черноволо-

сая, с большим горбатым носом, вся какая-то затаенная, всегда молчащая, но как будто имеющая что сказать, и непременно что-либо неприятное. И улыбка у нее была особенная: точно втайне злорадная, точно знала она про тебя твои недостатки, твои слабые стороны, видела что-нибудь смешное в тебе и только не хотела говорить. Может быть, это была своего рода самозащита или месть со стороны рано почувствовавшей себя обиженной судьбою девочки платить нелюбовью за нелюбовь. Вся наша детская компания определенно не любила ее, только терпела ее навязанное нам общество и иногда изводила ее. Впрочем, это делалось осторожно: она упорно, как с каким-то упорством беззащитности, претерпевала все со своей загадочной зложелательной улыбкой, но потом жаловалась матери, и для Нади с Настей выходили неприятности; за это мы еще больше не любили Машу. Помню ее совсем маленькой девочкой: ее привезли к нам на Пасху, еще на синицынскую квартиру, в ярко-малиновом платьице — малиновый цвет был еще в моде, — и Настя, подойдя к ней, сказала: «Ах, красненькое яичко!» Это было сказано добродушно, но маленькая девочка приняла это за горькую обиду и громко расплакалась. Настю потом бранили — а результатом было то, что мы годы спустя попрекали Машу за то, что она обиделась за свое малиновое платье, и будили в ней неприятное воспоминание. Не раз мы поступали с ней с той жестокостью, на которую способны бывают дети: играя наверху, в спальне Нади и Насти, мы как бы шутя втащили ее в соседнюю комнату тети Серафимы Михайловны, в которой для каждого из нас было «страшно», потому что тут горела одна лампадка и висел темный портрет дедушки Михаила Андреевича Милютина, и затворили дверь и, упершись в нее руками и коленями, не выпускали ее. И я была одной из тащивших ее, быть может, безжалостнее других — до сих пор помню, как она слабыми руками, маленькая, боролась со мной, сильнейшей ее, — и я помогала упираться в дверь, пока вдруг не образумил меня ее задыхающийся от страха, мучительно молящий голос, перевернувший мне все сердце. Мы открыли дверь, стали говорить, что мы только пошутили... Мне хотелось бы, чтобы этого воспоминания не было у меня на душе.

У Боткиных я с 10 лет больше не бывала, но влияние этого высококультурного дома все же доходило до меня. Мама и тетя продолжали бывать у них и на обедах, и на вечерах, и запросто. То и дело доходили

до нас рассказы об итальянцах, знаменитых оперных певцах того времени, украшавших пением их вечера, о приглашенных на иные вечера цыганах, о знаменитостях литературного и музыкального мира, приглашенных к обеду. Тетя любила передавать слышанные умные и интересные беседы, рассказывать о новых картинах, приобретенных Дмитрием Петровичем, о художественных отзывах Михаила Петровича Боткина. Когда же подросла сестра моя Лена, ее начали вывозить, между прочим, и к Боткиным. Лена моя была тогда прехорошенькой и все хорошевшей девушкой 16—17 лет с поражающим душевной чистотой выражением лица. Она на балах производила приятное впечатление своими воспитанными манерами и грацией в танцах. Одевала ее мама большей частью у мадам Луиз — а-ля Ротонд, жившей на углу Тверской и Леонтьевского переулка и все более входившей в моду портнихи. Лена в эти годы бывала одета на балы в легкое кисейное белое платье декольте, чаще всего на голубом шелковом чехле или во все белое с нашитыми на юбку узкими белыми атласными лентами. Один раз на ней было обворожительное бледно-розовое кисейное платье на розовом же чехле и украшенное нежными букетами розового же вереска. Мама, одевавшаяся всегда очень красиво и с изящным вкусом, запомнилась мне в стройно облегавшем ее красивую фигуру черном бархатном платье и каре и с полуобнаженными руками и длинным шлейфом. Потом, помню, они раз поехали к Прохоровым на ситцевый бал стиля Людовика XV, на котором Лена в числе нескольких других гостей должна была танцевать менуэт. На маме был костюм из темно-желтого и красного ситца, на Лене костюм в нежно-зеленых и розовых тонах; у обеих волосы были напудрены, и трудно было сказать, говорили потом, кто из них обеих был интереснее.

Предбальное настроение краешком задевало меня, но не отражалось на мне так, как, может быть, могло отразиться на девочке с другими наклонностями. Меня в то время ничуть не привлекали наряды; я, что называется, не любила одеваться. Я довольствовалась своими двумя-тремя платьицами в зиму, и некоторые из них я любила, но не потому, что нравилась себе в них, а потому, что мне нравился в них цвет, или рисунок клеточек, или незатейливая отделка. К нарядным и очень дорогим платьям я, под влиянием мадемуазель Сикр, относилась отрицательно, да и вкуса к ним во мне не было. Декольте же мадемуазель решительно осуждала как нечто греховное, с ее монастырской точки зрения. Выезды и соединенное с ними веселье не привлекали меня: я

была еще слишком дика. Да и Лена собиралась на балы без всякой охоты, а скорее, с мученьем. К тому же как-то всегда случалось, что перед отъездом мама делала Лене замечания, иногда в обидной форме выговора, и Лена стояла посреди маминой комнаты в своем воздушном платье с самым несчастным лицом. Это отравляло мне радость суетни, поднимавшейся при одевании, и минуты перед их отъездом, и я благодарила судьбу, что годы еще отделяют меня от мучительства, именуемого выездами на балы.

Папа был связан с Прохоровыми старинными дружескими отношениями, но в описываемые мною годы он редко бывал у них по вечерам, наверное потому, что здоровье его становилось все хуже и он почти никуда не выезжал. Мама и Лена, наоборот, довольно часто ездили к ним сначала в их старый, а потом новопостроенный роскошный дом на Трех Горах. Бывали и они у нас часто поодиночке или вдвоем, втроем или целой большой компанией — и в последнем случае поднимали невообразимый шум и суету. Я не встречала потом, чтобы чье-либо посещение сопровождалось таким громким непринужденным и перебивающим друг друга разговором, смехом, радостными и смехотворными восклицаниями, фейерверком разного рода шума и гама. И я робко, как говорится, жалась от них к стенке: сторонилась от них, избегала показываться им на глаза. Все они казались мне какими-то большими, занимающими много места и подавляющими. Старшие мужчины таковыми и были: высокий и грузный, широколицый Иван Яковлевич, высокий же и упитанный Алексей Яковлевич[87] и неизменный спутник и друг семьи, ценимый ими компаньон в их торговом деле, Василий Романович Келлер, полный и слишком краснощекий, со светлой, говорили, головой, но с явными признаками пристрастия к тонким винам. Этому человеку, которого любил папа и которого я поэтому должна бы была тоже любить, я не могла простить, что раз он меня, совсем еще маленькую девочку, ласково поцеловал, и при этом впились в мою щеку его пухлые влажные губы и обдало меня запахом вина. Никакие похвалы ему со стороны папы и мамы не могли изгладить этого мимолетного впечатления раннего детства. Для меня в нем и еще в Алексее Яковлевиче с его густыми расписными бровями и большими черными глазами на холеном и маловыразительном лице преобладала материалистическая сторона, и это отвращало меня от них. И вообще, Прохоровы со своими шумными появлениями олицетворяли для меня жизнерадостное

пользование всеми доступными очень богатым людям материальными благами жизни, а меня влекло к другому. Они между тем не только наслаждались дарами жизни с громкой и, быть может, неделикатной по отношению к другим шумливостью счастливых людей, они делали чрезвычайно много добра. Но я пишу не о них, но о том, какие впечатления отбрасывало знакомство с ними в мою душу.

Жена Ивана Яковлевича, Анна Александровна, урожденная Алексеева, была выдающегося ума и сердца женщина[88]. Лена и Миша, которые много сталкивались с ней с детства, высоко ставили ее и любили. Но меня она отталкивала своей, как мне казалось, бесцеремонной манерой держаться, привычкой делать всем и каждому нежелательные подчас замечания на его счет, громко изощрять свое остроумие над отсутствующими и присутствующими, из которых многие не умели или не решались дать ей отпор. Она говорила так, опираясь на то, что смело говорит правду в лицо и не обинуясь; но говорила она ее в обидной форме потому, что она могла это делать. Она, следовательно, пользовалась правом сильного, и это отталкивало меня. А между тем чувствовалось, что она была очень добра, отзывчива на всякую серьезную беду и нужду и очень умна, что около этого широкого сердца можно было всегда найти совет и утешение. Но эта манера самоуверенно сидеть с привычкой обращать на себя всеобщее внимание и быть выслушиваемой была мне неприятна.

Все признавали внешнюю безалаберность в строе жизни Прохоровых, шумливую суету и беспорядочность в повседневном укладе, в увеселениях, но это была крепкая, дружественная внутри себя семья, красивая тесной связью, объединявшей всех ее членов. Дети — два сына и четыре дочери[89] — не только были дружны между собой, но, пользуясь в большой мере свободой, привыкли быть непринужденно откровенными с матерью; а она, несмотря на многие внешние послабления, не теряла никогда своего авторитета и решающего голоса. Обворожительны были дочери; редко в одной семье можно найти столько привлекательных девических лиц: все разные по чертам, но одинакового типа — все с густыми светлыми волосами, ослепительным цветом лица и очаровательной улыбкой. Две младшие из них, Варя и Катя (позднее небезызвестный скульптор Екатерина Ивановна Беклемишева), были близки мне по летам; но я не знаю, почему нас не сближали: я всего несколько раз виделась с ними, и как-то мимолетно, то у них, то у нас. Но я много

слышала о них от мамы, которая восхищалась их милой непосредственностью, особенно Кати. Меня это всегда немного удивляло: мне ни за что не позволили бы сделать то, что нравилось в Кате: сидеть на козлах рядом с кучером во время катанья (что было моей неосуществимой мечтой), гонять лошадей на корде и пр. Но помимо более свободного воспитания сказывалась уже тогда независимая и смелая душа Кати, беспокойство артистической натуры.

Одно из немногочисленных моих посещений прохоровского дома запомнилось мне по одному яркому моему переживанию. Варя и Катя стали показывать нам с Колей свой детский шкапчик с подаренными им мелкими и красивыми вещицами. Довольно равнодушно смотрела я на все, потому что не питала пристрастия к безделушкам. Но вот на одной из полочек лежал черепок, простой белесоватый черепок. «Это из Помпеи», — объяснила нам одна из девочек. При этих словах мне в душу проник такой благоговейный восторг, какой понятен лишь тому, у кого врождено чувство любви к древностям. Я не могла оторваться от черепка и все возвращалась к шкапчику посмотреть на него еще раз, потрогать его. С какой-то тайной обидой за него я думала, что Варя с Катей недостаточно ценят счастье обладать им. И вся роскошь их обстановки, и вольготное их житье — мы имели случай отметить отсутствие пристального за ними надзора — казались мне ничем перед этим скромным свидетелем древности.

С поступлением Коли в гимназию в нашу семью вошел новый элемент знакомых: гимназические учителя. Сначала завязалось знакомство с Петром Дмитриевичем Писаревым и его женой Татьяной Семеновной; потом стал бывать у нас Антон Киприанович Кардасевич[90], который впоследствии ввел к нам в дом своих сестер и зятя, Степана Федоровича Роженковского[91], преподавателя классических языков во 2-й гимназии. Они бывали у нас в доме несколько лет, и мои воспоминания о них относятся, в сущности, уже к другому периоду моей жизни. Про описываемое мной время скажу, что новые наши знакомые внесли струю оживления в разговоры взрослых за чайным столом. И мы с интересом прислушивались к ним. Решали вопросы, говорили о высоком, об идеалах. Антон Киприанович, которому я так много была впоследствии обязана как учителю, был восторженный поклонник классицизма. Он

был чех, преподавал латинский и греческий языки с тем знанием и увлечением, какие принесли с собой многие выписанные в Россию в те времена учителя из «братушек»[92]. Он любил мертвые языки как открывавшие доступ к чудному классическому миру, носителю лучших человеческих идеалов. Овладеть этими языками представляет большие трудности — ну, так что ж? Бодро принимайся за работу, преодолевай затруднения во имя прекрасной цели. Бодрость была отличительной чертой его преподавания — и за это я ему осталась навсегда благодарна. Он вел урок быстрым, как бы радостным темпом. Ритмически спрягаемые глаголы складывались как бы в бодрую рабочую песнь, облегчающую исполняемую работу. При ошибке в какой-нибудь форме он громко восклицал: «Кó-ля!» — или: «Вé-ра Николá-евна!» — и остро ударяемые им с иностранным акцентом гласные ярко звучали и будили внимание. Живо блестели его глаза, поблескивали очки, часто улыбались губы — урок был ему не в тягость, а в удовольствие, лишь бы был успех в знаниях ученика. Он пускался на разные выдумки, чтобы облегчить усвоение трудно дававшегося. Так я помню, Коля никак не мог запомнить правильного ударения формы malimus: «Кó-ля, помните мали́-ну!» — бодро воскликнул он раз, вытянув вперед указательный палец и растянув ударение на «и». Это сближение с малиной оказало услугу и мне впоследствии при запоминании названной формы.

Антон Киприанович занимался тогда с Колей латынью, позднее и греческим языком. Он скоро полюбил своего ученика. Много лет спустя, узнав о кончине Коли, он со своей родины, куда давно уже переселился, написал маме глубоко прочувствованное письмо, в котором сердечно вспоминал выдающийся нравственный облик даровитого своего мальчика-ученика.

Познакомились мы тогда и с Александром Родионовичем Артемьевым, впоследствии известным талантливым артистом Художественного театра — Артемом[93]. Тогда он был учителем рисования в 4-й гимназии. Он нам с Колей очень нравился, потому что вносил всегда большое оживление: он легко набрасывал на лист белой бумаги разные головы-шаржи или карикатуру на самого себя — мы прятали эти наброски, и сохранившиеся из них я после смерти его передала в Художественный театр; он так смешил всех своим юмором, превосходно передавал смехотворные рассказы.

Всем, по-видимому, было интересно и весело с новыми знакомыми; один Сергей Александрович — «дяденька Сережа» — заметно сторо-

нился их. Он чувствовал себя обиженным: его любимец Блондин был отнят у него, и в жизнь семьи, в которую он внес так много, вливались теперь новые струи. Я чувствовала его обиду и нередко, когда он сидел один в сторонке, подсаживалась к нему. Я любила его всем сердцем, а к тем была еще душевно равнодушна, но интерес к ним и вносимому ими во мне проснулся — и он с грустью понимал мою детскую жертву.

Еще новый знакомый в те годы — Михаил Михайлович Панов. Семь лет жизни и столько воспоминаний связано с этим человеком, который много способствовал моему развитию. Он был товарищем Миши по гимназии, окончившим курс на год раньше его к Рождеству (в ревельской гимназии переходили из класса в класс по семестрам). Миша, перешедший в то время в последний класс, имел товарищами нескольких даровитых немецких юношей; но при рано проснувшемся в нем горячем патриотизме и усиленном тяготении к русскому он избрал себе в ближайшие товарищи русского ученика, сына таможенного чиновника Панова. Когда этот товарищ его кончил курс и собрался перебраться в Москву для поступления в университет, Миша просил папу и маму приветить его и оказать ему всевозможную поддержку. Мы с Колей знали, что вот-вот приедет из Ревеля Мишин товарищ, и с нетерпением ожидали его. И вот в одно воскресенье мы почему-то были в столовой с папой и тетей, когда доложили о нем, и в дверях появился, сморкаясь в белый чистый платок и в то же время конфузливо шаркая ногой, молодой человек — такой совсем иной по внешнему и внутреннему облику, чем Миша, что трудно было поверить, чтобы он был его близким товарищем. Все в Мише сияло внутренним горением и восторженностью, и при гибкой и стройной юношеской фигуре у него было большое изящество манер. Молодой человек был приземист, широк в плечах — и был ему присущ какой-то комический элемент, который он старался подчеркивать усиленной поспешностью движений и какой-то преднамеренной шутливостью речи. Собой он был некрасив: белобрыс, с небольшими неспокойными глазами под светлыми ресницами и круглым румяным лицом. Одет он был удивительно чисто и аккуратно: в черный сюртук при крахмальной манишке и ослепительно белых воротнике и манжетах. Папа приветливо принял, видимо, робевшего молодого человека и тотчас пригласил его к скоро ожидавшемуся обеду — а к вечеру он мог счи-

тать себя пребывающим в дружески расположенной к нему семье. Скоро он стал нашим завсегдатаем.

По возрасту своему он стоял между взрослыми и нами, детьми, и невольно, может быть, по молодой застенчивости в эти первые годы нашего знакомства тяготел к нам с Колей, так что скоро мы привыкли видеть в нем своего гостя, а не взрослых, милого собеседника, который не тяготился никогда разговором с нами и с которым можно было открыто говорить обо всем, что интересовало нас. Нашим беседам он умел придавать непринужденный характер, потому что, с одной стороны, откликался с полной серьезностью на наши интересы и запросы, делился с нами своими знаниями, объяснял новое и непонятное, а с другой — постоянно был готов на смех и шутку, даже при серьезном разговоре, не нарушая этим, однако, в сути серьезного к нему отношения. Он много занимался нами, и, я думаю, не только потому, что детское общество было ему в то время душевно мило, я уверена, что занятиями с нами он хотел отплатить сколько мог за привет и поддержку, встречаемые им в нашей семье. И он много дал нам. Он говорил с нами по-немецки и много читал с нами по-русски. Ему мы обязаны первым знакомством с Гоголем. И, Боже мой, какая это была радость — вызываемый его бессмертными творениями смех. Как мы смеялись с Колей — неудержимым здоровым смехом! И вся поэзия Гоголя широко пролилась на душу. За один этот смех, за пережитые поэтические минуты я бы осталась навсегда благодарна Михаилу Михайловичу. Он вообще вводил в наш разговор оживляющую струю безобидного смеха и шутки, а этого нам при общем серьезном направлении нашего воспитания очень недоставало. «Вы думаете, вы — бакфиш[94]? — дразнил он меня с комично серьезным видом, хорошо мне знакомым. — Нет-с, далеко вам до бакфиша; вы — просто пеналькрете[95]». Или в другой раз: «Знаете, кто вы? Хопсфрейлейн[96] — вот кто вы такая» (я тогда подскакивала немного на ходу). Раз я показала ему картинку, на которой была изображена райская птица. Я от души любовалась красивой птицей, а он, сделав комично-серьезное лицо, всегда предшествовавшее новой выдумке, сказал: «Знаете, как зовут эту птицу? Это — птица — и это вы. Теперь я знаю ваше настоящее имя. Птица юстрица — так я и буду вас звать». И он смеялся, и я; и он звал меня юстрицей — откуда только он выдумал такое замысловатое слово — и хопсфрейлейн, и пеналькрете, а я нисколько не обижалась. Он посвятил нас в разные тяжеловесные немецкие витцы[97] и в гимназическую

премудрость: «Отчего плывет утка? От берега». «Отчего ду-рак, а не дурыба?» и т.п. — и мне кажется, если бы не смеялась я тогда над всеми этими глупостями, в моем детстве чего-то бы не хватало.

Но он заботился также о нашем развитии. Не было и одного серьезного интереса с нашей стороны, которому он не пошел бы навстречу. У нас с Колей была нумизматическая маленькая коллекция — он приносил нам старинные и иностранные монеты; мы интересовались старинными книгами и любили ходить по букинистам Смоленского рынка — он откапывал где-то могущие заинтересовать нас книги и приносил их нам для прочтения или в подарок. Особенно баловал он меня не только в эти, но и в последующие годы, когда я стала старше. Он положительно задаривал меня, опираясь на мое положение младшей в семье, которую как-то невольно все баловали. Я не могла произнести желания или сделать вопроса — он старался исполнить желание или раздобыть вещественный ответ на вопрос. Так, он по моему желанию вырезывал из сосновой коры премиленькие лодочки, приносил мне с Вербы[98] морских жителей, тащил для моих естественно-исторических коллекций аммониты и белемниты, гагачье гнездо и яйца гагары, раковины и сушеную каракатицу; отвечая другим, позднее проснувшимся во мне интересам, он подарил мне сочинение Гуля и Конера о греческой и римской архитектуре[99] и «Письма об эстетике» какого-то немецкого автора; я одолела обе книги с большой пользой для себя. Помню, как во время торжеств по поводу коронации Александра III мне захотелось заполучить манифест и жетон, которые герольдами разбрасывались народу[100]. Достать их было очень трудно, так как вокруг герольдов образовывалась свалка и красиво отпечатанные листы с манифестом рвались народом на куски. Но Михаил Михайлович, отправившийся доставать мне манифест и жетон, торжественно вернулся с ними среди дня и комично рассказывал, как он, схватив манифест, подполз под лошадь герольда, чтобы толпа не вырвала у него листа из рук, и как, запрятав лист в боковой карман, он преспокойно вылез из-под ног лошади. Он вообще окружал меня всевозможными знаками внимания, чрезмерными для девочки моих лет. После тяжелой болезни, едва не унесшей меня, мне и на следующее лето запрещали садиться на землю, и он на прогулках носил за мной или плед, или плетеное маленькое кресло. Он вырезывал на деревьях мой вензель, говоря шутливо, как всегда, что так делают в Ревеле в честь разных пенalькрет. Такое усиленное внимание, часто граничившее с ухаживани-

ем, тревожило временами старших. Но оно не отзывалось на мне пагубно. Я относила все не к себе, а к тому, что он был другом моим братьям (он был близок со всеми тремя), следовательно, естественно желал быть другом и мне. Когда он слишком баловал меня, я сердилась и обижалась. Так удовольствие получить коронационный манифест мне отравила опасность, которой он подвергался при доставании его. К вензелям моим на деревьях я относилась более или менее равнодушно, прося только вырезывать их на соснах, кора которых от этого не страдала. Но раз он на одной сосне срезал большой кусок коры до сердцевины и тут вырезал мои инициалы. Он с торжеством показал мне свою работу, которая должна, по его словам, была сохранить память обо мне на долгие годы. Но я так огорчилась за дерево, потерпевшее из-за меня, что серьезно рассердилась на Михаила Михайловича, и ему стоило много труда восстановить между нами мир[101].

Еще один образ из того времени; он прошел передо мной почти мимолетно, но оставил во мне нежное и хорошее чувство. То — Александр Иванович Жеребцов, «Божий человек», так прозвал его Миша, — и сколько любви и уважения вкладывал он в это прозвище, которое привилось за Александром Ивановичем в нашей семье. Ширококостная, когда-то, наверное, мощная фигура, могучее, теперь расшатанное злой чахоткой здоровье, на лице — печать вечно бодрствующей мысли, в уголках губ скорбная складка, между бровями две глубокие морщины, говорящие о том, что жизненный опыт дался ему не даром, — вот какими чертами запечатлелся в моей памяти образ Александра Ивановича. Кто он был, чем он занимался, я не знала, не знаю до сих пор; слышала я, что он прошел университет вольнослушателем. Для меня важно было то, что Миша, а затем и наши старшие познакомились с ним через Сергея Александровича, что он был его приятелем, что его считают выдающеся хорошим человеком, обособленно поставившим себя в жизни. Но что я твердо знала моим детским сердцем — это было то, что он — неимущий, больной и не задалась ему жизнь и что поэтому надо его вознаграждать любовью и лаской. И щедро изливали мы с Колей на него свою ласку. Он мало говорил с нами, маленькими, был вообще молчаливым и сосредоточен в себе; но мы знали, что, когда он забьется с Мишей в крошечную дачную комнату Миши, они ведут серьезные, возвышающие

беседы. Он был крайне деликатен и целомудренно горд в своей большой бедности, так что крайне трудно бывало заставить его принять какую-нибудь помощь. Знакомство наше с ним было краткое — всего, может быть, полтора года. Последнее лето он много гостил у нас на даче и на наших глазах все слабел. И раз, в один из ранних августовских дней, подали к даче нашу коляску и в нее бережно усадили его — и он, грустными глазами оглядывая провожавших его со скорбной складкой у молчаливо сжатых губ, прощался с нами навсегда. Стараниями нашей семьи — о нем некому больше было позаботиться — он был помещен в Екатерининскую больницу на Страстном бульваре[102], и тут навещали его от нас, всячески стараясь облегчить страдания его последних дней. Он скончался 30 августа, приобщившись Святых Тайн, на руках сиделки, которой он в трогательных словах передал свой предсмертный привет всем нам. И она почувствовала, по ее словам, что умер хороший человек.

Одно яркое воспоминание связано у меня с «Божьим человеком». Мы приехали в Аносину пустынь[103] — о наших поездках туда шумной веселой семьей я еще буду говорить, — и пока распаковывали многочисленные короба с провизией, привезенные с собой, и монахини в гостиной хлопотали над самоваром, я вынесла на крыльцо наше пропыленное верхнее платье. Чистить платье щеткой, так же как ваксить башмаки, доставляло мне тогда большое удовольствие, и потому на поездках, единственно когда я могла наслаждаться этим удовольствием, я бралась чистить и братьям их пальто. На этот раз я тихонько прихватила и пальто его — мне казался он таким усталым после дороги и слабым, и мне было так приятно сделать что-нибудь незаметно для него. И вот я помню деревянное простенькое крыльцо монастырской скромной гостиницы, окрашенное в светло-серую краску и увитое цветущими красными турецкими бобами, на высоко вколоченном в стену гвозде с трудом повешенное мной его тяжелое драповое золотисто-рыжее пальто — оно было единственным у него, зимой он поверх его прикрывался клетчатым зеленым пледом — и себя, с щеткой вскарабкавшуюся на деревянную скамью, чтобы достать до верхней части пальто. Я спешу со своим тайным делом — и вдруг глаза мои притягивает высунувшийся из кармана грязный мятый носовой платок и еще: на одной поле небольшая дыра, тщательно заштопанная черными нитками. Жалость входит мне в душу при этих явных признаках бедности, неимоверная жалость. А тут еще выходит он сам на крыльцо и видит меня. Может быть, он понял меня. «Ах,

зачем?» — вырвалось у него с горьким упреком, и мучительная краска стыда залила его лицо. Я мучительно покраснела тоже и беспрекословно предоставила ему его пальто. Острая боль пронзила мне душу: я в первый раз взглянула в глаза стыдящейся бедности и неумело грубо задела ее. Мне было так стыдно и так больно.

Кто был он и в чем тайна его обаяния над нашими душами? Я думаю, что был он один из тех идеалистов, которым как будто нет места в жизни, потому что они не сдают перед ней своих идеалов, и которым жизнь жестоко мстит, коверкая их жизненный путь, но, и изломанные жизнью, они остаются победителями, сохранив свои идеалы до конца.

Большое значение для моего развития в эти и многие последующие годы имел театр. Нас с Колей рано стали возить в театр — многие скажут, слишком рано. Я не говорю уже о своих первых выездах в Большой театр на балет «Дочь фараона», на котором я, пятилетняя девочка, позорно заснула, и год спустя на балет «Конек Горбунок»[104], на котором помню возле себя семилетнего Колю в черной бархатной курточке с отложным белым воротником и голубым бантом шелкового галстука и себя в шелковом, перешитом из маминого платья, сиреневом платьице декольте. Это были случайные, так сказать праздничные выезды. Но я помню себя несколько лет позднее в скромном шерстяном платье принцесс[105] уже частой посетительницей театра и около меня Колю в суконной уже курточке без цветного банта, а позднее в гимназическом мундире. Я не знаю, чем руководствовалась мама, так рано знакомя нас с театром; думаю, что она глубоко верила в его образовательную силу, испытав ее на себе. Театр учил и должен был учить одному доброму. Так смотрели на него и папа, и тетя, и Сергей Александрович. Папа в те годы по состоянию своего здоровья уже не ездил в театр; но в молодости он был увлекающимся его любителем. Даже подростком еще он тратил скудные свои гроши на оперу и драму, на спектакли с Рашелью. Он напевал по слуху многие арии, и мы улавливали в его речах о театре воспоминания о пережитых в нем минутах восторга. Тетя тоже уже не ездила тогда в театр, но мы помнили из раннего своего детства, с каким приподнятым настроением она, бывало, собиралась туда. Мне осталось неизвестным, отчего она как-то разом отказалась от любимого своего удовольствия и уже твердо стояла на своем решении больше не

ездить в театр. Есть у меня предположение, что она сделала это по совету своего духовника, одного из почитаемых киевских старцев, чем она положила начало постепенному отрешению от мирской жизни. Но, отказавшись от посещения театра, она не переставала глубоко интересоваться им, расспрашивала и выслушивала про новые представления, восторженно вспоминала виденное и слышанное. От нее, также от мамы мы знали имена всех знаменитых тогда итальянских певцов и певиц, портреты которых мама поместила в особый альбом: Требелли[106], Вольпини[107], Арто, Нильсон, Николини, Падилло и ни с кем не сравнимую божественную Патти[108]. Со слов взрослых они казались нам какими-то сверхъестественными существами, могущими творить радость и восторг, и когда мы в один из приездов Патти узнали, что она совершает ежедневную прогулку по Тверскому бульвару, мы упросили маму отпустить нас на Тверской бульвар «смотреть Патти»; и мама пустила нас, хотя обычно нам не позволяла ходить гулять на этот бульвар. От мамы же мы слышали те славные имена, которые дороги всем любившим Малый театр, а как умели его любить, знают люди нашего и предшествующего нам поколения, которым он озарял ярким смыслом всю жизнь. Сергей Александрович так же благоговейно относился к Большому и Малому театру. Свои восторги он переживал на галерке и оттуда приносил свои впечатления, и они казались нам прекрасными, воодушевляющими, заманчивыми. Стоило только слышать, как он говорил о Гликерии Николаевне (Федотовой, подразумевалось само собой)[109] и ее молодой сопернице, восходившей тогда звезде, Марии Николаевне (Ермоловой), чтобы проникнуться интересом не только к их игре, но и к ним самим. Мы постоянно слышали разговоры о театре среди взрослых, мы ежедневно по вечерам в комнате у мамы перечитывали афиши, получаемые по абонементу, — и нас рано повлекло к театру как к чему-то особенному и маняще прекрасному.

Но это было смутное, не осознанное еще влечение, и когда нас стали возить в театр, мы, признаюсь откровенно, не доросли еще до него. Признаюсь, что нам с Колей не раз доставляло удовольствие сбрасывать вниз из ложи в партер как бы нечаянно красненькую или желтенькую буль де гом, взявши ее из поставленной перед нами кругленькой коробочки от Эйнем, какую мама часто покупала нам в театре. Потом, помимо самого спектакля, нас радовала и восхищала вся обстановка, среди которой приходилось проводить эти несколько часов: общий подъем и ожив-

ление всего зала, самый воздух его, большое освещение. И свобода! Мама обладала даром в веселье не стеснять свободы детей, правда, в пределах ею начертанных рамок. Опираясь не без основания на нашу благовоспитанность, она отпускала нас из ложи одних гулять по коридору, но не в фойе, позволяла даже уходить в другие коридоры, но не в партер и не на галерею. Само было понятным, что я при этом считалась врученной защите Коли, и мы это хорошо сознавали. Мне радостно и безопасно чувствовалось под охраной Коли, и я испытывала горделивое удовольствие, когда он брал меня под руку и мы прогуливались по коридору, как взрослые кавалер с дамой, и когда он вежливо подводил меня к буфету и угощал меня на свои деньги стаканом оршада[110] или клюквенного морса. Не скрою, это и, может быть, коробка конфет, стоящая перед нами на парапете ложи, увеличивало удовольствие выезда в театр. Любили мы также в Малом театре музыку между антрактами, первые звуки которой призывали нас из коридора в ложу; любили смотреть, как размахивает своей капельмейстерской палочкой наш старый и симпатичный нам знакомый Эдуард Осипович Вивьен; мы ждали с нетерпением водевиля, который в те времена неизменно следовал за даваемой драмой или комедией, и огорчались, когда мама не оставалась на него. Одним словом, мы в театре были дети как дети.

Я помню одно происшествие. Сборный спектакль итальянской оперы с лучшими именами сезона. Парадный спектакль, потому что помимо большой люстры зажжены все бра под рядами лож. Цены столь высоки, что мы вознеслись в ложу предпоследнего яруса. Битком набит весь зрительный зал, полным-полна и наша ложа. Нас с Колей притиснули к правому краю ложи, и нам тесно и душно. Между тем соседняя ложа пуста; она кажется единственно пустой в переполненных рядах лож. Она остается незанятой первый, второй акт, начало третьего. Тогда нам приходит с Колей «гениальная» мысль: перебраться в нее. Все в ложе у нас так увлечены оперой, что никто не замечает, как мы перелезаем через перегородку. Идет один акт из «Линда ди Шамуни»[111]. Нам теперь просторно и хорошо видно; но тревога на совести — ведь мы завладели тем, что нам не принадлежит, — заставляет меня все время оборачиваться назад, не входят ли обладатели ложи. И вдруг я действительно вижу: в аванложе снимает шубы целая компания. Безумный ужас охватывает меня: «Идут, идут!» — вскрикиваю я, не помня себя. Коля ловко перепрыгнул через перегородку близко от задней стенки ложи, а я, расте-

рявшись, вскакиваю на парапет ложи и останавливаюсь там все с тем же обезумевшим криком: «Идут, идут!» Вся пропитанная светом зажженных бра зала у меня под ногами притягивающей вниз бездной — я всегда страдала головокружением на высоте, — но тут кто-то подхватывает меня и благополучно ставит на пол. С мамой истерика; в нашей ложе общее смятение. Но скоро музыка вносит общее успокоение и атмосферу высокого наслаждения; только новоприбывшая дама в соседней ложе часто оглядывается на меня с добродушно-насмешливой улыбкой — и мне стыдно, стыдно.

Несмотря, однако, на мое ребячество, театр глубоко затрагивал меня иногда. В тот же сборный спектакль я впервые слышала сцену Аиды с Амонасро[112]. Я не знала сюжета оперы, но я поняла: отец сердится на дочь за то, что она не хочет исполнить его желание, и грозит ей проклятием, и она страдает — как страдала бы я в таком случае. Ее чувства, мои чувства горячей дочерней любви выражала с такой силой дивная музыка, дивный голос певицы. Это было — как будто кто-то выражал то, что я знаю в области чувства, во сто раз ярче, чем могла бы сделать я. Я не только смотрела на черную девушку вниз, я сливалась душой с ее страданием. «Бедность не порок»[113] в Малом театре с Вильде[114] в роли Любима Торцова потрясла меня надолго. Многого я, конечно, не понимала в том, что я видела тогда на сцене; но я знала, что я смотрю на правдивое изображение жизни, и я любознательно тянулась к этому зеркалу действительности. Я, правда, перевидала не по возрасту рано некоторые пьесы, как «Майорша», «Дикарка», «Мертвая петля»[115] и др.; но они не сделали мне вреда, не возбудили во мне нездорового любопытства. Зато жизнь развертывалась передо мной на сцене, как на картинах верных правде хороших художников, и я училась и вместе наслаждалась талантливыми жизненными изображениями. Зато я имею в галерее своих воспоминаний образы пленительной молодой девушки Ермоловой с чистым и вдумчивым лицом носительницы высших идеалов, обворожительной своею живостью молодой Никулиной[116], Ленского[117] на молодых ролях, несравненного комика Акимовой[118] и многих других славных.

Большой и Малый театр — таков был весь тогдашний артистический кругозор мамы, как и многих москвичей; других зрелищ мама по вкусам своим не признавала, да они и не были в те времена так многочисленны и разнообразны, как теперь. Но раз она пустила нас в цирк — с Анной Мартыновной. Мне было тогда лет 6 или 7. Предварительные

рассказы про трудность изучения цирковых упражнений, про жестокое обращение с детьми, выступающими в цирковых представлениях, отравили мне весь вечер. Запомнился мне до сих пор мальчик, проделывавший как-то робко и с напряженным лицом гимнастические упражнения на пирамиде из графинов и тарелок, — мне так и чудилось, что он делает это по жестокому принуждению. Про двух братьев-мулатов в красивых атласных костюмах — двух подростков, исполнявших сальто-мортале, я не замедлила сочинить трогательный рассказ. Акробатические упражнения на трапеции, подвешенной к потолку, только пугали меня за висевших в воздухе и подвергавшихся опасности слететь. И, хотя мы с детским интересом просмотрели представление, общее впечатление от него было таково, что надолго отбило у нас желание проситься в цирк. Я же за всю жизнь больше не бывала в цирке, в чем находила полное сочувствие со стороны мамы.

Когда мне было лет 11 или 12, не помню, нас с Колей возили не раз на какие-то литературно-музыкальные вечера, дававшиеся в Русской палате Славянского базара[119]. Я любила этот выезд не столько, пожалуй, из-за самого музыкального и литературного отделения — недаром из исполнителей мне запомнился один только Лентовский[120] с его куплетами, — сколько опять-таки из-за свободы и самостоятельности, которыми мы при этом пользовались. Очаровательна казалась мне Русская палата уже потому, что она, как предполагалось тогда, была в русском стиле, во всяком случае хотела быть таковой. Привлекательными и дорогими казались украшавшие ее портреты лиц, любивших Москву, видевших в ней сердце России. И мы каждый антракт обходили с Колей, опять вдвоем, все портреты и восхищенно читали под ними хорошо знакомые уже надписи. Потом, по окончании литературного музыкального вечера, мы всей семьей направлялись в большой общий зал ужинать, садились за уютно стоящий где-нибудь в стороне стол — и тут мама позволяла своим детям выбрать каждому себе по вкусу блюдо. И удовольствие заключалось тут преимущественно не во вкусной и необычайной еде — Лена, например, неизменно заказывала себе холодную телятину, которую часто подавали и дома, — но в возможности выбирать свободно. Потом еще одно развлечение: ходить с Колей, чувствуя себя под его защитой, к бассейну с живыми стерлядями. Как я любила этот бассейн, как красивы были плавающие в нем стерляди. И весь зал, где все было так нарядно и светло, чинно и скромно, нравился нам, и мы чувствовали себя в нем приятно-непринужденно.

Театр и книги — вот откуда я черпала тогда свое знание жизни. Но это было только живописание ее, а меня тянуло, смутно еще, но неудержимо, непосредственно к ней самой. Видеть, услыхать что-нибудь из области, стоящей вне нашего обычного жизненного круга, доставляло мне уже тогда особое наслаждение — я поняла это ясно позднее, когда это чувство усилилось с годами. Стесненная довольно тесными рамками семейной жизни и небольшого сравнительно круга знакомых, я старалась, когда было возможно, раздвинуть эти рамки и заглянуть за них, как живут другие люди при других условиях, чем мы. И я жадно, всей душой ловила всякое новое впечатление. С удовольствием вспоминаю наши посещения Смоленского рынка, оживленную на нем толкотню, бойкую мелкую торговлю разнообразным товаром, какого не бывало в магазинах, кадки с селедками и мочеными яблоками, маковники на меду, продаваемые на лотках мальчиками с зарумяненными на морозе щеками и веселой речью, исчезнувших теперь давно мальчиков-зазывальщиков у лавок с красным товаром — отличительным признаком этих лавок служила протянутая над входной дверью полоса кумача, — седых купцов в длиннополой одежде, подгородных женщин в красивых широких и коротких бархатных шубках с борами, громогласно и озабоченно торгующихся, по нескольку раз выходивших из лавки и возвращаемых в нее обратно лезшим из кожи вон приказчиком, — Смоленский рынок не знал еще «при фикс»[121], выражение, которое, если я не ошибаюсь, только входило тогда в обиход и крупных магазинов пассажа и Кузнецкого моста. Мы бывали на Смоленском рынке часто, во-первых, потому, что мадемуазель Сикр часто делала там свои недорогие закупки; во-вторых, потому, что нас с Колей влек сюда специальный интерес: мы с врожденной любительской страстностью относились к старым книгам. Мы, конечно, не разбирались еще в них, но один вид старинной печати или старинного переплета будил у меня в груди восторженное чувство, подобно черепку из Помпеи. Мы подолгу простаивали у столиков букинистов на глазах у какого-нибудь спокойного старика, добродушно позволявшего нам перебирать его товар, опытным глазом усматривавшего, может быть, в нас будущих любителей. Мадемуазель Сикр терпеливо караулила нас при этом на морозном часто воздухе, крайне самоотверженно, скажу я, так как у нее не было шубы, и носила она зимой только легко подбитую ватой, собственно осеннюю ротонду[122]. Но

она умела сочувствовать подобным интересам своих учеников. Иногда нам удавалось и купить какую-нибудь книгу на наши скудные карманные деньги — и это всегда было для нас большим торжеством; мы уже тогда начали составлять свою библиотеку. Так, помню, мы приобрели на Смоленском старинное издание Тацита на немецком языке и «Освобожденный Иерусалим»[123] на французском, больше основываясь на старинном виде переплетов, чем на знакомстве с значением самих произведений. Обладая лишь очень небольшой суммой денег, мы с геройством отчаяния торговались и инстинктивно прибегали к уловкам любителей: откладывали в сторону книгу, делали вид, что не заинтересованы ею, потом возвращались к ней как бы невзначай и спрашивали об ее цене и пр. «Сколько стоит эта книга?» — спросила я раз равнодушным голосом, а внутри вся трепетала и горела: книга была со старинным церковно-славянским шрифтом и в старинном кожаном переплете. «Сорок рублей», — неуверенно ответил мне мальчик-сподручный, на время заменявший ушедшего хозяина, — очевидно, он сам был не тверд в ценах. «Двугривенный», — смело возразила я: это было все мое тогдашнее богатство. Надо было видеть, каким презрением обдал меня взгляд этого мальчика, когда он с каким-то обидным для меня видом взял книгу и поставил ее на ее место, сразу оборвав дальнейший торг. «Уж я, — говорил весь вид и обращение его, — мало понимаю, а ты и того меньше — и туда же суешься покупать старые книги».

Ранняя страсть к коллекционированию привела нас между прочим к собиранию монет и камней. И ту и другую коллекцию мы медленно пополняли на свои небольшие, как я сказала уже, карманные деньги. Мы ходили отыскивать наши сокровища на Смоленский рынок и в Ряды. Помню — это было где-то в задних рядах, тесных, сырых и темных, скудно освещавшихся через потолок, с водосточными канавами посредине неровно мощенного пола, покрытыми вдлинь досками, но, несмотря на это прикрытие, издававшими зловоние, — эти крошечные лавки, или скорее прилавки, и открытые углы, где старьевщики продавали всевозможный мелкий хлам и лом, на который, надо диву даваться, находились, очевидно, покупатели. Помню, камни в необработанных кусках лежали у них обыкновенно в дерюжных мешках на полу, и какое удовольствие испытывала я, запуская в такой мешок руки и вытаскивая из него кусок малахита, или лапис лазури, или гнездо топаза или аметиста. Походы наши сюда в эти темные малоизвестные закоулки давали

мне всегда много радости и оживлявшего интереса. У магазинных окон пассажа и Кузнецкого моста я не любила останавливаться: магазинные выставки будили во мне скуку, тогда как весь этот лом и хлам имел для меня притягивающую прелесть старины. Надо заметить, что и тут мадемуазель Сикр разделяла с нами вкусы и интересы.

И она откликалась на все новое и невиданное и выходившее из круга повседневного, и она стремилась расширять рамки своих жизненных наблюдений. И раз, в один морозный зимний день — Коля не поступал еще в гимназию — мы увлекли ее перспективой увидать древности Новодевичьего монастыря[124] и посмотреть, как живут монахини, и уговорили ее и Юлию Андреевну пойти в монастырь пешком. Сначала вся наша маленькая компания чувствовала радостный подъем духа: ведь мы открывали не исследованные нами ранее пути, и впереди через все пространство тогда еще совсем не застроенного поля[125] манил к себе всей красотой своих церквей, колокольни и бело-красной ограды Новодевичий монастырь. И снежное поле искрилось под лучами солнца — такого большого снежного пространства мы с Колей еще не видали. Но продвигаться вперед без дорог по случайно наезженным колеям от санных полозьев было нелегко; мы скоро поняли трудность нашего предприятия — но бодро продолжали путь. Кое-как перебрались мы к правому краю поля — тут мы по правую руку имели частные владения и были больше защищены от ветра. Мы шли и шли вперед, нам не хотелось сдаваться; но все больше убеждались мы, что затея наша была неразумна. Все мы стали мерзнуть, особенно мадемуазель в своей легкой ротонде, да и уставать стали все. И как-то до неприятности безлюдно было вокруг на далекое пространство; мы казались себе затерянными в снегах. Особенно сильно было это чувство во мне, когда нам пришлось пробираться по узкой, протоптанной в снегу тропе между длинным дощатым забором ганешинского сада[126] с одной стороны и громадными, выше человеческого роста снежными сугробами с левой стороны, закрывавшими от нас все поле. Настоящим утешением была тут встреча с каким-то человеком, с которым мы с трудом разошлись: он сказал нам, что монастырь близко. И действительно: когда мы вышли из-за сугробов и ганешинский забор повернул за угол направо, мы очутились почти перед монастырем. Мы достигли цели — торжество наше было великое. Но внутри ограды какое разочарование! Время было внебогослужебное, и потому храмы заперты; где находятся кельи монахинь, мы не знали; кругом ни

души — монастырь точно спал, и только ветер уныло посвистывал, крутя перед собой мелкую и сухую снежную пыль. Мы дрогнули. Оставалось нам поспешить вернуться домой, не повидав древних церквей и житья монахинь. Усталые, поплелись мы обратно и только на Плющихе встретили первого извозчика, которого и поспешили нанять довезти нас вчетвером до дому за четвертак. Мадемуазель совершенно закоченела и с горечью отзывалась о православных монастырях. Она говорила, что в католическом монастыре нас бы непременно приняли и обогрели и, видя наш интерес к древностям, непременно отперли бы нам для обозрения храмы. Мы с Колей чувствовали себя сконфуженными и, сидя на коленях у наших воспитательниц, отмалчивались: ведь всему виной были мы, затеяв наш поход при помощи уверенных обещаний, тогда как мы не знали сами порядков в монастыре.

Мадемуазель Сикр я обязана своим первым знакомством с жизнью городской бедноты. Она раз задумала отдать себе заметить гладью носовые платки и стала искать метильщицы подешевле (тогда существовало на Страстном бульваре превосходное, но дорогое метильное заведение — Тиссье, куда мы ходили не раз сдавать мамины заказы). Она через кого-то достала адрес и, как всегда, взяла нас своими чичероне и переводчиками. Метильщица жила недалеко — в Николощеповском переулке, в одном из переулков за Смоленским рынком, в известной в то время так называемой Ржановской крепости[127]. Это было несколько домов, грязных, облупленных, в которых по каморкам и койкам ютилось крайне бедное население. Жить в Ржановской крепости значило опуститься очень низко, даже для городской бедноты. В более обеспеченных кругах о Ржановской крепости говорили как о чем-то ужасающем. Мы ничего не знали о ней, как вообще не были посвящаемы в подробности жизни и быта бедняков, обитателей переулков за Смоленским рынком, несмотря на то что они были нашими близкими соседями. От нас скрывали многие темные стороны жизни, боясь, как бы мы слишком рано не соприкоснулись с жизненной грязью, как бы не узнали чего-нибудь дурного. Из-за этой боязни нас держали вдали от низших классов населения, тщательно оберегая наш слух от нежелательных выражений и разговоров. Стоило нам войти в грязный тупичок, приводивший из переулка к грязному двору крепости с ее строениями, и встретить первых ее насельников, чтобы понять, что мы попали в особый мир, куда бы нас «не пустили» идти. Мадемуазель, несмотря на свою смелость и

решительность, поколебалась. «Вам не страшно идти сюда?» — спросила она у нас. Страшно? Нет, мы стыдились этого чувства. И мы двинулись вперед и в лабиринте каморок и коек нашли наконец указанную метильщицу. Она оказалась худенькой, тихой и симпатичной старушкой с лицом примирившегося с жизнью человека, в спокойное и ласковое выражение которого вглядываться бывает так отрадно. Она сидела за круглыми пяльчиками, привинченными к старому раздвижному столу, и чтобы говорить с нами, привычным движением передвинула на лоб свои очки и взглянула на нас своими выцветшими и усталыми от работы глазами. Так она запомнилась мне вся: и ее редкие на висках волосы, и тоненькие косички, уложенные на затылке, и старенькое платьице с белыми бабочками по полинявшему коричневому фону. И кругом вся ее обстановка: комната, занятая несколькими постелями с ситцевыми одеялами и подушками в разноцветных наволоках, и закутанные в старые шерстяные платки исхудалые и растрепанные женские фигуры. До того сильно было это первое впечатление от встречи с бедностью и нуждой.

Мы несколько раз ходили в эту и соседние квартиры, и ничего «дурного» мы не видали. Но глубокую жалость и сочувствие к обездоленным заронили мне в душу эти посещения. Еще детскими глазами я заглянула в бездну жизненного горя, я увидала его воочию, не через книги или рассказы. И я навсегда осталась благодарна мадемуазель Сикр за то, что она не побоялась раскрыть передо мной эту бездну страданий. Но, как бывало во многих отношениях с нею, и тут мне приходится оговориться. Не одна жалость к бедноте и желание помочь деньгами или работой влекли мадемуазель Сикр в эти жилища бедных. Она открыла здесь для себя специальный интерес. При всем своем живом и серьезно направленном уме она была до крайности суеверна, верила безусловно снам и гаданиям. Сначала она из педагогического такта скрывала свое пристрастие к разгадыванию снов и гаданью; но, ставши к нам в более близкие отношения, она перестала стесняться. Каждое утро она перебирала сны предыдущей ночи и все чаще толковала о случаях, когда «карты сказали правду». Анна Мартыновна воспитывала в нас презрение к суеверию, и увлечение мадемуазель казалось нам слабостью, но мы любили ее и прощали ей эту слабость. Я снисходительно выслушивала ее повествования про ее сновидения и искренне жалела ее, видя, как ее серьезно озабочивает виденная во сне кошка. И как только она узнала, —

наверное, это открылось нам случайно при одном из наших посещений старушки метильщицы, — что в этой же тесной и душной коечной квартире живет старушка, гадающая на кофейной гуще, мадемуазель обратилась к ее искусству, переводчицей служила я. Помню, с каким интересом я следила за всем, что проделывала над чашкой с кофе старушка, — мне было просто любопытно не виданное еще, — а мадемуазель тревожно следила в моем переводе за тем, что таинственным шепотом говорила гадалка. На ловца и зверь бежит: оказалось скоро, что в соседних квартирах есть женщины, умеющие гадать кто на картах, кто на бобах, кто на чаю. Всех их мы разыскали, и всем им мадемуазель заплатила дань в виде 30 копеек платы за сеанс. Всем им напряженно внимала. Я с интересом вбирала новые впечатления, но совесть смущала меня: я знала, что такие посещения были бы запрещены нам, если бы о них узнали старшие. Мадемуазель знала это также и просила молчать. И мы молчали из привязанности к ней. Но то, что она наводила нас на дурное, огорчало меня; мне хотелось бы видеть ее на высоте идеала, как Анну Мартыновну.

И один раз, разыскивая новую гадалку, мы попали в трущобы тогдашнего Зарядья. Узкие грязные улицы, кишащие еврейской беднотой. Улитая помоями лестница, на нижней ступеньке ее играющие всклокоченные, исхудалые, черноглазые дети чуждого типа. Характерный запах чеснока. В грязной комнате на просиженном дырявом диване, в запачканном ситцевом капоте грузная немолодая еврейка с мясистым лицом и круглыми глазами, перебирающая заплывшими пальцами засаленные карты. На этот раз это была профессиональная гадалка; кругом сидело несколько женщин, ожидавших своей очереди, а гадалка изрекала предсказания, поводя своими круглыми глазами. И она сама, и вся обстановка производили отвращающее впечатление. Мадемуазель сама испугалась, что завела нас сюда, и с этих пор прекратила свои хождения по гадалкам. Что касается до меня, посещение этого неведомого мне уголка Москвы дало мне радость восприятия новых впечатлений.

Тянулась я к знакомству с жизнью во всем ее разнообразии и реальности, а жила между тем в мечтах. Жила, в сущности, двумя жизнями: одной — внешней, всем видимой, очень несложной пока и спокойной; другой — внутренней, никому, кроме Коли, не известной, кипучей

жизнью творчества. Я «сочиняла» непрерывно: на прогулке, засыпая в своей постели, между уроками и разговорами. Как только прекращалась работа мозга, требующая внимания в определенном направлении, как выступало неудержимо «сочинительство». Рождались все новые образы и картины, сплетались со старыми и выливались в «истории». Против наплыва этих образов и картин я ничего не могла сделать: они, такие яркие, осаждали меня. Притом я горячо любила своих героев и героинь, точно они были живые. Они были моими ежечасными спутниками, незримыми и дорогими товарищами. Помню, как раз, желая исполнить совет мадемуазель принести ради Великого поста в жертву Богу что-нибудь, доставляющее удовольствие, я решила воздержаться от сочинительства в течение нескольких дней. Скажу смело: я преодолела этот искус только благодаря закаленной уже тогда во мне сильной воле; но он был мучителен. Недаром мне ярко запомнился талый весенний день, оттаивающая в невылазной грязи Арбатская площадь, и я перехожу улицу, а на меня как раз налетел шквалом рой образов, и я чуть-чуть не поддалась. Каким напряжением воли я осталась победительницей.

Что же и как я сочиняла? В моем сочинительстве того времени ярко преобладала педагогическая струя. Всегда в моих «историях» были дети и воспитывающие их в добре и правде взрослые или дети, занимающиеся сознательно самовоспитанием или благотворно влияющие на других детей. Может быть, в этом проявлялись рано проснувшиеся во мне педагогические склонности; но главным образом в этом сказывалось влияние тогдашней детской литературы, особенно иностранной, жадно воспринимавшейся мной, и взглядов на воспитание лиц, меня окружавших. Все они незыблемо верили в силу воспитания и самовоспитания, неуклонно работали над самоусовершенствованием и трудились над нами, «образуя наши души». «Ребенок — что воск: лепи из него что хочешь», — было любимым выражением тети. Вот почему нас всячески берегли от дурных впечатлений и влияний и старались окружить хорошими. И я твердо усвоила эти взгляды и проводила их в своих «историях».

Они были очень наивны, эти истории, но характерны для моего детского творчества. Они были далеки от действительной жизни. Удивительно, что ни бывшие мне доступными наблюдения над жизнью и впечатления от нее, ни театр, в котором я училась жизни, не давали в то время пищи моему воображению. Зато я широко черпала из книг — и притом только из иностранных: русские были для меня слишком близки

к реальной жизни, и жизнь эта казалась мне слишком простой и неинтересной в сравнении с красочным разнообразием положений и обстановки, народов, типов и характеров, встречаемых мною в иностранной литературе. Тут проявлялось и больше героического духа, увлекавшего меня: здесь были рыцари и индейцы, благородные пираты и браво, смелые искатели приключений и открыватели новых стран, борцы за освобождение своей родины с умением красиво и благородно умирать. Все эти типы, положения, обстановка прихотливо сплетались в моих «историях», и выходили рассказы необычайно фантастические, как будто бы изображавшие действительную жизнь, но не вмещавшиеся в ее рамки, с благородными характерами, смелыми бойцами, охотниками и мореплавателями, спасителями чужих жизней, индейцами, малайцами и входящими в положение угнетенных черных рабов. Но наряду с героическими положениями в мои «истории» входили мотивы более мирные, проникнутые духом семейных чувств и отношений. Этот последний элемент постепенно все больше развивался за счет первого и с годами вытеснил его совершенно. Так, повесть, названная мной «американская история», сочинявшаяся и перерабатывавшаяся мной в течение многих лет, сначала была отнесена мной к войне американцев с англичанами (все симпатии мои были на стороне американцев) и начиналась описанием сражения и взятием в плен двух американских борцов, из которых один был у меня мальчик, выросший в лесах с отцом-охотником; со временем же она преобразилась в повесть семейных отношений и школьной жизни, названную мной «Вокруг местечка Монроз», — и храбрый и благородный предводитель американского отряда, сумевший с сердечным участием подойти к дикому и свободолюбивому мальчику-охотнику, превратился в идеального по своему отношению к детям школьного директора. Образы и портреты своих героев и героинь я по-прежнему брала с картинок, иногда целиком переносила их в свои повести, иногда видоизменяла их облик по своей прихоти, сливала два-три образа вместе. При этом меня не смущали несообразности. Понравился мне в книге свадебных обрядов разных народов Дюрингсфельда[128] жених-испанец в своем розовом, расшитом костюме, и я создала для него роль в «американской истории», и он перенесся в не подходящую для него обстановку старинного замка в Англии в своем розовом, расшитом костюме. В другой раз меня пленила иллюстрация к «Ричарду III» Шекспира, изображающая ту сцену, когда Ричард ведет молодых принцев в

Тоуер. Мальчики-принцы казались мне очаровательными детьми. Но я не смогла вклеить их ни в одну из своих «историй» — и я превратила лицо старшего принца в лицо одного взрослого моего героя. Особенно обильный материал доставлял мне, а также и Коле, альбом, изданный в память 200 лет со дня рождения Петра Великого[129]. Мы любили с Колей перелистывать этот альбом. Петр I изображен в нем во многих и разнообразных видах, и каждый отдельный образ соответствовал какому-нибудь герою в Колиной или моей «истории». Мы поделили между собой все картины с Петром и, все снова и снова пересматривая альбом, говорили друг другу: «Это — твой Лауристон?» Или: «Это — твой Стафенсон?» Мы знали, что мы не ошибаемся, но нам интересно было проверять себя.

Вот образец одной из моих «историй», плодов моего тогдашнего сочинительства. Теперь она мне представляется курьезом и возбуждает во мне насмешку над самой собой царящей в ней путаницей представлений и наивностью построения. Тогда она будила во мне лучшие чувства, благородные настроения. Анри де Вальми живет со своей матерью-вдовой в своем родовом замке на берегу моря. Живой, энергичный мальчик пользуется полной свободой и, много учась, в то же время беспрепятственно бродит по окрестным лесам и холмам, по морскому побережью (это был мой идеал жизни). Его любимое занятие — собирание естественно-исторических коллекций (как делали мои старшие братья). Однажды, вооружившись молотком и корзиной, отправляется на скалистое побережье искать окаменелости (как я желала бы быть на его месте). Тут неожиданно настигает его прилив, и он чуть не погибает. Он спасается как бы чудом. И вот Анри де Вальми, вскарабкавшись на скалу, нависшую над самой пучиной, перед лицом бурной стихии, чуть было не поглотившей его, воздает Богу благодарность за свое спасение и дает торжественную (и неожиданную) клятву «посвятить свою жизнь морю». Проходят годы — мать Анри умирает, и он в состоянии оказывается исполнить свою клятву. Он оставляет свой замок, приобретает корабль и живет отныне на море, имея одну только цель жизни: спасать погибающих в бурю и воевать с пиратами. Внешний облик его — Петра Великого на Ладожском озере[130] у руля бросаемой волнами ладьи, грозный, под стать грозной стихии вид — и такая же на нем шубка на меху, как на Петре в этой известной картине. Морскую жизнь Анри пожелал разделить с ним крайне преданный ему с детства его молочный брат Дик, верный исполнитель

его предначертаний. У де Вальми есть еще одна благородная цель: воспитать целую фалангу будущих спасателей человеческих жизней. Он набирает в экипаж своего корабля многочисленных мальчиков и всячески прививает им благородные чувства и стремления. Ему помогает и в этой задаче Дик, простой и сердечный человек, скромный, но беззаветно храбрый. Дик — вдовец. У него есть дочь, Цецилия, выросшая на корабле де Вальми, девочка не от мира сего. Она растет как сестра всем мальчикам, как лелеемый ими нежный цветок и является, со своей стороны, источником добрых влияний. Внешний облик ее — Офелия на фотографии с картины, показанной мне когда-то в раннем детстве мамой. И носится по морям и океанам этот своеобразный корабль с героем-капитаном, который весь — благородство, храбрость и отвага, с героически настроенным экипажем из мальчиков, стремящихся подражать своему любимому капитану и руководителю в нравственном самовоспитании и самосовершенствовании, как носитель добра среди арены бурь, опасностей и несчастий. Много добрых дел совершил де Вальми со своими мальчиками: многих спас от пиратов, от гибели при кораблекрушении. Наконец при одном спасании погибавших во время кораблекрушения он схватил роковую болезнь, справиться с которой не мог его могучий организм. Перед смертью он пожелал проститься со своим экипажем. Каждое утро, по заведенному им порядку, он начинал день с чтения и разъяснения Евангелия перед собравшимся на палубе экипажем. Теперь он делает над собой сверхъестественное усилие: борясь с предсмертной слабостью, он, опираясь на Дика, в обычный час поднимается на палубу. Ему подают стул, но он отказывается сесть. Стоя, как всегда, он читает очередную главу из Евангелия. Она начинается с притчи о десяти девах. Когда он доходит до стиха: «Блюдите, яко не ведаете ни дня, ни часа...» [131], голос ему изменяет и он падает мертвым на руки верного Дика. Его не застал врасплох приход призвавшего его Господина.

ЧАСТЬ III

27 III 1924

До сих пор я касалась преимущественно нашей зимней жизни. Но и летняя жизнь нашей семьи всем ее складом и впечатлениями сильно влияла на наши души, на рост их и развитие. Летняя наша жизнь залита для меня солнцем воспоминаний счастливого детства, проведенного под благотворными влияниями. С особой любовью обращаюсь к ней.

С 1870 по 1879 год включительно мы проводили лето на даче в знаменитом имении князей Юсуповых — Архангельском. Архангельское, его дворец и парк многократно описаны в литературе. Я не задаюсь поэтому его описанием как единственной в своем роде подмосковной. Я буду писать только о тех впечатлениях, которые воспринимала там моя детская, еще слагавшаяся душа.

Помню: вхожу, совсем еще маленькая, в залу синицынского дома. Светло в ней и радостно, как-то по-особенному. Выставили рамы и открыли окна. По улице, громыхая, проезжает извозчик. У Скорбящей Божьей Матери благовестят к обедне. Да что это такое? Да это «Весна — выставляется первая рама, И в комнату шум ворвался, И благовест ближнего храма, И говор народа, и звук колеса»[1]. И я машу руками и громко пою стихи Майкова. Знала я их давно, но поняла и почувствовала только сейчас. Восторг охватил душу. Весна, весна — и значит, скоро Архангельское. Милое Архангельское.

Сборы на дачу вносят оживление в жизнь, и лихорадочным нетерпением бьется сердце. Наконец наступает день, когда «отправляют воза». Внизу у нашего подъезда с раннего утра начинается суета: укладка на телеги того, что предназначено к отправке на дачу. И с благожеланиями и напутствиями они спозаранку пускаются в путь. Мы успели при вставанье поглядеть из окон детской на их неторопливый, как бы истовый выезд с нашего двора. А через несколько часов мы опять у окна детской. Привели извозчика — уезжает на дачу Дунечка. Она усаживается с озабоченным ответственностью лицом (ей предстоит приготовить

к нашему приезду дачу). Она завалена добавочными пакетами, узлами, корзинками и провизией. В руках она держит с благоговением завязанную в чистую салфетку икону Смоленской Божьей Матери[2]. Этой иконой благословила маму ее любимая бабушка, и мама всюду берет ее с собой. До свиданья, милая, любимая Дунечка, — через несколько дней увидимся с вами.

Проходят эти несколько дней — и наконец, наконец-то происходит наш выезд. Отправляют вперед Колю и меня под охраной тети и одной из гувернанток. Мы проживем несколько дней на даче, и подъедет мама с Леной и другой нашей воспитательницей. Пройдет еще некоторое время — и переселится в Архангельское Сергей Александрович — «дяденька Сережа». Для него нет места на нашей небольшой даче, и ему снимают крохотную, но уютную дачу-домок у священника. Он приходит с утра давать нам уроки и остается до вечера. А после 10 июня приезжают из Ревеля мальчики. Все в сборе — и летняя жизнь в полном разгаре, веселая, счастливая.

Тетя с нами, младшими детьми, переезжала на дачу в начале или середине мая, смотря по погоде. «Господи, благослови», — скажет она непременно, когда мы все разместимся в поданную к подъезду коляску. «Трогай, с Богом». И поехали. Совершенно не помню, по каким улицам мы доезжали до заставы — потому что поездка наша начиналась для меня с Триумфальных ворот[3]. В те времена, когда Москва только что начинала вытягиваться за заставу, за Триумфальными воротами можно было чувствовать себя уже за пределами города, вступающими в другую жизнь, под очарование простора, зелени полей и лесов, широко растянутого неба и чистого, бодрящего воздуха.

Триумфальные ворота. Неукоснительно каждый раз тетя обращала наше внимание на их красоту, вспоминала относящиеся к ним исторические события. Повторения эти меня не тяготили — наоборот, точно встречались мы с близкими, знакомыми и потому милыми явлениями, — и сами мы всякий раз восхищались этим памятником строительства и испытывали гордое чувство за родину. Далее, по мере нашего продвижения вперед, тетя — мы это знали заранее — указывала нам на Петровский дворец — и мы любовались на его радостную красоту[4]. Когда мы проезжали мимо села Спасского, она заставляла нас оглядываться на старинную церковь: повисшую на обрыве Москвы-реки, размывавшей в этом месте крутой красивый берег[5]. Проезжали мимо Тушина — и она

вспоминала Тушинского вора[6], и Коля блистал своими историческими познаниями. А я каждый раз, слушая про Смутное время, заглядываюсь, бывало, на вычурные значки, сплетенные из соломы и укрепленные над некоторыми из изб Тушина, и не могу я понять, почему эти красивые, колыхающиеся на ветру украшения имеются в одном только этом селении. И тетя каждый раз с оттенком досады отвлекается от серьезного исторического разговора и объясняет мне, что тут стоит кавалерийский полк и что это значки над квартирами начальников.

А простор полей раскидывается все шире и шире. Красота удивительная далей. Как стрела устремлено вперед прямое, прекрасно содержимое шоссе. Оно ведет в город Воскресенск и к хорошо знакомому нам монастырю Новый Иерусалим. Но близ деревни Павшино от него ответвляется шоссе, ведущее к Архангельскому и в село Ильинское, имение императрицы Марии Александровны. Осталось до Архангельского всего несколько верст. Здесь мы уж точно у себя: все знакомые по прогулкам и катанью места: в низине у самой Москвы-реки деревня Павшино с белой церковью, дальше — в стороне от шоссе деревянная, прячущаяся в роще дача князей Грузинских[7], еще дальше — по обеим сторонам шоссе небольшая деревушка Гальево. Теперь скоро, скоро — от Гальева до Архангельского всего полторы версты. День склоняется — мы выехали среди дня, а до Архангельского езды на лошадях часа два с половиной, три. Розовый нежный весенний закат заливает невзрачные, маленькие избушки Гальева. Если мы переезжаем накануне Троицына дня, что случалось иной год, мы с радостью смотрим, как знакомые нам избушки украшены воткнутыми перед ними свежесрезанными березками[8] — и как они оживляют своей прелестью эту лишенную садов деревушку.

Наконец-то поворот с шоссе на липовый проспект — здесь начинается Архангельское, как это указывает белый столб с надписью около мостика, переброшенного через пограничную канаву. Тут-то, когда сердце рвется из груди от нетерпения, как раз едем медленно: владельцы имения уже давно не живут тут, и дорога эта плохо чинится. День склоняется — краски заката мы видим только налево от дороги, где тянутся луговины и пашни. Справа золото заката скрыто от глаз березовой рощей. Душистая весенняя свежесть охватывает нас. Так свежо, так душисто бывает только весенними вечерами. Вот кончился проспект, в котором нам известна чуть не каждая липа, — как хорошо они зацветут в июне, — вот направо мелькнула за березами ограда парка, вот коляска

повернула влево, мы переехали большой старинный каменный мост, над глубоким оврагом — в скважинах между старыми кирпичами и обвалившейся кусками штукатуркой засели трава и кустарники — заросль кустов сирени, стоящих сейчас в полном цвету, — и мы подъехали к нашей даче.

Дунечка давно уже прислушивалась, Дунечка издалека слышала топот копыт — она ждет нас на террасе. Мы бросаемся обнимать ее.

Дунечка в хлопотах. В радостном возбуждении она своим беззвучным, милым нам голосом что-то торопливо говорит о самоваре, что у нее все готово уже, куда-то исчезает, развязывает плетушки со свежими белыми булками, привезенными нами из города. (Чего нет в Архангельском — так это свежего белого хлеба.) Пока происходят приготовления к чаю, мы с Колей бежим в сад при даче. И прежде всего к любимой нашей черемухе. Высокая, ветвистая, она вся усыпана белыми, уже отцветающими цветами. Как бы приветствуя нас, она роняет на нас целый дождь белых, нежных, бесшумно падающих лепестков. Здравствуй, милая черемуха, здравствуйте, цветущие и благоухающие кусты сирени, и нежная жимолость, и позднее зацветающие кусты белой и розовой сирени. Все — знакомое, дорогое.

Но нас зовут в комнаты. Стоят в них уже вечерние сумерки. После города весенняя свежесть вечера дает ощущение сырости и зябкости. Приятен вид кипящего, ярко вычищенного самовара. Необычайно вкусным кажется сливочное свежесбитое масло, поданное не в масленке, но колобком, так, как оно куплено у какой-нибудь из деревенских женщин, приносящих на дачи свои продукты. Дача, приведенная в порядок трудами и распорядительностью Дунечки, как бы приветом сияет чистотой. Ослепительно чисты белые полы, светло глядят стекла окон. И Дунечка уходит и приходит с ласковой речью, все находя поводы к хлопотне. Она радуется нам, но главная ее радость — тетя.

И незаметно подкрадывается час, когда надо ложиться спать. Наша детская наверху, в мезонине. Светлая, просторная, с низким потолком. Чистые, белые с голубым, радостные обои, постель немки-гувернантки и наши две постельки со стенками из веревочного переплета, кажущиеся легкими, воздушными после наших зимних, деревянных с деревянными же боковыми стенками. Перед единственным, но широким окном, к великому моему огорчению, заставляемым от комаров и мошек рамой с натянутой на нее кисеей, — большой стол, за которым мы учимся, а по сторонам его два старинных кресла, отданных в качестве дачной

мебели из закромов владельцев: разлапистые, широкие, с передними ножками в виде позолоченных голов длинноклювых птиц, с выносившейся уже полушелковой обивкой, голубой с серебристыми узорами.

Сладко засыпаешь — а наутро сколько весенней радости. Вскочишь с постели — и к окну, с которого успели снять раму с кисеей. Сад перед нашим окном: черемуха, и кусты сирени и жимолости в цвету, и газоны, усеянные весенними цветами и блестящие убранством росы. Еще до чая мы сбегаем в сад, мы — в восторге. Мы наклоняемся к травкам и цветам, Анна Мартыновна показывает нам, и мы ей, с веселыми возгласами, как красиво блестят на солнце капли росы и как много ее набралось на сборчатых листиках фрауенмантеля[9], и я любуюсь ярко-голубыми нежными цветами вероники[10], и кажется мне таким красивым ее сочетание с золотыми головками лютика.

Много предстоит нам удовольствий за все лето, много веселых, счастливых минут, но незабвенны перед всем остальным радость этого вечернего приезда, этого первого утра, восторг первого общения с природой после долгой зимней жизни в городе.

Дачи в Архангельском были расположены на пространстве между парком при дворце и церковной землей, занятой церковью, кладбищем и домами причта, вдоль по двум дорогам, обсаженным старыми подстриженными липами; дороги эти за церковной землей сливались в один широкий проселок, ведший в деревню Захарково. Дач было в то время всего семь, прилаженных к сдаче в летний наем из старинных зданий, имевших ранее другое назначение. Из них внимания заслуживали две. Во-первых, так называемая «розовая дача», каменное двухэтажное строение в стиле ампир, красивое своими благородными линиями и окраской (розовые стены и белые колонны и украшения). На этой даче (в нижнем ее этаже) мы провели первое наше лето в Архангельском. Мне было всего три с половиной года, и у меня сохранилось от этого лета лишь несколько ярких, но отрывочных воспоминаний. Здесь мы с Колей выучились читать. Со следующего лета мы переехали на «нашу» дачу, скромную, но гораздо более уютную. С «розовой дачей» мы как будто ничем не были связаны. Но она давала эстетическое впечатление со своими стройными колоннами и белой балюстрадой двойного (верхнего и нижнего) балкона, уходящая нижним этажом в кусты сирени и спиреи. Она

была обломком прошлого, не нашего уже мира, будила смутное чувство отжитого — и в этом чувстве таилась грусть.

Перед «розовой дачей» был так называемый «круг», назначение которого в прежнее время так и осталось для меня невыясненным. Большой круг, поросший травой, был обсажен как изгородью кустарником и подстриженными липами, отстоящими друг от друга на некотором расстоянии. На кругу в наше время происходили иногда молебствия с водосвятием. Тогда «круг» оживлялся пестрой и яркой толпой по-праздничному разодетых крестьян. Из церкви крестным ходом приносили сюда иконы. Священник и диакон в стареньких ризах выцветшего лиловато-красного цвета становились перед столиком, установленным посреди. Нарядные дачницы образовывали светлые группы по краям «круга». И после окропления святой водой крестный ход, сопровождаемый пестрой толпой, двигался спешно через один из выходов «круга» по дороге в ближайшую деревню. И «круг» пустел и стоял, как обыкновенно, молчаливый, пустой, свидетелем каких-то других дней, тоже ушедших навеки. И на «кругу» мне также сжимало сердце какое-то неясное тоскливое чувство.

Близко от другого конца «круга», через дорогу от нее стояла другая примечательная дача[11]. Такого здания я нигде больше никогда не видала. В этом месте был широкий выезд из оврага, спускавшегося к берегу Москвы-реки. Представьте же себе перекинутую через эту широкую дорогу-въезд монументальную каменную арку, опирающуюся на высокие, толстые основания, а над аркой во всю ее ширину надстроенное деревянное, обшитое тесом и окрашенное в серую краску здание-коробку с гладкими, ничем не скрашенными стенами, с окнами, глядящими в две противоположные стороны: в овраг и на выезд из него и на «круг». Этого мало: над этой деревянной коробкой, стены которой казались жидкими, несолидными в сравнении с тяжелой кирпичной кладкой арки — она была выкрашена в белый цвет и окраской тоже дисгармонировала с надстройкой, — высилась такая же несолидного вида круглая башня с флагштоком, в виде большой трубы, обшитой листовым железом. Как возникло такой необычной архитектуры здание, каким целям оно раньше служило, имело ли оно когда-нибудь прежде иной вид, я не знаю. Но своеобразием этого здания были украшавшие его статуи. Они как будто говорили за то, что в прежние годы оно имело менее скромное назначение. В обоих основаниях арки были проделаны двери: одна из них

была парадным входом в дачу, другая — входом в кухню, и по обеим сторонам каждой из этих дверей стояло по две статуи, аллегорически представлявших четыре части света (как известно, XVIII век в своих аллегорических изображениях частей света не принимал в расчет Австралию[12]). Статуи эти, как многие другие в Архангельском, были попорчены, с отбитыми частями, но мне ясна в памяти Америка — индеец в перовом уборе на голове. Эти каменные, как бы застывшие в претенциозных позах изваяния вселяли мне в сердце непобедимое чувство жути, особенно если случалось на вечерней прогулке проходить мимо них и они бывали залиты лунным светом. Тогда-то в них как бы просыпалась таящаяся в них жизнь — и становилось совсем страшно. И вообще, в ранние мои детские годы вся эта дача производила на меня жуткое впечатление своей, как мне казалось, человекоподобностью. Она представлялась мне живым, таинственным и недобрым существом. Основания арки были его ногами, мощные, великаньи, а башня — несоразмерно малая его голова, и в ней-то заключалась вся его злостность. И когда, случалось, перед дверьми кухни стояли в праздных позах и разговорах вышедшие подышать воздухом лакей нанимательницы дачи и ее повар в белом фартуке и колпаке, я бывала рада: нарушалась этими живыми людьми то мистическое, что окутывало в моих сокровенных представлениях эту человекоподобную дачу.

Остальные дачи не представляли ничего особенного. Это были построенные по единообразному плану дома, одноэтажные с мезонином, с итальянским окном[13] в срединной комнате, выходящей на передний фасад. Все одинаково были окрашены в серую краску. Наша дача была, впрочем, несколько наряднее других: окна у нее были сведены в верхней своей части в «готические» арки, и в одной из комнат мезонина была вместо окна дверь, выходившая на небольшой балкон. К каждой даче была пристроена терраса, а на нашей их было две. Одна, средних размеров, лестницей сбегала в сад, заканчивая собой выступ в строении, имевшем, благодаря ему, очертание буквы Т. Другая терраса была пристроена сбоку на средства папы. Мы звали ее «большой террасой», потому что она действительно была обширна по размерам. Ее лестницу украшали по бокам четыре красные глиняные вазы с яркими цветами.

Террасу, кроме того, каждое лето убирали зелеными деревцами в горшках, поставленных рядком на наружном борте ее балюстрады. Эти деревца, поставляемые за известную плату из обширного садоводства при

имении, именовались главным садовником Юсуповых, Андреем Климовичем, «холодной ботаникой».

«Маленькая терраса», как звали мы ее, была преимущественной резиденцией тети. К ней присоединялись иногда со своей работой наши гувернантки. «Большая терраса» была любимым местопребыванием мамы и старших детей. Мы, младшие, кочевали с одной террасы на другую. Но больше всего нас привлекал к себе сад.

При нашей даче саду было отведено больше места, чем при других дачах; тем не менее он был небольшой. Но нашим детским глазам он представлялся большим. И целым миром был он для нас, полным очарования. Сад, примыкавший к даче с заднего ее, южного фасада, зарослями насаженных кустов сирени, жимолости, белой и розовой спиреи разделен был на три части. Мы называли их: «большой сад», который признавали состоящим в пользовании взрослых, «сад больших детей», принадлежавший как бы Мише, Лене и Алеше, и отведенный нам с Колей «сад маленьких детей». Но взрослые наши мало претендовали на сад, а старшие дети скоро стали предпочитать играм в саду чтение и беседы с мамой на террасе, Алеша перекочевал к нам — и сад целиком стал нашим владением.

Что же было в нашем саду? Были, во-первых, дорожки и куртинки. Вскоре после нашего переезда на дачу являлись в предшествии Андрея Климовича несколько подчиненных ему садовников работать в нашем саду. Приятная каждой новой весной встреча с Андреем Климовичем. Он был очень хорошим человеком, безукоризненно честным, и все окружавшие нас взрослые относились к нему с уважением. Он был тогда молод еще и жил с семьей и дряхлым уже стариком отцом — «дедушкой» звали его все — в крошечной завалившейся избушке на огороде. Гораздо позднее, лет двадцать спустя, когда в Архангельском стали жить его владельцы, мы застали Андрея Климовича все на том же посту главного садовника, но помещенным уже в одном из флигелей дворца. Он пополнел, поседел, был хорошо устроен с семьей — но держался так же просто, с молчаливым достоинством, которое импонировало всем в те далекие годы. Немногоречив был он, но умел, не бранясь, приказывать и направлять труд ему подведомственных лиц. И вот он придет со своими подручными, что-то негромко объяснит нам, на что-то укажет руками — и уйдет на свое прямое дело: в княжеские оранжереи, в парк или на огород. А у нас начинается работа. Подравнивают края дорожек,

причем жертвой падают любимые мной вероника и травки, дорожки посыпают песком и вскапывают клумбы. Андрей Климович распорядится посадить на круглых клумбах концентрическими кругами определенные и в определенном порядке цветы: посередине непременно круг разноцветных георгин и в последовательном порядке желтый и темно-коричневый кариопсис[14], разноцветный низкорослый флокс — и непременно, вопреки высказанному желанию мамы, посадит кольцо простых или махровых бархоток[15] — уж если окажется совершенно невозможным посадить излюбленные им шапки, против грубой желтизны и резкого запаха которых протестует мама[16], поддерживаемая тетей. Сажали в те времена на клумбах нашего сада и душистый горошек, и львиный зев, и петунью. Тетя очень любила садовые цветы, а я была к ним равнодушна: я любила до беспечности полевые и лесные цветы, а эти казались мне искусственными, и их форма мне не нравилась, а запах некоторых мне был в те времена даже неприятен. Но мне нравилось, когда Коля ущемлял дружелюбно мой палец цветком львиного зева; мне нравились семена душистого горошка, такие кругленькие, гладкие; мне нравилось, когда на цветы садились бабочки. Мне нравилось, как были огорожены клумбы по внешнему краю: в землю втыкали свежесрезанные прутья обоими концами — получался ряд полукружий, заходивших одно за другое и составлявших сквозную загородку. Чем-то она пленяла меня в своем очертании.

Одна из дорожек сада заканчивалась площадкой. Она приходилась около кустов спиреи и под нашей любимой черемухой. Сюда иногда выносили стол или пили чай. Здесь происходили наши игры. И здесь же любил сидеть в мирной беседе с тетей папа, когда приезжал навещать нас на дачу. В тихий летний вечер, когда все кажется умиротворенным, вижу их сидящими вдвоем под черемухой, любящими и понимающими друг друга с полуслова. И тетя так счастлива тем, что папа с ней. Мы играем тут же, поблизости от них, — и я так счастлива присутствием папы.

Что еще примечательного тогда для нас было в «большом саду»? Большой куст бузины, буйно разросшийся в углу, образуемом корпусом дачи и выступом, оканчивающимся «маленькой террасой». Красные ягоды ее так красиво выделялись на серых стенах дачи. И так удобно было прятаться, залезая под ее нижние ветки. И она напоминала сказку о бузине Андерсена[17]. А с противоположной стороны, вплотную к «большой террасе» рос стройный молодой вяз с густой зеленью темных и шершавых на ощупь листьев. Это был единственный вяз, который мы видели

в то время, и мы относились к нему с особым вниманием. Наконец, если отнести к «большому саду» узенький палисадник перед северным фасадом дачи, нельзя мне не вспомнить роскошный куст жасмина, росший в нем у самой ограды, прямо против двойного окна гостиной. Как великолепен был он, когда весь покрывался цветами, блестяще-белыми с золотистыми тычинками, как мы ждали его цветения, как любовались им. Я с любовью вспоминаю все эти кусты и деревья, потому что они были действительно любимы нами и сейчас стоят ясно-ясно перед глазами моей памяти. Если бы мы часто меняли дачное местопребывание, мы, может быть, не привязались бы так к отдельным представителям окружавшего нас растительного мира. Но при нашем длительном жительстве в Архангельском у нас завязывались какие-то внутренние связи с тем, что росло и вырастало на наших глазах, что радовало глаз и было так или иначе связано с нашей детской жизнью.

«Сад больших детей» и «сад маленьких детей» составляли, в сущности, довольно узкую полоску земли, идущей по краю оврага, которым ограничивались владения дачи. Оттого ли, что нам не позволяли спускаться в него по его крутым заросшим склонам, он имел в наших глазах таинственную прелесть чего-то, остававшегося не вполне изведанным. И это было до известной степени странно: мы ходили по оврагу каждый день, купаться или отправляясь на какую-нибудь прогулку или на рыбную ловлю. Тем не менее я всегда спускалась в овраг с чувством, что тут что-то особенное, не то страшное, не то таинственное. И нравились мне его крутые склоны, на которых, благодаря большей сырости, гуще, выше и сочнее вырастала растительность: деревья и кусты, и между ними зонтичные, белыми своими цветами привлекавшие насекомых, дикая герань и чистотел, часто выше нас ростом, и приникшая к земле мать-и-мачеха с круглыми темно-зелеными листочками, гладкими с одной стороны и шершавыми — с другой, будившими всегда смутную щемящую мысль о сиротской доле. По узкому дну оврага была проложена дорога, такая узкая, что на ней, наверное, трудно было бы разъехаться, и потому въезжали в овраг с одного конца, под каменным мостом близ нашей дачи, а выезжали по ответвлению от него, тоже оврагу, с лесистыми крутыми склонами, под аркой «человекоподобной» дачи. Овраг, сливаясь со своим ответвлением, вел к Москве-реке (старому ее руслу, впоследствии произвольно оставленному ею и высохшему постепенно), и каждый день по нему по несколько раз ездил водовоз с боч-

кой, обслуживавший, между прочим, и дачников. В ситцевой рубашке — белой с мелкими лиловыми разводами, в войлочной шляпе гречником[18] (такие еще носили тогда в подмосковных деревнях, хотя уже редко), он совершал свои рейсы по оврагу или сидя перед своей бочкой, или шествуя около нее — молчаливо, бесшумно, по мягкой песчано-глинистой дороге. Неторопливо выезжал он на луговину перед рекой, заканчивавшейся широкой речной мелью; привычный конь входил в воду до известного расстояния от берега, и водовоз черпал воду своей черпалкой, утвержденной на длинном шесте, и, наполнив бочку, неторопливо и молчаливо поворачивал назад. Эту картину я видела сколько раз, и она нравилась мне: лошадь и водовоз и мокрая бочка посреди реки, под яркими лучами солнца — и картина казалась мне реальной. И, однако, всякий раз, как я смотрела с края нашего сада вниз на этого же водовоза, едущего по дну «таинственного» оврага, он казался мне особенным, причастным таинственности. Так и хмель, вившийся вокруг нашей террасы, и тот, который оплетал густой массой листьев и побегов высокие шесты на противоположном от нас склоне оврага, были не одно и то же. Так и крапива, росшая на прибрежной луговине около нашей купальни, была не одно и то же, что крапива на склоне оврага у самого «сада больших детей». Мимо той можно было проходить мирно, даже интересоваться ее зеленым цветением — одним словом, подходить к ней реально. А эта была «врагом». С ней надо было «сражаться». И мужественно бросались мы на нее с палками, входили в самую гущу зарослей. Она защищалась, пускала в ход свое оружие: немилосердно жгла руки и ноги в носках. Что же? Чем больше — тем лучше. Мужественно сносить раны — хвала и честь воителям.

О чем мне вспомнить в наших маленьких «садах», нашем детском царстве, куда мы из-за тенистости любили так часто уходить? Прежде всего о густых, высоких кустах шиповника в «саду больших детей». Когда они покрывались бесчисленным количеством бледно-розовых цветов, сколько в них жужжало пчел, ос и мохнатых шмелей. Они как бы оспаривали у нас право любоваться этими цветами, любимыми мною изо всех. Эти цветы давали мне особую отраду своим видом, нежным запахом. Странным образом, непонятным для меня самой, я сближала их с Леной. Красота шиповника, его чистота, сказала бы я, отождествлялись в моих представлениях с моей сестрой. Лена была для тайников моей души — цветок шиповника, прекрасный, благородный и незапятнанно

чистый. И пусть в моих воспоминаниях «Прошлое» живут и мощный, прямой тополь, стоявший как бы на страже сада, со ствола которого мы собирали для гербария ярко-желтый лишайник, и стенка-полубеседка из акации, такой непривлекательной своей сорностью после краткого цветения, и кудрявый неклен[19], с красными сережками, под которым тетя развела неудачно грядки с клубникой, и у самого края старый могучий дуб в два наших детских обхвата, и возле него стройный, высокий молодой дубок, на который взбирались Алеша и Коля, оставляя меня стоять беспомощно внизу.

Таков был мир, полный для нас очарования, непосредственно около дачи окружавший нас. Но я не все еще сказала про сад. Стояла в нем «гимнастика», сооруженная для нас на средства папы, — и она была источником многих наслаждений. Физические упражнения процветали в ревельской гимназии (в московских гимназиях они не были введены как предмет преподавания), и Миша и особенно Алеша были хорошими гимнастами. Они стали нашими учителями. Мама, всегда полная беспокойства за детей, тревожно относилась к «гимнастике»; но, убежденная доводами папы в пользе физических упражнений, терпеливо молчала. Я думаю, облегчением ей было, что, по крайней мере, Лена не принимала в них участия. Лена предпочитала сидеть с мамой за книгой или с работой. Я же росла с мальчиками и с увлечением занималась лазаньем вверх по столбу, качаньем на трапеции или на узле каната. Не все позволялось мне, как девочке и маленькой, — и как мне хотелось бы быть мальчиком, ничего не бояться и смело передвигаться по верхней перекладине, сев на нее верхом, спускаться и подниматься по шесту или канату или кувыркаться на трапеции и на железных кольцах. Не отшибали у меня охоты «несчастные случаи»: раз я упала с трапеции, другой раз обломился железный крюк, на котором висел канат, и упал мне на голову; оба раза я потеряла сознание. Что делать? Я хотела быть смелой и мужественной, как подобало быть мальчику, — надо было приучаться терпеть такие «неприятности».

В саду же, с одного края его, стояла отдельным домиком кухня, тоже выкрашенная в серую краску. Владения повара и Дунечки, в которые нас не любили пускать. Но мы часто проникали туда: увязывались за Дунечкой, когда она шла туда, или же она сама таинственно, но понятно для нас манила нас к себе. При кухне был чулан для сухой провизии — и, как всегда, ласковая в своей молчаливости Дунечка уделяла

нам из своих запасов парочку грецких орехов, или миндалин, или черносливин. Это называлось ею «давать на дорожку» — и никогда подобное угощение, поданное в вазе на столе, в благовременье, не казалось таким вкусным, как полученное случайно, опущенное в карман, где уже находились другие сокровища: перочинный нож, карандашик, веревочки и пр. — и съедаемое где-нибудь под деревом в качестве дорожных припасов воображаемыми индейцами или Робинзонами.

К кухне была пристроена палатка со стенками, обтянутыми парусиной, — и тут было поле деятельности прачки Устиньи и поденной ее помощницы. Стирки и глаженья на такую большую семью было много. Надо еще вспомнить тогдашнюю моду носить мужчинам безукоризненно чистые крахмальные воротнички, манжеты и груди рубашек, а женщинам — крахмальные широкие юбки с большими, вышитыми гладью оборками. Эти юбки лежали на земле (платья носили тогда длинные), и потому подол их быстро пачкался. Требовалось иметь их в большом количестве или часто стирать. Хорошо помню, как часто проносили из палатки-прачечной на дачу свежевыстиранные и выглаженные мамины юбки. Несли их осторожно, отставив далеко от себя держащую их руку, чтобы не измять, — и я любовалась узорами вышивок, особенно любимыми мной «турецкими бобами», уже выходившими из моды, и про себя жалела тех, которые принуждены носить такое неудобное, мешающее свободным движениям ног одеяние. Палатка-прачечная имела для меня силу притяжения. Она со своими двумя «простыми» женщинами, с производившимся в ней трудом, была уголком того мира, от которого нас, детей, держали вдали. Это была — «жизнь» в одном из ее проявлений, «жизнь» подлинная, неподкрашенная, которую я и тогда смутно жаждала узнать. Устинья была типичной прачкой, убивавшей свои силы долголетним тяжелым трудом по стирке, нажившей ревматизм и невралгические боли на речных портомойных[20] и молча и угрюмо выносившая их, привыкшая к неизбежному при ее работе подогреванию себя водкой. Она была неразговорчива и необщительна; но почему-то я любила эту сумрачную, исхудавшую женщину с согбенным станом, как будто она навсегда приняла положение наклонившейся над корытом или гладильной доской с пасмурным лицом, одетая в линялое ситцевое платье — образ печальный, унылый, каким была, наверное, ее многотрудная жизнь. И я часто останавливалась, проходя мимо, около палатки, около корыта с мыльной пеной или подсиненной водой и приставала к

ней с разговорами — и не отпугивали меня ее хмурые, односложные ответы и тонкий запах перегорелого вина, исходящий иногда из ее поблекшего рта. На тяжесть ее труда обращали наше внимание старшие — и я сострадала ей и жалела ее.

Не стану останавливаться на наших соседях по даче — потому что, в сущности, мы не поддерживали с ними никаких отношений, хотя с некоторыми из них были знакомы. Семья наша жила замкнуто, довольствуясь собственной жизнью. Но в дачном нашем поселке было еще одно примечательное для нас место: это обнесенный деревянным забором рабочий конный двор имения и при нем пчельник и здание конторы. Двор, где одно время стояли и наши лошади, был нам почти незнаком, так как мама запрещала нам ходить туда. Пчельника мы, не признаваясь в этом, побаивались, знакомые с ужалением пчел и ос. А в контору мы ходили изредка передать какое-нибудь поручение мамы. Контора была деревянным зданием, как дачи окрашенным в серую краску, и на нем красовалась старинная вывеска с надписью: «Правление». Здесь жил управляющий имением, старик Никита Алексеевич. Это был тип, принадлежавший недавним еще тогда временам крепостного права. Он был «простой мужик», поставленный своими господами блюсти их имущество, — и он исполнял возложенное на него дело по крайнему своему разумению, с полнейшей добросовестностью. Ни одна барская копейка не прилипала к его честным рукам, и имение управлялось при нем гораздо разумнее, чем впоследствии при получившем специальное образование немце-управляющем. Нам, детям, всегда выставляли на вид безукоризненную честность, недюжинный ум этого неторопливого, несловоохотливого старика — и мы чувствовали к нему глубокое уважение. Я даже робела, глядя ему в его умное лицо, красиво обрамленное седыми волосами и бородой, полное достоинства. Контора — это был опять-таки клочок нам чуждого и потому интересного мне мира. Входим, бывало, в широкие тесовые ворота конного двора, заворачиваем вправо, в контору — на крыльце стоит внучек Никиты Алексеевича, мальчик приблизительно наших лет, в криво надетом и нахлобученном картузе, и сосредоточенно глядит перед собой во двор, хотя в этот час послеобеденного отдыха весь двор точно вымер. Этот Вася каждый день, один или в сопровождении других мальчиков, проходил мимо нашей дачи

и отчаянно пищал на стручке акации. Это невинное удовольствие запрещалось нам, как нечто вульгарное, — а как я завидовала «счастливым» мальчикам, которые в полной мере наслаждались им. Вася проходил мимо нашей дачи, внимательно впиваясь глазами в то, что делалось на террасе, даже повертывался иногда и шел некоторое время пятясь, но никогда не произносил ни слова, даже когда звали его на террасу, чтобы дать ему гостинцы. И теперь он, стоя у себя на крыльце, встречает нас и провожает внутрь дома тем же внимательным, как бы испытующим что-то внутри себя взглядом. Такой странный этот мальчик Вася! Входим в широкую комнату к Никите Алексеевичу. Какая духота! Комната жарко натоплена, несмотря на летнюю жару; окна не выставлены, и, колотясь о стекла, тоскливо жужжат мухи. Застать Никиту Алексеевича, чтобы передать ему короткое поручение от мамы, всего лучше во время его обеда: после него он ложиться «соснуть», а целый день ходит по имению и окружающим его лесам, распоряжаясь и наблюдая за работами. Никита Алексеевич сидит за столом в ситцевой рубашке навыпуск — вне дома он появляется не иначе, как в поддевке из синего сукна, длинной, со многими мелкими борами, — на коленях у него разостлано чистое полотенце, которым он то и дело отирает пот, градом струящийся у него с морщинистого лица. Напротив его с таким же полотенцем на коленях, хлебая с ним густые жирные щи из одной чашки, сидит его жена Анна Федоровна в темненьком ситцевом платье и черном платочке на голове. Что за очаровательная беззубая старушка с добрым-предобрым лицом. Она встречает нас таким приветом, зовет Анну Мартыновну к себе на кофе — сама она завзятая кофейница. Но мы спешим, чтобы не мешать, — и уходим, унося с собой хорошее впечатление от этих двух стариков, мирно проживших долгую совместную жизнь: серьезного, может быть, несколько сурового мужа и доброй любящей жены.

Церковный поселок примыкал вплотную к дачному. Но это был особый мир, который давал особые впечатления, будил особые чувства.

Картина, запечатлевшаяся в памяти, — она повторялась не раз. Мы после обеда играем с увлечением в саду, под любимой черемухой. Блекнут постепенно яркие краски солнечного летнего дня, и разливаются мягкие тона тихого вечера. За тройной оградой деревьев сада, оврага и

парка, где-то далеко, за лесом, гаснет безмятежный закат, и розовым отблеском его окрашена верхушка колокольни, выставляющаяся над ограничивающей наши владения стеной конного двора и стоящими перед ней тополями. И вдруг полились с нее призывные колокольные гласы, такие манящие, такие утишающие душу. Жидкий сельский перезвон, но говорящий так много сердцу. И, отвечая на призыв, с террасы уже сходит тетя, спеша в церковь. В этот мирный вечер, когда так тихо кругом, хочется туда, с ней. Но мама не позволяет водить нас часто в церковь. Она в собственном детстве испытала дурные последствия насильного отстаивания долгих служб: рассеянность мысли, тягость от утомления и невольное охлаждение к храму. Она боялась этого за нас и старалась в этом отношении оградить нас от влияния тети, которая желала бы с детства приучить нас к долгим стояниям. Итак, можно на прощанье нежно поцеловать тетю, посмотреть ей вослед, но идти с ней нельзя. Возвращаешься к играм и играешь опять с увлечением. Но прерывает его еще и еще раз манящий перезвон — а там смеркается уже, и тетя возвращается от отошедшей всенощной. Бежишь к ней навстречу — и тетя с умиротворенным, по-особому радостным лицом наклоняется к нам со словами: «Господь милости прислал, детушки».

Но к обедне нас, Колю и меня, водили каждое воскресенье и каждый праздник. Вот мы идем перед тетей чинным шагом, как не ходим на прогулку, — и это чинное шествование, и мое праздничное платьице, и шляпа на голове (гуляю я обычно без шляпы), и солнечное сияние, и сосредоточенность на лице тети — все вместе сплетается в праздничное настроение, с чувством чего-то торжественного в груди. Это чувство усиливается, когда мы подходим к большой каменной арке — воротам, ведущим к церковному поселку[21]. От этой арки, на которой висит икона архангела Михаила и возвышается крест, как бы указывая, что тут начинается священный предел, идет широкая прямая дорожка к воротам церковной ограды. Она окаймлена с обеих сторон широкими полосами газона, среди которого тут и там выросли мощные старые березы. И справа, и слева газоны отграничены зеленой изгородью из подстриженной акации: справа за ней начинается лесистый склон оврага, слева за изгородью виднеются хорошенькие домики причта, окрашенные в охру, под зеленой крышей. Но мы не глядим по сторонам, чтобы не рассеяться, — и вот мы перед церковной оградой[22]. Не особенно высокая стена, каменная, окрашенная в желтую и белую краску, как

бы защищает с этой стороны сельское кладбище и стоящую среди него небольшую старинную церковь, окрашенную в желтый цвет, с синими куполами и отдельно от нее возвышающуюся четырехгранную белую высокую колокольню гораздо более поздней постройки[23]. В этой стене, против храма, проделаны с округлым сводом ворота, а над ними висит икона Спасителя. По вечерам зажженная перед ней лампадка издалека мерцает благостным светом. Входим в священную ограду — и яркая, красивая картина поражает глаз. Мирно в лучах солнца, под сочным покровом высокой, некошеной травы, одним своим краем придвинувшись к обрыву над Москвой-рекой, приосененное местами высокими ветвистыми соснами, лежит кладбище, со своими незатейливыми памятниками-саркофагами и деревянными крестами. И рассыпаны между могилками, и толпятся у колокольни, и сидят на обеих папертях церкви группы ярко разодетых крестьянских женщин и детей, пришедших большей частью из деревень Захарково и Воронки. Старушки в темных ситцевых юбках и безрукавках стоят всю обедню в церкви, истово крестясь и от времени до времени отвешивая поясные поклоны на все стороны. Но молодые бабы и девушки постоят немного, ревностно раскачивая стан в поясных поклонах, и выйдут на паперть подышать воздухом. Тут они сидят молчаливо или переговариваются пониженными голосами. Они представляют настоящий цветник — до того ярки и разнообразны по окраске их праздничные попелиновые платья[24], сшитые по «городскому фасону» — с «басками»[25] или «бочками». Тесно охватывают эти городские лифы неуклюжие, короткие талии, под нарочно приподнятой юбкой виднеются белые крахмальные юбки, предмет гордости их обладательниц. На припомаженных головах самые разнообразные цветные платки, повязанные под подбородок и острым, с цветастым рисунком, углом лежащие на спине. Девочки в ярких платьицах жмутся застенчиво к старшим, а мальчики в суконных жилетках, надетых поверх ситцевых рубашек, с остриженными в скобку волосами, по случаю праздника обильно смазанными коровьим маслом или квасом, находят большое для себя удовольствие быть несколько в стороне, возле колокольни, где можно свободно разговаривать, с деловым видом взбегать на нее, помогать звонить в колокола. Они, в разноцветных рубашках, веселые, оживленные, составляют красивую группу. Из церкви слышится жидкое пение немногочисленного деревенского хора, а сосны на обрыве тихо шумят, и громко каркают на них вороны, свившие себе гнезда на их раскидистых, мощных ветвях.

В маленькой трехпридельной церкви с окнами, забранными фигурной железной решеткой, с полами из небольших квадратных плит мягкого белого камня, местами обшитыми узорными железными плитами, жарко и душно. Народу полный храм. Канун[26] уставлен многочисленными тоненькими свечами, — если которая-нибудь из них случайно покосится, грозя падением, из толпы молящихся тотчас выдвинется какая-нибудь старушка и поправит ее. Между колодками непременно каждое воскресенье стоят две-три чашки с кутьей, украшенной разноцветным мармеладом. Много свечечек горит и перед большим образом святого Ильи-пророка, возносящегося на огненной колеснице. В главном приделе с иконостасом белым с позолотой, с выдающейся по исполнению картиной «Се человек» над царскими вратами — Христос в терновом венце стоит на мраморном полу лифостротона[27], Его два ангела готовы прикрыть багряницей[28] — идет служение. Нигде, может быть, церковная служба не производила на меня такого впечатления задушевности. От всего сердца произносил возгласы молодой еще священник, с правильными чертами мягко очерченного лица — с него можно бы было писать лик Спасителя, таково было мнение мадемуазель Сикр, — с благообразием во всей осанке. Так же хорошо служит и диакон, внятно произнося священные слова. Но они представляют между собой полный контраст. Батюшка — с быстрыми движениями, сангвиник и экспансивный — таковым мы знали его и в разговоре — вносит в служение горячее чувство бесхитростного сердца. До сих пор слышится мне, как он с горячей верой произносил: «Спаси от бед раби твои, Богородице» — в его передаче эти слова запечатлелись впервые в моей памяти. И рядом с этим блондином-священником, с бледным от сердечной болезни лицом — черноволосый смуглый дьякон, движущийся медленно, говорящий неторопливо, весь как бы собранный в себе. Он обречен злой чахоткой, глаза его лихорадочно блестят, и немогота чувствуется в его голосе, немного глухом. И жалость проникает в сердце, глядя на него.

Но мы редко стоим в главном приделе — тетя не любит «стоять впереди» на виду. Мы стоим в одном из боковых приделов, или в левом — перед большой иконой итальянского письма Божьей Матери Всех Скорбящих Радости, весь умилительный смысл которой тогда мало говорил моему сердцу, — или в правом перед небольшой иконой Казанской Божьей Матери, глаза которой мне казались грустными и потому будили во мне глубокую жалость. Помню многие переживания в этой малень-

кой церкви, много пламенных молитв и бесед с Богом. Помню минуты рассеянности, когда взор обращался невольно к открытому окну — а там под яркими лучами солнца сочная высокая трава на могилках колебалась, волнуемая ветром, и сосны тихо шумели разлапистыми ветвями, и вороны громко каркали. Помню чувство торжественного в груди, чувство красоты, радость и интерес, когда, бывало, вся церковь в Троицын день убрана свежими кудрявыми березками и усыпана душистой зеленой травой; когда выносили крест и клали его на аналой среди цветов; когда 1 августа приносили освящать медовые соты, а 6-го устанавливали на молебном столике большую чашку с яблоками[29]. Помню вокруг себя молящихся — крестьян, подстриженных в скобку, с окладистыми бородами, толпящихся преимущественно в главном приделе, и пестро разодетых крестьянских женщин, рассеянных по боковым приделам, — мир, такой далекий и чуждый нам и в то же время чем-то несказанно близкий и дорогой. Хотелось подойти ближе ко всем этим людям, услыхать обращенную к себе речь — но моста не находилось, по условиям тогдашней нашей жизни.

Но вот обедня отошла. Немного устали ноги от стояния, но душой и вниманием я нисколько не утомилась. А все-таки приятно, что кончилось, что все пришло в движение. Народ спешит из церкви. Спешат больше всего, толкаясь, мальчики. Взрослые выходят медленно и, сойдя с паперти, каждый из них делает крутой обратный поворот и кладет глубокий поясной поклон по направлению к только что покинутому храму. Некоторые повторяют этот поклон перед воротами церковной ограды и выйдя из арки с иконой архангела Михаила. Как я любила картину выхода из церкви; какая это была яркая, радостная своей красочностью картина. И другая радость жила в сердце — мир, воспринятый в храме, торжественное настроение, которое проходит не сразу. Чинно, хотя и не так, как утром, идем мы домой. Я несу тете ее многочисленные просвирки, завязанные в чистый белый платок, — и такая жалость, думается мне, что вынутые просфоры можно есть только натощак. Мягкими они так вкусны, так смущающе выглядывают они между связанными концами платка. Но тетя ни за что не даст их сегодня, а завтра, когда она их даст перед утренним чаем с увещеванием есть, подставив горсточку, чтобы не уронить на пол крошку, они будут уже черствыми.

Так радостно начинается воскресенье. И это, в сущности, самая большая в нем радость. Остальная часть дня проходит скорее скучнее, чем

будничные дни: надо беречь праздничное платье, нельзя играть в «дикие игры», нельзя на прогулке бегать по лесу, рискуя зацепиться за сучья.

Кладбище входило, как было сказано, в пределы церковного поселка. Оно наводило на меня мистический страх. Это было первое кладбище, которое я видела, и все «страшные истории», которые нам приходилось в ту пору слышать, соединялись в моем представлении с этим кладбищем. Днем, в сиянии солнца, оно еще теряло для нас характер жуткости, если не совсем, то в значительной степени. Но не забыть мне впечатления от него, когда случалось приближаться к нему под вечер. Таинственно, казалось, теплилась лампадка перед иконой над воротами ограды. И было так тихо за этой оградой, на месте нерушимого покоя мирно почиющих тут. В вечерней тишине воздуха не шевелясь стояли сосны — и только вороны, грузно перелетая, нарушали царящую тишину.

В то время архангельское кладбище было простым сельским кладбищем с очень немногочисленными памятниками и многими зелеными холмиками, приосененными деревянными крестами, полным мира. Но на нем имелся один памятник, возбуждавший внимание. Большой белый камень в виде плиты с соответствующей надписью водружен был вертикально на могиле молодого художника Петрова, утонувшего тут, в Архангельском, как раз под кладбищенским обрывом. Он приехал со своими знакомыми погулять в знаменитой подмосковной, пошел купаться в Москве-реке (в то время она еще протекала тут — позднее она изменила свое русло) и попал в омут, бывший тут под кладбищенской горой. Он, говорили, был одинок, тело его предали земле тут, на этом безвестном сельском кладбище. Погребли — и забыли: никто не навещал его могилы. Но навещала ее тетя. Она жалела незнакомого ей, может быть, даровитого молодого человека. Стоя перед памятником, она грустно задумывалась над бренностью всего земного. Она учила нас молиться за упокой его души. Исчезла, наверное, давно его безвестная могила. Пускай же живет память о нем. В этих записях о моем детстве.

Дворец — тогда говорили «большой дом» — князей Юсуповых[30] и парк перед ним стояли в те времена пустынными, оставленные своей владелицей. Старушка княгиня Юсупова, говорили, жила за границей со

своими двумя дочерьми, из которых одна впоследствии вышла замуж за графа Сумарокова-Эльстон, сохранив и свою девическую фамилию[31] за неимением в семье потомков мужского пола. Много лет спустя, в 90-х годах XIX века, княгиня З. Н. стала жить в своем имении Архангельском, тогда как сестра ее нашла себе вечное успокоение под роскошным, как я слышала, памятником на сельском кладбище, только что описанном мной. Архангельское тогда наполнилось жизнью, стало снова близким своим владельцам. Но в те годы, о которых я говорю (70-е годы), оно было оставлено ими. И лежала на парке и «большом доме» печать отжившей жизни. Старушка княгиня приезжала за эти годы, кажется, всего два раза и всего на несколько дней. Она приезжала скромно, со своей компаньонкой и мало показывалась. Считала, очевидно, необходимым показаться в церкви у обедни, после которой для нее служили молебен. В назначенный ею день раскрывали широкие ворота, ведущие во двор большого дома, — обычно они бывали заперты — и во двор допускалась нарядная толпа крестьян, пришедших из соседних деревень приветствовать старушку княгиню. А она раздавала им пироги, сласти, платки и пояски. Это уже и тогда казалось устарелым. Раздачу я не видала — нас не пустила бы мама «посмотреть», если бы даже мы стали просить об этом: жизнь княжеского дома нас не касалась. Но мне пришлось быть случайной свидетельницей аналогичной сцены в имении князей Грузинских. Один раз мы, катаясь, заехали в их имение-дачу и попросили разрешения погулять в их владениях. Как и в других местах, в селе Петровском и селе Никольском-Урюпине, принадлежавших князьям Голицыным[32], на вежливую просьбу мамы, передаваемую Мишей, отвечали любезным согласием. И тут нас допустили взглянуть на имение. Справляли какое-то торжество. Все члены княжеской семьи, веселые и смеющиеся, стояли на верху пригорка, на котором была построена дача, и, черпая из откупоренных ящиков карамели и пряники, бросали их пригоршнями в собравшуюся внизу толпу крестьян. Там происходила настоящая свалка. Было шумно, как будто весело — но, помню, мне стало как-то тоскливо и грустно, точно я чувствовала, что так не следует делать, что тут обижено в ком-то человеческое достоинство. Может быть, при мне высказал такую мысль кто-нибудь из взрослых. Это были остатки отношений, выросших из крепостного права, — они быстро исчезали уже тогда. Но вернемся к Архангельскому.

Несколько дней над бельведером «большого дома» развевался юсуповский фамильный флаг — на белом поле красные полумесяц и звезда, а

там вдруг, в один прекрасный день, он оказался спущенным: старушка княгиня в скромном платье так же нешумно уехала, как и прибыла в свои владения. И снова «большой дом» и обширный парк перед ним погружались в тишину не нарушавшегося жизнью покоя.

И дом и парк точно грезили о прошлом. Точно сгустилась тут жизнь прошлого, и не изгнала ее современность, и она продолжала жить в разбивке парка, в крытых липовых аллеях, окаймлявших большую лужайку на «нижней террасе», таких темных и таинственных, в статуях, стоявших неподвижно, но как будто вглядывавшихся своими мраморными глазами в далекое, им более родное, чем наше, время, в прошедшее. И потому давила живого человека мертвенность, оживленная каким-то едва приметным дыханием жизни. Какая-то грусть лежала на всем. Было — и прошло, и не вернется никогда.

Таково было мое смутное ощущение, которое я, конечно, не сумела бы высказать словами. Но всегда я чувствовала в сердце стеснение, когда мы бывали в парке. Я определенно не любила парка, хотя и любила даваемые им эстетические впечатления. Мне бывало в парке и скучно, и грустно, и жутко — словно приходилось мне против воли входить в общение с таинственным, мне неведомым и непонятным миром. И громадность переживания была не под силу еще слабой детской душе.

Мне хотелось бы запечатлеть тут несколько воспоминаний, связанных с парком.

Солнечное весеннее утро. Мы вошли в парк через монументальные «римские ворота» — широкую арку, сооруженную наподобие развалин римских ворот, с растущими на обломанной верхней части ее травой и деревцами. Мы идем по боковой дорожке парка — а на зеленой луговинке около нее цветут самой разнообразной расцветки водосборы. Это — не садовые, саженые цветы, которых нельзя трогать, чтя чужое имущество и чужой труд. И Коля, маленький мальчик в полосатеньком костюмчике, в восхищении рвет их, указывает мне на прелесть их формы и окраски — и я любуюсь ими вместе с ним. И так живо вижу я перед собой его милое сияющее круглое личико, освещенное улыбкой и солнечным сиянием. Потом мы — он и я и наши две воспитательницы — идем к старому запущенному фонтану. И тут находим Мишу, срисовывающего фонтан. Фонтан — настоящая красота: каменная открытая беседка с изящными колоннами, и под расписным куполом ее статуя мальчика, сидящего верхом на гусе, из вытянутого клюва которого била вверх вода. Но я не могу еще оценить красоты этого легкого изящного сооружения.

И болезненно задевает меня то, что у мальчика отбита рука. Притом мне гораздо интереснее сейчас показывать «чудеса ловкости»: обхватив колонну обеими руками, мы перескакиваем по ее цоколю с одного углышка на другой, чувствуя опасность свалиться при этом в бассейн фонтана. Наши воспитательницы протестуют и скоро уводят нас отсюда. Но эстетическое впечатление от фонтана в это чудесное, солнечное, еще росистое утро, тогда смутно сознаваемое, осталось на всю жизнь.

На этот раз мы в парке с тетей. Мы прошли всю большую аллею, уставленную по бокам большими померанцевыми деревьями в кадках, — знаменитую архангельскую аллею. И остановились в глубине ее перед открытым зданием в классическом стиле, под сенью которого на высоком цоколе установлена чугунная бронзовая статуя Екатерины II[33]. Благообразная жена с открытым, смелым и мудро спокойным ликом сидит вполоборота, увенчанная лавровым венком, держа в руках меч и весы. Ее глаза будто видят что-то, уста хотят изречь нечто значительное. Жуткое чувство охватило меня: я боюсь этой мертвой и такой живой в то же время женщины. Тетя объясняет нам, что это Екатерина Великая, что она была велика мудростью и справедливостью, что весы означают правосудие, и вот как статуя прекрасно сделана. Напрасно все — Екатерина II, ее мудрость и величие складываются в один уголок мозга, где накапливаются исторические познания, а душа полна мистического ужаса. Черная женщина на высоком цоколе живет особенной какой-то жизнью, несомненно, что она живет. И таинственными кажутся мне высокие березы и липы, приосеняющие здание с памятником, и мертвенными представляются мне розовые гортензии, образующие перед ним большую, как бы нерадостную клумбу.

Еще одно воспоминание, связанное с милой, дорогой моей тетей. Жаркий летний день. Мы с ней на «второй террасе» парка[34]. Значит, мы очень малы, потому что в позднейшие годы нашей жизни в Архангельском здоровье ее все реже позволяло ей выходить из дома и принимать участие в наших прогулках. На каменной балюстраде террасы ряд бюстов римских императоров[35], обративших свои лица с характерными чертами и надменно волевым выражением туда, в широкую и далекую даль, где за Москвой-рекой синеет лес. На обоих концах балюстрады две мраморные собаки с живым выражением умных глаз, настороженных ушей[36] — «Колина» и «моя»: мы их тоже поделили между собой: «Это твоя, а это будет моей». Вокруг фонтана по середине террасы распускаются голубые лилии, своими цветочными метелками и густой ланцетовидной

листвой прикрывая стенки водоема. Мы сидим в одном уголке террасы, под большой березой, свесившей свои гибкие ветви над скамейкой. Тетя читает нам вслух. Я изнываю от жары. Кроме того, от березы и к ней ползают многочисленные насекомые с красно-черными спинками, а они внушали мне всегда отвращение и страх: мне казалось, что своими двумя черными точками на спине они, как глазами, смотрят на меня, и смотрят недоброжелательно, прямо-таки злобно. То ли дело милые божьи коровки. Слушаю тетино чтение под истомой жары, под опасением своих «недругов» и плохо воспринимаю. И вдруг слух ловит что-то понятное и интересное. Мальчик — как я тотчас ясно вижу его перед собой — играл с другими мальчиками, и они выбрали его судьей. И он рассудил дело мудро и справедливо. А впоследствии он сделался царем — и тетя настаивает, чтобы мы запомнили его имя: Кир[37]. Это было первое сведение из древней истории, полученное мной. Оно возбудило во мне желание узнать больше. «Почитайте еще», — просили мы. И было местами так интересно, хотя много дальше истории Кира я плохо понимала тогда. А Коля уже понимал и интересовался сознательно. Для него важно знание, для меня — образы и картины. Послушав в этот первый раз тетю, мы оставляем ее на скамейке под березой, а сами скатываемся вниз с крутого склона террасы на идущую под ним дорожку, и снова карабкаемся вверх, цепляясь руками за траву и землю, и снова потом сбегаем вниз и поднимаемся снова. Я отдаюсь с увлечением этому занятию, а параллельно с этим живу мыслью о справедливом и умном мальчике и ищу ему место в одном из моих сочинений.

Тихий летний вечер. Мы на той же террасе парка, на этот раз с Юлией Андреевной и мадемуазель Сикр. Мы использовали с Колей все удовольствия, представляемые пребыванием на этой второй террасе. Мы несколько раз подбегали к фонтану, обсаженному голубыми лилиями, наслаждались ропотом и журчанием бьющей вверх струи и распространяемой ею влагой и опускали руки в воду. Мы заглядывали в лица римских императоров и поверяли друг другу свои симпатии и антипатии. Мы посещали по нескольку раз «наших» мраморных собак и беседовали о них. Мы смело сбегали по покато положенным плитам, окаймляющим каменную двойную лестницу, двумя маршами ведущую вниз, в нижнюю часть парка, в померанцевую аллею. Кто добежит скорее? И я не поручусь, что Коля не раз замедлял свой бег, чтобы доставить мне торжество победы. И, наконец, возвратились к нашим воспитательницам. Они сидели на скамейке под большим и правильно подстриженным кустом садовой

калины. Этот высокий куст был весь покрыт белоснежными цветочными шарами. И, составляя с ним симметрию, с другой стороны дорожки, ведущей к фонтану, занимающему центр террасы, стоит такой же цветущий куст — и под ним скамейка. Мадемуазель говорит нам, что эти кусты очень красивы и что их французское название: буль де нэж[38]. Я горячо и упрямо протестую: куст подстрижен, а я люблю природу в естественном виде, цветы мертвенны и безжизненны. И действительно, в этих кустах с их шарообразными, лишенными аромата цветами мне чудился тогда, почти бессознательно, тот дух омертвелости, грезы о прошлом, которые жили в парке. Как тягостно мне бывало всегда смотреть на возобновляемую ежегодно клумбу с гортензиями перед памятником Екатерины, так как-то застывало сердце от холодной красоты этих двух подстриженных кустов садовой калины. Мы спорим — и вдруг на каменной лестнице, поднимающейся от померанцевой аллеи, появляется мама, окруженная старшими детьми. Мы радостно бежим им навстречу — точно мы давно не видались. Мама со старшими садится на другую скамейку под другой куст: на нашей скамейке слишком мало для нас всех места. Мы спрашиваем тотчас маминого мнения, красивы ли эти цветущие кусты. И мама говорит, что они ей очень нравятся. Мы сидим вместе недолго: они поднимаются на «верхнюю террасу», мы — спускаемся вниз и идем домой. Но так приятно было посидеть со старшими, слышать их разговоры, более серьезные, чем наши, слышать заразительный смех Миши. И изящный силуэт мамы, окруженной детьми, сидящей под цветущим кустом, остается у меня запечатленным в памяти.

Любимой моей и самой красивой, по-моему, частью парка была так называемая «верхняя терраса», со своими живыми, пестрыми цветниками, с белоснежными мраморными статуями лежавшая перед «большим домом». Какой красивый, широкий вид открывался с нее. Сколько раз помню себя стоящей у балюстрады и задумчиво глядящей вдаль. Что тогда жило в моей душе, я не умею этого сказать. Но точно что-то смутно манило вдаль, что-то волновало сердце, призывало поверх отжившего мира ниже лежащих террас в живую жизнь, живую действительность.

С обоих боков террасы стеной стояли высокие лиственницы и кедры. Тетя научила нас любоваться ими. Я любила их: они доставляли мне много радости. Пленяли меня своей миловидностью небольшие изящные шишки лиственницы, и крупные, длинные и жесткие шишки кедров казались мне красивыми. Я собирала упавшие на дорожке шишки, берегла их и увозила с собой в Москву.

10 — 249

Потом, на террасе были статуи — и наслаждение (не могу выразиться иначе) было каждый раз смотреть на них. Когда я вспоминаю, с каким чувством в груди я глядела на них, бывало, я всегда благодарна за то, что мне пришлось провести детство в обстановке, вызывающей эстетические впечатления. Только тот, кто переживал чувство вострога перед произведением искусства, поймет, почему я так подолгу останавливалась перед какой-нибудь статуей, погруженная в созерцание. Помню себя раз: стою я у балюстрады, возле статуи Артемиды, я положила руку на ее стройную ногу. Я ощущаю приятную свежесть мрамора, я чувствую красоту божественных членов, складок короткой одежды. И мне в то же время хочется быть, как она, охотницей, носиться по горам и лесам и чтобы за мной следовала послушная лань. Мы с Колей рано познакомились с древнегреческой и римской мифологией — не без влияния, может быть, архангельского парка. У нас были свои любимцы среди богов и богинь, и мы поделили между собой и статуи «верхней террасы». Но мы часто уступали друг другу легконогого Гермеса, Ареса и Афину Палладу, которых никак не могли поделить. Это были неполные статуи, но гермы[39] прекрасной работы, с красивым поворотом головы. Как часто заглядывались мы на них, останавливая на них восторженный взор. Гермы Ареса и Афины стояли у начала прямой центральной дорожки, ведущей от лестницы к «большому дому», а прочие гермы олимпийцев установлены были вдоль боковых дорожек и красиво выделялись на стенах из кедров и лиственниц. Не знаю, почему наши старшие, во главе с Сергеем Александровичем, были склонны видеть в герме Зевса голову Платона. Они тогда читали творения Платона и увлекались им. На своих прогулках по «верхней террасе» они часто останавливались перед этой величественной головой и, слышала я, говорили о греческом мудреце. Раз, когда я подбежала к ним в это время, мама сказала мне: «Посмотри, какое благородное чело», — и мне запомнились ее слова и по отношению к мраморной голове Зевса, и по отношению к Платону. Думается мне, что «дяденька Сережа», видевший в классических богах и богинях олицетворения качеств, считал, что достойно было причислить к ним и Платона, как представителя высшей мудрости.

Они, наши старшие, вообще вели на прогулках серьезные, возвышенные разговоры, обрывки которых долетали до нашего слуха и внимания, так как мы вертелись тут возле. Помню один разговор, совершенно неподходящий к языческому миру «верхней террасы». «Дяденька Сережа» рассказывает, как хорошо читает канон[40] на мефимонах прео-

священный Леонид. И, по просьбе Миши, он палкой на песке дорожки рисует портрет преосвященного Леонида со свойственной ему способностью на память воспроизводить верно портретные черты. Я заинтересовываюсь: что такое мефимоны и кто такое преосвященный Леонид — старик с бородой и в митре, здесь на песке дорожки. Прошу маму, тоже хвалящую чтение преосвященного Леонида, взять меня с собой на мефимоны, когда она поедет туда, на Саввинское подворье[41]. Гаснет теплый летний вечер. Благоухают цветы обширного цветника. Манящая даль, видная с «верхней террасы», заволакивается дымкой. Облекаются таинственностью мраморные истуканы. А в душу вошло новое впечатление. Оно было не мимолетным, как показало время. Оно принесло свои плоды гораздо позднее. Тогда моим интересом руководило не религиозное чувство, а желание увидеть что-нибудь новое, раздвинуть рамки ведомого мне мира. Когда мама, вспомнив о моем желании, взяла меня раз к мефимонам в Саввинское подворье, я только устала, ничего не поняла и соскучилась на длинной службе.

На «верхней террасе» у нас с Колей было еще одно любимое развлечение. Перед «большим домом», у сходов в парк лежали украшавшие его мраморные львы, вытянув вперед мощные лапы, прямо на вас глядящие своими умными, человекоподобными лицами. В раннем детстве они внушали мне страх: они казались мне тоже живыми. Но Коля любил их, смело влезал на них, ласкал их своей маленькой ручкой — как я помню это хорошо, — должна была и я полюбить их. И тут у нас были «свои» львы. Мы садились на них, заглядывали в их разумные лица, когда уходили, прощались с ними, чтобы при новой встрече радостно приветствовать их. В них мы чувствовали друзей себе.

«Большой дом» — как я любила его! Сколько он мне давал радости, сколько эстетических переживаний, дивно живших в душе. Когда в 90-х годах (XIX века) в Архангельское приехали жить его владельцы и в доме закипела жизнь, мне как-то смутно было жаль, что нарушился тот покой его, который я знала, — покой, в котором таинственно чувствовалась жизнь, жизнь прошлого. И еще казалось мне, что новые владельцы (старушка княгиня уже отошла в иной мир) — тут незнакомые пришлецы, что им тут все ново и чуждо, тогда как я связана со всеми предметами в этом доме узами любви и долголетней привычки.

«Большой дом» стоял, оставленный своими владельцами. Ни хозяев, ни слуг. Ни души в доме — точно он вымер. Но дом содержался в полном порядке. Как все стояло прежде, так и оставалось стоять, нерушимо свято. И это действовало на душу: кто-то расставлял эту мебель, развешивал все эти картины, устраивал по-своему всю эту прекрасную обстановку. Он ушел из жизни, но дело рук его, вкуса, ума осталось и продолжало жить. Словно чья-то душа незримо, но таинственно ощутительно обитала в доме.

Дом был доверен попечениям двух служащих: сторожа, Ивана Матвеевича, и смотрителя здания, Михаила Ивановича. Иван Матвеевич жил в отведенном ему деревянном домике, похожем на избушку, — в ближайшем соседстве с «большим домом», в березовой роще, примыкавшей к парку. Михаилу Ивановичу предоставлен был деревянный дом типа дачной постройки — с другой стороны «большого дома», в молодой, но густой уже и темной еловой роще. Иван Матвеевич по внешнему облику был крестьянин, Михаил Иванович представлял из себя тип дворецкого или доверенного лакея. Иван Матвеевич ходил в ситцевой рубашке и синем поверх ее пиджаке. Михаил Иванович носил «городское» платье — большей частью бархатную, открытую на жилет курточку какого-то рыжего цвета в полоску. Иван Матвеевич держался просто, сдержанно и угрюмо, со своеобразным достоинством. У Михаила Ивановича было своего рода достоинство. Он знал «деликатное обращение» и никогда, по-видимому, не забывал об этом своем преимуществе. Он говорил вежливо, немного приглушенным голосом, всей своей манерой являя почтительность к собеседнику. Он был женат на немке, Марии Родионовне, женщине с бледным кротким лицом. Она скончалась от чахотки и погребена была на кладбище возле церкви. Анна Мартыновна, видевшая в ней соотечественницу, не раз заходила с нами на ее могилку и говорила с нами о грустной доле оставленной ею сиротки, девочки, меньше меня, Анюте. Поэтому-то мы, проходя мимо домика Михаила Ивановича, всегда ласково здоровались с Анютой, и запомнилось мне, как раз шел дорожкой Михаил Иванович, держа за руку маленькую девочку, такой грустный и вопреки привычке держаться прямо, согбенный от печали. Я в первый раз видела тогда вдовца с сироткой.

С Иваном Матвеевичем у меня связано другое впечатление. В последний, кажется, год нашей дачной жизни в Архангельском Иван Матвеевич заболел, и скоро стали говорить, что он «плох». Мадемуазель Сикр предложила нам навестить его. Мы вошли к нему в дом — и сразу нас

поразила какая-то торжественность, царившая в этом помещении. Иван Матвеевич лежал на лавке под образами и умирал. Он ждал смерти с величавым спокойствием. Подтянув к себе длинные худые ноги, он лежал неподвижно, еще в полном сознании. Взглянул на нас — и медленно отвел потухающий взгляд. Кругом по лавкам сидели какие-то женщины. Они то и дело вздыхали, негромко, чтобы не нарушить требуемого покоя, и тихонько сморкались в угол платочка, которым была у них повязана голова. Что-то особенное стояло в этой тишине. Я не забуду этого впечатления. Я видела тогда то, что потом читала описанным лучшими нашими писателями: как умирает простой русский человек.

Но в течение ряда лет мы видели Ивана Матвеевича здоровым или казавшимся здоровым человеком. На его обязанности лежало стеречь и проветривать «большой дом». Утром рано он обходил весь дом и отворял ставень за ставнем, окно за окном — и вливались в большие окна солнечный яркий свет и тепло и свежий ароматический воздух. А вечером в окнах появлялась снова худощавая фигура Ивана Матвеевича, его серьезное, несколько угрюмое лицо — и затворялись окно за окном, ставень за ставнем, с знакомым звуком захлопывающихся деревянных створок. Минуты, мистической жутью отзывавшиеся у меня в сердце. Мне казалось всегда, что дом, связуемый с внешней жизнью через солнечное сияние и аромат цветника и лесов, проникающий в него, на ночь обособлялся от этой внешней жизни, замыкался в себя и начиналась в нем своя, неведомая ночная жизнь.

Комнаты в «большом доме» расположены так, что можно из входной залы, двинувшись вправо или влево, обойти кругом весь дом, следуя из одной комнаты в другую. И целый день с небольшими перерывами Иван Матвеевич ходил вокруг, переходя из комнаты в комнату. Он присаживался изредка на простом деревянном стуле, поставленном специально для него во входной зале у главного подъезда, и, отдохнув немного, начинал снова свое круговое шествие. И так ходил он весь день, высокий, прямой, цаплеобразный, с устами, скованными добровольным молчанием, с глазами, точно ничему не удивляющимися, человек, «видавший виды», корнями вросший в крепостное право и переживший его уничтожение.

Он ходил по дому и стерег в нем всю обстановку — но она не подвергалась тогда никакой опасности: воровства кругом не было, да и свято соблюдалось запрещение входить в дом без разрешения Ивана Матвеевича и не в сопровождении Михаила Ивановича. Никогда никто на моей

памяти самовольно не проникал в «большой дом». Но мы, Коля и я, вместе с нашими гувернантками находились в этом отношении на особом положении. Может быть, оттого, что можно было быть уверенным, что мы не коснемся ни до чего, нам был разрешен и Михаилом Ивановичем, и Иваном Матвеевичем свободный доступ в «большой дом». Бывало, наскучит играть на «верхней террасе», обходить мраморные статуи и клумбы с цветами, сидеть на львах — и мы входим в «дом». Мы встречаем то в одной комнате, то в другой Ивана Матвеевича, но он не препятствует нам ходить по комнатам в желательном нам направлении, останавливаться перед любимыми картинами и предметами обстановки и продолжает свою молчаливую прогулку по дому. А мы — как в храме красоты, как в музее, где ходишь тихо, с благоговейным чувством. Все тут так красиво, так пленяет восхищенный взор.

Мы ходили по «большому дому» и с Михаилом Ивановичем. Собственно говоря, показывать «дом» желающим лежало на его обязанности и составляло для него источник дохода. Наша семья не раз одна и вместе с приезжими гостями осматривала «дом» под его руководством и выслушивая его объяснения. Конечно, были тут и мы, младшие дети. Кроме того, в Архангельское очень часто, особенно по воскресеньям и праздничным дням, приезжали компании гуляющих. Они приезжали на тройках или на линейках, останавливались или у священника, или у дьякона, или у Михаила Ивановича. Привозили с собой припасы и устраивали прежде всего чаепитие на воздухе. Затем шли осматривать парк и «дом». Тогда вступал в свои права Михаил Иванович. Переходя с посетителями из комнаты в комнату, в каждой из них, сгруппировав вокруг себя слушающих, он останавливался и давал свои объяснения. Не раз мы с его разрешения примыкали к группе, ходившей за ним, и выслушивали его. Как истый чичероне, он повторял всегда одно и то же, раз и навсегда заучив свои объяснения, так что мы могли бы ему подсказывать. Но это ничего не значило. Всегда с новым интересом слушали мы его. И так он запомнился мне, стоящим перед большой картиной, изображавшей пир Клеопатры, как он своим вежливо приглушенным голосом объяснял, что царица египетская бросает жемчужину в чашу с вином. Он всегда останавливался в каком-то раздумье перед этой картиной и парной ей: Клеопатра с Антонием[42] — даже руку иногда поднимал раздумчиво к щеке. Точно непонятно было ему обаяние египетской царицы. Как-то странно звучали для нас из его уст заученные исторические имена и события, которые мы знали из других, более

достоверных источников. Как будто не ему было их произносить. Но он произносил их так уверенно, что можно было предположить в нем более основательные познания. И любила я ходить за ним, заранее зная, где он остановится, на что будет обращать внимание посетителей.

Были у меня тут любимые картины — я не стану их перечислять. Но была одна картина, которая всегда останавливала мое внимание и перед которой я замирала в созерцании. Муций Сцевола был изображен на ней стоящим перед горящим огнем и протянувшим над ним свою руку[43]. Муций Сцевола — один из тех героев истории, которые приводили меня в восхищение, которым я хотела бы подражать. Сколько раз, остановившись где-нибудь и замерев в мечтах, переживая в них самые невероятные героические события, я протягивала руку над воображаемым огнем и так же мужественно переносила страдание. Сила духа, презрение к физическим страданиям — вот чем привлекал меня древний Рим и Спарта. И я чувствовала тогда в себе силы страдать из-за высших духовных благ.

Но Архангельское прекрасно не только своим дворцом и парком, оно славилось издавна своим великолепным местоположением. В те времена по имению протекала Москва-река, которая позднее изменила свое русло, — и прекрасен был обрывистый к ней берег, поросший высокими соснами, усеянный хвоями, тянувшийся от кладбища и церкви по направлению к деревне Захарково. Леса и рощи, пашни и луга окружали парк с дворцом, дачный и церковный поселок. Прогулок сколько угодно, ближних и дальних. Мы предпочитали обаяние лесов и открытых пространств величественному великолепию парка. В парке, стесненном со всех сторон высокими деревьями, было всегда немного душно, и сердце щемило ощущение мистического присутствия отмершей навсегда какой-то неведомой, чуждой жизни. В лесах и полях царил простор, веяние вольного воздуха, и мощно проявляла неустанную свою деятельность жизнь — и как мы чувствовали ее живое прикосновение. В лесах и полях Архангельского, на берегу его прудов и реки мы научились и наблюдать природу, и наслаждаться ее лицезрением. Здесь мы постигли впервые таинственную прелесть леса, недвижно стоящего под палящими лучами солнца в знойный летний день, и неизъяснимых переговоров деревьев, когда они колеблются ветром, и тихо взад и вперед движут высокие стройные сосны свои темные вершины. Неизъяснимые речи леса! А красота подлеска — особенно осенью, когда зелень кустарников

покраснеет, озолотится, когда повиснут на бересклете розово-оранжевые сережки, а на шиповнике заалеют плоды. Заберешься, бывало, в чащу подлеска — в густой малинник или заросль волчьих ягод с красными, похожими на смородину ягодами, — и так хорошо чувствовать себя в одиночестве, так близко и так далеко в то время от других. «А-у, а-у!» — зовут другие где-то совсем близко, и отвечаешь: «Ау, а-у, а-у!» Знаешь, что все наши тут, близко, что я не одна, что не затерялась в лесу, но в то же время знаешь, что тебя никто не увидит за кустами, по крайней мере, пока не придут на твой голос, и переживаешь сладостные минуты уединения, задумчивости или размышления. А как хорошо, что в нашем любимом лесу — он слывет у нас под названием «тетин лес» — растут кусты орешника. Тетя пугает водящимися на орешнике клещами, впивающимися в тело; страшно клещей, но такое удовольствие срывать орехи прямо с куста, не дождавшись «орехового Спаса»[44], разгрызать мягкую скорлупу и съедать молочное зернышко. Это так приятно, но, кроме того, если сбудется когда-нибудь горячая моя мечта пожить в этом лесу Робинзонами, важно знать, что у нас есть средство к пропитанию. На какое пропитание можно еще надеяться в этом лесу? Сколько тут земляники — надо только знать места, где ее искать. Целые ковры черники. Присядешь, бывало, возле нее и ешь сколько душе угодно, и смеешься друг на друга, глядя на почерневшие губы. Много любимой тетей костяники и поздно созревающей брусники. Много грибов тоже. Все это приходится принимать в соображение, когда рассматриваешь «тетин лес» с точки зрения возможности пожить в нем Робинзоном, хотя бы в мечтах.

Что еще было в этом любимом лесу? Много лесных цветов, полных неизреченной красоты и поэзии. Какая радость была найти благоухающий, блестящий белизной ландыш, прикрытый не совсем развернувшимся листом. Каким сильным ароматом пахли лесные фиалки, белыми свечами поднимавшиеся из травы. Какая таинственная задумчивость чудилась в больших лиловых лесных колокольчиках. Коля очень любил их, набирал их в букеты, и, когда он взмахивал букетом, колокольчики шуршали, словно говорили. А папоротники — какая была в них красота, в этих густолиственных кустах, развивающихся из нежных, тонких завитков. А своеобразный, микроскопический мир мхов и лишаев. Вот я лежу на земле на пушистом зеленом ковре мха и гляжу не нагляжусь на его красоту. Чудно красива каждая его веточка, чуден, красив и приятен на ощупь он весь. И как хорошо пахнет от него сушью. Преле-

стный запах, смешанный с запахом отмершей хвои — и какое сочетание красок: зеленый мох и желтая хвоя, усыпавшая землю. И как хорошо, когда на такое местечко падают яркие пятна солнца сквозь густые ветви сосен. Вот я в другом, более сыром месте становлюсь на колени перед другим видом мха — это точно сосновый лес в миниатюре. И я гляжу, как некоторые из этих крохотных сосенок выпустили по тонкому коричневому стебельку с коричневой же коробочкой на конце. Вот я присела около пенечка, обросшего мхом и лишайником, — как интересен этот лишайник, у которого на поверхности такие маленькие и миленькие серо-зеленые трубочки в виде воронок. Как это красиво. И я восхищенно смотрю на это «чудо природы» — и сердце живет восторгом.

«Тетин лес» — мы звали его так, потому что он был любимым ее лесом в Архангельском, — оканчивался отлогой покатостью, спускавшейся к проселку. Хорошо было сбегать по мшистой почве, цепляясь на ходу за стволы сосен, и попадать к самому краю небольшого, в низких берегах лежащего у самого проселка прудочка. Серо-желтая песчаная дорога и темная вода прудка и на нем изжелта-зеленые круглые, блестящие на солнце мокротой листья желтых купавок. И на болотных травах у его краев сколько вьется блестящих больших стрекоз с сухим стрекотом прозрачных крыльев, и бесшумно, осторожно, словно примериваясь, садятся тоненькие, нежные стрекозки с бирюзовыми спинками. А в самой воде сколько можно увидать весной лягушечьей икры, а потом хвостатых головастиков. Через дорогу — опять другой мир. Там по болотистой низинке вьется узенький ручей прихотливыми извилинами, а на пригорке, там, за ручьем, — кустарник и березняк, и там в конце лета много березовых грибов и много-много рыжичков, таких миленьких.

Другой у нас был любимый лес — он назывался нами лесом Бель-вю[45]. Так звали его потому, что в одной части его, на краю крутого песчаного обрыва над Москвой-рекой, была устроена деревянная беседка, из которой был действительно прекрасный вид: внизу катилась плавно река, а за ней раскинулся широкий заливной луг, ограниченный лесом. И открывались широкие дали. Лес около этой беседки, именовавшейся Бель-вю, был тоже сосновый, но другого совсем характера, чем «тетин лес». Мало было в нем травы и лесных цветов, не было и подлеска. Зато какой богатый, какой пушистый ковер мха: нога утопала в нем. Небогат был в нем и мелкий животный мир жучков и букашек, которых мы любили рассматривать в «тетином лесу», лежа на земле или взяв их осторожно на ладонь. И не приходилось тут мечтать о жизни Робинзоном,

потому что тут было мало ягод и грибов — «средств пропитания». Зато здесь было два пригорка, поросших соснами, и они как нельзя лучше могли служить «крепостями». У Коли была своя «крепость», у меня — своя. Мы сидели каждый на своем пригорке, ходили друг к другу в гости, иногда перестреливались шишками. А лес кругом тихо шумел, и солнце бросало такие яркие пятна на зеленый мох и желтую опавшую хвою. Я помню раз: я лежу на этом зеленом пушистом ковре, прервав игру, и вся отдалась созерцанию красоты леса. По небу ходят тучи, гонимые ветром, и солнце то скроется за ними, то снова мощно засияет. И в лесу такая красивая игра света и тени. Стволы сосен то загораются золотистыми солнечными пятнами, то становятся серыми. И мох то вспыхивает изумрудной окраской, то кажется затененным, сухим. Мадемуазель Сикр сидит в некотором отдалении на земле, в палевом ситцевом платье, с книгой в руках — и по ее фигуре пробегают, сменяя друг друга, свет и тени. А лес шумит и шумит, поет какую-то волнующую душу песню, и сверху то и дело срываются и падают шишки. (Как хорошо, как чудно хорошо в лесу!)

Одной из любимых наших прогулок была на мельничный пруд. Спускаемся оврагом и выходим на тенистую дорогу, идущую параллельно течению реки. Слева — луг, на котором пасется стадо, справа — небольшой, удлиненной формы пруд. Противоположный дороге берег его обсажен старыми ветлами, высоко выкинувшими вверх свои ветви с серебристой листвой. Очарование — эти старые, задумчивые ветлы. Я так часто любовалась ими. Вода в пруду, давно не чищенном, была непрозрачная, в солнечные дни серо-зеленого цвета, и казалось мне тогда, что она под своей непроницаемой гладью таит все чудеса подводного мира, о котором я читала в сказках. Так и манило спуститься с крутого бережка и войти под воду, чтобы испытать участь сказочного героя. Это желание было во мне так сильно в ранние годы детства, что я до сих пор не знаю, что, собственно, удержало меня от его исполнения. Из пруда вытекал ручеечек и образовывал у одного края его небольшое болотце, зеленое, сочное. Здесь росли крупные незабудки. Мы любили рвать их, особенно потому, что это, по-нашему, было сопряжено «с опасностью жизни»: мы знали, что болота затягивают иногда неосторожно ступившего на их зыбкую почву. Это болотце не могло никого засосать, но чувство воображаемой опасности увеличивало удовольствие добывать голубые, как небо, говорила Анна Мартыновна, незабудки.

По хорошенькой узенькой тропинке выходим на шоссе — так называемое Ильинское, так как оно ведет к царскому в то время имению того же наименования. Слева у нас — заливной луг, доходящий до Москвы-реки, справа — огороды, одним краем доходящие до шоссе, другим упирающиеся в стену леса. У самого шоссе — ветхая избушка Андрея Климовича, на завалинке — греющийся «дедушка», отец Андрея Климовича. Его дряхлая фигура залита солнцем. Прошли мимо, и через несколько саженей — вот мельница и мельничный пруд. Мы знакомы с мельником, который всегда вступает в разговор с нашими старшими, когда они приходят посидеть на берег пруда. Не раз слышали мы от мамы, что он поразил ее в беседе осмысленным, мудрым словом, — и мы так прониклись уважением к его уму, что не решаемся говорить с ним. Он же, очевидно, не умеет говорить с маленькими детьми и ограничивается ласковым приветом. Выбегает из избы при мельнице рыжеволосый Давид, сын мельника, мальчик наших лет. Мы улыбаемся друг другу, но разговаривать друг с другом мы тоже не умеем. Давид остается возле своего жилища, а мы идем к пруду и садимся на поставленную на его берегу скамейку. Мы любили мельничный пруд — он был так красив. Большой, в рамке окружающего его леса, заросший кувшинками и болотными травами, — и как поэтично в одном месте клонилась над темной, почти черной водой полуупавшая береза своим тонким молодым стволом, выделяющимся белизной. Пруд кажется глубоким-глубоким. Нет в нем для меня очарования сказочного мира, есть прелесть действительной, воспринимаемой глазом красоты. Все хотелось смотреть на него. Около поросшего зеленой травой берега крошечные заливчики — в них растет светло-зеленая ряска. Я наклоняюсь к воде, опускаю в нее руку и вытаскиваю эти миниатюрные листочки с тоненькими, как ниточки, корешочками — и так они мне нравятся. Иногда сойдемся мы у мельничного пруда с нашими старшими, и Миша с Алешей, возбуждая наше восхищение, входят в воду — на них высокие сапоги — и рвут для мамы белые кувшинки, красоты удивительной чашечки с длинными, круглыми мокрыми стеблями и круглыми листьями. И, обхватив, как он любит делать это, мои плечи рукой и прижимая меня к себе, Миша спрашивает меня с ласковым смехом: «Хочешь, хочешь, я скажу тебе стихи про кувшинку?»[46] — и декламирует мне стихотворение Гейне. И, выслушав стихи, восприняв их прелесть, я бегу с Колей к нашим заливчикам — это наши «гавани», и мы считаем прибывшие в них щепочки-«корабли», которым надо устроить достойную встречу.

Любили мы также ходить в близлежащую деревню Воронки. К ней вела лесистая дорога, а сама деревенька красиво вытянулась по невысокому косогору перед змеившимся по низинке ручьем, обросшим кустами. Через ручей был построен мост, но мы предпочитали переправу другим способом: или по перекинутым в одном месте дощечкам, или же перепрыгивая с берега на берег в каком-нибудь узком местечке. В Воронках все женское население в те времена было занято вязаньем шерстяных перчаток и шитьем лайковых на московские перчаточные магазины. Проходя по деревенской улице, то и дело, бывало, увидишь женщину или девушку, прижавшую под мышку клубок лиловой или малиновой яркой шерсти (таков был вкус тогдашнего рынка: Смоленского, Сенной и т.п.) и быстро двигающую спицами. Эта работа производилась, так сказать, на ходу, между другим делом, и женщина, не теряя ни минуты свободного времени, успевала навязывать много пар. К вязанью перчаток приучали девочек с малых лет, и некоторые поражали быстротой в работе. Шитье же лайковых перчаток производилось в избе и требовало особого приспособления — «машины», как говорили в деревне. Мы видали эту «машину» и способ работы на ней у нашей знакомой девушки Тани. Таня жила со своей матерью-вдовой Катериной в самой крайней избушке деревни Воронки. Мы часто заходили к ним в гости и находили всегда ласковый прием. Ласковость была прирожденным качеством Тани. «Ах вы, милые вы мои!» — так восклицала она постоянно, глядя на нас своими серыми глазами, добрыми и не особенно умными, и некрасивое, загорелое лицо ее принимало умильное выражение. Бывала она, помню, одета в ситцевый сарафан, а на открытой шее лежало ожерелье из крупных янтарей, которые, объясняла она нам, «хорошо носить для здоровья». В избушке Катерины я впервые познакомилась с лубочными картинами, и раз угостила нас Катерина «деревенским пирогом» — из серой муки с изюмом, показавшимся мне необычайно вкусным. Не забыть мне прелестной этой деревеньки на косогоре у извилистого ручья, глядевшей в лес, спиной повернувшейся к пашням и полям. Не забыть ласкового привета, который мы встречали там, в избушке Катерины и Тани.

Ходили мы также в другую деревню, Гальево, но тут не было у нас знакомых. Привлекали нас по пути туда веселые луга, испещренные ромашкой, колокольчиками и липняком, что придает такую несказанную красоту лугам Московской губернии. Эти луга будили во мне всегда чувство восторга. За лугами тянулись пашни. Они бывали ярко-зе-

леными весной, когда мы приезжали на дачу, и радовали своей изумрудностью. Позднее в них так отрадно мелькали синие васильки. Тут, во ржаных полях по дороге в Гальево, Коля впервые открыл новый для нас с ним «цветок» — рыцарские шпоры, или борец[47]. Тут он показал мне на овсяном поле полюбившийся мне куколь[48], которого малиновый цветик, казавшийся мне почему-то особенно симпатичным, я как-то отождествляла с Колей.

Мы не только любовались окружающей нас природой, не только наслаждались ее величием и красотой — мы еще изучали ее. Миша и Алеша называли себя «естественниками» и мечтали о том, что в университете поступят на естественный факультет (в действительности же Миша по окончании гимназии поступил на юридический факультет, но Алеша стал естественником). В ревельской гимназии того времени преподавали естественные науки (в московских они были изъяты из программы) и умели, очевидно, внушить ученикам интерес к ним и любовь к изучению природы. Мы видели это на наших старших мальчиках. Не проходили они равнодушно перед явлениями природы; во все они вглядывались с живейшим интересом и любовью. Они составляли естественно-исторические коллекции, и комната Миши была настоящим складом гербариев, окаменелостей, кусков коры с ходами, проделанными в ней насекомыми, шишек и мхов, коробок с насаженными на булавки бабочками и жуками и т.п. Старшие мальчики выходили на прогулку с большими ботанизирками[49], возились с папками для просушки растений. Руководством для их занятий служила немецкая книга «Бух дер Заммлунген»[50], в которой они постоянно рылись. Подражая им, и мы с Колей стали чувствовать себя будущими «естественниками».

Сначала мы были только помощниками братьев. Мы помогали им в сборе коллекций. И делали это с увлечением. Мы приносили им растения, тщательно взятые в лесу или на полях, с корнем, как они нас учили, а они награждали нас благодарностью и тем, что показывали строение растения и называли нам его латинское название. Мы рылись в кучах камней у шоссе, ища в них окаменелости. И живо помнится мне Коля: как среди залитого солнцем луга, полного стрекотания кузнечиков, он ловит бабочек для Алеши. Я не мастерица ловить бабочек, притом мне их жалко, но, принося свои чувства в жертву преклонению перед наукой, я, направляя действия Коли, кричу ему: «Вот, вот летит ад-

мирал!» — или полушепотом, в восторге: «Смотри, смотри — павлиний глаз!» (это — редкость), а он, принеся также в жертву присущее ему чувство жалости, самоотверженно на полном припеке, сняв шляпу, гоняется с ней в руках за добычей. А кругом высокие травы, ромашки, колокольчики, липняки. Он ловил также кузнечиков, и не только для коллекции, но чтобы поглядеть на них и потом отпустить. Бывали случаи, когда какой-нибудь большой зеленый или серый кузнец больно впивался в его палец крепкими челюстями — Коля прощал ему это и продолжал питать нежность к этим прыгунам. Он любил также майских жуков, любил брать их на ладонь и разглядывать их. Мне неприятен был трепет живого существа у меня в руках, и я избегала ловить насекомых. Зато живо помню следующее происшествие.

Мы гуляли в «тетином лесу». Вдруг у ног моих промелькнуло что-то. С криком: «Змея, змея!» — я бросилась на колени и схватила через платок что-то узкое, длинное, скользкое, что сильно барахталось у меня под руками. «Алеша, змея, змея!» — кричала я, и на мой крик бежали уже тетя и братья. Алеша с возбужденным лицом схватил барахтающееся у меня под платком животное — оказалось, это не змея, в прелестная серая ящерка. В сильном возбуждении мы возвращались домой. Такой чудесный вклад в коллекции старших братьев: змеи и ящерицы были крайне редки в Архангельском. Алеша превозносил мою храбрость и укорял Колю за то, что он, наверное, не решился бы схватить руками змею, как сделала это я, — Коля с детства чувствовал непреодолимый страх перед змеями. По дороге мы несколько раз останавливались, чтобы посмотреть еще и еще раз на нашу пленницу, которую торжественно нес Алеша, никому не доверяя ценную добычу. Особенно восхищали нас умные глаза ящерицы и ее язычок, который она то и дело выпускала изо рта: мы еще никогда не видали живой ящерицы. Дома в восторг пришел Миша. По указаниям Бух дер Заммлунген, ящерицу надо было для коллекции заспиртовать, но ящерица так очаровала всех, что братья несколько дней не могли решиться на это. Они устроили жилище для ящерицы в умывальном тазу, положив на дно его несколько камней, покрытых мхом, и кормили ее мухами. Мы с Колей то и дело бегали смотреть на ящерку, как она живет на своем островке. И вдруг в один из последующих дней Миша заявил, что как ни жалко, но ящерицу надо принести в жертву науке. Мы с Колей так благоговели перед наукой, что не решились возражать. Мы преклонились перед тем, что нам казалось необходимым ради пользы науки. Но это была тяжелая жертва.

Когда Миша мне показал заспиртованную в склянке ящерку, недавно еще глядевшую на нас своими умными глазками, мне стало так грустно, так грустно, что и сказать нельзя. Помню, несколько дней были для меня подернуты флером грусти, и я горько сожалела, что ящерка пробежала мимо меня в лесу, что я ее поймала.

Постепенно из помощников старших братьев мы с Колей стали сами «естественниками». Стали собирать коллекции естественно-исторические уже для себя. Но мы собирали преимущественно растения, камни и окаменелости. С каким восхищенным чувством я в первый раз надела на себя собственную ботанизирку — я потом не расставалась с ней на прогулках. Какую огромную радость доставила мне мама, подарив мне, по указанию Сергея Александровича, «Ботанику» Григорьева[51]. Эта книга стала моей любимой. По ней я определяла собранные растения, заучивала латинские названия. И долго-долго, много лет спустя, когда я уже давно оставила мечты свои сделаться ботаником, я находила громадное удовольствие собирать гербарии и, приехав на новое местожительство, знакомиться с флорой данной местности.

Интерес к изучению природы, привитый нам старшими братьями, придавал осмысленность нашим прогулкам. Мы с любовью наблюдали природу, и она платила нам тем наслаждением, которое дается созерцанием ее крупных и мелких явлений. Для меня мало было видеть издали и в общем красоту дерева, цветка, мха или лишая — мне надо было основательное с ними знакомство. Я не любила срывать цветы попусту и прикалывать их себе к платью, хотя и признавала, что это красиво: вид умирающего цветка давал мне чувство печали и жалости. Но я часто в лесу, в поле срывала какое-нибудь растение и внимательно рассматривала его листья, корень, цветок и семенную коробочку — и тогда уже знала его, и чувствовала себя связанной с ним чувством любви к нему. Так, наблюдала я много лет спустя, срывает растение в поле, лесу, на болоте и вглядывается в него, знает и любит его потом крестьянка-знахарка. Все изученное мной было мне дорого. Растения были живыми существами для меня.

Но я подошла к изучению природы и с другой стороны. Миша увлекался мифологией, фольклором. При тогдашнем торжестве мифологической школы[52] он всецело проникся идеями Гримма[53], Буслаева[54], Афанасьева[55]. Поэтические измышления мифологов находили отклик в его такой склонной ко всему поэтическому душе. Мысль, что изучение народных преданий, сказок, обрядов откроет дух создавшего их народа,

была ему дорога, как складывающемуся славянофилу и народолюбцу. Он рано, еще в те годы, отошел от естественных наук, от реального изучения природы и отдался «поэтическим воззрениям» на нее[56]. Были у него две толстые немецкие книги, относившиеся к миру растений. Там, наряду с ботаническими сведениями, сообщались предания про отдельные растения, говорилось об их полезности, значении в народной медицине и верованиях. Обе эти книги, которые и я несколько лет спустя читала с увлечением, были испещрены его заметками и цитатами из сочинений мифологов, написанными его изящным, бисерным в те годы почерком. Природа для него имела не только реальную красоту, но еще и мифологическую ценность. И как он отдавался мифологическому туману, окутывавшему в писаниях мифологов явления природы. Жаждая жить одними идеями с родным народом, впитать в себя его самобытность, он точно искал воспринять до полной веры то, во что верили крестьяне. Как он упрашивал маму позволить ему идти с Сергеем Александровичем в «тетин лес» в 12 часов ночи под Ивана Купала смотреть, как цветет огненным цветом папоротник[57], как убеждал ее, что он, наверное, выроет клад, потому что заранее знает все случающиеся при этом страхи и меры, которые должны принимать кладоискатели. Он говорил это с серьезным увлечением и в то же время смеялся своим заразительным смехом — и показывал, в каком виде он пойдет ночью в лес: нахлобучив мягкую шляпу и с заступом в руке. И трудно было провести грань, где он отдается полувере, где входит сознательно в область мифических народных верований. Как восторженно он говорил о купальских огнях[58]– и, с трудом раздобыв позволение мамы, мы под его руководством вечером 23 июня складывали большой костер в саду при нашей даче и торжественно зажигали его с наступлением темноты. Как поэтично описывал он троицкие обряды, хождение с березкой и завивание венков[59]. Как жизненно выходило у него, когда он повествовал нам о полетах ведьм[60], — так правдоподобно, что я не раз искала со страхом увидать на ночном небе пролетающую фигуру. И он знал так много про разные «травы», полезные и волшебные. У многих растений оказались приуроченные к ним предания. Охватив мои плечи рукой и прижимая меня к себе, он рассказывал мне про них — и никто не рассказывал это так поэтично, как он. Никто не умел создавать своим рассказом такое состояние, когда в одно и то же время и не веришь, и веришь. От него я узнала в стихотворении Гейне, что розы шепчут друг другу на ухо благоухающие сказки. Да, благоухающие сказки цветов — много, много

читала я их впоследствии, но никто не умел их так рассказывать, как Миша.

И я научилась подходить к деревьям и растениям иначе еще, чем с ботанической точки зрения. Мне важным казалось их поэтическое значение в верованиях разных народов. Когда я глядела на высокую рябину за оградой парка, я не только знала, как красиво она цветет весной белыми цветами, как краснеют ее листья осенью; я знала, что к ней можно ходить жаловаться на зубную боль, приложив больную щеку к ее стройному стволу. Когда я любовалась в «тетином лесу» на густо разросшиеся кусты папоротника, я не только знала, что весной они бывают все в завитках, но также и то, что под Ивана Купала, в таинственную ночь, полную чудес, папоротник расцветает чудесным цветом. Я знала, что растущие на лесных полянках, в лесной тиши мята и зверобой созданы «на пользу людям» — я любила и уважала их за это — и что есть ядовитые и волшебные «травы». И, когда я знакомилась с новым растением, мне надо было знать все про него: не только какой у него корень, листья и прочее, но и все свойства его — так, как надо знать это крестьянке-знахарке.

Наша жизнь на даче, богатая впечатлениями и внутренними переживаниями, протекала чрезвычайно однообразно и необыкновенно правильно. Старшие дети в каникулярное время были освобождены от учебных занятий, а мы с Колей продолжали и летом учиться. Бывало это и скучно и тягостно в жаркие дни, но нам не могло прийти в голову протестовать. Утром, после утреннего чаю, едва успеешь пробежаться по саду, как уже идет со своей дачи на нашу «дяденька Сережа». Мы радостно встречаем его и спешим с нашими книгами и тетрадями в небольшую нашу дачную гостиную. Там мы «учимся» с Сергеем Александровичем. Между тем в смежной комнате — назовите ее залой или столовой, — длинной и узкой, убирают со стола после утреннего чаепития семьи и на одном краю стола накрывают отдельно чай для мамы. Как и зимой, она встает позднее всех в доме и пьет утренний чай одна. Когда она спускается вниз в широкой свежевыглаженной, расшитой гладью накрахмаленной юбке и матине[61], мы бежим ей навстречу поздороваться. Но тотчас же мы должны продолжать урок. Дверь остается открытой, и нас немного смущает, что ей слышны наши ответы. Она же пьет чай молча и долго. Потом, взяв кого-нибудь из старших детей, она идет пройтись

недалеко, может быть, всего до первой арки, ведущей к церкви. И, «сделав моцион», как говорили тогда, предписанный ей врачом, отбыв повинную, она поднималась к себе одеваться: к завтраку не полагалось выходить в пеньюаре или матине.

Завтрак подавали ровно в 12 часов — мама не терпела неаккуратности в распределении хозяйственного дня. Завтрак состоял из двух сытных блюд — первого, всегда мясного. После завтрака пили чай. Он был накрыт в хорошую погоду на большой террасе, где мама со старшими детьми проводила весь день. Мы же с Колей и нашими воспитательницами шли гулять. Мы возвращались с таким расчетом, чтобы до обеда, который подавался в 4 часа, мы могли бы успеть взять урок французского или немецкого языка (мы занимались поочередно то тем, то другим языком). Вернувшись с прогулки, мы прежде всего, еще до урока, забегали к маме и старшим детям поделиться с ними впечатлениями, рассказать, что добыто нами для естественно-исторических коллекций, спросить у Сергея Александровича, какой птице принадлежит найденное нами в лесу перо, как зовется по-русски такое-то растение и т.п. Привлекательные минуты соприкасания с жизнью старших, в которой мы пока мало принимаем участия. Мирно, светло и радостно сидят они тут, занятые беседой или чтением. Читают Шиллера, Шекспира, Гете, Байрона, русских поэтов. Мама сидит за работой и от времени до времени поднимает склоненную над ней голову, чтобы произнести свое суждение насчет какой-нибудь мысли или чувства, выраженного поэтом. Она делает это веско, с искренним увлечением — и потому ее слова запоминаются. Иногда она берет книгу сама и читает вслух — и читает превосходно. Возле нее сидит Лена и вышивает что-нибудь. В те годы начал входить в моду так называемый «русский костюм» — и мама и Лена вышивали кофточки красной и синей бумагой крестиком. Вышивали они также полотенца «русским швом»[62] — полотенца эти, в которых видели отражение народного искусства, приводили в восторг Мишу. Миша, если читал вслух Сергей Александрович, пересматривал свой гербарий, то же делал и Алеша, который, однако, не совсем еще перейдя к старшим, вдруг срывался с места и бежал в сад, на «гимнастику», где делал головокружительные упражнения, приводившие нас в восхищение своей смелостью. Сергей Александрович, если не читает вслух, улаживает удочки для предстоящей рыбной ловли или рисует. Он рисует прекрасно тонким изящным карандашом, рисует на простой писчей бумаге, рисует по памяти все, что угодно: портреты знакомых и незнакомых,

с удивительной точностью, Симонов[63] и Новодевичий монастыри, сенокос и казака с пикой, Волгу и самарские степи (он раз ездил весной в Самарскую губернию лечиться кумысом от обнаружившейся в нем чахотки), деревню Павшино и мальчика Митю из села Никольского-Урюпина. Если стояли ненастные дни и в часы от завтрака до обеда старшие сидели не на террасе, а в гостиной, он писал масляными красками. Его мольберт стоял у итальянского окна гостиной — и так затрагивало какие-то внутренние струны, когда он начинал свою работу: набрасывал контур сочиненного им пейзажа (писал он по памяти, не с натуры) и выполнял тщательно и с любовью поставленную себе задачу. Так живо запомнилось мне, как он писал небольшую картину: у ручья старая ветла на фоне золотистого заката; и другую: густой сосновый лес. Весь вид его, работающего за мольбертом, палитра с красками, сами краски в свинцовых трубочках имели для меня необычайную силу притяжения. Мне чудилось за всем этим сладкое волнение творчества, какое я чувствовала и в себе самой, — и мне страстно хотелось писать красками. Живопись несказанно привлекала меня, живописцы казались мне счастливыми людьми, «любимцами богов». И в этом благородном увлечении искусством сказалось в большой доле влияние Сергея Александровича. Перед его мольбертом я переживала минуты восторга и подъема. Надо отдать ему справедливость, он делал все, что мог, чтобы развить в нас способности к рисованию. Но способности эти, которые имелись и у Коли, и у меня, в то время еще не обнаруживались. И не забуду я, как мне не удалось вовсе скопировать его акварельный рисунок — ветку сирени, набросанный им специально для того, чтобы нам начать правильно заниматься рисованием, — и как это огорчило тетю, ждавшую много от того пыла, с которым я принялась было за работу.

Повертевшись в гостиной или на террасе, схватив на лету звучный стих Пушкина или Лермонтова, какую-нибудь фразу из Шекспира или Шиллера, мы поднимаемся к себе наверх учиться. И, Боже мой, как трудно быть внимательным в диктанте или декламировать «с выражением» какое-нибудь длинное стихотворение, когда в окно видна «гимнастика», и на ней Алеша проделывает всевозможные эволюции: качается на трапеции, притягивается на кольцах и кувыркается на воздухе, влезает на перекладину, балансируя, ходит по ней и потом спускается на землю по шесту.

В 4 часа — обед. Обед в три блюда, казавшийся мне и тогда слишком сытным, долгим и потому докучным. Меня, как малокровную в то

время девочку, заставляли есть, несмотря на жару и отсутствие аппетита. Непонятна была тете моя нелюбовь к пирожному. К некоторым видам его, например к крему, желе и особенно бланманже[64], испытывала нечто вроде отвращения. А приходилось есть насильно. Потому обед, несмотря на веселый семейный разговор в верхней части стола, часто казался мне тягостным. Зато после обеда наступало самое приятное, пожалуй, время дня.

Конец дня мы проводили, за немногими исключениями, с необычайной правильностью одним и тем же образом: или отправлялись на рыбную ловлю на реку, или ехали кататься. То и другое было громадным для всех нас удовольствием.

Сергей Александрович был страстным рыболовом. По его примеру, под влиянием книги С.Т. Аксакова об уженье рыбы[65], увлекся рыбной ловлей и Миша. Но в Сергее Александровиче рыбная ловля будила охотничьи чувства, для Миши ценна была ее поэтическая обстановка. Он старался возбуждать в себе чувства охотника, ловца, много говорил о ловле, ее удаче или опечаливающей неудаче — но, в сущности, не это влекло его к реке, а то чувство слияния с природой, вживание в ее красоту, восприятие тишины роскошного летнего вечера или раннего туманного и росистого утра, которое переживается так сильно и почти исключительно во время рыбной ловли. Вслед за Мишей и «дяденькой Сережей» увлекались и мы, трое младших, рыбной ловлей, или, скорее сказать, нам казалось, что мы увлекаемся ею. Но и для нас суть была в обстановке рыбной ловли, а не в ней самой. И как непонятно было мне искреннее и глубокое огорчение Сергея Александровича, когда — это случалось так часто — приходилось возвращаться с реки с одной-двумя плотичками и парочкой ершей. Миша — тот относился благодушно, раскатисто смеялся над повторной неудачей, и нам это было ближе по душевным нашим переживаниям: ведь без этих несчастных попавшихся нам рыбок вечер был проведен так чудесно.

Сергей Александрович приводил нас на заранее намеченное им совместно с Мишей место, где-нибудь у ракитовых кустов, у тихой заводи, где, по его понятию, рыба должна была «непременно» хорошо клевать. Чаще всего это было за мельницей. Мы отправлялись на рыбную ловлю всей семьей, за исключением тети (ей рано по состоянию ее здоровья пришлось отказаться от прогулок) и наших воспитательниц, которым, наверное, этот отдых от своих обязанностей был приятен. Мальчики несли удочки и прочие принадлежности рыбной ловли. Сергей

Александрович нетерпеливо спешил с Мишей вперед. Мама с остальными шла гораздо медленнее и отставала намного от них. Мы с Колей успевали устанавливать связь между авангардом и арьергардом: то бежали за «дяденькой Сережей» и Мишей, то возвращались к маме и шедшей с ней рядом Лене, то отставали и от них, задержавшись на болотце с незабудками, и бегом догоняли их, а потом и шествовавших впереди. От мельницы до Москвы-реки небольшая полоса заливного луга — надо задержаться на нем: под косыми уже лучами солнца тут прыгает такое множество кузнецов, любимых Колей, с треском крыльев пролетают какие-то жесткокрылые, реют в воздухе тоненькие стрекозки с серыми, зелеными и бирюзовыми спинками, которых так легко изловить, схватив их осторожно за прозрачные узенькие крылышки, так красивы высокие травы и цветы, освещенные закатным солнцем, что невольно остаешься тут на некоторое время.

Но вот наконец мы прибежали к реке. На берегу, в некотором расстоянии от воды сидят в траве мама и Лена с книгой или работой в руках. У самой реки, около какого-нибудь ракитового куста, стоят Сергей Александрович и Миша с удилищами в руках. Наши удочки лежат на берегу. Для Сергея Александровича рыбная ловля — настоящее священнодействие: это видно по его сосредоточенному виду. И только на рыбной ловле он позволяет себе быть с нами нетерпеливым. «Не шумите, ради Бога, не шумите», — огорченным шепотом говорит он, когда мы в сотый раз забываем его просьбу не разговаривать громко, чтобы не отпугнуть рыбу. «Ну, вот опять вы: так рыба не станет клевать». — «Куда, куда вы? — раздается его нетерпеливый шепот минуту спустя, когда Алеша вскочил на ноги и, устремляясь к нему, перепутал ногами лесу у лежащих на берегу размотанных уже удочек. — И какие у вас ноги, — огорченно и возмущенно прибавляет он. — И как вы норовите всегда задеть». И мы стихаем, подходим к нему чуть ли не на цыпочках узнать, не поймали ли уже чего-нибудь. Потом мы забираем наши удочки и идем отыскивать себе подходящее местечко, где-нибудь в отдалении от наших главных рыболовов, чтобы можно было при случае перекинуться громко словом.

Чего я никогда не могла принудить себя делать — это насаживать червяка на крючок. Делали это за меня Алеша и Коля. Не любила я также, когда приходилось вытаскивать из жабр пойманной рыбы глубоко засевший в них крючок — это тоже делали за меня братья: мне было жаль и рыбу, и червяка. Но особенное наслаждение, ни с чем не сравнимое,

должна я признаться, давала мне минута, когда, бывало, поплавок вдруг исчезнет в воде и вытащишь быстро удочку, а на конце лесы блеснет на воздухе своей серебристой чешуйкой пойманная рыбка. И с таким же наслаждением я переживала этот момент, следя за поплавком чужой удочки. «Дяденька Сережа, клюет, клюет», — напряженным шепотом говорю я ему, не спуская глаз с его поплавка. Не отрываясь глазами от поплавка, он всем своим видом дает мне понять, что он сам видит это. И вдруг — быстрое движение его уверенной руки, и вот уже на прибрежной траве трепыхается с красными плавниками окунь. Редкая сравнительно добыча. Все сбегаются смотреть: нет конца восторгам. «А я говорил, что это такое место, где должны ловиться окуни», — заявляет «дяденька Сережа» и с приливом новой надежды закидывает снова удочку. Но надежда редко оправдывается: стоят, стоят наши рыболовы, а поплавок недвижимо покоится в воде. Или чуть дрожит на поверхности воды. Сергей Александрович вытаскивает удочку — сбегаемся снова к нему, но он с досадой удостоверяется, что рыба только объела червя. Ждем где-нибудь поблизости нового удачного взлета удочки и снова сбегаемся к трепещущей в траве рыбке. «Ершик! Какой он миленький!» — восклицаем мы. «Тише, тише, не шумите: распугаете рыбу», — полушепотом останавливает нас Сергей Александрович, не менее нас восхищенный. А тут и на Мишину удочку попалось что-то, и он, радостно улыбаясь, кричит: «Ерш, ерш!» Бежим к нему и опять любуемся ершащейся рыбкой. Потом несем его опустить в сетку для пойманной рыбы, привешенную к ветке куста и опущенную в воду. Дела, хлопот у нас много.

Но я любила также сидеть или стоять на берегу со своей удочкой, пристально следить за поплавком, волноваться надеждой, что вот он заколышется и разом уйдет под воду, не особенно огорчаться тем, что он остается недвижимым — и отдаваться душой красоте окружающего: красоте затихающей реки, темнеющих ракитовых кустов, неба, отражающего отблеск гаснущего с противоположного конца заката. Эти поэтические минуты, переживаемые на берегу реки, заставляли меня любить рыбную ловлю.

Были и моменты другого характера. Мы чувствовали себя свободнее в отсутствии наших гувернанток. Хотя они и не особенно стесняли нас, но мы отдыхали без их пристального надзора и заботливости. И, помню, какое громадное удовольствие доставляла нам с Колей возможность опускать у прибрежной мели кончики ног в воду без того, чтобы услыхать от Юлии Андреевны упрек: «Вы простудитесь, а я буду виновата». Водя-

ные струйки так хорошо набегали на песок и заливали выставленные вперед кончики башмаков, а потом так приятно было чувствовать, что ноги промочены — и ничего от этого не делается.

Но вот начинает сыреть. За рекой встает легкая дымка тумана. Пора домой. И в радостном возбуждении мы возвращаемся на дачу, к ожидающему нас чайному столу с ярко вычищенным самоваром, красивыми чашками, закусками и «заедками», как говорит Миша. И льются вокруг чайного стола рыболовные разговоры, передача впечатлений сегодняшнего вечера, объяснение неудачи, планы на будущее. И эти рыболовные разговоры, и все рыболовные принадлежности: удилища, поплавки, грузила, сетка для пойманной рыбы — мне нравятся, как нравятся живописные принадлежности Сергея Александровича: краски, кисти, палитра, мольберт — сами по себе, даже без отношения к тому, что ими производилось.

В те вечера, когда мы не отправлялись на рыбную ловлю, мы ездили кататься. Мы только кончаем обед, как уже слышится топот лошадей, подъезжающих к даче. Подают обыкновенно две коляски. Начинаются торопливые сборы. Тетя выходит на террасу провожать нас. Вот наконец разместились — и поехали.

Сначала медленно — по въездной в имение дороге, обсаженной старыми липами, так как она бывала плохо укатана, но с поворота на шоссе лошади пускались ровным, беглым шагом. Мама, которую несколько раз «носили» лошади, боялась быстрой езды и останавливала, к нашему огорчению, кучера. Но ничего не могла она поделать с нашим любимцем, кучером Петром. Он был для нас воплощением благородной силы и спокойной отваги. Светловолосый, с широким добрым лицом, могучий в плечах, он представлялся нам древнерусским богатырем. С ним не могло быть страшно, даже маме — до того умело и твердо он правил нашими вороными. Бывало, так и понесутся они по ровному, содержавшемуся в полном порядке шоссе. Такое огромное удовольствие: мы, дети, любили быструю езду. И любили кучера Петра, доставлявшего нам это удовольствие.

Одно у нас было огорчение, связанное с катаньем: мама никогда не любила открывать новые места и новые дороги. Это так противоречило нашим стремлениям видеть и узнавать новое. Приходилось довольство-

ваться тем, что давало катанье, а оно давало много, несмотря на то что мы ездили по многоезженным нами дорогам.

Катались мы большею частью в одном направлении: выезжали прежде всего по так называемому Ильинскому шоссе, мимо «тетиного леса» и стоящего на опушке его старинного здания театра[66], которое показывали так же, как и «большой дом», приезжим посетителям, мимо огорода и мельницы с ее поэтичным прудом. Тут начиналась замечательно красивая местность. Слева от шоссе, за узкой полоской цветущего луга, под глинистым обрывистым берегом вилась (в те времена) Москва-река, а на противоположном берегу в нее вдавалась широкая речная отмель. Далее простирался обширный заливной луг, ограниченный сведенным впоследствии лесом. Справа от шоссе поднимался косогор, на котором полосами разметались пашни и дальше кудрявилась густая березовая роща. Любила я этот кусок шоссе. Недалеко от деревни Глухово начинался проспект, обсаженный в начале своем высокими старыми березами в два ряда. За Глуховом проспект переходил в липовый. Прямой как стрела, он приводил к деревянным сквозным воротам Ильинского парка. Ворота эти были всегда закрыты, и въезд в них запрещен. Приходилось из проспекта сворачивать уже по проселку налево или направо. Свернув налево, мы проезжали мимо церкви по деревне Ильинское и спускались к Москве-реке. Через нее был перекинут плавучий мост. Он оседал под тяжестью экипажей, и справа и слева его заливало водой. Мама пугалась, а мы радовались: это было необычно, и как жаль, что заливало мало — хоть бы вода доходила до подножки коляски, вот было бы хорошо. За Москвой-рекой ехали большим низменным лугом — в стороне оставался лес, куда нас отпускали весной с тетей рвать ландыши, — и поднимались к Усову, тогда еще не бывшему имением великого князя Павла Александровича. Не помню, чтобы нам очень нравилось в Усове: нечего было там смотреть, и прогулки там нас не пленяли.

Если мы поворачивали вправо от ворот Ильинского парка, то проезжали мимо приемного покоя и аптеки (как все здания, принадлежащие к царскому имению, оно было окрашено в красную краску с белым), царской фермы (в Ильинском содержалось великолепное стадо породистых коров, белых с черными пятнами, которое мы постоянно встречали пасущимся близ липового проспекта), мимо живой изгороди Ильинского парка[67] — и за небольшим лесом въезжали в деревню Александровку. Мы иногда останавливались тут у знакомой крестьянки Верушки и пили чай. Верушка принималась за хлопоты: ставила самовар, выносила из избы

простой деревянный стол и деревянные скамьи куда-нибудь на воздух, «где приглянется», — чаще всего на край обрыва над Москвой-рекой, приносила кринку со стоявшимся молоком, с которого снимались густые-прегустые сливки. Мы с Колей бегаем за ней, помогаем ей нести посуду — и приятно нам слушать ее ласковую речь, обращенную на ходу к нам, видеть ее приветливую улыбку и добрый взгляд ее больших серо-голубых глаз. Мы побываем таким образом в избе, на дворе и на задворках, встретимся еще с другими членами Верушкиной семьи — и, помню, как в один из наших приездов в Александровку какие-то женщины показывали мне, как они молотят рожь, обивая снопы о поставленную перед ними скамью. Мы любили это чаепитие на воздухе в необычной обстановке — и вкуснее казался чай с густыми сливками и захваченные с собой сухари и «заедки»: мармелад, пастила или тянушки. Но особенно нравилось нам пить чай в Александровке. В самой деревне было что-то милое, симпатично веселое. Потом, тут был песчаный крутой обрыв над Москвой-рекой, с которого мы всегда сбегали вниз к реке, что доставляло нам всегда величайшее удовольствие. Трудно было потом взбираться на кручу по обсыпающемуся под ногами песку — но нам доставляло это карабканье еще больше радости. К лужайке у обрыва подходила сетчатая изгородь Ильинского «зверинца» — и это тоже привлекало нас к Александровке. Верушка водила нас к изгороди и звала: «Леночка, Алеша, идите, идите сюда», — и на эти человеческие имена откликались прелестная лань и пятнистый оленчик. Они подбегали к самой изгороди, смотрели на нас своими умными красивыми глазами, протягивали к нам свои мордочки. Невдалеке прохаживался павлин, и Верушка учила нас просить его: «Пава, пава, покажи хвост». Исполнение этой «просьбы» приводило нас в неописуемый восторг.

Но в веселую Александровку, к ласковой и приветливой Верушке мы заезжали сравнительно редко. Обыкновенно мы проезжали через деревню — при этом Верушка часто высовывалась из окна своей избы и кланялась нам с обычной ласковой улыбкой — и ехали дальше, в Петровское, имение князя Голицына. Мы ездили туда чаще всего: Петровское нравилось нам, и мы получали от владельцев раз навсегда разрешение гулять в парке.

Из Александровки проселок тянулся открытыми местами, ржаными и картофельными полями — здесь небо широко разливалось над землей, тут был простор полей, красота васильков, прячущихся среди колосьев, торжественное великолепие осенних закатов. Тут я в первый раз во

ржи увидала залом[68] — и Миша объяснил мне его значение, придавая, как всегда в таких случаях, таинственность своему голосу, а с козел отозвался и кучер Петр и подтвердил, что залом завивают недобрые люди и что, если коснуться его, станешь сохнуть.

Деревня Петровское вытянулась по обеим сторонам проезжей дороги. Она отличалась среди окрестных деревень прочностью и красотой своих изб. Избы были украшены резьбой по фронтону, сквозной и тонкой, которую заставлял нас замечать Сергей Александрович. За деревней — въезд в усадьбу. Коляски останавливаются у входа в парк.

Парк в Петровском не имел ничего общего с торжественным великолепием Архангельского, но в нем чувствовалось себя хорошо, свободно дышалось и бегалось. Ни один из тех парков при имениях, которые мне приходилось видеть впоследствии, я так не любила, как этот, — и гораздо позднее я в одном из сочиненных мной романов описала его.

От скромной калитки при решетчатых деревянных воротах парадный въезд к дому владельцев был несколько дальше, но мы избегали, не желая быть назойливыми посетителями имения, проходить около дома — оттого он, белый, монументальный, мало остался у меня в памяти, — шла дорожка к церкви, окруженной деревьями парка. Если шла в ней всенощная, мы заходили в нее ненадолго. А потом шли к так называемой «китайской» беседке, деревянному открытому зданию, как бы висевшему над крутым песчаным обрывом над Москвой-рекой. Отсюда открывался красивый вид на раскинувшееся на противоположном берегу реки село Знаменское с белой церковью. Полюбовавшись видом, мы с Колей и тут сбегали с обрыва к реке и поднимались по круче, пока остальные сидели в беседке, мы шли дальше, углубляясь в парк.

Парк в Петровском представлял из себя участок леса, в котором были разбиты в разных направлениях дорожки. Он нравился мне именно этой близостью своей к природе. Между высокими деревьями разросся подлесок, росла густая трава и цвели крупные бледно-лиловые лесные колокольчики. Потом красой парка были две реки, к которым он подходил вплотную: Москва-река и Истра, впадавшая в нее у одного из концов парка, прямо против села Знаменского. Мы, дети, любили прибегать на это место слияния двух рек: мы видели тут воочию географическое явление, и оно казалось нам важным. Так как мы при этом удалялись на довольно значительное, с нашей точки зрения, расстояние от старших, нам казалось, что мы — путешественники-исследователи.

Неизменной целью наших прогулок в парке была каменная, на колоннах, сквозная беседка над рекой Истрой, недалеко от ее впадения в Москву-реку. Берег был здесь крутой, обрывом падал почти к самой воде — по крайней мере так казалось сверху. По склону обрыва была проведена дорожка, а наверху, перед беседкой были поставлены деревянные скамейки, с тем чтобы можно было, сидя на них, любоваться видом. А вид отсюда открывался великолепный. Внизу протекала река, обрамленная кустами лозняка, образуя на изгибе своем песчаную отмель. За ней — обширнейший заливной луг. За лугом — село Дмитровское: большое серое пятно домов с белой церковью посреди — обыкновенно в этот час на фоне роскошного заката. Роскошный поистине закат: как широко он разливался по небу, в каком великолепии горел на небе, потом мерцал и тихо потухал наконец. Не забыть мне этого торжественного заката, того тихого, мирного настроения, которое я переживала перед лицом его — может быть, оттого, что впечатление это часто повторялось. Долго мне казалось, что нигде я не видала такого чудного заката. Мы убегали от старших в сторону, искали на склоне обрыва растущий здесь плаун (в Архангельском мы его не находили), ловили майских жуков (их почему-то водилось великое множество на нескольких росших невдалеке старых березах), но потом мы возвращались к скамейкам перед беседкой, к тихим беседам старших, к созерцанию заката. И казалось мне, что там, на небе, совершается что-то чудесное, что льется огненно-золотистыми лучами, протянувшимися через весь широкий луг прямо в душу.

Около этой беседки в Петровском я пережила одно впечатление, почему-то глубоко врезавшееся мне в память. Я была очень мала еще, лет семи, наверное, — не более восьми, во всяком случае. В Архангельское приехали к нам в гости Боткины (в Архангельском жила на даче и сестра С.С. Боткиной — Варвара Сергеевна Прохорова). Гуляли вместе большой компанией по парку, осматривали «большой дом». Между прочим, тут я впервые попала в знаменитую библиотеку с деревянной статуей (куклой) Руссо, сидящего за столом с книгами, и богатое собрание старинных экипажей. Вечером в нескольких экипажах поехали всем обществом в Петровское. Нас с Колей взяли с собой, потому что среди приезжих гостей был и Петя Боткин[69]. В Петровском был храмовый праздник — помнится, праздновали Тихвинскую Божью Матерь[70] 26 июня, когда владельцы имения разрешали крестьянам окрестных дере-

вень гулять по парку. Направляясь к беседке над Истрой по широкой прямой дорожке, обыкновенно совсем пустынной, ведущей к ней, мы встречали группы разряженных крестьян. В беседке и на скамейках перед ней мы застали многолюдное собрание крестьянских девушек и парней. Д.П. Боткин после краткого разговора с ними попросил их поплясать. И по тону, каким он упрашивал их (девушки конфузились и не хотели сначала), я поняла, что он относится к этой забаве простолюдинов с серьезным интересом. И, может быть, это-то и заставило меня быть внимательной к не виданному мной ранее тогда зрелищу. Может быть, повлияло на меня то чувство эстетического наслаждения, которое несомненно переживал Дмитрий Петрович, — остальные глядели более или менее равнодушно, но и я пережила минуты художественного наслаждения. Мало того, я неожиданно для себя — и в этом было что-то необычайно приятное своей неожиданностью и новизной — проникла как-то в суть пляски: пляска может быть и выражением переживаемого чувства. Плясали, помню, две девушки особенно хорошо, потому что плясали выразительно. Они выражали переживаемое ими движениями, мимикой лица. Одна из них, помню, в малиновом, городского покроя платье и в шелковом белом платке на голове, со смуглым узким лицом бесспорно, казалось мне тогда, выражала грусть, ожидание чего-то — опущенными в землю глазами, сжатыми губами, движениями плавными опущенных вдоль тела рук, тем, как она двигалась по кругу, ритмически выставляя чуточку носок правой ноги из-под подола платья. Это было так хорошо исполнено — и Дмитрий Петрович горячо выражал свое одобрение больше всего ей. Это было неизгладимое впечатление, давшее толчок моей мысли: в пляске народной есть художественность — следовательно, к ней надо относиться серьезно, с вниманием и любовью. За это я осталась благодарной Д.П. Боткину.

Ездили мы также кататься и пить чай в село Никольское-Урюпино. Останавливались у ближайшей к церкви избы, где жил славный и тихий мальчик Митя, пили чай под красивыми пушистыми елями, росшими около самого храма. Красив был этот древний храм, построенный в XVII веке, и красиво сочеталась темная зелень елок с густо-красными стенами его. Вплотную к деревне подходила усадьба князей Голицыных с интересным, как я слышала, домом и парком. Но я не помню их, потому что очень редко бывали там. Помню только, что раз один мы осматривали дом в отсутствие его владельцев и меня поразила пробоина в стене одной из парадных комнат. То в 1812 году французы штыками

пытались разворотить стену, ища замурованных будто бы в нее ценностей. Помню, с каким чувством благоговения, как перед историческим воспоминанием, я стояла перед этой пробоиной.

Было еще одно место, куда мы ездили кататься, хотя изредка: это было Губайлово, не помню, чье имение. Оно стояло в запустении. Дом, большой и, наверное, бывший роскошным, стоял выгоревший, без крыши, с зияющими окнами и пролетами дверей. На стенах росла трава и молоденькие деревца. Щемяще грустное чувство вызывало в моей душе Губайлово. Разрушение, запустение повсюду. Какой-то мистический страх вставал во мне. Я была бы страшно несчастна, если бы мне пришлось жить тут, поблизости от этого дома, разрушенного стихийной силой. Все мне здесь казалось печальным. И иногда мне кажется, что я унесла на всю жизнь воспоминание о губайловской печали и она давит мне сердце, когда я о ней вспоминаю.

Между уроками, прогулками, катаньем мы находили еще время играть. Мы с Колей мало находили удовольствия в обыкновенных детских играх: как-то само собой исчезли из нашего обихода игрушечная тачка, грабли и лопата, — если мы работали у себя в саду, мы брали орудия взрослых и гордились тем, что можем работать тяжелым заступом, — обруч для катанья и серсо. Мы играли в войну: бегали с палками, сражались с крапивой, стреляли из самодельных луков. В кустах спиреи в нашем дачном саду мы проделали ряд ходов, и были у нас там среди подрубленных нами ветвей склады оружия — больших и маленьких палок: «копий» и «стрел». Во время русско-турецкой войны, которая захватила нас, как и всех вокруг, мы рыли траншеи, делали насыпи — «крепости» и называли их именами крепостей, фигурировавших на войне. Но, в сущности, игра была у нас одна: мы играли в «красных разбойников».

Эта игра была придумана Мишей, когда он еще играл, а я была совсем маленькой. Помню, раз сидим мы с тетей на ступеньках «маленькой террасы» и видим вдруг: по дорожкам сада двигается шествие — впереди Миша, за ним Лена и Алеша. Все они в полном вооружении, Лена бодро несет флажок. Миша командует, они молодцевато маршируют. Они проходят мимо нас и шествуют к «большой террасе» показаться маме. Что, что это такое? Оказывается, они «красные разбойники», и Миша их атаман. Оказывается, они живут обособленно от других людей, там, за кустами, обрамляющими сад больших, они — вне общества,

живут по своим законам и обычаям, и у каждого из них вымышленное условное имя. Миша — атаман Налет, Лена зовется Вороном, Алеша — Орлом. Они очень хорошие люди, совершают только благородные поступки, они беззаветно храбры и мужественно переносят всякую боль. Они связаны клятвой не нарушать тайн своего разбойнического товарищества. Почему они «красные» — осталось для меня невыясненным.

Какая увлекательная игра! Как это хорошо придумал Миша. Всегда-то он придумает что-нибудь особенное. И нам с Колей сделаться бы «красными разбойниками». Но нас не приглашают вступить. Проходит несколько дней, когда воображение целиком занято «красными разбойниками». И вдруг я узнаю: Колю позвали, Колю приняли в «красные разбойники». Он зовется у них Лебедем. А я? Меня не позвали участвовать. Горькая, горькая была мне обида. Я положительно мучилась и страдала.

На следующий день мы пошли всей семьей «пить чай», как говорили тогда (в детстве я не слышала слова «пикник») в деревню Иванково. Старшие шли ровным шагом вперед, неся с собой корзинки и плетенки с провиантом, а мы, дети, бегали вокруг них, то опережая их, то отставая и снова догоняя их. Помню, среди цветущего луга ко мне подбежал Миша и ласково, как всегда, что-то сказал мне. И я вдруг решилась. Робея, стыдясь просить — мне бывало так трудно делать это, — я, прижимаясь к нему, выговорила ему свое заветное желание: нельзя ли и меня принять в «красные разбойники»? И все оказалось так просто. Миша ответил, что это вполне возможно, что это будет даже очень хорошо. «Только какое у тебя будет имя? Вот, я придумал. Ты будешь называться Летуном. Летун, Летунчик», — радуясь своей выдумке, сияя ласковой улыбкой, говорил он. «Когда тебя будут посылать передать какую-нибудь весть, ты будешь делать это скоро-скоро. Хорошо? Тебе нравится: Летун?» Я была преисполнена важностью минуты: я не только стала «красным разбойником», у меня будут определенные обязанности. До сих пор помню чувство неимоверной радости, испытанной мной тогда. И вся прогулка этого дня ознаменовалась для меня этим радостным чувством. Деревня Иванково стояла на извилистом ручье. Мы бегали около него, братья перескакивали с одного берега на другой, а меня Миша брал под руки и быстро переносил через воду, так что выходило, как будто бы я перелетала через ручей, — и всякий раз он, смеясь своим ласковым, добрым смехом, восклицал: «Летун! Летунчик!» Мне

было необычайно приятно: чувствовать его ласку, «летать» через ручей и сознавать себя в числе «красных разбойников».

Первой вышла из состава «красных разбойников» Лена. Лена почти весь день проводила с мамой, за чтением или рукодельем. Отошел вскоре и подросший, увлекавшийся более серьезными интересами Миша. Атаманство свое он передал Алеше вместе со знаком своего атаманского достоинства: большой, толстой дубиной, такой тяжелой, что я с трудом могла поднять ее в воздухе, на которой было вырезано слово: «Налет». Впрочем, мы почитали старшим атаманом все-таки Мишу и к нему обращались в затруднительных случаях за советом.

Новым своим атаманом — Орлом — мы были как нельзя больше довольны. Нельзя было желать лучшего. Он был храбр, смел и отважен до бесконечности, он учил нас правилам чести и благородства, и он знал, как должны поступать в отдельных случаях «красные разбойники», чтобы не опозорить своего великого звания. Он учил нас, как владеть оружием — палками всех размеров, как надо ничего не бояться и выносить всякую боль, не жалуясь. Мы были в этом отношении хорошими учениками его. Помню, раз, роя «траншею», он нечаянно ударил железным заступом по моей руке, которую я, отгребая землю, не успела вовремя отнять. Кровь брызнула и напугала прежде всего самого атамана, но я не показала никакого волнения, и мы, с общего совета, присыпали ранку сухой землей и залепили ее пыльной паутиной. Так и не подняли мы никакой тревоги среди взрослых. Мы гордились своей выносливостью и, развивая ее в себе, гордились ею.

Атаман Орел подал необычайно понравившуюся нам мысль об устройстве особого жилья для «красных разбойников». Конечно, им подобало жить в палатке или шалаше. Осуществили палатку. Под любимой нами черемухой было отведено нам место. Тут мы соорудили себе палатку: остов из толстых ветвей акации был обтянут белым коленкором, который нам пожертвовала мама. В эту палатку мы залезали втроем и чувствовали себя «у себя» — и это было особенно приятное чувство. Тут мы съедали сладости, всунутые нам в руку Дунечкой, и они нам казались особенно вкусными. Тут хранилась палица атамана и наше оружие. Перед черемухой была расчищена четырехугольная площадка — и она отошла в наше владение. На ней происходили военные упражнения. И тут же была устроена кухня «красных разбойников»: три кирпича, поставленных ребром в виде буквы П. На них мы варили себе варенье в копе-

ечных жестяных кружечках, купленных нам мамой на ярмарке в Петровском. В одном углу площадки воздвигнут был высочайший шест с развевающимся на нем красным флагом — флагом «красных разбойников». Он должен был быть — так объяснял нам Алеша — совсем красным, но такого куска материи в доме не оказалось и пришлось удовольствоваться куском красного ситца с мелкими по нему белыми звездами. Их, по нашему мнению, на такой высоте не было заметно, и флаг должен был представляться всем просто красным. Шест этот с флагом был нашей гордостью. Вытесать его и водрузить помог нам любимый нами Салфеткин — артельщик, служивший у папы и живший по летам у нас. Это был человек на все руки, умелый на все, готовый оказать всякую возможную услугу, — тип рассудительного, умного великорусского крестьянина. К нему мы, дети, прибегали за советом и помощью. Он же помогал нам сооружать нашу палатку, и он же вытесал тяжелую атаманскую палицу. Образ Салфеткина я сохранила в памяти с большой благодарностью за всю ту разумную ласковость, с которой он относился к нам, детям. Кроме того, своим умом, сметливостью во всяком деле, готовностью всем помочь он внушал к себе уважение.

В этой игре в «красные разбойники» мы с Колей воспринимали в сильной степени влияние Алеши и через него косвенно его гимназической жизни. В ревельской гимназии того времени царил совсем иной дух, чем в московских, и гимназическая жизнь наших старших мальчиков протекала совсем иначе, чем немного спустя жизнь Коли. В Ревеле в гимназическом строе царило гораздо больше свободы. Гимназисты не были вымуштрованными, тепличными растениями, проводившими все время лишь в гимназии и дома. Ревельские гимназисты и во время перемен между уроками свободно рассыпались по городу, бегали в гавань и знакомились с ее жизнью. Дисциплина, разумно поддерживаемая умным и опытным директором Гальнбеком (как и уважение к учителям), от этого нисколько не страдала — напротив, только легче было ей подчиняться, когда предоставлялась свобода осознать ее необходимость и пользу. Большая свобода обязывала — и ревельские гимназисты высоко держали знамя своего учебного заведения. Они и играли некоторую роль в городе, как представители единственного в то время в нем среднего учебного заведения высшего порядка. Гимназия тяготела к Юрьевскому (тогда Дерптскому) университету[71]: многие из учившихся в ней мечтали поступить туда по окончании курса, и это придавало ореол гимназистам.



В.Н. Харузина



Н.В. Харузина, В.Н. Харузина и Е.Н. Харузина (слева направо)

М.Н. Харузин

Н.Н. Харузин



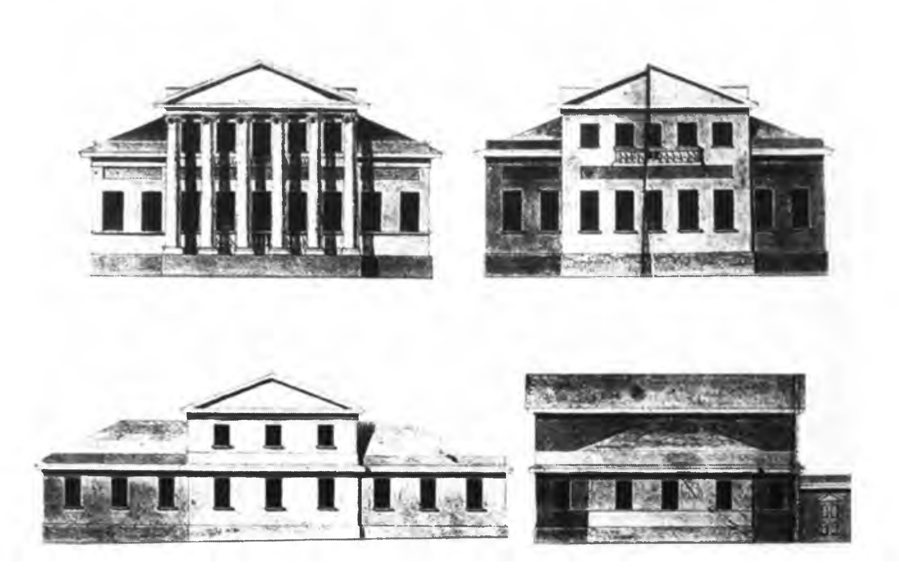
А.Н. Харузин



А.Н. Харузин и Н.В. Харузина



Панорама Замоскворечья



Эскизы фасадов дома Харузиных в Борисоглебском переулке
(вариант с колоннами — первоначальный вид до реконструкции)

Внешний вид дома Харузиных

Гостиная в доме Харузиных

Кабинет в доме Харузиных

Будуар М.М. Харузиной в доме Харузиных

Терраса в доме Харузиных (на дальнем плане — М.М. Харузина)



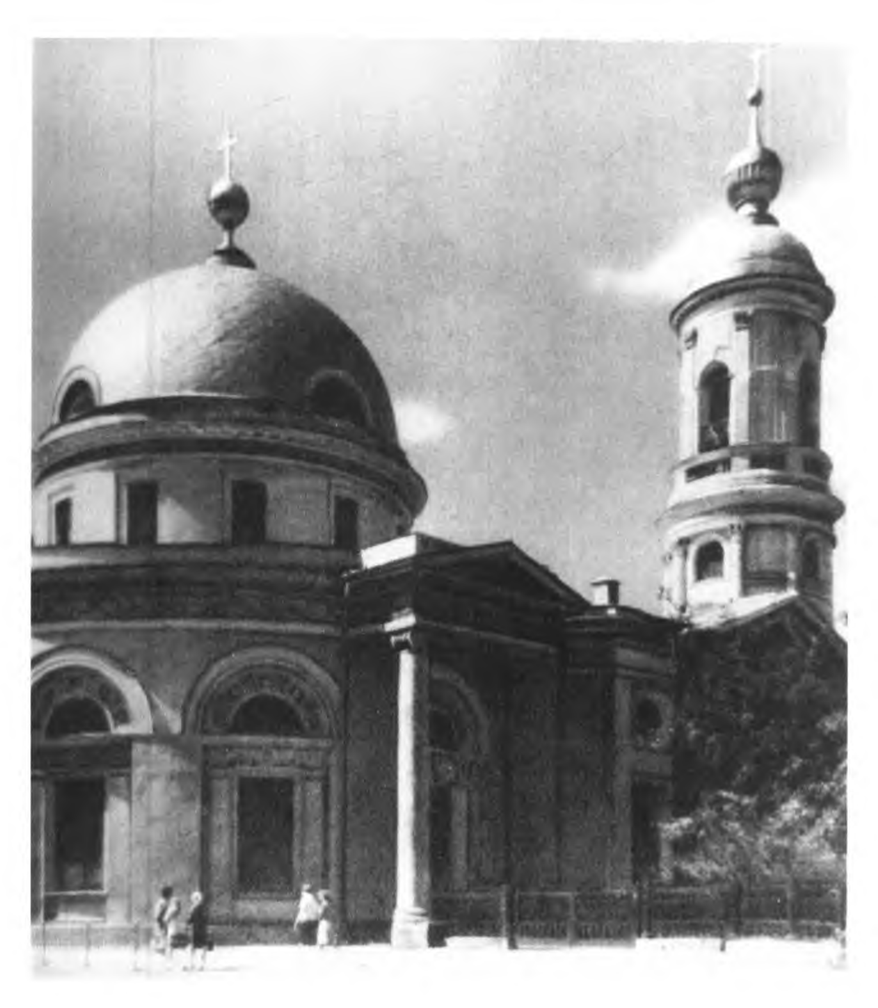
Новый собор Донского монастыря. Современный вид



Церковь Климента, папы Римского. Современный вид



Ново-Девичий монастырь. Современный вид.



Церковь Богоматери “всех скорбящих радость”.
Современный вид

Дворец в Архангельском. Современный вид



Сад в Архангельском. Современный вид

Гимназия С.Н. Фишер

С.Н. Фишер

Интерьер гимназии С.Н. Фишер

Молельня в гимназии С.Н. Фишер



В.Н. Харузина

Среди гимназистов царил дух молодечества. Ценилась храбрость, удальство. Гимназисты уходили далеко за город, далеко уплывали в лодках в море, катались на коньках по морскому льду. О различных «подвигах» Алеши и его товарищей мы слушали с увлечением, иногда с трепетом. Алеша был одним из первых по бесстрашию и удали — и мы гордились этим. Однажды он с другими мальчиками взобрался на колокольню святого Олая[72] — она очень высокая — и на глазах у них проделал следующее гимнастическое упражнение: встав на парапет балкона, он медленно согнул одну ногу в коленке, а другую опустил над бездной. Он мог это сделать потому, что был превосходным гимнастом и не страдал от головокружений. В другой раз они отправились целой компанией за город, к развалинам монастыря святой Бригитты[73]. Развалины представляли из себя стены с сохранившимся одним высоким крутым фронтоном. Гимназисты часто посещали эти развалины, причем считалось молодечеством взобраться по крутому ребру фронтона на верхнюю его точку. Алеша и на этот раз полез наверх, но на полдороге у него из-под ноги выпал камень, ноги поскользнулись — и он повис на руках. Страшная минута — он помнил, что ему ясно представилась мысль: внизу у самых стен развалин было современное кладбище: «Вот сейчас и мои кости будут лежать там». Он был уверен в своей неизбежной гибели, но сделал еще неимоверное усилие — и нашел ногой место, где уцепиться. Он был спасен. Первой его мыслью было тотчас же спуститься на землю, в безопасное положение. Но он не поддался искушению и полез дальше, к высшей точке фронтона, заслужив восхищение со стороны товарищей. Свободный дух ревельской жизни, возможность свободно проявлять свои силы и способности, доказывать свою храбрость чрезвычайно пленяли меня. Привлекателен был и дух товарищества, чести и благородства, который культивировался в ревельской гимназии. Окрашенной героическим налетом казалась мне жизнь наших старших мальчиков в Ревеле — и отблеск от этой героической окраски падал летом и на нашу жизнь с Колей в наших играх.

Какие у нас были еще забавы и развлечения, вносившие разнообразие в нашу правильную, размеренную жизнь? Об устройстве купальских костров я уже говорила. Большое удовольствие доставляло нам также устройство иллюминации. Это тоже была выдумка Миши. С ранних лет

помню я его клеящим фонарики из цветной бумаги. И было так интересно видеть, какой эффект производит знакомый в клейке фонарик, когда внутри его зажжется свечка. Позднее фонарики покупались. Они были красивее, изящнее, но не представляли такого интереса, как самодельные, в которых проявлялся личный вкус, иногда прихотливый, Миши. Помню, например, один фонарик его, приведший меня в восхищение, — оранжевый с крупными чернильными пятнами на нем, напоминавший мне шкуру леопарда.

Иллюминацию устраивали у нас несколько раз в лето. Она была, в сущности, очень скромной, настоящей детской забавой. Мальчики устанавливали в саду шесты, от шеста к шесту протягивали веревки, на которые навешивали фонарики. Из боязни пожара мама не позволяла вешать фонарики на террасе. Фонарей было сравнительно немного, что не мешало Алеше и Коле принимать с крайней важностью на себя обязанности пожарных на случай, если бы какой-нибудь фонарик загорелся. Удовольствие поэтому было для них сугубое. Миша пытался было расширить «иллюминацию»: он привез с собой из Ревеля фейерверк и пустил перед нашими восхищенными глазами прекрасно удавшуюся «шумиху», но мама, так боявшаяся огня, просила не возобновлять фейерверка. Алеша, со своей стороны, придумал пустить самодельную ракету. Эту ракету он долго мастерил перед нами, а мы с Колей с почтением и уважением следили за его работой. Ракета состояла из коротенькой палочки, в верхней части обмотанной белой бумагой в несколько рядов, между которыми очень искусно были привязаны веревочкой ряды серных спичек (тогда были еще в ходу серные спички). Ракета была привязана к колышкам, воткнутым в землю на площадке перед черемухой. Когда настала торжественная минута пускания ракеты, Алеша поджег ее. Она, конечно, не полетела, но стала гореть, распространяя зловонный запах, но и это было нам удовольствием.

Лучшая и самая большая иллюминация полагалась у нас на мамины именины, 22 июля. Мамины именины — это было всегда такое большое торжество. Еще накануне приезжал папа, и утром шли всей семьей в церковь, где после обедни служили молебен. Андрей Климович в сопровождении двух подведомственных ему садовников — он шел чинно впереди, они следовали за ним — приходил поздравить «с днем ангела», неся в руках букет. Букет этот имел вид круглой тарелки с несколько выдающимся центром, в который неизменно была втиснута роза. Вокруг нее концентрическими кругами были расположены плотно прижа-

тые друг к другу другие цветы. Это чудо садовнического искусства вызывало нашу критику и никому не нравилось. Но, конечно, никто не решился бы и виду подать Андрею Климовичу, тем более что он, очевидно, следовал уже отжившей тогда моде, — по крайней мере, мне приходилось видеть такие букеты на старинных иллюстрациях. Во всяком случае, во всех букетах того времени, даже букетах полевых цветов, в расположении цветов соблюдалась симметричность, что придавало букету некоторую искусственность. Приходили кроме Андрея Климовича и садовников поздравлять именинницу и другие лица, что-нибудь работавшие на даче у нас, нищие и бедные женщины с детьми, выпрашивавшие чего-нибудь старенького и никогда не уходившие с нашей дачи с пустыми руками. Все они подходили к «маленькой террасе» и получали щедрое даяние. Позднее, днем приезжали и приходили с соседних дач гости. Было шумно, весело, было много цветов, обильное угощение, много сладкого и фруктов. Царило праздничное настроение. А вечером, когда оставались в своей семье, устраивали иллюминацию.

Папины приезды на дачу радостно волновали нас и вносили в жизнь оживление. К сожалению, папа не был у нас таким частым гостем, как бы мы ни желали. В начале лета он ежегодно уезжал в Кеммерн[74] лечиться, так что пол-лета мы не виделись с ним. Тем радостнее было свидеться снова. Он приезжал к вечеру и оставался на сутки. Свое время он делил между нами всеми: сидел с мамой и старшими детьми, с тетей, с нами, младшими детьми. Он также играл с нами — и как бывало тогда весело. Он бегал за нами, ловил нас — и радостно бывало, когда убежишь от него в свой «дом» и счастливой чувствуешь себя, когда окажешься пойманной и в плену, в его ласковых объятиях. Он удивительно чутко умел относиться к детям. Раз в один из своих приездов он затеял на «большой террасе» «войну» с Колей. Коля сражался своей игрушечной саблей, а он оборонялся руками. Коля, как бывало с ним во время игры, вошел в азарт и вдруг, размахнувшись неосторожно, рассек папе веко. Можно себе представить, какой поднялся переполох, как обрушились все на Колю. Мама в пылу гнева сломала злополучную саблю и забросила ее в кусты. Но папа — каким несчастным он казался мне с перевязкой на глазу, как я боялась за него — понял, что Коля несчастен и все выгораживал его перед другими, успокаивал его, ласково простив. Горячей любовью к нему лишний раз залилось за это мое сердце.

Мы с Колей не упускали случая просить папу почитать нам вслух, как он делал это зимой. И он, улучив свободную от разговоров с другими

минуту, садится с нами на «большой террасе» и читает нам большею частью любимого нами Лермонтова. Хотя подсаживались слушать и другие — ведь папа читал стихи мастерски, — мы ужасно гордились, что папа читает собственно для нас, что он в данном время — «наш». Какое наслаждение мы получали! Он любил читать нам «Купца Калашникова», «Спор» и «Свидание», также некоторые мелкие стихотворения, как, например, «Кинжал». Мы знали все эти стихотворения наизусть, но слушали их в чтении папы с неизменным интересом. Мы знали привычную интонацию. Мы знали, например, как он скажет: «А, это ты, злодей», и что сделается страшно, точно вот-вот сейчас совершится что-то, и кто-нибудь из присутствующих вскрикнет: «Страшно». Мы знали, каким голосом будет говорить купец Калашников и как ему будет отвечать Алена Дмитриевна. Но это увеличивало силу наслаждения. В декламации в то время избегали всякой напыщенности, не читали стихов нараспев. Наоборот, стремились к наибольшей естественности и силе выражения. Это не вредило музыке стиха.

Разнообразие в нашу жизнь вносили до известной степени частые сравнительно поездки мамы со старшими детьми в город. Без них становилось скучно, день тянулся медленно — зато какое веселье было встречать их, слышать снова их смех, расспрашивать их о виденном ими и слышанном. Иногда они не ограничивались побывкой однодневной в Москве, но предпринимали поездку в Троице-Сергиевскую лавру — «к Троице», как было принято говорить. Нас с Колей с собой не брали из-за сложности передвижения — а как нам хотелось туда. «У Троицы» было, по рассказам старших детей, так много интересного, и сама лавра, говорили, была так красива. «От Троицы» привозили всегда такие особенно вкусные просфоры — освященные, от которых тетя давала нам по кусочку натощак перед утренним чаем, и непременно одну или две очень больших просфор, неосвященных, которые можно было есть вместо хлеба. «У Троицы» можно было купить разные мелкие интересные вещицы: грибки деревянные и разные игрушки. Мама перед отъездом спрашивала: «Что тебе привезти от Троицы?» — и я неизменно просила: «Грибочек и ваньку-встаньку». Грибочки были разные, очень изящные, другой формы, чем те, которые изготовлялись в посаде позднее. Ваньки-встаньки были тоже иные — очень маленькие, почти крошечные, с свинцовым донышком, прилепленным снаружи, и намалеванным лицом без туловища. Но

мама привозила также разные глиняные поделки: кружечки и т.п. — помню пленявший меня долгое время глиняный кузовок, воспроизводивший плетеные стенки с глиняными же грибками на снимавшейся крышечке, тряпичные мячи с положенными внутрь сухими горошинами, расшитые по поверхности разноцветными тряпочками и блестящей канителью. Все это нравилось нам чрезвычайно — и таким образом до нас доходила струя народного искусства.

Удовольствий, как видно из предыдущего, было много в летней нашей жизни. Мы были всегда оживленные, деятельные: постоянно работала мысль, отзываясь на живо воспринимаемые впечатления, откликалось на них и чувство. Но самым большим из летних удовольствий для нас были наши поездки в Аносину пустынь, в Новый Иерусалим и в Саввин монастырь[75].

Мы уезжали на два-три дня или в один из этих трех монастырей, или соединяли в одно посещение два из них. Уезжали с удочками, ботанизирками, папками для сушки растений, книгами для чтения и с обильным провиантом. Для нас, младших детей, эти поездки имели особую ценность: так как тетя и наши воспитательницы оставались дома, мы вели в эти дни самостоятельную жизнь. И я гордилась тем, что мне поручалась женская забота о Коле в эти дни, гордилась своим дорожным мешком, в котором сложено было белье для него и для меня, на всякий случай иголки, нитки, пуговицы и крючочки с петельками, а также на всякий случай капли Иноземцева. Нас брали с собой, но мы не должны были никому падать в тягость.

Сборы и приготовления к поездке и радостно возбужденное настроение начинались за несколько дней. Сергей Александрович с Мишей отправляются в лес за новыми удилищами. Они не забывают срезать удилища полегче для Коли и меня. Потом начинается уделывание удочек на террасе, сопровождаемое рыболовными разговорами. В предвкушении любимого удовольствия, окрыленный надеждой, что на реке Истре рыба будет ловиться лучше, чем на Москве-реке, Сергей Александрович в веселом расположении духа. Мастеря удочки, он с удовольствием отвечает на наши вопросы, что вот эта большая удочка — на живца, что они с Мишей поставят ее на ночь и что, может быть, на нее поймается щука (ни одной щуки они никогда не поймали), что эта небольшая удочка — для Блондина, что ерши ловятся в таких-то местах, а пескари — в

таких-то, и т.д. и т.д. Миша проглядывает свой рыболовный дневник, в котором значится обыкновенно: «Такого-то числа: пескарей — 1, ершей — 3, плотвы — 1». «Такого-то числа: пескарей — 2, ершей — 1, плотвы — 1» и так далее в том же роде. Миша тоже предвкушает удовольствие записать более богатый улов. Мы разделяем надежды Сергея Александровича и Миши, хотя они нас обманывали сколько раз, и тоже предаемся мечтам.

В день отъезда на даче царит необычайное оживление. И что нам за нужда бегать из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестнице, из дачи в сад и из сада на дачу? Но нам кажется, что мы бегаем за каким-нибудь серьезным делом. Раза три, между прочим, забегаем на черное крылечко дачи, где хранится вакса, и усердно, поплевав на щетку, ваксим уже вычищенные с утра башмаки. Ведь там, в монастыре, они не будут чиститься, надо поэтому наваксить их как следует. Скажу, что предавалась я этому занятию с наслаждением, которое увеличивалось сознанием вымышленной необходимости в нем. Забегаем к Дунечке, в ее чулан с провизией, получить от нее чего-нибудь «на дорожку». Прощаемся с палаткой «красных разбойников» и поручаем ее и наше оружие вместе с атаманской палкой попечению тети. Не дождемся, когда наступит минута отъезда.

Наконец подают экипажи. Шумное прощанье — с тетей, Дунечкой, гувернантками, шумное рассаживание. Лица у всех сияют, глаза блестят.

Мы ездили в эти поездки по-разному, смотря по числу участников: в последние годы с нами ездили гостившие у нас на даче А.И. Жеребцов и М.М. Панов. Ездили в двух колясках, а иногда принанимали телегу и тележку. Ехать в телеге, причем сопровождавший нас владелец ее Петр из деревни Гальево разрешал нам, маленьким, править самим под его наблюдением, было особенным удовольствием. И Миша с Леной любили ездить вдвоем в тележке, править самим. Так и слышится мне дребезжание их тележки вслед за нашим цугом по каменистому шоссе и веселый смех Миши, возникавший по самым разнообразным причинам. И всегда мы мечтали: когда же мы вырастем настолько, что поедем так же самостоятельно, вдвоем, в тележке. Но и в коляске ехать в Аносино было дивно хорошо. Так и хочется крикнуть, как нам весело и хорошо, и рыжеволосому Давиду, и мельнику, когда мы проезжаем мимо шумящей мельницы и мельничного пруда, и тем беловолосым ребятиш-

кам, которые всякий раз, когда мы, катаясь, проезжаем мимо Глухова, выбегают на дорогу и криками провожают нас.

От Глухова поворот вправо, в гору, глинистую, изрытую дождевыми потоками. До сих пор мы катили по шоссе, как обычно во время катаний, — с этого поворота как будто начинается настоящее наше путешествие. Интерес увеличивается, когда мы проедем село Никольское-Урюпино: пойдут сравнительно мало знакомые нам места. Выезжаем на тракт, обсаженный с обеих сторон старыми мощными березами, — и вот скоро деревня Озерки с большим озером и торфяным болотом. Сюда ездили как-то раз Сергей Александрович с Мишей ловить рыбу на озере — и улов их был необычно удачен. Но Миша привез с собой из Озерков не одни рыболовные разговоры — он рассказал нам про чудеса торфяного болота: про мшистые кочки, трясущиеся под ногами, про пятнами растущие кусты голубики — «ты знаешь, это сестрица черники», про росянку, цветущую так нежно, но губящую осевшее на ее листик насекомое (мне это казалось чудовищным), про стелющуюся по кочкам клюкву с такими хорошенькими мелкими листочками и розовенькими цветами — «такую же миленькую, как ты» (с нежной ласковостью закончил он). Вот почему нас манило к себе это озеро, окруженное низкими и топкими берегами. За Озерками недалеко проезжаем через Павловский посад[76]. Это кажется нам значительным: ведь это почти то же, что город, и когда нас спросят: сколько городов вы видели? — можно будет причислить и его к нашему убогому в этом отношении географическому опыту. Так вот что такое город. Хоть и не велик посад, но все же сейчас видно, что это — не деревня. И мы невольно радуемся и гордимся.

Едем мы не скоро — дорога не особенно исправна, и мама боится утомить лошадей. Утомленные долгим неподвижным сидением в экипаже, мы примолкаем. Тогда Сергей Александрович предлагает нам прочесть вслух какие-нибудь из любимых нами стихов. Мы с Колей откликаемся с удовольствием на его предложение и начинаем декламировать. Мы знали много стихов наизусть. Один раз, я помню, мы по очереди с Колей продекламировали всю первую часть «Демона» и тем сократили утомление в пути. За посадом дорога в рытвинах, плохая. Подвигаемся вперед очень медленно, и на толчках Сергей Александрович морщится и жалуется на свой плеврит. Тогда я начинаю фантазировать вслух. Вот в этой осиновой роще, тянущейся вдоль дороги, живут крошечные су-

щества, все серые, злобные — плевриты: они нападают на проходящих и проезжающих, входят в них и колют их крошечными копьями. Сергей Александрович слушает мои россказни — я описываю с увлечением «плевритов», — улыбается и немного отвлекается от своих болевых ощущений. Вот и кончилась плохая дорога, и можно ехать быстрее.

А тут навстречу нам полились густые колокольные звуки — в монастыре ударили ко всенощной. Торжественно разносится в воздухе призывный благостный звон. Под звуки его мы въезжаем во двор монастырской гостиницы и странноприимной.

Два скромных деревянных здания, окрашенные в светло-серую краску, — платной гостиницы и бесплатной странноприимной — стоят на поросшем свежей зеленой травкой дворе. Крылечко гостиницы оплетено турецкими бобами, цветущими красными цветами. На крыльце нас встречает с ласковыми восклицаниями монахиня, заведующая гостиницей, мать Евдокия.

И поднимается суетня. Мы выгружаем привезенное с собой, весь наш багаж: верхнюю одежду, захваченную на случай дождя, и рыболовные принадлежности, ботанизирки и папки для просушки растений, и корзины с провизией: большим куском холодного ростбифа и большим паштетом-курником, закусками и коробочками со сладким к чаю. Провизии привезено вдоволь, соответственно большому аппетиту молодых участников поездки. Кроме того, в монастырской гостинице можно получить монастырский же обед, яйца, молоко, черный заварной хлеб. Мы вытряхаем на дворе и на крылечке запылившиеся в дороге пледы и верхнее платье, чистим на себе платье щетками, моем себе лицо и руки «с дороги». Лена между тем хлопочет с провизией. И среди этой суетни мы то и дело сталкиваемся с матерью Евдокией, хлопочущей устроить и приветить гостей. Она — высокая, худощавая, с милым, добрым лицом и степенной приветной речью. Помогает ей послушница с быстрыми движениями, как и у матери Евдокии.

Монастырская гостиница невелика по размерам. Приезжих в то время бывало мало, и мы обыкновенно находили незанятыми облюбованные нами номера, в которых мы всегда и останавливались. Было в них тесно, диваны, на которых приходилось спать, были жестки, приходилось делить их и единственную кровать на двоих, подставляя к ним такие же жесткие стулья; умывальник был общий, в коридоре. Но все это увеличивало удовольствие от поездки.

24 VIII 1924

Не знаю, как писать дальше: 23 июля старого стиля, 5 августа нового стиля скоропостижно скончалась Лена. И я еще не могу как следует думать и работать, особенно писать о светлых воспоминаниях, к которым примешивается ее светлый, милый образ. С трудом возвращаюсь к веселым радостным картинам. Но я должна спешить: все труднее становится мне работать, — и так выходит вовсе не то, что хочешь, — а у меня такое сильное желание запечатлеть память о тех хороших людях и том хорошем, что окружало нас в детстве.

Тихий летний вечер. Наскоро напившись чаю, «с дороги» мы спешим к монастырской всенощной. Идем мы вперед с Колей — Лена еще убирает со стола после чаепития, и эта самостоятельность нас радует. Проходим через калитку в монастырской ограде, кирпично-красной стене, и попадаем в прекрасно содержимый цветник. Те же цветы, как и в юсуповском парке: георгины, душистый горошек, львиный зев, карионсис и флоксы и др. Сдерживая стремительность движений, с благоговением входим в храм. Мама с Леной зайдут позднее. Старшие же мальчики с Сергеем Александровичем поспешили с удочками на Истру.

Позднее, поджидая возвращения наших рыболовов с реки, мы пьем чай на лужайке перед монастырской гостиницей. Пора сенокоса. Наметаны стога. Примащиваешься на стогах и под ними. Хлопочет мать Евдокия. Приносят из гостиницы и ставят на землю кипящий самовар. Лежа на душистом сене, мы смотрим на вечернее небо, как по нему, розовея и лиловея, ползут легкие облачка, принимая причудливые формы. А вот возвращаются наши рыболовы. Скорей бежать им навстречу. Осматриваем мокрый сетчатый мешок для пойманной рыбы — в нем несколько ершей, пескарей и два-три окуня. Мало, но все же лучше, чем у нас в Архангельском. И вот мы опять на нашем стогу — лежим, глядя опять в небо. А оно потемнело, убралось мигающими, приветными звездами. Красота, мир и тишина кругом. Незаметно слипаются глаза под разговоры старших. Чьи-то ласковые руки — сонно я чувствую, что это мать Евдокия, — охватывают меня и, поддерживая, ведут через луговину в маленький номерок. И сладко засыпаешь на жесткой кровати.

На следующее утро — сияние и блеск солнца. Гудит густой колокол, благовестя к обедне. Вот мама собралась наконец. Идем в церковь, на

этот раз всем составом. Торжественно и радостно чувствуешь себя. Храм так светел и красив, служение — стройно и благообразно. После обедни мама служит молебен, потом у свечного ящика мы покупаем на свои деньги крестики и образки — привезти оставшимся дома. Выбираем с большой любовью и вниманием. И ласково наклоняется к нам монахиня, продающая образки. А опустелый и затихший храм залит солнечными лучами, и ярко горят они на позолоте икон и темном дереве иконостаса.

Покинув храм, мама со всей своей семьей направляется с визитом к игуменье. Игуменья живет в небольшом деревянном домике, выходящем в цветник. Приветливо глядит домик, кажется уютным. Поднимаемся на крыльцо, с обеих сторон тонущее в высоких цветах пышно разросшегося пестрого цветника. Торжественность шествия — мама впереди, мы все позади — нам нравится и располагает к сдерживаемому веселому настроению. Сознается и важность минуты. И отвечает ей особая тишина, встречающая нас в доме. Послушница вводит нас в небольшую светлую, крайне просто меблированную гостиную, в которой все сияет безукоризненной чистотой.

Игуменья по-старинному сидит на диване, перед которым поставлен овальный стол. В креслах вокруг него она усаживает гостей. Мы с Колей, как маленькие, скромно садимся у окна, по обеим сторонам круглого столика, покрытого вязанною крючком скатертью. Молчим благовоспитанно и слушаем разговоры старших. Но больше нас интересует непривычная обстановка, чинность приема и то, что чай, очень крепкий и сладкий, со свежими просвирками, разносят монахини.

Игуменья, мать Рафаила, между тем тихой речью ведет беседу. Манеры ее полны достоинства и внутреннего изящества. Она, говорили, из высших кругов общества и блистает образованием. Миша, восторженный юноша, восхищается ею и видит в ней тургеневскую Лизу. Мы еще ничего не знаем про Лизу Тургенева, но мы чувствуем, что такое предположение Миши есть большая похвала.

Игуменья обласкала всех, не исключая и нас с Колей, ласковым словом и приветным взглядом серьезных, печальных глаз. И мы отбываем — торжественно, пока мы еще в пределах игуменского домика, а там — свобода и впереди много удовольствия на Истре.

Но прежде всего мы направляемся все вместе в рукодельную мастерскую монастыря. Тут монахини заняты изготовлением на продажу различных изящных рукоделий и мелких вещиц, вроде холщовых портфе-

лей с надписью вязью: «Аносино», книжечек для иголок с тонкой росписью по дереву, из дерева выточенные звездочки для наматывания на них ниток и т.п. Мы и тут закупаем разные мелкие вещицы, которые привезем с собой оставшимся дома. Работы монахинь привлекают нас своим изяществом, и сами монахини улыбаются нам ласково, и мастерская такая светлая и приветная.

Возвращаемся в гостиницу — и несут нам монастырский обед. Но в полдневную жару не хочется есть горячие щи. Чрезвычайно вкусен сладкий заварной черный хлеб, но он тяжел, и не хочется его есть в такую жару. Мы возьмем его с собой и угостим тетю и Дунечку. Теперь же мы полны одной мысли, одного желания: скорее на Истру.

Мы отправляемся на реку целым походом. Монастырская телега везет самовар, уголья и корзины с нашими припасами, пледы и пальто. Мама с Леной шествуют за ней по проселку. Мальчики же — с ними увязываюсь и я — вместе с Сергеем Александровичем идут кратчайшей дорогой. Знакомая тропинка, змеясь через заросли, выводит нас на заливной луг на берегу Истры. Он весь под солнечными лучами, чудно пестреет цветами. Трава на нем до того густа, что мои ноги путаются в лиловато-голубом полевом горошке. Идем гуськом, чтобы помять как можно меньше травы, — «дяденька Сережа» с удочками впереди, в арьергарде я с ботанизиркой через плечо. Травы и цветы мне по пояс — и это особенное чувство: быть так среди цветов. Мы идем по лугу к месту встречи с телегой — там, где проселок упирается в мелкое место реки, служащее бродом. Слева от нас — река, и в быстро текущих мелких волнах ее золотыми искорками играет солнце. Справа — к лугу под уклоном сбегает лес с густой лесной порослью. Приближаемся к месту предположенной встречи: над широкой песчаной отмелью, покрытой намытым булыжником, возвышается зеленый берег. Сергей Александрович с Мишей, не доходя до отмели, пристраиваются с удочками у ракитовых прибрежных кустов и скоро замирают в недвижных позах. Мы оставляем их попечению наши удочки, а сами бежим навстречу нашим.

Течет в лучах солнца долгий летний день. Играет золотыми искорками река — так, что Алеша кидает через струйки камешки, заставляя их перескакивать через воду, на поверхность воды больно смотреть. На отмели жаркий припек. На зеленом пригорке, в зеленой траве, под кудрявыми березками, где сидят мама и Лена с книгой и работой в руках, прохладнее. И вот мы, трое младших детей, весь день бегаем: от наших рыболовов к маме и Лене сообщить, сколько рыб и каких они пойма-

ли, оттуда снова к «дяденьке Сереже» и Мише, посмотреть, не поймали ли они еще одного ершика или пескарика, или звать их на чаепитие, к кипящему самовару и вкусной снеди. Или мы разматываем свои удочки и в свою очередь стоим на берегу, с сосредоточенным вниманием следя за поплавком. Или, повязав себе голову носовым платком от припека, мы бродим по отмели, отыскивая и находя окаменелости. Или, забредя в густую траву, собираем растения для гербария. Или бежим в прохладу леса, сбегающего под уклон к реке, и где-нибудь под темной елью наблюдаем огромный муравейник, насыпанный трудами крупных черных муравьев. И, побыв в чаще леса, бежим опять на солнце, на его радость и свет.

Так проходит день на Истре. Мы возвращаемся в монастырь только к вечернему чаю. Бывало, ночь выдастся осиянная полной луной. Тогда, после чая, мы идем все вместе гулять. Облитые таинственным светом, стоят монастырские стены и башни, купаются в волшебном сиянии поля и леса — и невольно звучат в душе знакомые стихи любимого поэта: «В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянье голубом...» Только теперь нет в сердце уже знакомого чувства: «отчего же мне так больно и так трудно?»[77], а живет в ней сейчас только покой, удовлетворенность и радость жизни.

Мы живем так в Аносине два дня — и настает, наконец, день отъезда. Утром еще много хлопот. Сергей Александрович с мальчиками идет в последний раз на реку осмотреть удочки, с вечера поставленные на живца, — всегда с одной и той же надеждой, что поймается на него большая щука. (Увы, ни разу не поймалась у них щука.) Я напрашиваюсь идти с ними. Идем опять заливным лугом. Цветы и травы полны еще утренней росы. Коротенькое платьице не защищает ног — и скоро все ноги у меня мокрые до колен. Какое это приятное ощущение — чувствовать всю ту бодрость, которую вливает в душу росистое солнечное утро, знать, что стоит только побыть на солнышке, как обогреешься и просохнешь, и не слыхать укоризн за неосторожность и опасений, что можно простудиться.

Возвращаемся без щуки — в номерах у нас все сложено в дорогу трудами Лены. Надо еще забежать в церковь. Надо, встретясь где-нибудь на крылечке с хлопочущей матерью Евдокией, броситься в ее ласковые объятия и обещать, что приедем опять. И вот кучера, сытые, довольные, много ублаготворенные, по просьбе мамы, заботливостью матери

Евдокии, в тяжелых своих одеяниях, подбирая длинные полы, взбираются на козлы. Последние приветствия. Мать Евдокия стоит, провожая, на крыльце, увитом цветущими красными цветами, турецкими бобами. И под ее напутствия выезжаем за ворота. К обеду мы у себя на даче.

Иногда мы соединяли поездку в Аносину пустынь с поездкой в Новый Иерусалим и ехали прямо из Аносина в Воскресенский монастырь патриарха Никона[78]. Дорога туда, помню, отличалась большой живописностью, так что часто какой-нибудь вид возбуждал в наших экипажах крики восхищения. В Новом Иерусалиме мы останавливались также в монастырской гостинице. В те времена существовала одна только гостиница при монастыре, деревянная, двухэтажная, с балконом перед средним, самым большим номером во втором этаже. Мы находили его по большей части незанятым и поселялись в нем: мама и Лена, Алеша, Коля и я (я спала с мальчиками на одном диване, устроившись поперек него с подставленными стульями, тогда как Миша с Сергеем Александровичем помещались в другой комнате. Этот номер я любила. Он был связан для меня с воспоминаниями о моей первой поездке в Новый Иерусалим. Эту поездку устроил папа в день своих именин, 9 мая, и в ней принимала участие тетя. Выехали из Москвы ранним утром по так называемому Воскресенскому шоссе, в линейках. Мне эта поездка дала ту особенную радость, которую я ощущала всегда от близости папы. К тому же он был в этот день очень весел, шутил и смеялся, что вызывало, как всегда, большое оживление среди всех его окружающих. Мне было тогда лет семь, не более, но не забуду я того впечатления, которое произвел на меня монастырь при первом на него взгляде. Если выйти на балкон перед средним, большим номером (мы заняли его и тогда) и взглянуть влево, увидишь в некотором расстоянии монастырскую стену и вход в монастырь — большие железные ворота с большой написанной на них картиной: вход Господень в Иерусалим. Фигуры на ней кажутся написанными в человеческий рост, событие — близким и реальным. Всякий раз, когда я глядела на эту картину с балкона, когда я была уже старше, она производила на меня глубокое впечатление.

Новый Иерусалим давал нам совершенно другие впечатления, чем Аносино. Не было тут того милого, сердечного, простого, что так чувствовалось в Аносинской пустыни. Все было тут торжественнее, великолепней. Было и многолюднее. Под боком был заштатный город Воскресенск[79]: приходили и наезжали богомольцы. И монахи были тут чужды

нам. Мы слыхали от взрослых, что многие из них ведут не иноческий образ жизни, и мы чуждались их душой. И особенного чувства благоговения я не испытывала в Новом Иерусалиме. Скорее, пробуждалось во мне какое-то недовольное, раздраженное чувство: мне Новый Иерусалим казался плохой копией с оригинала, не могущей его заменить, и, как все ненастоящее, «невзаправдашнее» (употребляю слышанное от детей в школе выражение), оскорбляло что-то в душе. Помню, с каким благоговением в первое мое посещение этого монастыря с папой и тетей тетя проползала на коленях через низенький вход в пещеру гроба Господня[80], заставляя и нас с Колей следовать за нею. И как вся моя душа скрыто от всех протестовала. Позднее, когда я стала старше, в каждый из наших приездов в монастырь мы с Колей не раз и не два побываем, бывало, в пещере гроба Господня, но, признаюсь, меня влекло туда не религиозное чувство, которое, напротив, замолкало, а нравилось мне, что туда надо было проникать ползком. Это было так необычно и потому так интересно.

Но посещения Нового Иерусалима знаменовали для нас свободу и проявление самостоятельности, что так ценится в этом возрасте. Вообще, около мамы и старших детей мы пользовались гораздо большей свободой, чем с тетей и гувернантками, которые считали себя ответственными за наше физическое и моральное благосостояние и несколько пристально приглядывались к нам. Тут же никто не стеснял нас, а простору развернуться самостоятельно было больше, чем в Аносине, так как масштаб монастыря и монастырских угодий был тут крупнее. И нам нравилось ходить одним, без старших в пределах обширной ограды и за ней, заходить одним в просвирную, в лавочку, где продают образки.

Мы, бывало, с утра, пока еще мама не собиралась напиться чаю и приготовиться идти к обедне, успеем с Колей, а иногда и с Алешей обегать много достопримечательных мест. Прежде всего мы спешим в храм, громадный и великолепный[81], но мало говоривший нашему чувству. Помолимся немного и спешим из него вон, на волю, за ограду. Тут мы спускаемся под уклон к так называемой Силоамской купели и к другому святому колодцу, так называемой Овечьей купели. Пьем из них воду и бежим дальше — к так называемому Мамврийскому дубу. Тогда это был древний дуплистый дуб в несколько обхватов, и нам нравилось измерять его, взявшись за руки. Возвращаемся в храм, где находим уже маму и Лену с Мишей. Но мама не держит нас при себе, как тетя, и я

пользуюсь этим, чтобы отойти несколько в сторону помолиться не на виду у своих. Бродим с Колей по другим приделам, пристаем к группе богомольцев, которых водит по храму монах, и слушаем его объяснения. Вот какая-то баба, пришедшая, по-видимому, издалека, в простоте сердца благоговейно прикладывается к веригам патриарха Никона, висящим над его могилой[82], — и необдуманно я, следуя ее примеру, делаю то же. Ужас Коли при этом! Как я могла забыть, что Никон — не святой. И долго попрекает он меня в сделанной ошибке, и долго потом меня дразнят братья тем, что я неосмысленно, как простая баба-богомолка, приложилась к историческому памятнику как к святыне.

Днем мы идем гулять уже всей компанией. Посещаем Силоамскую и Овечью купели, Мамврийский дуб и, перейдя через Кедронский поток, направляемся к реке Иордану — протекающей тут Истре. Гора Фавор, Елеонская гора, вдали два селения, именуемые Вифлеемом и Назаретом[83], чудные виды и прогулки — и мы видим все это, но без расположения к богомыслию, к священным воспоминаниям. Мы наслаждаемся только солнечным летним днем, полным радости жизни. И уезжаем к вечеру под впечатлением прекрасно проведенного дня.

Мы ездили также, гораздо реже, в Саввин монастырь около Звенигорода. Но у меня не сохранилось ясных воспоминаний об этих поездках, даже о самом монастыре, — может быть, оттого, что в одну из таких редких поездок я слегка заболела и весь день просидела в номере. Но мне помнится одно приключение в Саввином монастыре, вызвавшее наше неудержимое веселье со стороны нас, детей, и возбуждавшее всегда смех, когда мы о нем вспоминали. Приехав в монастырь во второй половине дня, мы тотчас же пошли на рыбную ловлю. То есть отправились вперед старшие мальчики с Сергеем Александровичем искать хорошего места на Москве-реке, указав нам дорогу, по которой нам надо было идти, догоняя их. Но они не дошли до реки: по пути им попался небольшой пруд, и Сергей Александрович решил, что лучше попробовать рыболовного счастья здесь, на пруду, где, по всем видимостям, рыба должна брать хорошо. Когда мы в свою очередь спустились с пригорка от монастырской ограды, мы застали их стоящими уже с удочками на берегу пруда. Мы расположились невдалеке на зеленой траве — помню, Лена с какой-то толстой книгой по географии (она имела в виду предстоявшую ей зимою подготовку к экзамену при округе). О, счастье, рыба действительно превосходно клевала, как ни разу в Архангельском или в Аносине. Мы

с Колей то и дело подбегали к рыболовам и радостно оповещали потом маму, что поймалась такая-то рыба. Вдруг раздается необычайный гром — крик, крик торжества и безумной радости. И вот мы видим: Миша поймал какую-то пребольшую рыбу, еще не виданную нами никогда. Все сбегаются смотреть. Возбуждение общее. «Линь», — определяет Сергей Александрович, который и радуется за Мишу, и, с другой стороны, желал бы для себя подобной удачи. «Линь, линь!» — кричим мы, забыв, что криком на берегу можно распугать рыбу, и в исступленном восторге Миша, прижав к груди мокрого, тинистого линя, предается бешеной пляске. Мы скачем вокруг него — и вдруг на нас извергается целый поток грозной негодующей брани. То стоит на противоположном берегу пруда молодой послушник и, не стесняясь в выражениях, бранит нас: как мы смели, не спросив разрешения, ловить рыбу в монастырской сажалке, из которой рыба идет на стол настоятеля. Мама испугана встреченной грубостью и взволнована: меньше, чем кто-нибудь, она в состоянии позволить своим нарушать права чужой собственности, и вообще она боится всяких «неприятных историй». Миша готов возвратить по принадлежности злополучного линя. Сергей Александрович объясняет, что мы не знали, что этот пруд — сажалка. Все напрасно: послушник не слушает и продолжает упрекать нас в злостном намерении. Наконец Сергей Александрович, выведенный из терпения, заявляет внушительно, что завтра он пойдет к настоятелю извиниться и в то же время пожаловаться на встреченную грубость. Этим заканчивается происшествие. Послушник, бормоча еще какие-то неприятные слова, удаляется, Сергей Александрович с Мишей разочарованно складывают удочки, и мы все возвращаемся в гостиницу, все-таки унося с собой предоставленного нам линя. И было смеху сколько потом!

ЧАСТЬ IV

Я подошла к тяжелому периоду в моей жизни, полному горьких переживаний и тягостных воспоминаний. Начну издалека.

Летом 1878 года я захворала в сильной степени дизентерией. Случилось же это так. Мечта сделаться когда-нибудь Робинзоном жила в моей душе. Как она должна была осуществиться — я не задавала себе вопроса. Но как-то верилось, что мне когда-нибудь удастся пожить Робинзоном, и я готовилась в мечтах к этой жизни. Ясно мне представлялось, что быть Робинзоном мне придется не в экзотических краях, а в знакомой мне обстановке звенигородских лесов и лугов. Рассчитывать поэтому на богатство питания будущему Робинзону не приходилось. Я решила постепенно приготовляться к предстоявшей мне будто бы жизни и надумала с этой целью постепенно приучить себя есть траву. На наших прогулках я отходила обыкновенно в сторону и, выдернув коленчатый стебель какого-нибудь злака, откусывала его мягкий, сладковатый иногда конец. Коле, которого я посвятила в свои предположения, новое питание не понравилось. А я продолжала усиленно есть траву. Я заболела, но, верная своим принципам, что не стоит поднимать тревоги из-за пустяков и что надо уметь молча переносить боль — недаром же я восхищалась героизмом мальчиков-спартанцев и подвигом Муция Сцеволы, недаром я была «красным разбойником», — я скрыла свое заболевание от всех. Оно ухудшалось с каждым днем, особенно потому, что я не могла, не объяснив причины, соблюдать должную диету. Наконец я принуждена была открыться Юлии Андреевне. Она, по своему обыкновению, начала попрекать меня, что вот я сама неосторожна, а будут обвинять ее в недосмотре — и три дня в свою очередь скрывала от мамы, что я заболела. Лечила она меня за это время, как умела, но средствами, только ухудшавшими мое состояние: согретым красным вином, каплями доктора Боткина. Скрывать от мамы больше нельзя было: помню себя лежащей, еще одетой, на постели мадемуазель Сикр, куда она меня положила совсем обессилевшую от приступов боли, а потом меня

уже уложили в мою постельку. Болезнь развилась вовсю. Скоро пришлось отделить от меня Колю.

Медицинской помощи не было непосредственно под рукой. Пробовали домашние средства лечения. Тетя заставила меня выпить мелко истолченный березовый уголь и очень повредила мне этим. Болезнь все ухудшалась. Начали терять голову. Мама решила послать лошадей за нашим домашним врачом Константином Игнатьевичем Володькзо.

Вместе с Константином Игнатьевичем приехал к нам на дачу и папа, извещенный о моей болезни. Он мог остаться у нас только немного времени, так как ему приходилось возвращаться в Москву с Константином Игнатьевичем на наших лошадях. Я помню, как он стоял перед моей кроватью и медлил уходить и не был в состоянии сказать мне что-нибудь (может быть, я не была в состоянии слушать), а я по всему виду его понимала его душевные страдания. И было во мне смутное сознание, что он прощается со мной. Но это я чувствовала сквозь какой-то туман — болевые ощущения притупили все остальное во мне. Однако как я всем существом желала, чтобы папа побыл еще у меня.

А ночью весь дом был на ногах. Я тяжко, непрерывно страдала. Меры, предписанные московским врачом, не принесли облегчения. Мне становилось все хуже. Восставала мысль о смерти. Меня окружали смятенные, огорченные лица. Обезумев от страха и горя, стояла мама у моего изголовья — я видела ее, будучи в полубессознательном состоянии, но забыть не могу ее в эту минуту: растерянная, несчастная, она смотрела на меня. В одних чулках (я не выносила никакого шума, а она топала на ходьбе своими высокими каблуками) она переходила от меня в свою спальню, где переведенный к ней на время моей болезни Коля терпел, как он говорил мне потом, неописуемую муку, и скоро возвращалась ко мне и становилась над моей головой. В отчаянии, не зная, за какую соломинку схватиться, послали ночью же лошадей за фельдшером, служившим при приемном покое в Ильинском. Никто не доверял познаниям этого скромного представителя медицинской науки. За него ухватились в отчаянии. Но именно этот державшийся очень скромно, немногоглаголивый человек с симпатичным добрым лицом сделался моим спасителем. Он с большими усилиями, навещая меня каждый день, поставил меня на ноги. К нему я в первый раз в жизни испытывала то особенно глубокое чувство благодарности, которое испытывают больные к облегчающему их страдания врачу.

Некоторые подробности, находящиеся в связи с этой болезнью, навсегда запали в память. Слух мой болезненно обострился, я улавливала малейший шорох, и каждый шум доставлял мне, помню, мучительное страдание. Внизу, на так называемой «маленькой террасе», стояла клетка с попугаем. Завести попугая было желанием Коли, и мама подарила нам зеленого попугая. Он сначала очень занимал нас, а потом разочаровал, так как его нельзя было выучить ни одному слову. Зато попугай наш кричал в свое удовольствие. И вот теперь, во время болезни, его пронзительные крики мучительно раздирали мои нервы. Я закрывалась подушкой и невеликодушно желала ему пропасть. О, как я ненавидела эту несчастную птицу, и как исчезла моя ненависть, когда я стала выздоравливать. Страдания доставлял мне также Мишин смех, такой заразительно веселый и столь любимый мной обыкновенно. Во время моей болезни он стал мне невыносим. Для Мишиного же смеха находилось всегда бесконечное количество поводов, и он так часто звучал внизу, а я ловила его наверху болезненно обострившимся слухом (и он меня несказанно мучил). Не смеяться Мише было трудно, и он придумал заглушать мучающий меня смех, держа перед ртом салфетку. Эта выдумка сама по себе вызывала его на лишний смех.

Нестерпимо мучило меня и присутствие тети. Это было уже совсем непонятно при моей привязанности к тете и привычке к ее уходу во время наших детских заболеваний. Не считаясь с переживаемыми ею чувствами — я знала и не забывала и в моей болезни, как она меня любит, как желает быть около меня, — я просила ее не входить ко мне, говорила, что страдаю от звука ее шагов. В прюнелевых[1] мягких башмаках она между тем двигалась бесшумно, но для обостренного моего слуха ее шаги казались громкими и тяжелыми. Она приходила в одних чулках — я гнала ее от себя. Помню, как она в чулках стояла не раз за дверью, шепотом тревожно спрашивая о моем здоровье, прислушиваясь к моим жалобам и стонам. Я знала, что заставляю ее страдать, но не могла ничего поделать с чувством болезненного раздражения, вызываемого во мне ее шепотом, ее близким присутствием. До сих пор чувствую укоры совести за причиненные ей тогда страдания. Каким несправедливым, каким жестоким можно быть во время болезни. Неприязнь к тете исчезла бесследно, когда мне стало лучше. Я опять любила мою тетю. И помню я, как она вошла ко мне, вернувшись от обедни 27 июля, и сказала мне, что сегодня празднуется память святого мученика Пантелеймона и что она

усердно молилась ему о восстановлении моих сил. И как мне приятен был ее приход. Я запомнила с этого раза день памяти святого. Значит, я придала вес ее словам, и снова она была близка мне.

Припоминаю еще одно любопытное, по-моему, обстоятельство. Весной этого года, тотчас по переезде нашем на дачу, мы читали с мадемуазель Сикр несколько пьес Мольера. Прочли и больше не возвращались к этим книгам. Между тем во время болезни, в полубессознательном состоянии я декламировала целыми страницами из Мольера. Откуда-то, из каких-то клеточек мозга с поразительной точностью выскакивали стихотворные фразы живых диалогов. И я находила в них интерес и развлечение. Но, как только я стала поправляться, они запрятались снова в какие-то глубины мозга, и никакими усилиями памяти — а она была у меня хорошая, особенно на стихи, — я не могла их припомнить.

Во время моей болезни за мной самоотверженно ухаживали как Юлия Андреевна, так и мадемуазель Сикр. Но тут сказалось мое неравное к ним отношение. Я чувствовала благодарность к Юлии Андреевне, но к мадемуазель Сикр у меня было больше в сердце. Ее присутствие было мне поддержкой и утешением. Я с любовью следила за тем, как она исполняет трудное дело ухода за больным, я восхищалась ей. Нет, не пустыми словами оказалась ее всегдашняя проповедь о самозабвении, об оказании помощи ближнему со светлым лицом. Теперь она на деле проводила свое учение в жизнь. В часы своего дежурства, ночью и днем, всегда в свежевыглаженном светлом ситцевом платье, всегда с гладко причесанными волосами, она как бы олицетворяла у постели больного идею порядка и гигиены чистоты. Она олицетворяла для меня и идею милосердного служения ближнему. Всегда ровная и спокойная, терпеливая, не брезгующая ничем в уходе, она умела еще говорить слова утешения и ласки, успокаивающие меня. Она не изменила тому идеалу, который я связывала с ней в своих представлениях. Эта болезнь моя привязала меня еще больше к ней. Я стала еще больше восторгаться ею, я видела в ней героиню духа, а героическое меня привлекало.

Когда я, наконец, встала с постели, но мне еще не позволяли спускаться вниз, меня наперерыв стали баловать маленькими радостями. Меньшие братья больше других знали, чем можно доставить мне удовольствие. Коля научил меня, как делать закладки из бересты. Он снимал с куска бересты слой за слоем, пока не оставался слой толщиной в тол-

стую бумагу; он обрезал затем края отслоенного кусочка, придавая ему желанную прямоугольную или круглую форму, и акварельными красками рисовал на нем священные эмблемы. Я лежала еще в постели, и его не пускали ко мне, когда он прислал мне сделанную им для меня закладку: на прямоугольном кусочке бересты был написан крест с перекинутой через него пальмовой веткой, к бересте была приклеена синяя ленточка из-под коробки конфет. Эту работу Коли мне привесили, по моей просьбе, над кроватью — и я в своих страданиях взглядывала на крест, написанный на ней, и утешалась и подкреплялась. Закладку эту, как милое воспоминание о любви нашей с Колей, я хранила много-много лет. Зная мое пристрастие к мифологии, Коля изобрел нам новое развлечение: надо было придумать эмблемы всем известным нам божествам классического пантеона. Мы придумывали их совместно, по общему соглашению, и потом рисовали их. Коля разграфил на крупные клетки лист писчей бумаги и в каждой клетке нарисовал по эмблеме или по несколько эмблем, относящихся к одному божеству. Этот лист доставил мне большое удовольствие. Алеша приносил мне из низу лодочки, вырезанные им и Михаилом Михайловичем из сосновой коры, — мне они очень нравились — и бумажных петушков самых разнообразных размеров; они до сих пор имеют для меня какую-то притягательную прелесть, хотя я за всю свою долгую жизнь так и не научилась складывать их из бумажки. И в один прекрасный день он принес мне, но это было чудо как прекрасно, то, что он придумал соорудить мне в подарок. Это была квадратная со срезанными углами конфетная коробка из известной в то время кондитерской Альберт, крышка которой — так устроил Алеша — легко поднималась кверху за продетый сквозь нее шнурок. Шнурок был самодельный, плетенный из разноцветных шерстинок — такой, какие был мастер и любитель плести Алеша, какие своими яркими красками и подбором цветов давали приятное и радостное впечатление глазу. Откроешь крышку коробки — и что же внутри? — «дворец мхов и лишайников». Так я назвала сразу коллекцию мхов и лишайников, которую для меня составил Алеша. Дно и бока коробки со вкусом были оклеены небольшими образчиками различных мхов и лишаев. Редкий подарок доставлял мне в моей детской жизни так много радости. «Дворец мхов» казался мне чудом красоты и изящества, и я могла сколько угодно, в любое время наслаждаться видом любимых мной представителей растительного царства.

Хворала я в томительно знойные дни; но, когда я встала с постели, началось как раз ненастье. Грустен был этот конец лета, тем более что меня берегли от простуды и сырости, страшась повторения болезни, и потому не пускали меня гулять. Грустно закончилось это лето отъездом А. И. Жеребцова — «Божьего человека», как мы называли его. Его — я уже говорила об этом — увезли от нас в последнем градусе чахотки. Этот печальный отъезд был как бы отдаленным предвестником других грядущих потерь, окончания беспечального периода жизни.

Серо небо. То и дело проходят дожди. В комнатах дачи стоит зеленоватый полусвет — от лип, окаймляющих дорогу перед ней, от осины и кустарников, растущих перед некоторыми окнами. Сергей Александрович невесел, хмурится и задумывается: он знает, что его ждет та же участь, как и «Божьего человека», — болезнь его ясно для всех развивалась. В эту наводящую грусть обстановку ворвался для меня светлый луч, внесший в мой ум живую струю интереса. То было открытие в Москве Антропологической выставки[2]. Издания Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии[3] были привезены к нам на дачу Мишей. Может быть, его живой интерес к выставке сообщился и мне — только помню, с каким вниманием я изучала эти научные издания. Мне открылся новый мир. Мир ископаемых, допотопные животные, начатки жизни человека на земле. Я почувствовала к наукам, открывающим нам этот мир, не сухой интерес, а любовь, и охватывал меня при чтении священный трепет, похожий на тот, который я испытывала при приближении к какому-нибудь произведению искусства, который нельзя объяснить не испытавшим этого чувства. И представители этих наук казались мне избранниками, счастливыми, какими мне представлялись художники. Я тогда же запомнила несколько имен: А.П. Богданова[4], Д.Н. Анучина[5], например, не подозревая, что придется мне встретиться с ними на жизненном пути. Но с тех дней, как я держала в руках впервые научное издание, я почувствовала глубокое уважение к этим именам.

Но какой восторг охватил меня, когда я по переезде нашем в город попала на саму выставку — я не могу описать словами. С первых шагов от входа в обширное, несколько темноватое помещение Манежа, в котором была устроена выставка, я попала в царство очарования. Я помню, с какой нежностью я отнеслась к прослойкам голубой глины в других горных породах, изображенным на декорации, маскирующей стену; как мил

был мне плезиозавр, лежащий в водоеме, каким чудно красивым казался древовидный папоротник. Помню большую коллекцию кусков глины, извлеченной со дна какого-то озера с отпечатками на них древесных листьев, упавших на дно. В восторге я глядела на них. Я чувствовала: как бы я была счастлива, если бы мне удалось самой откопать такой кусок глины со следами глубочайшей древности. Я замирала от восторга перед каменными орудиями. Помню, в одном из отделов давал объяснения публике А.И. Кельсиев[6]. Вокруг него толпилась группа слушающих, переходила с ним от витрины к витрине. Помню, с каким рвением я протискивалась вперед, как жадно ловила его слова. И каким счастливым я считала его оттого, что он знает так много. Глубокое, плодотворное впечатление произвела на меня Антропологическая выставка. Она дала толчок в известном направлении моим умственным интересам.

Осенью этого года мне исполнилось 12 лет. И начался для меня новый период моей жизни. Гимназия, как я говорила уже, разлучила меня с Колей, и я чувствовала себя одинокой большую половину дня. Летняя болезнь приблизила меня к мадемуазель Сикр — и теперь я за зиму очень сблизилась с ней. Первым шагом к этому сближению послужило совершенно неожиданно неожиданно же осуществившееся совместно чтение Шекспира.

На это чтение мы с мадемуазель наткнулись совершенно случайно. Мы брали книги для моего французского чтения в библиотеке при магазине, именовавшемся впоследствии «Сотрудником школ»[7]. Книги из детского отдела были нами почти все перечитаны. Мадемуазель, пересматривая каталог, остановила свое внимание на переводе Шекспира Фр. Гюго[8]. Она никогда не читала Шекспира, и ее привлекло не имя английского драматурга (я-то хоть знала его, а она — нет), но имя переводчика: если я не ошибаюсь, она думала, что переводчиком является Виктор Гюго, и это великое имя ручалось для нее за достоинство оригинала. Надо сказать, она очень серьезно относилась к моему чтению, оберегала меня от дурных и легковесных впечатлений. И к новому для нее автору, писавшему не для детей, она отнеслась с большой осмотрительностью. Мы начали, помнится мне, с «Гамлета» — и сразу обе увлеклись. И сразу отлетела возможность произнесения ею обычных фраз: «Это — не для вас» или: «Вы в этом ничего не поймете», произносимых

ею над неподходящими для меня книгами. Не могу сказать, чтобы мне очень понравился датский принц, — я его и долго после того не понимала — но захватила сразу мощь и величие Шекспира. Захватила одинаково и ее и меня. Читали мы не отрываясь трагедию за трагедией, комедию за комедией, прочитали всю хронику. Читали не в урочные только часы, но ловя свободные между занятиями минуты. Читали, останавливаясь на отдельных мыслях, которые она развивала, а я выслушивала внимательно. Это было, помню, такое наслаждение чувствовать, что и она непосредственно увлекается в унисон со мной. Разбираться в характерах мы не разбирались: она, по-моему, не доросла до этого в своем образовании. Следует ей поставить уже то в заслугу, что она, воспитанница католического монастыря, воспринявшая красоты ложноклассической французской литературы, могла почувствовать величие Шекспира.

Мы пережили с ней минуты совместного наслаждения — и эти минуты ставили нас, воспитательницу и воспитанницу, временно на одну ступень. В отношении восприятия красот Шекспира мы с ней представляли одинаково девственную почву. Но я все еще сознавала себя ученицей и смотрела на нее снизу вверх. Внимала ее разъяснениям и, как всегда, не решалась высказывать своих мыслей. Замкнутая я была в себе девочка, да и мысли еще, может быть, не совсем выявились для меня. Но они сильно бродили во мне. Ничто так быстро не двинуло вперед моего понимания жизни, как это чтение Шекспира.

И вот вспоминается мне один примечательный для меня зимний вечер. Он тянется что-то долго для меня. Коля внизу, за приготовлением гимназических уроков. Я кончила свои. Что-то не читается, я совершенно не знаю, что с собой делать. Иду в комнату мадемуазель Сикр. Она читает. «Дайте, я почитаю вам вслух вашу книгу», — предлагаю я. «Это — не для вас, — отвечает она. — Это слишком серьезно для вас — вы не поймете». Но я со скуки пристаю. «Ничего, я просто так почитаю вам». Она протягивает мне книгу: это В. Гюго.

Мадемуазель, никогда не сидевшая без дела, берется за работу. Я читаю вслух. Что это такое? Мне открывается целый мир мыслей. И эти мысли мне знакомы, они жили во мне — только никому я еще не высказывала их, никому. Меня охватывает восторженное возбуждение. Я вся горю от внутреннего жара. Я читаю и то и дело отрываюсь от книги, чтобы поговорить о прочитанном. И оказывается, неведомо для меня, как и когда, на душе и в голове накопилось так много. И я гово-

рю, говорю, читаю и опять высказываю свои мысли. Мадемуазель давно заинтересовалась. Она временами кидает свое рукоделье на колени, блестящими глазами, растроганная, изумленная, глядела она на меня. Она увидала во мне нечто новое для нее, и это было для нее неожиданностью, радостно волновавшей ее. «Вы уже думали об этом?» — «Да, так бывает в жизни». — «У вас здравый смысл!» — такими и подобными восклицаниями ободряла она меня. Если бы при первых моих словах она остановила бы меня — ведь, наверное, рассуждала я наивно, по-детски — или если бы она выказала отсутствие интереса к моим речам, я бы замкнулась в себя и никогда, может быть, я больше не открыла бы ей душу. Но она отнеслась с живейшим и искреннейшим интересом — и душа моя раскрылась ей, как распускающийся под лучами солнца цветок. С этого вечера я стала свободно говорить с ней про свои чувства и мысли, а она стала меня считать «большой» девочкой и изменила свое обращение со мной.

Постепенно изменились и наши отношения — как-то незаметно и само собой. Были мы воспитательница и воспитуемая, а стали друзьями. Из двух людей, связанных между собой дружбой, один, говорят, всегда является лицом, дающим дары дружбы, другой — воспринимающим их. В нашем союзе дающим скоро оказалась я. Я так ее любила и скоро так сильно стала жалеть ее. Когда любишь, жалеешь и заботишься о любимом человеке, — и я стала заботиться о ней, как могла и умела. Может быть, ей, оторванной от семьи, одинокой в чужой стране, тепло стало от этой детской заботы и ласки — только она поддалась им и стала их принимать. Наружу казалось, что ничего не изменилось: она осталась по-прежнему авторитетной наставницей и авторитет ее, казалось, возрос еще больше: я слепо слушалась ее. Но это было так только снаружи — внутренние отношения стали уже не те. Я слушалась ее уже не потому, что она была моим идеалом, а потому, что я жалела ее и не хотела часто огорчать ее противоречием. В общем, наши взгляды и требования морали по-прежнему сходились — но бывали случаи, когда мне приходилось перед своей совестью прощать ей. Я это делала, не показывая вида, и очень легко и охотно — потому что крепко любила ее. Но трещина завелась.

Разумеется, отношения сложились так не сразу. Я даже забегаю вперед. Так определились они для моего сознания в следующую зиму, когда мне было уже 13 лет. Но начало обозначилось ранее.

Мы стали «друзьями» — то есть мы поведывали друг другу наши мысли и чувства. Я говорила ей многое, как никому больше открывала ей свою душу; но я говорила ей не все. Замкнутая в себе душа не могла раскрыться вполне, даже перед столь любимым мной человеком. Были и для нее не освещенные в ней уголки. Чем больше мне приходилось наталкиваться на смущающие меня обстоятельства в мадемуазель, ее поведении и образе мыслей, тем больше я уходила в себя, переживая наедине свое разочарование, из снисходительности любви замалчивая многое. Мадемуазель же становилась все откровеннее — точно почувствовала она облегчение от возможности не всегда быть начеку. Раньше она говорила со мной как педагог, строго взвешивая, что можно и что полезно сказать детям. Теперь она стала говорить как человек, вздохнувший притом от наложенных на себя уз. И она говорила мне то, чего не должна бы была говорить. Я отлично понимала это. Многое было лишним, многое же прямо вредным, потому что смущало душу.

Вредным я считала для себя ее суеверные разговоры, от которых она раньше удерживалась. Теперь она то и дело останавливалась на разных приметах, придавая им веру, сообщала нам известные ей, расспрашивала нас о русских народных приметах. Вся жизнь ее была отравлена этой верой в приметы. Если при работе падали на пол ножницы и при этом раскрывались, она видела в этом предзнаменование какого-нибудь ожидающего ее страдания — «креста». Если на постельном белье образовались пересекающие друг друга складочки, она в смущении показывала мне на них как на предзнаменование «креста». Воспитанная в здравых понятиях, я жалела ее, но, видя ее искреннее смущение, выслушивала ее и, не опровергая приметы, старалась утешить мадемуазель, найдя противоположную по значению примету. То же самое было и с ее верой в сны. Помню ее каждое утро, как, не умывшись еще, не причесавшись, она садилась на диван в своей ярко-красной фланелевой юбке и ночной кофточке и рылась в соннике, мучительно изъясняя элементы виденного за ночь сна. Я считала это слабостью, но, видя, какое значение она придает этому, сама присаживалась к ней и слушала и обсуждала. Между тем я понимала, что мы поступаем дурно, начиная день не бодрым приготовлением себя к дневной работе, но разленивающим занятием. И мне было обидно за нее: не она ли сама учила меня прежде не нежиться в постели и, встав, приниматься скорее за дело?

Но мало-помалу и я втягивалась в эти суеверные переживания. Много ли, мало ли, но я стала верить снам, предзнаменованиям, гаданиям.

Вера эта поддерживалась многочисленными ее рассказами из мира сверхъестественного. Я и без того была подвержена мистическим страхам. Бывало, по вечерам, когда я ложилась спать, я переживала мучительное состояние беспричинного мистического страха. Я спала тогда в одной комнате с Юлией Андреевной. Она имела обыкновение в то время, когда я раздевалась и ложилась спать, уходить поболтать с мадемуазель или с Дунечкой. Как она мучила меня этим. Оставшись одна, я замирала от страха. Сидя неподвижно на стуле около своей кровати, я боялась пошевельнуться. То мне казалось, что кто-то идет по лестнице (комната приходилась у самой лестницы), то чудился в самой комнате какой-то необъяснимый шорох. Мне почему-то представлялось наиболее безопасным не двигаться, не шевелиться. Мое нервное состояние доходило до высшего напряжения. Наконец возвращалась Юлия Андреевна — тогда часто я разражалась слезами и устраивала ей сцену. Мадемуазель говаривала мне о безрассудстве подобного страха, но, когда я стала спать с ней в одной комнате, своими рассказами поддерживала его во мне и развивала. Я по-прежнему ловила напряженным слухом те звуки, которыми богата бывает тишина: я придавала им сверхъестественный характер. Я рассказывала о них мадемуазель, и она переживала со мной мистический ужас.

Одна сцена запечатлелась у меня в памяти. Это было во время папиной болезни. Раз вечером, когда мы все распрощались и разошлись по комнатам, мадемуазель предложила мне тихонько от других погадать на воске. Само по себе литье из воска фигур с целью гаданья не было запретным для меня занятием: мама любила это гаданье, и у нас лили воск неукоснительно каждые святки. Но дурно было то, что мадемуазель предлагала делать это тихонько. Я, однако, не противоречила, желая доставить ей удовольствие. Волнуясь, прислушиваясь с беспокойной совестью, не направляется ли к нам кто-нибудь из соседних комнат, мы начали с ней лить воск, ища ответа на разные предлагаемые мадемуазель для себя вопросы. Она вынимала из воды фигуры, а я, стоя на коленях на ее постели, держала поданную мне фигуру около стены так, чтобы тень от нее падала на стену. И мы обе толковали фигуры — мадемуазель в пессимистическом духе, усматривая неблагоприятные предзнаменования, я, утешая и поддерживая ее, старалась объяснить их в хорошую сторону. Но вот она предложила мне вылить фигуру на меня. У меня все мысли были сосредоточены на болезни папы. Горе охватило мое

сердце, когда, как мне показалось тогда, я ясно увидала на тени лежащее срубленным дерево с воткнутым в него топором. Эмблема слишком понятная. Сердце мое горестно сжалось. Мадемуазель, видя мое огорчение, посоветовала мне повернуть фигуру — не получится ли более благоприятное предзнаменование. Она тоже усмотрела в моей фигуре, что и я, — и не знаю, кто был более смущен страхом, она или я. Восприятие ею гаданья действовало на меня: страх и тоскливое предчувствие росли в сердце. С надеждой на лучшее я повернула фигуру — и что же? Ясно, как мне показалось, я увидала дроги с лежащим на них телом. До сих пор могу восстановить в памяти эту фигуру, согбенного несколько вперед возницу, неясные очертания, принятые мною за лошадей. В значении фигуры нельзя было сомневаться. Я побледнела, руки мои задрожали — и фигура выскользнула из моих рук и упала на кровать. Мадемуазель, нерасточительная обыкновенно на ласку, бережно и ласково схватила меня в свои объятия. Но было бы лучше, если бы она здраво указала мне на вред веры в гаданье. Она, не отдавая себе отчета, расшатывала во мне и без того не крепкую нервную систему.

И другим она расшатывала ее. Постепенно она допустила привычку долгих со мной разговоров по ночам. Помолившись и раздевшись, я залезала в свою кроватку-ящик и садилась в ней. Мадемуазель садилась возле меня. Тревожно прислушиваясь к звукам и шорохам из соседних комнат, мы вполголоса вели свои задушевные беседы. Мы говорили обо мне, о ней. Чем дальше, тем больше разговоры касались ее, ее семьи, семейных отношений по преимуществу. Они стоили мне большого нравственного напряжения. Я чувствовала себя призванной утешать и поддерживать ее. Я чувствовала, точно она мне — сестра, причем я казалась себе старшей, покровительствующей младшей сестре. Борясь со сном, внимательно выслушивала ее и, прибегая к накопленной мной уже столь скудной еще житейской мудрости, обсуждала предложенное мне на обсуждение, давала советы. Я чувствовала себя ответственной и потому напрягала все силы своей души, все мыслительные свои способности. Иногда я не выдерживала и засыпала, сидя в своей постели. Тогда она прощалась со мной — и становилась на молитву.

Она читала ежедневно молитвы св. Бригитты[9]. Их было, насколько я помню, тридцать шесть, и в каждой из них вспоминался один какой-нибудь момент из Страстей Господних. Кто читал эти молитвы ежедневно в течение целого года, тому католическая церковь обещала отпущение

грехов, кажется окончательное. Мадемуазель Сикр уже отчитала для себя год, но затем решила, что будет читать по году за каждого близкого ей лица: прежде всего за отца, мать, любимого младшего брата. Прочитывая молитвы, она становилась на колени возле своей кровати, локтями упираясь в ее край, пальцами перебирая истрепанные листы многочитанной книги. И читала она чрезвычайно быстро, летя, словно горный поток с горы. И вставала затем с колен, знаменуясь крестным знамением, с видом глубокого удовлетворения. Проводя неустанно свою пропаганду католицизма, она просила меня читать вслед за нею эти молитвы св. Бригитты. Чтобы не огорчать ее, я лежа прислушивалась к молитвам, но под звуки быстро льющейся речи, утомленная предшествующими разговорами, очень скоро засыпала. К тому же я сильно сомневалась про себя в значении так быстро прочитываемых молитв, а в индульгенции не верила.

Я часто шла на видимые уступки, не желая или не умея иногда противоречить, и тем вводила в заблуждение мадемуазель Сикр. Тогда как ей — и мне тоже, пожалуй, — казалось, что ее авторитет для меня незыблем, он начал колебаться от еле еще заметных в нем трещин. Сильный удар нанес ему следующий поступок мадемуазель Сикр. Мне было тогда уже 13 лет. Уверенная, что вся моя душа у нее в руках, что я во всем послушна ей, она однажды взяла меня с собой — конечно, тихонько — к священнику французской церкви, к которому у нее, сказала она мне, есть личное дело. И, покончив со своими делами, она вдруг, неожиданно для меня стала говорить патеру о моей будто бы горячей привязанности к католицизму, о моем намерении перейти в католическую веру. Старик священник мне не выказал большого удовлетворения и отнесся к ее заявлению очень сдержанно, сказав, что это — вопрос будущего. Мысль о возможности в будущем перейти в католичество была не чужда мне, но до решения было мне далеко. Как она могла располагать моей свободной волей, не спросясь меня делать от моего лица такое заверение? Я была на этот раз глубоко возмущена. И этот поступок был, может быть, единственным, который я ей не простила. Я восприняла его как насилие над своей внутренней свободой. Потому что слабости ее я ей охотно прощала. Таковой мне представлялось ее увлечение аристократизмом. И его она выказала не сразу, но уже после нашего сближения. Она, правда очень туманно, стала часто поговаривать об аристократическом происхождении ее семьи, о каких-то бумагах, доказывающих это. У нее хранилась ста-

ринная печать с длинной деревянной ручкой. Она ею очень дорожила и как-то раз таинственно объявила мне, что ручка полая и что в ней спрятаны какие-то документы, важные для ее семьи. Вопрос об ее происхождении не играл для меня никакой роли, и я только удивлялась, что она придает ему такое значение. И печать ее вызывала мое недоумение. Это была не семейная печать с гербом, а печать мэрии какого-то небольшого французского городка времен Бурбонов[10], так как на ней были изображены три лилии под королевской короной. Я не могла понять, как казенная печать — мэром городка был дедушка мадемуазель — могла остаться в частном владении и быть хранилищем семейных документов. Неприятно меня поражало то, что мадемуазель ожидала всяких благ своей семье в случае воцарения Бурбонов, а между тем сама она была ярой бонапартисткой, возлагавшей горячие надежды на молодого принца Наполеона. Надо было видеть, как она пережила известие о неожиданной смерти его на юге Африки[11], — я никогда потом не присутствовала при таком бурном изъявлении горя, — чтобы понять, как близко к сердцу она принимала интересы императорского дома. И при таком отношении ждать выгод от враждебной партии, если она окажется у власти! Это не мирилось с ее прежней проповедью абсолютной честности в мыслях и чувствах, во всех положениях жизни.

Я видела, таким образом, ее слабые стороны, а между тем, ослепленная привязанностью к ней, не замечала, какое вредное влияние она имела на меня. Входило ли это в ее план обращения меня в католичество, но она постепенно старалась оторвать меня от семьи. Для этого она употребляла ловкий прием: тонкой, мелочной критики. В первые годы своего у нас пребывания она учила меня любить мою семью, указывая мне на хорошие стороны ее членов и заставляя меня ценить их. Теперь, пользуясь как бы правами установившейся между нами дружбы, она делала им другую оценку, помогая мне, как выражалась она, глядеть на вещи прямо, видеть их, как они есть. Этим она завлекла меня: я хотела знать правду, чего бы она мне ни стоила. Начала она с мелких замечаний, например по поводу маминых туалетов, бального декольте сестры (оно, по тогдашней моде, было весьма скромное), ненужных будто бы трат в хозяйстве и пр. и пр. Старалась она также расшевелить во мне самолюбие: говорила, что на меня обращают слишком мало внимания, что одевают меня плохо. Не она ли сама учила меня, что не надо быть тщеславной, любить наряды, что увлекаться ими грешно? И я бывала совер-

шенно довольна двумя платьицами в зиму, из которых одно перешивалось обыкновенно из маминого. Я любила даже многие из них, особенно летние из-за расцветки, рисунка и пр. Теперь ее критические замечания не заставили меня больше обращать внимание на мой туалет — желание одеваться хорошо пришло ко мне гораздо позднее, — но они давали мне грустное чувство, что обо мне недостаточно заботятся, допуская, чтобы на мне было надето что-нибудь подающее повод к осуждению. Помню, как мне опротивело мое платье модного тогда цвета бордо потому только, что мадемуазель сказала мне, что палевые лизере[12] на нем слишком широки и потому неизящны. Помню, это было в Малом театре — как мне было грустно, что никто из моих близких не заметил этого недостатка в этих злополучных лизере. Помню, с какой любовью мама заказала мне платье из легкой шелковой материи цвета крем — это была копия с парижской модели. Но мадемуазель отравила мне всякое удовольствие от этого платья, сказав, что совершенно неуместны на нем два алых бантика, посаженных на отворотах лифа. И эти бантики тотчас показались мне смешными, глупыми, бросающимися в глаза, и я сидела, помню, в ложе и страдала и не могла наслаждаться спектаклем: мне казалось, что вся зрительная зала видит эти несносные бантики. Отчего я терплю такую муку? Оттого, что мама восхитилась парижской моделью на другой девочке, но я — не та, другая девочка, на которой, может быть, все это и хорошо, и мне дела нет до парижской модели.

Начав с таких пустяков, мадемуазель постепенно распространяла свою критику, свое осуждение. То было сказано не так, то было не так сделано. То-то невыгодно бросается в глаза, то-то заслуживает осуждения. Я слушала — и яд критического отношения к самым близким входил в душу. Уменьшалась любовь в сердце, и я теряла жизнерадостность детства.

Она вредила моей душе и в другом направлении — развивая во мне большое самомнение. И тут она противоречила прежним своим наставлениям о необходимости быть скромным. Теперь она своими похвалами моим способностям (по совести сказать, чем-нибудь особенным они не проявлялись), моему развитию и познаниям (и они были невелики, даже сравнительно с познаниями Коли) заставила меня высоко думать о себе. Я стала неприятной, самомнительной резонеркой. Простота отлетела от меня. Я любила выказывать свои знания с тайной или явной мыслью, что вот что мне известно, тогда как другие вот этого не знают. Раз, я помню, я самым возмутительным тоном спросила у Миши: «А ты зна-

ешь, кто был Роман Галицкий?»[13], рассчитывая смутить его. Но несколькими, спокойно сказанными мне в ответ словами Миша показал мне, что помимо Романа Галицкого можно и должно знать еще очень многое про Червонную Русь[14].

Тягостное для меня воспоминание. Мадемуазель предложила нам с Колей написать к Рождеству в виде праздничного подарка папе и маме сочинение, чтобы показать наши успехи. Коля выбрал себе тему: «О древних персах», мне же она выбрала тему: «О любви по главе 13 послания апостола Павла к Коринфянам»[15]. Случайно я нашла эти сочинения в 1922 году и перечла их. Колино сочинение представляло изложение исторических фактов, доказывающее, что у него были познания, может быть, большие, чем можно было бы ожидать от мальчика его возраста. Мое сочинение удивило меня, скажу откровенно: неужели я могла написать тогда так на такую тему? Неужели в 13 лет я могла проникнуться величием, и красотой, и правдой этого несравненного отрывка Священного Писания? Но, когда я вспоминаю это сочинение, мне становится стыдно: с каким чувством превосходства я читала громко это свое произведение в кругу своих. Читала с подъемом, увлекаясь темой, и не замечала, как мало было во мне самой той любви, о которой говорил апостол. Было холодное, самомнительное чувство в душе. А мама сохранила с любовью эти два сочинения до самой своей смерти.

Такова я была в грустную, тягостную для меня зиму 1879—1880 года, когда мне было 13 лет. Но я забегаю несколько вперед.

Что папа не обладал хорошим здоровьем, мы знали, но сильно не задумывались над этим, потому что ничего явного для нас не напоминало нам об этом. Его силы берегли в семье, заботились об его отдыхе, но он работал в полной мере и очень-очень редко — когда у него делалось воспаление в ухе, причинявшее ему мучительную боль, — прерывал свою ежедневную работу и не выезжал из дому. Целый ряд лет он уезжал в Кеммерн, проделывал там шестинедельный курс леченья и возвращался оттуда с обновленными силами. В нашем детском представлении ему не грозило никакого ухудшения.

И вот весна 1879 года. Был весенний солнечный день. Было воскресенье с радостным воскресным настроением. Мы сидели всей семьей за завтраком, и папино присутствие увеличивало весеннюю радость. Вдруг

папе принесли какие-то деловые бумаги. Он встал из-за стола, чтобы пройти в буфетную дать ответ принесшему их, встал и пошел бодрым шагом, но сделал всего несколько шагов и остановился, схватившись за мраморную доску камина. И я не забыла, как лицо его, только что бывшее радостно оживленным, приняло сразу глубокое выражение сосредоточенной печали. Минута жуткого всеобщего молчания, сразу водворившегося. Потом все вскочили с мест. «Николенька, что с тобой?» — слышу я до сих пор перепуганный голос мамы. Папа молчит. Он с чем-то борется, что-то преодолевает, но не может, и лицо его глубоко печально от беспомощности. Ему хотелось бы рассеять тревогу мамы, тети, нас всех — но это не в его власти, и он от этого страдает. Не понимая, что с ним, все в тревоге толпятся вокруг него. Наконец всеобщее облегчение: прошло то, что мешало ему идти. И он объясняет: у него сразу онемела нога, и, пока не прошло это состояние, он не мог двинуться с места. И он признается: у него это не в первый раз — только он скрывал, не желая беспокоить маму. И лицо у него такое смущенное, что открылось то, что он скрывал, такое милое, доброе.

Поднялся переполох. Встревоженная мама настояла на обращении к медицинским авторитетам. Папа прибег к профессору Остроумову[16]. Остроумов посоветовал проделать, как обычно было для папы, курс леченья в Кеммерне летом, а осенью поехать в Крым. Из разговоров старших, из их тревожных обсуждений для нас выяснилось, что состояние здоровья папы внушает опасения.

Весной мы проводили папу в Кеммерн. На этот раз он ехал туда не один, но для охраны себе и помощи брал с собой нашего лакея Ивана. Мама взяла с него слово, что он не будет никуда ходить один, без Ивана. Он согласился, но то было ему тягостно. В первый раз тогда я провожала отъезжающего на вокзал, и меня все интересовало: вагоны и локомотив, носильщики и движение публики. Но, несмотря на оживление от новых впечатлений, сердце страшно щемило. И запомнились мне последние минуты перед отъездом. В окно вагона я вижу на дальнем диване папу, уже отделенного от нас чем-то непереступаемым, грустного, переживающего разлуку и тяжелое чувство зависимости больного от чужой помощи, от необходимости иметь всегда при себе докучливого спутника, и рядом с ним сидящего Ивана с круглым, глуповато-добродушным лицом, вошедшего уже в свою роль неотступного спутника, с успокаивающей улыбкой кивающего нам. И вот они уехали, оставив за

собой сердечную заботу и тревогу. И не радует меня, что коляска мчит нас по незнакомым мне досель улицам, дающим мне новые впечатления.

Забота и тревога — вот чем было полно лето этого года. Печаль нависла над нашей жизнью. Ожидали с нетерпением писем из Кеммерна, но письма приходили все неутешительные: припадки онемения ноги повторялись — и чаще, чем весной, так что казалось, лечение приносит не пользу, но вред. Помимо тревоги за папу заботы внушало и здоровье нашего «дяденьки Сережи». Чахотка, видимо, развивалась, съедала его силы постоянным поднятием температуры. Больно было смотреть на него, на впалые его щеки и лихорадочно блестящие глаза. Страдая постоянным ознобом, он стал прибегать к водке и тем губил последние силы. Развивающаяся привычка к питью смущала маму, наверное, из-за опасения за старших мальчиков, для которых это могло служить дурным примером, и между ней и Сергеем Александровичем происходили неприятные объяснения. Гармония нашей дачной жизни была нарушена. Улавливались диссонансы. Ко всему этому прибавилась дурная погода. Лето во второй половине было исключительно дождливое: дождь лил и днем и ночью, почти без перерыва. Стоило собраться погулять в светлый промежуток, как чуть ли не с первого поворота приходилось поворачивать домой, спасаясь от дождя. Мы скучали, сидели по углам с книгой. Я пробовала было заняться рукодельем, но ничего из этого не вышло. Помню, как я, скучая, принималась за тяготившие меня упражнения на рояле и неумело барабанила арию из «Трубадура»[17], и Сергей Александрович, спасаясь от неприятных разговоров в гостиной, выходил ко мне в залу и, стоя передо мной, неполным голосом подпевал: «...О, если б я мог с тобой, моя Элеонора, проститься». Я гляжу на него: он стоит передо мной бледный, похудевший, с блеском болезни в глазах, — и мне так жалко, так жалко его. И звучит в его голосе страдание. Напоминала ли ему эта ария что-либо пережитое? А может быть, прощался он с жизнью, как тот молодой узник в башне. И вот что еще я помню. На Истре в Аносине — наша последняя поездка в пустынь, подернутая переживаемой всеми нами печалью. Наше любимое место — у песчаной отмели. Я оставила братьев и прибежала к ракитовым кустам, где устроились с удочками Миша и Сергей Александрович. Миша со своей удочкой стоит на своем обычном месте, а «дяденьку Сережу» я застаю лежащим на траве. Он устал, ослабел — он, неутомимый рыболов. В первый раз я вижу его в минуту физической

слабости: и больной, он исполнял свои учительские обязанности. Жалость охватывает меня. Я присаживаюсь около него. Я говорю ему какие-то несвязные слова утешения — так утешать умеют одни только дети. Но у него пристыженное лицо, и он с мучением в голосе просит меня уйти. По покрасневшим векам, по жалкой улыбке я догадываюсь: он опять выпил из фляги, которую он теперь берет всегда с собой на рыбную ловлю, ссылаясь на озноб, увеличивающийся будто бы от близости реки. «Зачем, дяденька Сережа, зачем? — сокрушенно и беспомощно спрашиваю я. — Не надо, не делайте этого», — а он потянулся опять за флягой. И мучительным стыдом звучит его голос: «Уйдите, Вера Николаевна, оставьте меня». Я вскочила на ноги и убежала. И если я не расплакалась, то потому, что я умела уже тогда удерживать слезы в тяжелую минуту.

Мы переехали с дачи в этом году в самом тяжелом душевном состоянии. Сергея Александровича перевезли совершенно больным. Здоровье папы за лето не улучшилось, но ухудшилось. Припадки онемения повторялись все чаще. Оставалась надежда на Крым. Тем временем и Сергей Александрович обратился за советом к Остроумову, и тот обнадежил его тоже Крымом. Помню, это было за несколько дней до отъезда папы, — у мамы в гостиной ее сидел за чаем наш домашний врач, Константин Игнатьевич Володько, и папа был тоже дома, как пришел прямо от Остроумова Сергей Александрович, окрыленный надеждой на возможное выздоровление. Сидя за чайным столом, он говорил много и оживленно, мечтал о Крыме, как мечтать могут, кажется, одни чахоточные. Константин Игнатьевич встал и отозвал папу в соседнюю комнату. «Не давайте ему ехать в Крым — ему осталось несколько недель жизни. Если вы хотите сделать ему добро, устройте его в отдельную комнату к нам в Мариинскую больницу. Ему там будет, по крайней мере, покойно, вы его будете навещать — а в Крыму он умрет одиноким». Потребовалось некоторого труда, чтобы уговорить Сергея Александровича на предложенную комбинацию, но папа сумел это сделать. Сергея Александровича скоро перевезли в отдельную комнату Мариинской больницы, где служил Константин Игнатьевич Володько, который взял его под свое особое попечение. Вскоре после этого папа поехал в Крым.

Из Крыма стали приходить отрадные письма. Папа купался в море, чувствовал себя превосходно, немение ноги становилось все реже. Папа, кроме того, восхищался красотами Крыма. Радость приносили его пись-

ма. В доме все повеселели. И грусть набрасывала на душу только болезнь Сергея Александровича.

Из нашего дома его то и дело навещали, снабжая его всем нужным, исполняя прихоти больного в отношении пищи. Посещения его в новой для меня больничной обстановке производили на меня громадное впечатление. Вот едем мы с мамой в карете или коляске по незнакомым мне улицам Москвы, возбуждающим во мне интерес новизны. Вот завернули в ворота больницы, поднялись по мощеному въезду к парадной двери больницы — и вот нам отворил ее высокий и видный швейцар, по торжественным дням облаченный в парадную ярко-красную дворцового ведомства ливрею, с капюшоном, обшитым золотистым галуном с черными двуглавыми орлами. И сразу, с передней мы попадаем в особый мир. Мир строго соблюдаемого нерушимого порядка, прежде всего. Кажется, ручаются за него сами массивные стены массивного здания, от которого веет духом николаевских времен. Все фундаментально, прочно, тяжеловесно, всюду идеальный порядок и чистота. Поднимаемся по широкой каменной лестнице, на которой иногда встречаем дежурного врача в синем вицмундире с золотыми пуговицами. Вступаем в широкий коридор, тянущийся во всю длину обширного здания (справа — мужское, слева — женское отделение, посредине, против площадки лестницы, — домовая церковь). В него справа и слева выходят двери больших палат с высокими потолками, с окрашенными в однообразный голубовато-серый цвет стенами, с большими светлыми окнами и рядами коек. Стоит тишина. По коридору бродят редкие фигуры больных в однообразных больничных халатах и бодро проходят в казенной форме идеально чисто одетые и выдержанные сиделки. Чисто, хорошо, полный порядок — и все же что-то давит душу, и жаль больных, хворающих при такой обстановке. И вспоминаешь, как хворала сама в уютной домашней обстановке, окруженная лаской родных и близких. И сжимается сердце, и так жалко этих больных.

И жалость эта увеличивается в бесконечное количество раз, когда мы входим в комнату к Сергею Александровичу. Светлая, теплая комната — но как в ней, на мой взгляд, было неуютно. Скукой давили стены, выкрашенные в тот же голубовато-серый цвет, и больничный халат на «дяденьке Сереже» производил унылое впечатление. Знать, что он проводит тут, в этой комнате, день за днем, переходя с постели на диван, почти что всегда один, было грустно и тяжело.

Он очень радовался нашему посещению, тотчас вызванивал чай, когда это можно было. Тогда приносили чайный прибор на подносе с простыми белыми некрасивыми чайниками и медной полоскательницей — и это было неуютно и противоречило тому, к чему я привыкла дома, и это было уныло. Но он так радовался чаепитию в обществе ему милых людей. Если был час обеда, он угощал меня пирожным. И мы вели с ним длинные беседы, как, бывало, дома. Потом, наскучив сидеть на одном месте, я шла гулять по коридорам и возвращалась рассказать о том, кого и что я видела. Мне очень хотелось познакомиться ближе с больничной жизнью, познакомиться с больными — но знакомиться с чужими мне было запрещено, также и входить в палаты мама мне не позволяла. Я ограничивалась поэтому хождением по коридорам. Помню, я расхаживала взад и вперед очень «гордо», сознавая свою самостоятельность — так мало ее было у меня на самом деле, — заложив одну руку за спину и схватившись ею за другую, в своем скромном темно-коричневом с мелкими красными клеточками платьице и бархатной шапочке с серым барашковым околышком — первая шапочка, которую мне позволили выбрать по своему вкусу и которая меня заинтересовала и казалась мне очень красивой. Я ходила взад и вперед по коридорам — а фантазия моя усиленно работала над созданием нового рассказа, связанного с больничными впечатлениями. Балованный дома мальчик Костя случайно попадает больным в больницу — и тут оказывается соседом по койке с чахоточным мальчиком Севастей (это необычное имя было мне навеяно известной книгой Евг. Тур «Катакомбы»[18], где такую благородную роль играет святой мученик Севастьян). Костю навещает его сестренка, любящая его так же сильно, как я любила Колю. Дети дружатся. Севастя, мальчик тихий и кроткий, очень религиозный, имеет большое влияние на брата и сестру. Костя и сестра его в свою очередь дают одинокому, бедному мальчику радость дружбы и ласки. Наконец выздоравливает Костя и покидает больницу, а немного спустя умирает Севастя. Как всегда, я жила со своими героями и, шагая по коридорам, переживала с ними тоскливое чувство, которое, по-моему, должны были переживать дети в больничной обстановке, которому поддавалась и я.

Но раз я пережила тут более сильное ощущение. Сергей Александрович все слабел и слабел. Он становился раздражительным, не терпящим возражений в разговоре. Нередко беседа его с мамой, несмотря на

ее старания, обострялась к великому моему прискорбию. Я тогда так страдала за него. И раз его волнение дошло до того, что он с вырвавшимся из груди громким стоном, стиснув зубы, упал головой на подушку дивана, на котором сидел. Мы обе с мамой подумали одно: ему дурно, он умирает. Мама, которая легко растеривалась в минуты опасности, выбежала в коридор. Я осталась около него: я не могла бросить его в таком виде. Что-то мне подсказало, что это еще не конец, что его надо только утешить, поддержать. Я стояла в изголовье его, наклонясь над его головой, — мне хотелось обнять ее обеими руками, но воспитанное во мне чувство сдержанности мне мешало, и я держалась руками за концы его подушки и говорила: «Дяденька Сережа, дяденька Сережа», — и в голосе моем звучала, наверное, вся испытываемая мной нежность и жалость к нему. Мама, приоткрыв дверь, заглядывала к нам в комнату с перепуганным и вопрошающим меня лицом — и помню, как я успокаивала ее взглядом и чувствовала, что я, девочка, сильнее этих двух взрослых людей. Наконец Сергей Александрович открыл закрытые до того глаза и поднял их на меня. И не могу сказать, сколько было в них душевной муки и потом благодарности ко мне. Не забыла я этого взгляда в течение стольких лет и чувства острой жалости к любимому человеку, которое тогда пережило мое сердце.

Ему становилось все хуже. Раз мы приехали навестить его, мадемуазель Сикр и я. Когда мы вышли от него, мадемуазель остановила меня в коридоре. «Он очень плох, Вера, — сказала она. — Надо сделать так, чтобы он причастился. У нас это делается так: когда сам больной не выражает этого желания, просят сиделку напомнить ему об этом. Скажите это его сиделке». Я робела обращаться с таким важным делом к незнакомой женщине; притом я не знала, могу ли я вмешиваться тут. Но мадемуазель Сикр убедила меня, что это дело настоятельное и чрезвычайно важное и нельзя в подобных случаях стесняться вопросом, уместно ли и принято ли обращаться к сиделке. И я решилась. Отыскав в коридоре сиделку, я попросила ее устроить как-нибудь, чтобы Сергей Александрович изъявил желание приобщиться Святых Тайн. Она обещала, что направит к Сергею Александровичу больничного священника, который придет к нему как будто для того, чтобы навестить его, и может быть, в беседе наведет его на мысль приобщиться. На следующий день батюшка пришел навестить Сергея Александровича — а на следующий день приобщил его Святых Тайн Христовых. Сергей Александро-

вич говорил сиделке, какое это ему доставило утешение. А дня через два сиделка, войдя к нему утром, застала его скончавшимся, лежащим на постели.

Он скончался 7 ноября (1879 года) и погребен на Ваганьковском кладбище. На похоронах его я не была — я была в эти дни простужена. Его дорогую, но неизвестную мне могилку я случайно нашла при одном моем посещении кладбища. Позднее не могла ее найти. Но мне говорили лица, ее навещавшие, что весной находили ее убранной дерном и цветами, а именно на ней чьей-то любящей душой (рукой) была посажена полевая кашка. И предполагали, что это был скромный дар любящего и верного сердца. Сергей Александрович — я узнала это уже взрослой от мамы, которой он все поведал, — любил одну монахиню из Страстного монастыря[19], обладавшую возвышенной душой, любил ее чистой любовью и такой же любовью был любим ею. Они встречались, и беседы их были посвящаемы возвышенным предметам. До пожара[20] сохранялся у меня акварельный рисунок Сергея Александровича, изображавший уголок Нескучного сада и на садовой скамье у дорожки сидящих рядом его и монахиню. Под рисунком была соответствующая надпись и дата. Фигуры были мелки, так что лиц нельзя было разобрать, но общий облик Сергея Александровича был верно схвачен. Все, что рассказывал о ней маме Сергей Александрович, внушало к ней глубокое уважение — так говорила мне мама. Свиданий своих с нею Сергею Александровичу нечего было стыдиться.

5 октября вернулся из Крыма папа. Какой это был незабвенно счастливый день. Он вернулся веселый, радостно оживленный. Он чувствовал себя, говорил он, превосходно. Рассказы его о Крыме так и лились. Он так хорошо умел рассказывать. И Крым был в те времена малодостижимым и далеким и представлял для нашей семьи, по крайней мере, прекрасное далекое. Горы и море, тепло и солнце — вот что сверкало в его рассказах, будя желание посетить только что покинутый им благодатный край. Он привез оттуда и дары: обточенные морем гальки, низки ракушек, которые можно было носить как ожерелье, айву и грецкие орехи в зеленой шелухе и две большие корзины с виноградом — характерные крымские корзины для перевозки винограда с суживающимся дном, мы таких не видали еще, как и такой массы винограда зараз и таких разнообразных сортов. Но лучше всего показался мне альбом крымских видов в красивом красном переплете, на котором папа со своей

прекрасной улыбкой — он так сиял радостью в этот день — сделал надпись: «Моим друзьям Елене, Николаю и Вере Харузиным». В первый раз он называл нас так, и это дало мне глубокую радость. Весь день мы не отходили от папы, все слушая его рассказы. Особенно нам интересно было описание шторма, который папе пришлось вынести на Черном море и который он выдержал без страха и морской болезни. Папа на пароходе познакомился с Тотлебеном[21], и беседа с ним оставила на папу самое приятное впечатление. Тотлебен был одним из любимых нами героев русско-турецкой войны, и мы радовались этой встрече. День прошел слишком быстро, не хотелось идти спать — и заснула я с чувством счастья в сердце.

А на следующее утро нас разбудили сообщением, что папе плохо, что с папой был удар. Не понимая вполне ужаса свершившегося, понимая только, что папа страдает, я бросилась в его комнату. Боялась, что, может быть, не пустят. Вошла со стороны коридора, чтобы быть меньше замеченной. В так называемой турецкой комнате было несколько человек. Папа сидел, и тетя готовилась ставить ему мушку[22]. Я знала со слов тети, которой при воспалении легких ставили мушки, что предстоят папе часы страданий. Я обняла его голову и почувствовала, что моя ласка его утешает. Одна рука его была беспомощно свешена, ее вид делал больно. Тетя хотела было меня выдворить, но папа воспротивился этому, сказав, что ему будет легче, если я буду находиться тут. Как я была благодарна ему за эти слова.

Потом потянулись тяжелые месяцы болезни, полные тяжелых воспоминаний. Папу перевели в мамину комнату, превратив гостиную в спальню, устроив ее удобно для больного. Папину постель поставили к стене, примыкающей к гостиной, а у противоположной стены стояла кушетка, на которую переводили больного, когда он уставал от лежанья в постели. И я помню его лежащим подолгу на этой кушетке, молча, со скорбным лицом, недоступного обыденным, ничего не значащим утешениям, правдивой своей натурой презирая их лживость. Он понимал весь ужас своего положения, скорбел и волновался. Лежа на кушетке, он хватался рукой за украшавшую ее ручку кисть и бесконечно крутил ее, так что она наконец оторвалась. Я подобрала ее и сохранила на память — о его страданиях. Кисть эта говорила мне так много. Я берегла ее до первых лет революции, когда сожгла ее со многими другими вещами, хранившимися мною в воспоминание о папе. Кушетка, на

которой во время своей болезни лежал папа, стояла впоследствии у меня в комнате — я выпросила ее у мамы — и была для меня самой любимой мебелью. Странное дело: папа с самого своего приезда и первых дней болезни выказывал живой интерес к состоянию здоровья Сергея Александровича: не проходило дня, чтобы он не спрашивал о нем несколько раз. Он осведомлялся постоянно, навещал ли его кто-нибудь из нас, снабдили ли его необходимым. Не желая его волновать, от него скрыли кончину Сергея Александровича. Но всех поразило, что он, точно ему что-то подсказало истину, с этого дня перестал спрашивать о Сергее Александровиче. Впрочем, 10 ноября уже с ним сделался второй удар, лишивший его речи.

Странный я видела незадолго перед этим сон. Он ярким остался у меня в памяти. Я видела нашу желтую гостиную с переставленной в ней мебелью, имевшую необычный для нее вид. Какие-то неизвестные мне мужчины и дети образуют цепь в два ряда, оставляя промежду свободный проход. Мужчины держат в высоко поднятых руках канделябры с зажженными свечами, дети соединены друг с другом цепью из бронзовых золоченых медалей красивой работы. Мы с Колей становимся будто бы в цепь детей и беремся руками за цепь из медалей. Я приподнимаю к себе медаль, находящуюся у меня в руках, и вижу на ней римскую цифру X. Вдруг раздается мощный хор присутствующих: «Вот царь славы идет», — и в комнату входит священник со Святыми Дарами. И в то же время я вижу папу, сидящего в кресле у постели, сгорбленного, с поникшей головой. И я во сне поняла, что папе плохо и что священник пришел ради него. И что же? 10 ноября, вечером, нас с Колей тревожно позвали вниз — гостиная, в которую, по совету врачей, несколько времени назад перевели папу, была необычно ярко освещена, и мы узнали папу, сидящего в кресле у постели, в согбенной необычной позе, как бы бессильно опустившегося, — и в дверь входил наш приходский священник со Святыми Дарами. И сразу всплыл перед моими глазами виденный мне сон.

Несчастный вид папы, необычайная торжественность обстановки, сознание, все более выясняющееся, что случилось большое несчастье, — все это глубоко потрясло душу. В это утро мы как раз, следуя совету тети, выпросились у мамы пойти с тетей в церковь святой Варвары-великомученицы[23] на Варварке помолиться за папу. Мы отстояли обедню, отслужили молебен. И молились мы все с пламенной верой — так, я

думаю, можно молиться только в детстве и юности, с горячим упованием, с незыблемой верой, что Бог не может не исполнить твоего прошения. С подъемом надежды шли мы пешком домой. А вечером — с папой второй удар. Неопытны мы были еще тогда смиренно склоняться перед неисполнением просьбы, неопытны признавать мудрую цель в непонятных решениях Промысла Божия — и этот случай наложил на наши сердца глубокий след. Лена неоднократно вспоминала — до самой своей смерти, — как этот день впервые, но основательно пошатнул ее веру в Бога, а вера у нее была, как и любовь ее к Богу, горячая. Может быть, оттого, что меня мадемуазель Сикр успела уже мудро приготовить к необходимости быть покорной воле Божией не только в счастии, но и в невзгоде, я легче перенесла этот удар. Я склонила голову, но чувствовала себя незаслуженно обиженной. И многие годы спустя проходить или проезжать мимо этой церкви было для меня страданием: воскресали больные воспоминания.

Этот день был днем, с которого особенно сильно и все сильнее и сильнее стало чувствоваться наше огромное несчастие. Папе становилось все хуже. И это страшная утрата речи. Такое, видно, он терпел мучение, и так мучительно было глядеть на него. Бывало, сверху за уроками слышишь внизу знакомый звук мягких колес его кресел и знаешь, что его катают в кресле по зале: вот сделали поворот, и звуки удаляются — значит, кресло покатили в гостиную, вот опять звук слышен явственнее: опять прикатывают в залу; вот остановились у окна — и знаешь: папа тоскливо смотрит на переулок и площадь, потом слабым движением руки даст понять, чтобы его везли дальше. И опять этот будящий тоскливое чувство звук — ближе, дальше, совсем замирающий и снова возникающий в соблюдаемой в доме тишине. Как я завидовала Лене, которой позволяли иногда катать папу в его кресле, как мне хотелось бы делать это, делать вообще что-нибудь для папы, быть около него. Но нас, младших, не допускали к уходу. Лена, та отвоевала себе право ухаживать за папой. Она предшествующей весной кончила курс в пансионе Дюмушель и перешла в последний класс, где ученицы только готовились, разбившись на специальности, к экзамену при округе. Из-за болезни папы Лена бросила экзамены и не посещала уже пансиона, который в то время переселился очень далеко, на Швивую горку[24]. Лена старалась быть полезной при уходе за папой: она читала ему вслух, пока это еще развлекало его; по ночам она устраивалась на кушетке за портьерой в маминой комнате — папу опять перевели туда из гостиной по вы-

раженному им желанию. Я не смела просить о ночных дежурствах — их с трудом разрешили Лене.

Страдания папы глубоко переживались мной. Я помню, как год спустя, когда после покушения 1 марта Александра II стали называть царем-мучеником, мое сердце протестовало: царь мучительно страдал, это была правда, и я жалела его, но его страдания скоро окончились, а папа страдал так долго. Вот кто для меня был настоящим мучеником.

Несколько эпизодов из времени болезни папы остались мне особенно памятными.

Рождественский сочельник. После всенощной вся семья собралась к вечернему чаю в столовой. Сюда же прикатили и папу в его кресле. Он сидит во главе стола, на мамином месте — такая радость, что он, хотя и больной, с нами. И он кажется довольным. Коля и я читаем наши сочинения, о которых я говорила выше. Все оживлены, всем нравится. Нам выражают одобрение. И вдруг папа начинает плакать: плакать беспомощными слезами лишенного речи паралечного больного. Как тяжелы эти беспомощные слезы — никогда, во всю свою жизнь потом я не могла их видеть без глубокого волнения.

Обращались к знаменитостям медицинского мира: приглашали к папе профессоров Захарьина и Кожевникова[25]. Но что они могли сказать? Медицина оказывалась бессильна. Тогда, чтобы утешить больного и с горячей верой в возможность чудесной божественной помощи решено было нашими старшими принять в дом мощи святого мученика Пантелеймона. Папа был глубоко верующим — и у нас «принимали» ежегодно икону Иверской Божьей Матери и мощи из часовни святого мученика Пантелеймона при Благовещенском монастыре на Никольской[26]. Прием иконы и мощей в дом был ярким бытовым явлением, теперь исчезнувшим и начавшим исчезать еще до революции, поэтому я остановлюсь на нем подробнее. Так как было в те времена много желающих «принять к себе Царицу Небесную и мученика Пантелеймона», то при обеих часовнях — Иверской Божьей Матери и Пантелеймоновской — велась запись и соблюдалась очередь в посещении. В часовне назначали день и час посещения, сообразуясь с желанием приглашающих и с маршрутом по городу. Папа, рано уезжавший на свое дело, прочил всегда приглашать икону и мощи или ночью, или ранним утром. Посещения иконы Иверской Божьей Матери и мощей святого Пантелеймона, которые не совпадали почти никогда, оставляли глубокое впечатление.

Взрослые не ложились всю ночь: мама только приляжет, бывало, на кушетке или на своем диванчике. Папа и тетя с вечера ничего не ели, чтобы выпить святой воды после молебна натощак. Нас, детей, укладывали спать, но рано, задолго до прибытия святыни, поднимали. Встаешь при огне, чувствуешь себя зябким и не по себе. Спешим вниз — там так все по-особенному. В зале все уже приготовлено. Из переднего угла отодвинуты украшающие его высокие зеленые растения и на место их поставлен деревянный диван из передней (если ждут икону Иверской Божьей Матери, которую всего легче установить так, прислоненную к спинке дивана). Перед диваном поставлен стол, покрытый белоснежной скатертью, — и на нем приготовленная для водосвятия миска с водой, глубокая тарелка с пустым стаканом — в него священник отольет нам освященной воды для питья, — свечи и ладан. И весь дом в ожидании. Папа и тетя ходят от окна к окну, ожидая увидать подъезжающую карету. Как икону, так и мощи развозили по городу в особой карете, чрезвычайно громоздкой и тяжелой, особого фасона. В передней — Любовь Петровна, высокая, прямая, сосредоточенная на мысли о своих обязанностях, окруженная подведомственной ей прислугой, готовой исполнять ее приказания. У ворот, знаем мы, караулит дворник: как только покажется в переулке карета, он кинется к парадной двери и даст сильнейший звонок, чтобы предупредить о приближении высокого посещения.

И как только раздастся этот чрезвычайный звонок, распахнутся широкие парадные двери — и почти тотчас же с грохотом и топотом шестерки сильных лошадей к подъезду подкатит карета, с мальчиком-форейтором на передней паре, с дюжим человеком в поддевке на запятках — оба, несмотря на зимний мороз, ездили с непокрытыми головами. У парадной двери начинается суета: кучка людей вокруг Любови Петровны, распоряжающейся ими, берется за тяжелую икону и с трудом несет ее вверх по ступенькам передней. А там, у входа в залу, благоговейно встречает икону вся семья, простираясь коленопреклоненно перед нею. В эти минуты встречи через открытые парадные двери ворвалась струя холодного, иногда морозного воздуха, но это только бодрит. Начинается молебен — и умиляюще звучат знакомые молитвенные слова. У дверей залы толпится прислуга, иногда пришедшие на молебен их родные. После водосвятия тетя принимает из рук священника стакан со святой водой, стоящий в глубокой тарелке; в ней теперь — тоже немно-

го воды. Она обносит ими всех, и каждый отпивает по глотку и, опустив пальцы в воду, налитую в тарелку, проводит ими себе по лицу. Тем временем Любовь Петровна взяла в руки миску с освященной водой и следует за священником с кропилом, который обходит все комнаты. Между тем в зале все подходят прикладываться к иконе: сначала папа и мама, потом тетя и мы, дети, за нами по очереди вся прислуга и их присные[27]. Берут «святую» вату из мешочков, привешенных к иконе, лентами, висящими на ней, протирают себе глаза. И по окончании молебна, когда, тяжело передыхая от тяжести, понесут икону по комнатам и по двору, желающие падают перед нею ниц — и ее проносят над лежащим в прахе. Через ворота двора выносят икону прямо на улицу, к карете. На тротуаре, если час не особенно ранний, всегда остановятся несколько проходивших мимо человек и ожидают, чтобы приложиться к иконе. И эта минута общей краткой молитвы роднит нас с этими незнакомыми нам людьми, которых мы, может быть, никогда больше не увидим. Икону вставляют в карету, и несшие ее, «потрудившиеся» ради Царицы Небесной, отступают от захлопнувшейся с шумом дверцы и кладут размашистые поясные поклоны. Крестятся и кланяются все провожающие. Столпившись у парадной двери, мы все, накинув на себя что попало из верхней одежды, — и в этом была для нас особая прелесть — мы крестимся, провожая карету глазами, пока она не скроется за поворотом. После того нас торопят войти в дом, чтобы мы не простудились. В доме царит еще торжественное настроение, и Любовь Петровна поздравляет нас «молившись Богу». А в столовой уже все готово к чаю, и тетя с радостно умиленным лицом садится за самовар. Все чаепитие носит необычный, радостный характер, как будто было сейчас пережито что-то очень хорошее.

Та же картина, та же обстановка повторяется, когда в дом привозят тяжелую серебряную раку[28] с частицами мощей святых мучеников Пантелеймона, Трифона и других из Пантелеймоновской часовни. Монах с Афона — мне запомнились кроткие, одухотворенные лица двоих из сопровождавших мощи — открывает крышку раки — и вот на ней, на приподнятой вверх внутренней стороне изображения всех тех, мощи которых помещены в раке. Это умиляет душу, делает более близкими их имена. А рядом с открытой ракой устанавливают на столе, покрытом чистой скатертью, небольшую икону Тихвинской Божьей Матери. Когда кончится молебен, монах даст мне, как самой младшей из присут-

ствующих, в руки эту икону, подложив под нее пелену, — и я иду с ней по комнатам, предшествуя раке с мощами, которую несут двое. С чувством глубокого благоговения несла я эту святыню, прижимая к груди тяжелую для меня икону. Радовалась и гордилась своей ролью, когда выходила с ней на улицу и ко мне подходили прохожие, желающие приложиться к иконе. И тетя умиленно поздравляла меня, что я удостоилась нести святыню.

Так бывало всегда. Но в этот раз, когда пригласили мощи специально по болезни папы, царила, помимо обычного благоговейного настроения, еще атмосфера глубокого упования на милость Божию. Молились все с особенным напряжением — и на душе были горе и тоска. Папу вывезли в кресле к молебну. И вот когда пришло время прикладываться, он дал понять, что хочет встать. Его приподнял сильными руками ходивший за ним Иван — но сил удержаться на пораженных болезнью ногах не оказалось у папы, он покачнулся — и его поспешили усадить. Перепуг, который вызвало это среди присутствующих, то, что он не смог приложиться, как хотел, стоя, доставило ему большое страдание. Оно отразилось у него на лице и болью отозвалось в наших сердцах. До сих пор эта горестная сцена живет у меня в памяти.

Но еще более беспомощным запомнился он мне позднее, незадолго перед концом. Это было во время соборованья. Совершение того таинства, на котором я присутствовала впервые, произвело на меня глубокое впечатление. Кругом меня царило глубокое волнение. Слышался плач и тяжелые вздохи собравшейся прислуги. В руках присутствующих горели свечи. Стояла атмосфера безнадежности. И когда после совершения обряда мы подошли к постели папы, мы увидели его лежащим на спине в беспомощной неподвижности. Говорили, что во время соборования из глаз у него катились слезы. Этих слез мама не могла простить тете, потому что на совершении над папой таинства елеосвящения настояла тетя. Мама была против из боязни волновать больного: тогда ходячим было предубеждение, будто собороваться — значит готовиться к смерти. Но тетя, сама соборовавшаяся несколько раз в жизни, смотрела иначе и употребила всю свою энергию, чтобы побороть энергичную волю мамы и провести то, что она считала бесконечно важным для больного.

Вообще, во время болезни папы между мамой и тетей не раз происходили столкновения. Тетя не уступала своего места у постели столь дорогого ей человека. Она, с точки зрения мамы, делала иногда то, что могло волновать больного. Тетя думала, что она знает, что успокаивает

больного, зная его душу и отношение к жизни. Она не избегала разговоров на волнующие больного темы, зная, что замалчивание их часто доставляет страдающему гораздо больше мучений. Так, помню, раз ночью, когда около папы дежурила тетя и папа еще был в обладании речью, он начал говорить ей, прося ее запомнить, какой иконой из имеющихся в доме он благословляет каждого из нас, детей, — не забыл он и Кати. Могу себе представить, что чувствовала при этом разговоре тетя. Но она была убеждена, что папа исполняет свой долг, и ее долг было выслушать с кажущимся спокойствием его завещание детям. Папа, может быть, знал, что, обратись бы он к маме с подобным разговором, он бы сильно взволновал ее и она, наверное, боясь для него волнения, не дала бы ему кончить. В тете же, он знал, он найдет полное сочувствие и поддержку. Передав на словах свои распоряжения тете, папа попросил бумаги и карандаш и плохо повинующейся уже рукой начал писать. Он написал только: «Вере образ Спа...», имея в виду передачу мне с его благословением наш родовой образ благословляющего Спаса[29], который должен был переходить от младшей дочери к младшему сыну и от него — к младшей дочери и так далее в том же порядке. Этой иконой его, как младшего в семье, благословила бабушка наша, Елена Афанасьевна. Я с благоговением хранила ее всю жизнь, но она сгорела у меня в комнате во время пожара нашего дома в 1922 году. Папа написал только приведенные мной слова — и больше не смог. Тетя, выдержав бурю негодования со стороны мамы за то, что она допустила такой волнующий разговор, утром принесла мне бумагу со словами, так ярко свидетельствовавшими о любви к нам и заботливости папы.

Болезнь папы подтачивала здоровье тети — слишком глубоко она любила его. Измученная физически и душевно, поднималась она из комнаты больного к себе наверх. Она помещена была теперь наверху. Миша кончил к Рождеству гимназический курс и приехал жить в Москву. Ему отвели тетину комнату, а тетя переселилась в комнату около лестницы, где до сих пор жила я с немкой-гувернанткой. Теперь я чаще видела ее — видела страдающей, и эти страдания из-за папы связывали нас особенно сильно. Раз я сидела в средней комнате, так называемой «классной», слышала, что тетя поднялась по лестнице и вошла к себе. И вдруг до меня донеслось еле слышно, точно слабое дуновение — не знаю, как я услыхала: «Вера». Почти инстинктивно я побежала на этот неясный зов. И застала тетю стоящей у стола перед диваном, с трудом держащуюся на ногах. Перед ней стояла раковина-пепельница, и она

была полна крови. Я позвала на помощь. Тетю усадили на диван. Опасное для ее жизни кровотечение остановили заранее предписанными на такой случай средствами. Доктор уложил ее в постель. Но она рвалась вниз, к папе. И как только немного поправилась, с опасностью возобновления кровотечения горлом, она была уже на своем посту у постели больного.

Как же складывалась моя личная жизнь в эту бесконечно тяжелую для нас всех зиму? Внизу весь склад жизни был перебудоражен благодаря болезни папы. Наверху старались поддерживать обычный порядок. Коля аккуратно посещал гимназию, мои уроки шли правильно. Сергея Александровича заменил рекомендованный П.Д. Писаревым новый учитель, Петр Осипович Эле[30]. Он нашел у меня крупные недочеты: я знала многое больше, чем полагалось по моему возрасту, и не знала того, что должна бы была знать. В арифметике я бродила, как в потемках. Решала по какому-то наитию одни задачи, перед другими становилась в тупик. Петр Осипович бодро принялся за исправление моих недочетов. Он был опытным преподавателем, и с ним было легко учиться, кроме того, он был необычайно деликатным человеком, мягок и симпатичен в обращении. Добросовестен до чрезвычайности. Мы не имели с ним времени вести беседы, но весь нравственный облик его дышал благородством. И это действовало на меня. Я относилась к нему с большой симпатией. Расспрашивала его об его маленькой дочери, жене, приносила ему папины дорогие сигары, которые, я видела это, доставляли ему наслаждение. Я ему обязана не только тем, что он превосходно занимался со мной, но и за влияние его благородной личности. И от него я слышала только высокие, гуманные, чуждые материалистическим стремлениям мысли. Много, много лет спустя — он уехал в провинцию, и мы не виделись — он лежал в одной из московских лечебниц после операции рака в желудке. Через оказавшегося у нас с ним общего знакомого он передал мне просьбу навестить его. Как я узнала потом, он хотел просить меня помочь в случае его смерти его дочери Евгении Петровне в житейских затруднениях. Просьба его мне не была передана своевременно, и я не могла навестить его. Но то, что он после стольких лет вспомнил обо мне, меня глубоко тронуло. Про его длительную болезнь и страдания я узнала позднее от Евгении Петровны, познакомиться с которой

мне было душевно приятно: она была любящей дочерью и нежно ухаживала за отцом.

Как сейчас, вижу Петра Осиповича перед собой. Был он высокого роста, худощавый блондин с зачесанными назад светлыми волосами, удлиненным овалом бледного лица, с большими серо-голубыми, очень спокойными глазами. Спокоен он был и в поступи и движениях, неторопливо лилась его речь.

Уроки французского и немецкого языка продолжались своим чередом. Юлия Андреевна больше не жила у нас. Год тому назад она, после кончины своей невестки, переселилась в дом своего овдовевшего брата, к его многочисленным детям. Теперь у нас жила фрейлейн Кэльхен, приятная мне своим миловидным молодым и часто улыбающимся лицом. Но следа на моей душе она не оставила никакого.

Из новых впечатлений, полученных мной в эту зиму, ярко выделяется одно: посещение с тетей Бутырской пересыльной тюрьмы. Тетя считала посещение тюрем богоугодным делом. Собрав со своих знакомых и родных посильные пожертвования, присовокупив свои крохи, она с узлами отправлялась в тюрьму для раздачи. В эту зиму она в первый раз взяла меня с собой. Перед посещением тюрьмы я много работала: из остатков шерсти, предоставленных в мое распоряжение, я вязала шарфы и детские башмачки. Наконец мы поехали с тетей, увозя с собой большие узлы. Вот мы и у ворот тюрьмы. Зорко выглянул на нас в отверстие, проделанное в них, солдатский глаз. Сердце сжалось, когда мы очутились на тюремном дворе. Но ни с чем не сравню впечатления от отделения для семей, следующих за заключенными. Бледные, измученные женские лица, бледные, печальные дети, словно увядающие цветы. Мое сердце не мирилось с тем, что они разлучены с самыми дорогими им людьми, что они лишены воли. Обстановка, в которой они жили, была тесна и убога до крайности. Волны человеческого горя, неведомого мне досель, обступили меня. Мне хотелось остановиться около каждого из этих детей, смотревших так уныло и серьезно, и поговорить с ними об их горе. Я не умела этого сделать по охватившей меня робости, да и тетя спешила с обходом. Но когда мы уехали, мне захотелось вернуться.

Еще другое сильное переживание в ту зиму: я прочла первый роман, воспринятый мной как описание чувства любви. В сущности, я уже давно была знакома с романами: я читала Загоскина, Лажечникова, Масальского[31] «Стрельцы», наконец «Князя Серебряного»[32] и др. Но меня

интересовала в этих сочинениях меньше всего романическая сторона. Помню, я читала с увлечением французский перевод английской повести «Фонарщик» — там говорилось о дружбе маленькой девочки и постарше ее мальчика, и это было так понятно мне; но, когда герои выросли и чувство дружбы перешло в любовь, я заскучала и, перечитывая любимую книгу, пропускала страницы с объяснением чувств героев. Год перед тем я прочла вместе с гостившей у нас Катей переводные английские романы «Виолетта» и «Редклифский наследник». Катя проливала над ними слезы, я всеми силами удерживала свои, — но чувство любви, в них описанное, оставалось закрытым для меня. Но в эту тягостную для души зиму я прочла роман, который впервые сильно подействовал на мое воображение, возбудил целую бурю чувств, мне дотоле неизвестных. Этот роман был: «Тайна старой девы» Марлит.

Имя этого автора я слышала раньше. Романами ее и Вернера увлекалась Юлия Андреевна. Но я не любопытствовала, про кого и про что написано в этих книгах, которые приносились ею из немецкой библиотеки Пост. Познакомилась я с взбудоражившим мне душу романом совершенно случайно. Я была распростужена, с сильным насморком, слепившим мне глаза, не дававшим мне возможности читать или работать. Откинув назад голову, закрыв глаза, я сидела неподвижно в «классной» около двери в комнату мадемуазель, испытывая в сильной степени недомогание. А в комнате мадемуазель Лена читает по-французски книгу, которую они с фрейлейн только сегодня и принесли из библиотеки. И фрейлейн пришла со своей работой послушать. Мне нет никакого дела до того, что они читают, — мне нездоровится. Но вот ухо невольно воспринимает — читают про девочку и мучающего ее мальчика, выступает на сцену холодная, жестокая женщина. Я невольно прислушиваюсь, заинтересованная детским горем. Все больше и больше захватывает меня чтение Лены. Вот я перехожу в комнату мадемуазель и, стараясь быть незамеченной, усаживаюсь в сторонке, у окна. Фрейлейн и мадемуазель переглядываются: можно ли мне слушать? Но мадемуазель решает: «Тут нет ничего дурного, пускай посидит тут — одной ей скучно, больной». И я остаюсь, и это — начало испытанного мной за чтением этой книги блаженства.

Пользуясь моим нездоровьем, я каждый день прихожу в комнату мадемуазель слушать, когда Лена читает вслух. Сидя в сторонке, я стараюсь казаться безучастной к чтению, а между тем внутренний жар разливается по мне. Роман развертывается — и все больше и больше

захватывает меня, нас всех. Я уже не могу скрыть моего увлечения, но его разделяют и остальные читающие. Особенно увлечена мадемуазель, так что она меня понимает, так что, когда мое нездоровье прошло и не было повода присутствовать мне при чтении Лены, она не препятствовала мне продолжать слушание. И я полностью вкусила отравляющего наслаждения.

Это была настоящая отрава. Сладостно сжимало сердце от каких-то неведомых мне доселе чувств, головокружительных, сладостных. И они жили во мне не только во время чтения, но весь день сладостно преследовали меня. В часы, когда я была занята чем-нибудь иным или не была занята умственной работой, я пересказывала себе сцены из романа и переживала их так же ярко, как сцены из своих произведений. И Фелиситэ, и Иоганнес, и «старая мамзель» были для меня живыми[33], как и мои собственные герои. Только какими малозначительными стали мне казаться вдруг эти последние, сочиненные мной про них «истории». Вот так писать, как написан этот роман. Вот где настоящая жизнь — так казалось мне тогда про этот как раз далеко от жизни стоящий роман. Я не знала еще описанных в нем чувств — но сердце верило, что они существуют, что они светлой радостью могут наполнить душу. Оставшись одна в комнате, остановившись на ходу где-нибудь в коридоре, я часто про себя шептала: «Фелиситэ», — и одно имя героини вызывало во мне такое сладостное томление в сердце, что приходилось класть руку на грудь, утишая волнение.

Роман приоткрыл мне одну неведомую мне сторону жизни. То, что происходило вокруг меня, осветило мне другое. До сих пор семейная наша жизнь представлялась полной гармонии. Лишь инстинктивно ловила душа некоторые диссонансы. Теперь диссонансы стали ясно звучать. В доме с болезнью папы водворилась тревога и разладилась внутренняя жизнь. На почве ухода за папой происходили столкновения у мамы с тетей, так как ни та, ни другая не могла уступать в том, что считали они нужным в таком важном для них вопросе. Царила атмосфера растерянности и недовольства и взаимного осуждения. Шептались по углам. В комнате тети велись теперь разговоры — с тетей Анной Ивановной и приехавшей к нам гостить тетей Софией Ивановной, которые мне не позволяли слышать. Шушукались гувернантки с приглашенными для ухода за больным двумя сиделками из Вдовьего дома[34]. Эти си-

делки, пожилые особы, расхаживающие неторопливо, с явным старанием не утратить своего достоинства, в форменных платьях с коротким треном[35], были требовательны, малоуслужливы и раздражали больного. Я не слыхала того, о чем они говорили с гувернантками, но поняла, что они кого-то и что-то осуждают. Главным образом — метод лечения. Во внутренний мир нашей семьи ворвалась чуждая ему жизнь и принесла тлетворное свое дыхание. Я узнала, что есть злые люди и дурные дела. Мадемуазель «считала долгом» о чем-то предупреждать меня, делала мне неясные намеки, которых я не понимала, шептала часто: «Бедные дети» — и прижимала меня к сердцу. Я понимала только одно: что нас ожидает несчастье, может быть, бедность (как мало я заботилась об этом) и что что-то делается не так, как следует. Последнее меня тревожило и мучило и увеличивало тяжесть переживаемого.

И вот наступил, наконец, ужасный день — пятница, 11 марта. Безнадежность царила в доме. Стояла какая-то особенная тишина. Ждали среди дня доктора — не отсрочит ли он в своем приговоре конца, хоть на несколько дней. Он приехал, как обещал, в два часа. Я сидела и ждала в пустой гостиной (папу уже давно перевели опять в мамину комнату), и ждала. Вышел от папы доктор, другие. Приговор был произнесен: полная безнадежность, надо было ждать конца. И ничего нельзя было сделать, никакие человеческие силы не могли помочь.

Я сидела в пустой гостиной. Я хотела быть ближе к папе — к нему, избегая многолюдства, нас, детей, пока не пускали. Страдание сжимало мне сердце никогда еще не испытанными мною тисками. Вошла тетя и сказала мне: «Молись. Вот, прочти отходную», — и она указала мне на маленькую книжечку в оранжевом бумажном переплете, лежавшую на столе, — очевидно, ее кто-то уже читал. Эту книжку я тотчас узнала по ее обложке: по ней я читала отходную в тот памятный для меня вечер, когда мы все думали, что умирает тетя. Я взяла книжку и, оставшись одна, стала читать молитвы. Прочитав их, начала молиться своими словами. Но о чем я могла тогда молиться? Не могла я просить об облегчении последних минут умирающего. Душа не воспринимала мысли, что все кончено, что нет надежды. И вся душа противилась умилительным словам канона «на исход души» и взывала, вся напряженная, истерзанная мучением: «Спаси, спаси, ты можешь все». Время шло, я оставалась одна. Напряжение душевное достигло высшей точки.

Я больше не могла молиться. Я отдала уже Богу всю силу для меня возможной молитвы. Вдруг мой взгляд упал на другую книгу, лежавшую передо мной на столе. Том Гоголя, хорошо знакомый мне по переплету, с положенной кем-то в него красной лентой-закладкой. Его читала сиделка на ночном дежурстве. Я открыла его машинально. Машинально начала читать что-то такое, с середины, на чем открылось. И вдруг Гоголь захватил меня, как шестерней. Жадно читала я — это оказалась «Ночь под Ивана Купала»[36], — всякое слово точно впивалось в мозг, а душа словно расправлялась от тяжкого напряжения. Словно это было необходимо, чтобы дать отдых душе, дать ей возможность набрать силы для предстоящего ей еще большего страдания. Я читала — и, может быть, никогда мое воображение не переживало так ярко написанного, тогда как не испытывала я нисколько наслаждения, обычного при чтении любимого мной тогда писателя. И, когда я кончила, меня не потянуло читать еще дальше и дальше — и отдохнувшей душой я снова вернулась к жаркой молитве.

Шли часы — и как они проведены мной, я не помню. И вот мы собраны все у постели папы. Ярко горят у его изголовья толстые четверговые свечи, зажженные тетей. Стоит тишина — и когда я, стоя на коленях и уткнувшись лицом в постель, начинаю рыдать, моего плеча касается чья-то предупреждающая рука и кто-то шепчет мне краткое: «Молись». Длятся и бесконечно быстро для любящих бегут последние минуты. Хочется задержать время, ведущее к неизбежному... Сразу поднявшийся общий плач дал мне понять, что все кончилось... Мадемуазель и фрейлейн, охватив нас заботливыми руками, уводят Колю и меня наверх. В это время висящие над лестницей наши старинные стенные часы бьют восемь.

Потом, через некоторое время, нас приводят вниз на первую панихиду. В зале так необычно все. Собравшиеся заслоняют от нас самое главное. Но вот расступаются они. Мы видим — и с Колей делается дурно. Его уводят наверх. Сознание, что случилось с нами величайшее несчастье, все больше охватывает душу. Вдруг — громкий крик в гостиной. Слышен поднявшийся там переполох. То тетя увидала вдруг перед собой папу, идущего к ней живым, здоровым, бодрым. «Николенька?» — воскликнула она, и с ней сделался глубокий обморок.

На следующее утро я проснулась поздно — и с острым чувством горя в сердце. Чувству этому суждено было долго-долго еще жить в душе. В это утро я поняла его неизбывность, то, что такого горя мне еще не

приходилось нести. Что нет от него утешения. А как раз у моей кровати сидела, ожидая моего пробуждения, монахиня, Любовь Андреевна, которую мы знали с раннего детства, так как она приходила к нам в дом за работой и другого рода поддержкой. Она что-то говорила со мной, тихое, ласковое, но это не могло меня утешить.

Я не буду описывать последовавшие дни. Всякий, переживавший подобное горе, поймет меня. Что-то новое, неведомое нам еще, невиданное, чуждое ворвалось к нам в дом. Панихиды, на которых маме делалось дурно, на которых толпились знакомые и незнакомые нам люди, распоряжавшийся похоронами дядюшка Иван Григорьевич, неслыханные нами досель переговоры с причтом — наконец, вся обрядность, еще незнакомая нам. Слова псалтыри, произносимые монахинями нараспев, были мне непонятны. Молитвы и песнопения на панихиде еще не открылись мне в своем умиляющем значении. Из всей панихиды утешало меня единственное: «Благословен еси, Господи, научи меня оправданиям Твоим», — и это потому, что я придавала им своеобразный смысл: «Научи меня, как оправдать то, что Ты сделал с нами, тот удар, который Ты нанес нам. Сама я не понимаю, зачем Ты сделал нас такими несчастными». Переживать пришлось не изведанные еще ощущения. Помню ярко, как я в первый раз коснулась губами папиного лба. Как со смертельным и нежданным мною холодом этого прикосновения в сердце проникла мучительная уверенность, что все кончено навсегда. Потом мы покрывали несчетными поцелуями это дорогое нам лицо — но ничего подобного холоду первого прикосновения я не испытывала. Помню минуту положения в гроб — новый жизненный опыт. Мне папа представлялся все еще живым, одна минута — и с положением в гроб создалась как будто сразу непроходимая грань между ним и миром живых. Помню, как я на выносе шла рядом с Колей за гробом и как на перекрестке двух переулков ветер поднял вверх мою траурную вуаль — и я сразу как-то почувствовала все горькое значение моего траурного наряда и сказала себе по-французски (я тогда думала по-французски): «мой сиротский вуаль». Помню, как в церкви, после последнего прощанья, я охватила покровительственной рукой плечи безумно рыдавшего Коли — я себя чувствовала в данную минуту сильнее его — и как вдруг я сама зарыдала, беспомощно уткнувшись лицом в его плечо.

А там — медленное шествие к Новодевичьему монастырю, цепь медленно двигающихся по заснеженной мостовой, колыхающихся карет —

и за душу хватающий перезвон, встречающий нас у монастыря, — последние обряды — и от всего остается одна могилка, прикрытая венками, осененная крестом.

Много тяжелого было потом. Жизнь опустела без папы, и тяжелая скорбь сковала сердце. В течение шести недель мы ежедневно бывали у обедни и отстаивали панихиды. Часто ездили мы в монастырь, и мама, безутешно рыдая, припадала к могилке. К пасхальной заутрене мы поехали в монастырь. Грустно было, тяжело, хотя тетя и говорила, что в эту ночь надо только радоваться. Службу мы стояли в маленькой больничной церкви, и она показалась мне менее торжественной, чем в приходской церкви. Пользуясь ослабленным надзором, я под предлогом, что устала стоять и пойду искать себе местечка посидеть, начала бродить по незнакомому мне храму, присаживаться к старушкам-монахиням. Тогда я увидала впервые поразившее меня резное изображение святой Параскевы Пятницы и узнала, что перед ним служат молебны женщины, у которых ребенок долго не начинает ходить, причем на ноги изображения святой надевают чулочки ребенка, которые он потом носит. Свободное хождение по церкви, беседы со старушками-монахинями меня развлекали, но на сердце была тоска. Тоска эта увеличилась, когда после заутрени мы вышли на кладбище. Стояла сырая весенняя ночь. Ветер шелестел веточками венка из сухих крашеных трав. Одинокой казалась могилка. И нельзя было, как хотелось, припасть к ней и плакать, плакать без конца, потому что я научилась уже нести свое горе без слез, потому что мама, сама опустившаяся на колени в сырую, размокшую землю, запретила нам это, боясь простуды для нас. И странным, и чуждым моей, полной тогда протеста душе показалось тогда исполнение старинного обряда: положение на могилку красных яиц. Трогательным представлялся мне гораздо позднее этот обычай: под предлогом «христосования с покойником» оставлять на его могилке яйца в пользу посещавших кладбище нищих. Тогда я уловила в нем лишь языческую его сторону. Точно так, как возмущало меня тогда то, что тетя, исполняя старинный обычай, раскрошила яйца на могиле — для птичек, сказала она, «пускай и они помянут». Этот трогательный по мысли своей обряд казался мне тогда грубым суеверием, и мне казалось непростительным его исполнение.

Ранней весной мама с Мишей и Леной уехали за границу. Маме советовали дать отдых нервам после пережитого, набраться сил для предстоящих трудностей новой жизни. Мы провожали их на Смоленском, как говорили тогда, вокзале[37]. Я опять интересовалась незнакомой обстановкой — но провожала я их без огорчения. Не было у меня и желания ехать с ними. Я в это время странно отчуждалась от мамы и старших детей. Мне в душу вошел холод по отношению к ним. Охлаждение чувствовала я и к тете. Даже и приехавшая к нам в это время тетя София Ивановна, своей чарующей мягкостью всегда пленявшая меня, теперь не оказывала на меня умиротворяющего влияния. Я чувствовала себя одиноко переживающей горе. Я стала затаенной, сухой, жестко холодной.

В этом настроении поддерживала меня мадемуазель. Она брала мою сторону, когда я бывала нестерпимо заносчива с тетей. Она внушала мне, что я будто бы имею право быть недовольной, считать себя обиженной в своих чувствах. И я становилась все более несносной. Плохое это было время в отношении состояния моей души: темно, пусто и холодно было в ней. Я страдала от несвойственных моему возрасту дурных чувств.

Из этого тяжелого времени я сохранила несколько ярких воспоминаний. Прежде всего наши частые поездки в Новодевичий монастырь, к дорогой могилке. Монастырская служба с однотонным пением и тогда, как и в позднейшие годы, наводила на меня несказанную тоску. И меня при этих посещениях манила к себе не церковь и церковная молитва, но бесконечно дорогая могилка. Постояв немного, я с разрешения тети, а иногда и без него, — и она не могла ничего сделать со мной, до того я была своевольной, — уходила из собора и шла на кладбище. И тут, сидя у папиной могилки, молилась и разговаривала с ним. И, вспоминая, как он любил мою декламацию и как он называл меня «своей Рашелью», я вполголоса произносила наизусть стихи. Иногда я тихонько захватывала с собой томик стихотворений В. Гюго и читала папе «Молитву за всех»[38]. Я помнила хорошо, как в один из приездов тети Софии Ивановны папа сидел раз с ней и «нашей тетей» в саду, под большим тополем, и я прочла ему это стихотворение и доставила ему тем большую радость.

Мама при отъезде своем просила тетю пользоваться по своему желанию лошадьми и катать нас, младших детей, а также гостившую у нас с Катей тетю Софию Ивановну. Тетя воспользовалась этим, чтобы свезти нас на могилки наших родных, на которых мы до того никогда не бывали. Я осталась ей глубоко благодарна за это на всю жизнь. Мой дед, Иван

Андреевич Харузин, был погребен на кладбище Андроньева монастыря. Рядом с ним была погребена его вторая жена, Анна Ивановна, урожденная Сахарова, ее братья и сестры, члены необычайно дружной семьи Сахаровых. Рядом с бабушкой Анной Ивановной — ее дочь, 15-летняя Наденька, которую в своих рассказах о прошлой своей жизни тетя называла «ангелом» и по которой, говорила она, она «шесть лет не осушала глаз». Все эти лица были нам хорошо знакомы по рассказам тети. Мы знали, как трудно приходилось бабушке Анне Ивановне после смерти дедушки и что она не могла бы поставить на ноги оставленную им многочисленную семью, не поддерживай ее материально братья. Мы знали, что братья и сестры Сахаровы любили друг друга так же крепко и нежно, как папа — своих сестер, как мы, братья и сестры, любили друг друга. Для нас живой была «тетушка Лизавета Ивановна», необычайная аккуратница, чрезвычайно добросовестная в исполнении принятого на себя дела, которая никогда не съедала доставшегося ей сладкого куска, не разделивши его поровну между всеми членами семьи. И к Наденьке, этой сердечной, доброй девушке, так рано скошенной смертью, мы относились с любовью, и стихи, выгравированные золотом на ее памятнике, небольшой круглой колонке из гранита, говорившие об ее безвременной кончине, казались нам посредственным поэтическим произведением, но трогали чувства. Вдали от этой группы памятников была могилка нашей двоюродной сестры Анеты Кальман. Возле нее, гораздо-гораздо позднее, в 1894 году, выросла могилка ее любившей ее до безумия матери, нашей дорогой тети Анны Ивановны Кальман-Тарусиной. Второго мужа тети, Павла Харитоновича Тарусина, завещавшего похоронить его возле его «Анетушки» и приобретшего с этой целью могильную землю рядом с памятником тети, не удалось похоронить в этом месте: он скончался в городе Нежине.

Но не все наши родные покоились в Андроньевом монастыре. Первую жену дедушки Ивана Андреевича, Елену Афанасьевну, папину мать, пришлось похоронить на Пятницком кладбище[39], так как она скончалась от холеры и холерных запрещено было тогда погребать в черте города. Рядом с ней, гораздо позднее, похоронили старшего брата папы, Петра Ивановича — того «Петеньку», которого так любили все в семье за выдающуюся доброту и мягкость характера, скончавшегося от скоротечной чахотки, — и последовавшую за ним вскоре его жену, Анну Петровну. Тут же, возле них, положили нашу сестру, малютку Олечку. В

другом месте кладбища похоронен был брат мамы и крестный отец всех ее детей, за исключением Алеши, Николай Михайлович Милютин. Мама ездила на родные могилки на Пятницком кладбище, особенно любила она ездить «к Олечке», но нас она никогда не брала с собой. Пятницкое кладбище считалось очень отдаленным — зимой она боялась нас простудить. Может быть, также она хотела быть одна у могилки Олечки.

Тетя из нашего посещения Пятницкого кладбища устроила нечто вроде поездки за город. Отправились мы туда в яркий весенний день, в ландо, захватив все нужное для завтрака и чаепития на воздухе. Я сидела на переднем сиденье, между тетей и тетей Софией Ивановной, — и мне бросилось тогда в глаза изящество и благородство внешнего облика тети Софии Ивановны: ее прямой и легкий еще стан, красивая посадка головы, ее пленяющие изяществом манеры. Это было время нашего последнего свидания с ней: в ноябре этого же года (1880) она скончалась в деревне Уваровке, Веневского уезда Тульской губернии, где ее муж, Иван Дмитриевич Гущин, арендовал имение Уваровых. Теперь мы катили в ландо по новым для меня и интересным улицам, а против нас сидели Катя с круглым румяным лицом и в траурной мантилье и шляпе и Коля в гимназической шинели и синем форменном кепи. День был яркий и красивый — и мне дышалось сравнительно легко.

Был праздник — и поэтому кладбищенская церковь была полна народа. Бесконечно долго читали поминанье после сугубой ектеньи[40]. Тетя предложила нам сесть отдохнуть, но мы сказали ей, что выйдем ненадолго из церкви и погуляем где-нибудь поблизости. Тетя отпустила нас, сказав, чтобы мы никоим образом не уходили далеко. Тетя слышала, что на глухом загородном кладбище иногда скрываются босяки и беглые. Она рассказывала нам про бывший с ней случай, очень напугавший ее. Раз она углубилась в отдаленные места кладбища и встретилась там со священником. Каковы же были ее удивление и испуг, когда священник этот вдруг бросился от нее бежать, и при этом она заметила, что борода у него привязная. Тетя была уверена, что это был беглый каторжник. После этого случая она не уходила уже далеко в глубь Пятницкого кладбища. Но мы смеялись над страхами тети, не верили привязной бороде и были бы рады, случись с нами такая необычайная встреча.

Мы вышли из церкви — и сразу нас с Колей охватил дух предприимчивости: открывать новые места. Катя, никогда ни в чем не отказывавшая нам, последовала за нами. Мы пустились в путь по главной до-

рожке кладбища и вскоре неожиданно для себя увидали с левой стороны, у самой дорожки, небольшой, из черного мрамора детский памятник — нашей милой Олечки. Рядом с ним — памятник из серого дикого камня бабушки Елены Афанасьевны с вырезанной на нем стихотворной эпитафией: «Почто, почто ты удалилась От мужа, любящих детей» — и т.д. Мы помолились за лежавших тут родных, но оставались тут недолго. Нас влекло вперед. Мы достигли памятника Грановского[41], имя и значение которого нам было известно по восторженным рассказам тети. Постояли и тут в благоговении несколько минут — и двинулись дальше к краю кладбища. Напрасно Катя упрашивала нас вернуться — мы настояли на том, чтобы продолжать нашу «экспедицию». То, что мы уже натолкнулись на памятник, имеющий исторический интерес, окрылило нас. Мы смело двинулись вперед. И вот уже ров, ограничивающий кладбищенскую землю, а за ним не застроенный тогда простор. Не могу передать испытанного мной тогда чувства радости при виде этого простора. Так томилась тогда душа моя в городе, и я не видала еще никогда такой ранней весны не в городе. Цвели желтым пушком ветлы, и небо было голубое-голубое и такое приветное. Припекало солнышко, а ветер, ласковый и нежный, обвевал разгоряченное быстрой ходьбой лицо. Теперь мы спешили. Мы чувствовали, что прошло много времени с тех пор, как мы ушли из церкви, и что тетя должна беспокоиться. Мы шли быстро среди весенней радости этого сияющего дня — вдоль рва, по направлению входа в кладбище. Вдруг под цветущими ветлами я увидала звездчатку[42] — и много ее росло тут на насыпи у рва. Миленький и меленький весенний цветочек, который я знала только по гербариям братьев: он цветет так рано, что я не могла застать его в Архангельском. Я знала, что звездчатка — луковичное растение и что луковица у нее такая же миниатюрная и изящная, как и золотистый цветочек-звездочка. Мне захотелось воспользоваться редким для меня случаем и добыть для своего гербария полный экземпляр этого растения. Но, сколько я ни старалась выкопать руками растение с луковкой, я не успевала в этом: стебелек все отрывался от луковички. Тогда Катя предложила мне свои услуги. Она энергично схватила рукой целый пучок звездчатки и вытащила его с комком земли и прятавшимися в нем луковицами, так что я сразу сделалась обладательницей большого количества полных экземпляров. Но от энергичного движения Катя упала навзничь, а шляпа ее, зацепившаяся за ветку, повисла на осыпанной цветами иве. Предлог большому

веселью: мы с Колей умирали со смеху. Глядя на нас, начала смеяться и Катя — сначала она испугалась за свою шляпу и целость своего траурного вуаля.

Я остановилась на этом ничтожном инциденте потому, что он остался ярко запечатленным у меня в памяти как минута веселья, и потому, что в нем для меня как бы отобразилось и последующее отношение Кати к моим радостям и интересам. Она не разделяла их, часто они были ей вовсе чужды, но она всю свою любовь полагала в том, чтобы отзываться на них, забывая о себе, находя радость в моей радости, в моей улыбке. И как часто это бывало по такому же ничтожному поводу, как со звездчаткой. И как тепло мне бывало от этого.

Когда мы наконец вошли в церковь, нас встретил возглас священника: «С миром изыдем». Пришли как раз «вовремя», по тетиному любимому выражению, «к шапочному разбору». Волнению и негодованию тети не было конца. Нам пришлось выдержать длительную бурю, которую смягчила своим заступничеством мягкая даже в своем недовольстве тетя София Ивановна. Но возмущение тети и наше прекословие ей отравили всем чаепитие на воздухе, за простым деревянным об одну ножку столом, под цветущей ветлой, бросающей на него сквозные, голубоватые тени. В общей же сложности посещение нами Пятницкого кладбища оставило мне неизгладимое, приятное воспоминание.

Заграничная поездка мамы с Мишей и Леной продолжалась недолго. Они посетили Вену, Венецию, Генуя, переехали во Флоренцию — и тут мама получила письмо от Прохоровых, вызывавшее ее обратно в Москву. Прохоровы приискали покупщика на папино «дело», а именно фирму И. Щукина с сыновьями[43], и надо было торопиться с продажей. Тут же мама получила письмо от тети, писавшей ей о дурном влиянии на нас гувернанток. Мама прервала свое путешествие, освежавшее ее новыми впечатлениями, молодой радостью Миши и Лены, наслаждавшихся первой поездкой за границу, спешно вернулась домой — и тут разом потребовала, чтобы гувернантки оставили ее дом.

Это был для нас с Колей неожиданный, жестокий удар. Спешно, окруженные враждебной к ним атмосферой, собирались мадемуазель и фрейлейн. Я забилась в угол, наскоро перевела на французский язык стихотворение Лермонтова «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою»[44] и

отдала листок с моим переводом мадемуазель. В эту минуту неожиданно скорого расставанья я не сумела ничего сделать другого, как поручить любимую покровительству «теплой Заступницы мира холодного». И, Боже, какой одинокой я почувствовала себя после отъезда мадемуазель.

Одинокой — среди столь любящих друг друга членов нашей семьи. Но суть заключалась в несчастном для всех нас недоразумении. Оно разъяснилось для меня лишь много-много лет спустя. Тетя преувеличила вредное на меня влияние мадемуазель и напугала маму несуществующими опасностями. Необузданные, дерзкие мои речи тетя истолковала определенным знанием дурного — а этого не было. А между тем меня, я это чувствовала, в чем-то подозревали. За мной следили. Это было крайне тягостно. Я перестала во многом быть неприятной в разговоре, чувствуя холод и сдержанность к себе, но я ушла в себя. Замкнулась — и это было по сути своей хуже. Отчужденной от своих, готовой наедине переносить обрушившуюся на меня невзгоду и разлуку с любимым мной человеком чувствовала я себя.

Не знаю, до чего обострились бы отношения, не будь Миши с его сердечной чуткостью и тактом. Миша, которому тогда только что должен был исполниться 21 год, твердо решил, что будет маме опорой и помощью в ее житейских затруднениях и заботах о младших его братьях и сестрах. Он вглядывался в нас внимательно, старался окружить нас добрыми, светлыми влияниями, пробуждать в нас стремления к светлому, благородному. Так он влиял на нас все последующие годы: недаром я звала его позднее нашей путеводной звездой. Теперь, в эту горестную для меня весну, в трудную для меня жизненную минуту он был еще новичком в поставленной им себе задаче — приобрести над нами влияние, руководить нами. И он успел вполне в своих заботах обо мне. Вместо того чтобы отталкивать меня холодностью, он, напротив, старался меня вовлечь в интересы семьи, всячески приближал к себе, вызывал на разговоры. Он сделал так, что мне стало дышаться легче.

Из общих интересов семьи увлекали меня тогда и утешали впечатления только что закончившейся заграничной поездки, к которым так часто возвращался Миша в живой, образной речи. Полная поэзии Венеция, остров Лидо и ласкающая голубизна Адриатики, синие волны Средиземного моря, Милан с его собором, Генуя с знаменитым своим кладбищем манили к себе. Подолгу я рассматривала привезенные из-за границы фотографии. Я замирала от восторга перед фотографиями св. Марка, Дворца дожей, каналов со скользящими по ним таинствен-

ными гондолами, моста Вздохов и Риальто[45]. С восхищением смотрела я на изображение надгробного памятника Кановы[46] и на другие надгробия генуэзского кладбища. И с любовью перебирала подолгу привезенные нам в подарок красивые раковины из Средиземного моря, засушенные морские звезды и морские коньки. Это соприкасание души с миром искусства, с далекой природой было в то время единственным светлым лучом в моей душе.

Помню, как в эти дни затаенного уныния я неожиданно получила привет от моей подруги, Кати Щекиной. Она прислала мне с дачи маленький букетик из бумажных цветов: они были сделаны ею самой под руководством немки-гувернантки специально мне в подарок. Я относилась с презрением к искусственным цветам, хотя бы они и были изящно и искусно сделаны, как те цветы, которые, по моде того времени, украшали бальные платья мамы и Лены. Я усматривала в них святотатственное отношение к живой природе. Бумажные же цветы Кати были аляповаты и безвкусны, как могло быть только немецкое рукоделье. Но в эти дни духовного одиночества душа так жаждала ласки, что дружеский привет оказался ей отрадой. И я хранила Катин наивный букетик многие годы — до смутных лет революции.

Ехать на дачу в этом году было нельзя: маму удерживало в городе устройство ее дел, требовавшее ее присутствия, и прежде всего — продажа «дела». Продолжать его она не могла: для этого у нее не было ни склонности, ни охоты. Мише приходилось в это время решить дальнейшую свою судьбу: продолжать ли прекрасно поставленное «дело» папы или, прикончив его, поступить в университет и отдаться умственному труду. Он выбрал последнее. «Дело» папино решено было продать (Щукиным), и полученные деньги обратить в процентные бумаги. На исполнение формальностей уходили дни и часы — и мама, совершенно неопытная в делах, крайне утомлялась.

Жить в городе, в духоте и пыли нам, привыкшим к летнему простору полей и лесов, было чрезвычайно тягостно. В саду у нас, несмотря на шпалеры сирени и высокие тополя, было мало прохлады, на террасе полдня стояло пекло, комнаты мезонина накаливались под железной крышей. Мы изнывали от жары — тем более что лето в этом году было исключительное по жаре и бездождию.

Давила скука. Я искала себе развлечения. И вот несколько воспоминаний.

Я встала рано-рано — мне хочется знать, что делается «на свете» в такой ранний утренний час. Я тихонечко спускаюсь вниз, не будя никого, и, осторожно открыв дверь на террасу, спускаюсь в сад. Сажусь на садовую, окрашенную в зеленую краску скамейку под моим любимым большим тополем у забора — и в окружающей меня тишине начинаю наслаждаться. Никогда еще не приходилось мне видеть красоту утреннего летнего неба. Наслаждаюсь красками, светом, чистым сравнительно с дневным воздухом, тишиной на душе, тем, что я одна и за мной не смотрят. Вдруг — звук пастушьей трубы. Знакомый и любимый мной звук. Сколько раз уже этой весной и летом я, услыхав его, вскакивала с постели и подбегала к окну, чтобы видеть пастуха, идущего с коровами по Кречетниковскому переулку — и всегда это доставляло мне большое удовольствие. Теперь я мигом вскочила на скамью и стала глядеть через забор. Переулок сонный еще и пустой — какая чудная тишина, — а посредине мостовой шествует пастух, играя на трубе, а за ним не спеша выступают коровы. И так красиво раздаются звуки трубы в свежем утреннем воздухе.

Идет в доме варка варенья. У нас тогда варили по многу варенья — пудов по двенадцати и больше в год. Но вся эта процедура производилась не на даче, но в городе и лежала на обязанности Любови Петровны, так что мы, живя на даче, ее не видали. Впервые я присутствовала на этой страде. Во мне она пробудила интерес к хозяйственным делам, дала мне развлечение и работу. Прежде всего я отпросилась с Любовь Петровной на Болото за ягодами. Для этого надо было рано встать, чтобы поспеть на Болото к шести часам, идти по спящим еще улицам — и это было так странно: видеть знакомые улицы, знакомую реку при ином освещении и в другом, сказала бы я, настроении. Было так необычно и интересно. На Болоте уже кипела жизнь. И какой своеобразно красивый вид представлял рынок, заваленный корзинами и решетами с ягодами. Рыночный говор, рыночные возгласы, завыванье и торговля, бойкие речи торговок придавали оживление пестрой картине. Я наслаждалась новым для меня миром, таким красочным и оживленным. Особенно мне понравилось, что ребятишки ходили группами от одной торговки к другой с жестяными копеечными кружечками в руках, и в эти кружечки продавщицы опускали каждому из них по несколько ягод. Мы обошли с Любовь Петровной весь рынок — Любовь Петровна присмат-

ривалась, у кого можно было купить получше и подешевле, — и, наконец, торжественно водрузились с пятью-шестью решетами на извозчичью пролетку. Ехать на дребезжащем «ваньке» было также своего рода удовольствием. А дома предстояла работа: чистка привезенных с рынка ягод. Я с удовольствием присаживалась помогать. Тетя всегда готова была быть полезной, она тоже принимала участие в общей работе. Мы с ней сидели подолгу вдвоем, заняв нашими блюдами, тарелками, стаканами конец стола в буфетной, где было немного прохладнее. Усердно чистя ягоды — нет-нет и положишь ягодку в рот, как мы говорили, смеясь, «за труды», — я пересказывала тете сочиненные мной повести. Впоследствии я не раз удивлялась тому терпению, с которым тетя выслушивала всю ту чепуху, которую я с таким увлечением повествовала ей. Но она слушала меня с интересом, как выслушивала все, что нас близко затрагивало. Может быть, мои повествования открывали ей хоть небольшой доступ к моей душе, тщательно замкнувшейся от всех.

В моем сочинительстве произошел в это время значительный поворот. Чрезвычайно сильное впечатление произвели на меня романы Марлит — весной мы успели еще прочесть с нашими гувернантками «Золотую Эльзу»[47] и «В доме коммерции советника». Я уже говорила, что перед этими романами мои собственные произведения, те, которые жили в моем воображении, казались мне беспомощными, детскими, слабыми. Какие-то новые для меня отношения, могущие быть между людьми, неизвестные мне до сих пор, рисовались мне — и сердце чуяло в них жизненную правду. Эти отношения и я хотела воплотить в своих произведениях. Но мне недоставало жизненного опыта, знания тех чувств, о которых я хотела говорить. И я немилосердно скалывала своих героев и положения, в которые их ставила, с героев и положений у Марлит. Я сочинила за это время несколько романов, невероятно нежизненных и нелепых, все на тему молодого опекуна и опекаемой девочки, потом девушки, которые сначала не понимают и ненавидят друг друга, а потом начинают друг друга любить. Какая это была чепуха — но с каким сердечным трепетом я мысленно пересказывала себе эти романы.

По всем видимостям, лето, начавшееся таким образом, — все носили в душе скорбь от утраты папы, все томились от городской духоты и отсутствия простора и движения, мама, сопровождаемая Мишей, ездила по делам, утомлялась и тревожилась за настоящее и будущее, — лето,

говорю я, обещало быть тягостным. Но обстоятельства, пришедшие извне, сложились, наоборот, так, что оно осталось в памяти как приятное воспоминание. Сколько раз впоследствии я возвращалась к нему и припоминала полученное тогда от самой жизни указание: бывает, что перед человеком как бы замкнется стена — и кажется: дальше нет ни пути, ни дороги. И вдруг неожиданно расступится стена — и откроется просвет и путь. И удивляешься Промыслу, и благодарно преклоняешься перед ним.

В нашей жизни в то лето произошла благотворная перемена — и вызвана она была ничтожным, по-видимому, поводом.

Бывал у нас в семье, когда мы жили еще в доме Синицына, молодой судебный следователь Евгений Маврикиевич Баранцевич[48]. Мы с Колей были тогда слишком малы, чтобы видеть тех из гостей, которые приезжали на поздние вечерние собрания. Мы только слышали, что он прекрасно танцует мазурку, да Миша шутливо восхищался его «великолепными» усами. Конечно, мы улавливали это, как делают дети, вполслуха, еще и то, что он порядочный и честный человек, — потому что вовсе им не интересовались. Он оставался для нас незнакомцем, тем более, что за последние годы он и не бывал у нас. И вот теперь Миша неожиданно встретил его и возобновил с ним знакомство. Миша, стремившийся всесторонне изучать жизнь, попросил Баранцевича взять его с собой, когда он выедет куда-нибудь на следствие. Случай скоро представился: у одного дачника в деревне Мазилово[49] совершена была кража, и Баранцевич должен был выехать туда для снятия свидетельских показаний. Он заехал за Мишей на своей почтовой тройке.

Миша вернулся крайне довольный своей поездкой, оживленный новыми впечатлениями. Но особенно интересным оказалось для него то, что кража была совершена у старинного знакомого мамы, а именно у Алексея Петровича Шереметевского. «Ты помнишь, помнишь?» — спрашивал Миша у мамы со свойственным ему горячим оживлением. Мама отлично помнила. Когда маму 12-летней девочкой привезли из Ростова Великого от бабушки, доброй и любимой, в Москву, к старшей ее сестре, Ольге Михайловне Шипачевой, нелегка была в этом доме ее сиротская жизнь. Об ней заботились, ее любили, но ласки она была лишена: старшая сестра, при всей своей доброте, была крайне сдержанна в проявлении своих чувств. Кроме того, воспитание того времени требовало почтительного отдаления младших членов семьи от старших (так мама до конца жизни старшей сестры, имея уже взрослых детей, обра-

щалась к ней «Олечка, вы»). Из этой жизни, не богатой радостными, светлыми впечатлениями, память хранила приятное воспоминание о знакомстве с братьями Шереметевскими[50]. Они жили по соседству с Шипачевыми, и в этой семье, давшей нескольких видных педагогов, жил профессор Толстопятов[51]. Сверкала остроумием и образованностью их речь — это замечала и девочка, с живым интересом прислушивавшаяся к разговорам взрослых. А молодые гости отмечали в маме живость мысли, пытливость ума. Одного из Шереметевских Ольга Михайловна попросила руководить чтением мамы — и он приносил ей читать книги. Между прочим, через него она познакомилась с «Мертвыми душами». Вообще, она осталась благодарна ему за выбор доставляемых ей книг. Теперь, услыхав от Миши, что он встретился с А.П. Шереметевским, она с улыбкой стала вспоминать то далекое время. Миша говорил, что и Алексей Петрович вспомнил его, что он не забыл ни мамы, ни Ольги Михайловны. Миша стал мечтать о возобновлении знакомства.

Это случилось вскоре и совершилось очень просто. Под вечер, когда кончалась деловая часть дня, мы часто всей семьей ездили кататься за город. Это было отдыхом для мамы, а для нас — возможностью подышать чистым деревенским воздухом. Между прочим, мы ездили и в Кунцево[52], в Мазилово и на Фили. Вся эта местность была тогда не застроена до такой степени, как теперь, и был тут простор, где можно было погулять. В одну из таких поездок мы гуляли в окрестностях Мазилова. Мы шли по пыльной проселочной дороге, извивавшейся между полосами пашен, на которых уже колосилась рожь. И мы с Колей, как обыкновенно, были далеко впереди. Перебегая с одной стороны дороги на другую, мы искали среди ржи двойного колоса — нашей давнишней мечтой было найти «колос-счастье». Мы нашли надломленный колос — он нам показался двойным (мы тогда не видали еще никогда двойного колоса) — и, оживленные, мы побежали назад, чтобы показать маме и старшим нашу находку. И увидали, что наши остановились с встречным пожилым человеком и между ними идет живая, дружелюбная беседа. Тут мы подбежали с нашим колосом — и, ласково поглядывая на нас и улыбаясь, пожилой господин сказал, обращаясь к маме: «Какие милые детки». «Милые» — мне это было ново, меньше всего я сознавала себя «милой» в эту эпоху моей жизни. Но ласковый отзыв чужого человека был мне чрезвычайно приятен: он поднял меня в собственных глазах, когда все кругом, и я сама, делали мне очень низкую оценку. «Кто это? Кто это?» — спрашивали мы, когда пожилой госпо-

дин, распростившись с нами и на прощанье взглянув еще раз на нас с Колей с ласковой, полунасмешливой улыбкой, пошел своей дорогой, в противоположном от нашего направлении. «Алексей Петрович Шереметевский», — ответили нам.

Почему-то я не ездила несколько раз с нашими в Мазилово — а эти поездки закрепили новое знакомство. Я же увидала вторично Алексея Петровича при следующих обстоятельствах. Приезжая в Мазилово, мы нередко останавливались для чаепития на воздухе у хозяина одной пустой, оставшейся несданной на лето дачи. Дача эта, новенькая, чистенькая, стояла на крутом берегу ложбины, по дну которой, извиваясь, протекал ручей. Братья рассказали мне, что наш новый знакомый, который успел уже заинтересовать их, живет в крошечной дачке на противоположном берегу этой ложбины, несколько поодаль от нее, и что он имеет обыкновение выходить гулять вдоль края ее. И вот раз мы приехали в Мазилово к обычному месту нашего чаепития. Пока там шли обычные приготовления, я с младшими братьями уселась на крутом берегу ложбины — и стали мы ждать, не появится ли на противоположной стороне ее Алексей Петрович. Действительно, он скоро появился на том берегу. Он шел неторопливо, небольшого роста, худощавый, в темно-сером костюме и черной старомодной фетровой шляпе с высокой тульей, весь какой-то серенький. Сорвавшись с места, братья побежали здороваться с ним. Я — за ними. Вихрем неслись мы по крутому косогору, перепрыгнули с разбега через ручей, хватаясь за низенькие ольховые кусты, вскарабкались на противоположный берег, где остановился поджидать нас Алексей Петрович. И знакомство со мной совершилось так же просто, быстро и легко, как познакомились с ним за несколько дней перед этим Алеша и Коля. Доверчиво зазвали мы его пить чай и, получив его согласие, торжественно повели к своим.

Наше знакомство укреплялось с каждым днем, потому что вскоре мы стали видаться каждый день. Маму беспокоило, что мы остаемся летом без чистого воздуха, и она придумала следующее. Она сняла ту пустовавшую дачу, близ которой мы устраивали чаепитие, — и нас, младших детей, отправляли в Мазилово с утра, под охраной тети. Мама с Мишей и Леной приезжали сюда же, как только мама освобождалась от дел. На даче поместили прислугу — она ставила нам самовары, готовила обед. Беда была в том, что дача стояла совсем на юру, — при ней не было даже разведено палисадника. Зато мы могли пользоваться купаньем, а для тенистых прогулок к нашим услугам было Кунцево. Тетя по состоянию

своего здоровья не могла сопровождать нас в далеких наших прогулках — тем привлекательнее казались они мне благодаря полной свободе, при которой они протекали. Еще веселее стали наши блуждания по Кунцеву, когда к нам начал присоединяться М.М. Панов, вносивший в наши разговоры так много оживления, и наш двоюродный брат и товарищ Алеши по ревельской гимназии Сережа Милютин, такой молчаливый, но покладистый и с улыбкой соглашавшийся на всякую затею. Мы носились по Кунцеву мимо богатых, казавшихся нам торжественными, дач, избегали дорожки, именовавшейся в те времена «Страшным судом», потому что гулявших по ней критиковали чинно сидевшие на скамейках разряженные и скучающие дачники, зато с тем большим удовольствием скатывались по крутому берегу вниз к Москве-реке, бродили по лесной чаще, отыскивали в ней так называемое «проклятое место» с вековым дубом[53], доходили до Крылатского. Одним словом, колесили по Кунцеву вдоль и поперек, шли, куда хотелось, наслаждались отсутствием надзора. И хотя Кунцево казалось нам стеснительным дачным местом, слишком многолюдным, мы все же находили в нем много радующих нас удовольствий.

Главное же притяжение к Кунцеву составляло для нас общение с Алексеем Петровичем. Мы виделись с ним каждый день. Мама приезжала в Мазилово приблизительно в одни и те же часы. В это же время Алексей Петрович выходил из своей дачки и направлялся к краю ложбины с ручьем. Близорукий, он захватывал с собой бинокль и наводил его на нашу дачу, чтобы увидать, приехали ли наши старшие. Но обыкновенно младшие братья и я уже караулили его на нашем краю ложбины. И, увидев его, мы мчались вниз, перескакивали через ручей, вскарабкивались на противоположный берег и с радостными приветствиями вели его к нам на дачу.

Алексей Петрович был педагог по призванию. Он умел подходить к молодым душам, от всего сердца хотел просветить их добром. С ним чувствовалось легко и доверчиво. Говорилось так просто и откровенно. Не стыдно было признаться в своем незнании чего-либо. Он так мягко исправлял недочеты с ласковой или добродушно-насмешливой улыбкой. Помню, как при общем разговоре я откровенно призналась, что не знаю, что такое Парфенон. Он взглянул на меня своими небольшими, часто мигавшими, с ласковым взглядом, глазами и поднял кверху ладони в знак смешливо-горестного изумления. И тотчас начал говорить о красоте и значении Парфенона, и говорил он так увлекательно, что мне захоте-

лось основательно познакомиться с древнегреческими храмами. Моему желанию, как всегда, пришел на помощь М.М. Панов. Он достал мне книгу Гуль и Конера. В другой раз, уже предвидя его ужас, я, смеясь, призналась Алексею Петровичу, что, прочитав по его совету стихотворение Майкова «Савонарола»[54], я была очень удивлена: мне казалось, что Савонарола — это цыганка с козочкой. И снова на его лице выражение смешливого ужаса, и дальше разговор, возбудивший во мне желание познакомиться с целой эпохой. Интересны были вообще его беседы, сверкавшие к тому же остроумием. Мы все обязаны ему многим.

То был год открытия памятника Пушкину в Москве на Тверском бульваре (1880 год). Только что отшумели пушкинские торжества[55] в Москве. Косвенно их лучи осветили и нашу жизнь. В руках у нас побывали некоторые выпущенные к этому времени издания. Нас возили смотреть памятник — и мы созерцали его, оставаясь сидеть с тетей в коляске. Но главное: Миша раздобыл себе билеты на заседания Общества любителей российской словесности — и приезжал он оттуда восторженный, вдохновленный — и мы, младшие, кое-что улавливали в его передаче слышанных им речей, великое, светлое[56]. Но полюбить Пушкина заставил нас Алексей Петрович.

Прежде всего он подал мысль возложить на памятник великого поэта венок от нашей семьи. Венок должна была, по его совету, возложить Лена. И вот в один сияющий солнцем летний день к памятнику подъехала элегантная, «своя» пролетка, и из нее вышли высокая дама в трауре (сопровождающая Лену тетя) и прелестная своей юной красотой и скромностью девушка, тоже вся в черном. Подойдя к памятнику, она с восторженностью в груди положила лавровый венок на его подножие. Лена до конца жизни помнила то чудное чувство, которое она испытывала тогда, и осталась на всю жизнь благодарна за эти минуты Алексею Петровичу (она вспоминала о них за день до своей кончины). Тетя говорила, что Лена была прелестна своей милой простотой и чистым выражением лица, и она не могла не любоваться на нее.

Потом Алексей Петрович предложил нам устроить в честь Пушкина литературный вечер. Все мы должны были выступить на нем с стихотворениями Пушкина. Литературный наш вечер решено было устроить в мамины именины, 22 июля. Эта новая мысль внесла значительное оживление в нашу жизнь. Алексей Петрович выбрал для каждого из нас стихотворение — и началась усиленная подготовка. Учил нас декламировать Алексей Петрович под большим деревом неподалеку от своей дачки. При

этом он требовал, чтобы мы подчеркивали отдельные слова и выражения соответствующими жестами. Но мы разучивали свои стихотворения и по отдельности, и друг перед другом, и перед мамой и тетей. Это было какое-то сумасшествие. «Тетя, можно вам сказать?» — и она чуть не в сотый раз с интересом выслушивала декламировавшего, одобряла его или делала свои замечания. «Так я? Я — вот как», — и мама, очень хорошо читавшая стихи, читала нам так, как бы она прочла. Теперь, бродя по Кунцевскому парку, мы часто присаживались на скамейку — и тотчас кто-нибудь встанет и скажет: «Давайте, я вам скажу». И становился в позу против сидящих на скамейке и декламировал свое стихотворение. После него выступали по очереди другие. При этом Коля приводил нас неизменно в восхищение. Он сначала декламировал «Пророка» с намеренно утрированными жестами, высмеивающими требуемую от нас жестикуляцию, в которой мы не видели смысла, а затем произносил любимое нами стихотворение «по-настоящему», красиво и вдохновенно.

Наконец наступил торжественный день. Мамины именины в первый раз после кончины папы — какие тяжелые чувства должны были пробудиться у нас в душе. Но наш литературный вечер, волнительные приготовления к нему скрасили этот день. Спасибо за то сердечное Алексею Петровичу. Именины справляли на нашей пустой даче в Мазилове. Были гости: свой человек, М.М. Панов, Баранцевич, начавший бывать у нас, П.Д. и Т.С. Писаревы — они жили в небольшой дачке на противоположном конце Мазилова. В маленьком, отгороженном для будущего палисадника пространстве мы «зажгли иллюминацию», как мы говорили тогда, то есть развесили несколько бумажных фонариков. Пили чай в этом «палисаднике», а потом выступили мы со своей декламацией. За оградой палисадника столпилась «публика» — крестьяне и дачники. Это еще больше поднимало настроение. Лена, всегда относившаяся пессимистически к смыслу жизни, прочла с соответствующим оттенком «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты нам дана?» и, не совладав с охватившим ее волнением, упала на стоявший за нею стул, закрыв лицо руками. По тому, как бросился к ней со стаканом воды Баранцевич, было ясно, что у него сердечное влечение к этой милой девушке в скромном траурном платье, с таким чистым выражением лица (год спустя он сделал ей предложение — это было первое из многочисленных, полученных ею). Продекламировала я вслед за Леной «В часы забав...», Коля — с горячим подъемом «Пророка», Алеша — «Памятник» и т.д.

После этого первого удавшегося литературного вечера мы с радостью приняли предложение Алексея Петровича устроить второй. На этот раз он составил более обширную программу и не ограничился одними произведениями Пушкина. Но что всего более заняло нас, так это то, что он убедил нас «поставить» «Сцену у фонтана»[57]: он должен был фигурировать в роли Лжедмитрия, а Лена — в роли Марины. Как «поставить»? Как это можно, без сцены, декораций и костюмов? Но Алексей Петрович убедил нас, что для воспринимания представляемого на сцене требуется прежде всего иллюзия. И мы поняли это на нашем литературном вечере.

Мы устроили его в небольшом палисаднике перед дачкой Писаревых. Этот скромный палисадник представлял небольшой круг с круглой клумбой посредине, обрамленный со всех почти сторон вишневыми деревьями. В центре клумбы мы по указанию Алексея Петровича водрузили так называемую «машинку», то есть каменную вазу-фильтр для питьевой воды. Она была задрапирована скатертью и должна была изображать фонтан. Освещалась наша «сцена» сиянием полного в тот вечер месяца да дисгармонировавшими с ним двумя садовыми подсвечниками на поставленном сбоку суфлерском столике. И при такой обстановке перед публикой предстал Лжедмитрий — Алексей Петрович, задрапированный в старый макферлан[58], в кто знает откуда взятой шотландской шапочке на голове, старый не по роли и слегка пришепетывающий. Потом вышла Лена в обычном своем черном кашемировом платье — единственным признаком ее роли был веер из серых страусовых перьев, который она держала в руках. Конечно, мы понимали отлично, что все это — не то, но, я все-таки скажу, мы переживали возбужденно и восторженно этот вечер. Прекрасная декламация Алексея Петровича заставила забыть о смешно болтавшихся на его седеющей голове ленточках шотландской шапки. В ушах звучал бесподобный пушкинский стих, знакомые слова — я успела выучить наизусть всю сцену, выслушивая Лену и подавая ей реплики за то время, как она готовилась к вечеру. И это было наслаждение Пушкиным.

Алексей Петрович приготовил нам неожиданный сюрприз. По окончании сцены, когда громкими рукоплесканиями вызвали «артистов», Лене подан был небольшой лавровый венок. Вручить его ей напросился Баранцевич. Он бросил его ей к ногам, но бросил не совсем удачно: пришлось ему поднять венок и вручить его Лене из рук в руки. Весь этот инцидент послужил к большему еще подъему в нашем настроении. В

следующем отделении выступала я с «Василием Шибановым»[59]. Когда я кончила это всегда волновавшее меня стихотворение и раскланивалась в тумане взволнованности на аплодисменты, я вдруг увидала нечто, казавшееся мне совершенно невероятным по отношению к себе: передо мной стоял Алексей Петрович и подносил мне букет. Он улыбался своей милой, чуть-чуть насмешливой улыбкой и говорил мне какие-то приветственные слова. Я совершенно потеряла голову от той радости, которую мне доставил этот букет. Долгие годы хранила я его в засушенном виде.

Лето приходило к концу. Вечера стали длиннее, ночи — звездны. Дни бывали еще солнечные, жаркие, но по вечерам было прохладно. Приходилось расставаться с Мазиловом и Кунцевом. На прощанье мы устроили третий за лето литературный вечер. Но его пришлось устраивать уже не в палисаднике — настолько был свеж воздух, — а в одной из пустых комнат нашей дачи. Помню эту пустую комнату, светло освещенную керосиновыми лампами, стол чайный, как всегда обильно уставленный всякими закусками и «заедками», — и за теснотой небольшое пространство у стены для декламирующих. И меня с Колей, декламирующих с увлечением «Поэт и чернь» Пушкина. И было нам всем на этом вечере увлекательно и приятно.

А там мы простились с Мазиловом, и с любимым нашим Кунцевом, и с любимой нами Поклонной горой по дороге к ним, где мы неизменно предавались историческим воспоминаниям[60] и любовались Москвой.

В это лето я в первый раз прочла «Евгения Онегина». Посоветовала мне прочесть его мама. Она помнила, как ей принесли прочесть эту поэму братья Шереметевские и какое сильное впечатление она сделала на нее. Мама сказала мне, чтобы я, прочтя «Онегина», сказала бы ей, какое получу впечатление. Этого было довольно, чтобы я про себя решила заранее скрыть то, что стану переживать при чтении. Но мне не пришлось ничего скрывать: «Онегин» не произвел на меня впечатления. Я, скучая, дочла поэму. Когда я рассказала об этом маме, она была очень разочарована. «Мне казалось, — сказала она, — что это такое произведение, которое не может не произвести сильного впечатления, особенно когда читаешь его в первый раз». Может быть, она подумала, что это было одно из проявлений моей скрытности. Но это было не так: «Онегин» не затронул во мне никаких чувств.

Совсем другое дело Тургенев. До сих пор я читала только «Бежин луг», который оставил мне впечатление волнующей жути. Теперь я прочла «Дворянское гнездо» и «Рудина». И это было такое упоение. Мне каза-

лись бы неполными мои воспоминания о Мазилове, если бы я не упомянула этого первого, в сущности, знакомства моего с Тургеневым. Потому что читала-то я его произведения в Москве, а переживала я их в Мазилове. Помню, как я сижу с братьями на косогоре, поджидая появления Алексея Петровича, болтаю с ними, смеюсь — а в душе живет Лиза или Наташа, и так ясно-ясно стоит перед внутренним взором все, как было «то»: обстановка, действующие лица. Помню, как под жарким солнцем мы идем купаться втроем: мама, Лена и я. Я бегу вперед по песчаной тропинке, вьющейся вдоль ручья, бегу вперед — это тоже способ оставаться «одной», самой с собой, — а в душе нежной музыкой поет образ бесконечно милой мне Лизы, который я сближаю внутри себя с нравственным обликом моей Лены, или отзывается горечью горечь душевных переживаний Наташи. Это не мешает мне, придя в купальню, «напоказ» с увлечением декламировать тирады из «Сцены у фонтана» — этого увлечения я не считала нужным скрывать. А там были тайники моей души.

Тургенев открыл мне целый мир. Так вот как можно было писать. Так вот как надо писать, чтобы чувствовалась правда жизни. Надо сказать, что тургеневские типы и жизнь, им описанная, были нам гораздо ближе и понятнее, чем современному поколению. Так вот какова настоящая жизнь. Поблекли для меня, показались мне ходульными романы Марлит. Бессознательно я еще подражала им в своих собственных фантазиях, но я уже понимала их несостоятельность.

Лето прошло, начался зимний сезон. Мы вошли в него с обновленной душой — благодаря мазиловскому лету. Забыли ли мы свое горе? Нет, мы глубоко затаили его в себе. Любовь к папе жила в наших сердцах и продолжала жить для тех из нас, которые отошли от нас навеки, до самой смерти. И в те годы, близкие к пережитому горю, было так тоскливо без папы. Но жизнь брала свое. Она катила нас в своих волнах, давая новые впечатления, новые переживания. И молодое деревце, пригнутое бурей долу, скоро выпрямляется.

ЧАСТЬ V

13 I 1925

Зима рисовалась впереди с серьезными обязанностями. Миша поступил в Московский университет, на юридический факультет. Алеша уехал в Ревель, в свою гимназию. У Коли начались гимназические занятия. Мне предстояло готовиться к поступлению в учебное заведение.

Не знаю, как созрело у мамы такое благодетельное для меня решение. Знаю, что в выборе для меня учебного заведения значительную роль сыграл Колин учитель латинского и греческого языков, Антон Киприанович Кардасевич. Он высоко ставил образование и был искренним и горячим сторонником необходимости серьезного женского образования, что разделялось в те времена далеко не всеми. Он принял сердечное участие в дальнейшем моем образовании. Познакомившись с программами казенных и известных в то время частных женских учебных заведений, он остановил свой выбор на серьезнейшем из них — женской классической гимназии Софии Николаевны Фишер[1]. Тут девочки учились по программе мужских гимназий, что тогда казалось повышенным требованием, и выпускной экзамен из 8-го класса давал им аттестат зрелости, как и мужские гимназии давали его своим воспитанникам. Антон Киприанович съездил в избранную им гимназию, переговорил с Софией Николаевной Фишер и убедился, что ею ставятся серьезные требования и к учащим, и к учащимся в ее гимназии, и это его еще более восхитило. Собрав все нужные сведения, он с твердым убеждением, что действует во благо мне, дал совет маме поместить меня непременно в гимназию Фишер.

Ввиду предполагавшейся трудности учиться в этой гимназии мама затруднилась принять самоличное решение. Помню, как она отозвала меня от всех в стоявшую пустой гостиную и, объяснив мне все, сказала, чтобы я решила сама вопрос о гимназии Фишер, чтобы потом не жаловалась на трудности ученья. Ни минуты не колеблясь, я приняла утвердительное решение. И уже я бы не стала жаловаться, если бы мне

оказалось ученье не под силу. Учиться, как мальчик, как Коля, — я всегда мечтала об этом. Поступить в гимназию, учиться вместе с другими девочками — какое счастье!

Было решено, что я к весне приготовлюсь ко вступительному экзамену в 4-й класс. Антон Киприанович брался пройти со мной за зиму трехлетний курс латинского языка и однолетний курс греческого (тогда в гимназиях начинали латинский язык с 1-го класса, а греческий, тоже обязательный по программе, — с 3-го). Петр Осипович Эле тоже не сомневался, что ему удастся меня приготовить к маю по всем остальным предметам.

Я серьезно принялась заниматься — и в этом видела только удовольствие. Напряженность учения, требовавшаяся от меня, рождала бодрую энергию. Я любила самый процесс учения, преодолевание трудностей. Помимо того, я скоро полюбила латинский язык (гораздо позднее, уже в гимназии, — и греческий), звук его, твердый, отчеканенный, определенный, мне по характеру. Надо заметить также, что с Антоном Киприановичем было чрезвычайно легко учиться: так бодро вел он занятия, так как помогал разбираться в дебрях Корнелия Непота[2].

Давать мне уроки по закону Божьему мама пригласила священника из Николо-Песковской церкви, отца Иоанна Благоволина[3]. Я сохранила благодарную память о нем. Его уроки были не только интересны, они были полезны и для души. Он не ограничивался разъяснением и спрашиванием урока, он беседовал и вызывал на беседу. Я любила его и его уроки. И встречала его внизу, в передней, подходила благоговейно под его благословение и почтительно вела его наверх. Там, в нашей светлой, залитой временами солнцем «классной», шел наш урок, происходили наши беседы — и открывался мне глубокий смысл нашего православного богослужения и церковных песнопений и молитв. (Мы проходили курс 3-го класса — Богослужение.) И я так хорошо помню его, его мягкую речь, его уменье подходить к моей дичившейся душе. Ему я обязана многим.

У меня тогда назрело много вопросов. Я сразу как-то выросла, и физически, и нравственно. Пережитое не прошло даром. Я вытянулась так, что думали: я наследовала высокий рост моих тетей с папиной стороны. Черты лица, судя по сохранившейся фотографической карточке, стали определеннее. Я казалась старше своих лет. Новая эра жизни началась для меня. Во многих отношениях.

В эту тихую, траурную зиму, когда так много времени уходило на ученье, в мою жизнь ворвались новые яркие переживания. Прежде всего упомяну о посещении оперы. До этого года (сезона 1880—1881 года), если я не ошибаюсь, русскую оперу давали в Большом театре только редко — кажется, по воскресеньям, остальные дни были заняты балетом. Русская опера была в упадке, голоса были неважные. Русская опера не пользовалась успехом у москвичей. Великим постом приезжали итальянцы-певцы — большею частью знаменитые голоса, — и тогда было общее увлечение оперой. В этот год впервые, помнится мне, устроены были абонементные спектакли русской оперы с достойным составом певцов. С тех пор русская опера все крепла и развивалась в Москве.

Маме очень хотелось посещать оперу — ничто так не успокаивало ее, как оперная, любимая ею музыка; ничто не могло лучше развлечь ее в переживаемом ею тяжелом горе. Но, по воззрениям того времени, ее могли бы осудить за посещение театра во время траура. Мама колебалась брать абонемент. Но она, в сущности, никогда не считалась с тем, что могут сказать про нее, если в глубине души сознавала себя правой. Она чувствовала и знала по опыту, что горе можно нести глубоко в себе, не выставляя его наружу, напоказ людям. Она решилась и, поддерживаемая в своем решении Мишей, взяла абонемент на сезон — ложу бельэтажа, помню, № 14, против сцены.

Но я, не делясь ни с кем моими мыслями, смотрела на дело иначе. Я была еще всецело заражена привитыми мне мадемуазель Сикр взглядами на необходимость строгого соблюдения траура. Посещение театра в траурный год казалось мне неуважительным по отношению к памяти папы. И вот когда мы в первый раз поехали всей семьей в оперу — давали «Аиду»[4], — я переживала незаметно для других тяжелую душевную драму: я не должна была ехать, я должна была сказать: «Я не поеду», и у меня не хватило мужества заявить это. Я терзала себя укорами в малодушии. Но было поздно: карета, покачиваясь, везла нас по знакомым улицам, которые мы с трудом различали сквозь запотелые окна, и привезла нас наконец к знакомому подъезду Большого театра. Знакомая обстановка, знакомый воздух зрительного зала, знакомый, нас занимавший занавес с изображением въезда в Кремль — все, что так поднимало всегда настроение. А теперь мне так горестно на душе. Тяжело мне.

Начинается опера. Коля в восторге. В нем пробужден интерес историка. Хотя постановка опер в те времена не преследовала историчес-

кую и бытовую точность, как делалось это позднее, но все же перед нашими глазами развертывалось нечто египетское. Я смотрю и слушаю равнодушно. Но что это? Постепенно и против моей воли, потому что сижу я, внутри протестующая против обольщения возможного удовольствия, все, что происходит на сцене, захватывает меня, проникает в душу. И что-то неизъяснимо сладостное открывается ей в звуках музыки, в пении. И это — любовь. И хотя я знала про любовь из прочитанных мной романов, ничто не открыло мне ее в ее красоте, счастье и страдании, как «Аида». Со второго акта я уже не боролась с возрастающим в напряжении наслаждением — и уехала из театра чем-то уже не той, какой чувствовала себя несколько часов тому назад.

Прошел еще один очередной абонементный спектакль — и я уже не мучилась, сидя в театре, внутренним противоречием с собой. Я испытывала такое полное наслаждение. Можно сказать, я училась любви в опере. Джильда в «Риголетто»[5] меня увлекала совершенно своей самоотверженной любовью. Последовали «Фауст»[6], «Гугеноты»[7], другие еще оперы. Из них выделилась для меня произведенным на меня впечатлением «Африканка»[8]. Я всем существом как-то почувствовала себя родной Селике. Ее страдания и смерть глубоко взволновали меня.

Это не мешало мне наравне с Колей отмечать и критиковать нелепость либретто этой оперы. Мы были поражены и смеялись над тем, что Селика сумела объяснить Васко да Гама на карте Африки, где находится мыс Доброй Надежды. Также, что родина африканки оказалась Индия. Слушая оперу, мы переживали не одну, но несколько различных эмоций. Мы следили с величайшим интересом за развивавшимся действием, учились на постановке чужому, иногда давно минувшему быту. Но мы и критиковали постановку — со всей смелостью нашего возраста. Правда, что она тогда оставляла желать многого. Мы же были заражены требованиями реального. Нас задевало и коробило, когда на сцене все хористы или большинство из них делали один и тот же жест и пели, стоя в кучке, не играя. Мы были взыскательны к костюмам и ко многому другому. И в то же время наслаждались.

С нами тогда ездила часто в театр подруга Лены по пансиону Дюмушель Ольга Ильинична Романова (сестра профессора Н.И. Романова), хорошенькая и очень милая барышня. Раз, это было в начале оперного сезона, она попросила у мамы разрешение провести меня по фойе. Лене

сочтено было неудобно выходить в фойе в траурном платье, а мне, маленькой, — ничего. Фойе Большого театра, в котором я никогда еще не бывала, произвело на меня сильное впечатление. Нарядная толпа, окружающая нас, меня и смущала, и радовала. У дверей залы к нам, неожиданно для меня, подошел красивый и элегантный, показавшийся мне немного манерным, молодой человек. Ольга Ильинична представила мне его как своего двоюродного брата, Василия Евграфовича Курлова (впоследствии известный присяжный поверенный). Молодой человек отвесил мне светский поклон, потом пошел с нами рядом и разговаривал больше со мной — про оперу, достоинства колоратурной певицы Кочетовой, исполнительницы Джильды[9]. Я чувствовала себя польщенной: до сих пор мне еще никого не представляли, как «маленькой»; теперь я почувствовала себя «немножко большой».

Упоминаю об этом незначительном инциденте, потому что это, можно сказать, был момент, с которого начались новые наши знакомства. Нечто новое постепенно просачивалось в жизнь нашей семьи: к нам в дом проникло нечто новое — молодежь. Она была для нас с Колей старшая, подходящая по годам не к нам, а к Мише и Лене, но это все же не было старшее, далеко от нас ушедшее уже поколение. Молодежь эта внесла оживление в наш затихший в переживании траура дом.

Не помню, как мама пришла к решению устроить приемный день. Наши «среды» в этом году были тихие — без танцев. Но они давали нам новые впечатления. На следующий год они были уже многолюднее и оживленнее. Рисуются моему воспоминанию следующие образы из описываемой мною и следующей за ней зим.

Помимо Ольги Ильиничны Романовой у нас стала бывать другая пансионская подруга Лены — Елизавета Степановна Кожевникова (все звали ее за глаза и в глаза Лизочкой Кожевниковой): хорошенькая, пухленькая армяночка, как ни странно, блондинка, веселая, добродушная, невозмутимо спокойная. «Ах», — воскликнула она, когда однажды услужливый, но неловкий кавалер, кажется Михаил Михайлович Панов, уронил ей на колени большой кусок паюсной икры. И когда он рассыпался в извинениях, она с невозмутимой своей улыбкой прикрыла поспешно свое голубенькое платье салфеткой и спокойно произнесла: «Теперь можете». Ничуть не рассердилась она, как никогда не сердилась. Через Алексея Петровича Шереметевского, наверное, мы познакомились с Александрой Николаевной Ермоловой (один из братьев Шереметевских

был женат на Анне Николаевне Ермоловой[10], впоследствии известном педагоге и общественной деятельнице). Александра Николаевна Ермолова впоследствии вышла замуж за Кречетова и под двойной фамилией Ермоловой-Кречетовой[11] играла на сцене Малого театра и была в нем незаурядной силой. Из того времени помню ее очень молчаливой, очень красивой — ее профилем восхищался Миша, также и Коля. Бывала у нас в те времена Александра Николаевна Смирнова, племянница нашего приходского священника, красивая, румяная девушка с ярко-голубыми глазами и густыми светлыми волосами. Она впоследствии вышла замуж за П.Н. Милюкова[12] и была выдающейся общественной деятельницей. Тогда она была курсисткой — на курсах Герье[13] — и там, молоденькая, выдавалась уже своими способностями. И у нас отмечали, что она очень умная, что умеет прекрасно говорить. Она отличалась прямотой, спокойствием, простыми, скромными, но уверенными манерами. Совершенно другой облик представляла другая курсистка с курсов Герье, бывавшая тогда у нас, — Мария Николаевна Милашевич. Стройная, светски воспитанная, она пленяла изяществом и женственностью. Несмотря на то что она была далеко не молоденькой девушкой, она очень нравилась Мише. Он был восторженным почитателем женственного в женщине. Он был из тех, кто видел в женщине высокий идеал и тем возбуждал во многих женщинах стремление приблизиться к этому идеалу. В этом заключалась, по-моему, доля того обаяния, которое он несомненно имел в обществе. В Марии Николаевне Милашевич Мишу интересовало и привлекало и то, что она была сестрой милосердия в русско-турецкую войну. Впрочем, увлечение его было неглубокое, и он со свойственной ему экспансивностью громогласно заявлял о нем в своей семье.

С Марией Николаевной Милашевич и Александрой Николаевной Смирновой Лена познакомилась на курсах Герье. Она поступила на них по настоятельному совету Алексея Петровича Шереметевского (тогда еще с сомнением и неуверенностью относились к необходимости и пользе высшего женского образования), и мама, пожалуй, без его совета не решилась бы «отпустить Лену на курсы». Слишком пугали многих родителей того времени типы курсисток-нигилисток, с остриженными коротко волосами, в синих очках и с пледом на плечах — полное отрицание женственности, по крайней мере, вовне. Но Алексей Петрович убедил маму — и Лена во всю свою жизнь (за несколько дней до смерти она вспоминала об этом) осталась благодарна ему за то, что при помощи его вмешательства она поступила на курсы.

Затрудняло поступление Лены на курсы то, что у нее не было диплома, как говорили тогда, «на домашнюю учительницу». Экзамен на этот диплом она держала гораздо позднее при округе. Мама решилась обратиться лично к В.И. Герье. Мама отправилась к нему вместе с Леной. И мама и Лена сохранили надолго приятное воспоминание об этом посещении, об его приветливом приеме. Маме было приятно убедиться, что Лена произвела на Владимира Ивановича благоприятное впечатление. И, зная В.И. Герье (я впоследствии пять лет работала с ним в городском попечительстве о бедных[14]), я думаю, что не могло быть иначе. Не могла не понравиться ему девушка, как Лена, с чистым лицом, оживленным предвкушением восторга знания, и такая женственная во внешнем своем облике.

Лена была принята на курсы. Ее аккуратные посещения Политехнического музея, где тогда помещались курсы Герье (в так называемом «старом здании», в одной из боковых зал), давали ей, как она вспоминала сама, настоящее упоение. Перед ее молодыми взорами раскрывался широкий научный кругозор. А она так рвалась всей душой к широте и простору. И потом толпа молодежи кругом. Робкая еще тогда, неуверенная в своих силах и знаниях, она снизу вверх смотрела на нескольких старших ее курсисток, которые брались составлять лекции, между прочим на Александру Николаевну Смирнову, Марию Николаевну Милашевич, Надежду Наумовну Горвиц (позднее вышедшую замуж за земского деятеля Николая Николаевича Хмелева[15]), на сестер Кривоблоцких.

Кого же из знакомых того времени вспоминаю я еще? Познакомились мы с двумя малоинтересными сестрами Антона Киприановича, из которых одна была замужем за учителем греческого языка во 2-й гимназии, Степаном Федоровичем Роженковским. Он был одним из тех многочисленных наводнивших в те времена нашу среднюю школу чехов-учителей классических языков, которые являлись, с одной стороны, заядлыми филологами, с другой — ярыми почитателями античного мира. Мне пришлось несколько позднее взять у Степана Федоровича несколько уроков греческого языка. Не забуду я, с каким увлечением он читал со мной отрывки из греческих лириков в греческой Антологии. Мне эти авторы были еще трудны. Он помогал мне переводить, восторженно указывал мне на красоты стиля, на музыкальность ритма. Ему я обязана тем, что полюбила греческую лирику задолго до того, как добралась до нее по гимназическому курсу. Сафо с ее чудной одой Афродите, веселый Анакреон — какое наслаждение доставляла мне музыка их стиха в красивой

декламации Степана Федоровича. Помню, как он изъяснял мне красоты стиха Пиндара, желая заставить меня полюбить этого поэта. Он, высокий, черный, массивный, с блестящими глазами, ходил взад и вперед по «классной», шагая под ритм пэана[16], произносимого им наизусть. Пиндар был мне совсем не под силу, но я восприняла красоту пэана. В гимназии Степана Федоровича любили ученики. В нем не было придирчивости, которой отличались многие учителя древних языков из «братушек». Он стремился к одному: привить своим ученикам любовь к классикам, какую он сам питал к ним. На выпускных экзаменах, бывших в то время крайне трудными, он «спасал» гимназистов перед Округом. Он был удивительным знатоком древних авторов, и стоило в экзаменационном переводе сделать гимназисту какую-нибудь ошибку, как он отыскивал подобную форму у какого-нибудь из остававшихся неизвестных гимназистам писателей и объяснял перед гимназическим советом ошибку ученика именно знакомством с данным автором, не входившим в программу, то есть усиленным интересом, проявленным будто бы учеником к классическим языкам. Совет и Округ делали вид, что верили, — слишком явны были для многих педагогов чрезмерные требования выпускных экзаменов и удручающая, смущающая и лучших учеников обстановка. Ведь одна лишняя ошибка в латинском и греческом переводе могла лишить кончающего аттестата зрелости и оставить его в гимназии на лишний год.

Из новых знакомых этого периода нашей жизни особенно ярко выделяется Иван Евменьевич Цветков, будущий собиратель картинной галереи[17]. Миша познакомился с ним во время переписи городского населения[18], в которой Миша участвовал в качестве добровольца-сотрудника, а Иван Евменьевич был заведующим переписным участком. Иван Евменьевич был редко интересным в разговоре человеком: живой, образованный, остроумный. Он любил говорить, а другим было интересно и весело его слушать. Помню, как за ужином на наших «средах» он занимал весь стол. Все примолкали — смотрели на него с весело блестевшими глазами и оживленными лицами, и стоял кругом непринужденный смех. Ему в остроумии не уступал Петр Васильевич Преображенский, учитель математики[19], — с той только разницей, что у Ивана Евменьевича было веселое, безобидное остроумие, у Петра Васильевича же ум был едкий и язвительный. Это отталкивало меня от него. Я побаивалась встречаться с насмешливой улыбкой на его очень некрасивом, но очень умном лице.

В это время Миша познакомился с несколькими студентами-болгарами. Его славянофильские наклонности заставляли его искать сближения с «братьями-славянами». К тому же тогда, вскоре после войны, среди болгарской молодежи существовало стремление уезжать в Россию учиться, и Миша считал, что русское общество должно им оказывать всякое гостеприимство, облегчая им, как родным, пребывание вдали от родины. В таком духе он настроил и всех нас — и болгары-студенты были приняты очень радушно в нашем доме. Бывали у нас из них Борис Николаевич (Бонча Ненкович) Боев[20], Христофор Матвеевич Бончев, Орошаков и Калинков. По окончании университета Калинков остался в России, остальные наши знакомые, горя желанием жить и трудиться для своей возрождающейся родины, вернулись в Болгарию и там отдались политической и научной деятельности. В них в то время проявлялось тяготенье к России и русской культуре, и этим они были милы нам, и горячая любовь к родине, что было так понятно нам. Мы относились к ним в высшей степени дружелюбно.

Наконец, к этому времени относится наше знакомство с известным математиком, Николаем Александровичем Шапошниковым[21] и его семьей. Я выделяю это знакомство, потому что оно имело особое значение для меня во многих отношениях. И прежде всего — Николай Александрович Шапошников был моим первым увлечением. То чувство, которое он возбудил во мне, мало походило на ту любовь, которую я узнала из романов и опер, полную муки, волнений, ревности и страдания, — оно было чувство радостное, светлое, которое я открыто несла наружу, напоказ всем. Мне только хотелось чаще видеть его, слушать то, что он говорит, — и я смело признавалась в этом, за ужином садилась с ним рядом, не претендуя на разговоры с ним, но слушая его, когда он говорил со взрослыми. Воспитание требовало, чтобы я в мои годы не вмешивалась бы в беседу старших, но я была счастлива, когда он с чем-нибудь обращался ко мне. Все знали о моем увлечении, относились к нему добродушно, но без насмешки. Наверное, держались мудрого правила, что опасно не то, что сердце несет наружу, но то, что оно скрывает в своей глубине.

Познакомились мы с Николаем Александровичем Шапошниковым следующим образом. Коле надо было подтянуться по математике — и маме посоветовали пригласить Николая Александровича Шапошникова

давать ему уроки на дому. Я очень интересовалась новым учителем Коли, и когда на второй урок Коля ожидал его в зале, чтобы встретить его и проводить к себе в комнату (Коля помещался тогда в «турецкой», бывшей папиной комнате), как делал со всеми своими учителями, я уселась с ним у окна поджидать Николая Александровича. Ровно в назначенный час к подъезду подкатил извозчик, и с него на ходу соскочил бодрым энергичным движением незнакомый мне господин. И через минуту этот господин энергичной поступью вошел в залу, блеснул на Колю и на меня приветливым взглядом голубых глаз и приветливой улыбкой обычно серьезно сжатых губ — и не успела я оглянуться, как он исчез из залы, увлекая в спешном устремлении вперед своего ученика. А я осталась одна в зале с новым, неведомым мне ощущением в груди. Что это значило бы? Отчего и чем этот человек произвел на меня такое особенное впечатление? Именно что-то особенное почувствовала я. Прошло еще урока два с Колей — и было решено, что и я буду брать уроки математики у Николая Александровича.

Николай Александрович Шапошников был выдающимся преподавателем математики. Он не только сам любил свой предмет, он заставлял любить его и своих учеников. Он объяснял удивительно ясно. Все делалось понятным, все занимало в голове подобающее ему место, мысли двигались в стройном порядке — и это было наслаждением для ума. В отношении математики и П.О. Эле не привел моего понимания в полный порядок. Николай Александрович прояснил вполне во мне математическое мышление — и настолько, что заложенного им во мне хватило мне на весь гимназический курс. Он требовал строгой отчетливости в понимании и знании, в способе изложения, в писании задач в тетрадях. Сам он не терял ни минуты. Его урок длился ровно час. Лишь к весне, когда он считал меня одной из своих любимых учениц, он давал мне лишних 5—10 минут, не более, — и это был ценный знак его благоволения. Но как протекал этот урок? Учитель, чувствовалось, был весь напряжение — и напряженно возле него работала мысль ученика. Об упорстве в достижении цели говорили черты лица учителя: упрямый лоб, складка губ, — и упорство в преодолевании трудностей он умел порождать и в ученике. Помню, как мне приходилось осиливать иногда с трудом заданное — и как я радовалась одержанной победе. Помню, как он перешел от задачника Малинина и Буренина к считавшемуся тогда трудным задачнику четырех математиков, Арбузова и пр.[22], пугавшему и

гимназистов 8-го класса. Николай Александрович приступил к нему осторожно: задал мне одну из легких в нем задач, сказал, чтобы я только попробовала решить ее, а если не смогу, чтобы я оставила ее до него. Я долго не могла решить эту сложную задачу — но ни за что не хотела сдаться. Все в доме давно легли спать, а я сидела над своей задачей. Тетя (она жила теперь и до самой кончины своей наверху, в бывшей комнате мадемуазель) несколько раз вставала с постели и с беспокойством приходила проведывать меня. Я не сдавалась на ее убеждения бросить свою задачу. Помню, как я временами вставала с места и кидалась на колени перед иконой Спасителя, благословением папы, и жарко молилась: «Помоги, помоги», вставала потом и снова садилась за работу. И наконец, в два часа ночи я решила свою задачу. Как счастлива я была! С каким горячим чувством благодарности я упала снова перед иконой на колени. С каким радостным чувством удовлетворения я ложилась в давно ожидавшую меня постель при догоравших уже свечах. Мои усилия оказались не напрасными. Эта задача точно открыла мне ключ ко всему задачнику. С каждой задачей мне было все легче и легче решать их, и к весне я с легкостью справлялась с самыми сложными из них.

У Николая Александровича был прием в преподавании, кажется мне, что он был искренний: он верил в силы и способности ученика и тем вызывал их к действию. Так было и со мной. Я считала себя совершенно бездарной в математике — он доказал мне, что я обладаю до известной степени математическими способностями. На одном из первых уроков он высказал надежду, что я полюблю математику и по окончании гимназического курса поступлю на Лубянские курсы (математические)[23]. Я с отличавшей меня тогда резкостью, казавшейся мне прямотой, ответила ему, что математику никогда не полюблю, а если поступлю когда-нибудь на курсы, то уж, конечно, не на математические, но на исторические. А между тем я вскоре полюбила занятия математикой, и они долго доставляли мне удовольствие тем, что вносили стройность в мышление.

Я вспоминаю, стыдясь, свой резкий ответ Николаю Александровичу. Я вообще должна была тогда производить странное и непривлекательное впечатление. Часто я бывала дика, как мальчик. Я, например, ожидала его всегда внизу, в зале, пока он не кончит давать урок Коле и не направится ко мне. Я предшествовала ему на лестнице, причем я бежала изо всех сил. Я ставила себе целью, чтобы между им и мной оставался целый марш лестницы, но мне никак не удавалось оставить его

так далеко за собой: чем быстрее бежала я вверх, тем скорее бежал и он мне вослед — и между нами оставалось все одно и то же расстояние: две ступеньки. Во время этой бешеной беготни я хваталась рукой за огромную связку ключей, которую я носила при себе в кармане, оттягивая его (положительно, не могу себе объяснить, какая у меня была надобность в таком количестве ключей), и громыхала ими в кармане. И чем громче звенели ключи и чем скорее мы мчались по лестнице, тем мне было приятнее. Но и эти проявления резкости и дикости постепенно стали сглаживаться под влиянием серьезности занятий и серьезности учителя.

Когда он приезжал давать нам урок, Николай Александрович не оставался дольше положенного срока, не терял времени на попутные разговоры с нашими взрослыми, не принимал приглашения выпить стакан чаю. Время у него было распределено и рассчитано. Он поражал интенсивностью свой жизни. Совсем другим был он, когда приезжал к нам в гости. Мы познакомились и семьями. Мама и Лена бывали на его журфиксах, он с женой своей, Александрой Ивановной, двумя сестрами и двумя племянниками-близнецами Нефедьевыми часто бывал на наших «средах». Решившись посвятить несколько часов отдыху, Николай Александрович спокойно, невозмутимо отдавался ему, не волнуясь «потерей времени». Он был умным и интересным собеседником, обладал большим развитием. Кроме того, он хорошо играл на арфе. Он привозил с собой этот громоздкий инструмент — и тогда доставлял собравшимся незаурядное удовольствие. Я тогда усаживалась у зального окна, против которого стоял высокий и с разросшимися ветвями фикус, папин любимый фикус. Я скрывалась за его ветвями, иногда чтобы лучше скрыться от посторонних взглядов, я поднимала в уровень своего лица один из блестящих гладкостью листьев фикуса и держала его перед собой. И чудные минуты переживала я тогда: сижу, скрытая папиным фикусом, точно папа тут и видит меня, и слушаю музыку, и человек, сидящий там за арфой, с сосредоточенно вдохновенным лицом, обернувшись в мою сторону, мне по-особому дорог... Характерно для Николая Александровича: если не изменяет мне память, он рассказывал, что, не обладая большой музыкальностью, он поставил себе целью овладеть каким-нибудь музыкальным инструментом и выбрал нарочно один из самых трудных — арфу. Ценой огромной энергии ему удалось достигнуть желаемого. Я преклонялась тогда перед силой воли, твердостью характера и энергией — и эти качества привлекали меня к Николаю Александровичу.

Жена Николая Александровича, Александра Ивановна, считалась «ученой» и умной. Я с симпатией относилась к ней, так же, как к его сестрам, простым и милым, но, по-моему, заурядным девушкам, потому что это была его семья, люди, которые должны были быть дороги ему. Они все три ласково обращались со мной. Помню, с какой ласково-снисходительной улыбкой на некрасивом умном лице Александра Ивановна за ужином смотрела на меня через стол, когда я, вся сияя, слушала Николая Александровича или вперегонки с Колей спешила предложить ему очищенный по-особому апельсин. Это тоже было одним из моих ребячеств: мне нравилось снимать с апельсинов кожицу по-разному: то делая из нее корзиночку, то цветок, то две чашечки и пр. Коле и мне доставляло удовольствие преподносить образчики нашего искусства любимому учителю. Он принимал это как ребячество радовавших его своими успехами учеников, оборачивался к нам с приветливой благодарностью, спокойный, как всегда.

Милый нам Алексей Петрович Шереметевский осенью 1880 года провел у нас еще один литературный вечер (я декламировала на нем «Савонаролу» Майкова), а потом стал бывать все реже и реже, к нашему великому огорчению. Наверное, мешали ему его педагогические обязанности, отнимавшие у него много времени. Быть может, у него был круг знакомых, более интересный. Во всяком случае, мы очень жалели об этом.

Литературных вечеров мы больше не устраивали. Из развлечений, занимавших нас в эти и ряд последующих лет, я отмечу святочное гаданье. Область таинственного привлекала маму. Также и Мишу. Но Миша, кроме того, видел в святочном гадании исполнение старинного обряда, роднившее с бытом и верованиями народа. Это было, хотя бы временное, «слияние с народом», которого так жаждал он, как молодой славянофил. Для меня под его влиянием это было тем же самым и, кроме того, глубоко поэтическим переживанием.

Как только мы не гадали в святочные вечера, которые тем самым окутывались в наших глазах дымкой поэзии. Миша, сведущий в этнографической литературе, знакомил нас с разнообразными способами гаданья. Лили воск и пели подблюдные песни, посылали «слушать»[24], приносили в залу к поставленному на пол зеркалу, чашке с водой и

насыпанной кучке овса кур по одной за каждую из присутствующих барышень. Все затихали, чтобы не пугать смущенную непривычной обстановкой курицу, потом, когда она начинает клевать или пить, поднимается веселый разговор, обсуждение примет. Жгли бумагу, выпускали яичный белок в стакан с водой и старались сообща общими усилиями объяснить получившиеся фигуры. Смотрели в кольцо, опущенное в стакан с водой, наводили зеркало. Но больше всего вызывали оживление те гаданья, которые выводили нас на улицу. Так интересно было очутиться на улице вечером, в необычной обстановке, с разрешением делать все возможные глупости: подходить к первому встречному и спрашивать его об его имени, бросать ботик через ворота и, самое страшное, — прикладывать ухо к церковным дверям и слушать, не поют ли в церкви «Исаия ликуй» или «Со святыми упокой»[25].

Царила атмосфера таинственности. Рассказывали друг другу «страшные истории». Старшие вспоминали случаи, когда гадания оправдывались. Что-то мистическое точно сгущалось в комнатах, жило будто в них то, чего в другое время в них не чувствовалось. Ни за что бы я не поднялась одна наверх, в опустелые комнаты (все были внизу), в которых Миша только что, в полном одиночестве, чтобы было пострашнее, гадал в зеркало. Нервы были у всех напряжены, у кого больше, у кого меньше. Раз, помню, в один из таких вечеров меня послали за чем-то наверх; отказаться мне было стыдно. Алеша, проводивший святки в семье, великодушно предложил проводить меня, но по дороге начал в шутку пугать меня: «А что, если мы будем идти по лестнице — и вдруг дверь в кладовую (кладовая помещалась на антресолях, и дверь в нее, стеклянная, дававшая возможность заглядывать в ее пустое темное пространство, будила во мне и всегда жуткое чувство)... и вдруг дверь в кладовую сама собой тихо... тихо отворится?» И что же? Как нарочно: едва мы поравнялись с этой дверью, как она стала медленно, со свойственным ей скрипом приотворяться. Не сумею сказать, кто из нас обоих скорее скатился с лестницы вниз, я или Алеша. Мы оба пережили минуту ужаса. В другой раз, помню, у нас в нескольких комнатах сидели за зеркалами. Лизочка Кожевникова храбро высказала желание сесть за зеркало. При этом она спросила маму, почему она не гадает. Мама ответила: «Боюсь, Лизочка». И вдруг пухленькая, румяная, за минуту такая храбрая Лизочка всплеснула ручками и закричала: «Вы боитесь? И я боюсь, и я боюсь». И не удалось после того уговорить ее сесть за зеркало.

Чувствование мистического сгущалось особенно ночью, когда все гадали по сновидениям. Все подкладывали себе какой-нибудь предмет под подушку с воззванием к «суженому-ряженому» или к «суженой» — и ждали с волнением вещего сна или, чего доброго, появления их самих не во сне, а въявь. Если кто боялся класть себе что-нибудь под подушку, он не мог быть уверенным, что чьи-нибудь услужливые руки не поставили ему под кровать блюдце с водой и перекинутыми через него лучиками — «мостик», через который «суженый-ряженый» должен провести во сне. Бывало, ложусь я спать — страшно заглянуть под кровать и под подушку. Иногда просишь Дунечку ничего не класть, а потом, ложась, прибегнешь к нестрашной гадательной формуле: «Ложусь на сионских горах, три ангела в головах» и т.д. Молодой сон преодолевал страх, и бывало, заснешь, да так крепко, что ничего не увидишь во сне. Но, бывало, спишь тревожно, просыпаешься со страхом, что при свете лампадки, теплящейся перед иконой, увидишь что-нибудь страшное, — и чувствуешь такую жуть, что впору натянуть одеяло на голову. А наутро начинаются разговоры о том, кто что видел в прошедшую ночь, и разгадыванье снов. Все полушутя, полусерьезно, с большим оживлением и смехом.

Мистическая святочная атмосфера исчезала с наступлением крещенского сочельника. С утра распространялось в доме сосредоточенно тихое настроение. Чувствовался пост. Тетя, возбуждая в нас удивление, не ела «до воды». А вернувшись с нами от водосвятия, она кропила святой водой во всех комнатах и мелком ставила крестики на всех окнах и дверях. И как будто воцарялась нормальная атмосфера.

Но чувство жути я испытывала не только на святках — оно было мне присущим. Годами я усиленно, но безуспешно боролась с ним и отделалась от него совершенно неожиданно, без усилий, как-то внезапно, когда мне было уже за 30 лет. В те годы, о которых я говорю, оно было моим мучением каждый вечер, когда я оставалась одна в комнате. Миша бессознательно увеличивал это мучение. Он часто пугал меня. «А вдруг...» — начнет он, бывало, особым, таинственным и «страшным» тоном. Можно было еще предотвратить удар: сказать, что боишься, просить, чтобы он не продолжал. Но я делала это редко. Мне доставляло какое-то особое удовольствие с замиранием сердца ожидать, что он придумает страшного. Самый тон его, сама манера говорить в таких случаях, значительная,

а между тем прерываемая веселым смехом, имели для меня какую-то притягательную силу. И я побуждала его продолжать. «А вдруг, — говорил Миша, — ты станешь раздеваться (такие разговоры он затевал обыкновенно на сон грядущий для меня) — и вдруг... в комнату вдвинется гроб». «А вдруг ты подойдешь к своей кровати, а из-под нее высунется вдруг чья-то рука...» «А вдруг ты будешь лежать, а к твоей постели подойдет урод с четырехугольной головой...» Он смеется своим заразительным смехом, смеюсь и я. Но стоит мне очутиться одной наверху с необходимостью раздеться и ложиться спать, как на меня нападет непреодолимый ужас. Стоя у своей кровати, я долго-долго не принималась за раздевание. Мои глаза были прикованы к дверям, оставашимся открытыми, и мое пылкое воображение рисовало себе большой, громоздкий гроб, медленно вдвигающийся в них, — почему-то всегда до половины пустой. Малейший шорох, как, например, падение сухого листа с растения на окне, вырастал для напряженного слуха в значительный звук, которому тревожно подыскивало объяснение мое ухо. Я не сходила с места, я ждала появления страшного. Когда же я наконец добиралась до постели, я боялась сомкнуть глаза: страшнее было не видеть, а чувствовать приближение «урода с четырехугольной головой». Он рисовался мне почему-то в виде древней египетской колонны с четырехликим капителем.

Этот страх и жуть, которых я стыдилась и которыми мучилась, послужили поводом к моему сближению с нашей горничной Ольгой. Я просила ее не раз посидеть со мной, пока я не засну. Она охотно соглашалась — была она добрая, благодушная, простая. Плоское — «как лепешка», говорили братья, — бледное и вялое лицо, белобрысая, флегматичная, но какая успокоительная. Она была крестьянка, но дочь псаломщика из отдаленного «погоста»[26] Осташковского уезда Тверской губернии, но для меня она была представительницей народной среды, того «народа», с которым я, под влиянием Миши, желала от всей души сблизиться. Чтобы сблизиться с «народом», — так говорил Миша — надо было понять его; чтобы понять, надо было знать его, знать, чем он живет, во что верит. И я, следуя указаниям Миши, расспрашивала Ольгу про то, как живут в их стороне, расспрашивала про поверья, гаданья и пр. Она сидела возле моей постели и неторопливо повествовала мне, отвечая на мои расспросы. А я, обладая хорошей памятью, точно записывала слышанное на следующий день. Со своими записями я знакомила Мишу. Он относился к ним с интересом и постоянно напоминал мне о необходимости записывать слышанное точно.

Я благодарна Ольге за оказывавшуюся мне услугу — сидеть со мной, когда я замирала со страху. Я благодарна ей за те часы наслаждения, которые она дала мне, потому что истинное наслаждение уже тогда доставляло мне приближение ко всему «народному», «родному», «русскому». Несколько лет спустя то же наслаждение в еще большей степени доставляла мне сменившая в нашем доме Ольгу другая горничная, Мариша, — о ней я писала в своем рассказе «На торфе». Она также «укладывала меня спать», чтобы я не страдала от страха, и также сообщала мне этнографические сведения из родных ей мест: Тарусского уезда Калужской губернии.

С народными преданиями и поверьями, но уже юга России, я знакомилась в то время еще из другого источника: через беседы с девочкой, немного старше меня, с которой я в то время познакомилась. Это была Саша Висковатова, двоюродная сестра наших с Колей друзей детства: Кати и Коли Щекиных. Но, прежде чем говорить о нашем мимолетном почти знакомстве с Сашей Висковатовой, мне надо будет сказать несколько слов о наших отношениях с Катей и Колей Щекиными.

Я уже упоминала имена этих детей в описании моего раннего детства. Но тогда мы видались с ними редко. Дружба наша началась с того времени, как они переселились жить в наш флигель.

При доме нашем был небольшой флигель. В нем было две квартиры. Одна, маленькая, внизу была занята старичком музыкантом с двумя дочерьми-портнихами, людьми тихими и скромными, с которыми мы только здоровались издали, встречаясь на дворе. Верхнюю квартиру, небольшую, светлую, хорошенькую, вскоре после покупки папой дома заняла Александра Львовна Щекина, мать Кати и Коли. Она прожила тут несколько лет со своими детьми, немкой-гувернанткой и старушкой няней.

Александра Львовна была в то время молодой вдовой. Она не была красивой, но лицо ее было интересно постоянным оживлением. Выдавалась она также жизнерадостностью, смелой и бойкой речью и энергичностью. Она могла нравиться, и она обладала крупным состоянием. Она могла бы, как говорили тогда, «сделать партию». Но она не сделала этого ради детей. Она, как и многие женщины того времени в ее положении, видела свою жизненную задачу в том, чтобы хорошо воспитать своих детей, сохранить для них отцовское и свое личное, принесенное в приданое состояние. И эту задачу она исполнила. Дети ее получили прекрасное образование и воспитание. Что же касается до денежных средств,

она сохранила детям в неприкосновенности отцовское наследство. Свои деньги она тратила умно, не отказывала себе в удовольствиях: одеваться у лучших портних, иметь для редких своих выездов хорошую наемную карету, принимать изредка гостей — «так, чтобы все было прилично», то есть были бы конфеты, и фрукты, и хороший ужин с небольшим количеством, но дорогого вина. Любила она также поиграть, как она говорила смеясь, «в карточки» — именно «в карточки», потому что играла она со своими хорошими знакомыми с увлечением, но всегда «по маленькой». И то не часто. Она была по природе умеренная во всем и расчетливая.

Приятно было бывать у нее в доме: до того все было культурно в нем. Совершенный порядок во всем и чистота. Мебель красивая, частью старинная, одна, но хорошей кисти большая картина в гостиной, рояль, в спальне — со стеклянными стенками шкап, и в нем — в небольшом количестве дорогой фарфор и изящные вещицы, на окнах и перед ними — растения в банках и на подставках. Стол сервирован прекрасно: блещущая белизной скатерть, изящные чайные чашки, мыть которые она не доверяла прислуге и которые поэтому сохранились у нее на долгие годы, красивой формы самовар и хорошее серебро. И она сама — такая аккуратная, такая подтянутая всегда в одежде, прическе, манере держаться.

Ее кто-то из знакомых прозвал Суета Суетовна, и, пожалуй, в ней было много суетного и в интересах недостаточно глубокого ума, и во внешних проявлениях: манере держаться, быстром и неустойчивом разговоре. Но это был редко жизнерадостный человек — другого такого я не встречала в жизни, — который мог так наслаждаться мелкими радостями жизни. Получить от знакомых маленький знак внимания в виде цветов, например, проехаться в карете, удавшийся туалет, удавшийся вечер и т.п. — все это доставляло ей такое удовольствие. Вот кто умел радоваться — до преклонных лет. Это было, конечно, доказательством чистоты души. Притом она относилась очень серьезно к тому, что считала своими обязанностями. Примером было ее отношение к старушке няне. Эта старушка была далека от типа добрых и ласковых нянь, таких, каких мы знали в те времена по литературе. Она вечно была недовольна, не только Катей и Колей, но и самой Александрой Львовной. Я помню ее только ворчащей, говорящей обиженно-неприятным тоном. Но Александра Львовна, сама взбалмошная, сама кипяток, не забывала никогда, что няня живет у нее на покое, что она требует этого покоя

после долгих лет верной службы. Она благодушно терпела всякие неприятности от няни и всячески ублажала ее. Когда няня стала настаивать, чтобы ее определили в богадельню, Александра Львовна устроила ее, навещала ее. Когда же няня умерла, она свято исполнила данное ей обещание: похоронила ее рядом со своими семейными местами на кладбище Симонова монастыря, там, где впоследствии она легла сама и несколько лет спустя лег Коля (где было приготовлено место и Кате, но ее, по условиям революционного времени, в 1919 году пришлось похоронить в Донском монастыре).

Сохранилась у меня фотография из того времени — я люблю смотреть на нее: она напоминает мне так много. Александра Львовна сидит, молодая еще, такая интересная в скромном, но изящном черном платье, наверное, от Минангуа[27], по моде того времени в крахмальном белом воротничке и манжетах, с высокой прической, с живым взглядом очень темных глаз, с серьезно сжатыми губами. У ее ног — необычайно привлекательный мальчик, Коля, с кругленьким улыбающимся приятно лицом. И, стоя на стуле, к ней прислонилась с другой стороны девочка, немного постарше, в белом платьице «принцесс» — белокурая, с жидкой косичкой, светлыми глазками, не красивая, но с милой улыбкой на нежно очерченных губах. Это — Катя.

Еще другая фотография — Катя и Коля стоят рядом: она в том же белом платьице, украшенном шитьем, он — в той же черной шерстяной курточке, усаженной мелкими басонными пуговками. Катя имеет покровительственный вид, Коля склонил немного вбок голову, как будто прислушивается к ее речи, прислушивается с шаловливым выражением на кругленьком миловидном лице. Точно этот милый блондин мальчик, эта худенькая девочка сговариваются предпринять какую-нибудь шалость, но девочка — предприимчивее мальчика и верховодит им. Но видно, что брат и сестра крепко любят друг друга.

Так было и на самом деле. Катя и Коля Щекины любили друг друга, как мы с Колей. Поэтому, может быть, мы с ними и сошлись так скоро, когда пришлось нам жить, что называется, бок о бок. Между нами была даже некоторая аналогия: в наших двух парах мальчики были умнее, сердечнее, добрее, великодушнее; девочки — предприимчивее, пожалуй, энергичнее и бесконечно преданы каждая своему брату. Со стороны Кати эта любовь была очень трогательна. Александра Львовна со свойственной ей смелой прямотой не скрывала ни от кого, что она любит

Катю гораздо больше, чем Колю. Громко говорила она это при детях и им самим. (Такое несправедливое пристрастие к дочери она питала всю жизнь, и надо отнести к благородству характера сына, что он платил ей всю жизнь сердечной привязанностью, глубоким уважением и вниманием.) Но Катя с самых ранних лет не терпела предпочтительного к себе отношения со стороны матери. Она требовала во всем равной доли с собой для Коли. Ни в чем она не позволяла обижать его. Если же вслед за какой-нибудь шалостью или скорее «гениальной выдумкой» Коли мать хотела наказать «этого противного Николашку», Катя поднимала такую бурю, с криками, бурными слезами, что Александре Львовне приходилось отступаться. Мы ей в этом очень сочувствовали, торжествовали сообща победу, когда удавалось отстоять Колю, сами заступались за него.

Как только мы стали часто видеться с Катей и Колей Щекиными, мы скоро очень сблизились с ними. Мы были одного культурного круга, и то воспитание и образование, которое нам давалось, предъявляло к нам одни и те же требования. Мы хорошо понимали друг друга. Нас привлекали друг в друге большая правдивость, доброжелательное отношение к товарищам по играм, благородство чувств, высказываемое при играх. Все это было в каждом из нас в большей или меньшей степени. Колю Щекина мы сначала любили больше, чем Катю, — уж очень симпатичным мальчиком он был, да мы и жалели его. Катя же была в начале нашего знакомства капризной, самовластной и избалованной девочкой. Но в товарищеских отношениях шлифуются детские характеры. Катя скоро нашла в нашем противодействии препону своему своеволию. Вообще, мы с нашим Колей до некоторой степени были авторитетом для этих детей. Они же были и моложе нас: Катя — на два года, а Коля почти что на четыре моложе меня. Сознавая себя старшей их, я считала себя обязанной, согласно принципам, вычитанным мной в книжках, хорошо влиять на них. Может быть, я этим развивала в себе кичливость и резонерство, малосимпатичные в моем возрасте, но мое воспитательное влияние было, может быть, не без пользы для Кати. Во всяком случае, мои недостатки не мешали этим детям любить меня.

Мы сохранили дружеские отношения с этой семьей на всю жизнь (Катя, замужем за профессором Н.И. Новосадским[28], умерла последней из них, от недоедания, 13 декабря 1919 года), и много, много самых приятных и веселых воспоминаний связано у меня с Александрой Львовной, Колей и Катей Щекиными. Несмотря на долголетнее счастливое

замужество Кати, мы продолжали звать ее Катя Щекина. Мы звали с ней взаимно друг друга в письмах и разговорах «старый друг», и в последние два года ее жизни, когда мы переживали с ней тяжелые дни революции, она не раз говорила мне, что я — ее друг «для души», что я ей — поддержка. И мы действительно были друзьями.

Ни в одной семье из наших знакомых наша семья не пользовалась таким уважением и восхищением, как у них. В наши молодые годы (Александра Львовна жила тогда на другой квартире) мы бывали у нее на вечерах, которые она устраивала для Кати, между прочим, непременно в ее именины. И нигде, после своего собственного дома, мне не бывало так весело. Чувствовалось, что в этом доме любили нас и все наше. Александра Львовна, нисколько не скрывая этого, подражала маме во всем — и мы встречали у Александры Львовны ужин такой, какой подавали у нас, приготовленный нашим поваром по ее заказу, и приглашенного ею на этот вечер «послужить» нашего внушительного вида лакея Родиона. Александре Львовне так нравилось все у мамы, что она иногда заказывала себе у Минангуа одинаковое платье с мамой. И Кате с Колей нравилось все у нас. В вопросах вкуса авторитет мамы был непоколебим для всей семьи. Если Кате, когда она была молоденькой девушкой, хотелось надеть на вечер, например, розовое платье, а Александра Львовна определила ей другое, Кате стоило только сказать, что надеть розовое ей посоветовала Мария Михайловна, — и она достигала желаемого. Она часто пускала в ход эту военную хитрость, иногда сговорившись заранее с мамой, что она сошлется на нее. Ко мне в течение всей жизни Катя относилась чрезвычайно любовно и почему-то ставила меня высоко в своих представлениях, выше, чем я заслуживала. Она искренне радовалась и гордилась моими успехами. Звала она меня всю жизнь Вера, как в детстве, а последние годы — с нежностью, которая раньше не проявлялась в ней, — Веруся. И так и слышится мне ее голос, когда она незадолго до своей почти внезапной смерти от истощения поднималась ко мне наверх по лестнице: «Веруся, я к тебе», — голос не ее, ставший глухим, беззвучным. «Неужели ты думаешь, Веруся, что мы можем пережить этот год?» — говорила она мне со спокойствием обреченности в страшный 1919 год и действительно не пережила его.

У нее была тоже чистая душа, тоньше и менее мелочная, чем у матери. Она так же, как Александра Львовна, умела радоваться и наслаждаться — с той только разницей, что поводы к наслаждению и радости

были у нее значительнее. Пройти с кухаркой своей пешком на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, ходить и бродить часами по лесу за грибами, копаться в огороде и собирать «собственные огурцы», слушать лекции Кизеветера[29], попасть на концерт знаменитости или на бенефис Ермоловой – все это было для нее источником светлой радости. Ее лицо сохранило и за сорок лет удивлявшее всех выражение чистоты. Она умела так весело улыбаться, весело и много говорить. Она была начитанна по истории искусства и по истории средневековых городов. Путешествия за границу поэтому возбуждали в ней восторженное чувство, она много рассказывала о своих художественных впечатлениях, тогда как, помню, Александра Львовна вынесла из своей заграничной поездки преимущественно восхищение удобствами жизни. И помню, с каким радостно сияющим лицом эта немолодая женщина рассказывала, как в Нюрнберге в знойный день Катя неутомимо ходила пешком, осматривая все старинные дома, а она, усталая, взяла извозчика и покатила в коляске, с букетом в руках, поднесенным ей ее всегда внимательным к ней зятем.

Я остановилась так долго на моих воспоминаниях о семье, милой мне, потому, что мне уже не придется вернуться к ней в те годы, которые последовали за окончанием мной гимназии: я не предполагаю писать об этих годах и остальной своей жизни. Возвращаюсь теперь к своему детству.

Нас с Колей приглашали иногда во флигель, когда у Александры Львовны были в гостях «большие». Нам отворяла внизу парадную дверь девушка в белоснежном фартуке, и мы поднимались по несколько крутой деревянной крашеной лестнице, устланной дорожкой-ковром к обитой клеенкой входной двери. Такой вход в неотопляемой пристройке, освещаемый красивыми, очень большими четырехугольными окнами с фигурным переплетом рам, – пристройка казалась благодаря им светлым фонариком – не поражал еще тогда устарелостью архитектурного стиля. Такие холодные входы были во многих домах. Как-то не замечали их неудобства. И прислуга не жаловалась на них, бодро летала вниз и вверх по холодной лестнице и не простужалась, может быть, оттого, что была более привычна к холоду, и оттого, что питалась гораздо сытнее и с большим количеством жиров, чем все мы в настоящее время.

В передней нас встречали, радуясь нашему приходу, Катя и Коля. Мы шли здороваться к Александре Львовне в гостиную, робея немно-

го перед собравшимися уже гостями, а потом забирались в крошечную комнатку, занимаемую немкой-гувернанткой Софией Эдуардовной, такой понятной нам, потому что во всем своем нравственном облике была похожа на нашу Юлию Андреевну. Тут же помещался и Коля. Тут мы играли — и не стесняла нас теснота. Или же Катя уводила нас в спальню Александры Львовны, где она спала со своей матерью, — в комнату, освещенную в таких случаях лишь сиянием лампады перед киотом, где все дышало чистотой, аккуратностью и культурностью. Мы любили этот полусвет, тишину комнаты. Они настраивали на разговоры. Но когда за стеной раздавалась музыка, веселый призыв ритурнели, мы бежали в «залу» — назовите ее скорее столовой, где «большие», все тогда еще молодые, становились в пары танцевать кадриль. Мы, «маленькие», тотчас же примыкали к ним: наш Коля всегда с Катей, я — с Колей Щекиным. Наше место было крошечное пространство у самых дверей в переднюю — иначе мы мешали бы «большим», но мы были вполне довольны нашим местечком и танцевали с увлечением. Сколько раз мы впоследствии вспоминали с Катей, как мы танцевали кадриль в этом уголке.

Но это бывало редко. Встречались же мы часто с Катей и Колей на дворе и в саду. Встречались почти каждый день, пока Катя не поступила в гимназию. На дворе и в саду было нам много места для свободных игр. Доверяя нам, нас оставляли тут одних — и это придавало особую привлекательность нашему времяпрепровождению. Играли мы с бесконечным увлечением в мяч, в прятки, в «колдуны» («пятнашки»). Любимым удовольствием для нас было «топить горшки». Мы вытаскивали из-под террасы — залезть под нее было само по себе удовольствием — и доставали оттуда сложенные там садовые горшки. Мы опускали горшок за горшком в кадку с водой под водосточной трубой и радовались, наблюдая, как вода, наполняя его снизу, била фонтанчиком через круглое отверстие в дне. Потом горшок тяжелел от наполнившей его воды и медленно опускался на дно кадки, уступая свое место новой садовой банке, которую постигала та же участь. Поистине, малопохвальное занятие, но мы много лет спустя, уже не молодые, вспоминали с сияющими лицами: «А помнишь, как мы топили горшки?» И вставал тогда в памяти уголок сада: зеленая кадка под водосточной трубой, приотененная вьющимся по столбу террасы диким виноградом, и вокруг нее милые мне сияющие детские лица.

В наших играх принимал участие еще один мальчик — мы звали его «Коля маленький», потому что он был самым младшим из нас. Он был сыном нашей экономки, Любови Петровны, о которой я уже писала. Шести лет он был привезен жить к матери, в наш дом. Это был тщедушный, слабенький мальчик, носивший в себе гибельную наследственность от отца-алкоголика. Он был туберкулезным ребенком, в самом раннем детстве оглох на одно ухо; у него была течь из другого, бельмо на одном глазу — и перенес он в детстве ряд тяжелых заболеваний. Из себя же он был светловолосым, с нежным румянцем, с нежно-голубыми глазами. Он возбуждал в нас чувство сострадания не только своей болезненностью, но также отношением к нему его матери. Она любила его мучительной любовью, горько страдала от его болезней, но была к нему непомерно взыскательна и строга. Как она кричала на него за малейшую шалость, а он почти что не шалил, хотя, может быть, и склонен был к невинным шалостям по природе, по спокойно веселому нраву. За провинности, казавшиеся ей более сильными, она наказывала его веревкой. Сама содрогалась, слыша его крики, и, измученная, кидалась потом на свою постель и безумно рыдала. Это бывала целая драма, глубоко волнующая. Мальчик будто чувствовал и понимал ее страдания. Как бы несправедливо строга она ни была к нему, он относился к ней с неизменной нежностью, любовно называл ее «мамашенькой». И в этом отношении к ней он был трогателен.

Сыном любящим, внимательным и заботливым он остался до конца жизни Любови Петровны. Она определила его в Мещанское училище[30] (готовила его к вступительному экзамену Лена, жаждавшая приносить кому-нибудь пользу; она же надумала вместе с Мишей вносить за него ежегодную плату), и он оказался способным и трудолюбивым учеником. По окончании курса он скоро получил место конторщика. Его очень ценили на местах службы, потому что он был, как и мать, и вся ее семья, безукоризненно честным человеком. Позднее он женился, жил безбедно и наконец убедил престарелую мать оставить наш дом, в котором она прослужила больше тридцати лет, и переселиться к нему. Она умерла у него на руках от рака в печени. Он был слабого здоровья всю жизнь, но сохранил долголетнюю трудоспособность. Скончался он уже в революционные годы.

В те далекие годы, о которых я пишу сейчас, он, худенький, тщедушный мальчик, запуганный и забитый, находился под нашим особым

покровительством. Мы вчетвером отстаивали его и не давали в обиду. Мы снисходительно относились к тому, что он был слабее нас, не так скоро бегал, был менее смел и был несколько с хитрецой. Он же был покладистый товарищ в играх, никогда не возражавший ни в чем, всегда с довольной улыбкой на губах, справляясь, как ни в чем не бывало, со своими физическими недостатками: глядя одним здоровым глазом, как будто этого ему вполне достаточно. Помню, как раз, играя в прятки, мы «остроумно» запрятали «Колю маленького» под лежащее на дворе корыто, и он лежал под ним долгое время и вылез оттуда с предовольным лицом.

«Коля маленький» был повседневным товарищем наших игр на дворе. Саша Висковатова оказалась случайным членом нашего товарищеского кружка. Саша Висковатова гостила довольно долгое, правда, время у своей тети, Александры Львовны Щекиной. Это случилось благодаря тяжелой драме в ее семье: разрыву между отцом и матерью. Нас старшие не посвящали в подобные дела, но мы как-то узнали об этом, и для меня Саша представлялась девочкой, пережившей и переживающей большое горе. Поэтому-то я встретила ее с величайшим сочувствием. С первого нашего свидания, на дворе у колодца, она завоевала вполне мою симпатию.

Она была или казалась старше нас всех. Пережив горе, своим на редкость добрым и отзывчивым сердцем она была, пожалуй, серьезнее нас. С ней мне было легко и интересно говорить, не только играть. Замечательно открытая девочка была она, замечательно добрая — точно переливалось через край содержимое ее богатого сердца. Она согревала всех и все вокруг себя. Мимолетна была наша встреча много-много лет спустя: она осталась прежней, несмотря на годы, на неудачное замужество.

Она приехала с юга России, кажется из Волынской губернии. Откуда она знала так много народных рассказов, преданий, суеверий, я не знаю. Но она стала для меня источником новых знаний из народной жизни дотоле мне неизвестного уголка моей горячо любимой родины.

В эту зиму, когда я готовилась к поступлению в гимназию, я, несмотря на усиленные занятия, успевала много читать. Читала с горячим увлечением между уроками и испытывала наслаждение и упоение. Продолжала я чтение Тургенева и уходила в красоту его произведений.

Изумлялась правдивости русской литературы и благоговела перед ней. Ни с чем не сравнимое впечатление произвел на меня Достоевский, с которым я познакомилась теперь впервые. Как в горячечном бреду, ходила я после чтения, ложилась спать с переполненным чувствами сердцем. Я почуяла в его произведениях глубокую жизненную правду — ту правду о жизни, которую я так жаждала знать. Почуяла, хотя многого не поняла. Помню, например, что Нелли в «Униженных и оскорбленных» представлялась мне хорошенькой девочкой в мелких локончиках, какую я видела в одной иностранной книжке, где героиня-девочка носила то же имя. Помню, что я не могла никак осмыслить положения Сони Мармеладовой, которую полюбила всем сердцем, и с наивными вопросами обратилась, как всегда в случаях недоумения, к Мише. Главное, что привлекло меня к Достоевскому, был размах описываемых чувств и переживаний, неведомый мне досель. Он бурно выходил из рамок той жизни, которая известна была мне по личному переживанию ее и по рассказам близких мне людей.

Религиозность моя за эту зиму окрепла в духе православия. Это случилось под влиянием тети. Очень скоро спали с меня католические влияния, воспринятые мной от мадемуазель Сикр, может быть, потому, что они, в сущности, были чужды моей натуре. Некоторое время еще я продолжала молиться и «служить Богу» по-католически, но все больше и больше действовали на меня простая и крепкая, чуждая мистической восторженности вера тети и впечатления, получаемые при посещении православной церкви. И сохранились у меня в памяти незабвенные воспоминания о том, как мы ходили с тетей в церковь, чаще всего тогда в наш приходский храм святого Иоанна Предтечи[31], что в Кречетниках, как тете было трудно ходить так далеко (для ее слабых сил) и выстаивать службы, и она все же не пропускала служб и выстаивала их, как мы с удовольствием ходили с ней и видели смысл в утомлении и победе над ним, и как трудно нам было возвращаться медленным, медленным шагом с усталой тетей, истратившей на стояние в храме свои слабые силы, тогда как молодым ногам так и хотелось идти скоро-скоро. Помню, как нам с Колей доставляло удовольствие ставить свечи перед иконами и как мы тратили на свечи большую часть наших невеликих карманных денег. Мы ставили свечи разным святым и хорошо знали поэтому, какие иконы находятся в окружавших нас храмах. Иногда мы перечисляли перед старостой церковным у свечного ящика так много свечей, что, боюсь, ему

трудно бывало запомнить. Помню длинные великопостные службы с казавшимися нам бесконечными паремиями[32] и непонятными мне псалмами (тогда псаломщики редко читали отчетливо) — я их выстаивала мужественно, несмотря на то что ноги затекали. Это давало особый подъем душе. Помню, какое хорошее чувство будило во мне чтение акафистов[33] Спасителю и Божьей Матери во время вечерни после исповеди — их читали в нашей приходской церкви дьякон Николай Иванович Троицкий, ставший много лет спустя настоятелем этого храма. Стоя перед царскими дверьми, он читал громким и проникновенным голосом воззвания акафиста и с глубоким чувством творил коленопреклонения. Чудилась в нем простая, искренняя душа — и переживаемое им благоговение передавалось молящимся. Годами повторялось это впечатление — я говела всегда в нашем приходе, — и акафисты эти съединены у меня в душе с голосом отца Николая Троицкого. Особенно дорогим воспоминанием осталось мне хождение к ранней обедне с Колей. Нас отпускали вдвоем в церковь Спаса на Песках в Николин день и на Михаила архангела (именины Коли и Миши). На Песках был тогда праздник. Еле брезжило, и мы шли по площади посреди снежных сугробцев, и я чувствовала себя под покровительством Коли и так любила этого гимназиста в серой шинели, шедшего возле меня и помогающего мне в трудных местах. Потом мы входили в храм — и он пленял нас своей древностью. Простое пение без певчих, полусумрак в храме создавали особое и любимое нами настроение. Было значительно светлее, когда мы шли домой, но все еще темно, просыпалась уличная жизнь, а дома ждали Колю (в его именины) подарки — и между ними непременно корзина с тонкими фруктами, которую заказывала для него мама в одном из лучших тогдашних колониальных магазинов — Мора[34]. И зрительное впечатление от этого красочного пятна содействовало радостному переживанию этого утра. Подобную же корзину мама заказывала и для Миши к его именинам.

Я беру тут воспоминания за эту и следующую зимы. К ним мне хотелось бы добавить следующее. Лена тогда ходила с нами в церковь и много содействовала моему благоговейному настроению. Она была в то время очень верующая и богомольная. Стоя в церкви около меня, она молилась с такой сердечной верой. И вот я помню: мы стоим в храме Николы Пески, у стены в левом приделе, на так называемых «местах» (тетя, хотя редко, позволяла себе присаживаться во время богослужения).

Мы — на коленях: поют «Иже херувимы». Почему-то я взглядываю на Лену. Она — возле меня. Она в порыве благоговения и молитвы низко склонила голову; она была вся молитва, вся — устремлением ввысь. Я невольно отвела глаза: мне казалось страшным чем-нибудь помешать ей. Но какой прекрасной она показалась мне в этот миг, с этим удивительным выражением лица. «Всякое ныне житейское отложим попечение», — пел хор, и все житейское было ей чуждо в это мгновение. Была она в этот день в темно-зеленом платье и темно-зеленом бархатном токе[35], нежный румянец был у нее на щеках, тонкие брови, темные волосы, выбивавшиеся слегка из-под бархатного ободка шляпы, делали ее такой красивой. И я, любуясь ее красотой, поняла как-то всем существом, что она лучше меня, чище и выше.

Из событий этой зимы, оказавших на меня сильное впечатление, было убийство императора Александра II — 1 марта. Как гром поразило известие о нем весь наш дом: семью нашу и прислугу. Все ходили с расстроенными лицами, плакали, ужасались. Преобладающим, по-моему, вокруг меня было чувство ужаса. Преступление казалось святотатством. Так было, думаю, не только в нашем доме. Волнение, возмущение отражалось и в разговорах. Неслыханным представлялось злодеяние. И глубокое чувство сострадания будило описание последних часов жизни страдальца, царя-мученика, как его тотчас стали называть. Появились изображения изувеченного царя после кончины с успокоенным в смерти страдальческим лицом. Служили общественные панихиды, на которые ходили и мы.

Я разделяла общие чувства. Я выросла при известном отношении к царской власти: я захватила в раннем детстве тот взгляд, что царь представляет из себя нечто божественное. Помню, каким уважением, почти почитанием окружали портрет Александра II, в котором особенно ценили «гуманную личность», как говорили тогда, его великое дело освобождения крестьян. Помню, как во время русско-турецкой войны покупали и хранили в своих альбомах фотографии членов царской семьи, хотя многих из них и осуждали. Полагалось чтить царя и благоговеть перед ним. Но отношение такое постепенно, незаметно почти сначала, стало изменяться уже в то время, которое я описываю. Точно трещина завелась в целостном когда-то миросозерцании, и ей предстояло становиться все

шире и глубже. Я уже в себе не находила полноту прежних чувств к царю и его власти. Он переставал быть для меня «земным богом». Переживание мной события 1 марта было в этом отношении только началом. Я глубоко сочувствовала физическим страданиям царя, но не могла присоединяться в полной мере к искренней скорби тети. И я еще слишком живо помнила то, что вынес папа в течение пяти месяцев своей болезни, чтобы не думать, что несколько часов страданий легче перенести.

Нового царя я готова была любить. Когда он был наследником, про него рассказывали, что он стоит за все русское, что он противостоял немецкому влиянию при дворе, — а это при нашем славянофильском настроении, навеянном нам Мишей, было дорого. На войне он выказал свою храбрость. Кроме того, его лицо, открытое, честное, располагало в его пользу. Ему верить можно было. И весь он производил впечатление несокрушимой правдивой силы. Он был мне по душе. Таким он оставался для меня всю жизнь. Я питала к нему двойственное чувство: я уважала его как личность и не сочувствовала ему в его внутренней политике.

Цареубийцы внушали мне ужас. Я никак не могла понять, как они могли решиться на такое преступление. Но грянул смертный приговор — и он был подтвержден царем, и он был приведен в исполнение[36]. Это показалось мне ужасным. Я так гордилась тем, что в России не существует смертной казни. Вся душа моя была возмущена и глубоко опечалена. Мне казалось, что попрано что-то святое — право на жизнь, которую не может человек отнять у человека. Зачем, зачем государь не воспользовался правом отменить приговор? Он был неправ, и я не могла мириться с этим. Если что пошатнуло во мне отношение безусловной покорности к царской власти так рано, когда я не думала ни о какой политике, так это процесс 1 марта.

Яркий весенний день — незабвенный для меня: мама везет меня в гимназию, «мою» гимназию, представить меня Софии Николаевне Фишер, познакомиться с ней и договориться о дне вступительного моего экзамена. Тепло и солнечно. Мама, как всегда, изящно одета. На мне — летнее уже платье из только что вошедшего в моду «зефира»[37] в розовую и голубую полоску, на голове — большая шляпа из светлой соломки, украшенная полевыми цветами, — все такое радостное, веселое.

А на душе сознание чего-то важного. Какова-то окажется гимназия, начальница ее, подруги? Что-то новое начинается в жизни.

Коляска сворачивает с Остоженки в тихий переулок — 2-й Ушаковский — и в конце его — в длинный, поросший травой и обсаженный кустами двор. Слава Богу — немного зелени, не каменный ящик, как 4-я гимназия Кати Щекиной. Подкатываем к красивому подъезду, уже тогда казавшемуся старинным.

Женская классическая гимназия С.Н. Фишер помещалась в доме князя Волконского, перешедшем во владение фабриканта Бутикова[38]. Он принадлежал к лучшим образцам московского ампира. Подъезд находился с задней стороны его, передним же фасадом с высокой террасой и колоннами дом выходил в сад. Дом был очень красив, как снаружи, так и внутри; но должна я признаться, что, любя свою гимназию и гордясь ею во всех отношениях, я недостаточно наслаждалась красотой архитектурных в нем линий, может быть, от непривычки глаза останавливаться на них.

Мы вошли с мамой в подъезд, крытый, с несколькими ступенями, и позвонили в медный, прекрасно вычищенный звонок. Нам отпер швейцар такого вида и обращения, что сразу повеяло сердечным теплом и уютом. Это был наш милый Степан, пожилой мужчина, серьезный и молчаливый, не вступавший с нами, учащимися, в ненужные разговоры, но — это чувствовалось — верой-правдой служивший гимназии. И мы, гимназистки, его любили.

Неспешно и с своеобразным достоинством (при неказистом внешнем виде) он ввел нас в небольшую приемную, а сам пошел за Софией Николаевной. Мама не осталась сидеть в приемной, но двинулась со мной в аванзалу, делившую дом на две половины. Тут, в одном уголочке, мы, стоя, ожидали. Был праздничный день, приходящих не было, живущие ушли на обычную прогулку. В доме было пусто и тихо. Слышны были где-то вблизи и подальше разыгрываемые на рояле экзерсисы и гаммы. Степан вернулся и сказал, что «сейчас придут». Из открытых дверей аванзалы видно было, как обе половины дома залиты солнечным светом через высокие и широкие окна. И в этой тишине, в этом золотом сиянии раздавался чей-то распоряжающийся голос. Я инстинктивно поняла, что это — «она», и стала ждать в напряжении.

Голос теперь распоряжался уже на ходу, приближаясь стремительно к нам, и вместе с ним кто-то бежал к нам легкими, маленькими шагами — и вот в дверях появилась обладательница голоса. Ее облик был до

того необычен, до того неожиданно удивительный, что на меня внезапно напал неудержимый, безумный смех. В дверях появилась — и, к моему счастью, моментально повернулась и побежала обратно — пожилая женщина в невообразимо странном одеянии: на ней был надет пеньюар из белой летней ткани, старомодный уже тогда (а София Николаевна носила его на моей памяти еще лет десять спустя), широкий, короткий, в мелких оборочках. На голове был шиньон в сетке (я такой прически даже не помнила в моей жизни) и невысокий головной убор, черный бархатный, который один из ее учеников (князь Н.В. Шаховской[39]) шутя называл «кокошником Дианы». На шее была надета нитка кораллов, связанная спереди узлом. На груди болтался старомодный лорнет.

Я буквально тряслась от неудержимого смеха, а мама в ужасе останавливала меня: «Перестань, ради Бога, что с тобой? Перестань». А шаги, мелкие и легкие, снова уже стремительно неслись к нам. И вдруг сразу оборвался мой смех, в котором, может быть, проявилось мое нервное напряжение, — и минуту спустя, когда она подошла к нам, я делала ей подобающий реверанс.

Она пригласила маму к себе в кабинет. Я неожиданно, кажется, для нее смело двинулась туда за ними. В кабинет, служивший в то же время учительской, ученицы не входили. Она села в низкое и глубокое кресло перед письменным столом и усадила маму в кресло слева от себя. Я села в кресло от нее справа. Она взглянула на меня своим пристальным, внимательным взглядом, останавливающимся с минуту на человеке или предмете перед собой, как бы вглядываясь и оценивая его сразу, и притом безошибочно верно. Я спокойно глядела на нее, со своей стороны оценивая в ней свою будущую начальницу, — мне казалось, что я имею право присутствовать при этом разговоре, так как он так близко касается меня. Она ничего не сказала — и я, не вмешиваясь в разговор и сидя чинно, со вниманием прослушала весь разговор мамы с ней. Мама вынесла из него впечатление, что София Николаевна — незаурядная личность. Но и Софии Николаевне понравилась мама. Она много лет спустя, после кончины мамы и перед собственной смертью, говорила мне, что помнит так ясно, как мама меня привезла в первый раз в гимназию и как она удивилась и полюбовалась тому, что я так хорошо воспитана; что она смотрела из окна, как мы, уезжая, садились с мамой в коляску, и, увидав, как я почтительно уступаю дорогу маме и помогаю ей усаживаться, подумала: «Какая умная женщина — сумела, сама такая молодая, хорошо воспитать детей». О том, что я в это первое наше

свидание с ней произвела на нее хорошее впечатление, я слышала от нее впервые в наше последнее с ней свидание, когда она приехала посетить меня после смерти мамы. И я лишний раз убедилась, как велика была у нее память, касающаяся ее учениц, и что эта память основывалась на любви к ним.

Из кабинета София Николаевна повела нас смотреть гимназию. Направо от аванзалы — анфилада светом залитых комнат: очень большая столовая, за ней старшие классы. Налево от аванзалы — зала для рекреации, поделенная надвое колоннами, а за ней — младшие классы. Все светло, красиво, приветливо, всюду образцовая чистота и порядок. Но на меня эти большие и пустые в этот час комнаты произвели впечатление чего-то давящего. Словно повеяло на меня принуждением, ограничением свободы, — а это было мне тягостно. Особенно стеснило мне сердце, когда девочка, что-то очень бегло игравшая на рояли, при нашем появлении прервала свою игру и, встав с места, сделала благовоспитанный реверанс. Она играла так бегло, как мне никогда не удавалось, — и ей, по требованию школьной дисциплины, пришлось прервать игру. У меня зародился вопрос в душе: примирюсь ли я с гимназической жизнью, я, такая свободолюбивая, самостоятельная? И мне стало не по себе. Но вот София Николаевна, вернувшись с нами в аванзалу, открыла в ней дверь, ведущую на террасу. Мы вышли на террасу, широкой каменной лестницей спускавшуюся в сад. И что же? Перед террасой была широкая травянистая площадка только что начавшего зеленеть газона — и вся она была усеяна голубыми подснежниками. А там впереди, за кустами, за деревянным забором сада виднелась искрящаяся под солнцем и голубым весенним небом Москва-река, а за ней раскинулись огороды. Напоминало деревенский простор. Я вздохнула свободно. Теперь я знала, что полюблю гимназию: за эти подснежники, за густые кусты сада, за манящий в даль простор, открывавшийся с высокой, подпертой толстыми колоннами каменной террасы. (Впоследствии вид на Москву-реку был закрыт выстроенным за забором гимназического сада высоким корпусом фабрики Бутиковой.)

Вступительный экзамен был мне назначен на 14 мая. Тут я должна привести один факт, поразивший меня и относящийся к категории многочисленных подобных и необъясненных фактов.

В только что минувшую зиму, когда я так усиленно готовилась к экзамену, я как-то видела показавшийся мне примечательным сон. Будто бы я иду по каким-то «пещерам» — это я знала во сне, — длинным темным ходам с нишами, вырытыми в стене, и в этих нишах помещаются раки с мощами. Будто подхожу я к одной из этих рак и начинаю молиться, стоя перед ней на коленях. Возле раки сидит старенький седенький монах и говорит мне: «Молись святому Никите». Я рассказала этот сон тете, и мы обе поняли, что его надо понимать как указание мне на то, чтобы я молилась святому Никите. Но какому? Тетя раздумчиво говорила: «Так, как ты передаешь, выходит будто бы, что это — киевские пещеры; но не знаю, не помню, чтобы там были мощи преподобного Никиты Печерского. Кажется, такого святого в Киево-Печерской лавре не было». Стала я допытываться, какой это мог быть святой Никита, которому мне следовало молиться. Я выпросилась у мамы пойти с Дунечкой в Никитский монастырь[40], надеясь, что там увижу раку с мощами святого Никиты. Монастырский храм оказался запертым, и мы пошли в часовню, выходящую на Никитскую. К моему большому разочарованию, в ней была икона мученика святого Никиты, и святой был изображен на ней молодым, а во сне своем я будто бы знала, что в раке почивают мощи старца святого. Так я и осталась в неизвестности, какому святому Никите мне велено молиться, и постепенно я забыла о своем сне. Когда же мне был назначен экзамен на 14 мая, я посмотрела в святцы, память какого святого празднуется в этот день. У меня было обыкновение так делать относительно дней, игравших известную роль в моей жизни, и молиться святому или святым, празднуемым в данный день. К моему и тетиному глубокому удивлению, оказалось, что 14 мая Церковь чтит память святого Никиты Печерского. И я горячо молилась этому святому старцу помочь мне выдержать экзамен.

14-го утром тетя отвезла меня в гимназию. Гимназия на этот раз гудела многочисленными и разнообразными голосами, оживлением, смехом. Я очутилась одна в незнакомой обстановке, в незнакомой мне толпе, чувствовала волнение, но, как всегда в подобных случаях, собиралась вся в напряженный нервный комок и казалась наружно спокойной и твердой. Мое появление в серо-голубом зефировом платье с белым шитьем и кушаком из бледно-палевой ленты с висящими сбоку концами среди девочек в форменных платьях сразу обратило на меня внимание. Вокруг меня раздались любопытные оживленные возгласы: «Новенькая! В ка-

кой класс?» Но я едва успела ответить, как вдруг все кругом стало стихать. В дверях залы стояла молча, с серьезным, сосредоточенным лицом София Николаевна. Так она делала всегда, давая возможность своим ученицам сосредоточиться перед утренней молитвой. Постояв с минуту, она пропустила нас всех в обширный класс, примыкавший к зале. Окружавшая меня толпа девочек и девушек встала лицом к иконе в углу, и громко и отчетливо одна из учениц прочла молитву перед ученьем. После того все повернулись назад и встали тихо. София Николаевна, стоявшая позади нас, теперь села за учительский стол этого класса — на этот раз в своем будничном темном платье, тоже старомодном, но не настолько, как любимый ее пеньюар, в том же «кокошнике» и шиньоне, с той же коралловой ниткой на шее. Опять минута сосредоточенного молчания — и она развернула лежащую перед ней книгу и начала нам читать Евангелие. Так начинался обычно день в нашей гимназии.

После молитвы все разошлись по классам, а для меня началась серия экзаменов. Они не показались мне трудными, а отношение ко мне со стороны экзаменующих было приветливое, доброжелательное — и сердце мое открылось гимназии. И тут же в первый раз, и на себе, я испытала, как у Софии Николаевны отношение к ученицам было чуждо всякой формальности. Меня заставили держать экзамен по географии после экзамена по этому же предмету 4-го класса. Совершенно новая для меня обстановка: крытый зеленым сукном длинный экзаменационный стол, сидящая на главном месте за ним София Николаевна, учительницы-ассистентки, учитель в вицмундире, наконец, не виданные мной досель немые карты, по которым приходилось отвечать, смутили меня; но я и тут собралась духом и не показала вида, что робею. Отвечала я свободно на все вопросы преподавателя, Михаила Петровича Вараввы[41], хорошо разбиралась в немых картах. Но Михаил Петрович Варавва задал мне еще последний вопрос: «Сколько квадратных миль в Германии?» Я отвечала спокойно: «Я не знаю: этого я не учила». — «Отчего же?» — спросил он, видимо задетый моим ответом. «Оттого, — ответила я с полным сознанием правоты своего «разумного» решения, — что я бы все равно это забыла». — «Как же это так?» — не без язвительности спросил Михаил Петрович. Но тут пришла мне неожиданно на помощь София Николаевна. «Спросите какого-нибудь немца, сколько квадратных миль в России, и он не ответит вам», — сказала она со своей милой манерой шутить с серьезным лицом и, встав с места, закончила экзамен при примиренной улыбке Михаила Петровича.

И потом последний мой экзамен — русский диктант. Гимназия уже опустела: ученицы разошлись. Я устала немного, и голова у меня начала болеть. Диктовала мне сама София Николаевна. Обладая хорошей зрительной памятью, я писала уже давно почти без ошибок. И теперь я, оказывается, сделала лишь одну ошибку — и то случайно. За одну ошибку тогда сбавляли балл. Но София Николаевна, поправляя мой листок, со своего места спросила меня спокойно: «Вера, как пишется: менее?» Я ответила верно. «Зачем же вы пишете: ме?» — спросила она и своим твердым и на редкость красивым почерком вывела под моим писанием пятерку.

Экзамены были не единственным новым для меня впечатлением этого дня. В этот день я вошла в новую среду — среду моих подруг по классу. Они после завтрака успели спуститься в сад, а я еще была задержана экзаменом по истории. На нем мне был сделан, между прочим, вопрос: кто мне нравится больше — спартанцы или афиняне, и я ответила: спартанцы. Я ведь преклонялась перед их выдержкой и воспитанием своей воли. Когда я после этого экзамена вышла на террасу, оказалось, что мой класс ожидает меня. Класс повел свою «новенькую» в сад, усадил на скамейку около террасы. София Николаевна, подошедшая некоторое время спустя к окну, могла убедиться, что я принята вполне дружелюбно. Запечатлелись в моей памяти и эта скамейка, и София Николаевна в окне, и оживленные приветливые лица девочек вокруг меня, девочек, которых я потом так любила и сейчас чувствовала себя готовой любить.

Милая моя тетя приехала за мной к концу экзамена. Помню, как я увидала ее стоящей в приемной, высокую, такую элегантную, несмотря на скромное одеяние. Какая счастливая я вышла к ней! Я выдержала экзамен очень хорошо. И мне так понравилось в гимназии.

Николай Александрович Шапошников приехал осведомиться, как сошел у меня экзамен. Я встретила его на радостях в передней и сообщила ему про удачный экзамен по математике. Он поблагодарил меня за то, что я сделала ему честь как учителю. Не знаю, чувствовала ли я в то время в полной мере, принимая поздравления моих учителей, как много я им обязана была за основательную подготовку, давшую мне возможность быть хорошей ученицей. Я чувствовала тогда больше всего радость от успешно конченного труда, на который я тратила добросовестно свои силы в течение всей зимы.

Лето этого года мы проводили на даче в Воскресенском, имении известного в Москве крупного мехоторговца Сергея Ивановича Белкина[42]. Воскресенское расположено в 8 верстах от станции Бутово Курской железной дороги и находится в Подольском уезде Московской губернии. Мы попали тут в новые для нас природные условия и новую для нас жизненную обстановку. Мы встретили тут густые лиственные леса, прелесть которых мы, выросшие среди сосновых лесов Архангельского, до сих пор не знали. Тут мы встретили несколько иную флору, здесь было много ужей и змей, здесь на размытом берегу Десны можно было найти много окаменелостей, но совсем иного характера, чем в Аносине на Истре или в Кунцеве на Москве-реке. Тут в чаще леса мы наталкивались на таинственные курганы, поросшие деревьями, которые будили в душе Коли рано сложившиеся в ней археологические влечения. Словом, интересного было здесь для нас много.

И тут же мы впервые жили, ощутительно для нас, как дачники. Наши лошади и экипажи оставались в Москве, так что отпало одно из наших любимых удовольствий: катанье. Но удовольствий все-таки было много. Все-таки мы от время до времени катались — брать можно было экипажи и лошадей у владельца имения, а потом в конце парка был большой пруд, и мы катались по нему на лодке (меня Алеша научил грести и управлять рулем).

Потом был сам парк, лишенный таинственного чувства прошлого, светлый и симпатичный, с широкой круглой лужайкой перед красивым белым каменным домом владельца, на которой, ближе к дому, были посажены штамбовые розы[43], с белой каменной церковью в одном краю его, с длинной еловой аллеей, ведущей к каменной беседке у пруда, наконец, были в парке гигантские шаги — и общество подходящих нам детей.

Много веселых, и глупых, и приятных воспоминаний осталось у меня от этого лета. У нас гостит наш двоюродный брат, Сережа Милютин, который всегда согласен был на всякое предложение Алеши. И вот что мы придумываем раз: мы пройдем всю еловую аллею с начала до самого пруда с закрытыми глазами, схватив друг друга под руки, а чтобы не наткнуться на кого-нибудь, идущие с боков Коля и Сережа будут размахивать в воздухе палками. Так мы и сделали: спустились по аллее все четверо с закрытыми по уговору глазами. Не знаю, что подумали о на-

шей глупости дачники, если кто-нибудь из них встретил нашу зажмуренную компанию. Знаю только, что, когда мы проходили через сквозную каменную беседку, я невольно открыла глаза и увидала вдруг в страхе прижавшегося к спинке скамьи несчастного дачника, про которого мы знали, что он страдает меланхолией. Несчастный больной, избегавший вообще людей, дал нам пройти и бросился бежать. Нам было жалко его и стыдно, и мы дошли до намеченной нами цели — берега пруда — уже без прежнего удовольствия.

Теплая летняя ночь. Мы засиделись поздно и поздно разошлись по комнатам. Стали уже раздеваться — вдруг снизу (дача наша была двухэтажная) раздается призыв Алеши: «Не пойти ли нам еще погулять?» И мы отправляемся — в самых невозможных одеяниях: Лена и я в ночных юбках и кофточках, Алеша — задрапированный в красное байковое одеяло, как в римскую тогу. В этом заключалась значительная доля удовольствия этой ночной прогулки — ходить в неподобающих костюмах по заснувшему имению, мимо спящего населения дач с вопросом: «А ну-ка, кто-нибудь проснется и увидит?» — и было подмывающе смешно и весело. И было так по-особенному и по-новому хорошо бродить в росистом полусумраке летней ночи. И тут я впервые видела восход солнца. Обезумев от восторга, вернулась я домой. И долго еще я сижу возле маминой постели — мама нас ждала и не спит еще, — сижу для своего удовольствия на полу и по-турецки подвернув под себя калачиком ноги, и все что-то рассказываю ей и смеюсь, смеюсь без конца.

Мы всей семьей под вечер отправляемся на далекую прогулку — в деревню Десну. Мы еще там не были, не знаем, что это довольно далеко. Я иду намного впереди от других вдвоем с Алешей, оживленная тем, что мы идем открывать новые места. Вдруг я вижу: на пыльной дороге, нам наперерез, вытянулась, ползет бархатно-черной лентой большая змея. Я невольно останавливаюсь, но Алеша не дает мне времени опомниться и ловким и метким ударом своей палки раздробляет ей голову. Общее волнение подошедших. Мне Алеша представляется героем, и как я горжусь им: его храбростью, самообладанием и силой. В деревню Десну мы пришли, когда уже стало темнеть, и для возвратного пути наняли телегу. И вот я — одна из тех из нашей компании, кто примостился на телеге, и мне весело оттого, что я — в необычном экипаже и что нас изрядно потряхивает. А сидящий впереди седой мужик неторопливо повествует нам предание про ужа, отчего у него на голове

золотой венчик. И мне кажутся такими поэтичными эти минуты, когда я слышу «из уст народа» народное предание.

Это лето было для нас примечательным еще в одном отношении: это был год первой этнографической поездки Миши. Он приступал к ней как к священнодействию. Так относились и мы к ней. Миша ехал на Русский Север не с целью собирания этнографических сведений, как ездил в следующий год к вотякам, а лето спустя — в Область Войска Донского. Он хотел познакомиться воочию с жизнью народа, которую он знал только по книгам и которой глубоко интересовался и горячо любил. Ему только минуло в это лето 22 года, и он был весь восторженно настроен. Сборники Гильфердинга[44], Рыбникова[45], «Поездка в Обонежье и Корелу» Майнова[46] увлекали его. На нашем Севере он надеялся встретиться с сохранившейся издавна самобытностью русского народа. К своей поездке он тщательно подготовился чтением. Он спрашивал также советов у Константина Александровича Шапошникова. Его поездка сложилась по следующему маршруту: из Петербурга по рекам Неве и Свири и озерам Ладожскому и Онежскому в Заонежье, оттуда — в Архангельск и Соловки, на Новую Землю, вокруг Кольского полуострова и всей Норвегии домой.

Он поехал, прихватив с собой Михаила Михайловича Панова. С дороги оба приятеля писали нам письма[47] — но какие разные по содержанию. Соответственно различию своих характеров, они воспринимали по-различному впечатления пути. Письма Михаила Михайловича не оставили на мне следа. И как много, обратно, давали и дали мне письма Миши. Он писал нам часто и по очереди, начиная с мамы и кончая мной, как младшим членом семьи. Мы все ожидали его писем с живым нетерпением и читали их сообща. Рисовались нам яркие картины — и поэзия Севера проникала в сердце. Особенно сильное впечатление произвел на Мишу Соловецкий монастырь. Он описал полученное им там и глубоко пережитое им впечатление в длинном восторженном письме к маме, в котором он, между прочим, убеждал маму, что полезно бы было отпустить Алешу и Колю съездить в Соловецкий монастырь и увидать там русскую жизнь.

К концу лета наши путешественники вернулись. Их оживленные рассказы были желанным добавлением к их письмам. Михаил Михайлович

привез мне много интересного для моих естественно-исторических коллекций: яйца чаек и гагар, высушенную каракатицу, ползучую полярную иву и пр. И потянуло меня с тех пор на Север. Осуществилась моя мечта в 1887 году, когда мы с Колей в свою очередь совершили поездку по Олонецкой и Архангельской губерниям[48] и восприняли во время ее незабвенные впечатления.

Конец лета был необычайно дождливым. О прогулках не могло быть и речи. На даче было сыро и неуютно. В это время мы предались новому для нас и входившему тогда в моду занятию спиритизмом. Среди скуки вынужденного сидения дома нас увлекало верчение блюдечком, тем более что у Лены оказались медиумические способности: блюдечко так и бегало под ее руками и давало подходящие ответы на предлагавшиеся вопросы.

В наших сеансах принимала участие дочь владельца имения, Александра Сергеевна Белкина, — кажется, она-то и научила Лену этому занятию. Мы познакомились с этой простой, милой и удивительно доброй девушкой в самом начале лета, и она была нашей веселой спутницей в наших прогулках и катаньях. Она была однолеткой с Леной и позднее немного посещала с ней вместе курсы Герье. Они сблизились, и Александра Сергеевна бывала у нас, и Лена у нее, вплоть до ее неудачного первого замужества. Потом они разошлись и встретились уже на старости лет, года за два до кончины Лены. Встреча была самая сердечная — и теперь, когда мы видаемся с Александрой Сергеевной, мы возвращаемся с ней к светлым воспоминаниям лета, проведенного нами в Воскресенском. И мне приятно глядеть в ее доброе, широкое лицо, в котором так ясно для меня проступают черты лица молодого.

Невыносимым показалось нам жить дольше на даче при непрерывных дождях. 16 августа мы под проливным дождем и по размокшей дороге с трудом дотащились до железнодорожной станции Бутово, промокшими сели в вагон. Но, когда мы подъезжали к Москве, выглянуло солнце и стало проясняться. И с этого вечера началась теплая, солнечная осень. Все равно не пришлось бы долго наслаждаться дачной жизнью: 20 августа начиналось ученье в моей гимназии.

Учебные занятия начались в яркие солнечные дни, когда в окна залы, столовой и классов лилось в изобилии солнечное сияние, поднимающее энергию, бодрость и радость.

Мама впоследствии любила вспоминать: четверть четвертого — и я влетаю к ней в комнату радостная, сияющая. Прямо из гимназии. Я не успела ни вымыть рук, ни переплести растрепавшуюся косу. На мне — коричневое форменное платье и черный форменный фартук, на голове соломенная шляпа с полевыми цветами. В руках — кожаный саквояж, в котором я ношу в гимназию книги и тетради. Глаза мои так и искрятся, и я в поспешной речи повествую о том, что было за день в гимназии. И, рассказав ей все интересное, — а интересна мне каждая мелочь гимназической жизни, — я в том же виде лечу по лестнице наверх — и прежде всего к тете. И тут с тем же оживлением повторяю свой рассказ. Едва успеваю привести себя в порядок — и уже подают обед. А после него — сейчас за уроки. И такое удовольствие учиться, преодолевать трудности.

С утра — полное удовольствие. Будят меня рано — у нас начало ученья было в половине девятого. Поспешно одеваюсь, счастливая своим форменным платьем. Бегу проститься с тетей. Неизменно молюсь у нее перед киотом, глядя при этом на любимую нами икону Казанской Божьей Матери. Тетя в это время уже встает, и, влетая в ее объятия, я прошу ее «помолиться». Мне кажется, ее молитва будет мне в помощь. Мама спит сладким сном — обыкновенно она лежит на спине и почти неслышно дышит. Так мирен ее сон, так все еще полно непроснувшимся днем в этой затемненной на ночь тяжелыми занавесями комнате, что жаль ее будить. Но не хочется уйти без ее благословения. Наклонясь к ее лицу и целуя ее, я говорю: «Мамочка, перекрести меня». Она впросонье поднимает руку, не меняя своего положения, крестит меня и тут же снова крепко засыпает. А я бегу в столовую, где пять минут спустя я оставляю недопитую чашку кофе, недоеденный розан — я слишком спешу, я слишком боюсь опоздать в гимназию.

Я иду — нет, я бегу в гимназию. За мной следом — провожающая меня наша горничная Мариша. Я застала еще обычай, по которому девочек провожала в гимназию домашняя прислуга, которая при этом несла за ученицей ее мешок или ранец с книгами. Обычай этот изжился скоро на моей памяти: я, по крайней мере, скоро отделалась от стеснявших меня проводов и бегала одна в гимназию, наравне с другими девочками, эмансипировавшимися раньше меня. Все же первое время меня провожала в гимназию Мариша. Но у нас с ней выходило что-то ни с

чем не сообразное и ненужное. Я бежала по переулкам с такой быстротой, что Мариша не могла поспеть за мной и все больше и больше отставала от меня. В предпоследнем переулке расстояние между нами было в целый переулок, и, дойдя до угла 2-го Ушаковского переулка и убедившись, что я в это время на конце его уже заворачиваю во двор нашей гимназии, Мариша со спокойной совестью поворачивала назад и неторопливо шла домой. При таких условиях я, чтобы не приходить в гимназию без книг, сама тащила свой мешок, не пользуясь, таким образом, ни в чем услугами Мариши.

Бегу, радостная, веселая, — и у каждой церкви, мимо которой приходится проходить, крещусь и молюсь краткой молитвой: у церкви Спаса на Песках — Святому Духу, потому что над входной дверью храма имеется Его изображение; у церкви Николы Плотника[49] — святому Николаю Чудотворцу, у Покрова Левшина[50] — почему-то святителям московским.

Ближе к гимназии догоняешь и обгоняешь «наших» гимназисток. Так весело: ведь это — свои. И неизменно догоняю я одну или другую из старших — то Соню Кеслер, высокую красивую девушку с мягкими манерами, приятную мне спокойным, добрым лицом, то очень нравящуюся мне Юлю Любенкову, прелестную своим оживленным личиком, выглядывающим из-под соломенной шляпы, черными волосами, заплетенными в две длинные косы, всегда весело улыбающуюся, всегда приветливую и ласковую. Соня Кеслер ходит в гимназию одна, а за Юлей ковыляет, подпираясь палкой, старая нянюшка ее. Ни Соня, ни Юля не держатся со мной свысока, как старшие с младшей, и потому мне приятно встречаться с ними, пройти в разговоре с ними часть пути.

Вхожу в прихожую — и сразу от шума и гудения голосов собравшихся раньше меня у меня начинается особенный, радостный подъем. И так бывало со мной всегда, за все пять лет, которые я провела в гимназии. Бывало, что я приходила в гимназию вялая — от позднего ложения, или утомленная — у меня в 7-м классе развилось малокровие; но стоило мне войти в переднюю и услышать гимназический шум и вдохнуть гимназического воздуха, как тотчас я чувствовала прилив бодрости и энергии. И всегда начало гимназического дня складывалось у меня по-одинаковому, отрадно и радостно.

Прежде всего я веселым возгласом приветствую швейцара Степана, потом обнимаю стремительную нашу раздевальщицу Сашу, старенькую, с увядшим лицом, обезображенным шишкой на щеке, но такую ласко-

вую, спокойную, доброжелательную ко всем. Оставив на попечение Саши свою верхнюю одежду, я вхожу быстрым шагом в приемную и, если там встречаю которую-нибудь из наших учительниц, делаю им на ходу короткий реверанс, чуждый всякой грации. Затем перехожу в аван-залу, отведенную одним только «синим», то есть ученицам последних двух классов, которые носят не коричневые, а синие форменные платья. Многие из них окликают меня приветливыми, ласково смешливыми возгласами. У меня между «синими» есть приятельницы, которые относятся ко мне со снисходительной ласковостью, как я, в свою очередь, отношусь к маленьким. Их зовут у нас «пстрик» — и так приятно, когда какой-нибудь «пстрик» на ходу обнимет или поцелует тебя, и так приятно знать, что маленькие тебя «любят». Вхожу в залу — в дверях делаю снова книксен стоящим у косяков мисс Сольтер, нашей англичанке, и француженке или немке — и сейчас к нашему классу. Он разбился на группы — кто с кем дружнее, — и девочки ходят по зале, подхватив друг друга под руки, а перед ними, схватившись за их руки, шествует обычно одна, лицом к ним. Часто меня уже ждут мои: надо кому-нибудь объяснить урок, помочь в переводе, показать, как решить заданную задачу. Забиваемся в уголок или отходим к окну, и мне радость помочь. И вдруг — наступает тишина. Раскрылись двери в соседний большой класс — и в них появилась Софья Николаевна. Час молитвы. И начинается учебный день.

Класс, в котором происходила утренняя молитва, был тот, в который я поступила, а именно: 4-й. Обширная, светлая комната, четырьмя окнами глядевшая в сад. Сколько воспоминаний связано у меня именно с этим классом. Тут началась моя гимназическая жизнь — обособленная от семейной. Тут я впервые вступила в жизнь как самостоятельная личность, которой без посторонней помощи приходилось налаживать свои отношения к обществу: группе разнородных людей. И я скоро приладилась к новой среде.

Прежде всего, как ни странно это было при моей независимости и свободолюбивости, при моем воспитании, предоставлявшем мне во многих отношениях большую свободу, я легко подчинилась школьной дисциплине; мало того, ее требования мне нравились. Мне нравилась строгая распределенность занятий, вносившая точный порядок в труд и

отдых. Мне нравилась необходимость держать себя в руках, работать силой воли. Это было мне по характеру, согласовалось с требованиями, которые я предъявляла себе.

Эти же требования настоятельно приказывали мне быть в среде моей общественной группы не только любимым членом, но также источником возможно хорошего влияния. Этим определялись мои отношения к моим одноклассницам. Я скоро и прочно приобрела их любовь, с одной стороны, с другой — авторитет в их глазах. Любили меня, наверное, потому, что я искренне любила моих подруг. Что же касается до искания оказывать влияние, это шло в ущерб непосредственности в переживании чувств и положений, но это вытекало из моей рефлектирующей натуры, усиленной влияниями, воспринятыми с раннего детства. Во всяком случае, я старалась никого не давить своим авторитетом и в полной мере была счастлива отношением ко мне моего класса.

В ученье я сразу стала в ряду лучших учениц нашего класса. Это было неудивительно при моей превосходной подготовке, над которой так добросовестно потрудились мои учителя, и потому еще, что я была среди старших в классе, и были между нами девочки моложе меня на два года. Учиться мне поэтому было легко. Тем не менее я училась в этом году с большим напряжением. Оттого ли, что весь интерес жизни в эту зиму сосредотачивался для меня в гимназии, подругах, уроках, тревогах и радостях учебной жизни, — я отдалась одному только ученью, до самозабвения. Я готовила уроки с каким-то наслаждением и отделывала их до совершенства. При этом я никогда не выбивалась из сил ради честолюбия, я работала, как могла. Я давала максимум того, что могла, в своей работе и затем была покойна, что добросовестно исполнила свою обязанность. Тянуться сверх сил было мне чуждо. С первой четверти я оказалась в числе так называемых «первых» учениц, то есть шедших на круглых пятерках и записываемых на ежегодно возобновляемую «золотую доску», и уже не сходила с нее до окончания курса с золотой медалью. Это радовало меня; но, если бы пришлось на это употребить больше усилий, чем сколько я делала в ученье, я не стала бы домогаться этой чести.

Труд по ученью был мне не чрезмерно тяжел, но он осложнялся для меня волнением и неуверенностью. Я никогда не показывала их в гимназии, особенно перед учителями и учительницами, зато наедине и в своей семье тем сильнее их переживала. Помню, как я уезжала в Большой театр на оперный спектакль с греческой грамматикой или гречес-

ким переводом и как я в антрактах повторяла по ним урок в аванложе, хотя такое повторение было совершенно лишним. Помню также, что опера в эту зиму уже не доставляла мне такого наслаждения, как год тому назад: все мои мысли и интересы связаны были с гимназией; кроме того, я очень уставала за день, так что нередко меня клонило ко сну. Помню, как непреодолимый сон охватил меня на «Фаусте», так что я улеглась в аванложе на шубах. Проснулась, когда заиграли марш, и, прослушав его, повалилась опять сонная на шубы. Вспоминаю также, что, в противоположность предыдущей зиме, я ничего-ничего почти не читала. За всю зиму я успела прочесть только, правда основательно зато, «Русскую литературу» Полевого[51]. Я не чувствовала ни малейшей потребности читать, это я, с раннего детства такая жадная до чтения. Гимназия в этот первый год давала мне так много знаний, впечатлений, переживаний, требовала от меня такого душевного напряжения, что душа и ум были переполнены, не вмещали уже ничего больше.

Вспоминаю, как на панихиде у могилки Софии Николаевны Фишер в Донском монастыре ко мне обратилась Ал.С. Алферова (рожд. Коссович[52]; эта замечательная женщина поступила к нам в гимназию в 5-м классе и шла блестящей ученицей классом ниже меня) с вопросом, что меня больше всего привлекало в нашей гимназии, когда я училась. Я ответила, не задумываясь: «Свобода». Она сказала, что думала так же, как я, что она рада, что сошлась со мной в этой мысли. И мы стали говорить, что, может быть, сама София Николаевна не согласилась бы с нами и что удивительно, как при том неуклонном порядке, так строго поддерживавшемся ею, в гимназии дышалось легко и свободно. И это — в годы тяжелого школьного гнета в 80-х годах XIX века, такого гнета, который заставлял учеников ненавидеть свое учебное заведение. Мы же, «фишерки», так горячо любили свою гимназию. Нам было в ней отрадно легко. Нас не давили формалистикой, которой так много было в остальных гимназиях. И сухость тогдашней классической системы не ощущалась нами, потому что не подневольное было прохождение навязанной сверху программы, — не хотели родители давать своей дочери классическое образование[53], они могли отдать ее в женскую гимназию ведомства императрицы Марии с гораздо более легкой программой[54]. А если пожелали они, чтобы девочка их получала образование, одинаковое

с мальчиками, приходилось идти с твердостью по намеченной дороге и преодолевать все трудности. Но и эти трудности программы, в которых София Николаевна, глубокая сторонница пользы классической системы, видела большой смысл, она умела сглаживать и облегчать, потому что вносила в преподавание свое и прочего персонала дух жив. Этот дух жив горел во всем ее существе. И он выражался у нее во внутренней свободе. Она признавала выше всего закон своей совести, закон Божеский, которым и определялись ее поступки. Она была убежденная монархистка, искренняя и покорная верноподданная, но ни одно распоряжение свыше не в состоянии было бы заставить ее провести в своей гимназии какое-нибудь мероприятие, не отвечающее ее педагогическим взглядам. Она, кажется, самому царю сказала бы в глаза: «Судите, следует ли вас слушаться или Бога?» И это она сказала бы не с гордостью или заносчивым противлением власти, но с глубоким внутренним смирением и великой твердостью. Так было бы внутри у нее, а наружу это противоречие вылилось бы у нее в обаятельную форму, потому что, несмотря на отсутствие красоты (в молодости она должна была быть красива), она отличалась редким обаянием — ума, твердой воли и женственности.

Внутренне свободна была она и потому, что была чужда пристрастия ко многому, что имеет обыкновенно ценность в глазах людей. А ее высокий дух стряхнул с себя бремя пристрастия к этим ценностям. Она говорила, что считает богатство даром Божиим, наравне с другими — красотой, художественными и прочими дарованиями, но оно не имело в ее глазах привлекательности. Она была окружена в жизни простотой. Красота и таланты имели для нее привлекательность, но неприменимо к ней самой. Она, бывало, с интересом осмотрит новое платье на какой-нибудь из кончивших, приехавших навестить ее, но всем своим обращением: улыбкой, выражением лица — докажет, что этот туалет ей нравится на данном лице, что она понимает в молодом существе радость быть хорошо одетым, но сама не придает этому существенного значения. Сама она носила платье из года в год одного и того же старомодного фасона, в котором она чувствовала себя удобно и покойно. Также без пристрастия она относилась к имеющим власть или превознесенным выше других в общественном положении. Она признавала власть, но внешний почет, сообщаемый ею ее носителям, не менял ее отношения к этим последним. Со всеми она была одинаково самою собой, Софией Николаевной, с ее взглядами, убеждениями. Эта внутренняя независимость

импонировала. С ней считались, и невозможно было не считаться. Нельзя себе представить Софию Николаевну, говорящую не то, что она думает, по каким-нибудь соображениям проводящей в жизнь то, что не отвечает ее убеждениям. Нельзя ее представить иначе, как поднявшейся высоко над теми благами жизни, которые, в сущности, так мало ценны и гнетут человека долу.

Эта внутренняя свобода, связанная, однако, с признанием дисциплины, проявлялась в некоторых мелких штрихах гимназической нашей жизни, придававших ей своеобразие. У нас, например, не было классных дам. Были, как полагалось тогда в женских учебных заведениях, немка, француженка и еще англичанка. Они бродили между нас или больше стояли у дверей залы во время «перемен» (у нас не употреблялось слово «рекреация»[55]), но мы не чувствовали в них гнета непрестанного наблюдения за нами. А в класс для поддержания порядка они вовсе и не входили. Мы сознавали оказываемое нам доверие и по собственному произволению поддерживали порядок и должную тишину. Вся сила полагалась в личном авторитете каждого преподавателя или учительницы и в добросовестном исполнении со стороны учениц своих обязанностей. Но беспорядок и шум после звонка к уроку не терпелся. И если случалось классу в ожидании запоздавшего учителя шуметь, появлялась София Николаевна и медленно проходила мимо парт, как будто занятая своими соображениями и мыслями, наклонившись, как ходила всегда, вперед, изучая близорукими глазами расписание, которое она носила постоянно при себе, — изящно исписанный листик на переплете маленькой записной книжки (она любила миниатюрные предметы). Она проходила, как будто пришла не из-за шума в классе, и этот шум сам собою стихал от одного ее появления.

Уважение и почтение к учителям и учительницам требовалось — об этом не говорилось, это признавалось понятным само собой, и у нас в гимназии не имели места и просто были немыслимы какие-нибудь злые и безобразные шалости по отношению к учителям и учительницам, какие происходили в других учебных заведениях. Было в старших классах сдержанное отношение к учителям — запрещались беседы с ними после урока, сближающие преподавателей с ученицами. Но не требовались внешние знаки почета перед учителями и учительницами, не надо было вытягиваться перед ними в струнку, и они довольствовались коротким некрасивым и быстрым реверансом на ходу. И тут было отсутствие гнета.

Та же свобода была и в ношении формы. В некоторых других учебных заведениях того времени были предписаны не только цвет, но и покрой форменной одежды, — так было, например, в пансионе Дюмушель, в котором училась Лена. У нас в гимназии форменной была только окраска: коричневый цвет до 7-го класса и синий — в двух старших классах и черный фартук во всех классах. Но никто не обращал внимания, какого покроя платье на ученице, из какой материи оно сшито и какого оттенка оно, коричневого или синего. Эта свобода выбора, отсутствие нивелирующего, скучного единообразия были мне, по крайней мере, по душе. В то же время никому не пришло бы в голову выйти из общего скромного уровня, надев на себя какое-нибудь богатое платье, из дорогой материи или замысловатого фасона. Этого не допустило бы товарищеское чувство — да и София Николаевна не позволила бы этого. Кроме того, влияло на учениц ее собственное отношение к одеванию: в общем, мы, ее ученицы, мало придавали значения туалетам. Только в одном случае мы соревновали друг друга: нам было разрешено в жаркие весенние дни приходить в гимназию — опять-таки по желанию — не в форменном платье, а в так называемом «русском костюме», который был тогда в моде. Так как большинство учениц сами вышивали свои костюмы и выбирали разный покрой рубашек, фартуков и различную окраску юбки или сарафана, то тут можно было проявить свой вкус и трудолюбие и похвастаться ими перед подругами. Впрочем, соревнованию тут полагались очень ограниченные пределы. Но когда однажды мать одной «живущей» прислала ей палевый шелковый сарафан с шелком расшитой рубашкой, который должен был выделить девочку из среды более скромно одетых подруг, София Николаевна отослала его назад.

В других учебных заведениях того времени не позволялось ученицам носить часы и золотые вещи. У нас это не поощрялось, но и не запрещалось. Только от Софии Николаевны исходило такое отношение к суетным украшениям, что намного сбавлялось тщеславное удовольствие надеть, например, браслет или брошку. Но то, что это не подвергалось формальному запрещению, что и в этом отношении предоставлялась свобода действия, было приятно.

Впрочем, в некоторых случаях София Николаевна была деспотична. Безусловному запрещению в гимназии подвергались очки и пенсне. Близоруким разрешалось носить складной лорнет, каким обходилась сама

София Николаевна. Чтобы понять это запрещение, надо вспомнить, какое впечатление на одну часть общества производили нигилистки того времени, стриженые и в очках. Создался внешне непривлекательный тип, которого желательно было не воспроизводить искусственно, как делали это некоторые молодые девушки. Далее, София Николаевна не выносила появившейся моды выстригать себе волосы спереди и спускать их «челкой», гладкой или подвитой, на лоб. София Николаевна считала эту моду безобразной, напоминающей собачку, и запрещала появляться в гимназии с «челкой». Я знаю случаи, когда мои подруги, вернувшись домой из гостей поздно ночью, спешили размочить на лбу завитую «челку» и наутро, отправляясь в гимназию, тщательно зачесывали ее назад. Еще непримиримо ополчилась София Николаевна против моды носить «турнюры»[56], действительно безобразные, и изгнала эту моду совершенно из гимназии.

Весь строй гимназической жизни держался Софией Николаевной, ее высоким духом, редким умом и сердцем. Она одухотворяла всю гимназию. Ближайшими сотрудниками ее были ее муж, Георгий Борисович[57], и ее двоюродная сестра, Анна Павловна Давыдова[58]. Ни в бытность мою в гимназии, ни в позднейшие годы (до самой смерти Софии Николаевны я не прерывала моих посещений гимназии) я не стояла близко к Георгию Борисовичу. Тогда как к Софии Николаевне я тянулась всей душой, с каким-то восторженным чувством и благоговением, — я была равнодушна и холодна к внутреннему облику Георгия Борисовича. Он мне был неясен: я никогда не умела к нему подойти, говорить с ним. И он казался мне малоинтересным рядом с ярким и крупным обликом Софии Николаевны. Но когда, годы спустя после окончания гимназии, мне одно время пришлось сталкиваться с Георгием Борисовичем на заседаниях Общества бывших воспитанниц гимназии Фишер, я научилась ценить его: он был такой сердечно добрый и чуткий, так глубоко деликатен. Тогда я поняла тайну этого на редкость счастливого супружества. Она, выдающаяся, одаренная, с неизмеримо более сильной душой и старше его, любила его за более нежную и тонкую душу. Она любила его до поздней старости — и это чувство придавало особое обаяние ей, такой сильной, умной, самостоятельной, точно не нуждавшейся ни в чьей помощи. Оно смягчало ее образ, делало его привлекательным

женственностью. Она находила себе опору в нем, руководствовалась его советами. Не сомневаюсь, что с его чуткостью он был ей часто полезен. Держался он с замечательным тактом — опять-таки им должна была руководить природная тонкость чувств. Он не выдвигал себя вперед и держался так, что всегда София Николаевна оставалась главой созданного ею дела. Но он и не стушевывался перед ней, как маленькое светило перед большим. Он был самим собой, он занимал свое собственное место. Все его уважали; знали и чувствовали, что он помощник, советник Софии Николаевны, что он связан незаметными на поверхностный взгляд, но крепкими узами с гимназией, узами сердечной любви к ней, неусыпным вниманием и заботами. Он не только взял на себя хозяйственную сторону и вел ее в образцовом порядке, несмотря на скудные средства; он внимательно вглядывался в каждую ученицу. Только София Николаевна входила с ученицами в непосредственное общение, Георгий Борисович же держался от них сдержанно в стороне. Но молчаливое попечение о каждой ученице, ее успехах в ученье, ее нравственном строе чувствовалось. Он внимательно вглядывался в каждую из них. И никогда не забуду я следующего случая, когда он поразил меня, девочку, тонкостью понимания. Собирали на венок одной подруге нашей, скончавшейся от опасной болезни, и все откликались на этот сбор с сердечной готовностью. Одна из наших одноклассниц, болгарка, привезенная во время войны в Москву и принятая в гимназию на воспитание, не могла принять участие в сборе за неимением каких-либо своих денег. Это был случай, когда с особенной горечью давало себя чувствовать ее особое положение среди подруг — положение призреваемой, не имеющей семьи. И вот в одну из «маленьких перемен» между двумя уроками Георгий Борисович внезапно отозвал ее из аванзалы, где она стояла среди девочек с опечаленным лицом, и быстро увел ее в полутемный коридор, откуда вела лестница в верхний этаж и где всегда толпились ученицы вокруг «машинки с водой» (фильтр для питьевой воды). Он зашел с ней под лестницу и, избегая любопытных взглядов, поспешно сунул ей в руку рубль — и так же быстро удалился. Сделать это более незаметно для других было невозможно при расположении комнат в нашей гимназии. Надо было видеть, с каким сияющим взглядом больших темных глаз, только что бывших такими грустными, вернулась к нам Паша-болгарка.

Неизменной за все время существования гимназии и незаменимой по преданности делу помощницей Софии Николаевны была ее двоюрод-

ная сестра, Анна Павловна Давыдова. К младшим классам гимназии она стояла даже ближе, чем София Николаевна. Ее район ведения был левая сторона здания, где помещались классы с приготовительного до 4-го включительно, также и рекреационная зала. Из-под ее непосредственного наблюдения и влияния ученицы выходили, переходя в 5-й класс, помещавшийся в правой стороне здания вместе с 1, 6, 7 и 8-м классами. Здесь гораздо чаще, чем в левой половине, появлялась София Николаевна, а Анна Павловна заглядывала сюда только случайно. София Николаевна стояла гораздо ближе к старшим, чем к младшим (по крайней мере, в мое время), уже по одному тому, что у нее были уроки в старших классах: она читала с нами Гомера в двух последних классах. Кроме того, она пользовалась каждой лишней минутой, чтобы, помимо ее собственных часов, почитать хоть немного излюбленного ею автора; так она всегда пользовалась для этого манкировками и постоянным запаздыванием на урок Ф.Е. Корш[59]. Помимо этого, в одном из старших классов сзади стояла ее парта, за которой она занималась во время шедшего тут же урока. Она не вмешивалась в ход урока, но можно было быть уверенной, что ничего не ускользает от ее внимания, даже если она в данную минуту занята писанием. Таким образом, влияние Софии Николаевны чувствовалось гораздо больше в старших классах. Анна Павловна же царила в половине младших. Ее область были и дортуары[60], и потому многие живущие сближались с ней. И были ученицы, которые чувствовали себя ближе к ней, чем к Софии Николаевне.

Мне лично не пришлось сблизиться с ней, хотя я и любила ее и ценила. Но, когда я по окончании курса приезжала в гимназию, я приезжала исключительно к Софии Николаевне и сидела с ней вдвоем, если не было других посетителей. Случалось при этом, что в столовую, где принимала приехавших к ней гостей София Николаевна, влетала вихрем, как всегда, Анна Павловна, чтобы сообщить что-нибудь нужное Софии Николаевне или спросить у нее что-нибудь, — тогда она скажет, бывало, ласково: «А, Верочка», — поцелует и умчится обратно. Точно не желала она мешать разговору. И если я, приехавши в гимназию уже окончившей, заставала ее в перемену стоящей у косяка двери и наблюдающей за девочками, — таково было ее обыкновение — она ласково приветствовала меня все тем же восклицанием: «А, Верочка!» — и, поговорив немного, говорила, где находится сейчас София Николаевна. И я шла отыскивать Софию Николаевну. Опять-таки она точно не хоте-

ла мешать, не хотела отнимать даже частицу того чувства беспредельной привязанности, любви и восхищения, которое я питала к Софии Николаевне.

Но, когда я была в 4-м классе, на ее половине, я душой стояла ближе к ней. Она нравилась мне чрезвычайно, я восторгалась ею. Ей было в то время лет 26, не более, и она была полна молодой энергией. Впрочем, выдающуюся энергию, наряду с редкой моложавостью, она сохранила до преклонного возраста. Тогда приятно было на нее посмотреть. Она была вся быстрота и движение. Она не ходила, она летала по классам. На ходу успевает кинуть ласковый вопрос, приветливое замечание — и мчится уже дальше, к своему делу. Ее лицо, освещенное внимательными темными глазами, прикрытыми темными длинными прямыми ресницами, дышало бодростью и радостью быть деятельной. Оно мне нравилось своим выражением, внутренним светом прекрасной души. Она отвечала моему идеалу энергичной женщины, бодро и весело трудящейся. Приятно было также учиться у нее: она преподавала нам историю, — до того бодро вела она урок, такого отчетливого знания она требовала и умела достигать в своих ученицах.

Она была незаурядный человек, с выдающимися качествами сердца, с большой волей и трудоспособностью. Но ее одаренная натура не достигла полного развития, не дала такого великолепного плода, который могла бы при других условиях дать. Жизнь ее протекала в соседстве со слишком большим светилом. Она стушевывалась перед Софией Николаевной. Отчасти она делала это сознательно и добровольно, признавая искренне превосходство над собой Софии Николаевны. Делала она это с любовью, без малейшей зависти, подчиняя себя во всем Софии Николаевне, признавая всецело ее авторитет, не соперничая с ней в привлечении любви и почитании со стороны учениц, всегда ставя себя на третье место. И это было привлекательно в ней: в этом сказывалось благородство души, и чувствовалось, что она значительнее, чем старается показаться.

Анна Павловна, как личность и по положению своему главной помощницы и близкой родственницы Софии Николаевны, выделялась из круга остальных учительниц. Они же были большей частью молоденькие, и все они кончили курс в нашей гимназии и были потому тесно

связаны с ней, напитаны ее духом. Посторонних учительниц у нас не было, по крайней мере, в то время. Это создавало одну большую семью. До 5-го класса почти все предметы преподавались учительницами: в 4-м классе, например, в мою бытность в нем, у нас было только два учителя: географии — Михаил Петрович Варавва — и математики — Дмитрий Федорович Назаров[61]. Этот последний был превосходным преподавателем, и я не раз пожалела, что он скончался летом этого года и что мы перешли с 5-го класса к Георгию Борисовичу Фишеру, у которого не было такой ясности и определенности в преподавании. Но Дмитрий Федорович Назаров, желчный, колкий и требовательный, нагонял на класс громадный страх. Мне же, благодаря превосходной подготовке, легко было отвечать его требованиям и быть у него на хорошем счету. Класс наш не был силен в математике, но выдавались математическими способностями две девочки: Маня Григорова[62] и Маня Шеина.

Я не задаюсь задачей описать всех наших учительниц, хотя я и сохранила о них благодарное воспоминание. От них веяло чем-то милым, молодым, скромностью и отсутствием самоуверенности. Но все они вышли из школы Софии Николаевны — трудоспособные, терпеливые с ученицами, дающие им и требующие от них добросовестного отношения к своим обязанностям. Больше всего меня влекла симпатия к нашей учительнице латинского языка — Марии Константиновне Ивановой (гораздо позднее она вышла замуж за преподавателя Н.И. Виноградова[63], ставшего впоследствии директором 3-й мужской гимназии). Мария Константиновна считалась звездой первого выпуска нашей гимназии: отмечали ее выдающуюся даровитость. Всем она была мне мила: наружностью — высоким ростом и стройной фигурой, миловидным румяным лицом, густыми светлыми волосами, всем обращением, очень сдержанным и полагающим преграду между ней и другим человеком, четкостью в преподавании, спокойной энергией. Ее любили многие девочки, хотя должна тотчас отметить, что тут не было элемента так называемого обожания. «Обожание», процветавшее еще недавно в женских учебных заведениях, выходило как раз тогда из моды. Мы бы стыдились, если бы кто-нибудь даже только заподозрил нас в том, что мы «обожаем» того-то или другого учителя или учительницу. Мария Константиновна замечательно преподавала свой предмет, и мы благодаря ей сделали за годы большие успехи в латыни. Я полюбила чтение Юлия Цезаря.

Мила мне была также учительница русского и славянского языков, Мария Ивановна Виноградова. Мария Константиновна казалась мне уже

не молоденькой девушкой, а Мария Ивановна — гораздо ближе мне, почти старшей подругой. Она действительно была еще очень молода. Мне очень нравилось, что она — так необычно было это для учительницы — заплетала свои длинные волосы в две пушистые косы. Это было очень красиво и приближало ее к нам, к девочкам, носившим косы.

Класс, в который я поступила, не признавался выдающееся даровитым, как, например, следующий за нашим. Но я попала в круг способных, трудолюбивых и, что называется, «хороших» девочек с чистыми душами и неиспорченным воображением. Годы показали, что большинство из них с честью справились со своей жизненной задачей, исполняя ее иногда в высшей степени скромно, но добросовестными труженицами, какими я знала их за пять лет совместной классной жизни. Но некоторые выдались из общего уровня. Скажу несколько слов о них.

Нас было в классе три первых ученицы — я говорила, что у нас в гимназии первыми ученицами считались все, имевшие в четверть круглые пятерки, и тем самым уничтожалось соревнование, сплетаемое с некрасивыми чувствами зависти, недоброжелательства и пр. Первыми ученицами кроме меня шли до окончания курса Анюта Мартынова[64] и Наня Коляновская[65]. При моем поступлении первой ученицей была и Маня Шеина, ей не удалось удержаться на первом месте. Это было для нее большим горем. Помню, как нам «роздали таблички» в четверть, и она оказалась второй ученицей — как она плакала: весь стол перед ней оказался улитым слезами. Я никогда не видала столько слез, и ее самолюбие было мне чуждо. И так жалко было мне эту худенькую, небольшого роста девочку в черном платьице (она, как некоторые другие девочки по желанию родителей, носила траур по убитому государю). Я потеряла Маню Шеину из виду после окончания гимназии; но одно время я была с ней очень дружна: мы ежедневно бывали друг у друга, и я могу сказать, что у нее были помимо математических недюжинные способности, тонкий и живой ум, делавший ее интересной собеседницей.

Анюту Мартынову я считаю человеком выдающегося ума и одаренности. Доказательством ее способностей служит уже одно то, что она успешно шла первой, будучи мала возрастом для своего класса и не обладая, как живущая, большим развитием и знаниями помимо гимназических. Она была племянницей преосвященного Алексия (впоследствии Виленского), сирота и вместе со своей старшей ее на год сестрой Са-

шей поручена гимназии. Гимназия стала для них родным домом; они считались как бы детьми ее, но такое безвыходное пребывание в гимназии лишало ум притока новых впечатлений и мыслей. По окончании курса она занялась преподаванием и литературным трудом. Она выдалась и в той, и в другой области. Я не могу писать характеристику Анне Васильевне Мартыновой, потому что об ее жизни и деятельности до меня доходили лишь случайные слухи, а в гимназии я не была близка с ней: она была для меня слишком «девочкой» с интересами, представлявшимися мне слишком узкими. Я оценила ее крупный ум, ее природный юмор, твердость и благородство души позднее, и мне хотелось сблизиться с ней, но наши свидания оставались случайными и не привели нас к тесному знакомству. Все, что я могу сказать, это то, что ее характер внушал мне глубокое уважение: прямой, твердый, неунывающий, и что ум ее меня привлекал, так же как ее частая улыбка, говорящая о бодрости душевной и неистощимом запасе здорового юмора.

Наня Коляновская за все годы моей гимназической жизни оставалась для меня загадкой. Очень хорошенькая девочка с пушком на румяных щеках — настоящий персик, с большими голубыми глазами, в высшей степени исполнительная и удивительно молчаливая и несообщительная. Никто в классе не был мне так чужд, как Наня, потому, может быть, что я ее не понимала. Даже красота ее при неподвижности лица мне не нравилась. Мне она представлялась безразличной и малодеятельной. Но я узнала потом, что она в своем имении устроила ткацкую школу для крестьянок, что в те времена было еще новостью.

Вспоминается мне в 8-м классе на фоне окна тонкий профиль Наташи Ивановой. Мне нравится ее толстая золотистая коса, более светлая, чем густые ресницы, чем бронзовый цвет лица, ее внимательные, чуждые обмана зеленоватые глаза, ее упрямый рот, даже голос ее, низкий и гудящий, как бы недовольный и неуверенный. Мне нравилась эта девочка, потому что она была честная, прямая и независимая, потому что любила привольную деревенскую жизнь, была немного дикаркой — тип, который мне тогда казался очень привлекательным. Училась Наташа средней хорошей ученицей и, как мне казалось, не прилежала особенно к наукам. Но, когда много лет спустя в Петербурге открылся наконец Женский медицинский институт[66], Н.А. Иванова[67] поступила в него и кончила в нем курс. Из ее жизни мне известно, что она ездила на эпидемию трахомы, кажется, к голодающим Казанской губернии, и самоотверженно вела борьбу с этим бедствием.

Вспоминаю: нам в 4-м классе раздают таблички за четверть, и я — первая. И слышу я за собой ласковый шепот — милым, нежным, робким голосом: «Счастливая, счастливая». Так доброжелательно, с такой уверенностью, что это счастье ей самой недоступно. Это — Соня Долбнина, милая, тихая и невероятно скромная девочка, настоящая фиалка. Она училась чрезвычайно прилежно, но дальше средних не шла. Она старалась держаться незаметно, но сколько раз я встречалась с ее ласковой улыбкой, приветным взглядом ее голубеньких глазок — и я любила эту ласку. Лет одиннадцать после окончания курса в гимназии, которые она провела в утомительном педагогическом труде, она, слабенькая, все такая же скромная, обесценивающая свои способности и силы, поступила в Женский медицинский институт. Теперь Софья Никаноровна Долбнина[68] много лет уже служит врачом в Морозовской детской больнице и пользуется известностью как опытный и сердечный врач. И в личной жизни она нашла позднее, но прочное, тихое счастье: она вышла замуж за своего сослуживца врача Булашевича. Соня Долбнина имела счастье ухаживать за Софией Николаевной в ее предсмертную болезнь. Она всем своим существом, тихим, нежным и ласковым, несла больной успокоение. Она, я слышала, записала эти последние дни жизни Софии Николаевны.

Одной из любимых моих подруг, с которой я до сих пор сохранила дружеские отношения, была Соня Черторогова. Было у нас в классе две сестры Чертороговы, Соня и ее погодка Катя, и были они обе милые и такие ни в чем не похожие друг на друга. Соня — черноволосая, с матовым цветом лица, с чудными, мягко мерцающими темно-карими глазами, чистыми и лучистыми. Катя — с рыжевато-каштановыми волосами, ярким румянцем округлого лица, зеленоватыми светлыми глазками, про которые мне всегда хотелось сказать: «гляделки». Соня — серьезная, глубокая, удивительно спокойная. Катя — более поверхностная, очаровательная своим беззаветным весельем и детской наивностью, также нервная, иногда капризная. Отец их рано овдовел и всю жизнь свою посвятил своим дочерям. Ради них он бросил любимые занятия живописью, не дававшие средств к существованию, и сделался преподавателем чистописания (между прочим, у нас в гимназии). Впоследствии он служил при городской думе, базарным смотрителем. Когда я поступила в гимназию, Василий Денисович Черторогов[69], сын уральского казака, занимал небольшую квартирку в полуподвальном помещении в самом здании гимназии, и девочек его можно было также называть детьми

гимназии, столько заботились о них София Николаевна и Георгий Борисович. Они жили круглый год при гимназии, лето проводили в тени ее густолиственного сада. Мир гимназии точно осенил их детство простотой и чистотой. Позднее они переселились в маленькую квартирку в одном из тихих переулков на Остоженке. Бывая у них, я всегда изумлялась порядку и чистоте, царившим в этом хозяйстве одинокого мужчины. С годами поддерживали усвоенные с детства привычки к аккуратности подрастающие дочери. Но с раннего детства девочки были одеты в небогатые, но безукоризненно чистые платьица, всегда аккуратно причесаны, всегда ухоженные под наблюдением любящего внимательного взгляда. Большого развития в течение гимназической жизни Соня и Катя не могли иметь уже по одному образу жизни, протекавшей между гимназией и собственной квартирой, без впечатлений со стороны. Но от отца, наверное, они получили стремление к развитию, любовь к искусству во всех его проявлениях (эту любовь сохранил Василий Денисович до конца своей долголетней жизни). Они рано начали читать, посещали театры, концерты, художественные выставки. Это развивало в них вкус и понимание. Екатерина Васильевна, с которой мы разошлись после ее замужества без всякой ссоры, сумела передать своим детям интерес к литературе и искусству. Софья Васильевна[70] стала в некоторые отношения к науке: а именно, она получила место в Московском Археологическом обществе[71] с квартирой в доме Общества на Берсеневской набережной, была библиотекаршей Общества, исполняла секретарские обязанности при графине П.С. Уваровой[72], благодаря чему присутствовала на заседаниях, входила в личные сношения с археологами. Беседа с ней всегда была мне интересна, не говоря о той сердечности, которая скрепляла наши с ней отношения. И мне всегда бывало приятно бывать у нее, в такой оригинальной обстановке, в комнате со старинными сводами, с небольшими старинными окнами, глядящими в сад, где Соня разводила цветы и сажала яблони. И помню я, как много-много лет после нашей гимназической жизни мы, уже немолодые, присутствовали на костюмированном вечере, устроенном в залах Археологического общества Софьей Васильевной для детей сестры и их товарищей и подруг. И как было весело смотреть на эту молодежь, танцующую в зале заседаний со сводами и расписным потолком, и как изящно был сервирован стол, весь убранный фиалками, и как прелестна была миловидностью и приветливостью к гостям старшая дочь Екатерины Васильевны Таня Кувшинникова в костюме Снегурки. Но я далеко ушла от своих гимназических лет.

16 — 249

Когда я была в 4-м классе и отчасти позднее, я дружила с Лизой Игумновой (старшей сестрой будущего известного пианиста[73]). Она была славная девочка, уступчивая и покладистая, часто улыбающаяся, по живости движений вертящая голову, отчего змеилась на спине ее светлая коса. По возрасту, воспитанию и развитию она подходила ко мне, и мы легко понимали друг друга. Она меня очень любила, что доказала, сохранив привязанность ко мне на всю жизнь (мы переписываемся с ней до сих пор). Но я «изменила» ей — по тем неизведанным причинам, по которым часто зарождается и гаснет дружба. Она незаметно сначала, потом все ощутительнее перестала меня удовлетворять. Ее старания сохранить меня своим другом тяготили меня. Я отдалялась все больше от нее. Это объяснялось отчасти тем, что с 5-го класса я приобрела настоящего и первого в моей жизни друга, с которым радостно было делить мысли и чувства.

Григорова Лиза[74] (как-то нечаянно Анна Павловна слила оба эти имени в одно: Гриза, и оно привилось в гимназии) была замечательной девочкой: благородная, честная, прямая, очень одаренная, но чрезвычайно ленивая, отчего она и не развила своих дарований. Главное, что привлекало в ней, то, что она, как и я, многое уже перечувствовала и была поэтому глубже младших наших подруг. Нас сближало с ней многое. И она любила восторженной любовью своего отца; и у них жила в доме любимая тетя — они звали ее «мама Миля», — сестра отца, которая пользовалась громадным авторитетом среди братьев и сестер Гризы. Этих многочисленных сестер, братьев и двоюродных (семья дяди жила в нескольких верстах от их имения) Гриза горячо любила, так же как я — свою сестру и братьев. Эти две дружные семьи, их имения составляли весь мир Гризы. Семья ее жила круглый год в деревне, а в гимназии Гриза была живущей с тесным кругозором гимназических отношений. Но мир, в котором она жила, был для нее полон поэзии. Она страстно любила костромские леса, среди которых она выросла, извилистую речку, протекавшую мимо их дома, крутой, обрывистый к ней спуск, усеянный опавшими и скользкими хвоями, и, наконец, могучую красавицу Волгу, которую ей приходилось переезжать в различные времена года, при разном освещении и при разной обстановке. Когда она рассказывала про эту красоту или про бездумные поездки в санях по снежным дорогам под обремененными снегом елками или про густые кусты сирени в душистом цвету, все ее лицо освещалось прекрасным чувством, которое находило отклик в моем сердце, в моей любви к природе. И когда она с тоской

глядела в гимназический сад и вся душа ее рвалась к простору лесов и лугов — я так понимала ее. Потом она, так же как я, жила двойной жизнью: в мире действительности и в мире созданных ею образов. С 6-го класса мы начали с ней не только сочинять, но и писать создаваемые нами повести и романы. И тут, как в учении, она была даровитее меня: ее образы, которые она списывала с окружающих ее лиц, были все же жизненнее моих. Повести ее были полны любви к знакомой ей обстановке и природе, и дороги, и поэтичны казались мне ее женские образы, списанные с ее родных и двоюродных сестер, которых я скоро полюбила по ее рассказам. Писала она также стихи, что мне тогда совсем не удавалось. Одинаково со мной она любила поэзию и откликалась на ее красоты. Увлекались мы с ней и беллетристикой — и у нас были одни и те же любимые авторы, которых мы читали с лихорадочным переживанием описанных перипетий.

Дружба моя с Гризой началась с 5-го класса, когда нас, как двух близоруких, посадили на первую парту в правом крыле класса против классной доски. Такое же место мы занимали и в последующих классах. Такое близкое соседство сблизило нас. Эта дружба была радостью моей в течение многих лет. В ней я долгое время была дающей стороной, она — берущей. Я относилась к ней с большой нежностью. Она была мне мила всеми свойствами души, независимым и крупным умом, большим любящим сердцем. Много лет я никому не открывала так тайники свой души, как ей. В многолетней переписке — я ей писала обыкновенно раз в неделю, она по медлительности отвечала короткими и редкими сравнительно письмами — я делилась с ней моими впечатлениями, мыслями и чувствами. Одна область оставалась для нас обеих одинаково подлежащей умолчанию: это была область наших семейных отношений. Мы открывали душу друг другу, но только свою, считая себя не вправе говорить о делах, отношениях, чувствах других, особенно дорогих нам и близких.

Мы с Гризой дружны до сих пор, и она отплатила мне давно нежной привязанностью за мою нежную привязанность в нашей молодости. Все же жизнь намного разъединила нас, дав нам различные пути и различную деятельность. Елена Митрофановна Григорова и после окончания гимназии не развернула своих больших дарований — отчасти по врожденной медлительности, отчасти оттого, что сразу изменившиеся материальные условия ее семьи кинули ее на педагогическую работу. Она,

16*

впрочем, удачно занималась переводами и до сих пор пишет стихи. А в тех семьях, в которых она преподавала или жила воспитательницей, она всегда была ценима и любима.

Жизнь, разъединившая нас с Гризой уже одним тем, что мешала нам часто видеться, сблизила меня уже после окончания гимназии с Евгенией Сергеевной Ивашкиной (впоследствии Ремезовой)[75]. Про этого нового друга, друга всей моей жизни, с которой мы друг другу помогали жить во всех обстоятельствах жизни, тяжелых и радостных, я тут уже потому не пишу, что она, в сущности, не принадлежала к нашему классу: она шла годом старше нас, но отстала от своих одноклассниц, по которым, особенно первое время, она очень скучала. Этому благородному, великодушному характеру я уделю место в воспоминаниях в другом периоде моей жизни.

Возвращаюсь к зиме 1881—1882 года, когда я была в 4-м классе и всецело отдалась ученью и гимназической жизни. Течение этой жизни, однообразное и ровное, несмотря на ее интенсивность, было прервано только одним ярким событием: на Рождестве меня в первый раз повезли на бал. Наверное, этому первому моему торжественному выезду придавали большое значение, потому что этот выезд ярко запечатлелся в моей памяти. Хотя именно торжественного и значительного для меня ничего не вышло из него. Настроилась я торжественно, а вышло скучно и скорее комично. И я была рада, что опыт этот долгие годы не повторялся.

Приглашение исходило от Боткиных, с которыми за предыдущие годы я, можно сказать, почти совсем не виделась. Как «большая» девочка, я уже не годилась в товарищи Пете и Сереже, а Колю разъединила с ними гимназия. Теперь состав семьи Д.П. Боткина изменился. У них жили две племянницы С.С. Боткиной, дочери ее брата, Митрофана Сергеевича Мазурина, Наденька Мазурина (впоследствии замужем за знаменитым виолончелистом Брандуковым[76]) и намного моложе Машенька (впоследствии вышедшая замуж за Сорокоумовского[77]), обе, особенно старшая, замечательно хорошенькие. Надежда Митрофановна выезжала с Лиленькой Боткиной под охраной Софьи Сергеевны, для Машеньки подбирали кружок подруг и молодых людей. Рождественский бал устроили именно для нас, подрастающей молодежи, но так как нас было мало, пригласили и старший нас кружок Лиленьки. Все же бал был для нас, и нам, так сказать, было предоставлено на нем первое место.

Мама помнила, как она в первый раз вывозила Лену и как этот выезд оказался во всех отношениях удачным начиная с белого кисейного платья Лены. Она приложила все старания, чтобы удачным вышел и первый выезд ее младшей дочери. Она повезла меня к дорогой француженке-портнихе, мадам Олэнд Базен, заказать мне бальное платье. Необычное, поэтичное имя этой портнихи заняло меня больше, чем непривычная обстановка большой модной мастерской. После долгого обсуждения мама остановилась на белом кисейном платье, украшенном розовыми лентами. Декольте и короткие рукава — как выезжала на балы Лена — вышли уже из моды, и мадам Базен сшила мне платье с высоким воротом и буфами на рукавах, причем каждый буф был перевязан узкой розовой ленточкой. Эти буфы меня толстили, и одного взгляда на омрачившееся лицо тети, когда я предстала перед ней «показать» принесенное от портнихи платье, было довольно, чтобы понять, что платье вышло неудачно. Но я тогда еще так мало, в сущности, обращала внимания на туалет, что неудача эта не особенно затронула меня.

Настал день бала. И угораздило же меня как раз в этот день учиться печь куличи. Такие «дикие фантазии» бывали у меня. И Лена и в позднейшие годы не раз отмечала, смеясь, что на меня нападает приступ энергии в самое неподходящее время. Так и в этот раз я, никогда не имевшая дела с тестом, захотела вдруг почему-то печь куличи по какому-то сложному рецепту. Делать что-нибудь в кухне было невозможно без призора и ближайшего участия Любови Петровны, а делать что-нибудь с ней было чистейшим изводом. «Стойте, милая, вы это не так, — постоянно говорила она, — вот как надо», — и брала из рук и делала все сама — и, конечно, превосходно. Приходилось только глядеть и удивляться, как все выходило хорошо. В результате я нисколько не выучилась печь куличи, но когда они, готовые, выстроились в ряд на столе в столовой, благоухая сдобой, ванилью и миндалем, я как раз от их душистости не знала, куда деваться от сильной мигрени. Чтобы уйти от этого мучившего меня запаха, который, казалось мне, наполнял весь дом, я пошла гулять по двору. И гуляла так долго, что зазнобила щеки и руки — я в то время перчаток не признавала и носила их только в кармане. Помню, что уже тогда, гуляя взад и вперед вдоль заборчика нашего сада, в половине дня, я чувствовала волнение по поводу предстоящего бала, но я не боялась особенно: мне казалось, что в боткинском доме мне может быть только приятно и весело и что я буду в этот вечер

так же оживлена и весела, как я бывала в гимназии. Незнакомые сверстники и сверстницы меня не пугали.

Не вполне отделавшись от головной боли, дожила до вечера. Видела, что тетя озабочена не только полнившими меня рукавами с буфами, но и моей прической: мне завили волосы локонами тирбушонами[78] и перевязали их розовой лентой. Меня эта прическа смущала сознанием, что эти локоны — нечто чуждое мне, и я бы увереннее и спокойнее чувствовала бы себя, если бы осталась со своей косой. И вот я с мамой в душной карете, и мы едем в столь хорошо знакомый мне дом на Покровке. Подъезжаем к воротам — к ним тянутся кареты и парные сани.

Приветом встречает меня у подножия мраморной лестницы любимая мной статуя Эсмеральды. Но останавливаться перед ней теперь нельзя, и мы в обществе все прибывающих, совершенно незнакомых мне гостей поднимаемся по лестнице. Она кажется мне необыкновенно торжественной при усиленном освещении, с группами поднимающихся по ней разряженных в шелк, бархат и кружева дам и мужчин во фраках. А как любила я ее в полусумраке будничного освещения. Знакомые и любимые мной комнаты полны нарядной толпой. Смешиваются у меня в глазах незнакомые лица. Как бы в тумане вижу перед собой хозяина дома, принимающего гостей. Твердо помню затверженный мной урок о реверансе. Увы, мой реверанс, мое появление ни в ком из близко находящихся не возбудил восхищения. Я почувствовала полнейшее равнодушие к моей маленькой и ничего не значащей особе — и чужими мне сразу стали эти комнаты, полные для меня воспоминаниями раннего детства.

Кто-то повел меня к молодежи. Она собиралась в комнатах Пети и Сережи — так продолжала я звать их про себя, сохранив к этим товарищам детства дружеское чувство. Милые комнаты, где мы, бывало, сидели на «детских» стульчиках вокруг «детского» же столика и «курили» шоколадные сигары и папиросы Пети. Мне было так приятно снова войти в них. Но теперь они оказались полны незнакомой мне и чуждой мне молодежью. Она держалась, на мой взгляд, чересчур громко и свободно. Барышни топтались вместе с молодыми людьми посреди комнаты, смеялись, перекидывались шутками, дразнили друг друга, примеряли заранее котильонные украшения, причем нередко задевали друг друга, не приходя от этого в смущение, как было бы со мной, если бы мне приключилось нечто подобное. Я была глубоко изумлена неожиданностью. И тотчас сжалась, хотя и старалась не подавать виду. Но, как

я почувствовала себя чуждой окружавшей меня молодежи, так и я показалась им, связанным между собой знакомством, чужой. Мы не раз потом вспоминали с Колей, как Машенька пыталась занять нас. Эта замечательно хорошенькая девочка, окруженная уже поклонением, — то, что отсутствовало еще в моей жизни, — гораздо более светская, чем я, подсела ко мне, как хозяйка, и, обворожительно улыбаясь, спросила меня: «Весело ли вы проводили праздники?» — «Очень весело», — отвечала я. «Как же вы веселились?» — «Мы гадали». — «Как же вы гадали?» — «Бросали ботики за ворота». Машенька осияла меня улыбкой и взглядом обидного снисхождения — и упорхнула. Минуту спустя она подсела к Коле с тем же банальным вопросом: «Весело ли» и т.д. И повторился перифраз моего с ней разговора. «Как же вы веселились?» — «Мы гадали». — «Как же вы гадали?» — «Мы смотрели в медный таз с водой». Подробности нашего гаданья, с таким волнением переживавшиеся нами, не интересовали, к нашему удивлению, Машеньку — и она, мило улыбнувшись, оставила Колю. Какими наивными и неинтересными должны были мы показаться Машеньке.

Когда мы перешли в ярко освещенную залу танцевать, стало легче. Тут, я скоро убедилась, требовалось только танцевать — никому из этой взбудораженной весельем молодежи не было дела до интересных, простых и дружеских разговоров, которые составляли для меня прелесть кадрили. И мы натанцевались в этот вечер. Царило большое оживление, и меня занял огромный гран-рон[79] и не виданный мной доселе котильон[80] с разнообразными фигурами. Но в сущности мне было немного скучно. И я сознавала, что я ждала от бала каких-то других впечатлений. Мои сверстницы тут были совершенно непохожими на моих подруг по гимназии, которых я так любила и с которыми у меня было так много общего. Молодые наши кавалеры были мне непонятны. И я невольно душой и глазами устремлялась к той половине зала, где сидели взрослые и старшая молодежь, тоже принимавшая участие в танцах. Лена была там, очень интересная в шерстяном платье крем с плюшевой ярко-алой розой, приколотой головкой вниз. С ней, между прочим, в этот вечер танцевал художник Рачков[81], который, как она рассказывала нам потом, наговорил ей комплиментов и просил ее дать ему ее розу на память. Отметила я также стройную фигуру В.П. Боткиной (впоследствии замужем за Н.И. Гучковым[82]). Она была в легком черном платье с белой камелией у груди. Она показалась мне очень изящной. Но, когда вста-

ла и пошла танцевать Надежда Митрофановна Мазурина, вся изящество, красота и грация, в выдающемся по элегантности туалете, со смело приколотыми большими розовыми цветами, я внутри ахнула от восхищения, и в первый раз я поняла неотразимое обаяние, которое может оказать красота.

Что касается до моего туалета, то с самого начала бала я поняла, что произведение мадам Олэнд Базен провалилось. Только на мне было кисейное платье. Мода за последние два года существенно изменилась: молоденькие девушки уже не выезжали в кисее с цветными лентами и декольте; начиналась как раз эра высоких платьев, по большей части шерстяных, долго длившаяся. Мои сверстницы на балу были одеты в скромные, но милые шерстяные платья из легкой материи, белые, голубые, розовые. И волосы у них были подняты в скромную прическу. Вот чего требовала мода — и я была анахронизмом.

Ужин должен был быть отменно тонким, так как повар боткинский славился в Москве. Но у меня не было кулинарного развития, и меня он оставил вполне равнодушной. Меня гораздо больше заняла прекрасная стильная столовая, которая была тогда новостью в доме Д.П. Боткина. Столовой в доме раньше не было: обедали и своей семьей, и с гостями в зале.

И вот наконец все кончено, и карета везет нас обратно. Как я устала, как хочется спать.

Первый мой бал не оставил никакого впечатления на моей душе. Я о нем скоро совсем забыла. Когда после праздников нам задали сочинение, в котором мы должны были описать какое-нибудь рождественское впечатление, пережитое нами на только что протекших праздниках, я темой моего сочинения выбрала не бал, о котором я сохранила преимущественно воспоминание скуки, но наши вечера с гаданьем, столь любимые в нашей семье. И написала его с увлечением и на пятерку с крестом.

В нашей гимназии, так же как и в мужских гимназиях того времени, самыми строгими и трудными экзаменами считались, во-первых, выпускные — на аттестат зрелости, а затем переходные из 4-го класса в 5-й и из 6-го в 7-й. На этих экзаменах фильтровали состав класса, кроме того, из 6-го класса можно было выйти из гимназии с дипломом,

равнозначащим диплому, выдававшемуся державшим экзамен при Учебном округе на домашнюю учительницу или домашнюю воспитательницу. Нашему классу, 4-му, таким образом, предстояли весной серьезные испытания.

Много было писано и врачами, и педагогами о вредном влиянии экзаменов на нервную систему учащихся. Если бы писавшие пожелали иллюстрировать свои убеждения живым примером, они могли бы взять меня. Недаром я много лет спустя, когда мне пришлось самой экзаменовать, старалась как можно бережнее относиться к экзаменующимся — слишком остро я сама когда-то переживала экзамены. Я начала волноваться и «бояться» задолго до начала мая, когда начинались экзамены. Часто Лена, поздно поднявшись наверх спать, заставала меня сидящей на кровати всю в слезах, в них я давала выход накопившемуся нервному напряжению, которое можно было выразить одним болезненным криком души: «Боюсь!» Лена присаживалась около меня, обнимала меня и утешала, уговаривала меня ложиться. И я засыпала при благостном свете лампадки, теплившейся перед иконой Спасителя, висевшей у меня в головах. Как часто я лежала поверженная в прах перед этой любимой моей иконой, благословением папы, с горячей мольбой о помощи. Это состояние безотчетного страха, мучившее меня и расстраивавшее мои нервы, увеличилось донельзя во время самих экзаменов. Наружу я оставалась сдержанной и спокойной, но это было только в гимназии так. Тут никто бы, наверное, не мог и представить себе, какое я переживаю волнение. Но дома все знали, что я «смертельно боюсь». В те времена все относились к этому состоянию учащихся как к обычному в течение экзаменов, к неприятности неизбежной, которую нужно преодолеть. «Читай перед экзаменом: Живый в помощи Вышнего», — говорила мне тетя в успокоение. «Сходи помолиться к Иверской», — советовала мне мама. И я шла молиться в часовню Иверской Божьей Матери, куда каждую весну направлялось целое паломничество учеников и учениц всевозможных учебных заведений. Многие из нашей гимназии имели обыкновение ходить перед экзаменами и после них с благодарностью в церковь при Барыковской богадельне[83] в Дурновском переулке на Остоженке — и я вскоре переняла этот обычай. Храм этот, славившийся большой иконой Нерукотворного Спаса[84], чудесным образом явившейся на стене, был открыт с утра до вечера. Охранялся он только дежурной богаделенкой, продававшей желающим свечи. Было в нем тихо, солнечно, мирно.

Молилось в нем особенно хорошо. Не мешала толпа: лишь изредка встретишь другого молящегося. Много прекрасных молитвенных минут я пережила в этом храме. Любили его также мои подруги — и это делало его мне особенно близким.

Из экзаменов 4-го класса мне остались памятными два: экзамен по Закону Божию и экзамен по истории. Представляю себе: я встала рано утром и горячо помолилась. Я прочла «Живый в помощи Вышнего»[85] — и слова этого чудного псалма успокоительно подействовали на душу. Я надела на шею образок Божьей Матери Скоропослушницы[86], и всякий раз, как прижимаю его к груди, чувствую себя увереннее. Заручившись обещанием всех оставшихся дома, что они будут усиленно молиться за меня от такого-то часа до такого-то — часы экзамена, я спешу в гимназию. Встречает меня там необычная тишина пустых комнат, в которой чуется что-то торжественное и что-то такое, от чего сжимается сердце. Наш класс собран в ожидании в столовой. Все девочки в волнении: уж теперь наверное известно, что на экзамене по закону Божию будет присутствовать преосвященный Алексий (впоследствии епископ Виленский) и помощник попечителя. Ужасаются, прижимают руки к груди, некоторые лихорадочно повторяют катехизис, произносят желания, какой бы вынуть билет. В открытое окно виден сад с густыми кустами цветущей сирени, и оттуда льется благоухание. В столовой на столах стоят большие кусты сирени — и некоторые девочки ищут на ней «счастья». Царит атмосфера напряженности и волнения.

И вдруг — приказание идти в 4-й класс: там производятся все устные экзамены. Стихаем, сосредотачиваемся — и идем. В громадном 4-м классе все уже приготовлено: стоит большой стол, покрытый зеленым сукном, обставленный стульями для экзаменаторов, в заднем углу столпились наши певчие под предводительством Анны Павловны, чтобы пропеть встречу преосвященному. А сбоку, на столе, составляя красочное, радостное пятно, стоят две громадные азалии, обсыпанные розовыми цветами, присланные накануне преосвященным в дар гимназии, к которой он относился с большой сердечностью и вниманием. Эта обстановка, торжественный вход в класс экзаменаторов, громкое пение «Исполати ти, деспота» поразили меня. Чинно рассаживаются экзаменаторы, рассаживаемся и мы по партам — а сердце так и замирает.

Я с любовью и интересом занималась законом Божиим, и это отношение к этому предмету гимназического курса не поколебало прохожде-

ние катехизиса Филарета[87], который многих отпугивал своей сухостью. Правда, что прохождение его — мы учили его почти наизусть, сливая вопрос с ответом, а тексты из Священного Писания, даже самые длинные, требовалось безусловно знать наизусть — облегчалось делаемыми нам объяснительными добавлениями, иногда очень интересными. На экзамене мне, помню, достался билет: третий член символа веры[88]. Как бы я ни волновалась внутри, наружу я умела держать себя в руках. Я отвечала отчетливо и громко. Мало того, я вкладывала в свой ответ всю ту любовь, которую я чувствовала к закону Божьему, все то благоговение, которое было во мне к тому, что я говорила. Годы спустя, София Николаевна сказала кому-то из наших кончивших: «Я не могу забыть, как отвечала тогда Харузина: она точно молилась». Я нисколько не заметила, какое впечатление произвел мой ответ, и оно осталось бы мне неизвестным, если бы не случился неожиданно маленький инцидент: помощник попечителя встал со своего места и пошел за мною вслед, когда я уходила из класса, и, догнав меня в дверях, остановил меня, чтобы сказать мне несколько слов неожиданной для меня похвалы. Так прошел для меня первый устный экзамен в 4-м классе.

Последний в этом классе экзамен — по истории — выделился для меня пережитым мной на нем явным доказательством моего переутомления. И этот экзамен отличался торжественностью: почетным ассистентом и экзаменатором на нем присутствовал преподаватель истории в старших классах, Степан Федорович Фортунатов[89]. Мы знали, что он не только любимый учитель старших классов, но что он представляет из себя значительную величину. Поэтому несколько робели перед ним. Мы знали, что Анна Павловна, так хорошо преподававшая нам историю, заинтересована в том, чтобы ее ученицы не ударили бы лицом в грязь на экзамене. И вот за экзаменаторским столом, с левого края его, сбоку, занял место Степан Федорович — старшие с симпатией к нему звали его «Степочкой» или еще «Степой Растрепой», всегда с симпатизирующей улыбкой произнося эти имена, — и сразу стало как-то по-особенному хорошо и тепло на душе от ободряющих взглядов его лучистых детски чистых глаз, энергии речи, прерываемой временами заразительным бесхитростным смехом, всей манеры держаться, безыскусственной и искренней с характерным для него жестом правой руки и потиранием правого колена. Экзамен протекал живо и бодро — так всегда и на уроках своих спрашивал Степан Федорович, ученицы отвечали превосходно —

и удовольствие Степана Федоровича все росло и росло. Я боялась экзамена по истории меньше других, потому что я любила историю и знала отлично все, что требовалось. И вдруг случилось неожиданное: я вынула билет про царствование Юстиниана[90] — и внезапно точно кто-то провел ладонью у меня по мозгу (таково было у меня ощущение — оно повторялось у меня еще несколько раз в жизни при переутомлении) — и я забыла все, что знала так хорошо про Юстиниана минуту до того. Помнила глупо только одно: что в его царствование пилигримы принесли в Европу из Святой земли шелковичных червей. Но ведь смешно было бы выступать с этим. Я стояла перед столом, ничем не выдавая моего мучительного ужаса, слушала со смертельной тоской все продвигавшийся вперед ответ экзаменующейся передо мной подруги — вот-вот ее отпустят и настанет моя очередь отвечать — и вся я была в молитвенном напряжении: «Спаси, спаси». Так молиться можно только в большой беде. Вот кончает моя подруга, ей говорят: «Довольно», а я по-прежнему ничего не помню. «Господи, спаси, спаси». Мне делают знак начинать — и вдруг разом проявляется у меня память, и я вспоминаю все. Рассказываю, отвечаю на отдельные вопросы Степана Федоровича, как будто не было пережитого мной ужаса. И никто не заметил моего состояния. А я ярко помню о нем до сих пор.

Экзамены кончились во второй половине мая, и мы вскоре после того переехали на дачу. На этот раз мама сняла дачу в Быкове, имении Н.И. Ильина[91]. Мы с интересом ехали в новое место, но оно скоро разочаровало нас во всех отношениях. Природа тут не отличалась той дивной красотой, какою она богата в Звенигородском уезде, флора была бедна, и мало пришлось обогатить свой гербарий, парк был небольшой и, как мне представлялось, наводил скуку, помещичий дом был недоступен для осмотра, так как в нем жили владельцы. Тем не менее я сохранила хорошие воспоминания о трехлетней нашей дачной жизни в Быкове (1882, 1883 и 1884 годы). Много было в ней интересного для меня и веселого.

И прежде всего я упомяну о знакомстве нашем с семьей известного в свое время гинеколога Николая Петровича Николаева[92]. Он в те годы был уже престарелым и плохого здоровья, и жил он со своими двумя дочерьми уже несколько лет в Быкове. Наши дачи были смежные, и из нашего

сада была видна терраса Николаевых и почти всегда восседавший на ней Николай Петрович. Дочери его, Саша и Маша, девушки 21 и 20 лет, пришли сами познакомиться с нами, и сразу знакомство стало на дружескую ногу. Замечу, что дружба наша с Сашей Николаевой продолжается до сих пор (Маша умерла в голодный 1919 год от недоедания). Многое я могла бы написать про них, особенно про Александру Николаевну, которая во всю жизнь проявила себя независимым и в высшей степени благородным характером, человеком с недюжинным умом и сильной волей, которую не сломили все бедствия революции. Но мне пришлось бы для этого забежать слишком далеко вперед. Вернусь к началу нашего знакомства и трем годам соседской дружеской жизни на даче в Быкове. Саша и Маша отличались своеобразностью. Выросли они без матери, рано скончавшейся, при баловавшем их отце, занятом обширной практикой, — и такое воспитание оставило на них неизгладимый след. Прежде всего они были малообразованны в смысле обычно получавшихся в то время гимназических познаний. Потом обе они по внешнему облику не подходили под обычное понятие «барышни». Одеты они были всегда не по годам просто, в гладкие ситцевые платья, волосы носили в косе, у Маши толстая тяжелая коса доходила до пят, и манеры — мужественные у Саши (я ласково звала ее Буйвольчик), лишенные грации у Маши — подчеркивали полное презрение к заботам о женственной внешности. Особенно выдавалась в этом отношении Саша. Стоило посмотреть на нее, как она уходила в лес за грибами, в коротком платье, с палкой в руке, с корзиной на другой, крупно шагая обутыми в тяжелую прочную обувь ногами. Но они были из культурной семьи и восприняли ее культурные навыки. Так, у них в доме, в сервировке стола, в одежде царила безусловная чистота и аккуратность. Они обладали сердечным тактом — Маша отличалась большой добротой при этом, а Саша, помимо того, была очень умна — и это делало их приятными, несмотря на странности, гостями и сердечно любимыми знакомыми.

Они были очень общительны, легко знакомились и вводили других в знакомство, любили совместные прогулки и катанья с чаепитием и без него. Благодаря их указаниям мы познакомились с окрестностями Быкова. Познакомились мы благодаря им также с соседями-дачниками, среди которых оказалась молодежь нашего возраста. Вечера с танцами, устраиваемые на даче у Николаевых, отличались оживлением, поддерживаемым непринужденным весельем и сердечным гостеприимством молодых хозяек.

Николай Петрович почему-то любил меня и относился с особенной ласковостью. Он звал меня Верочкой, отчего мне бывало тепло на сердце. Бывало, только что успеешь подойти к заборчику, отделявшему друг от друга наши оба сада, как он тотчас крикнет мне с террасы что-нибудь ласковое. Чаще всего он звал меня на пирог с грибами. Пожилая кухарка Максимовна была мастерица печь пироги, а мы: Саша, Маша и я — есть их и все прочее. Часто приглашение следовало непосредственно после нашего сытного завтрака, а я, ничтоже сумняшеся, шла на зов к их завтраку и доставляла своим аппетитом величайшее удовольствие Николаю Петровичу. Также и Саша с Машей, пообедав у себя, шли к нам и присосеживались к нам — и это доставляло радость гостеприимному сердцу мамы.

Николай Петрович был страстным рыболовом. На рыбную ловлю его обычно сопровождала его любимица Саша. И меня он брал иногда с собой. Я не принимала участия непосредственного в рыбной ловле, но наслаждалась той близостью к природе, которую она дает, миром, разлитым вокруг с мерцанием потухающей зари. Мы с Сашей сидели на берегу или гуляли неподалеку. Саша бывала в неизменно хорошем настроении, меня все радовало и веселило. Может быть, наше молодое веселье развлекало Николая Петровича, и он бывал благодушно настроен, даже когда улов и не удавался. А когда наступало время возвращения домой, я брала в руки сложенные рыболовные принадлежности и предшествовала Николаю Петровичу и Саше, громко декламируя из «Иоанна Дамаскина» Толстого[93]: «И посох сей благословляю, И эту бедную суму» — и т.д., «И в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду». И так как я чувствовала в этот тихий вечерний час слияние с природой, у меня выходило, наверное, не очень плохо. И так как Николай Петрович и Саша чутко относились к природе, им мое неизменное декламирование этих стихов не надоедало, но нравилось. Это было как музыкальный аккорд, замыкавший тихо проведенный вечер.

«Пойди утешай родителя», — говорила мне со своей своеобразной речью Саша, когда Николай Петрович бывал не в духе и всем в доме становилось невмоготу. Потому что у Николая Петровича был тяжелый характер, взбалмошный и не терпящий противоречий. К нему на дачу приезжали, между прочим, профессора Н.С. Тихонравов[94] и А.С. Павлов[95]. Они усаживались на террасе играть в карты — и вот оттуда нередко доносились раздраженные крики хозяина, взволнованного какими-

нибудь недочетами в игре своего партнера. Один раз он так раздражился на них, что буквально выгнал их из дому. Гости были в затруднительном положении: дойти пешком до станции еще можно было за близостью расстояния, но поездов в Москву в ближайшее время не было. И вот мы видим из нашей беседки, стоявшей на обрывистом берегу над быковским озером, как по берегу озера внизу гуляют старики профессора: пройдут несколько шагов и постоят у воды, пройдут немного вперед и повернут назад, чтобы опять постоять немного у воды. Потом видим: летят сверху парламентеры. Саша и Маша уговорили старика отца, оставалось ублаготворить обиженных гостей. С живой своей жестикуляцией и горячей речью Саша убеждает старых приятелей отца. И, наконец победив, обе дочери торжественно ведут гостей на свою дачу. И мирно после промчавшейся бури продолжается карточная игра.

Саша и Маша, по возрасту подходившие больше к нашим старшим, по развитию и умственным интересам отставали от них. Но Саша привязалась к маме, пользуясь с ее стороны симпатией, и держалась ее общества и общества старших наших и гостей. Маша же, менее развитая, чем сестра, менее ее интересующаяся «умными разговорами», примкнула к младшему кругу, в который входили гостившие у нас наша двоюродная сестра Катя и Михаил Михайлович Панов. Маша относилась ко мне с неизменной добротой — и не забыла я, с каким удивительным терпением она выслушивала мой пересказ ей сочиненных и сочиняемых мной повестей и романов. Сохранились у меня в памяти дивные августовские вечера, которые мы проводили, лежа на высоких кучах обмолоченной соломы. Мы с Машей заберемся на самый верх — над нами усеянное яркими звездами небо, — и я повествую ей, а она восхищается и изумляется тому, что все это сочинила я сама. Поистине, так относиться к моей белиберде могла только такая «святая простота», какой была Маша.

С Сашей и Машей Николаевыми, с их, а больше с нашими, приезжавшими к нам в гости знакомыми мы объездили окрестности Быкова от старообрядческой деревни Заозерье[96] на Москве-реке и возвышающейся за ней Боровской горой[97] с городищем и мощным курганом до красковского леса и обрыва над замечательно красивой рекой Пихоркой; ездили мы также в монастырь Никола Угреша[98]. Дороги проселочные были в то время так плохи, что рискованно было пускаться в путь в коляске, — и мы нанимали экипажи у крестьян. Эти экипажи, в которых местные

крестьяне возили за небольшую плату дачников на станцию и со станции, теперь, наверное, исчезли. Они представляли из себя несомненно некое «чудо искусства»: сколоченные кое-как из досок, в некоторых местах соединения связанные веревками, они не рассыпались под седоками и довозили их благополучно до места назначения. Несмотря на свою явную топорность, они как-то умели нырять по колдобинам и промоинам проселков. По внешнему своему виду они изображали из себя линейки, на которых седоки размещались спиной друг к другу по трое или по двое с каждой стороны. Когда линейка наклонялась на одну сторону, увязнув колесами в глубокой колее, сидевшие с этой стороны хватались друг за друга, чтобы не вылететь. А немного погодя то же угрожало седокам противоположной стороны, и сидевшие с этой стороны невольно оказывались откинутыми назад и стукались спинами со своими соседями. Было все это весьма неудобно, но тем веселее нам, молодежи. Это подавало повод шуткам и неудержимым взрывам смеха.

Поездки на этих линейках имели для меня еще одну привлекательную сторону. Я пользовалась ими, чтобы вести этнографические расспросы. Я садилась всегда ближе к вознице и по всякому удобному поводу заводила с ним речь о быте, верованиях, обычаях и обрядах в его деревне. Любимым моим собеседником был Алексей Долгушин, крестьянин из села Быкова, степенный домохозяин средних лет. Он также любил беседовать со мной, давать мне разъяснения. И вот как мы узнали об этом. Чаще всего ездила я в эти поездки, одетая в «русский костюм» и повязанная по-крестьянски шелковым голубым платком. Миша этим летом (1883) не жил с нами на даче, он только наезжал к нам временами. И вот в один из таких приездов его вез со станции на своей линейке Долгушин. Не зная, что Миша принадлежит к нашей семье, он начал ему рассказывать про наше житье-бытье, про то, как у нас весело, так как гостят часто как мужчины молодые, так и барышни. Потом, предположив, что Миша не прочь приглядеть себе невесту, он стал ему давать дружеский совет выбрать меня, «ту, которая ходит в голубом платочке», всячески восхваляя меня как «умницу». Миша, так сильно любивший своих сестер, был очень доволен: это доказывало, по его мнению, что я умею «приближаться к народу», то, что, казалось тогда, утрачено было в значительной мере интеллигенцией.

В Быкове же я сделала первую свою обстоятельную этнографическую запись — а именно свадебного обряда в Малоархангельском уезде Орлов-

ской губернии (передана была впоследствии Н.А. Янчуку[99]). Лена помогала мне в этом. Невдалеке сравнительно от нашей дачи было торфяное болото, и его разрабатывал владелец имения Н.И. Ильин. Пока артель, набранная в Малоархангельском уезде, работала на болоте, у барака готовили обед две кашеварки-бабы. Мы с ними завели знакомство. Не прерывая своей работы, они отвечали на наши вопросы, пели свадебные причитания. Мы ходили к ним по утрам — и глубокопоэтичное впечатление осталось мне от этих часов, проведенных около этих двух крестьянских женщин. Я описала его в очерке: «На торфе», помещенном, кажется, в «Юном читателе» или в «Детском чтении»[100].

Много воспоминаний связано у меня с летней жизнью в Быкове. Они, с одной стороны, относятся к внешней жизни, веселой и, по-видимому, беспечальной, полной молодой радости и даже ребячливости (мне в 16 лет давали, по способу моему держаться, 13 или 14), с другой — к осложнившейся и углубившейся внутренней жизни. Но, чтобы говорить о них, надо сначала остановиться на новом круге наших знакомых, приобретенных нами зимой 1882—1883 года.

Миша, как старший в семье, считал себя призванным быть во всем помощником мамы — и в этой роли он был, по-моему, замечательным человеком. Он чувствовал себя после мамы естественной главой семьи и видел в этом положении ряд на нем лежащих обязанностей. Он и исполнял их, не только добросовестно, но с большой любовью. Он приобрел и огромный авторитет в глазах нас, младших его братьев и сестер, и сохранил его до самой преждевременной кончины своей (25 IX 1888 года). Он чрезвычайно умел подходить к душе каждого из нас. Никогда не давил он своей авторитетностью, но следил с любовью за развитием каждой индивидуальности, радовался всему хорошему, в то же время умея давать руководство. Он никогда не навязывал своего мнения, ничего не запрещал, но давал советы — и в такой форме, что хотелось следовать им.

Сколько воспоминаний сосредоточено у меня с его кабинетом, когда он жил в нем, и впоследствии, когда после его отъезда из дома тут жили последовательно Алеша и Коля. Это была любимая комната нас, детей. Здесь развернулась умственная жизнь нашей семьи тех времен. Тогда, когда Миша был еще студентом, она только что начиналась. Для

него самого раскрывались неведомые горизонты, и он стремился все больше их расширить. Развитие его шло быстро, работал он интенсивно и продуктивно. Мы, младшие, жили в лучах этой интенсивной научной работы — и тут больше, чем где-нибудь, в этом кабинете, за долгими и короткими беседами, мы восприняли то горячее желание узнать свой народ, трудиться для него, которое руководило деятельностью всей нашей жизни. Миша сам горел этим святым желанием и сообщал это горение нам.

Как я любила приходить к нему в кабинет посидеть. Я заставала его обыкновенно за работой, у письменного стола. Он охотно откладывал свои занятия; никогда он не говорил, что я ему помешала. Он оставался сидеть за письменным столом, лицом к комнате, приветливый, улыбающийся; я садилась на «турецкий» диван, поставленный между двух окон под прямым углом к письменному столу, под портретом бабушки Елены Афанасьевны. Он умел заставить меня высказывать свои мысли, говорил со мной как бы со взрослой. Я очень ценила, что он предоставляет мне свободу иметь самостоятельное, самой выработанное мнение. Помню, как раз он спросил меня: «Ты — славянофилка?» — с уверенностью, что я отвечу утвердительно. А я, проверив себя внутренно, зная, что его огорчу, ответила: «Нет, я не славянофилка». Он был разочарован, но понял, что я не могу сказать иначе, чем думаю и чувствую. Ведь он сам учил меня: «Говори всегда правду, чтобы люди знали, что у тебя найдут правду. На тебя, может быть, будут обижаться, сердиться — ты этим не смущайся, — все-таки к тебе будут приходить за правдой». Еще помню, он учил меня, как относиться к недостаткам людей. «Не плакать, не смеяться, но понимать» — и я запомнила это изречение Спинозы на всю жизнь — и оно облегчало мне жизнь в своих отношениях к людям. Тут, в кабинете у Миши, я научилась глубокому состраданию к людям, к их духовным немощам, не всегда от них самих зависящим.

И после таких разговоров, в которых вырабатывалось мое миросозерцание, мы вскакивали по какому-нибудь ничтожному поводу, вскакивали смеясь, и Миша, как по данному сигналу, занимал обычный пост: прислонившись спиной к книжному шкапу против моего дивана — и с дивана в него летела диванная подушка, брошенная мной. И мы перекидывались подушкой, пока я, бывало, не кину подушку на диван и не начну «штурмовать» Мишу, то есть подбегать к нему через кабинет и

наскакивать на него и быть отраженной его сильными руками. В этих легких переходах от серьезного к веселому была большая доля того обаяния, которое было присуще Мише. Он привлекал серьезной, глубокой мыслью и способностью беззаветно отдаваться веселью, хотя бы минутному. Так, проходя по зале тотчас после серьезного разговора в «маминой комнате» и возвращаясь к своим занятиям в кабинете, он, встретив меня случайно в зале, смеясь, протягивал руки, и я знала, что это призыв на вальс. «Раз-два, раз-два», — отсчитывали мы за неимением музыки: и неслись галопом из одного угла залы в другой, а потом кружились быстро-быстро. И потом, расцеловавшись, весело расходились.

В сферу своих расширяющихся и углубляющихся умственных интересов он умел привлекать и нас, кончая мной, самой младшей. Мы живо интересовались его университетскими впечатлениями, профессорами, лекциями. С почтением смотрели на кипы листов с литографированными лекциями, по которым приходилось сдавать трудные экзамены. Живейшее участие возбудили в нас его поездки к вотякам (с Алешей, летом 1884 года) и в Область Войска Донского (летом 1885 года)[101]. Мы понимали — я, может быть, еще смутно — важность задач, поставленных себе Мишей. Во всяком случае, мне и тогда исследование народной жизни казалось достойной целью жизни.

Миша был общителен, и у него был большой интерес к жизни во всех ее проявлениях. Он составил себе широкий и выдающийся круг знакомств, который нас также очень интересовал, отражаясь в его рассказах. Миша чрезвычайно высоко ставил И.С. Аксакова и считал себя счастливым личным знакомством с ним. Свою книгу «Казацкие общины на Дону» он посвятил И.С. Аксакову[102]. По-видимому, и Иван Сергеевич тоже хорошо относился к Мише как к представителю славянофильства. Он подарил ему одно из своих сочинений с дорогой для Миши надписью: «Последнему славянофилу, М.Н. Харузину». И он был, пожалуй, прав: благородное, идеалистическое направление в славянофильствующей мысли тогда угасало. Такой идеалист, как Миша, с молодым горячим сердцем, с любовью к родине и всему славянскому миру должен был нравиться старику Аксакову. Миша был хорошо принят у А.А. Фета. Он бывал у старика поэта в его доме на Плющихе[103], где царила своим сердечным гостеприимством Мария Петровна Шеншина[104], жена Афанасия Афанасьевича, чрезвычайно добрая и внимательная хозяйка. Здесь Миша встречал Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева и др. Фет

неоднократно приглашал Мишу к себе в Воробьевку[105], и Миша гостил там. В эти годы Афанасий Афанасьевич был занят переводом первой части «Фауста» и печатал сборник своих стихотворений «Вечерние огни»[106]. В корректуре ему помогал Миша, и мы, младшие, очень гордились этим. В то же время в нас пробудился интерес к великому произведению Гете. Интерес к этнографии привел Мишу к знакомству с Вс.Ф. Миллером[107] и к секретарству в Этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии[108]. Увлечение юридическими науками, государственным и обычным правом вызвало знакомство с М.М. Ковалевским[109] и С.А. Муромцевым[110]. Был он также знаком с Ф.Е. Коршем и с профессором Лазаревского института, Г.А. Муркосом[111]. Часто бывал он в эти годы у И.Е. Цветкова, о котором я уже упоминала в своих воспоминаниях. Как видно из этого неполного перечня, он искал знакомства с людьми разных направлений. Но он никогда не скрывал своих убеждений — славянофильских, монархических, националистических, хотя в то время они и вызывали у иных насмешливые улыбки и гримасы. Но, может быть, это смелое исповедание своих убеждений наиболее импонировало кружку молодежи — его товарищам по университету. Они могли не соглашаться с ним во многом, считать его взгляды, особенно его религиозность, устарелыми; но не могли они его не уважать. Для него же самым важным была правда. Недаром на придуманном им самим книжном знаке выгравирован был следующий девиз: «Правда — свет разума».

Со многими был знаком Миша, со многими вел деятельную деловую переписку, но не всех он вводил к нам в дом. Я, конечно, не говорю о перечисленных мною лицах — они были слишком большими величинами, чтобы молодой человек возраста и положения Миши мог с успехом пригласить в свою семью. Если они отвечали ему на его посещения, он принимал их у себя в кабинете. Я говорю о молодежи, с которой он преимущественно знакомился в университете. Миша берег честь своего дома, к которому относился, как к святыне, берег свою мать и сестер. Только глубоко порядочный человек мог проникнуть к нам в дом. В этом отношении Миша не увлекался, так же как и мама, а за ними и мы все в последующие годы, никакими внешними преимуществами: таланта, высокого положения и т.п. И надо заметить, что Миша с удивительным

чутьем выбирал знакомых. Большинство из них были не только людьми хорошими, но и серьезные, занимающиеся, развитые. Большинство из них были юристами, некоторые состояли членами так называемого Малого юридического общества — кружка студентов-юристов, сорганизовавшимися по образцу Московского юридического общества[112], в котором, под председательством С.А. Муромцева, принимали участие профессора и ученые. Другие были членами так называемого Этического кружка и тяготели больше к философии и литературе.

Из юристов, бывавших у нас за период от 1882 до 1886 года, кроме упоминавшихся мной студентов-болгар назову следующих лиц: В.А. Давыдов, оставшийся до сих пор верным другом нашей семьи, П.П. Юшневский, впоследствии следователь по особо важным делам (оба приятеля отличались большим остроумием), Д.Н. Стефановский (рано скончавшийся даровитый молодой человек, умевший писать романсы), Л.Л. Любенков, Н.А. Вокач, два неразлучных друга — Танцов и Игумнов (Н.Н., старший брат пианиста), Н.П. Клюшников[113] (брат литератора[114]).

Сначала знакомство завязалось с юристами. Но вскоре мы познакомились и с членами Этического кружка. Членами этого кружка были некоторые юристы. Как мы познакомились, я не помню, но живо сохранилось у меня воспоминание о нашем первом знакомстве с одним из выдающихся членов Этического кружка, Г.А. Рачинским[115].

Я была в 5-м классе, и шла первая половина академического года. Было воскресенье — и я, что доставляло мне большое удовольствие, сняла башмаки и надела на ноги татарские сапоги из мягкого зеленого сафьяна с инкрустацией из разноцветной кожи, с красными мягкими подошвами. Так как наверху у нас был отлично слышен звонок в передней и было слышно, проходит ли гость в залу, к маме или по коридору к Мише, мы знали, что у Миши уже давно сидит кто-то. Когда же нас позвали завтракать, мы были уверены, что засидевшийся гость останется в кабинете у Миши, пока мы в столовой будем истреблять традиционно подававшиеся у нас по воскресеньям жареные пирожки. Но оказалось, что Миша уже с добрых полчаса ввел нового гостя к маме в комнату — и он оказался таким симпатичным и простым, что мама сразу пригласила его к завтраку. Краснея за свои ярко-зеленые ноги, я предстала перед новым знакомым, но он был так удивительно прост, весел и внимателен ко всем, что можно было подумать: мы знакомы с ним года, и его не должны поразить мои чудачества, которые мне разре-

шались, как балованной младшей. Г.А. Рачинский сразу завоевал симпатии всех членов нашей семьи. Все сидели вокруг стола с оживленными лицами. Высокий блондин с мягкими чертами лица, мягкими манерами, светлой бородкой и в очках говорил много, живо и весело, в то же время значительно и интересно. Все были довольны новым знакомством. Но и наша семья пришлась ему, очевидно, по душе. После завтрака мама пригласила его пить чай, который накрывался тогда в ее комнате, и он просидел у нас еще часа два. «Первый визит», — смеялись мы. А потом он скоро пришел к нам опять, еще и еще раз — и скоро стал он бывать у нас каждый день. (Жил он тогда в двух шагах от нас: на Большой Молчановке, в доме Оболенских.) Каждый день — и сидел по целым дням. И всегда находились неистощимые запасы для разговоров.

Г.А. Рачинский был тогда студентом — не из молодых. Но и для своих лет он обладал редкой начитанностью и развитием. Огромная память, способность быстро схватывать основные положения новой книги, превосходное знание языков, большая даровитость выделяли его из среды товарищей. Казалось, он все схватывал на лету. Купит, бывало, новую книгу на Кузнецком мосту — он постоянно приобретал новые книги, — перелистает ее, возвращаясь домой на извозчике, — и зароились уже новые мысли в голове, которые надо непременно высказать перед другими. Он был очень экспансивен. Все переливалось через край — всякая мысль, всякое впечатление — и лилось быстрой, свободной, увлекающейся речью. Интересы его были широки, и широк размах его мысли. И он вовлекал в сферу своих интересов.

Вслед за Г.А. Рачинским к нам в дом вошли его товарищи по Этическому кружку, из которых большинство кончили одновременно 5-ю классическую гимназию[116]. Я не сумею перечислить всех членов кружка, так как я мало сравнительно интересовалась его занятиями. Лена стояла к кружку гораздо ближе, вместе с новыми своими подругами по курсам Герье. Она знала всех участников его. Я же помню из того времени только тех, которые бывали у нас. Запоздавший окончанием гимназии, старший из них и пользовавшийся большим влиянием среди членов кружка, С.Г. Смирнов[117], сын известного протоиерея Г.П. Смирнова-Платонова[118], впоследствии выдающийся педагог; упомянутые мной уже Л.Л. Любенков и Д.Н. Стефановский, С.Н. Цемш[119], выдававшийся впоследствии на юридическом поприще, Н.Н. Хмелев, впоследствии земский деятель.

Члены Этического кружка «вырабатывали, — как говорили они, — свое миросозерцание»: каждый должен был решить для себя, каково будет его отношение к религии, государству, общественной деятельности, философии. И на эти темы они писали рефераты. Но они, кроме этого, все интересовались и глубоко любили литературу, особенно поэзию, и театр. С.Г. Смирнов считался среди них знатоком Шекспира и привил своим товарищам интерес к великому писателю. Все они хорошо знали русскую и иностранную литературу, все любили декламировать стихи. И эта сторона их интересов была мне гораздо ближе и понятнее.

Я не принимала и не сумела бы принять участия в разговорах, лившихся вокруг чайного стола в «маминой комнате». Я сидела в противоположном углу, на маленьком диванчике за небольшим круглым столом с альбомами, одна или с Колей, делала вид, будто изучаю иллюстрации к произведениям Гете Каульбаха[120], или рисунки Тумана[121] к стихотворениям Гейне, или «Дрезденскую галерею» в фототипических снимках, и действительно изучала их и в то же время слушала, слушала. Больше всего меня пленяла декламация. Гости наши прерывали свои доказательства цитатами из поэтов, возражавшие в споре отвечали тем же, и вся эта молодежь выказывала при этом огромное знакомство с поэтической литературой. Особенно отличался при этом своей громадной памятью Г.А. Рачинский. Каких, каких стихов он только не знал наизусть.

Но часто устраивалась декламация сама по себе. И тут на первом месте оказывался Григорий Алексеевич. Целые поэмы мог он произносить наизусть. Он и сам писал стихи. Он не придавал им значения, но они были хороши. Декламировал он очень хорошо, и было большое удовольствие его слушать. Но прекрасно читали стихи и Цемш, и Хмелев, и В.А. Давыдов. Прослушанное вызывало обсуждение, критическую оценку. И все это говорилось с подъемом, с оживленными лицами, блестящими глазами, с веселыми улыбками и с молодой серьезностью. Целый дождь поэзии излился на нас в эти годы. Мы, младшие, познакомились со многими неизвестными нам доселе поэтами и поэтическими произведениями. Многое тогда заучено было мной наизусть — например, «Три смерти» Майкова я знала целиком, и мне не было большего удовольствия, как читать или слушать стихи. А гостившая у нас Катя списывала их на бумажки и носила целый ворох этих бумажек в кармане, и, смотря по настроению минуты, она вынимала ту или другую бумажку и

прочитывала написанное на ней стихотворение одна или делясь им со мной. Стихи давали мне эстетическое наслаждение; разговоры вокруг чайного стола в «маминой комнате» будили во мне мысль. Помню обсуждения характеров в произведениях Шекспира, Гете, Шиллера, Лессинга и других, обсуждение мотивов лирики отдельных поэтов. В это время, как я уже упоминала, Фет выпустил свой перевод «Фауста». По этому поводу Г.А. Рачинский притащил все имевшиеся в то время переводы «Фауста»[122] и подверг их сличению и критическому разбору. Это нас очень заинтересовало с Колей. Мы тоже стали сличать разные переводы и высказывали по поводу них свои взгляды.

Посещение гимназии, вечернее приготовление уроков не давали мне, к сожалению, возможности бывать в «маминой комнате» с нашими молодыми гостями так часто, как бы я хотела. Но видала я их хоть немного каждый день. Потому что Этический кружок, можно сказать, «дневал и ночевал» у нас. Они являлись обыкновенно в середине дня, немного ранее возвращения Лены с курсов, попадали к накрытому уже чайному столу, затем в полном или неполном составе оставались обедать и проводили вечер у нас, засиживаясь далеко за полночь. Иногда мама приглашали их в свою ложу — тогда они из театра опять приезжали к нам, где ожидал вернувшихся со спектакля чайный стол. И за чаем и легкой закуской шло обсуждение виденного и слышанного, лился свободный разговор, прерываемый смехом и шутками.

При рано воспитанном во мне интересе к театру их разговоры, даже если мне самой не пришлось в этот раз присутствовать на спектакле, давали мне многое. К этим годам, если я не ошибаюсь, относится приезд в Москву знаменитого немецкого трагика Поссарта[123]. Великие трагики наезжали от времени до времени в Москву — и их приезд всегда бывал праздником для любителей театрального искусства. В раннем детстве я помню приезд молодого Росси[124] (я видела его много-много лет спустя уже стариком) и помню, как мама увлекалась его игрой, и мы видели у нее в альбоме его фотографии в разных ролях, наряду с фотографиями знаменитостей итальянской оперы. Всколыхнули в нас интерес к драматическому искусству гастроли итальянского трагика Сальвини[125] (кажется, в 1882 году), который произвел на меня громадное впечатление в «Отелло». К игре Поссарта я могла отнестись уже более сознательно, и к такому отношению меня немало подготовили разговоры, слышанные мной в «маминой комнате». Все так увлекались его игрой, и Григорий Алек-

сеевич так горячо говорил, разбирая до мелочей его игру. На мою долю досталось видеть Поссарта в «Короле Лире» и в «Манфреде»; но наши посмотрели его, кажется, во всех ролях — и я слышала от них описание выдающихся минут в его исполнении. Позднее приезжал знаменитый трагик, тоже немецкий, Барнай[126], и я научилась, под влиянием восторженных разговоров Григория Алексеевича, сопоставлять игру этих двух, таких разнящихся друг от друга высоких дарований.

Члены Этического кружка читали, как полагалось тогда всем, причислявшим себя к интеллигенции, все ходовые в то время книги: Конта, Милля, Дарвина, Бэна, Ренана, Штрауса[127] и прочих, прочесть которые считалось тогда обязательным каждому образованному человеку. Под их влиянием прочли эти книги и Лена, и ее подруги по курсам, тяготевшие через знакомство с нами к Этическому кружку. Они тоже «вырабатывали себе миросозерцание». И Лена скоро заявила, что она — «позитивистка».

«Позитивистка» — это я еще понимала: мне это слово казалось однозначным с прежним термином «реалистка», а ведь я сочувствовала этому направлению, которое мне представлялось исканием жизненной правды. Но, когда Лена, осилив толстый том Шопенгауэра[128], стала говорить, что она сочувствует его безотрадному отношению к жизни, мне стало ее жаль. Я не могла с тогдашней своей жизнерадостностью, окруженная такими, по крайней мере внешне, жизнерадостными молодыми людьми, понять мою сестру. Но, ощущая и в себе, в глубине души, под внешним покровом веселья и беззаботности склонность предаваться меланхолии и прослышав, что последователи Шопенгауэра иногда кончали жизнь самоубийством, я стала бояться за нее. Когда же Лена перестала ходить в церковь и объясняла это тем, что она перестала верить и не может идти на компромисс со своей совестью, мне стало очень больно.

Такое быстрое крушение веры в Лене было для меня большим ударом. Лена мне представлялась такой светлой, чистой, возвышенной — не сравненной ни с одной из наших знакомых барышень по своей сути. И она так скоро поддалась искушению, влиянию извне — она, которая была такая глубоковерующая, которая так умела молиться. Мне казалось, она изменяла себе.

Но скоро мне стало жутко и за себя. И на меня не остались без влияния разговоры о вере в «маминой комнате», изложение Григорием Алексеевичем взглядов Ренана, цитаты из Штрауса, свободно переводившиеся

им с подлинника, указание, что будто бы Евангелие от Иоанна и некоторые послания апостола Павла — не подлинны. И вдруг я почувствовала колебания в вере. Правда, что я всячески противилась влияниям со стороны, спорила, сколько хватало сил и уменья, кричала, что никогда не стану читать ни Ренана, ни Штрауса, потому что им не верю, пела перед Григорием Алексеевичем анафему Ренану — одна или поддерживаемая Катей, — все равно сомнение вкралось в мою душу и производило там разрушительную работу, от которой мне было несказанно тяжко.

Я высоко ставила решимость Лены не идти на компромисс со своей совестью, благородство ее характера, проявившееся в этом существенном вопросе. Но я сознавала себя иной, чем она, и у меня были всегда свои пути. Я не могла расстаться с тем, что было величайшим сокровищем для души. Сомневаясь, я прилепилась душой к Тому, к которому я привыкла обращаться за помощью во всяких нуждах и печалях. Я ухватилась за ризу Христову: «Не отвержи меня от лица Твоего... воздаждь ми радость спасения Твоего...» Я толклась, уповая — «толцыте и отверзется вам», я молила, сознавая свое недостоинство, просила о возвращении веры как о милости. Но сомнения не отходили, или, скорее, отступали и снова надвигались. Иногда такой ужасающий холод обступал душу.

Мучения мои — я не говорила о них никому — длились два года с лишком. Холод сомнения, укоры совести, что я не кончаю с компромиссами. Я только не хотела никак расстаться с упованием: если Бог есть, Он не оставит без ответа мое горячее желание верить в Него. И ответ я получила наконец, совершенно неожиданно.

Мне было 18 лет, и мы жили с Леной в Крыму, на Исаре. Я по целым часам бегала по окружавшему его лесу, лазила одна по горам, вверх и вниз по стремительному течению Учан-су и его притока Барбалы, сидела среди лесной глуши на поросших плющом обрывках скал, пела и декламировала стихи, между прочим, по-гречески, любимый мной монолог Ифигении в Авлиде[129] и оду к Афродите Сафо. Думала также — урывками, но переживая многое. И вот раз я сидела на своем любимом месте, на берегу Барбалы, на большой скале, слушала, как несутся по камням, низвергаясь маленькими водопадиками, ее струи, и смотрела в светлую даль лесного просвета, где зелень светлая грабов казалась вся пропитанной солнцем. Я сидела здесь почти каждый день, каждый день

смотрела в ту сторону — красивого зеленого просвета, но никогда не испытывала ничего особенного. И вдруг в этот раз словно что-то непреложное открывалось вдруг моему духовному взору, что-то встало незыблемо в душе с поразительной ясностью — и я воскликнула всем своим существом: «Верую, вѐрую».

Но возвращаюсь к годам 1882—1884. И к нашим знакомым того времени. Некоторые знакомые, как я говорила, бывали у нас почти ежедневно, но, кроме того, у мамы был приемный день — «среда». Вечером в этот день собирался большой круг знакомых. Из барышень, бывавших у нас тогда, назову прежде всего ближайших подруг по курсам Лены: М.С. Корсакова, сестра известного уже тогда врача-психиатра[130], М.Н. Дюлу (вышла замуж за С.Г. Смирнова), Т.А. Лютер (вышла замуж за С.Н. Цемша), моя милая Юля Любенкова, успевшая кончить нашу гимназию и поступить на курсы, Ф.Я. Почеко, М.Вл. Черняева, ушедшая потом в одну из толстовских колоний и разочаровавшаяся в ней, О.П. Ланина (вышедшая замуж за художника Переплетчикова[131]), А.О. Евецкая, наконец, всем отличавшаяся от них и будто бы не подходившая вовсе к нашему обществу М.А. Давыдова, сестра Владимира Александровича. Она жила в совершенно ином круге интересов, вкусов, привычек. Круглая сирота, она рано эмансипировалась и держала себя гораздо свободнее, чем остальные барышни ее возраста. Она жила со своим братом в одной из квартир принадлежащих им домов в Колошенском переулке, близко от нас, и принимала одна, без старших, его товарищей, сначала по гимназии, а потом и по университету. Она относилась к ним дружелюбно и сумела заставить их уважать себя, несмотря на сравнительную свободу обращения. Чужда она была всецело их умственным интересам и, смеясь, признавала это во всеуслышанье. Она увлекалась опереткой и имела смелость (надо вспомнить взгляды того времени) часто посещать опереточные спектакли, а потом, горячо увлекаясь, напевать опереточные мотивы. Она не скрывала своих увлечений — и эту прямоту и непосредственность ценили в ней ее знакомые, товарищи и друзья брата. Обладая хорошими средствами и почти не имея никаких обязанностей, она проводила время, как ей нравилось: за рукодельем (она вышивала очень хорошо шелками), в посещении знакомых, в долгих прогулках по пассажу, Кузнецкому мосту и пр., следя за

новинками моды. Она любила одеваться и, сообразно своему внутреннему строю, одевалась так, что со своей крупной фигурой и смелым туалетом бросалась в глаза.

Во всех отношениях она казалась неподходящей к нашему дому. Однако у нас завязалось с ней долголетнее знакомство и дружеские связи. Это зависело во многом от некоторых очень хороших свойств ее души, а также большого уменья подходить к людям. Лично меня она сначала шокировала своим обликом (даже бледное ее лицо и серые глаза ее мне не нравились) и способом держаться, и все во мне поворачивалось и страдало от пошлости распеваемых ею опереточных мотивов. Но и я скоро примирилась с ее своеобразием и полюбила ее, несмотря на всю чуждость ее. Она умела быть внимательной ко всем, даже к такой незначительной особе, как подрастающая девочка; она умела скромно молчать и слушать, когда говорили с ней серьезное. А ее веселье вносило оживление, хотя и не по моему вкусу. Отмечу, что ничего пошлого, легкомысленного и дурного я никогда не слыхала от нее.

С другими барышнями, бывавшими у нас, я была более далека. Они, правда, обращались со мной ласково и приветливо, улыбаясь, выслушивали мои детские суждения, отмечали мое всегдашнее «сияние» — на людях я была всегда весела и оживлена, но они не подходили ко мне близко, и я чувствовала, что им мало дела до меня, до моих запросов и интересов. И случалось мне в самый разгар «среды» убегать наверх с понимавшими меня гораздо больше Сашей и Машей Николаевыми. Верх стоял пустой — тетя внизу в гостиной разливала чай, Маша садилась за наш старый рояль — тот, который был у нас еще на синицынской квартире и которого заменил внизу Бехштейн, — и играла «русскую». А мы пускались в пляску — любимую мной русскую пляску.

С мужчинами, нашими знакомыми, мне было легче и свободнее. Они по большей части относились ко мне как к гимназистке, полудевочке — и такое отношение, отдалявшее страшное для меня состояние «барышни», было мне по душе. Некоторые из молодых людей, бывавших у нас и не пользовавшихся большим успехом у наших барышень, предпочитали наше общество: мое и гостившей у нас Кати, с которой мы держались неразлучно в гостиной. С нами они чувствовали себя проще. Один из них, смеясь, заявил мне за ужином, что выбрал меня своей дамой, потому что настоящую барышню приходится занимать разговором, а со мной он может насладиться ужином. Но наши кавалеры — они призна-

вались нашими, Катиными и моими, и не оспаривались у нас взрослыми барышнями – вели также с нами разговоры. И, если мы не могли рассуждать с ними о Миле, Тэне, Бокле и других, мы все же могли разговаривать о серьезном. Между удовольствием кадрили они говорили мне, что советуют мне читать. И я помню одну кадриль, во время которой я услышала впервые от Танцева про «Отверженных» В. Гюго, – он потом приносил мне один за другим желтые тома французского изумительного романа, произведшего на меня громадное впечатление. Я благодарна этим молодым людям, которые бережно относились к моей юной душе и считали своим долгом оберегать меня от всего мало-мальски грубого и нечистого. Таково было правило тогдашней студенческой молодежи: они были хранителями чистоты и высоты уважавшихся ими девушек. Помню, что я как-то обратилась к кому-то из них с вопросом, надо ли мне познакомиться с романами Золя, о котором тогда много говорили, – и ответили мне так, что мой интерес к неизвестному мне автору притупился и заменен был интересом к Доде, о котором я досель не слыхала. При таких разговорах создавались милые дружеские отношения. Наряду с серьезными беседами, наши кавалеры снисходили к моей ребячливости: смешил нас с Катей Л.Л. Любенков и брат его, Вл.Л., Н.Н. Игумнов дразнил меня нашим гимназическим поклонением Софии Николаевне, Н.П. Клюшников рисовал мне синим карандашом различные рожицы, которые меня тогда занимали.

Но, если с нашими кавалерами мне было и приятно, и весело, я все же чувствовала, что кавалеры сестры моей и ее подруг значительнее и интереснее. И мне нравились некоторые из них. Самой большой моей и Кати симпатией пользовался Г.А. Рачинский. С ним чувствовалось так просто и открыто. Он умел откликаться на интересы и запросы всякого человека, какого бы возраста и умственного развития тот ни был. Он был благожелателен ко всем, удивительно ровен со всеми. Он был неизменно оживлен и весел – и живая мысль, казалось, непрерывно вилась и искрилась вокруг него. Его даровитая душа умела давать очень много окружающим. Он был чрезвычайно привлекателен. Противоположностью его экспансивности был крайне сдержанный П.П. Юшневский. От этого веяло несокрушимой, в себе самом сосредоточенной волей, – а это меня всегда привлекало в человеке. Одно то, как он слушал собеседника, как он возражал ему немногосложно, но всегда доказательно, как умел говорить остроумно, почти не улыбаясь умным и малоподвижным

лицом, было в нем привлекательно. Он занимал особое положение среди нашей молодежи. Лена говорила мне, что он и ей, и ее подругам казался «интересным», но он был уже женат и имел ребенка, и этого довольно было, чтобы наши барышни не позволяли себе желать понравиться ему и переступить чисто дружеские отношения.

С.Н. Цемш — вся прелесть его заключалась в том благородстве души, которым был полон он весь. Это было выше его красивой наружности: высокой стройной фигуры, красивого лица. О правдивой смелости, о безоблачной совести говорили его непринужденные, но естественно-благородные манеры, его смело глядящие, ясные, как у сокола, глаза. Улыбка его ручалась за большую сердечную доброту. Он был весь жизнерадостность, весь оживление, прекрасен, когда декламировал стихи, заражающий живостью, когда дирижировал во время гран-рон.

В «маминой комнате» за чайным столом, у самовара было излюбленное место С.Г. Смирнова. Густые, откинутые назад волосы, делавшие его, по нашему мнению, похожим на дьякона; умные серо-голубые глаза, частая усмешка, в которой была доля насмешливости. Он говорил сравнительно мало, но всегда веско, благодаря своей большой начитанности. Он как будто направлял разговор, сидя в своем уголке как будто менее заметным, чем остальные. Он имел большое влияние на товарищей, и это льстило его самолюбию. Н.Н. Хмелев — он был, наравне с В.А. Давыдовым, самым младшим из них. Какая это была чистая, нежно любящая душа, полная внутреннего благородства, не способного ни на какие компромиссы, я узнала много лет спустя за долгие годы близкого знакомства. Но и тогда он привлекал меня сердечной своей добротой и деликатной чуткостью в отношении к людям.

Наши знакомые часто наезжали к нам в Быково — и наша дачная жизнь там в воспоминаниях неразрывно связана с ними. Вот я вижу перед собой Г.А. Рачинского в голубой или бордо шелковой рубашке, в высоких сапогах (этот «русский» костюм очень шел к нему), в светлом картузе из чесучи, чаще всего с книгой в руках, что-то кому-то вечно излагающим или доказывающим. Мелькает перед моей памятью Цемш в красной шелковой рубашке, которая нам не нравится на нем, но полный, как всегда, жизнерадостной энергии, и скромный Н.Н. Хмелев, носивший помимо русской рубашки еще и поддевку. Гостили у нас по-

долгу Г.А. Рачинский, Б.Н. Боев и М.М. Панов. Дача наша не могла вместить гостей, и мама принанимала для них избу в деревне.

Гости наши являлись к нам на дачу обыкновенно перед завтраком, когда мама кончала свой утренний чай, и оставались с нами до поздней ночи. И сколько было чтения, разговоров, споров, шуток и смеха. И сколько это возбуждало в моей душе и уме новых вопросов и интересов. В одно из трех лет, проведенных нами в Быкове, у нас жила в качестве компаньонки при маме учившаяся в консерватории Екатерина Васильевна Успенская. Она готовилась к сцене и разучивала партию Наташи в «Русалке»[132] — и у нас на даче было много музыки и пения. Приходили Николаевы со своими гостями, пел романсы и Б.Н. Боев, с большим чувством, но путая иногда слова романса. Так, он пел: «Кто здесь страдал, боролся, как смерти друга ждет». Но это не мешало впечатлению: он пел это с таким чувством, что я, по крайней мере, долго не замечала ошибки.

Е.В. Успенская была для меня новым типом, новым характером. Она имела в себе много самобытного, что делало эту скромную девушку незаурядной. Она была умна, остроумна и весела. Характер имела ровный и покладистый. Она в это время переживала тревожный период своей жизни. К ней посватался один банковский служащий, имевший помимо службы хорошее состояние и представлявший для нее, как говорили тогда, «хорошую партию». Он и нравился ей сердечно. Но семья его стала противиться этому браку, а слабохарактерный жених поддавался на советы своей матери и сестер и медлил с окончательным решением. Екатерина Васильевна под веселым видом и болтовней скрывала глубокую тревогу. Она делилась ею с мамой — и мама принимала в ее душевных переживаниях большое участие. Между прочим, она серьезным разговором с женихом Екатерины Васильевны подвинула дело к благоприятному решению. Екатерина Васильевна всю жизнь помнила об этом и любила маму. Не могла она, говорила она мне много лет спустя, забыть и мое отношение к ней: как во время приезда ее жениха к нам на дачу я старалась сделать ее интереснее. Больше всего нравилась она своему жениху в так называемом русском костюме, и я помогала ей одеваться, завязывала ленты монист[133] и прочее, и всем моим участием давала ей утешение.

Узнала я и оценила ее как нравственную личность гораздо позднее. Она была одна из незаметных героинь жизни. Благополучно выйдя за-

муж за любимого человека, она прожила с ним счастливо, но много пришлось ей претерпеть от его семьи. Похоронив мужа, она вскоре заболела туберкулезом коленной чашки и скончалась после ампутации ноги. Надо было видеть, с каким мужеством и терпением она несла неприятности жизни, болезнь мужа и свою, потерю состояния. И какой незлобивой, независтливой она была.

В быковской нашей жизни Екатерина Васильевна связана для меня с воспоминанием о пении. Она пела нам не только на даче под рояль, но также и на прогулках, без аккомпанемента. Сколько раз вся наша компания сидела в парке у пруда, и громко разносился голос Екатерины Васильевны, а на других дорожках, скрытые деревьями и кустами, останавливались дачники слушать ее. Ее сменял со своей декламацией Григорий Алексеевич, потом снова начиналось пение. Тихий вечер проходил в эстетическом наслаждении. А вернувшись на дачу, мы с Катей, бывало, еще пойдем прохаживаться вокруг лужайки нашего сада, и к нам присоединится Б.Н. [Боев], и мы с ним ведем «серьезные» разговоры. А после чаю, когда снова звучит рояль и пение, Алеша выводит в сад свою аудиторию — нас, младшую часть нашего общества — и показывает нам на звездном небе разные созвездия. И так красиво усеянное звездами темное небо, и так хороша наступающая ночь.

Еще одно воспоминание связано у меня с Екатериной Васильевной — это наши поездки в имение Н.А. Шапошникова. Бывало, наши гости уедут в Москву на несколько дней, или мама предоставит их попечениям тети, а сама, прихватив меня и в сообществе с Екатериной Васильевной, которая была лично знакома с семьей Шапошниковых, поедет к ним в имение в ночевку. Николай Александрович только что приобрел имение — Семеновское — в Коломенском уезде и заводил в нем хозяйство. Он горячо увлекался новым делом и строил разнообразные планы, которые обманули его и заставили продать имение через несколько лет. Тогда же вся семья жила надеждами. И было интересно и оживленно в этом новом имении, которое предстояло поднять бодрым энергичным трудом, не пугавшим деятельную натуру Николая Александровича.

Для меня эти поездки, занимавшие обычно субботу и воскресенье, доставляли большое удовольствие. Доехать по новым местам до Коломны представлялось целым путешествием. А я так мечтала всегда путешествовать, видеть новые места, новых людей. Семеновское давало мне много незнакомых мне еще впечатлений. Это было не дачное место, а

поместье, вызывавшее особый уклад жизни. Помещичий дом был деревянный, одноэтажный, самой простой архитектуры, с двумя симметрично расположенными крыльцами: парадным и так называемым черным, и выходил он этой стороной на широкий, поросший травою двор, вокруг которого расположены были служебные постройки, все на виду у хозяина. За домом росли старые липы и темнили комнаты, глядевшие в противоположную сторону — в сад. Дом был поместителен, на большую семью, какая была у Николая Александровича. Хозяева были полны приветливости и гостеприимства. Все у них было просто, но всего — в изобилии. Что делали целый день взрослые, я не знаю, потому что, за исключением общего чаепития, завтрака и обеда, я на все время нашего пребывания у Шапошниковых поступала в ведение старших детей: 12-летнего мальчика Саши и 10- и 8-летних Нади и Оли. И носились мы с ними по всему имению. Тут впервые я увидала обширный яблоневый сад и узнала удовольствие есть яблоки с самого дерева. Помню также тихие, благоговейные минуты, проведенные после беготни в церкви, стоявшей в двух шагах от помещичьего дома. Николай Александрович и Александра Ивановна не посещали храма, но пускали туда детей с их бабушкой. И бабушка, высокая, сухая и молчаливая старушка, каждую субботу вечером забирала старших детей и меня в придачу — и мы шли неторопливым шагом в белую церковь с облезлыми стенами. В этой церкви было безлюдно, убранства было мало, служба шла без певчих, но не забыла я того впечатления, которое выносила из этого убогого храма, от этого убогого служения.

Мне очень нравилось в Семеновском — недаром я описала его в одном из многочисленных моих неудачных романов, — и приятно мне было общество детей. Я любила вообще детей, а эти, дети человека, которого я любила, были мне особенно дороги. Хотя, должна признаться, мое чувство к Николаю Александровичу уже остыло и постепенно мирно сходило на нет.

В воскресенье, во второй половине дня, нас усаживали на линейку, снабдив нас (к концу лета) корзинкой с лучшими яблоками, и мы спускались с величайшей осторожностью с крутого косогора, на котором расположено Семеновское. При этом мама, как всегда, боится могущего случиться несчастья, а мне — веселье и смех: вот-вот наклонится еще чуточку линейка в мою сторону — и я покачусь вниз по косогору к извилистому ручью. «Приключение» в путешествии только приятно — таково мое мнение.

17 — 249

В вагоне мама затевает с Екатериной Васильевной беседу, а я предпочитаю удалиться на входную площадку. Там я стою одна у раскрытого окна, смотрю на пробегающие передо мной картины и со спокойной совестью, что никому не терзаю уши своим неверным пением, пою во весь голос знакомые мне романсы. Или громко декламирую любимые мои стихи. Подъезжаем к станции — и я врываюсь в вагон и громогласно провозглашаю: «Станция такая, поезд стоит столько-то минут», — и потом удаляюсь на свою площадку глядеть на суетню на перроне. Фастово — непременно надо попробовать жареные пирожки, которыми славится буфет этой станции. Вот и знакомое нам Раменское со своим бором — и вот уже наше Быково.

Дача, на которой мы жили в Быкове, была одна из всех быковских оригинальной архитектуры: она представляла из себя швейцарский шале. Нижний и верхний этажи не сообщались внутренним ходом. Во второй этаж можно было проникнуть только по наружной лестнице, ведущей на открытую галерейку, охватывающую дом с четырех сторон и приосененную низко свисающей крышей. Широкие окна снабжены были зелеными ставнями. Из второго этажа, вмещавшего в себе три уютных комнаты и прихожую, внутренняя лестница вела в мансардную большую комнату с небольшим балконом. С него открывался широкий вид, но местность близ Быкова не отличалась красотой. Она томила своей плоскостью и однообразием. Вообще, за три лета, которые мы прожили в Быкове, я не полюбила его; напротив, душа моя постоянно испытывала тоску по красивой природе. И к церкви быковской своеобразной, ложноготической архитектуры, двухэтажной, с красивой наружной лестницей я не могла привыкнуть: она была для меня слишком торжественна, и я никак не могла наладиться в ней на молитву.

Но осталось у меня теплое воспоминание о той комнате, которую я занимала с Леной. Она мне нравилась — и потом я часто бывала в ней одна. Пока Лена была внизу, я занималась в ней много над заданными нам летними уроками. Меня оставляли одну, а я любила уже тогда иметь возможность быть наедине со своими мыслями. Кроме того, в 4-м классе я перешла от мысленного сочинения моих повестей и романов к их писанию. Нередко теперь я откладывала тетрадь с задачами или латинского автора и клала перед собой нелинованный листок тонкой писчей бумаги, которую легко было пересылать в письме Гризе, и уписывала

на нем много-много строк своим мелким почерком. И в этих часах писания было так много наслаждения.

Это относится к последнему лету в Быкове. Оно было менее удачно во многих отношениях. Прежде всего, оно было дождливое — приходилось часами сидеть в общей комнате и не быть в состоянии выйти даже на террасу, пристроенную сбоку к нижнему этажу по желанию мамы. И, помнится, как иногда все делали усилие, чтобы не потерять доброго расположения духа. М.М. Панов сразу вскакивал с места при звуках вечернего колокола и пел громогласно: «Спит христианский мир...», смеша всех уже одним тем, что это повторялось неизбежно каждый вечер, или становился перед мамой и спрашивал, делая комично-серьезное лицо: «Вы знаете, как пишется заглавное «К»?» — и тотчас при помощи отставленной руки и ноги изображал из своей фигуры букву К, невольно смеша всех. Да по правде сказать, восстановить в нашей компании веселье и доброе расположение духа было не так-то трудно.

В это лето Лена переехала на дачу с тетей очень рано, тогда как остальных задерживали в городе экзамены. Она хотела насладиться ранней весной в деревне, но вскоре после переезда схватила малярию. Жестокие приступы этой болезни повторились у нее еще два раза в течение лета. Она хворала мучительно и нетерпеливо. Я очень мучилась за нее. К довершению свалилась и я от малярии, но в более легкой форме. Я помню мучительные часы пароксизма, но помню также, как в светлые промежутки я радовалась своим новым чулкам, синим с красными пятками, и носкам, которые мне казались такими необычными. Лену ничего не радовало — даже то, что Б.П. [Боев] каждое утро ходил за три версты, чтобы принести ей букет из нравившихся ей цветов, которые можно было найти только в одном этом месте.

Оправившись от болезни, Лена в середине лета уехала гостить к сестрам Дюлу (Екатерина Николаевна[134] была впоследствии начальницей ею же основанной гимназии) на дачу в Листвяны. Без нее было скучно. А к концу лета тетя осуществила свое давнишнее желание: поехала на богомолье в Оптину пустынь, и Лена выпросилась ехать с ней. Они посетили, между прочим, старца отца Амвросия[135], но не помню из рассказов Лены, чтобы это посещение произвело на нее сильное впечатление. Гораздо больше ее, при тогдашнем ее отношении к вопросам религии, занял заезд их с тетей в гости к Кате. Катя в это лето не гостила у нас; она жила с отцом, арендовавшим имение в Веневском уезде. Тетя Со-

фия Ивановна скончалась в один год с папой, в ноябре месяце, и Катя жила полной хозяйкой в доме отца. Образ этой молодой хозяйки запечатлелся в памяти Лены, и она любила вспоминать, как гостеприимно они были встречены в доме Ивана Дмитриевича и как Катя энергично месила тесто для пирога, засучив рукава, ловко швыряя его об стол, веселая, бодрая, изумляя своим уменьем не посвященную в то время в поварское искусство гостью.

Отлучки Лены из дому легко объяснялись необходимостью переменить место жительства, чтобы избавиться от малярии. Но я уловила в них другие ноты: Лена не находила полного удовлетворения дома, она искала чего-то нового. И это был уже диссонанс.

Зимой 1885 года, несколько месяцев спустя посещения Кати тетей и Леной, гостившая у нас Катя получила телеграмму, извещавшую ее о скоропостижной кончине ее отца. Отца она любила безумно — и удар, полученный ею, был жесток. Тетя, лежавшая в постели после только что кончившегося воспаления легких, должна была встать, чтобы окружить ее попечениями. Катя билась головой об стену тетиной комнаты — и когда я вернулась из гимназии, я увидала на стене в тетиной комнате большую темную полосу на обоях — след от ее слез, лившихся потоком. Благодаря энергии, проявленной тетей, осуществился быстрый отъезд Кати домой в сопровождении дяди Павла Харитоновича Тарусина. Он же, устроив ее дела, привез ее к нам. Мама приняла ее в свою семью — и она осталась в ней почти до самых последних лет своей жизни. Она была дорогим членом семьи, любящей и любимой. Исключительной любовью привязалась она к Коле и ко мне — ко мне потому, что я, по ее мнению, была похожа на ее мать, тетю Софию Ивановну. У Кати было редкое сердце, и она была вся самопожертвование. Она вся жила интересами нашей семьи. Личную свою жизнь она запрятывала куда-то далеко, в глубину души, и, может быть, я одна знала о ней все. С годами из нее выработалась чудачка, но ее странности стушевывались перед тем, что давало окружающим ее золотое сердце. Я могла бы многое, очень многое написать про Катю. Скажу только, что сердце мое преисполнено к ней благодарности, было и будет себя считать перед ней в неоплатном долгу — и когда она уехала в Венев в 1918 году и там же и скончалась от тифа в тифозном бараке (3 IV 1920 года), я почувствова-

ла, что я лишилась сильной нравственной поддержки в жизни, незаменимых сестры и друга.

На этом я заканчиваю свои записки о прошлом, о моем «детстве и отрочестве». Тут начинается для меня новый период жизни, с новыми для меня душевными осложнениями — при неизменившихся внешних обстоятельствах жизни. Кроме того, с лета 1885 года, когда мы с Леной поехали, впервые самостоятельно, в Крым, я вела непрерывно дневник до 1917 года, в котором отражаются более или менее ярко все события моей жизни. Чувства свои и переживания я далеко не всегда доверяла своему дневнику: часто из боязни невольной фальши, часто из-за гордости и замкнутости. Другое дело — мои мысли и настроения. Их отражает мой дневник — и этим он, по-моему, может представлять некоторый исторический интерес, как отражение взглядов и настроений одной из многих девушек определенной среды и эпохи. В жизни своей я встречалась со многими известными лицами. В моем дневнике они могли бы быть более ярко характеризованы, но я боялась всегда изменить правде, позволив себе характеристику данного лица, особенно отрицательную, по впечатлению минуты. Боялась я также передавать «подлинные слова», если я их точно не помнила. Таким образом, я многое умалчивала в своем дневнике, но то, что в нем написано, написано правдиво.

КОММЕНТАРИИ

Часть I

[1]Первая поездка В.Н. Харузиной в Крым состоялась в 1886 г., на Север (в Олонецкую губернию и в Лапландию вместе с Н.Н. Харузиным) — в 1887 г.

[2]Aut bene, aut nihil — или хорошо, или ничего (*лат.*).

[3]Церковь Георгия Великомученика на Всполье (Большая Ордынка, 39) построена в 1798—1802 гг. архитектором И.В. Еготовым.

[4]Имеется в виду территория, прилегающая к храму, вместе с комплексом находящихся на ней построек.

[5]*Синицын* Петр Дмитриевич — купец 1-й гильдии, торговавший винным спиртом.

[6]*Покой* — название буквы «П» в старом русском алфавите.

[7]*Кретон* — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения (из предварительно окрашенной пряжи) с текстильным или набивным орнаментом. С середины XIX в. получил широкое распространение в России в качестве мебельной обивки, занавесок, обоев (в обеспеченных семьях), а также в одежде (в слоях населения с невысоким достатком).

[8]*Хибискус*, гибискус (Hibiscus) — род растений семейства мальвовых. Самый распространенный вид — китайская роза (Rosa-sinensis), декоративный кустарник с большими махровыми красными цветками.

[9]*Олеандр* (Nerium) — род растений семейства кутровых. Декоративный вечнозеленый кустарник с яркими крупными цветками.

[10]*Илекс*, падуб остролистный (Ilex aquifolium), или остролист, — вечнозеленый кустарник, имеет жесткие листья с волнистым колючим краем, ароматные цветки, ярко-красные ядовитые плоды.

[11]*Восковое дерево*, или восковой плющ (Hoya carnosa), — вьющийся вечнозеленый кустарник семейства ластовневых. Имеет мясистые листья, блестящие душистые розоватые цветки, как бы сделанные из воска (отсюда название).

[12]*Икона Казанской Божьей Матери* была, по преданию, чудесным образом обретена в Казани в 1579 г. после сильного пожара. Она была помещена в церкви святителя Николая Чудотворца в казанском Богородицком монастыре, откуда в 1904 г. была украдена. При освобождении Москвы от польской интервенции в октябре 1612 г. русские войска с крестным ходом вошли на Красную площадь, неся список казанской иконы Богоматери. В 1630-е гг. князь Пожарский за по-

мощь в победе над поляками воздвиг храм казанской иконы, где она хранилась почти 300 лет. После закрытия храма в 1930 г. икона вскоре пропала. Почитаемые списки казанской иконы Божьей матери имеются в тысячах храмов. По иконографическому типу казанская икона приближается к погрудному варианту Одигитрии; рук Богоматери не видно, а у Младенца видна только правая, благословляющая рука.

[13]*Bibelots* — безделушки (*фр.*).

[14]Имеются в виду «Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четиих Миней» (Кн. 1—12. М., 1858—1860; многократно переиздавались). Их автор — *Бахметева* Александра Николаевна, рожденная Ховрина (1823—1901). Книги Бахметевой для народного и детского чтения, в живой и доступной форме передающие события библейской и церковной истории, имели широкое распространение.

[15]*Киот* — створчатая рама или род остекленного шкафа для икон; божница.

[16]*Тереховская фабрика* фарфора основана в конце 20-х гг. XIX в. братьями Ф.Н. и П.Н. Тереховыми в деревне Речицы Бронницкого уезда Московской губернии. Выпускала расписную, позолоченную посуду из фарфора и фаянса.

[17]Фабрика фарфоровых изделий была основана в 1766 г. Ф.Я. Гарднером в с. Вербилки Дмитровского уезда Московской губернии. В 1891 г. завод был куплен у наследника Гарднера М.С. Кузнецовым.

[18]*Ломберный стол* — стол для карточной игры.

[19]Имеется в виду монпансье, которое производил в Москве Федор Ландрин. (См.: Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М., 1979. С. 169—170.)

[20]Св. мученик *Трифон* (? —250) — уроженец Фригии, имел дар целительства. За нежелание отречься от Христа и принести жертву языческим богам был обезглавлен. Большим почитанием пользуется св. мученик Трифон в русской православной церкви. По преданию, во время охоты Ивана Грозного улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти птицу и пригрозил смертью за неисполнение приказа. На 3-й день, утомленный безуспешными поисками, сокольник прилег отдохнуть, усердно попросив помощи у своего небесного покровителя — св. мученика Трифона. Во сне он увидел юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне пропавшего кречета и отвез его к царю.

[21]Св. *великомученица Варвара* жила в начале VI в. в городе Илиополе Финикийском. Рано овдовев, ее отец-язычник Диоскор сосредоточил все внимание на воспитании единственной дочери, выделявшейся способностями и красотой. К ней имели доступ только учителя-язычники и служанки. Но она стала христианкой. Отец пытался заставить ее отречься, но, не добившись этого, отдал свою дочь в руки правителя Мартиана, гонителя христиан, который подверг ее истязаниям. Казнь Варвары совершил ее отец. Мощи св. Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве.

[22]*Мазурин* Константин Сергеевич (1845 — ?) — член комитета Общества любителей художеств, имел ценную коллекцию греческих ваз, итальянской майолики, русских церковных вещей.

[23]*Отец Исихий*, посвященный в иеромонахи, жил в Выдубецком монастыре в Киеве, был духовником владыки Антония (1773—1850), архиепископа Воронежского и Задонского.

[24]Прямоугольные клапаны (*«патачки»* от фр. patte — клапан) заделывались по краю шелковой нитью или тесьмой (обычно на рукавах, внизу жакета). *Дезире* — название шва.

[25]*Воздухá* — матерчатые кресты, которыми покрываются сосуды, используемые в православной литургии.

[26]*Жардиньерка* (от фр. jardinière) — декоративный ящик для цветов, выращиваемых в комнатах, на верандах, балконах.

[27]*Лакфеоль*, лакфиоль (Cheiranthus cheiri) — декоративное растение с крупными желтыми цветками.

[28]*Цинерария* (Cineraria) — род растений семейства сложноцветных. Существует около 50 разновидностей цинерарии. Здесь имеется в виду цинерария окровавленная (Cineraria cruenta), культивируемая в Европе с начала XIX в. как красивое декоративное растение с многочисленными соцветиями лилового, пурпурного, красного, розового цвета.

[29]*Фомин* Николай Дмитриевич — купец 2-й гильдии, в купеческом звании с 1869 г., торговал цветами в собственном доме в Богословском переулке.

[30]*Ноев* Федор Федорович — купец 2-й гильдии, в купеческом звании состоял с 1888 г., торговал цветами.

[31]*«Живоносный источник»* — название иконы Богоматери, происходившей из византийского храма (основан в 450 г.) близ целебного источника, местонахождение которого было, по преданию, указано Богоматерью. На иконе — Богоматерь с младенцем по пояс в небольшом водоеме, к которому со всех сторон припали страждущие и жаждущие исцеления. Догматический смысл иконы: Богоматерь, родившая Спасителя, есть источник жизни вечной.

[32]*Алексий, человек Божий* (V в.) — один из самых популярных в России святых. Богатый римлянин, он покинул родительский дом в день своей свадьбы и в течение семнадцати лет жил на паперти храма Богородицы, затем еще семнадцать — в доме родителей, оставаясь неузнанным. Житие св. Алексия — пример христианского терпения и смирения в подвиге добровольной нищеты.

[33]Имеются в виду московские митрополиты, канонизированные православной церковью: Петр (ум. в 1326); Алексий (ум. в 1378; духовный отец и воспитатель князя Дмитрия Донского), Иона (ум. в 1461); первый предстатель автокефальной русской церкви, независимый от константинопольского патриарха, Филипп (Колычев Федор Степанович, 1507—1569; выступал против опричных казней Ивана Грозного, задушен по приказу царя.)

[34]*Фермуар* (фр. fermoir, от fermer — запирать) — застежка ожерелья, часто большого размера, украшенная драгоценным камнем или камнями.

[35]*Здание Судебных установлений* — другое название здания Сената в Кремле. Построено архитектором М.Ф. Казаковым в 1776—1787 гг. В этом здании в 1870—1880-е гг. размещались Окружной суд, Судебная палата, Межевая канцелярия и другие учреждения.

[36]*Насельник* — коренной житель, жилец.

[37]*«Что ты спишь, мужичок?»* — первая строка стихотворения А.В. Кольцова, впервые опубликованного в 1841 г.

[38]*Поливановская гимназия* — частная мужская гимназия в Москве (1868—1917), созданная и на протяжении 30 лет руководимая Львом Ивановичем Поливановым (1838—1899). Выделялась высоким уровнем преподавания. В гимназии учились поэты А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, шахматист А.А. Алехин.

[39]*Декалькомани* (фр. décalcomanie) — переводные картинки.

[40]Цитируются начальные строки баллады А.С. Пушкина «Жених» (1825).

[41]На 22 июля по старому стилю приходится день св. Марии Магдалины.

[42]Речь идет о популярных и многократно переиздававшихся «Русской хрестоматии» (1842) педагога, историка литературы и писателя Алексея Дмитриевича *Галахова* (1807—1892) и «Хрестоматии для употребления при первоначальном преподавании русского языка» (ч. 1—2, 1861—1868) педагога Павла Ефимовича *Басистова* (1824—1882).

[43]В рукописи оставлен пробел для названия хрестоматии Константина Дмитриевича *Ушинского* (1824—1870). Речь может идти об одной из его книг для начального классного чтения: «Детский мир» (1861) или «Родное слово» (1864).

[44]*Чистяков* Михаил Борисович (1809—1885) — педагог и писатель. В просмотренных сборниках сказок и рассказов Чистякова рассказ с таким названием не обнаружен.

[45]Имеется в виду рассказ М.Б. Чистякова «Приключения молодой белки Бобочки» (СПб., 1858).

[46]*Пансион Дюмушель* — женский пансион домашней учительницы Маргариты Феликсовны Дюмушель, частное учебное заведение первого разряда. В годы, о которых идет речь, находился на Гончарной ул. в доме Рукавишникова.

[47]Ревельская немецкая гимназия — старейшая гимназия в России, основана в 1631 г. С введением в ней преподавания на русском языке (1890) переименована в гимназию императора Николая I.

[48]*Прохоровы* — династия предпринимателей. Василий Иванович Прохоров, выходец из крестьян Троицко-Сергиевой лавры, служивший приказчиком, завел собственное дело и основал в 1799 г. в Москве текстильную фабрику — «Трехгорную мануфактуру». В 1843 г. его сыновья Иван, Константин и Яков основали торговый дом «Братья И., К. и Я. Прохоровы». Иван Яковлевич Прохоров

(1836—1881) возглавил учрежденное в 1874 г. «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры».

[49]С семьей Прохоровых была тесно связана родственными узами семья Алексеевых — одна из самых старых московских купеческих семей (известна с начала XVIII в.). Алексеевы имели хлопкоочистительные заводы и шерстомойни, большую торговлю шерстью и хлопком. К этой семье принадлежали Александр Васильевич (1788—1841) — московский городской голова в 1840—1841 гг. и Николай Александрович (1852—1893) — московский городской голова в 1885—1893 гг. В ревельской гимназии учились сыновья Ивана Яковлевича Прохорова — Сергей (1858—1899) и Николай (1860—1915), сыновья Ивана Александровича Алексеева (1832—1877) — Иван (1864—1877), Дмитрий (1863—1900) и Александр.

[50]*Келлер* Василий Романович занимал с 1868 г. место главного бухгалтера на фабрике «Трехгорная мануфактура». Иван Яковлевич и Алексей Яковлевич Прохоровы, решив создать «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры» на паях, включили его в число учредителей.

[51]*Милютин Николай Михайлович* — купец 2-й гильдии.

[52]*Шипачев Иван Григорьевич* — купец 2-й гильдии, в купечестве состоял с 1862 г., занимался чайной и сахарной торговлей, был членом совета Мариинского приюта общества для попечения о детях лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь, попечителем богадельни Немировых-Колодкиных на Ордынской ул., членом Московской городской думы (1886).

[53]Имеется в виду проживание Лены в пансионе.

[54]*Гальнбек* Леопольд Иванович — директор ревельской немецкой гимназии с 1855 по 1878 г.

[55]*Боткины* — старый купеческий род, ведущий свое происхождение с середины XVII в. Семья В.Н. Харузиной посещала дом Дмитрия Петровича (1829—1889) и Софьи Сергеевны (1840—1889) Боткиных. Д.П. Боткин — предприниматель, совладелец чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья». Председатель Московского общества любителей художеств в 1877—1889 гг.

[56]*Салоп* — просторная утепленная верхняя женская одежда, скреплявшаяся под горлом шнурами или лентами. Вышедший к середине XIX в. из моды, салоп сохранялся в быту (в основном в купеческой среде) вплоть до конца века.

[57]*Экоссе*, экосез (от фр. écossaise, буквально — шотландка) — ткань в клетку, первоначально только шерстяная, с XVIII в. также шелковая или бумажная.

[58]*Гетры* — голенища из кожи, сукна (гамаши) или фетра, с застежкой на пуговицы по наружной стороне ноги. Их носили с туфлями или низкими ботинками.

[59]*Бенуа* Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства и художественный критик. Его высказывания об игрушке, на которые ссылается В.Н. Харузина, см.: Бенуа А.Н. Игрушки // Аполлон. 1912. № 2. С. 49—54.

[60]*«Колониальная» лавочка* — лавка, в которой торговали товарами из колоний (стран Юго-Восточной Азии) — чаем, кофе, пряностями и др.

[61]*Schafgarben* — тысячелистник (*нем.*) (Achillea millefolium).

[62]*Чуйка* — мужской длинный кафтан без воротника, обычно из сукна, отделанный мехом или тканью по вырезу горловины и на рукавах. Чуйка была особенно распространена в Москве — ее носили купцы-лавочники, мещане и приезжие крестьяне.

[63]Имеется в виду дом архитектора Виктора Александровича *Гартмана* (1834—1873).

[64]*Картон* — коробка из картона.

[65]То есть платье из тарлатана — недорогой, мягкой хлопчатобумажной ткани, разновидности кисеи.

[66]*Кустарный музей* (ныне Музей народного искусства) был открыт в 1885 г. на основе материалов кустарного отдела Торгово-промышленной выставки 1882 г. в Москве. Находился на Знаменке, затем на Большой Никитской ул., с 1903 г. в Леонтьевском пер., д. 7. В начале XX в. музей вел работу по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

[67]*Bilderbuch* — иллюстрированная книга (*нем.*)

[68]«Ты ведь знаешь, что так устроено в перевернутом мире: стол ставят на часы» (*нем.*).

[69]Имеются в виду народные картинки — изображения с подписью, выполненные в технике гравюры на меди, часто раскрашенные от руки.

[70]*«Хижина дяди Тома»* — роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1852).

[71]Имеется в виду Водоотводный канал, проложенный в 1783—1786 гг. вдоль центральной излучины реки Москвы для проведения ремонта Большого Каменного моста.

[72]*Св. Георгий* Победоносец — уроженец Бейрута, служил в армии римского императора Диоклетиана, после признания христианином был в 303 г. замучен. Культ св. Георгия-великомученика включает фольклорный мотив змееборчества (наибольшее распространение получила икона «Чудо Георгия о змие»). Почитался как защитник воинства (в 1769 г. в России был учрежден военный орден св. Георгия, в 1913-м — военный Георгиевский крест), а также покровитель Москвы (изображен на гербе города).

[73]*Иоанн Воин* (IV в.) служил в войске римского императора Юлиана Отступника как тайный христианин. Иоанн был заточен в темницу, но после смерти императора освобожден. Оставшуюся жизнь посвятил служению Богу и людям — бедным и страждущим. На Руси почитался как защитник обиженных и покровитель воинов.

[74]*Церковь св. Екатерины великомученицы* на Всполье (Большая Ордынка, 60/2) построена в 1766—1775 гг. по проекту К.И. Бланка на средства Екатерины II в ознаменование ее воцарения.

[75]*Церковь Положения Риз Божьей матери*, правильное название — церковь Положения Ризы Господней (Ризоположения) (Донская ул., 20), построена в

1701—1716 гг., декорирована в стиле московского барокко. Церковь сменила деревянный храм, сооруженный на месте торжественной встречи в 1625 г. посольства персидского шаха Аббаса, передавшего в дар царю Михаилу Федоровичу христианскую святыню — Ризу Господню (частицу одежды, в которой Христа вели на Голгофу).

[76]*Донской монастырь* (Донская пл., 1) — мужской 1-го класса ставропигиальный монастырь. Основан в 1591—1593 гг. в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея (1591).

[77]Имеется в виду евангельская *притча о десяти девах*, вышедших навстречу Жениху (Господу): пяти мудрых, взявших с собою масло для светильников, и пяти неразумных, у которых погасли светильники, и они не попали на брачный пир (Мф. 25:1—12).

[78]Фотографию барельефа Барышниковой Е.И. (урожд. Яковлевой) (1772—1806) см.: Шамурин Ю. Московские кладбища // Москва в ее прошлом и настоящем. Вып. 8. М., б.г. С. 114—115.

[79]*Демут-Малиновский* Василий Иванович (1779—1846) — скульптор.

[80]*Барышников* Иван Иванович (1749—1834) — отставной майор артиллерии.

[81]*Витали* Иван Петрович (1794—1855) — скульптор.

[82]*Шамурин* Юрий Иванович (1888—1918) — историк, искусствовед, москвовед.

[83]*Empire* — ампир (*фр.*), архитектурный стиль 1-й трети XIX в.

[84]*Церковь* Богоматери *«Всех скорбящих радости»* (Большая Ордынка, 20) построена в 1792—1836 гг. архитекторами В.И. Баженовым (колокольня и трапезная) и О.И. Бове (собственно храм).

[85]*Церковь Покрова* Пресвятой Богородицы (Малая Ордынка, 9) была построена в 1702 г. Разрушена в 1930 г. Ныне на ее месте стоит бюст А.Н. Островского.

[86]*Михаил* Всеволодович (1179—1246), князь *черниговский*, великий князь киевский (с 1238 г.), был убит вместе со своим боярином Федором в Золотой Орде, в ставке Батыя. Канонизирован православной церковью. Церковь святых князя Михаила и боярина Федора Черниговских чудотворцев (Черниговский пер., 3) построена в 1675 г.

[87]*Церковь святого Иоанна Крестителя*, точнее — церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи (Черниговский пер., 2/4), построена в 1657 г. (или 1675 г.).

[88]Мф. 14: 3—12; Мк. 6: 17—29.

[89]*Чугунный мост* через Водоотводный канал соединял улицы Пятницкую и Балчуг. Сооружен в 1835 г., заменен новым в 1889 г.

[90]*Балчуг* (от татар. «балчех» — грязь, болото) — местность в Замоскворечье между рекой Москвой и Водоотводным каналом; до строительства канала регулярно затоплялась во время наводнений.

[91]*Москворецкий мост* связывал ул. Балчуг с ул. Москворецкой. Был построен в 1829—1833 гг., деревянное покрытие и фермы, уничтоженные в 1870 г.

пожаром, были заменены металлическими конструкциями (1872). После строительства Большого Москворецкого моста (немного выше по течению) в 1938 г. мост был разобран.

[92]*Московский гостиный ряд* занимал восточную часть Красной площади. Выделялись Верхние (между Никольской ул. и Ильинкой), Средние (между Ильинкой и Варваркой) и Нижние (к югу от Варварки) торговые ряды. К ним примыкали здания Старого и Нового гостиных дворов. Верхние и Средние торговые ряды были построены в 1814—1815 гг. по проекту О.И. Бове, в 1889—1893 гг. их заменили новые здания в «русском» стиле (в Верхних торговых рядах ныне ГУМ), Нижние ряды были разобраны в 1930-е гг.

[93]*Симонов* Егор Михайлович — фотограф, в 1874—1893 гг. (до 1888 г. совместно с Т.В. Шитовым) владелец фотоателье на Пречистенском бульваре (дом барона Самаруга). В 1893 г. продал ателье М.А. Окорокову.

[94]*Дуля* — род груши (*укр.*).

[95]Памятник К.М. Минину и Д.М. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса был установлен в 1818 г. на Красной площади перед центральным портиком Верхних торговых рядов. К Покровскому собору памятник был перенесен в 1930 г.

[96]*«Монашки»* — угольные курильные свечи.

[97]*Глаголь* — название буквы «Г» в азбуке церковнославянского языка.

[98]На месте *Исторического музея* стояло здание Земского приказа (сооружено в XVI в.). Исторический музей был построен в 1874—1883 г. архитектором В.О. Шервудом.

[99]Имеется в виду здание Земского приказа и здание Монетного двора (XVII в.; перестроено в 1732—1740 гг. архитектором П.И. Гейденом в стиле барокко), которое позднее заняли Присутственные места с долговой тюрьмой в нижнем этаже.

[100]Имеется в виду краснокирпичное *здание Городской думы*, построенное в 1890—1892 гг. в псевдорусском стиле по проекту Д.Н. Чичагова. В 1936 г. в нем открылся Центральный музей В.И. Ленина.

[101]*Сиротский суд* находился в здании Присутственных мест на Красной площади. Он был учрежден в 1775 г. как орган городского подчинения, ведавший опекой над лицами городских сословий (мещанство, купечество), а с 1818 г. и сиротами дворянского происхождения.

[102]*Бартельс* Иоганн — прусский подданный, купец 2-й гильдии, в купеческом звании с 1874 г. Булочная Бартельса находилась в доме Тверского подворья (Кузнецкий мост, 17). На Никитской ул. Бартельс имел кондитерское заведение.

[103]благоговейно сложить руки к молитве (*нем.*).

[104]*Lesebüch* — книга для чтения (*нем.*).

[105]*Buchstubieren* — читать или произносить по буквам (*нем.*).

[106]Семь сыновей имел он, они не ели, они не пили, они делали все так (*нем.*)

[107]*So* — так (*нем.*).

[108]*See* — море (*нем.*).

[109]*Sehnsucht* — тоска (*нем.*).

[110]Имеется в виду Всероссийская Политехническая выставка, устроенная московским Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии к 200-летнему юбилею Петра I (проходила в мае—августе 1872 г. в Манеже).

[111]*«Дочь полка»* — опера Г. Доницетти, либретто Ж. Сен-Жоржа и Ж. Байяра (1840). В России впервые поставлена в Одессе в 1841 г. на итальянском, в Петербурге в 1855 г. — на русском языке. Действие оперы происходит в 1805 г., когда войска Наполеона оккупировали Тироль. Героиня — маркитантка Мария — состоит как «дочь полка» при одном из подразделений французской армии. Она воюет наравне с солдатами, с ней происходят многочисленные приключения с «переодеванием» из женщины в мужчину.

[112]*Handarbeiten* — рукоделия (*нем.*).

[113]в старомодном духе (*фр.*).

[114]*Мариинская больница* для бедных на Ново-Божедомской ул. (ныне НИИ туберкулеза, ул. Достоевского, 2) была основана в 1805 г. и состояла в ведении Московского Воспитательного дома.

[115]*Тарасов Петр Сергеевич* — доктор Мариинского приюта Общества для попечения о детях лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь. Занимался также и частной практикой.

[116]*Панье* (от фр. panier — корзина) — каркас из китового уса или ивовых прутьев, придающий пышность юбке.

[117]*Яблочная смоква* — разновидность инжира.

[118]Сказка Г.-Х. Андерсена *«Красные башмаки»* (1845) на русском языке была опубликована в 1868 г. Героиня сказки девочка Карен вопреки правилам пришла на конфирмацию в красных туфельках. Поддаваясь тщеславному соблазну, она вновь надевает в церковь красные туфли, не подобающие случаю. Туфельки прирастают к ее ногам и приобретают власть над девочкой: помимо своей воли Карен дни и ночи напролет танцует — по дорогам и тропинкам, в лесу, в поле, на кладбище. Лишь после того, как палач по ее просьбе отрубил ей ноги с красными башмаками, тут же умчавшимися в дьявольской пляске, Карен обрела покой и вернулась к Богу.

[119]«Вы должны, Вера» (*нем.*).

[120]литье колокола в Бреславле (*нем.*).

[121]Вероятно, имеется в виду издание Андерсена «Новые сказки», выпущенное в переводе с немецкого «Обществом переводчиц» (СПб., 1868). Рисунки к изданию выполнены русским художником М.К. Клодтом.

[122]*Книжный магазин В.Г. Готье* находился на Кузнецком мосту (д. 20). В нем продавались преимущественно французские книги.

[123]*Пост* Бертрам Андреевич — прусский подданный, владелец библиотеки иностранных книг на Неглинном проезде (ныне Неглинная ул.), близ Кузнецкого моста в доме Фирсанова.

[124]*Сегюр* Софья Федоровна, графиня де (1799—1874) — французская детская писательница. Повести «Маленькие модницы» («Les petites filles modèles», 1858), «Каникулы» («Les vacances»,1858), «Записки осла» («Mémoires d'un âne», 1860), написанные в форме диалога, с занимательным сюжетом и поучениями, характерны для детской литературы середины XIX в.

[125]Имеется в виду роман английского писателя Томаса Майн Рида (1818—1883) «Юные рабы» («The boy slaves», 1865).

[126]Под этим названием в России вышел в 1793 г. перевод романа «Поль и Виргиния» (1787) французского писателя Жана Анри Бернардена де Сен Пьера (1737—1814). В трогательно-нежной дружбе и любви Поля и Виргинии, живущих по законам природы, не знающих развращенных нравов цивилизации, воплощены идеи Ж.-Ж. Руссо.

[127]*Алмазов Сергей Александрович* (? —1879) — учитель литературы, русского, арифметики, закона Божьего в семье Харузиных.

[128]*Ермолова* Мария Николаевна (1853—1928) — актриса Малого театра с 1871 г.

[129]*Церковь св. Климента* папы Римского (Пятницкая ул., 26/7) построена в 1762—1769 гг. в стиле барокко. Грандиозный по размеру храм в XIX в. являлся одной из архитектурных доминант панорамы Замоскворечья.

[130]*Фиоравенти* Аристотель (1415—1486) — итальянский архитектор и инженер. По приглашению Ивана III в 1474 г. приехал в Москву. В 1475—1479 гг. построил Успенский собор в Кремле. В качестве военного инженера и начальника артиллерии участвовал в походах Ивана III на Новгород (1477—1478), Казань (1482) и Тверь (1485). О последних годах жизни Фиораванте практически ничего не известно. Вероятно, Вера Николаевна ошиблась, имея в виду легенду об ослеплении Бармы и Постника, построивших храм Василия Блаженного на Красной площади.

[131]*Рудаков* Александр Павлович (1824—1892) — духовный писатель, профессор богословия в Горном институте в Петербурге. Автор книг «Священная история Нового Завета» (1854) и «Священная история Ветхого Завета» (1855).

[132]*Говоров* Козьма Гаврилович (1820—1874) — автор многократно переиздававшегося учебника «Опыт элементарного руководства изучения русского языка практическим способом» (1862).

[133]Стихи долин и лесов
С вашей красотой, непорочной и целомудренной,
О, мои белые, мои любимые ландыши,
На наших равнинах, в наших столь зеленых лесах
Никакой цветок не может сравниться (*фр.*).

[134]Я вас не собираю, мои фиалки,
Потому что вы так быстро вянете.

Но вашу сестру, бледную и худенькую,
Я уношу, чтобы напоить.
Ах, мои маленькие, не бойтесь,
Она не умрет,
В красивой вазе из богемского стекла
Она будет пить вволю (*фр.*)

[135]О дети, как это прекрасно! (*нем.*)

[136]Золотое солнце заката,
Как ты все же прекрасно!
Могу ли я без наслаждения
Видеть твое сияние (*нем.*).

[137]Наслаждение (*нем.*)

[138]Иверская чудотворная икона Божьей Матери находится в Иверском монастыре на Афоне. В 1614 г. в Москву была привезена копия Иверской иконы, помещенная затем в Валдайский Иверский монастырь. В 1669 г. в Москву был доставлен еще один список и поставлен в специально для него построенную в 1782—1791 гг. Иверскую часовню у Воскресенских ворот Китай-города. Икона пользовалась необычайной популярностью у москвичей. Ее почти круглые сутки возили по домам для совершения треб.

[139]Святой мученик Пантелеимон (между 280 и 285 — 305) — один из самых чтимых святых в русской православной церкви. Почитается как покровитель воинов и одновременно как всемилостивый целитель.

[140]*Мефимоны* — в русском церковном обиходе название повечерия, включающего Великий покаянный канон Андрея Критского.

[141]*Gesangbüsh* — сборник песен (*нем.*).

[142]См.: Мф. 5: 24.

[143]См.: Еф. 4: 26.

[144]См.: Мф. 7: 1.

[145]См.: Лк. 15: 3—6.

[146]См.: Лк. 15: 8—10.

[147]См.: Лк. 15: 11—32.

[148]См.: Мф. 25: 1—12.

[149]См.: Мф. 15: 22—28.

[150]См.: Мк. 5: 25—34.

[151]*Проскомидия* — первая часть Божественной литургии, состоящая в подготовке к таинству евхаристии.

[152]*Икона Божьей Матери «Всех скорбящих радости»* прославилась исцелениями в Москве в середине XVII в. Церковь Преображения на Ордынке, где находилась икона, после этого получила ее имя. На этой иконе Богоматерь пишется во весь рост, иногда с младенцем на руках, как на московском первообразе, окруженная бедствующими людьми — нагими, обиженными, алчущими.

[153]*Варлаамий Хутынский* (ум. в 1192) – новгородский чудотворец, основатель Хутынского монастыря под Новгородом. В XVI в. на месте церкви Богоматери Всех Скорбящих Радости на Большой Ордынке находился деревянный храм Варлаама Хутынского. В его честь был освящен один из приделов нового храма.

[154]После реставрационных работ, оплаченных ктитором храма Шемшуриным, в ходе которых стены были заново расписаны, украшены мрамором и лепниной, церковь Богоматери Всех Скорбящих Радости была вновь освящена в 1904 г.

[155]*Солея* (греч. solea, от лат. solium – престол, трон) – небольшое возвышение пола перед алтарной преградой в православном храме.

[156]См.: Мф. 21: 12.

[157]См.: Исх. 34: 29.

[158]См.: Исх.2: 1–10.

[159]*Померанец*, горький апельсин (Citrus aurantium) – вечнозеленое растение рода цитрусовых.

[160]*Орарь* – длинная шелковая лента с орнаментом, символизирующая целомудрие и чистоту помыслов; во время христианского богослужения ее носят дьяконы.

[161]См.: Мф. 5: 24.

[162]См.: Деян. 9: 1–20.

[163]См.: Лк. 18: 10–14.

[164]Аллегорическая поэма английского поэта-пуританина Джона *Буниана* (Беньян, 1628–1688) «Путь паломника» («The pilgrim's progress from this world to that, which is to come»; Ч. 1–2, 1678–1684) рассказывает о скитаниях некого христианина в поисках града небесного, его борьбе с разными препятствиями на пути к достижению цели. Поэма многократно издавалась в переводе на русский язык.

[165]Имеется в виду дом Семена Дмитриевича Грачева и его сыновей Дмитрия, Николая, Митрофана и Михаила в Черниговском переулке.

[166]Большие окна, перекрытые аркой, характерны для русского ампира. Они были чрезвычайно популярны в эпоху Александра I, с чем связано употребляемое Харузиной название.

[167]*Боткин* Михаил Петрович (1839–1914) – художник, искусствовед, коллекционер (ныне большая часть собрания находится в Эрмитаже), брат Д.П. Боткина. Академик живописи, автор картин на исторические и библейские сюжеты.

[168]*Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899) – писатель, знаток живописи.

[169]*Падилло* (Падильи-и-Рамос) М. (1842–1906) – испанский оперный певец (баритон), муж Арто.

[170]*Арто* Маргерит Жозефин Дезире (1835–1907) – французская оперная певица (меццо-сопрано). В 1858 г. дебютировала в Париже. Гастролировала на многих европейских сценах (в том числе и в России, впервые в 1868 г.).

[171]*Иоанн* (Иван) *III* (1440–1505) – великий князь Московский (с 1462), «государь Всея Руси» (с 1478).

[172]*«Нива»* — популярный еженедельный «иллюстрированный журнал для семейного чтения» (1870—1918).

[173]В романе Ивана Ивановича Лажечникова (1792—1869) «Бусурман» (1838) описаны Русь конца XV в. в правление Ивана III, строительство Московского Кремля как символа нового централизованного единодержавного государства.

[174]*Вильгельм I* Гогенцоллерн (1797—1888) — прусский король с 1861 г. и германский император с 1871 г.

[175]*Бисмарк* Отто фон Шенхаузен, князь (1815—1898) —1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.

[176]*«Вильгельм Телль»* — трагедия И.Ф. Шиллера (1804).

[177]*Меровинги* — первая королевская династия во Франкском государстве (конец V в. —751 г.). *Каролинги* (от имени Карла Великого) — королевская и императорская династия во Франкском государстве (751—843), Франции (до 987). *Капетинги* — династия французских королей в 987—1328 гг.

[178]Имеются в виду антикварные и букинистические магазины, расположенные в Париже рядом с Лувром. Магазин «Le Bon Marché» был основан в 1852 г. Аристидом Бусико. Впоследствии этот магазин стал самым крупным в Париже.

[179]*Румянцев*-Задунайский Петр Александрович, граф (1725—1796), полководец, генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны с Пруссией и русско-турецких кампаний 1770—1774 и 1788 гг.

[180]*Бирон* Эрнст Иоганн, граф (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Ивановны, обер-камергер ее двора; герцог Курляндский (с 1737). В 1730—1740 гг. пользовался неограниченным доверием императрицы. Проводимая Бироном политика привела к засилью иноземцев, главным образом немцев, разграблению богатств страны, жестокому преследованию недовольных.

[181]Вероятно, имеется в виду картина В.И. Якоби (1834—1902) «Ледяной дом» (1878), поступившая в Музей Александра III (ныне Русский музей в С.-Петербурге) из Петербургской Академии художеств в 1897 г.

[182]*Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель. Под руководством Сперанского было составлено первое Полное собрание законов Российской империи в 45 томах (1830).

[183] *Рубинштейн* Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист, дирижер, музыкальный и общественный деятель. Брат А.Г. Рубинштейна. Организатор Московской консерватории (с 1866 г. ее профессор и директор).

[184]*Урусов* Александр Иванович, князь (1843—1900) — адвокат, известный оратор.

[185]*Муравьев* Андрей Николаевич (1806—1874) — поэт, религиозный писатель. На его квартире, в ожидании возвращения хозяина, М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Ветка Палестины» (1836 или 1837), посвятив его Муравьеву. Стихотворение навеяно пальмовыми ветвями, которые привез из Палестины Муравьев, совершивший в 1830 г. паломничество по Святым местам.

[186]...*«божьей рати лучший воин»* — цитата из стихотворения «Ветка Палестины».

[187]*«Генерал Топтыгин»* — стихотворение Н.А. Некрасова (1867).

[188]*Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894) — композитор и пианист. Брат Н.Г. Рубинштейна. Основатель Русского музыкального общества (1859) и первой русской консерватории (1862, С.-Петербург), ее профессор и директор.

[189]*Рашель* (наст. имя и фамилия Элиза Рашель Феликс) (1821—1858) — французская актриса. С 1838 г. играла в театре «Комеди Франсез». Возродила на сцене классицистскую трагедию (П. Корнель, Ж. Расин). С середины 1840-х гг. гастролировала в Европе и Северной Америке.

[190]«*Русская свадьба* в исходе XVI века» — драматическое представление П.П. Сухонина с хорами, свадебными песнями и плясками (1852). В Москве шла с перерывами с 1852 по 1882 г.

[191]«*Дочь фараона*» — балет Цезаря Пуни, сценарий А. Сент-Жоржа и М.П. Петипа. Премьера балета состоялась сначала в Петербурге в Мариинском театре в 1862 г., затем в 1864 г. в Москве в Большом театре.

[192]Имеется в виду Третья выставка Товарищества передвижных художественных выставок (1874), где были выставлены картина И.Н. Крамского «Христос в пустыне» и картина Г.Г. Мясоедова «Чтение положения 19 февраля 1861 г.».

[193]«*Посмотри, в избе мерцая*» — начало стихотворения А.Н. Майкова «Картинка. (После манифеста 19 февраля 1861 г.)» (1861).

[194]Традиционным выпеканием пшеничных «жаворонков» отмечался день весеннего равноденствия (21 марта по новому стилю).

[195]*Челлини Бенвенуто* (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир, писатель.

[196]Имеется в виду алтарный образ «*Преображение*» кисти Рафаэля (1519—1520), хранящийся в Ватиканской пинакотеке.

[197]*Гиперальгезия* — синдром повышенной болевой чувствительности.

[198]*Буль-де-гомы* (фр. boules des gommes) — леденцы от кашля.

[199]«*Эйнем*» — московская кондитерская фабрика, основанная в 1867 г. Главный магазин фабрики находился на Петровке в доме Рудакова. В 1889 г. на базе старой фабрики на Берсеневской набережной была построена новая фабрика, с 1922 г. носящая название «Красный Октябрь».

[200]*Губайлово* (усадьба Знаменское-Губайлово) находится на территории современного г. Красногорска. В XVII в. принадлежало Волынским, во второй половине XVIII в. перешло к В.М. Долгорукову-Крымскому, в роду которого находилось до 1840 г. Позднее усадьбой владели П.С. Деменков, Э.И. Рооп, А.К. Галлер. С 1885 г. перешла к Поляковым.

[201]*Воскресенское шоссе* — с 1940-х гг. Хорошевское шоссе.

[202]В.Н. Харузина цитирует Апокалипсис: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Отк. 3: 14—16).

[203]Мариинский приют для детей лиц, сосланных по судебным приговорам в Сибирь, в 1870—1880-е гг. находился на Пресне в Продольном переулке.

[204]*Молога* —город при впадении реки Мологи в Волгу, затоплен в начале 1940-х гг. при сооружении Рыбинского водохранилища.

[205]*Филарет* (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — церковный деятель. С 1826 г. митрополит Московский. Участник составления манифеста 1861 г. об отмене крепостного права.

[206]*Камчатное полотно* — льняная ткань, узор которой достигается сочетанием различных техник переплетения нитей.

[207]*Латания* (Latania) — род растений семейства пальмовых. Растут на Мадагаскарских островах. В цветоводстве латанией ошибочно называют веерolистную пальму (Livistona chinensis). Последняя распространена как комнатное декоративное растение.

[208]*«Всемирная иллюстрация»* — еженедельный иллюстрированный журнал (1869—1898).

[209]*Шассируя* — скользя. В бальном танце шассе (от фр. chasser — охотиться, гнаться за) — па, исполняемое с небольшим прыжком (или без него) и последующим скольжением по полу.

[210]*Честер*, или честерский сыр, — вид английского сыра.

[211]*Третьякова Ульяна Алексеевна* (1790 — ок. 1863) — купчиха 1-й гильдии и почетная потомственная гражданка, состояла в браке с Владимиром Николаевичем Третьяковым (1780—1847), купцом 1-й гильдии, мануфактур-советником, почетным гражданином; после его смерти возглавила фирму «В. Третьякова вдова с сыновьями», объединявшую ткацкие фабрики и торговлю.

[212]*Мазурин Митрофан Сергеевич* (1834—1880) — коммерции советник и кавалер, казначей благотворительного общества при временной городской больнице князя Л.И. Гагарина.

[213]Правильно — Александр.

[214]*Анна* Сергеевна (1836—1901) — жена купца 1-й гильдии Андрея Александровича Алексеева (1828—1881).

[215]*Варвара* Сергеевна была замужем за Алексеем Яковлевичем Прохоровым. В.Н. Харузина не упоминает еще одну внучку Ульяны Алексеевны — Елизавету Сергеевну Мазурину (1824—1860) — рано умершую жену Сергея Михайловича Третьякова.

[216]О семье Д.П. Боткина см.: Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1960. С. 84; Щукин П.И. Воспоминания. Ч. 3. СПб., 1912. С. 12.

[217]*Солдатенков* Козьма Терентьевич (1818—1901) — предприниматель, купец, коллекционер, издатель, действительный член Академии художеств. Свою картинную галерею (в основном русское искусство) и библиотеку завещал Румянцевскому музею. Много занимался благотворительностью. См. о нем: Толстяков А.П. Люди мысли и добра: Русские издатели К.Т. Солдатенков и Н.П. Поляков. М., 1984.

[218]*Боткин* Сергей Петрович (1832—1889) — врач-клиницист, академик, брат Д.П. и М.П. Боткиных. В 1862 г. организовал при Медико-хирургической академии клиническую лабораторию — первую в стране. С 1872 г. состоял в должности лейб-медика.

[219]*Николини* Эрнест (1834—?) — французский оперный певец (тенор). Дебютировал в 1857 г. Работал в итальянской труппе, выступая во всех столицах Европы. В 1877 г. имел громадный успех в Петербурге.

[220]*Нильсон* Кристина (1843—1921) — шведская артистка оперы (сопрано). В 1864 г. дебютировала в парижском «Театре лирик». Гастролировала в Америке, странах Скандинавии, Германии, Австрии, а также в России (в 1872—1885 гг.).

[221]Основу коллекции Д.П. Боткина, собиравшейся им с молодости, составила западноевропейская живопись, а также рисунки, акварели и пр. Позднее в коллекции появились и полотна русских живописцев, в том числе А.А. Иванова, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, В.Д. Поленова. Собрание Боткина размещалось в приобретенном им в 1867 г. и заново перестроенном архитектором А.С. Каминским доме на Покровке (ныне д. 27), о котором и пишет В.Н. Харузина. Картинная галерея Боткина являлась одной из московских достопримечательностей. Некоторые картины из собрания Д.П. Боткина ныне находятся в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

[222]*Царский день* — день коронации, принятия монархом символов власти, по указу Петра I (1721) отмечался как ежегодный праздник. Царскими днями называли также дни рождения царя и прочих особ царствующего дома.

[223]*Эсмеральда* — героиня романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

[224]*Ланг-де-ша* (фр. langue de chat) — кошачий язычок. *Челночок миньардиз* — станочек, используемый для плетения кружев.

[225]*Ступин* Алексей Дмитриевич (1846—1915) — московский издатель и книгопродавец. Его издательство, основанное в 1868 г., выпускало религиозную, художественную, справочную и учебную литературу. Издавал специальную серию книжек для детей «Библиотечка Ступина» (100 выпусков).

[226]Вероятно, имеется в виду Иван Григорьевич Зерченинов, служивший в 1860—1870-е гг. в Московском коммерческом суде и в Общем собрании Московских департаментов. Сведения о Сергее Григорьевиче Зерченинове не обнаружены.

[227]*Петровский парк в Сокольниках* — парк в северо-восточной части Москвы. Назывался Петровским, так как по инициативе Петра I был прорублен первый просек (ныне Майский), положивший начало лучевой планировке парка (7 лучевых просеков, идущих от центрального круга). С 1878 г. — городской общедоступный парк. Ныне парк культуры и отдыха «Сокольники».

[228]Новинским в XIX в. называлась местность между современным Новинским бульваром и берегом Москвы-реки. В XVIII — первой половине XIX в. здесь устраивались гулянья на «святой» неделе — с качелями, каруселями, балаганами, кабаками и пр., — собиравшие все слои москвичей. Еще до рождения В.Н. Харузиной в 1862—1863 гг. новинское (подновинское) гулянье в основном прекра-

тилось — в связи с ожидавшейся реконструкцией района. В 1877 г. был проложен Новинский бульвар, обсаженный липами.

[229]Еще в XVII в. в Вербную субботу на Красной площади устраивалось действо «Хождение на осляти», которое сменилось «вербными» гуляньями, приобретшими особый размах с 1863 г., когда сюда было частично перенесено новинское гулянье. Позднее к ним прибавились «вербные» базары.

[230]*Гастрономические магазины* купца Ефима Филипповича Генералова, впоследствии перешедшие к его сыну Константину, в 1880-е гг. находились на Тверской ул., на Лубянке (угол Газетного переулка) и на Арбате.

[231]*Кондитерская «Альберт»* находилась на Тверской ул. рядом с казенным домом московского генерал-губернатора (Тверская, 13).

[232]*Кондитерская* фирмы «*Сиу* и К°» на Тверской ул., основанная в 1884 г. Луи Павлом Сиу, славилась в Москве своим шоколадом и другими кондитерскими изделиями, приготовляемыми на фабрике той же фирмы.

[233]*Булочная* Ивана Михайловича *Филиппова* (1824—1878) находилась на Тверской ул. (д. 10); позднее перешла к его сыну — Дмитрию Ивановичу Филиппову, который в начале XX в. перестроил магазин, расширил пекарню и открыл ресторан (ныне ресторан «Центральный»).

[234]*Воскресенская площадь* — с 1918 г. площадь Революции.

Часть II

[1]Лютеранская церковь св. Петра и Павла была возведена в 1695 г. в Кирочном переулке в Немецкой слободе. При пожаре 1812 г. кирха пострадала, в 1818—1819 гг. была выстроена в центре города (Старосадский пер., 7). Современное здание церкви возведено на месте старого в 1903—1913 гг. Петропавловская кирха была самым значительным лютеранским сооружением в Москве и собирала большое число прихожан.

[2]Имеется в виду книга лютеранских богослужебных песнопений «Gesangbuch».

[3]«Die Gartenlaube. Illustriertes Familien blatt» («Садовая беседка. Иллюстрированный журнал для семейного чтения») был основан в 1853 г. в Лейпциге Э. Кайлем. После его смерти в 1884 г. перешел во владение А.Кренера (Штутгарт). Журнал в основном печатал поучительные статьи и легкие сентиментальные романы.

[4]*Марлитт* Евгения (наст. фамилия Йон) (1825—1887) — немецкая писательница. Автор мелодраматических и сентиментальных романов; в некоторых из них поднимаются социальные проблемы, связанные с женской эмансипацией и сословным неравенством; *Вернер* — псевдоним немецкой писательницы Елизаветы Бюрстенбиндер (1838—1918), писавшей мелодраматические романы. В 1873—1878 гг. в «Gartenlaube», когда его могла читать Юлия Андреевна, печатались романы Вернер «Glück auf!» («В добрый час», 1873),«Gesprengte Fesseln» («Разорванные оковы», 1874), «Vineta» («Винета», 1876), «Um hohen Preis» («За высшую

цену», 1878) и Марлитт «Die zweite Frau» («Вторая жена», 1874) и «Im Hause des Commerzienrathes» («В доме коммерции советника», 1876).

[5]До 1876 г. дом на Собачьей площадке принадлежал супругам Крестовниковым — Софье Юрьевне и Александру Константиновичу, попечителям Лефортовских женского и мужского училищ.

[6]То есть сшитых из нанки (от названия китайского г. Нанкин) — прочной хлопчатобумажной ткани, обычно буровато-желтого цвета.

[7]*Кречетниковский переулок* находился к западу от Собачьей площадки. В XVII в. здесь располагался царский Кречетный двор, где содержались кречеты для соколиной охоты царя Алексея Михайловича. Переулок был уничтожен при реконструкции района в начале 1960-х гг. Дом Харузиных находился приблизительно на месте современного дома № 40 по ул. Новый Арбат (магазин «Мелодия»).

[8]*Собачья площадка* — небольшая площадь в районе улиц Арбат и Большая Молчановка. Известна с XVII в.; возникла, по преданию, на месте Псарного, или Собачьего, двора для царской охоты. Уничтожена в начале 1960-х гг.

[9]*Бове* Осип (Иосиф) Иванович (1784—1834) — русский архитектор. После пожара 1812 г. был главным архитектором «фасадической части» Комиссии для строения Москвы. По его проектам в это время было построено много жилых домов.

[10]*Гри перль* (фр. gris perle) — жемчужно-серый цвет.

[11]*Бехштейновская рояль* — инструмент немецкой фирмы Бехштейн, основанной в Берлине в 1853 г. Карлом Бехштейном. На инструментах этой фирмы играли такие великие пианисты, как Ф. Лист, Г. Бюлов и А.Г. Рубинштейн.

[12]*Филодендрон* — род растений семейства ароидных. Лианы, лазящие при помощи воздушных корней. Как декоративное растение выращивают филодендрон лазящий.

[13]*Пандану*с или пандан (Pandanus) — род однодольных растений семейства пандановых. Древовидные растения с разветвленными стволами. От нижней части стволов и от ветвей отходят придаточные корни. Нижняя часть ствола иногда отмирает, и растение держится на этих корнях, как на ходулях. В качестве декоративного растения выращивают панданус полезный и некоторые другие виды.

[14]*Кинтия*, правильно: кентия или кенция — устаревшее название некоторых растений семейства пальм. В частности, так называли распространенные в декоративном садоводстве виды рода ховея — высокие стройные пальмы с перистыми листьями.

[15]*Багет* — узкая полированная планка, к которой прибивали занавеси.

[16]То есть галун из узорчатой тесьмы (от фр. passement — галун, тесьма), вырабатываемой плетением.

[17]*Севрские вазы* изготовлялись на фарфоровом заводе в г. Севр, близ Парижа; обычно отличались яркой, сочной росписью.

[18]*Ватто* Жан-Антуан (1684—1721) — французский живописец и рисовальщик. Его театральные сцены и так называемые «галантные празднества» окрашены

тонким лирическим чувством, изящной выразительностью поз, трепетной игрой нежных цветовых сочетаний.

[19]*Сонетка* (фр. sonnette) — комнатный звонок, приводимый в действие шнурком.

[20]*Баккара* (фр. baccarat) — изделия из хрусталя, производившиеся с 1816 г. во французском г. Баккара.

[21]*Шкап буль* — название происходит от имени французского мебельщика-краснодеревщика времен Людовика XIV Андре Шарля Буля, украшавшего строгую по формам мебель мозаичным узором из дерева разных пород, меди, бронзы, олова, слоновой кости, перламутра и т.д. Подражания работам Буля (так называемый стиль буль) были распространены в XIX в. во всех европейских странах.

[22]*Бисквит* (фр. bisquit) — не покрытый глазурью фарфор. С середины XVIII в. из бисквита выполняли настольные скульптурные фигуры.

[23]*Лоно Авраамово* — образное выражение времен Иисуса Христа для обозначения местопребывания умерших праведников. По иудейским представлениям, на лоне Авраамовом покоились Енох, Илия и Моисей.

[24]*Прохоровская фабрика* — текстильная фабрика «Трехгорная мануфактура», основанная в 1799 г. В.И. Прохоровым.

[25]Речь идет о персонажах произведений американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851). *Следопыт* — одно из имен Натти Бумпо, героя пяти романов: «Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт», «Зверобой»; *Красный морской разбойник* — герой романа «Красный корсар»; *Браво* — герой романа «Браво»; *Шпион* — герой романа «Шпион».

[26]Церковь Николая Чудотворца на Песках (Б. Николопесковский пер., 6) была построена в XVII в., перестраивалась во 2-й пол. 1810-х гг. Разрушена в 1932 г., сейчас на ее месте жилой дом.

[27]Свеча, с которой прихожанин отстоял вечерню в церкви в страстной четверг (в последнюю седьмую, страстную неделю Великого поста перед Пасхой), когда читают 12 страстных Евангелий, считалась «чистой» свечой, приобретала святость. Из церкви ее надо было донести до дому так, чтобы она не погасла.

[28]*Соборование*, или елеосвящение, — одно из семи таинств, по учению православной церкви, служащее духовным врачеванием для телесных и духовных недугов, а также дарующее болящему оставление тех грехов, в которых он не успел раскаяться. По правилам православной церкви, елеосвящение может совершаться только над больным, не лишившимся еще сознания, после приготовления через покаяние. Веществом для елеосвящения служит оливковое масло с некоторым количеством вина. Совершать его положено собором семи священников (почему его и называют соборованием), но в случае необходимости разрешается и одному священнику. В народе существовали многочисленные суеверия относительно этого таинства. Соборование воспринималось как второе крещение

человека, очищаемого от грехов перед переходом в мир иной, и если больной не умирал, то он как бы не принадлежал уже и этому, земному миру. Часто соборовавшиеся и выздоровевшие люди принимали другое имя и отходили от мирской жизни. Принимающий елеосвящение зачастую давал обет, например, воздерживаться в дальнейшем от супружеского сожития и т.п., так что священникам даже предписывалось внушать прихожанам, что с соборованием не соединяются никакие обеты. Эти суеверия существовали, несомненно, и в купеческой среде, и не случайно, что тетя Александра Ивановна после своего выздоровления отказалась от поездок в театр и, по словам Веры, «положила начало постепенному отрешению от мирской жизни» (см. ниже).

[29]Комитет *«Христианская помощь»* российского общества Красного Креста (создан в 1879 г.) располагался в Борисоглебском переулке. При нем находился Александровский приют для неизлечимо больных и калек всех сословий, а на Собачьей площадке — бесплатная лечебница имени князя Владимира Андреевича Долгорукова.

[30]*Церковь Спаса* Преображения *на Песках* (Спасопесковский пер., 4а) построена в 1698—1711 гг.

[31]Татарским, или *казанским, мылом* называлась мыльнянка, сапонария (Saponaria) — род травянистых растений семейства гвоздичных. Вероятно, речь идет о корнях мыльнянки лекарственной, богатых сапонинами (органические вещества, придающие растворам способность пениться), которые использовались вместо мыла.

[32]*Сажень* — мера длины, равная 2,14 м.

[33]*Вершок* — мера длины, равная 4,45 см.

[34]*Льезон* (фр. liaison — соединение, сцепление) — раствор, вливаемый в супы, соусы и тому подобное для придания им густоты. В творог для пасхи обычно вмешивали соединенные вместе яйца, сливочное масло, сметану или сливки.

[35]*Виктория* (Victoria) — сорт земляники садовой, популярный в XIX в.

[36]*Болотом* в XV—XIX вв. называлась низменная местность в Замоскворечье напротив Кремлевского холма, между правым берегом Москвы-реки и ее старицей. Весной она нередко заполнялась паводковыми водами и заболачивалась. После постройки Водоотводного канала в конце XVIII в. Болото было застроено жилыми домами и лавками купцов. Образовавшаяся площадь в 1845 г. получила название Болотной, здесь во 2-й половине XIX в. был главный фруктовый и овощной рынок Москвы.

[37]*Пти фур* (фр. petit four) — разновидность печенья.

[38]*Повойник* — головной убор замужней женщины, чепец или платок.

[39]То есть из канауса — ткани из шелка-сырца, т.е. неотбеленной и некрученой пряжи.

[40]*Центифольные розы* относятся к парниковым розам — группе листопадных кустарников, используемых в декоративном садоводстве.

[41]*Летники*, или однолетники — растения, которые за один сезон прорастают из семян, развиваются, цветут, дают семена и погибают.

[42]*Болотный касатик* (Iris pseudacorus) — дикорастущий ирис с желтыми цветками, распространен по берегам водоемов и болотистым лугам.

[43]*Петровым крестом* называли обычно ладьян трехнадрезный (Carallorrhiza innata). Свое название он получил по форме корневища, напоминавшей крест. По поверьям, он ограждал от несчастий и болезней, мог сделать удачным всякое предприятие.

[44]*Плакун-трава*, или дербенник иволистный (Lythrum salicaria), растет по влажным лугам, берегам водоемов. Кроме болезней этой травой лечили «тоску», порчу, кликушество, избавляли от злой силы. Название связано с тем, что, согласно народным представлениям, это растение «заставляет плакать нечистых духов» (*Лепехин И.И.* Дневные записки путешествия... по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. СПб., 1795. С. 73).

[45]Сквер с фонтаном на Собачьей площадке был устроен в 1910 г. на средства М.А. Хомяковой — дочери А.С. Хомякова.

[46]На Собачьей площадке жил Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — публицист, философ и общественный деятель. У Хомякова бывали Н.В. Гоголь, братья И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.И. Кошелев, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, П.Я. Чаадаев, М.П. Погодин, Н.М. Языков.

[47]Имеется в виду Бытовой музей 40-х годов XIX в., размещавшийся в 1920—1929 гг. в особняке Хомякова (Собачья площадка, д. 7). Целью музея было «дать исчерпывающе полное представление об укладе жизни круга московской интеллигенции на заре освобождения крестьян» (Музеи и достопримечательности Москвы: Путеводитель. М., 1928. С. 170). Музей был создан на основе материалов дома Хомякова, дополненных экспонатами из хранилищ государственного музейного фонда (о музее см.: Шапошников Б.В. Бытовой музей сороковых годов. Путеводитель. Изд. 4-е. М., 1928; Николаев Е.В. Классическая Москва. М., 1975. С. 216—228). С 1930 г. здание занимали классы Музыкальной школы и техникума им. Гнесиных.

[48]Речь идет о доме А.А. Ренкевича, где жил друг Пушкина С.А. Соболевский. Возвратясь из поездки в Михайловское, Пушкин поселился на квартире Соболевского и прожил здесь с 19 декабря 1826 г. по 19 мая 1827 г. Посетив этот дом спустя 40 лет после пребывания в нем Пушкина, Соболевский писал М.П. Погодину: «Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; сравнялись с углом ее — я показал товарищу дом Ренкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин. Сравнялись с прорубленною мною дверью в переулок — видим на ней вывеску: продажа вина и проч. — Sic transit gloria mundi!!! Стой, кучер. Вылезли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла

кровать его <...>. Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, вы, я и другие мужи, вот где болталось, смеялось и говорилось умно!!! В другой стране у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: здесь жил Пушкин, — и в углу бы написали: здесь спал Пушкин! — и так далее» (Цит. по: Волович Н.М. Пушкинская Москва. М., 1996. С. 200. См. также: Анциферов Н. Москва Пушкина. М., 1950. С. 40—41).

[49]*Всенощная*, или всенощное бдение, — церковное богослужение, совершаемое на воскресные дни и великие праздники и, по уставу церкви, продолжающееся всю ночь. Но уже в XIX в. всенощную служили сокращенно, без чтения писаний отцов церкви, и она заканчивалась вечером. В строгом смысле, т.е. с вечера и всю ночь, всенощное бдение совершалось только в монастырях строгого устава.

[50]В Арбатской части Москвы в 1870—1880-х гг. было более десятка церквей. В непосредственной близости к дому Харузиных помимо упомянутых выше церквей Спаса Преображения на Песках и св. Николая Чудотворца на Песках, находились церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кречетниках (угол Новинского бульвара и Кречетниковского пер.), церковь Николая Чудотворца Явленного, что на Арбате (Арбат, 16, на углу Серебряного пер.), церковь Николая Чудотворца на Курьих ножках (угол Б. Молчановки и Б. Ржевского пер.), церковь в честь ржевской иконы Божией Матери (угол Поварской и Б. Ржевского пер.), церковь святых Бориса и Глеба (Поварская ул., 30—36, напротив Борисоглебского переулка).

[51]В московской архитектуре ампир получил широкое распространение в процессе восстановления и реконструкции города после пожара 1812 г. В стиле ампир построены Большой театр, Манеж, Провиантские склады и др. Однако облик «ампирной» Москвы определяют главным образом особняки и городские усадьбы, построенные по проектам О.И. Бове, А.Г. Григорьева, Д.И. Жилярди и др. Своеобразие московского ампира определило найденное зодчими гармоничное сочетание монументальности, аскетизма, лапидарности декора (в основном военная эмблематика), выражающих идею величия Российской империи, с особенностями архитектурного пространства города, диктуемыми патриархальным бытом, культом частной жизни.

[52]*Боры* — сборки по талии.

[53]*Савояр* — житель французской провинции Савойя; в Западной Европе так называли уличных музыкантов.

[54]Соседями Харузиных в Замоскворечье были семьи купцов 1-й гильдии Константина Евграфовича Грачева, торговца мануфактурным товаром, Ивана Артемьевича Лямина (1822—1894), снабжавшего миткалем Прохоровскую мануфактуру и торговавшего хлопчатобумажным, шерстяным и красильным товаром, Конона Никоновича Голофтеева, который торговал модным дамским товаром (фирма «К. Голофтеев с сыном и П. Рахманин»), и Дмитрия Семеновича Лепешкина, владельца бумагопрядильной, ткацкой, отбельной, красильной и отделочной фаб-

рики в Дмитровском уезде и фирмы «Семена Лепешкина сыновья», занимавшейся продажей бумажной пряжи и коленкора.

[55]В доме на Собачьей площадке в Серебряном переулке проживал Владимир Михайлович Пржевальский – присяжный поверенный округа Московской судебной палаты.

[56]В Серебряном переулке в доме Шукова жил надворный советник Казимир Викентьевич Гриневский, архитектор строительного отделения Московского губернского правления.

[57]В 1870-х гг. на Большой Молчановке, в доме Лопухиной, жил действительный статский советник князь Николай Петрович Трубецкой, почетный мировой судья Московского столичного съезда мировых судей, попечитель Арбатского женского начального училища, один из директоров Московского отделения Императорского русского музыкального общества.

[58]*Хомяков* Николай Алексеевич (1850–1925) – сын А.С. Хомякова. Директор департамента Министерства земледелия (1896–1902). Член II, председатель III Государственной думы (1907–1910). Один из основателей «Союза 17 октября».

[59] Александр III царствовал в 1881–1894 гг.

[60]Вероятно, речь идет о приюте при Обществе вспомоществования гувернанткам, домашним учительницам и воспитательницам, которое находилось на Лубянке. В это же время существовал и приют для гувернанток при Маросейско-Усачевском богадельном доме, но он находился на Маросейке.

[61]*Макассарское масло* (по г. Макассар в Индонезии) – средство по уходу за волосами, смесь прованского масла с красной краской.

[62]оригинальность, индивидуальность (*англ.*)

[63]Джордж *Кетлин* (1796–1872) – североамериканский путешественник и художник. Написал несколько книг об индейцах, в частности «Illustrations of the manners, customs and condition of the North American Indians» («Иллюстрации нравов, обычаев и общественного положения североамериканских индейцев»; London, 1841) и «Last rambles among Indians. Rocky Mountains and Ands» («Последние поездки среди индейцев. Скалистые горы и Анды»; London, 1867). В русском переводе обе книги вышли в серии «Библиотека путешествий» вместе с книгой Перрона Дарка «У австралийских дикарей» под общим заголовком «Среди дикарей» (СПб., 1876).

[64]*Литания* – молитва у католиков и англикан; состоит из ряда воззваний или прошений.

[65]Согласно догмату о безошибочности папы (утвержден I Ватиканским собором 1869–1870 гг., подтвержден II Ватиканским собором 1962–1965 гг.), Римский Первосвященник в силу Божией помощи, обещанной ему апостолом Петром, обладает безошибочностью, когда говорит ex cathedra, т.е. исполняет служение пастыря всех христиан, и своей верховной апостольской властью определяет учение в области веры и нравов, обязательное для всей церкви.

[66]*Индульгенция* (от лат. indulgentia — милость) — отмена или облегчение временной кары за грехи, прощенные на исповеди, а также папские грамоты, свидетельствующие об этом.

[67]Со времени папы Иннокентия III (папа с 1198 по 1216 г.) католическая церковь воспрещает чтение Библии мирянам, чтобы не пробуждать в простых людях духа исследования и критицизма.

[68]В католицизме Сердце Иисусово — символ надежды на спасение. Культ Сердца Иисусова — одна из специфических форм католического богопочитания. Первые сведения о нем относятся к XI—XII вв. В 1765 г. папа Клемент XIII утвердил праздник Сердца Иисусова.

[69]*Церковь св. Людовика* (Малая Лубянка, 12) возведена на месте прежнего, деревянного, костела в 1827—1830 гг. по проекту, приписываемому Д.И. и А.О. Жилярди.

[70]Первое причастие у католиков — торжественный обряд первой преподачи таинств святого причастия, которое дается только достигшим семилетнего возраста. Первому причастию обязательно предшествует катехизация (обучение христианской вере).

[71]В православной церкви младенцы (дети до 7 лет) допускаются к причастию, т.е. принятию Святых Таин, без исповеди, а с 7 лет только после исповеди с разрешения священника.

[72]Имеется в виду картина И.Е. Репина «Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трех невинно осужденных» (1888), которая хранится сейчас в Государственном Русском музее.

[73] Мф. 15:8.

[74]В.Н. Харузина в 1892—1893 гг. слушала в Париже курсы по этнографии, истории семьи, религии и церкви.

[75]*П.Д. Писарев* закончил историко-филологический факультет Московского университета со званием действительного студента (1870). С 1870 по 1877 г. был последовательно воспитателем в военной гимназии, главным надзирателем при лицее Цесаревича Николая, преподавателем и воспитателем при пансионе 1-й московской мужской гимназии. С 1877 г. более двадцати лет преподавал латинский и русский языки в 4-й московской мужской гимназии.

[76]Мф. 18:6.

[77]4-я московская гимназия была открыта при Московском дворянском институте в 1849 г. В 1870—1880-е гг., когда там учился Коля Харузин (он закончил ее в 1885 г.), в гимназии было 7 классов (в седьмом учились два года) и приготовительный класс. Ученики изучали закон Божий, русский язык с церковно-славянским, краткие основания логики, латинский, греческий, математику (с физикой, математической географией и кратким естествознанием), географию, историю, французский язык и чистописание. Занятия начинались в 9 часов утра и заканчивались в 14.30; ежедневно было 5 уроков по 55 минут с 5—10-минутны-

ми переменами и получасовым перерывом на завтрак после третьего урока. Желающие могли после уроков заниматься хоровым пением и гимнастикой. Многие учителя гимназии совмещали преподавание с научной работой. Русский язык и словесность с 1870 по 1884 г. преподавал Платон Андреевич Кулаковский, специалист по славянской литературе, написавший магистерскую диссертацию о Вуке Караджиче (1882) и докторскую по иллиризму (1894). После 1884 г. в звании ординарного профессора он читал лекции в Варшавском университете. Латинский язык преподавал Яков Иванович Кремер, доктор философии, выпускник Гентского университета, греческий — Петр Петрович Копосов, переводивший «Апологию Сократа» Платона (1875), историю — Виктор Михайлович Михайловский, выпускник Киевского университета, опубликовавший несколько работ на разные исторические темы (в том числе и по шаманизму).

[78]Плата за учение в 4-й гимназии в 1870—1890-е гг. составляла от 30 до 70 рублей в год.

[79]4-я мужская гимназия первоначально находилась в доме Пашкова (Моховая ул., 20). В 1861 г. она была перемещена в дом Апраксиных-Трубецких («дом-комод», Покровка, 22), построенный неизвестным архитектором школы Растрелли в 1766—1769 гг. Дом с примыкающими к нему флигелями имеет сложный объем с выпукло-вогнутой формой фасадов. Изогнутые, пластичные формы характерны также для архитектурных деталей дома, его богатого лепного декора.

[80]4-я женская гимназия переехала с Поварской в Мерзляковский переулок в дом Немчинова в 1876 г., а на Садовую-Кудринскую — в 1888 г.

[81]Святки продолжаются 12 дней — с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января, с Рождества до Крещения. По народной традиции они сопровождались гаданиями, пением, переодеванием и плясками.

[82]*Подблюдными песнями* сопровождались некоторые святочные гадания, например «метание кольца»: желающие узнать будущее клали свои кольца в блюдо или шапку, которые затем накрывали платком. Над блюдом пели особые песни и наугад вынимали из него одно из колец. Содержание песни предсказывало судьбу той, чье кольцо было вынуто.

[83]*Андроньев монастырь* — мужской общежительный монастырь на левом берегу Яузы, близ одной из Поклонных гор (Андроньевская пл., 10). Основан в 1357 г. Назван по имени первого игумена — Андроника, ученика Сергия Радонежского.

[84]*Ритурнель* (фр. ritournelle) — вступительный и заключительный отыгрыши в танце.

[85]*Цветков Алексей* Дмитриевич — в 1877 г. священник церкви Иоанна Предтечи в Кречетниках, а также законоучитель Пречистенского городского начального училища.

[86]Возможно, речь идет об одном из директоров Московского купеческого банка, члене правления Общества попечения о бедных и бесприютных детях (1900) Николае Алексеевиче Цветкове.

[87]Прохоров *Алексей Яковлевич* (1847—1888) — сын Я.В. Прохорова. После смерти отца вместе с братом И.Я. Прохоровым был владельцем Трехгорной мануфактуры.

[88]А.А. Прохорова (1840—1909), дочь московского городского головы А.В. Алексеева, во время русско-японской войны заведовала большим лазаретом и питательным пунктом, устроенным Прохоровыми для раненых. Она же была там представителем Красного Креста.

[89]Сыновья И.Я. и А.А. Прохоровых Сергей (1858—1899) и Николай (1860—1915) продолжали дело отца. Дочери Прохоровых — Любовь (1857—1881), Анисия (1861—1912?), Варвара (1864—?) и Екатерина (1866—1911). Анисия была замужем за Александром Ивановичем Алехиным, членом IV Государственной думы, членом правления Прохоровской фабрики. Мать чемпиона мира по шахматам А.А. Алехина. Екатерина — скульптор. Была замужем за ректором Петербургской Академии художеств Владимиром Александровичем Беклемишевым; их дочь Клеопатра также стала известным скульптором.

[90]*А.К. Кардасевич* (правильно — Кордасевич) по окончании историко-филологического факультета Варшавского университета с 1875 по 1882 г. преподавал латинский язык в 4-й московской гимназии.

[91]*С.Ф. Роженковский* (правильно — Рожанковский) окончил историко-филологический факультет Варшавского университета. С 1875 по 1884 г. преподавал древние языки во 2-й московской гимназии. С 1884 г. — преподаватель кишиневской гимназии.

[92]Под «братушками» имеются в виду западные и южные славяне. Словосочетание «братья-славяне» получило широкое употребление накануне русско-турецкой войны 1877—1878 гг., после речи Александра II 29 октября 1876 г., в которой он назвал находившихся под игом Турции славян «нашими братьями по вере и происхождению». Вскоре это выражение стало употребляться и иронически. (См.: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1983. Т. 25. С. 215, 441).

[93]*А.Р. Артемьев* (1842—1914) — актер. Родился в семье крепостного крестьянина в Рязанской губернии. После окончания в 1878 г. Московского училища живописи, ваяния и зодчества в течение 25 лет работал учителем рисования и чистописания. В начале 1880-х гг. стал выступать в любительских спектаклях. Играл на сцене МХТ со дня его основания в 1898 г. Артем был любимым актером А.П. Чехова (специально для него были написаны роли Чебутыкина в «Трех сестрах» и Фирса в «Вишневом саде»).

[94]*Бакфиш* (нем. Backfish) — печеная рыба.

[95]*Пеналькрете* (возможно, фр. peignal crete) — зубчатый-гребенчатый.

[96]*Хопсфрейлейн* (нем. Hopsfraulein) — скачущая девушка.

[97]*Витцы* (от нем. Witz) — шутки.

[98]*«Верба»*, Вербный торг — весенний базар на Красной площади в Лазареву субботу и Вербное воскресенье. Возник в XVIII в., с началом строительства Ис-

торического музея (1875) был переведен на Смоленский рынок. После 1917 г. прекратил свое существование.

[99]Речь идет о книге «Жизнь греков и римлян» (Guhl E., Koner W. Das Leben der Griechen und Römer. Berlin. 1862). Книга была переведена на многие языки. Эрнст-Карл *Гуль* (1816—1862) — немецкий писатель, автор книг по истории искусства, профессор Академии художеств и университета в Берлине. Вильгельм *Конер* (1817—1887) — немецкий археолог, географ и библиограф. Служил библиотекарем в Берлинском университете.

[100]Манифест о предстоящем в мае 1883 г. короновании и миропомазании императора Александра Александровича и императрицы Марии Федоровны был издан 24 января 1883 г. Александр III с Марией Федоровной прибыли в Москву 10 мая. 12, 13 и 14 мая были посвящены торжественному объявлению о коронации. По улицам двигалась конная процессия, в которой находились, помимо прочих участников, герольды с жезлами и в особой одежде. По прочтении манифеста о коронации герольды раздавали его печатные экземпляры и памятные жетоны. Коронация состоялась 15 мая в Успенском соборе Кремля.

[101]М.М. Панов впоследствии (1890—1895) был преподавателем немецкого языка в 5-й московской гимназии и в реальном училище Хайновского.

[102]Имеется в виду Новоекатерининская больница (Страстной бул., 15/29). Открыта в 1833 г. Сейчас здесь находится 24-я городская клиническая больница.

[103]Вероятно, речь идет о Борисоглебском-Аносине монастыре (женский общежительный монастырь 3-го класса), который находился при селе Аносине на берегу Истры, в 15 верстах от Звенигорода. Основан в 1820 г.

[104]«*Конек-Горбунок*, или Царь-Девица» — балет Ц. Пуни, либретто А. Сен-Леона (по сказке П.П. Ершова). Первая постановка в Москве была осуществлена в 1866 г.

[105]*Платье принцесс* — платье покроя, приталенного под грудью.

[106]*Требелли* Беттини (настоящие имя и фамилия — Глория Каролина Жильбер) (1838—1892) — французская певица (меццо-сопрано). Училась пению у П.Вартеля. Дебютировала на оперной сцене в сезон 1858—1859 гг. в Мадриде. До 1889 г. выступала в оперных театрах Европы (в том числе в России) и Америки.

[107]*Вольпини* Эмили (1841—?) — итальянская певица (сопрано). Дебютировала в 1861 г. В 1863 г. была приглашена в итальянскую труппу в Санкт-Петербурге, где имела большой успех. Гастролировала в Стокгольме, Копенгагене, Лондоне, Гамбурге, Барселоне. В 1873 г. выступала в Петербурге, в 1874 и 1876 гг. — в Москве.

[108]*Патти* Аделина (1843—1919) — итальянская певица (колоратурное сопрано). Начала выступать в семилетнем возрасте в Нью-Йорке. В 1869—1877 гг. неоднократно пела в России.

[109]*Г.Н. Федотова* (Позднякова) (1846—1925) — русская актриса. На сцене Малого театра выступала с 1858 г.

[110]*Оршад* (фр. orgeat) — прохладительный напиток из сладкой воды с мелко толченым миндалем.

[111]«Линда ди Шамуни» — опера Г. Доницетти, либретто Росси. Впервые поставлена в 1842 г. в Вене.

[112]Сцена из оперы Дж. Верди «Аида», либретто А. Гисланцони по сценарию О.Ф. Мариета. В России опера целиком впервые поставлена итальянской труппой в 1875 г. в Петербурге.

[113]*«Бедность не порок»* — пьеса А.Н. Островского (1853; первая постановка в 1854 г.).

[114]*Вильде* Николай Евстафьевич (Карл Густавович) (1832—1896) — актер и драматург. В Малом театре выступал с 1863 по 1888 г.

[115]Речь идет о драме Шпажинского «Майорша» (поставлена в Москве в ноябре 1878 г.; спектакль шел до октября 1880 г.), комедии А.Н. Островского и Н.Я. Соловьева «Дикарка» (премьера — в ноябре 1879 г., шла до сентября 1881 г.) и драме Н.А. Потехина «Мертвая петля» (в репертуаре — с ноября 1875 по октябрь 1876 г.). Действие всех пьес закручено вокруг любовных страстей героев.

[116]*Никулина* Надежда Алексеевна (по мужу Дмитриева) (1845—1923) — актриса. Начала выступать на сцене Малого театра, еще будучи воспитанницей Московского театрального училища (с 1859 г.) В молодости играла резвушек, плутовок, служанок. А.Н. Островский считал ее лучшей «блестящей ingenue» и специально для нее написал ряд ролей. В 1880-х гг. она перешла к характерным ролям пожилых женщин.

[117]*Ленский* (настоящая фамилия Вервициотти) Александр Павлович (1847—1908) — актер и режиссер, театральный педагог. В Малом театре выступал с 1876 г., с 1907 г. — главный режиссер Малого театра.

[118]*Акимова* (Ребристова) Софья Павловна (1824—1889) — актриса. В 1846 г. дебютировала на сцене Малого театра и играла в нем до конца жизни. Была блестящей исполнительницей ролей комических старух.

[119]*«Славянский базар»* (Никольская, 17) включал гостиницу, ресторан и концертный зал. Зал для концертов назывался *«Русской палатой»* или «Беседой» (1872, архитекторы А.Л. Гун и П.Е. Кудрявцев), его интерьер был выдержан в русском стиле. Концерты и увеселительные собрания устраивались там почти ежедневно. Ресторан был построен в 1873 г. (архитектор А.Е. Вебер).

[120]*Лентовский* Михаил Валентинович (1843—1906) — антрепренер, актер, театральный деятель. С 1871 по 1878 г. работал в Малом театре, исполнял роли в опереттах, играл «рубашечных героев» — людей из народа. Одновременно выступал на клубных сценах с злободневными куплетами.

[121]*При фикс* (фр. prix fixe) — твердая цена.

[122]*Ротонда* — длинная женская накидка без рукавов с прорезями для рук.

[123]«Освобожденный Иерусалим» (1580) — героическая поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595).

[124]*Новодевичий монастырь* — женский необщежительный монастырь, расположенный на берегу Москвы-реки против Воробьевых гор близ Девичьего поля (Новодевичий проезд, 1). Основан в 1524 г.

[125]Речь идет о Девичьем поле — историчсской местности на юго-западе Москвы, части огромного поля, простиравшегося от ул. Плющихи и Зубовской ул. до Новодевичьего монастыря. В XIX в. Девичье поле было местом гуляний москвичей. В 1864 г. сюда было перснесено знаменитое Подновинское гулянье, устраивавшееся на масленичной и пасхальной неделях. Стало застраиваться с конца XIX в.

[126]По-видимому, имеются в виду большие земельные владения купцов Ганешиных — владельцев текстильной фабрики, располагавшиеся в районе современных Погодинской улицы, Большого и Малого Саввинских переулков (последний в конце XIX — начале XX в. назывался Ганешинским переулком).

[127]*Ржановская крепость*, Ржанов дом (1-й Смоленский пер., 11/27) — ночлежный дом, московская трущоба; два трехэтажных дома с надворными постройками на углу Проточного и Никольского (ныне 1-й Смоленский) переулков. Свое название получила по фамилии домовладельца Ржанова. В январе 1882 г. здесь проводил перепись Л.Н. Толстой, описавший свои посещения Ржанова дома в статье «Так что же нам делать?». В частности, он писал: «На Проточный переулок выходят двое ворот и нескольких дверей: трактира, кабака и нескольких съестных и других лавочек. Это — самая Ржанова крепость. Все здесь серо, грязно, вонюче — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые» (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. М., 1937. Т. 25. С. 197). В Ржанов дом попадает и герой пьесы Толстого «Живой труп» Федор Протасов. Ржанова крепость оставалась прибежищем для московской бедноты, нищих и бездомных до 1925—1926 гг. Жизнь этого района описана И. Эренбургом в романе «В Проточном переулке» (1927).

[128]Речь идет о книге, написанной немецкой писательницей Идой Дюрингсфельд (1815—1876) совместно с мужем Отто фон Рейнсбергом-Дюрингсфельдом: Hochzeitsbuch. Brauch und Glaube der Hochzeit bei den Christlichen Volkern Europa's. (Свадебная книга. Обычай и верования свадьбы у христианских народов Европы). Leipzig, 1871.

[129]См.: Альбом 200-летнего юбилея императора Петра Великого. 1672—1872. СПб., 1872. Рисунки исполнены художниками «Всемирной иллюстрации». Текст П.Н. Петрова и С.Н. Шубинского. (Хранится в библиотеке Харузиных в Отделе редких книг МГУ.)

[130]Имеется в виду картина немецкого художника французского происхождения К.К. Штейбена (1788—1856) «Петр Великий на Ладожском озере». Оригинала картины в России нет. Она была известна по репродукциям и копиям. В «Альбоме 200-летнего юбилея Петра Великого», который рассматривали Вера и Коля, есть копия с этой картины (рис. на дер. Н.С. Негадаев, грав. Л.А. Серяков, с. 61).

[131] Правильно этот последний стих притчи о десяти девах (Мф. 25:1—13) звучит так: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий».

Часть III

[1]Не совсем точно цитируется стихотворение А.Н. Майкова, написанное в 1854 г.

[2]*Икона Смоленской Божьей Матери* — Смоленская икона Божией Матери (Одигитрия, то есть Путеводительница). По преданию, написана евангелистом Лукой. В 1046 г. была перенесена из Иерусалима в Константинополь. Согласно легенде, император Константин Порфирородный благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая ее замуж за черниговского князя Всеволода Ярославича. Сын последнего, Владимир Мономах, перенес ее в Смоленск и поставил в соборе Успения Богоматери, после чего икона стала называться Смоленской. Смоленская Одигитрия — одна из наиболее почитаемых икон этого типа на Руси.

[3]*Триумфальные ворота* — деревянная Триумфальная арка на площади Тверской заставы (ныне площадь Белорусского вокзала) была сооружена в 1814 г. к торжественной встрече русских войск, возвращавшихся после победы над Наполеоном. В 1827—1834 гг. на ее месте была построена каменная Триумфальная арка (архитектор О.И. Бове, скульпторы И.П. Витали и И.Т. Тимофеев). В 1936 г. в ходе реконструкции площади она была разобрана; восстановлена в 1966—1968 гг. на Кутузовском проспекте.

[4]*Петровский* дворец построен в 1776—1783 гг. архитектором М.Ф. Казаковым на месте сельца Петровского. Классицистическая в своей основе композиция дворца сочетается с деталями древнерусской архитектуры и псевдоготики. Сейчас это одно из зданий Военно-воздушной академии им. Жуковского.

[5]*Село Спасское* располагалось юго-западнее Тушина на левом берегу реки Москвы (ныне с. Спас). Находившаяся неподалеку отлогая возвышенность, называемая Старой горой, образовывала гористый берег над Москвой-рекой. Здесь находилась шатровая церковь Спаса Преображения. В 1885 г. церковь была разобрана за ветхостью, а в 1886—1888 г. сооружен новый храм Спаса Преображения в Спас-Тушине (Волоколамское шоссе, 128).

[6]В с. Тушино (известно под этим названием с конца XIV в.) в 1608—1610 гг. находился Тушинский лагерь — укрепленная резиденция, «столица» Лжедмитрия II, имевшего прозвище *Тушинский вор*, и его правительства. Отсюда Лжедмитрий II вел осаду Москвы, в которой находился царь Василий IV (Шуйский).

[7]Фамилию *князей Грузинских* носили потомки грузинских царей: Бакара Вахтанговича (ум. в 1750), выехавшего в Россию в 1724 г., и последнего царя Грузии Георгия XII (1746—1800).

[8]День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из «двунадесятых» (переходящих) православных церковных праздников, отмечается на 50-й день от Пасхи.

В русской народной традиции праздник Троицы связывался с проводами весны и встречей лета. В этот день храмы и дома издавна принято было украшать березовыми ветвями и цветами.

[9]*Фрауенмантель* (Alchemilla) — манжетка. Род многолетних трав семейства розовых. Цветки мелкие, зеленоватые или желтоватые, собранные в щитковидно-метельчатое соцветие.

[10]*Вероника* — род растений семейства норичниковых. Одно-, дву- или многолетние травы, иногда полукустарнички. Венчик голубой, синий или белый.

[11]Речь идет о Каменной кладовой над оврагом, представлявшей собой двухэтажный служебный флигель конца XVII в. Первый этаж был выстроен из кирпича и в средней части прорезан аркой. Деревянный верх венчался башней, разобранной при частичной перестройке флигеля в начале XIX в. Судя по описанию В.Н. Харузиной, в ее время башня была восстановлена. Согласно путеводителю по Архангельскому 1928 г., башня над аркой опять была разрушена, от скульптур у входа оставались лишь фрагменты (Торопов С.А. Архангельское. М., 1928. С. 55). Сейчас башня восстановлена.

[12]Скульптуры, аллегорически изображающие страны света (Америку, Азию, Европу и Африку), в настоящее время находятся на лестницах, спускающихся с нижней террасы в партер.

[13]Вероятно, имеется в виду венецианское окно, или окно палладио (по имени итальянского архитектора XVI в. Андреа Палладио), — трехчастное окно с аркой над средней частью.

[14]*Кариопсис*, правильно кореопсис — род растений семейства сложноцветных. Обильно цветущие растения с крупными цветками на длинных стеблях. Цветовая гамма — от желтого до коричневого.

[15]*Бархотки* — имеются в виду бархатцы, или тагетес (Tagetes).

[16]Возможно, речь идет о гелиопсисе, растении около 1 м. высотой с крупными желтыми цветками 8—9 см в диаметре, с терпким запахом.

[17]Имеется в виду сказка Г.Х. Андерсена «Бузинная матушка» («Hyldemoer», 1848). На русский язык переводилась также под заглавиями «Бабушка-бузина», «Бабушка липовый цвет», «Бузина», «Бузинная старушка».

[18]*Гречник*, грешневик, или черепенник, — валянная из овечьей шерсти коричневая шляпа. По форме походила на пирог из гречневой муки («грешник», как его называли в Москве), продававшийся во время поста и представлявший из себя обжаренный со всех сторон столбик, у которого один конец был уже другого. Типичный головной убор русских крестьян.

[19]Вероятно, клен явор (Acer pseudoplatanus).

[20]*Портомойная* — помещение для стирки белья, прачечная.

[21]Имеются в виду Святые ворота, построенные в виде триумфальной арки с пучками коринфских колонн (1823—1824; по проекту Е.Д. Тюрина). Арка завершалась крестом и фигурами ангелов. Она связывала церковь с усадебными постройками.

[22]*Церковная ограда* с башнями была сооружена с северной стороны церкви в 1826 г. Каменные стены были обработаны мелкой галькой, заканчивались двумя деревянными башнями со шпилями, напоминавшими колокольни.

[23]Имеется в виду церковь Михаила Архангела, находящаяся в юго-восточной части усадьбы. Сооружена в 1667 г. по заказу Я.Н. Одоевского. В первой четверти XIX в. была частично перестроена. Колокольня построена в середине XIX в. В 1964—1965 гг. церковь была реставрирована, колокольня разобрана.

[24]Платья из престижного в XIX в. поплина.

[25]*Баска* (фр. basque) — широкая оборка на кофте или юбке; подкройная полочка, пришиваемая к лифу кофты или платья. Баской называли и саму кофту с такими оборками. В XIX в. баска превратилась в символ мещанского сословия, а к концу века ее стали носить и крестьянки.

[26]*Канун* — столик с изображением распятия и подсвечниками, перед которым служатся панихиды.

[27]*Лифостротон* (лат. — возвышение) — каменный помост, вымощенный мозаикой, перед дворцом римского наместника в Иерусалиме, на котором Пилат судил Иисуса.

[28]*Багряница* — царское одеяние багряно-красного цвета.

[29]1 августа по старому стилю православная церковь отмечает происхождение честных древ св. Креста. В народе этот праздник известен под названием первого или мокрого Спаса, т.к. в этот день совершается крестный ход на воду. В этот же день пчеловоды выносили в церковь для освящения первые вырезанные соты, и в домах за обедом ели сотовый мед со свежими огурцами. Поэтому день происхождения честных древ получил еще и название Спаса медового. 6 августа по старому стилю отмечается праздник Преображения Господня. В этот день в храмах происходит торжественное благословение принесенных плодов. Только после освящения и благословения овощей и фруктов их разрешается употреблять в пищу. Поэтому в народе праздник Преображения называется также яблочным Спасом (вторым Спасом).

[30]Основание усадьбы в Архангельском относится к 60-м гг. XVII в., когда здесь на берегу Москвы-реки Я.Н. Одоевским был поставлен боярский двор с хоромами и каменной церковью. С 1681 по 1703 г. вотчина принадлежала М.Я. Черкасскому, а затем надолго перешла в род Голицыных. В 1810 г. вдова Н.А. Голицына Мария Адамовна, нуждаясь в средствах, продала усадьбу князю Николаю Борисовичу Юсупову (1750—1831), который в основном завершил строительство. Возведение Большого дома (дворец в стиле классицизма) началось в 90-х гг. XVIII в. и было закончено в 1812 г.

[31]Дочь князя Николая Борисовича Юсупова Зинаида вышла замуж за графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстон, которому было высочайше разрешено именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон с тем, чтобы княжеский титул и фамилия Юсуповых переходили только к старшему в роде из его потомков.

[32]Село находилось в 5 км от ст. Опалиха. С первой половины XVII в. принадлежало князьям Одоевским. В XVIII в. переходило из рук в руки, пока в 1774 г. не было куплено Н.А. Голицыным. Продав в 1810 г. Архангельское кн. Н.Б. Юсупову, вдова Н.А. Голицына оставила за собой лишь Никольское-Урюпино.

[33]В конце главной поперечной аллеи нижнего партера парка находится «Храм Екатерине» (1819, по проекту Е.Д. Тюрина). Он построен в виде античного портика с пристроенной сзади беседкой для статуи — бронзовой фигуры богини правосудия Фемиды, олицетворявшей достоинства Екатерины II (фигура отлита в 1809 г. Я.И. Рашеттом, вероятно, по модели М.И. Козловского).

[34]Склоны холма, на котором стоит усадьба Архангельское, были использованы для устройства террас (с балюстрадами и белокаменными подпорными стенами), характерных для парков Италии. Они были сооружены по проекту Дж. Тромбаро, итальянского архитектора, который приехал в Россию в 1789 г.

[35]На нижней террасе находились античные бюсты римских императоров Августа, Веспасиана, Вителлия, Гальбы, Клавдия, Нерона, Тиберия, Тита и Цезаря.

[36]Скульптуры двух сидящих собак (копии неизвестного скульптора второй половины XVIII в. с античных оригиналов II—III вв. н.э.) в настоящее время находятся по концам балюстрады на верхней террасе.

[37]*Кир* Великий (ум. в 530 г. до н.э.) — первый царь государства Ахеменидов. Завоевал Вавилон и Месопотамию, Мидию, Лидию, греческие города в Малой Азии, значительную часть Средней Азии.

[38]*Буль де нэж* (фр. boule de neige — снежный шар) — декоративный кустарник с шарообразными белыми соцветьями, относится к роду калин.

[39]*Герма* — четырехгранный столб, завершенный скульптурной головой (первоначально бога Гермеса, отсюда название).

[40]*Канон* — одна из форм православной гимнографии.

[41]*Саввинским подворьем* называлось подворье Саввино-Сторожевского Звенигородского монастыря. Располагалось на Тверской (ныне д. 6, строение во дворе). Сохранившееся здание подворья в неорусском стиле построено в 1905—1907 гг. (архитектор И.С. Кузнецов).

[42]Картины Джованни Батисты Тьеполо (1696—1770) «Пир Клеопатры» (сюжет картины: царица Египта Клеопатра, чтобы выиграть заключенное с римским полководцем Марком Антонием пари, чей пир будет богаче, собирается бросить в чашу с уксусом невиданной красоты жемчужину) и «Встреча Антония и Клеопатры» (на берегу моря Клеопатра встречает Антония, вернувшегося из похода с трофеями и пленными; увлеченный красотой Клеопатры, Антоний навсегда остается в Египте). Эти картины считаются самыми ценными в коллекции живописи Архангельского.

[43]В настоящее время такой картины в Архангельском нет; сведений о ней не обнаружено. По античному преданию, Гай Муций — римский юноша, решивший убить царя этрусков Порсену, осадившего со своим войском Рим. Он был взят в плен. Порсена потребовал, чтобы он назвал имена тех, кто собирается

его, Порсену, убить. Тогда Муций опустил руку в огонь, разведенный на алтаре для жертвоприношения, и сказал: «Вот тебе доказательство, как мало ценят свое тело те, которые провидят великую славу!» Изумляясь мужеству Муция, Порсена отпустил его, начал мирные переговоры с Римом и снял осаду. Гай Муций был прозван Сцеволою (Левшой), так как сжег правую руку.

[44]Ореховый, или третий, Спас отмечался 16 августа (по старому стилю) в день празднования иконы Спаса Нерукотворного.

[45]*Бель-вю* (фр. belle vue) — прекрасный вид.

[46]Речь идет об одном из двух стихотворений Г. Гейне: «Die Schlanke Wasserlilie...» (1842; в переводе А.К. Толстого — «Из вод подымая головку...») или «Die Lotosblume angstigt...» (из цикла «Лирические интермеццо», 1822—1823; в переводе А.Н. Майкова — «От солнца лилия пугливо...»).

[47]*Рыцарские шпоры, борец,* аконит (Aconitum) — род многолетних трав семейства лютиковых. Цветки собраны у них в кисть синего, фиолетового или желтого цвета.

[48]*Куколь* (Agrostemma) — род однолетних травянистых растений семейства гвоздичных. Растет на полях как сорняк, имеет крупные одиночные цветки темно-розового цвета.

[49]*Ботанизирка* (от фр. botaniser — собирать растения для гербария, составлять гербарий) — папка для растений со специальными крепежными приспособлениями.

[50]«Книга коллекций» (*нем.*).

[51]*Григорьев* Владимир Васильевич (ок. 1830 — 1901) — преподаватель естествознания и ботаники. Здесь речь идет о его учебнике «Руководство к ботанике», который выдержал несколько изданий (1861—1866). По своему характеру эта книга приближается к курсам для высшей школы.

[52]*Мифологическая школа* — научное направление в фольклористике и литературоведении, использующее методологию сравнительного языкознания, возводя сходные явления в области фольклора разных народов к общей для них древнейшей мифологии, к «прамифу».

[53]*Гримм* Якоб (1785—1863) — немецкий филолог, профессор Геттингенского и Берлинского университетов, член Берлинской Академии наук. Его труды по мифологии («Deutscht Mythologie», 1835 и др.) обосновали возможность использования мифологического материала как своеобразного исторического источника. Вместе с братом Вильгельмом собирал и публиковал немецкие народные сказки. С именами их связывается окончательное оформление мифологической школы. Братья Гримм считали, что народная поэзия имеет божественное происхождение, фольклор — это бессознательное и безличное творчество коллективной души; из мифа в процессе его эволюции возникли сказка, эпос, легенда и т.п.

[54]*Буслаев* Федор Афанасьевич (1818—1897) — филолог и искусствовед. Профессор Московского университета, академик. В своем капитальном труде «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861) он утверждал,

что все жанры фольклора возникли в «эпический период» из мифа, и возводил, в частности, былинные образы к мифологическим сказаниям о возникновении рек.

[55]*Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871) — историк и литературовед, исследователь и публикатор фольклора (сборник «Народные русские сказки», т. 1—3, 1855—1864). Идеи мифологической школы отражены в его трехтомном труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1866—1869).

[56]Обыгрывается название книги А.Н. Афанасьева.

[57]Иванов день, *Иван Купала*, Купало — древний праздник летнего солнцеворота (24 июня по старому стилю), совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя (народное прозвище — Иван-Купала), связан со многими обрядами и верованиями. У всех восточных славян было широко распространено поверье о расцветающем только на мгновение в полночь под Ивана Купала цветке папоротника; человек, который успеет сорвать его, становится всеведущ, видит все сокровища, таящиеся в земле, понимает язык зверей и животных. Однако нечистая сила также стремится завладеть этим цветком и всевозможными ужасами отпугивает смельчаков. Эти предания положены в основу повести Н.В. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала».

[58]*Купальские огни* — костры, разжигавшиеся поздно вечером под Ивана Купала. В некоторых местах костер зажигали «живым огнем», то есть добытым трением. Иногда в середину костра ставили шест с горящим колесом, символом солнца. У костров всю ночь веселилась молодежь: через костер прыгали, перебрасывали венки.

[59]Молодая березка была центром троицкой обрядности у русских. Срубленную березку украшали и ходили с ней по деревне с песнями; по окончании праздника ее бросали в реку или разламывали и разбрасывали по полю. В четверг (семик), предшествующий Троицыну дню, девушки шли в лес «завивать» березки: пригнув к земле два деревца, связывали верхушки. Из березовых веток плели венки. При этом пели песни, водили хороводы, под березками ели принесенную с собой еду.

[60]В народных представлениях ведьмы наделялись многими сверхъестественными способностями, явившимися результатом их связи с дьяволом или другой нечистой силой. В частности, они могли летать по воздуху. Для общения с нечистой силой ведьмы слетались на шабаш верхом на помеле, козле или свинье, в которых могли превратить человека. Особенно опасными ведьмы считались во время календарных праздников — под Новый год, на Масленицу, в ночь на Ивана Купала. Верили, что тогда их можно увидеть проносящимися в буре вместе с другой нечистью. По северорусским поверьям, ведьма оставляет свое туловище под корытом, превращается в бесхвостую сороку и вылетает в печную трубу. Она вынимает плод у беременных женщин и домашнего скота. По представлениям украинцев, ведьмы слетались в Киев на Лысую гору в ночь на Ивана Купала. Отправляясь в такой полет, ведьма взлетает высоко в воздух, разгоняет при этом

тучи и может вызвать засуху (см.: Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 421).

[61]*Матине* (от фр. matinée — утро, утренний прием) — утренняя блуза.

[62]*«Русский шов»* (в других местах назывался «в иголку», «красное шитье») — один из древних швов, двусторонний: сначала вперед иголку, затем нитки поворачивают обратно и тем же способом (вперед иголку) заполняют пропущенные места с лица и изнанки ткани. Название «русский шов» бытовало в Заонежье и, возможно, стало известно В.Н. Харузиной после ее этнографической поездки с Н. Харузиным в Архангельскую и Олонецкую губернии в 1887 г.

[63]*Симонов* Успенский *монастырь* (в XIX в. — мужской 1-го класса ставропигиальный) находился в юго-восточной части Москвы на левом берегу Москвы-реки (Восточная ул., 4). Основан в 1370 г. учеником и племянником Сергия Радонежского Феодором на землях боярина С.В. Ховрина (инока Симона — отсюда название). Перенесен на нынешнее место в 1379 г. Упразднен в 1923 г., в 1929—1930 гг. большинство построек было снесено.

[64]*Бланманже* (фр. blanc-manger) — сладкое блюдо, молочное или сливочное желе, может быть приготовлено с добавлением шоколада, миндаля, фисташек, кофе и т.п.

[65]Имеется в виду книга С.Т. Аксакова «Записки об уженье» (1847; 2-е изд. — 1854 под названием «Записки об уженье рыбы»).

[66]Здание театра было построено в 1818 г. по проектам О.И. Бове и итальянского декоратора П. ди Г. Гонзаго.

[67]Усадьба *Ильинское* известна с 1666 г., когда она принадлежала боярину С.Л. Стрешневу. В первой четверти XIX в. ею владел граф А.И. Остерман-Толстой. Приобретена царской семьей в 1864 г. Как сообщает «Путеводитель» И. Левитова за 1881 г., «кроме отличных оранжерей, славится Ильинское своими фермами, в которых содержится в чистоте рогатый скот голландской и альгауской породы» (С. 2). Купив заранее билет в Москве, можно было осмотреть дома, оранжереи и фермы усадьбы.

[68]По представлениям восточных славян, злые люди, особенно колдуны и ведьмы, устраивают на хлебных полях *заломы* (другие названия — закрутка, завиток, кукла). Заломы устраивают разными способами: переламывают пучок стеблей, колосья скручивают в жгут, завязывают узлом и т.п. В зависимости от заговора, который произносится при заломе, могут произойти разные несчастья: или поле даст мало зерна, потому что нечистая сила перенесет это зерно в закрома колдуна, который устроил залом; или же залом принесет беду хозяину поля, жнецу, тому, кто станет есть хлеб из зерен залома. Обычно залом устраивают во время цветения ржи или на Ивана Купала. При этом ведьмы ходят нагие и с распущенными волосами. Залом устраивают у дороги или на краю поля, чтобы хозяин поля увидел его. Прикасаться к заломленным колосьям было опасно, существовало много способов уничтожить залом (см.: Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 70—72).

[69]*Петя Боткин* – сын Дмитрия Петровича и Софии Сергеевны Боткиных. После смерти отца стал одним из руководителей чайной фирмы Боткиных «Петра Боткина сыновья» и одним из наследников его художественной коллекции.

[70]Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, была написана св. евангелистом Лукой. Согласно легенде, эта икона впервые объявилась в России при великом князе Дмитрии Донском в 1383 г. Несколько позднее она была «чудесно обретена» жителями города Тихвина среди болотистой местности «парящей в воздухе и сияющей пресветлыми лучами». На месте ее чудесного явления был устроен храм, а в 1560 г. – Тихвинский Богородице-Успенский монастырь. Тихвинская икона была одной из самых почитаемых в России, списки с нее имеются во многих храмах.

[71]Дерптский университет ведет свою историю с 1632 г., со времени основания Academia Gustaviana, которая действовала с перерывами до 1710 г. Был вновь открыт в 1802 г. как Дерптский, с 1893 г. в связи с переименованием города – Юрьевский, после 1918 г. – Тартуский университет.

[72]Речь идет о церкви Олевисте (св. Олая) в Таллинне. Впервые упоминается в 1267 г. В 1436–1500 гг. была построена башня в продольной части церкви. После реставрации 1931 г. ее высота (со шпилем) достигала 123,7 м.

[73]*Монастырь святой Бригитты* (Биргитты) находится в пригороде Таллинна Пирита. Основан в начале XV в. орденом биргитинок при содействии Тевтонского ордена. Монастырь горел в 1564 г., был разрушен русскими войсками в Ливонскую войну – в 1575 и 1577 гг. В настоящее время в монастырских руинах устраивают спектакли.

[74]*Кеммерн* (ныне Кемери) – селение в Лифляндской губернии Рижского уезда. В XIX в. славилось своими серными и серносоляными минеральными водами. Кеммернское лечебное заведение было устроено в 1838 г. и находилось под контролем медицинского департамента. Местный холодный серный источник употреблялся для лечения хронических болезней суставов.

[75]*Саввин монастырь* – Звенигородский Саввино-Сторожевский 1-го класса необщежительный мужской монастырь. Находился в двух верстах от Звенигорода на левом берегу Москвы-реки. Основан в 1398 г. князем Юрием Звенигородским, сыном Дмитрия Донского. Первым игуменом монастыря был Савва Сторожевский, духовник князя, ученик Сергия Радонежского.

[76]На самом деле это поселение называется Павловской слободой. Известно Благовещенской церковью XVII в., построенной в вотчине боярина Б.И. Морозова, воспитателя царя Алексея Михайловича.

[77]Неточно цитируется вторая строфа стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

[78]Новоиерусалимский, или *Воскресенский* (в XIX в. – ставропигиальный 1-го класса необщежительный), мужской монастырь на р. Истре, в 24 верстах от Звенигорода. Построен по замыслу патриарха Никона, который хотел устроить по-

добие древнего храма и других святынь настоящего Иерусалима, чтобы ознакомить русский народ со священными местами погребения и Воскресения Господня. Для осуществления своей идеи Никон отправил в Иерусалим ученого иеромонаха Арсения Суханова, который привез оттуда чертежи, планы и модель храма. В 1941 г. отступавшие немцы взорвали монастырь. После войны были начаты реставрационные работы, закончившиеся к началу 1990-х гг.

[79]С 1930 г. — город Истра.

[80]С запада к Воскресенскому собору примыкает грандиозная ротонда, в центре ее зала находится *пещера гроба Господня* (каменная четырехугольная гробница с распростертой на ней плащаницей, в которую вделана частица от гроба Господня). В пещеру с мраморными стенами ведет низкий темный вход.

[81]Воскресенский собор, в плане повторяющий древнеиерусалимский храм, представляет собой сложный комплекс сооружений, главные из которых — четырехстолпный одноглавый храм Вознесения с боковыми двухъярусными галереями, ротонда с часовней гроба Господня, заглубленная в землю церковь Константина и Елены.

[82]Патриарх Никон был погребен в приделе Иоанна Предтечи Воскресенского собора под Голгофой, т.е. под изображением горы Голгофы и распятого Христа. Возле могилы были выставлены его вериги, келейный образ и другие предметы.

[83]*Силоамская купель* — один из колодцев под горой у Воскресенского монастыря; над колодцем была устроена часовня. Названа в воспоминание той купели, где прозрел слепой от рождения (Ин. 9: 1—7). *Овечьей купелью* назван колодец в память о купальне у Овечьих ворот в Иерусалиме, где Иисус в субботу излечил человека, находившегося в болезни тридцать восемь лет (Ин. 5: 2—9). *Мамврийский дуб* на берегу *Кедрского потока*, по преданию, посадил сам Никон; дерево должно было изображать тот дуб, под которым Авраам принимал трех мужей (Быт. 18: 1—9). Кедрский поток огибал Воскресенский монастырь подобно Кедрону — потоку, протекавшему вдоль восточной стены древнего Иерусалима и отделявшему Иерусалим от Масличной (Елеонской) горы. *Горой Фавор* называлась одна из двух гор на запад от монастыря. На горе Фавор Иисус преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном (Мф. 17: 1—9). Как и в древнем Иерусалиме *Елеонской* названа *гора* к востоку от монастыря. Прежде чем войти в Иерусалим, Иисус остановился у Елеонской горы и послал своих учеников за ослицей и молодым ослом (Мф. 21: 1). На этой горе Иисус поведал ученикам о втором пришествии (Мф. 24: 3—51). Туда же он отправился с учениками после тайной вечери (Мф. 26: 30). *Вифлеемом* в Новом Иерусалиме названо не только селение, но и отдельная церковь. В одном из ее приделов устроен вертеп с яслями, изображавшими ясли, в которых лежал родившийся Христос. Одно из селений названо *Назаретом* в память о поселении Назарет в Галилее, в котором, согласно Евангелию, Иисус прожил до 30-летнего возраста.

Часть IV

[1]То есть сшитых из прюнели (фр. prunelle) — тонкой хлопчатобумажной, шелковой или шерстяной ткани, обычно черного цвета.

[2]*Антропологическая выставка*, организованная Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии, проходила в Манеже с апреля по сентябрь 1879 г. На выставке были представлены чучела ископаемых животных (ихтиозавры, гилозавры и др.) и растения юрского периода, чучело мамонта и ископаемые кости четвертичной эпохи. Были показаны антропологические коллекции, собранные экспедициями Общества, — черепа, скелеты, планы раскопок, модели курганов и гробниц, а также коллекции инструментов для антропологических измерений. В этнографическом отделе экспонировались манекены, представляющие народы России, а в отделе воспитания — люльки и другие приспособления для ухода за младенцами у различных народов. После окончания выставки ее экспонаты послужили основой для создания Антропологического музея при Московском университете, который разместился в здании Исторического музея, и отделов в Политехническом музее: промышленной этнографии и физического воспитания детей у различных народов.

[3]Императорское *общество любителей естествознания, антропологии и этнографии* (ОЛЕАЭ) — так с 1867 г. именовалось Общество любителей естествознания (ОЛЕ), организованное при Московском университете в 1864 г. Общество имело отделения: физических наук, геологическое, ботаническое, зоологическое, физиологии, антропологическое и этнографическое. Общество издавало «Известия Императорского ОЛЕАЭ»(1866—1917), которые включали «Труды» всех отделов и отделений, некоторые отделения выпускали свои «Дневники», а также издания вне серий. Кроме того, ОЛЕАЭ издавало журналы «Землеведение» (1894—1939, с перерывами), «Русский антропологический журнал» (1900—1930), «Биологический журнал» (1910—1911) и «Этнографическое обозрение» (1889—1916). Братья В.Н. Харузиной деятельно участвовали в работе Общества. Михаил и Николай были секретарями отдела этнографии ОЛЕАЭ. Алексей был избран секретарем Антропологического отдела и редактировал «Дневник антропологического отдела». Все они печатались в изданиях ОЛЕАЭ и по поручению Общества выезжали в антропологические и этнографические экспедиции.

[4]*Богданов* Анатолий Петрович (1834—1896) — антрополог, зоолог и историк зоологии, один из основателей антропологии в России. Директор Зоологического музея Московского университета. Профессор Московского университета (1867), член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890). Один из организаторов ОЛЕАЭ.

[5]*Анучин* Дмитрий Николаевич (1843—1923) — антрополог, географ, этнограф и археолог, один из основоположников антропологии в России. Профессор Московского университета (1884), академик (1896), почетный член Академии наук

(1898). В Московском университете заведовал первой кафедрой географии (с 1885 г.). С 1890 г. — президент ОЛЕАЭ.

[6]*Кельсиев* Александр Иванович (?—1885) — хранитель Московского Политехнического музея, секретарь Общества распространения технических знаний.

[7]Речь идет о книжном магазине на Воздвиженке (д. 13; в 1941 г. был разрушен бомбой, на его месте устроен сад), которым владела Анастасия Карловна Залесская. В конце 1870-х гг. было создано благотворительное общество «Сотрудник школ», так же стал называться и магазин, в котором продавались книги, в том числе учебные пособия, и писчебумажные принадлежности. При магазине работала библиотека для чтения.

[8]*Гюго* Франсуа-Виктор (1828—1873) — французский литератор, журналист, переводчик. Сын Виктора Гюго. Переводил пьесы Шекспира и сопровождал их критическими статьями, свидетельствующими о его глубоком знании английской литературы.

[9]*Бригитта* (Биргитта) Шведская (ок. 1303 — 1373) была дочерью шведского магната, женой Улфа Гудмарссона, матерью восьми детей. Овдовев, Бригитта приняла монашество в цистерцианском монастыре. В 1346 г. основала орден с культом страстей Христа и Девы Марии, утвержденный в Риме в 1349 г. Канонизирована в 1391 г. как покровительница Швеции. Оставила «Откровения св. Бригитты», в которых с большой эмоциональной силой призывала к обновлению католицизма.

[10]*Бурбоны* — королевская династия во Франции в 1589—1792, 1814—1815, 1815—1830 гг.

[11]Наполеон IV (Евгений-Людовик-Жан-Жозеф), принц (1856—1879), единственный сын французского императора Наполеона III и Евгении Монтихо. После низложения Наполеона III и освобождения его из плена жил с отцом в Англии в Чизльгерсте. В 1879 г., стремясь обратить на себя внимание Франции и освободиться от тяготившей его зависимости от матери, он отправился в Африку на войну англичан с зулусами, где был убит во время рекогносцировки.

[12]*Лизере* (фр. liséré) — кайма, каемка.

[13]*Роман Галицкий*, Роман Мстиславич (ум. в 1205) — князь новгородский (1168—1169), владимиро-волынский (с 1170) и одновременно галицкий (с 1199).

[14]*Червонная Русь* — историческое название Галиции.

[15]13-я глава «Первого послания к коринфянам» начинается словами: «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто».

[16]*Остроумов* Алексей Александрович (1844—1908) — профессор, в 1880—1903 гг. заведовал клиникой госпитальной терапии Московского университета. Председатель Московского медицинского общества (1879—1889).

[17]*«Трубадур»* — опера Дж. Верди (1853), написанная по драме А. Гарсии Гутьерреса.

[18]*Тур Евгения* (настоящее имя — Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, 1815—1892) — русская писательница. Популярностью пользовались ее книги для детей и юношества, носившие религиозно-назидательный характер: «Катакомбы» (1866), «Семейство Шалонских» (1879), «Последние дни Помпеи» (1882) и др.

[19]*Страстной монастырь* — 3-го класса необщежительный женский монастырь, находился на Страстной площади у Тверских ворот. Основан в 1654 г. царем Алексеем Михайловичем во имя иконы Божией Матери Страстной (т.е. изображенной с орудиями мучений Христа — «страстей Христовых»), от которой и получил название. Монастырь был снесен в 1937 г., на его месте разбит сквер, где сейчас стоит памятник Пушкину.

[20]Пожар в доме Харузиных на Собачьей площадке был в 1922 г.

[21]*Тотлебен* Эдуард Иванович (1818—1884) — инженер-генерал (1869), генерал-адъютант (1855), граф (1879). Участвовал в кавказских войнах 1848—1849 гг., в Крымской войне 1853—1856 гг. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. руководил осадой Плевны. Затем командовал действующей армией до заключения Берлинского мирного договора. В 1879 г. — одесский генерал-губернатор, командующий войсками Одесского военного округа. С 1880 г. — виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор и командующий войсками Виленского военного округа.

[22]Мушкой назывался пластырь, приготовленный из кантаридина, получаемого из шпанских мух. В середине XIX в. его широко применяли как раздражающее и вызывающее нарывы средство при седалищной невралгии, воспалении плевры, ревматических болях, при сильном переполнении сосудов мозга и т.п. Для получения нарыва пластырь ставили на 6—12 часов и даже на несколько дней.

[23]*Церковь Варвары Великомученицы* (Варварка, 2) построена в 1796—1804 гг. по проекту Р.Р. Казакова с использованием фундамента одноименного храма, сооруженного Алевизом Фрязиным в 1514 г.

[24]*Швивая* (или Вшивая) горка — старинное название возвышенной местности в Заяузье (один из «семи холмов»); сейчас — Гончарная ул., между Б. Ватиным пер. и Таганской пл.

[25]*Захарьин* Григорий Антонович (1829—1897) — терапевт, профессор и директор факультетской терапевтической клиники Московского университета. Почетный член Петербургской Академии наук (1885). *Кожевников* Алексей Яковлевич (1836—1902) — невропатолог. Профессор. Организатор и руководитель первой в России кафедры и клиники нервных болезней. Заведовал кафедрой специальной патологии и терапии Московского университета.

[26]В.Н. Харузина допускает неточность: в описываемые годы мощи великомученика Пантелеимона, привезенные в 1866 г. с Афона, находились в специально построенной в 1873 г. Афонской часовне Богоявленского (а не Благовещен-

ского) монастыря на Никольской ул. Однако из-за ее малой вместительности уже в 1883 г. мощи были перенесены в новую часовню (также на Никольской, у Владимирских ворот), которая была освящена во имя св. Пантелеимона.

[27]*Присные* – близкие люди, приспешники (*устар.*).

[28]*Рака* (от лат. arca – ящик, гроб) – большой ларец для хранения мощей святых. Имеет вид саркофага, сундука или архитектурного сооружения.

[29]Благословляющим считался Спас на иконах с его оплечным изображением (с рукой, поднятой для благословения), как, например, на иконе «Спас в силах».

[30]О.П. *Эле* в 1876–1877 гг. служил в канцелярии Судебной палаты, затем оставил государственную службу и, вероятно, занимался частным преподаванием.

[31]*Масальский* Константин Петрович (1802–1861) – русский писатель. Автор исторических романов и повестей «Стрельцы» (1832), «Черный ящик» (1833), «Регентство Бирона» (1834), «Бородолюбие» (1837), «Осада Углича» (1841), «На ледяных горах» (1848) и др.

[32]«Князь Серебряный» (1863) – роман А.К. Толстого.

[33]Речь идет о героях романа Е. Марлитт «Тайна старой девы» («Das Geheimnis der alten mamsell», 1868), в котором разворачивается традиционный мелодраматический сюжет. Купец Гельвиг берет к себе в дом четырехлетнюю Фелиситэ – дочь погибшей циркачки. После смерти купца девочка попадает под опеку его сына Иоганна, который вскоре уезжает учиться, поручив заботу о ней своей матери – бездушной ханже, ненавидящей и всячески унижающей воспитанницу. Когда Фелиситэ исполняется 18 лет, домой приезжает Иоганн, ставший знаменитым доктором. Он влюбляется в гордую, умную и прекрасную собой девушку. Однако сословное неравенство мешает Фелиситэ думать о замужсстве. После смерти сестры Гельвига («старой мамзели», которая занималась образованием Фелиситэ) раскрывается семейная тайна: честь фамилии запятнана присвоением крупной суммы денег, принадлежавшей семье Хиршпрунгов. Иоганн решает расплатиться с ними. Попутно выясняется, что мать Фелиситэ также принадлежала к аристократическому роду Хиршпрунгов, однако родители отреклись от нее из-за ее неравного брака. Фелиситэ не желает иметь ничего общего с родственниками, сословные предрассудки которых свели в могилу ее мать. После этого никакие препятствия не могут помешать молодым героям соединить свои судьбы.

[34]*Вдовий дом* – государственное благотворительное учреждение. Создан в 1803 г. для содержания вдов, мужья которых прослужили на военной или гражданской службе не менее 10 лет. Здание Вдовьего дома (в стиле ампир) построено в 1818–1823 гг. архитектором Д.И. Жилярди (ныне – ул. Баррикадная, 2).

[35]*Трен* – шлейф, волочащееся по полу заднее полотнище женского платья. Мог быть съемным и приспосабливался к различным нарядам.

[36]Имеется в виду повесть «Вечер накануне Ивана Купала».

[37]Ныне Белорусский вокзал.

[38]Стихотворение В. Гюго «La priere pour tous» (1830) В.Н. Харузина читала, вероятно, по-французски, так как до 1887 г. его русские переводы печатались лишь в журналах.

[39]*Пятницкое кладбище* находится за Крестовской заставой (современная Рижская площадь) в северной части Москвы (Дроболитейный проезд, 3). Основано в 1771 г. во время эпидемии чумы. Название получило от придела мученицы Параскевы-Пятницы церкви св. Троицы.

[40]*Ектенья* — прилежное моление в богослужении. Делится на ряд кратких прошений, сопровождаемых восклицаниями «Господи, помилуй», «Подай, Господи». В православном богослужении существуют великая, малая, сугубая и просительная ектеньи, отличающиеся продолжительностью прошений и словами восклицания. Сугубая ектенья начинается словами: «Рци вси от всея души и от всего помышления нашего рцем» и сопровождается восклицанием: «Господи, помилуй».

[41]*Грановский* Тимофей Николаевич (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета. В 1839 г. начал читать первый курс истории западноевропейского средневековья, заложив основы его научной разработки. Очень популярны были публичные курсы Грановского, прочитанные им в 1843—1844, 1845—1846 и 1851 гг.

[42]*Звездчатка* (Stellaria) — род растений семейства гвоздичных. Цветет весной в лесах, садах и парках. Цветки белые, похожие на звездочки.

[43]Прохоровская мануфактура сбывала свою продукцию крупным московским скупщикам, державшим в своих руках московский рынок и нижегородскую ярмарку. Такими скупщиками у братьев Прохоровых были Н.И. Харузин, И.В. Щукин, братья Щаповы и другие. Торговый дом «И.В. Щукин с сыновьями» существовал с 1878 г.

[44]Имеется в виду стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1837).

[45]Речь идет о достопримечательностях Венеции. Площадь св. Марка — самая большая площадь Венеции, окружена дворцами и крытыми ходами, выложена мраморными плитами. На ней стоит Собор св. Марка, построенный в стиле, сочетающем византийскую архитектуру с формами романских базилик. Первоначально построен в 976—1071 гг., перестраивался до XVII в. На этой же площади находится Дворец дожей (XIV—XV вв.), построенный в стиле венецианской готики. С находящимся поблизости зданием тюрьмы площадь соединена мостом Вздохов (1600). Мост Понте Риальто (1588—1591) — самый знаменитый мост Венеции, ведет через Большой канал.

[46]*Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

[47]Роман Марлитт «Die Goldelse» (1867) переводился на русский язык под названиями «Златокудрая Эльза» и «Эльза».

[48]*Баранцевич Е.М.* — судебный следователь Рузского уезда (в конце 1870-х гг.), Московского уезда (с 1880 г.).

[49]*Мазилово* — местность на западе Москвы, между Филями и Кунцевом. Деревня Мазилово известна с XVII в. В XIX — начале XX в. — дачное место.

[50]Отец братьев Шереметевских, Петр Васильевич Ватагин (1806—?), был сиротой, окончил Сиротский институт при Воспитательном доме в качестве стипендиата графини М.П. Шереметевой. Путем выслуги он получил дворянство и фамилию Шереметевский. Служил в Опекунском совете. У Петра Васильевича было четверо сыновей: Владимир (1834 или 1835 — 1895), Алексей (между 1836 и 1838 — не ранее 1905), Федор (1840—1891) и Всеволод (1850—1919). В 1850-х гг. Шереметевские жили в Замоскворечье, где с ними познакомилась семья Шипачевых и мать В.Н. Харузиной. К этому времени Владимир и Алексей окончили 2-ю гимназию, учились в Московском университете на историко-филологическом факультете. Федор заканчивал учебу в 4-й гимназии и затем поступил на медицинский факультет университета. В доме Шереметевских устраивались любительские спектакли. Современники вспоминали остроумие и блестящее артистическое дарование Владимира Петровича, комический талант Федора Петровича (см.: Смирнов С. В.П. Шереметевский (Очерк его жизни и трудов) // Сочинения Владимира Петровича Шереметевского. М., 1897; Алферев А. В.П. Шереметевский как чтец художественных произведений перед учащейся молодежью // Там же; Головин С. Ф.П. Шереметевский. Орд. проф. Императорского Московского университета (Некролог и краткая биография) М., 1891). Каждый из братьев Шереметевских оставил след в избранной им профессии: Владимир Петрович — педагог. Учитель русского языка и словесности во 2-й московской гимназии (1858—1866), с 1873 г. — преподавал педагогику и русский язык в учительской семинарии военного ведомства и в женской гимназии З.Д. Перепелкиной, позже — в 5-й гимназии. Читал лекции на педагогических курсах при Обществе учительниц и гувернанток. Автор работ по методике обучения русскому языку и словесности, в которых выступал против педагогической рутины и схоластики, предлагал новые принципы и методы обучения детей грамматике, объяснительному чтению, орфографии. Федор Петрович — физиолог. Доктор медицины (1868), профессор по кафедре физиологии Московского университета (1870), ординарный профессор (1878). Один из членов-учредителей Московского психологического общества, член ОЛЕАЭ, Физико-математического общества и Общества испытателей природы. Основные работы: «Материалы к физиологии процессов окисления в крови живого организма» (1869), «Физиологические основы психических явлений в пределах научного познания» (1890). Всеволод Петрович — математик. С 1875 г. преподавал математику в 4-й женской гимназии, в консерватории (до 1885 г.) и на Публичных женских курсах (Лубянских). Перевел, переработал и дополнил «Элементы высшей математики» Г.А. Лоренца (1898—1901), причем его собственный текст вдвое превышал оригинал (двухтомник выдержал несколько изданий). Алексей Петрович — историк, педагог, поэт-дилетант. Окончив Московский университет со званием кандидата, практически всю свою

жизнь преподавал историю в 1-й женской гимназии, а также в Николаевском женском училище (с начала 1870-х и до середины 1890-х гг.) и в Московской консерватории (1875—1903). Сохранились стихи А.П. Шереметевского, посвященные разным датам в истории консерватории, в том числе стихотворение «На 18 годовщину смерти Н.Г. Рубинштейна» (1899), сбор от продажи которого автор передал в пользу голодающих. Эстетическое кредо поэта нашло выражение в стихах, посвященных юбилею скрипача И.В. Гржимали:

Тот не художник, кто не носит
В душе народный идеал,
Чье сердце чуткое не просит
Росы Евангельских начал.
(Шереметевский А. На юбилее И.В. Гржимали. М., 1895)

[51] *Толстопятов* Михаил Александрович (1836—1890) — минералог. С 1861 г. читал лекции на кафедре минералогии и геологии Московского университета. Защитил докторскую диссертацию по теме «Общие задачи учения о кристаллогенезисе».

[52] *Кунцево*, известное с XV в., было вотчиной князей Милославских, Нарышкиных. В 1865 г. усадьба, окруженная старинным пейзажным парком, была приобретена К.Т. Солдатенковым. Во 2-й половине XIX в. Кунцево стало модным и дорогим дачным местом.

[53] Место в Кунцеве вблизи холма, на котором стоял главный дом усадьбы, поросшее лесом. Согласно путеводителю по Москве и окрестностям, названо так потому, что здесь находилось языческое кладбище (см.: Левитов И. Путеводитель. М., 1881. С. 26).

[54] *Стихотворение А.Н. Майкова «Савонарола»* (1857) посвящено драматической судьбе настоятеля монастыря доминиканцев во Флоренции Джироламо Савонаролы (1452—1498), выступавшего против тирании Медичи, обличавшего папство, призывавшего церковь к аскетизму (организовывал сожжение произведений искусства). Савонарола был отлучен от церкви и казнен.

[55] Пушкинский праздник по поводу открытия памятника А.С.Пушкину в Москве состоялся 5—8 июня 1880 г. Организаторами торжеств были Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. 5 июня в помещении Благородного собрания открылась Пушкинская выставка, а в зале Московской городской думы состоялся прием делегаций, прибывших в Москву от различных учреждений и обществ. Утром 6 июня происходило торжественное открытие памятника Пушкину (скульптор А.М. Опекушин) на Тверской (или Страстной, ныне — Пушкинской) площади, днем — торжественный акт в большом зале Московского университета (см.: Межов В.И. Открытие памятника Пушкину в Москве, в 1880: Библиогр. указатель. СПб., 1885; Левитт М.Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб., 1994).

[56]*Общество любителей российской словесности* при Московском университете (ОЛРС) — литературное научное общество, существовало с 1811 по 1930 г. (с перерывом в 1837—1858 гг.). В дни пушкинских торжеств ОЛРС организовало двухдневные юбилейные заседания (7—8 июня 1880 г., проходили в зале Благородного собрания по адресу: Охотный ряд, 2), которые заняли центральное место в программе празднеств. В первый день заседаний речь о Пушкине произнес Тургенев, слова которого оставили у публики чувство некоторого неудовлетворения (см.: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. М., 1986. Т. 12. С. 685—686). Выступление Достоевского 8 июня произвело огромное впечатление на слушателей и стало, по воспоминаниям современников, кульминацией праздника. Сам писатель в тот же день описал реакцию публики на его речь в письме к жене: «Зала была набита битком <...> Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями <...> Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга <...> Порядок заседания нарушился; все ринулись ко мне на эстраду; гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — все это обнимало, целовало меня <...> все, буквально все плакали от восторга» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 26. С. 460).

[57]«Сцена у фонтана» — сцена Марины Мнишек с самозванцем из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

[58] *Макферлан* (макферлейн), или крылатка, — мужское дорожное пальто, часто без рукавов (с прорезями для рук), с длинной пелериной.

[59]Стихотворение А.К. Толстого «*Василий Шибанов*» (1840-е гг.) повествует о трагической смерти Василия Шибанова, стременного князя Курбского. Последний послал его с язвительным письмом к Ивану Грозному. Василий Шибанов стойко принимает смерть от пыток, молясь о предавшем его и отчизну господине, о грозном царе и о великой Руси.

[60]На Поклонной горе — пологом холме на западе Москвы —2 сентября 1812 г. Наполеон тщетно ожидал депутацию москвичей с ключами от Кремля.

Часть V

[1]*С.Н. Фишер* (1836—1913) — преподавательница классических языков и литературы. Занималась переводами (известен ее перевод с греческого трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде», М., 1894). В 1872 г. открыла в Москве частную женскую классическую гимназию, которая стала работать по учебным планам мужских классических гимназий. Гимназия была первоначально шестиклассной, с 1879 г. стала восьмиклассной. О гимназии см.: Владимирский И.М. Историческая записка о 40-летии женской классической гимназии С.Н. Фишер. 1872—1912 гг. М., 1912.

[2]*Корнелий Непот* (ок. 100 — после 32 до н.э.) — римский историк, автор труда «О знаменитых людях».

[3]*Благоволин* Иван Игнатьевич (1827—1905) — протоиерей.

[4]*«Аида»* — опера Дж. Верди (1871), либретто А. Гисланцони по сценарию О.Ф. Мариета. В России впервые поставлена в 1875 г.

[5]*«Риголетто»* — опера Дж. Верди (1851), либретто — Ф.М. Пьяве по драме В. Гюго «Король забавляется». В России впервые поставлена в 1853 г. в Петербурге.

[6]*«Фауст»* — опера Ш. Гуно (1859), либретто Ж. Барбье и М. Карре по драматической поэме В. Гете. В России впервые поставлена в 1863 г.

[7]*«Гугеноты»* — опера Д. Мейербера (1836), либретто Э. Скриба и Э. Дежана по повести П. Мериме «Хроника времен Карла IX». В России впервые прозвучала в концертном исполнении (на немецком языке) в 1840 г. На русском языке поставлена в 1862 г. в Мариинском театре. В Москве в Большом театре шла с 1879 г.

[8]*«Африканка»* — опера Д. Мейербера (1865), либретто Э. Скриба. В России впервые поставлена на итальянском языке в 1866 г. (Петербург), на русском языке — в 1890 г., в Большом театре.

[9]*Романов* Николай Ильич (1867—1948) — искусствовед, профессор (с 1912 г.). Преподавал в Московском университете и Московском институте истории, философии и литературы. Хранитель отдела изящных искусств Румянцевского музея (1910—1923), директор Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (1923—1928). *Кочетова* Зоя Разумниковна (1857—1892) — оперная артистка (колоратурное сопрано). Дебютировала в 1881 г. в Москве. В 1879—1883 гг. пела в Большом театре, в 1884—1885 гг. — в разных европейских театрах. Обладала голосом красивого серебристого тембра, большого диапазона. Партии: Антонида («Иван Сусанин»), Маргарита («Фауст»), Джильда («Риголетто») и др. В 1888 г. оставила сцену.

[10]А.Н. *Ермолова* (1856—1921) — сестра М.Н. Ермоловой, преподавательница Высших женских курсов в Москве, участвовала в движении за женское образование. Была замужем за Всеволодом Петровичем Шереметевским.

[11]А.Н. *Ермолова-Кречетова* (1859—1914) — артистка Малого театра (с 1877 по 1907 г.), сестра М.Н. Ермоловой, дублировавшая ее в некоторых ролях.

[12]У В.Н. Харузиной допущена ошибка в имени. Имеется в виду Милюкова Анна Сергеевна (урожд. Смирнова) (1861—1935), жена П.Н. Милюкова. Она окончила Высшие женские курсы по историко-филологическому отделению; сотрудничала в журналах «Русская мысль», «Русское богатство», «Мир божий». *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, историк и публицист. Один из организаторов кадетской партии (с 1907 г. председатель ее ЦК), член Государственной думы 3—4-го созывов. Во Временном правительстве (первого состава) занимал пост министра иностранных дел. С 1920 г. в эмиграции в Париже.

[13]*Герье* Владимир Иванович (1837—1919) — историк и политический деятель. С 1868 по 1904 г. — профессор всеобщей истории Московского университета. Автор работ по истории Древнего Рима, средневекового католицизма, Великой французской революции. С 1906 г. член «Союза 17 октября». *Курсы Герье* — Московские высшие женские курсы, открытые в 1872 г. по инициативе Герье (до 1888 г. был директором). Имели отделения: историко-филологическое и (с 1880 г.) физико-математическое. Принимались выпускницы женских гимназий и институтов благородных девиц. Программа была ориентирована на университетскую, рассчитана на два года обучения, с 1880 г. — на три года. В 1888—1900 гг. курсы были закрыты (из-за причастности некоторых слушательниц к революционному движению). В 1918 г. реорганизованы во 2-й МГУ.

[14]Гласный Московской городской думы (с 1876 г.), возглавлявший в 1876—1906 гг. думскую комиссию «О пользах и нуждах общественных», Герье выступил организатором городских участковых попечительств о бедных (1894).

[15]Н.Н. *Хмелев* состоял в прокурорском надзоре Министерства юстиции, был земским гласным по Серпуховскому уезду Московской губернии.

[16]*Пеан*, пеон — в античной поэзии благодарственная песнь богам или победная песнь. Пеонический размер — стопа из одного долгого и трех кратких слогов.

[17]И.Е. *Цветков* (1845—1917) — коллекционер. Выпускник математического факультета Московского университета (1873), служил в Московском земельном банке (с 1874 г.). Для своей коллекции, собиравшейся им с 1879 г., построил в 1899—1903 гг. дом в «русском» стиле на Пречистенской набережной (д. 29). В 1909 г. передал «Цветковскую галерею» (300 картин и свыше 1200 рисунков русских художников) в дар Москве. Часть его коллекции в 1926 г. вошла в собрание Третьяковской галереи.

[18]Перепись населения г. Москвы проводилась 24 января 1882 г.

[19]*Преображенский* Петр Васильевич (1851—?), приват-доцент (с 1894 г.) математического факультета Московского университета.

[20]Б.Н. *Боев* (1859—1934) — экономист. Окончил юридический факультет Московского университета в 1884 г. С 1885 г. занимал руководящие должности в Министерстве финансов Болгарии. Профессор Софийского университета, член-корреспондент Болгарской Академии наук (1898). В 1906—1908 гг. — руководитель Болгарского народного банка.

[21]Н.А. *Шапошников* — учитель математики в 4-й московской мужской гимназии, доцент Императорского технического училища.

[22]Речь идет о следующих изданиях: Малинин А.Ф., Буренин К.П. Собрание арифметических задач для гимназий, составленное преподавателями 4-й московской гимназии. М., 1866; Арбузов В., Минин А., Минин В., Назаров Д. Сборник арифметических задач. М., 1877.

[23]В 1869 г. на Большой Лубянской ул. в здании 3-й женской гимназии открылись Публичные женские курсы, работавшие по программе мужской гимна-

зии. На их базе в 1880 г. было создано физико-математическое отделение Московских высших женских курсов.

[24]Многие святочные гадания основаны на подслушивании. Например, слушают на перекрестке дорог собачий лай и по нему определяют, откуда придет жених; подслушивают под чужими окнами и по отдельным словам из подслушанного разговора стараются угадать свое будущее. Прислушиваются к шуму жернова ручной мельницы, стараясь уловить имя жениха.

[25]Имеются в виду песнопения чина венчания и чина погребения (отпевание).

[26]*Погост* — в древности селение с церковью и кладбищем. С XVIII в. погостом стали называть отдельно стоящую церковь с кладбищем.

[27]Магазины *Минангуа* находились в Газетном и Камергерском переулках с середины XIX в. Занимались производством и продажей модной женской одежды. Первой владелицей была Маргарита Минангуа, с 1860 г. — Мария Минангуа, с 1890 г. — Юлия Ивановна Монтровье.

[28]*Новосадский* Николай Иванович (1859—1941) — филолог-эллинист и латинист, специалист по греческой эпиграфике и папирологии. С 1888 по 1906 г. профессор Варшавского университета. С 1909 г. — профессор классической филологии Московского университета.

[29]*Кизеветтер* Александр Александрович (1866—1933) — историк, публицист. С 1898 г. приват-доцент, с 1909 по 1911 г. профессор Московского университета. Основные работы посвящены истории России XVIII — первой половины XIX в. В 1906 г. член ЦК партии кадетов, депутат II Государственной думы. В 1922 г. выслан из СССР. Впоследствии профессор русской истории Пражского университета. Автор книги воспоминаний «На рубеже двух столетий» (1929).

[30]*Мещанское училище* было учреждено в 1834 г. Московским купеческим обществом для воспитания детей купеческого и мещанского сословий (мальчиков от 10 до 12, девочек от 12 до 14 лет). Имело 4-годичный курс обучения. Находилось в доме Д.М. Полторацкого на Калужской улице (ныне здание Горного института, Ленинский пр., 6).

[31]Церковь *Иоанна Предтечи* в Кречетниках, точное название — Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи (угол Кречетниковского пер. и Новинского бульвара; ныне на месте церкви дом 46 по Новому Арбату), была построена в XVII в., разрушена в 1930 г.

[32]*Паремия* (греч. пословица, притча) — чтение отрывков из Ветхого завета (иногда Нового завета), содержащих пророчества о вспоминаемом в положенный день событии или точное указание на цель установленного праздника. Паремии читаются главным образом на великих вечернях (праздничные и воскресные дни), а также на великопостных часах (на 6-м часе).

[33]*Акафист* (греч. «неседальный») — в христианском богослужении особые хвалебные песнопения в честь Христа, Богородицы и святых, во время исполнения которых молящимся запрещается сидеть.

[34]*Мора* Элиза — итальянская подданная, купчиха 2-й гильдии (в купеческом звании с 1882 г.), владела гастрономическим и винным магазином на Арбате.

[35]*Ток* (от фр. toque — шапочка с узкими полями) — женский головной убор, плотно охватывающий голову, обычно без полей. В России появился на рубеже XVIII—XIX вв. Всегда был принадлежностью туалета замужних дам.

[36]По процессу «1-го марта» (26—29 марта 1881) были казнены члены «Народной воли», организаторы и участники убийства Александра II, — А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков.

[37]*Зефир* — тонкая хлопчатобумажная ткань с текстильным орнаментом в виде мелких клеток.

[38]*Бутиков* Иван Петрович — купец 1-й гильдии, в купеческом звании с 1839 г., торговал шерстяным и бумажным товаром, имел текстильную фабрику при собственном доме в Большом Ушаковском (ныне Коробейниковом) пер. Гимназия Фишер с 1874 г. размещалась в доме Бутикова во 2-м Ушаковском переулке (ныне Хилков пер. д. 3) – ампирном особняке, построенном в 1820 г. В.Я. Сольдейн (в 1-м браке Есиповой). Сменив ряд владельцев, дом в 1911 г. перешел в собственность Общества бывших воспитанниц гимназии С.Н. Фишер.

[39]*Шаховской* Николай Владимирович (1856—1906), князь — состоял впоследствии цензором в Московском цензурном комитете.

[40]*Никитский монастырь* — женский необщежительный монастырь 3-го класса (угол Б. Никитской ул. и Б. Кисловского пер.) основан в XVI в.(дал название улице), закрыт в 1920-е гг. В 1935 г. на его месте была построена электроподстанция метро (Большая Никитская, 7).

[41]М.П. *Варавва* (1841—?) — статский советник, преподаватель географии Учительского института на Большой Полянке, Усачевско-Черняевского женского училища на Девичьем поле.

[42]С.И. *Белкин* — московский купец 1-й гильдии, торговал пушным товаром, служил комиссаром городской казны с 1868 по 1872 г.

[43]*Штамбовые розы* (от нем. stamm — ствол) — сорт роз, имеющих длинный ствол и крону.

[44]*Гильфердинг* Александр Федорович (1831—1872) — историк, этнограф, лингвист, публицист, общественный деятель. Опубликованный посмертно сборник «Онежские былины» (1873) содержит тексты, записанные Гильфердингом от 70 сказителей (318 былин).

[45]*Рыбников* Павел Николаевич (1831—1885) — фольклорист, этнограф. В 1860 г. совершил поездку в Каргополье, затем в Олонецкую губернию. Сделал записи 200 былин, которые были опубликованы в издании «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» (Т. 1—4, 1861—1867);

[46]Речь идет о труде писателя-этнографа Владимира Николаевича *Майнова* (1845—1888), изданном в 1874 г.

[47]Письма М.Н. Харузина и М.М. Панова к родным в архивах Харузиных, ныне находящихся в ГИМе и в Отделе редких книг библиотеки МГУ, не сохранились.

Сотрудница библиотеки МГУ С.Е. Ивашкина подготовила к публикации письма М.Н. Харузина к А.А. Фету с Севера. (ОР РГБ. Ф. 315/2. Карт. 12. Ед. хр. 21).

[48]По материалам научной поездки 1887 г. были написаны статьи Н.Н. Харузина «О лопарской бывальщине и песне», «О нойдах у древних и современных лопарей», «Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии», а также первый в русской науке труд о лопарях (саамах) — «Русские лопари» (1890), — отмеченный золотой медалью ОЛЕАЭ.

[49]*Церковь Николы Плотника*, точное название — церковь Николая Чудотворца в Плотниках (угол Арбата и Плотникова пер.), была построена в XVII в., разрушена в 1932 г.

[50]Церковь *Покрова Левшина*, точное название — церковь Покрова Богородицы в Левшине (угол Большого и Малого Левшинских пер.), была построена в начале XVIII в., разрушена в начале 1930-х гг.

[51]Имеется в виду книга историка литературы и писателя Петра Николаевича *Полевого* (1839—1902) «История русской литературы в очерках и биографиях» (СПб., 1872).

[52]*Алферова* (урожд. Коссович) Александра Сергеевна — педагог. Окончив гимназию С.Н. Фишер, посещала коллективные уроки Общества учительниц и воспитательниц, затем в Бернском университете прослушала лекции по математике. В 1894 г. открыла в Москве женскую гимназию, преобразованную в 1902 г. в гимназию ведомства Министерства народного просвещения.

[53]*Классическое образование* — тип среднего образования, предусматривающий изучение двух древних языков и математики в качестве главных предметов.

[54]Система учебно-воспитательных, благотворительных и лечебных учреждений в России сложилась в 1796—1828 гг., когда находилась в ведении императрицы Марии Федоровны, жены Павла I. После ее смерти орган управления этой системой получил название «Ведомство учреждений императрицы Марии» (просуществовал до 1917 г.) В 1858 г. Мариинское ведомство открыло первые бессословные учебные заведения — Мариинские училища, переименованные в 1862 г. в гимназии. Мариинские гимназии имели 7-летнюю программу обучения, давали воспитанницам облегченный курс средней школы, усиленный педагогикой и рукоделием.

[55]В XIX в. школьную перемену называли *рекреацией* (от лат. recreatio — восстановление).

[56]*Турнюр* (от фр. tournure — осанка) — приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней юбки.

[57]Г.Б. *Фишер* (?—1918) — преподаватель математики и физики в гимназии С.Н. Фишер и в 5-й мужской гимназии, титулярный советник.

[58]А.П. *Давыдова* — преподаватель математики, новых языков и истории в гимназии С.Н. Фишер.

[59]*Корш* Федор Евгеньевич (1843—1915) — филолог-классик, академик Петербургской АН (1900). Профессор Московского университета (с 1882 г.), Лазаревского института восточных языков (с 1892 г.). Занимался типологическим и сравнительно-историческим исследованием языков. Автор работ по античной филологии, иранистике, тюркологии, восточнославянским языкам и литературам. В гимназии С.Н. Фишер преподавал классические языки.

[60]*Дортуар* (фр. dortoir) — общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении.

[61]Д.Ф. *Назаров* — статский советник, учитель математики в 3-й московской мужской гимназии.

[62]*Григорова* Мария Митрофановна после окончании гимназии С.Н. Фишер прослушала курсы бактериологии и гигиены молочного дела проф. Гаппиха в Юрьеве. Преподавала в Ветеринарном институте. В 1909 г. назначена правительственной мастерицей по молочному делу, вела курсы по скотоводству и молочному хозяйству в деревнях и селах. В 1911 г. Департаментом земледелия командирована в Данию и Швецию для ознакомления с ведением скотоводства.

[63]*Виноградов* Николай Иванович — в 1870—1880-е гг. преподаватель русского языка и словесности гимназических классов Лазаревского института восточных языков, Коммерческого училища, музыкально-драматического училища, Московского филармонического общества.

[64]*Мартынова* Анна Васильевна (Анюта) — позднее учительница русского и древних языков в гимназии С.Н. Фишер, член Общества вспомоществования женским гимназиям. Сотрудничала в журнале «Русский вестник».

[65]*Коляновская* Анна Ивановна (Наня) — позднее преподаватель древних языков в гимназии С.Н. Фишер.

[66]*Женский медицинский институт* в С.-Петербурге — высшее учебное заведение для женщин (1897—1918). Имел 5-летний курс обучения. Выпускницам присваивалось звание лекаря (врача) и право на соискание ученой степени.

[67]*Иванова* Наталья Александровна (1867—?) стала глазным врачом. Практиковала с 1904 г. Работала в Орловской губернии, Уфе, Дагестане, в Бакинской области.

[68]С.Н. *Долбнина* (1872—?), специалист по женским и детским болезням, практиковала с 1902 г. после окончания Петербургского медицинского института. С 1907 г. штатный ординатор больницы им. В.Е. Морозова.

[69]В.Д. *Черторогов* преподавал чистописание в гимназии С.Н. Фишер с 1875 по 1887 г.

[70]Черторогова *Софья Васильевна* по окончании гимназии занималась частной педагогической деятельностью, была управляющей домом, делопроизводительницей и (с 1911 г.) библиотекарем Московского археологического общества.

[71]Московское Императорское археологическое общество (1864—1922) основано по инициативе археологов графа А.С. Уварова и И.Е. Забелина. Занималось изу-

чением древностей России и охраной древних памятников, выработкой программы для проведения археологических раскопок. Общество размещалось в одном из старейших московских зданий — палатах думного дьяка Аверкия Кириллова, сооруженных в 1656—1657 гг. (Берсеневская наб., 20).

[72]*Уварова* Прасковья Сергеевна (1840—1924), графиня, урожд. княжна Щербатова. Выйдя замуж за графа А.С. Уварова, стала его деятельной помощницей как в археологических исследованиях, так и в организации археологических съездов и т.п. После смерти мужа в 1885 г. была избрана председателем Московского археологического общества. С 1895 г. — почетный член Петербургской АН.

[73]*Игумнов* Константин Николаевич (1873—1948) — пианист и педагог, создатель одной из крупнейших пианистических школ в России.

[74]*Григорова* Елена Митрофановна (Лиза, Гриза) после окончания гимназии занималась сначала частной педагогической деятельностью, затем преподавала русский язык и математику в гимназии С.Н. Фишер, с 1904 г. — русский язык и географию в гимназии Л.Ф. Ржевской. Одновременно была учительницей русского и математики в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества.

[75]Е.С. *Ремезова* (урожд. Ивашкина) после окончания гимназии занималась педагогической деятельностью.

[76]*Брандуков* Анатолий Андреевич (1858—1930) — виолончелист. С большим успехом гастролировал в России и за границей. В 1906—1917 гг. — директор и педагог музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, с 1921 г. — профессор Московской консерватории. Надежда Митрофановна Брандукова (урожд. Мазурина) умерла в Швейцарии в 1911 г.

[77]Мария Митрофановна Мазурина вышла замуж за сына известного московского мехоторговца Петра Павловича Сорокоумовского — Александра Петровича, но вскоре овдовела (вторично вышла замуж за Струкова).

[78]*Локоны тирбушоны* — туго свитые (в виде спирали) локоны.

[79]*Гран-рон* (фр. grand rond) — большой круг.

[80]*Котильон* (фр. cotillon) — бальный танец французского происхождения. Известен с XVIII в., получил распространение в середине XIX в.

[81]*Рачков* Николай Ефимович (1825—1895) — живописец, учился в Арзамасской школе живописи у Н.М. Алексеева. С 1860 г. жил в Москве. Писал сцены из народной жизни и портреты.

[82]*Боткина* (в замужестве Гучкова) Вера Петровна (1864—1916) — племянница Дмитрия Петровича Боткина. *Гучков* Николай Иванович (1860—1935) — предприниматель, общественный и политический деятель. Брат А.И. Гучкова. Один из директоров чаеторговой фирмы «Петра Боткина сыновья» и «Товарищества Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных», член торгового дома «Гучкова Еф. сыновья». Гласный Московской городской думы (1893—1916). Городской голова (1905—1913). С 1920 г. в эмиграции. Умер в Париже.

[83]*Церковь* Спаса Нерукотворного *при Барыковской богадельне* (Барыковский пер., 4, корп. 3) была устроена в 1764—1765 гг. в качестве домового храма в доме надворного советника В.П. Дурново. В начале 1850-х гг. дом приобрел надворный советник И.И. Барыкин и, следуя своему обету, данному во время болезни, устроил в нем богадельню для престарелых женщин. Тогда же была восстановлена и вновь освящена церковь. В 1923 г. церковь и богадельня были закрыты.

[84]По преданию, образ Нерукотворного Спаса был написан на стене дома Дурново (еще до того, как это помещение стало церковным) пленным мальчиком-турком, который по завершении работы умер. Образ прославился чудотворениями. Уже после закрытия храма его неоднократно замазывали, но он снова проступал. По некоторым сведениям (см.: Московский журнал. 1992. № 6. Вклейка), ныне этот образ находится в церкви Ильи Пророка «Обыденного» (2-й Обыденский пер., 6).

[85]Пс. 90.

[86]Икона *Божьей Матери Скоропослушницы* находится на Афонской горе в монастыре Дихиар и написана, по преданию, в X в. В Москву список иконы был привезен в 1866 г. вместе с мощами великомученика Пантелеймона, с 1883 г. находился в часовне великомученика Пантелеймона у Владимирских ворот Китай-города. Иконографический тип образа − Одигитрия.

[87]*Катехизис* — краткое изложение основ христианского учения в форме вопросов и ответов. Катехизис составлен митрополитом Филаретом в 1823 г.

[88]*Символ веры* — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых церковь предписывает каждому христианину. В православии двенадцать святых истин составляют 12 членов Символа веры. Третий член Символа веры гласит: «Сошедшего с неба для нас, людей, и для нашего спасения, принявшего тело от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком».

[89]С.Ф. *Фортунатов* (1850—1918) — историк. Окончил Московский университет. В 70-е гг. преподавал в женской гимназии С.Н. Фишер. С 1872 по 1876 г. — лектор Высших женских курсов, коллективных курсов при Обществе воспитательниц и учительниц. С 1886 г. приват-доцент Московского университета. Автор работ о США.

[90]*Юстиниан* I (483—565) — византийский император с 527 г.

[91]*Ильин* Николай Иванович — титулярный советник, состоял на службе в управлении уделов Министерства уделов.

[92]Н.П. *Николаев* (1818—1887) — врач, специалист по женским и детским болезням. Преподавал анатомию и хирургию в фельдшерской школе Московского воспитательного дома (1849—1850), а после получения докторской степени (1850) состоял адъюнктом по кафедре акушерства в Московском университете (1852—1861). Выйдя в отставку, занимался частной практикой, имел кабинет в собственном доме на Поварской ул.

[93]*«Иоанн Дамаскин»* (1859) — поэма А.К. Толстого.

[94]*Тихонравов* Николай Саввич (1832—1893) — историк литературы, археограф, представитель культурно-исторической школы. Профессор Московского университета (с 1859 г.); ректор (1877—1883). Академик (1890).

[95]*Павлов* Алексей Степанович (1832—1898) — историк церкви. С 1864 г. преподавал в Казанском университете. С 1869 г. профессор Новороссийского, с 1875 г. — Московского университета. Автор работ по церковному праву, истории русской церкви.

[96]*Заозерье* — деревня в Бронницком уезде (ныне Раменский район Московской области). Известна с 1646 г. До настоящего времени в деревне действует старообрядческая церковь (белокриницкой иерархии).

[97]*Боровская гора* находится на правом берегу Москвы-реки, близ древнего Боровского перевоза (ныне Раменский район Московской области, вблизи с. Чулково).

[98]Николоугрешский (Святоникольский Угрешский) мужской монастырь был основан в 1380 г. в честь победы в Куликовской битве. Находился в 15 верстах от Москвы, в 3 верстах от с. Остров, на левом берегу Москвы-реки, в урочище, известном под именем Угреши (в настоящее время пос. Дзержинский Люберецкого района Московской области). Во второй половине XIX в. в нем был создан грандиозный архитектурный ансамбль (художник-архитектор Ф.Г. Солнцев).

[99]*Янчук* Николай Андреевич (1859—1921) — музыковед-этнограф, один из первых редакторов журнала «Этнографическое обозрение» наряду с В.Ф. Миллером и В.В. Богдановым. Организатор (1901) и председатель (до 1920 г.) этнографической комиссии при Этнографическом отделе ОЛЕАЭ.

[100]В журналах «Детское чтение» (М., 1882—1893, с 1893 по 1917 г. — «Юная Россия») и «Юный читатель» (СПб., 1899—1906) очерк В.Н. Харузиной «На торфе» не обнаружен (просматривались комплекты, хранящиеся в Российской государственной библиотеке, — к сожалению, не полные).

[101]М.Н. Харузин совершил две поездки в Вятскую губернию. Первая состоялась в 1882 г., когда М.Н. Харузин был студентом юридического факультета Московского университета. Результатом поездки явилась статья «Очерки юридического быта народностей Сарапульского уезда Вятской губернии» (1883). Во второй поездке (1884) Михаила сопровождал брат Алексей — тогда студент первого курса физико-математического факультета Московского университета. В Область Войска Донского с целью изучения обычного права казачества М.Н. Харузин ездил в 1881, 1882, 1883 и 1885 гг. Собранные материалы были им обобщены в книге «Сведения о казацких общинах на Дону». (Вып. 1. М., 1885).

[102]*Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, общественный деятель. Один из идеологов славянофильства.

[103]Фет с 1881 г. каждую зиму жил в купленном им доме на ул. Плющихе (д. 36, не сохранился).

[104]М.П. *Шеншина* (урожд. Боткина) (1828—1894) — сестра Дмитрия Петровича Боткина, с 1857 г. жена Фета.

[105]*Воробьевка* — имение Фета в 25 верстах от Курска (Щигровский уезд), приобретенное им в 1878 г.

[106]«Фауст» Гете в переводе А.А. Фета вышел в 1882—1888 гг. (ч. 1—2). Четыре сборника стихотворений Фета «*Вечерние огни*» были опубликованы в 1883, 1885, 1888 и 1891 гг.

[107]*Миллер* Всеволод Федорович (1848—1913) — фольклорист, языковед, этнограф, академик Петербургской АН (1911). Председатель Этнографического отдела ОЛЕАЭ (с 1881 г.), один из основателей журнала «Этнографическое обозрение» (1889). Директор Лазаревского института восточных языков (1897—1911).

[108]*Этнографический отдел* ОЛЕАЭ был организован в 1867 г. и просуществовал до 1917 г. Во главе стоял историк-славист Н.А. Попов, которого в 1881 г. сменил В.Ф. Миллер. Секретарями Этнографического отдела были братья Веры Николаевны — Михаил (1884—1887) и Николай (1891—1893) Харузины.

[109]*Ковалевский* Максим Максимович (1851—1916) — историк, этнограф, социолог-позитивист. Академик Петербургской АН (1914). Лично знал К. Маркса и Ф. Энгельса, состоял с ними в переписке. В 1878—1887 гг. — профессор Московского университета. В 1906 г. избран в I Государственную думу; в 1907 г. — в Государственный совет. Автор трудов по истории общины и родовых отношений, по общим вопросам социального развития и проблемам западноевропейского средневековья.

[110]*Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, публицист, политический деятель. Профессор Московского университета в 1877—1884 г., доктор римского права. В 1879—1892 гг. редактор «Юридического вестника». Председатель Московского юридического общества (1880—1888). С 1897 г. гласный Московской городской думы. Один из лидеров кадетской партии. Председатель I Государственной думы (1906).

[111]*Муркос* Георгий Абрамович (1846—1911) — ориенталист. Занимал кафедру арабской словесности в Лазаревском институте восточных языков. Написал ряд трудов по арабской литературе.

[112]*Московское юридическое общество* было основано в 1863 г. и ставило своей целью теоретическую и практическую разработку правовых вопросов и распространение юридических сведений. Органом общества был журнал «Юридический вестник» (1867—1892).

[113]Перечисленные Верой Николаевной юристы в годы общения с Харузиными находились на государственной службе: Владимир Александрович *Давыдов* служил в Московской казеной палате. Петр Петрович *Юшневский* и Дмитрий Николаевич *Стефановский* — в прокурорском надзоре Министерства юстиции товарищами прокурора. Лев Владимирович *Любенков* (у В.Н. Харузиной допущена ошибка в инициалах) — участковым мировым судьей Пречистенского округа Москвы. Николай Антонович *Вокач* (1855—1905) — кандидат правоведения, присяжный поверенный, служил в Московском коммерческом суде. Николай Николаевич *Игум-*

нов — в Министерстве юстиции товарищем прокурора. Николай Петрович *Клюшников* — судебным следователем в Министерстве юстиции.

[114]Имеется в виду Виктор Петрович *Клюшников* (1841—1892) — беллетрист, автор известного романа «Марево» (1864).

[115]*Рачинский* Григорий Алексеевич (1859—1939) — литератор, переводчик, философ. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Председатель Московского религиозно-философского общества и Общества свободной эстетики. Был близок к кругу символистов, особенно тесно связан с Андреем Белым (о Рачинском см.: Белый А. Начало века. М., 1990. С. 102—112).

[116]*5-я* мужская *классическая гимназия* находилась близко от дома Харузиных — на углу Поварской ул. и Большой Молчановки, рядом с церковью Семеона Столпника.

[117]*Смирнов* Сергей Григорьевич — преподаватель русского языка и словесности в 5-й мужской гимназии.

[118]*Смирнов-Платонов* Григорий Петрович (1825—1898) — духовный писатель, протоиерей. Подробно о нем см.: Полный православный Богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Т. 2.

[119]*Цемш* Сергей Николаевич — юрист, служил в Министерстве юстиции секретарем канцелярии прокурорской палаты и товарищем прокурора Московского окружного суда.

[120]*Каульбах* Вильгельм фон (1805—1874) — немецкий живописец и рисовальщик. Наибольший интерес представляют его рисунки к «Рейнеке-Лису» И.-В. Гете (1840—1846), а также большие циклы иллюстраций к произведениям Гете (1857—1864), У. Шекспира (1853—1858), Ф. Шиллера (1865—1867).

[121]*Тумман* Фридрих Пауль (1834—?) — немецкий живописец и иллюстратор книг. Наиболее известны его иллюстрации к «Сну в летнюю ночь» У. Шекспира, «Женской любви и жизни» А. Шамиссо, «Книге песен» Г. Гейне и др.

[122]К 1882 г., когда вышла 1-я часть «Фауста» в переводе Фета, имелись следующие переводы «Фауста» на русский язык (различные по степени полноты): Э.И. Губера (1838), М.П. Вронченко (1844), А. Овчинникова (1851), А.Н. Струговщикова (1856), Н.П. Грекова (1859), И.Н. Павлова (1875), Н.А. Холодковского (1878).

[123]*Поссарт* Эрнст (1841—1921)— немецкий актер, режиссер, театральный деятель. С 1864 г. ведущий актер Мюнхенского придворного театра. Гастролировал в Европе и Америке. С 1891 по 1900 г. — в России.

[124]*Росси* Эрнесто (1827—1896) — итальянский актер. На сцене с 1846 г. Был ведущим актером в различных итальянских труппах. С 1855 г. постоянно гастролировал за границей (в России — в 1877, 1878, 1890, 1895, 1896 гг.). Выступал в основном в шекспировском репертуаре.

[125]*Сальвини* Томмазо (1829—1915) — итальянский трагик, получивший известность исполнением ролей в пьесах У. Шекспира.

[126]*Барнай* Людвиг (1842–1924) – немецкий актер и театральный деятель. Прославился исполнением ролей Гамлета, Отелло, Вильгельма Телля (Шиллер) и др.

[127]*Конт* Огюст (1798–1857) – французский философ и социолог, основатель позитивизма. *Милль* Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ-позитивист, логик и экономист. *Бэн* Александр (1818–1903) – английский психолог, представитель эмпирической ассоциативной психологии. *Ренан* Жозеф Эрнест (1823–1892) – французский писатель, историк религии, семитолог. В «Истории происхождения христианства» (кн. 1–8, 1863–1883) пытался рационалистически объяснять сверхъестественное в Библии, изображал Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником. *Штраус* Давид Фридрих (1808–1874) – немецкий теолог, представитель младогегельянства. Считал Иисуса Христа исторической личностью, подвергая сомнению достоверность евангелий.

[128]*Шопенгауэр* Артур (1788–1860) – немецкий философ.

[129]Речь идет о трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде».

[130]Имеется в виду С.П. Корсаков (1854–1900) – один из создателей русской психиатрии.

[131]*Переплетчиков* Василий Васильевич (1863–1918) – художник-пейзажист, близкий к передвижникам, ученик В.Д. Поленова.

[132]*«Русалка»* – опера А.С. Даргомыжского по драматической поэме А.С. Пушкина, поставленная впервые в 1856 г. в Петербурге.

[133]*Мониcты* – ожерелья из бус, монет или разноцветных камней.

[134]*Дюлу* Екатерина Николаевна – основательница частного училища для детей обоего пола.

[135]*Амвросий*, в миру Гренков Александр Михайлович (1812–1891), – преподобный подвижник-старец Оптиной пустыни. В 1988 г. причислен православной церковью к лику святых.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Харузина Вера Николаевна

ПРОШЛОЕ

Редактор
М.К. Евсеева

Корректор
Л.Н. Морозова

Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

ТОО «Новое литературное обозрение»
Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 35. Заказ № 249

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

Издательство «Новое литературное обозрение»
представляет серию
«Россия в мемуарах»

В 1996—1998 гг. вышли следующие книги:

Н.И. Свешников. Воспоминания пропащего человека
История жизни благородной женщины (сборник)
Ш. Массон. Секретные записки о России
Л.Н. Энгельгардт. Мемуары
Вл. Пяст. Встречи
М.А. Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни
Н.А. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое

Готовятся:

А.Д. Галахов. Воспоминания
Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки.
Евреи в России (сборник)
Ф.Ф. Фидлер. Дневник
П.П. Перцов. Литературные воспоминания
Я.В. Глинка. Одиннадцать лет в Государственной Думе
В.И. Гурко. Черты и силуэты прошлого
Ф.В. Булгарин. Воспоминания


ISBN 5-86793-057-2
9 785867 930578


россия в мемуарах